Пятью Пять 5x5

Альманах молодых писателей для молодых читателей

Выпуск 1/2009

Москва
Независимое издательство «Пик»
2009

УДК 82—3(059)
ББК 84р—44я43
П 642

Руководители проекта:
Татьяна Соломина и *Александр Рекемчук*

Главный редактор
Александр Рекемчук

Редакторы разделов:
проза — *Ольга Брейнингер, Евгений Завадский*
поэзия — *Елизавета Шестакова*

Ответственный секретарь
Елена Изварина

Дизайн, фотографии, рисунки
Лия Галимова, Кристина Колесникова, Маргарита Урчева

Художественное оформление
Алексей Павлов

П642 Пятью пять. Альманах молодых писателей для молодых читателей. — М.: Независимое издательство «Пик», 2009. — 320 с.

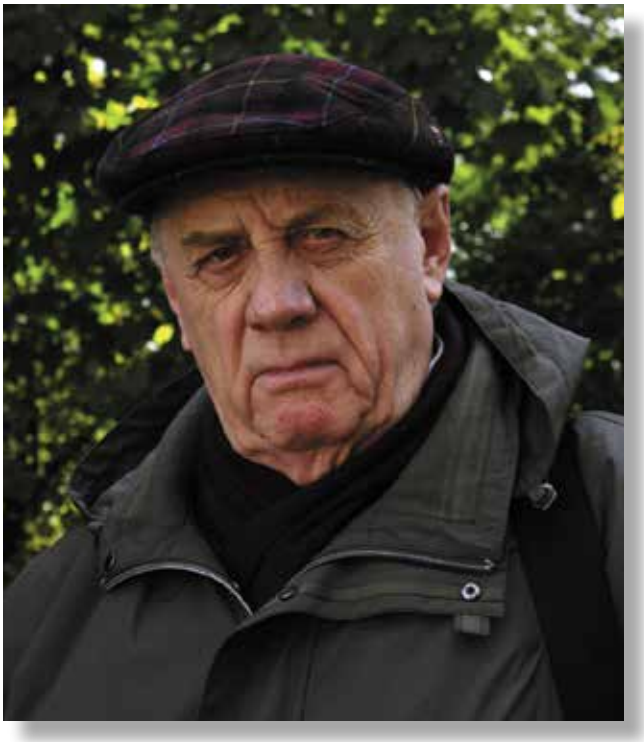
ISBN 978-5-7258-0330-1

УДК 82—3(059)
ББК 84р—44я43

© Независимое издательство «Пик», 2009
© Л. Галимова, 2009
© К. Колесникова, 2009
© М. Урчева, 2009
© А. Павлов, 2009

ISBN 978-5-7258-0330-1

Что такое «Пятью пять»?



ТАК НАЗЫВАЕТСЯ отныне альманах молодых писателей, предназначенный молодым читателям.

Не делаем тайны из того, что большинство этих молодых писателей — прозаиков, поэтов, драматургов, критиков — питомцы и питомицы Литературного института имени Горького, его студенты и выпускники. Нашим сердцам бесконечно дорог заветный адрес: Тверской бульвар, 25. Нам очень хотелось запечатлеть его в названии альманаха. Однако такое издание уже есть...

Вот почему мы решили прибегнуть к хитрости, к шифру: как известно, пятью пять — двадцать пять. Опять — двадцать пять!

Но, повторяя название, мы постараемся, чтобы содержание нового альманаха и его художественное оформление оказались неповторимыми.

Мы живем в самом начале нового 21-го века. На исходе его «нулевые» годы.

В эти стартовые периоды истории, как правило, бывает особенно напорист и дерзок поиск новых смыслов, новых форм выражения в литературе и искусстве. Мы хотим, чтобы альманах «Пятью пять» сделался надежной стартовой площадкой для этих поисков творческой молодежи.

Мы не боимся и не будем бояться авангардных течений. И уже первый выпуск альманаха, мы надеемся, впечатлит, увлечет читателей новизной и дерзостью образа, стиля, речи. Но, вместе с тем, мы не будем чураться и вдохновенного поиска в области классических форм, в животворной стихии колоритной народной речи.

Юность искрится талантом. Не зря же заговорили недавно о неких всесторонне и сверх меры одаренных «детях индиго». Пожалуйста, обратите внимание на то, что в нашем альманахе «Пятью пять» не только литературные тексты, но и всё остальное — обложка, фотографии, рисунки — выполнены самими молодыми авторами.

Итак, мы приглашаем вас в увлекательное и захватывающее путешествие по страницам альманаха «Пятью пять».

Как говорится, дай пять, дорогой читатель!

Александр РЕКЕМЧУК

«Онегинский квартет»

Татьяна и Владимир Соломины беседуют с Ольгой Брейнингер и Евгением Завадским

В мае 2004 года Независимое издательство «ПИК» выпустило в свет книгу «Состояние души» — посмертный сборник произведений талантливого русского писателя, выпускника Литературного института Александра Филимонова (1956—2003). В книгу также вошли воспоминания его родных, друзей, наставников, учеников. Среди них — Татьяна и Владимир Соломины, чета предпринимателей, музыкантов, литераторов.

И вот, пять лет спустя, благодаря их же инициативе и спонсорской поддержке, осуществлено еще одно издание, посвященное памяти незабвенного друга: «Пятью пять», альманах молодых писателей для молодых читателей.

В канун выхода в свет этого альманаха Татьяна и Владимир Соломины дали интервью редакторам и авторам нового издания Ольге Брейнингер и Евгению Завадскому, которое публикуется ниже.

Обратим внимание на «онегинский квартет» собеседников: Татьяна и Ольга. Владимир и Евгений…

Ольга: Татьяна, Владимир, расскажите нам об Александре Филимонове.

Владимир: Мы познакомились в годы учебы в Челябинском политехническом институте. Саша был старше меня на четыре года, он пришел в институт после армии. А познакомила нас музыка, мы играли в институтском оркестре. У Сашки был потрясающий голос.

Ольга: Вы уже знали тогда, что, кроме музыки, он еще и пишет?

Владимир: Нет. Для нас это было открытием. Саша приносил на репетиции «стебовые» тексты, зарисовки, знаете, такие, в духе комиксов. Любил пародировать советских музыкантов. Но то, что он серьезно занимается литературой, — нет, мы не знали. Это было для нас внезапным открытием.

Ольга: А каким Александр Филимонов был в жизни?

Владимир: Святой он был. Святой и бессребреник.

Ольга: Что вы цените в его прозе?

Владимир: Искренность. И духовность. Он настоящий, истинно русский, глубокий писатель.

Ольга: Сашка — друг и Александр Филимонов — писатель — это были для вас два разных человека?

Владимир: Да, несомненно. Это были совсем разные люди.

Ольга: Татьяна, а что вы скажете на этот счет? Вы как писательница и как жена, мать — это разные люди? Как вам удается совмещать это?

Татьяна: Я стараюсь быть самой собой в любой ипостаси, быть единым целым. Мне, конечно, очень повезло, что меня понимают и поддерживают в этом.

Ольга: Расскажите нам о своей повести «Королева на два дня».

Татьяна: Эта повесть родилась как дополнение к альбому. Сам альбом получился у нас очень грустным, и мне хотелось его осветлить, чтобы он не воспринимался окружающими слишком трагично. И получилась повесть — местами смешная, местами печальная. Там многое обо мне и не обо мне. Я даже с обложки альбома убрала фразу о себе — чтобы никто не ассоциировал со мной мои песни. Это разное.

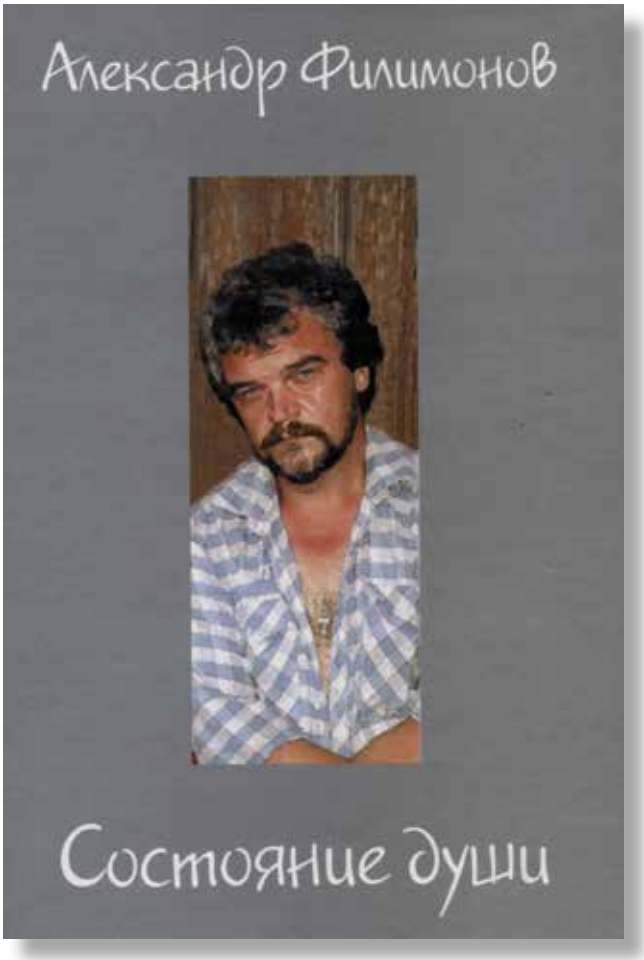
Евгений: А расскажите подробнее про свое музыкальное творчество.

Татьяна: У нас есть своя собственная звукозаписывающая студия. Ей уже три года. За прошедшие пять лет у нас вышло два альбома. Презентация последнего была 17 октября 2008 года. Наша группа называется «Роктябрята». Название придумала наша дочь. Она работает в рекламном агентстве, ей уже 26 лет. Она любит подобные хулиганства. Но название сразу всем понравилось. У нас есть и свой сайт: www.rock-october.ru.

Конечно, наши песни не предназначены для массового слушателя. У нас просто есть своя аудитория. Возможно, тексты довольно сложны, чтобы восприниматься массовым слушателем.

Евгений: А как вы прокомментируете утверждение, что настоящая поэзия не должна иметь подпорок в виде музыки?

Татьяна: Есть вечный спор, что было раньше: музыка или стихи. Я думаю, что есть поэзия для пения, есть для чтения. Бывает так, что музыка становится важнее, тогда страдают стихи, темы поэзии. Музыка не подпорка, она должна



быть частью общей формы целого произведения. Есть интересный жанр — баллада, он находится между поэзией и прозой.

Евгений: А что такое ваши песни?

Татьяна: Наши песни — это поиск себя, поиск добра и любви. Ведь мы, все люди, одиноки. Песня — это разговор с собой, а человек перед собой не может врать, быть нечестным.

Евгений: А есть у вас ностальгия по «тем» временам, по модной в прошлом музыке?

Татьяна: Ностальгии нет. Но я знаю, что у других есть, да — Beatles, Rolling Stones.

Ольга: Как вы думаете, что должно преобладать в литературе — фантазии или строгое следование реальной жизни?

Татьяна: Фантазии должны находиться под строгим контролем!

Ольга: Почему ваша повесть так называется — «Королева на два дня»?

Татьяна: Мне кажется, что женщина только тогда королева, когда она опирается на руку любимого мужчины. Это поняла и героиня моей повести, которой временные радости не давали покоя и уверенности. Человеку постоянно нужно чувствовать, что он любим, нужен кому-то. Именно это делает из женщины королеву. Еще мне хотелось рассказать о значимом периоде

своей жизни не в России. Это, конечно, отдельная тема. В жизни за границей есть свои нюансы, радости и сложности, о которых хотелось написать.

Ольга: Как скоро ваша книга появится в печати?

Татьяна: Загадывать не буду, но, думаю, к концу года. Я с нетерпением этого жду, да и не только я — мы все. К книге были нарисованы замечательные иллюстрации, а над обложкой поработал мой сын Иван. Но тираж будет очень маленький — только для самых близких.

Ольга: А над чем вы сейчас работаете? Поделитесь своими творческими планами.

Татьяна: Сейчас я задумала книгу стихов, которую хочу написать для своего внука. Это будет история нашего дома, которую я хочу ему рассказать. Там будет много интересных эпизодов — о доме, о нашем саде, о деревьях. Я хотела бы, чтобы все-все эти семейные предания сохранились. Еще я думаю о том, чтобы записать аудиокнигу «Королева на два дня», может быть, осуществим и этот проект.

Ольга: Вы будете сами читать свой текст?

Татьяна: Нет, думаю, что сама читать повесть я не возьмусь, все-таки лучше доверить это другому человеку.

Ольга: Татьяна, Владимир, а что привело вас к тому, чтобы поддержать идею молодежного альманаха?

Татьяна: Сейчас много говорят о том, что нет настоящей литературы. А я нет-нет да и натыкаюсь на интересные, талантливые тексты. И хотелось бы, чтобы их было много, а молодым авторам проще было опубликовать свои работы.

Ольга: Каким вы представляете себе это издание?

Татьяна: Конечно, особенным. Хотелось бы, чтобы на его страницах мы находили и новый слог, и поиск новых, важных тем. Чтобы это было действительно новое слово.

Ольга: А как насчет текстов, написанных в классической русской традиции?

Татьяна: Конечно, в этом случае одно другому не мешает.

Владимир: А я, наверное, становлюсь человеком консервативным, но мне немногое нравится из современной прозы. Так что возврат к традиции меня бы весьма порадовал.

Ольга: Как вы оцениваете современную литературу в целом?

Владимир: Конечно, в основном все то, что сейчас пишется и издается, — это коммерческий продукт. Это не литература, а то, что хорошо продается. Поэтому я надеюсь, что в альманахе все будет иначе.

Ольга: Татьяна, вы часто заглядываете на творческие семинары в Литературном институте. Расскажите, как вы их находите.

Татьяна: Семинары мне очень, очень нравятся. Там такая демократичная атмосфера, мне кажется, студентам все это очень интересно и полезно, и мне, конечно, тоже. Иногда, бывает, сижу, наблюдаю за ребятами и вижу отклики на обсуждаемые работы в их глазах. А вообще, все очень смелые — резко критикуют, дают советы, зачастую бескомпромиссны. Замечательная атмосфера.

Евгений: А что вы скажете по поводу разницы курсов? Есть уже опытные пятикурсники, но большинство — молодые в творческом плане первокурсники.

Татьяна: Эта разница очень интересна. Мне хочется наблюдать за взрослением начинающего писателя, за этапами становления личности и мастерства. Пусть сначала будет коряво, даже по-ученически, но всегда можно найти самобытность этого автора, его творческая «необтесанность» тоже может быть приемом, она важна. Нужно стремиться к тому, чтобы письмо казалось простым, ясным, но в то же время красивым. Саша Филимонов в разговоре был неповторим, хотелось записывать за ним. А в его прозе живая речь переработана, трансформирована. И не всегда нам нравились его вещи.

У молодого писателя или поэта очень часто все на поверхности, трогает его искренность. Часто это ценнее умения писать.

Ольга: Напоследок расскажите, чего бы вы пожелали нашим читателям.

Владимир: Обязательно читайте все от корки до корки, никогда не судите по первому впечатлению. Не всегда текст открывается на первой, второй, десятой странице, нельзя судить сразу.

Татьяна: Чтение — это труд, который надо брать на себя с ответственностью. А еще — будьте активнее, не бойтесь искать, и успехов вам!

Ольга Брейннингер

Родилась в 1987 году в Казахстане, в г. Караганда. Студентка 5 курса Литературного института им. Горького, семинар прозы А. Е. Рекемчука.

Призма

Повесть

Последнее лето

НАЧАТЬ РАСПУТЫВАТЬ эту историю следует с того, что последнее лето Зимняя, Айс, Лиций и я провели в Берлине.

Для меня это были три странные, странные недели.

Берлин встретил нас дождями и туманами. Мы аккуратно посещали все запланированные экскурсии, ходили по музеям и магазинам. Провели почти четыре часа в музее Египта и побывали в знаменитом берлинском зоопарке, и в музее Пергамон с его коллекциями древнесредневосточных ценностей, и в парке Трептовер, посмотрели на знаменитую подзорную трубу. Конечно, мы видели Бранденбургские ворота и стояли перед Рейхстагом, рассматривая надпись «Dem Deutschen Volke» на фасаде.

Вечерами мы сидели в маленьких и от этого особенно уютных летних кафе на Курфюрстендамм — главной улице Берлина, — обмениваясь впечатлениями за день.

Это был как будто совершенно не подходящий нам — тихий, традиционный во всех отношениях — отдых, словно мы были не четыре чуть шизанутых тинэйджера, а почтенные господа, посетившие места былой славы.

Айс не расставалась с блокнотом и карандашом, Зимняя с — ноутбуком, мы с Лицием — друг с другом. Мы не были влюблены друг в друга, просто я не могла без Лиция и, кажется, он — без меня.

Жизнь вокруг кипела — эмоции, энергия расплескивались по Курфюрстендамм брызгами, как из опрокинутого стакана. Это было красиво. Айс рисовала, Зимняя записывала, мы с Лицием не отводили глаз.

Да, вроде бы все было ясно и красиво. Романтика большого города и загадки его истории. Четверо лучших друзей, объединенных одними и теми же мечтами и неправильными взглядами на реальность. Споры, оканчивающиеся мирно, долгие разговоры, выставки, музеи, «творить». Каждый вечер, когда становилось совсем темно, я вела всех в Трептовер смотреть на ночное небо и, задыхаясь от восторга, рассказывала о том, что где-то там, наверху, есть тысячи параллельных миров, где есть и мы, но немного другие, не такие, как здесь и сейчас.

— Там есть сотни вариантов сегодняшнего дня. Например, в одном из этих миров мы с вами сейчас все переругаемся. А в другом — все это говорю не я, а Айс. В третьем — мы с вами

вообще не в парке, а сидим, как четыре филина, в гостинице. В четвертом — все происходит в будущем...

Но все же что-то было не так. С первых шагов по этому городу я отчетливо поняла: что-то со мной происходит, какая-то мысль пряталась и пряталась от меня, но то и дело вновь скользила: я здесь, я никуда не денусь, попробуй поймай меня! Лишь на третий день я поняла, что это: сама Германия, сам Берлин, с его замками, парками и ратушей с тридцатью шестью вывесками.

Я думала, что Берлин будет родной, знакомый из книг: набоковский, лужинский. А Берлин был загадочный, смутный, *как будто я когда-то уже исходила все его улицы, отстояла в берлинском соборе не одну службу, как будто на площади перед Ратушей слышала, как поет кто-то русскую песню про Волгу...*

Да нет же, не было такого, не была я никогда в Берлине!

И все же, казалось, Берлин был мне родным. И он был частью, вратами этой Германии, которую я и любила, и ненавидела, сама еще не зная за что.

Еще через день я оставила ребят, отправившихся на экскурсию в замок Шарлоттенбург, села на поезд и отправилась к бабушке в Баварию, в Швайнфурт.

По пути я смотрела в окно и думала: «Хотела бы я жить в Германии?» И понимала — нет, не хотела бы: «Меня не тянет сюда. Для меня здесь все чужое. Все правильное. Размеренное. Скучно-однотонное. Искусственное». Собственно, никто и не пытался заставить меня остаться в Германии.

Но — черт возьми! — был Берлин, который никак не хотел отпустить мое воображение.

В поезде со мной заговорила какая-то женщина. Сначала мы обменялись несколькими вежливыми фразами, но потом она заговорила чересчур быстро, и я попросила ее повторить помедленнее. Та насторожилась; я объяснила, что приехала из России и такую быструю речь разбираю с трудом. Она спросила:

— Warum haben Sie deutsche Familienname?[1]

— Ich bin Deutsch[2], — ответила я.

Она усмехнулась.

— Deutsch! Aus Russland![3] — возмущенно пробормотала она себе под нос, но так, чтобы и я услышала. — Deutsch!

— Deutsch, — пожала я плечами. — Как хотите.

Бабушка встретила меня на перроне.

— Oma Karina! — я вспоминала уже позабытые немецкие слова, пробовала их на вкус и говорила подряд все, что только могла вспомнить из немецкого.

Она выглядела великолепно. Я всегда поражалась: как можно иметь такой победоносный и задорный взгляд, пройдя через все, что она прошла? Но она — могла все.

— Oma Karina, was kannst Du... — и тут кто-то будто нажал кнопку стоп-сигнала.

— Karina?

Something's wrong[4]. Когда я не могу чего-то сказать по-русски, я всегда говорю это по-английски — так легче и точнее.

— Something's wrong, — снова отпечаталось в голове. И потом, без передышки: — Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong. Something's wrong, something's wrong, something's wrong...

Something's wrong!

Эта мысль все стучала у меня в голове, пока мы ехали в машине до дома. Я перебирала то, о чем мы говорили, — что могло натолкнуть меня на мысль о том, что что-то не так.

— Карина, — снова попробовала я это слово на вкус.

Это было уже дома, когда мы приехали.

Карина, Карина, Карина. Я чувствовала, как снова начинает кружиться голова, как я погружаюсь в старый, знакомый бред.

— Бабушка, а у тебя не осталось никаких старых фотографий?

Фотографии были, но очень мало. Я пересмотрела их все, но ничего не вспомнила. Ни единого знакомого лица, ни одного мало-мальски зацепившего мой взгляд здания или пейзажа, ни-че-го! Я стала снова пересматривать снимки. Мне казалось, что если я найду здесь хоть одну знакомую деталь, то все встанет на свои места. Берлин перестанет тревожить меня... нет, наоборот, нет, перестанет, нет, не перестанет... Я стала снова пересматривать все фотографии одну за другой — теперь уже намного медленнее, спокойнее. Снова ничего. Но на третьем круге я, наконец, нашла: у бабушки на платье была приколота брошка. Маленькая, аккуратная брошь из горного хрусталя, обычная. Но я вспомнила ее, такая же брошь была однажды на мне... когда? Когда это было? Все завертелось вокруг...

— Стоп! — сказала я себе. — Стоп!

Три дня я провела у бабушки, и за это время узнала о ней больше, чем за все остальные мои

[1] Почему у вас немецкая фамилия? (*нем.*)

[2] Я – немка (*нем.*).

[3] Немка! Из России! (*нем.*)

[4] Что-то не так (*англ.*).

семнадцать, вместе взятые. Конечно, я знала, что моя бабушка — очень сильный человек, что, когда ей было шестнадцать, ее сослали в Казахстан и она осталась совсем одна в чужом, голодном и по-военному суровом краю. Я знала ее всегда занятой тысячей дел, идеально выглядящей, подтянутой, деловитой, красивой и вызывающей зависть и восхищение у окружающих. Но, пожалуй, и все — я знала ее только такой, какой она стала после всех своих испытаний. А теперь я узнала, *как* она стала такой.

Мне было стыдно за себя. Стыдно, что лишь в семнадцать я, наконец, начала расспрашивать ее не только о том, что она делала в мои годы, но и о том, что она чувствовала. И все это оказалось таким интересным! Прошлое ее, настоящее, мечты, планы: она хотела отыскать свою Родину — местечко, где родилась.

Так бы и просидела тысячу вечеров в ее маленькой квартире за воспоминаниями... Но все-таки у моих вопросов была еще какая-то другая, смутная, неясная мне цель. Я еще не понимала, для чего я спрашиваю именно о том, об этом, для чего я прошу повторить еще раз какие-то фразы, отдельные эпизоды, почему мне кажется, что все происходящее я вижу своими глазами...

Но шаг за шагом все, о чем я не знала или только догадывалась, складывалось в цельную картину. Каких-то деталей еще не хватало, но теперь я знала, что все нитями-иглами завязано в один узел, и подхватывают меня эти нити, и несут куда-то...

— Aufwiedersehen, meine Liebe, — сказала я, обнимая ее на вокзале. Мы не прощались: бабушка обещала через неделю приехать в Берлин.

Поезд не ехал, а тащился. Так, с кучей шипящих посередине: тащщщшшшшшился... Но мне это было на руку: подумать было о чем, хоть переходи на английский или рисуй схемы.

— So. First of all. U've seen that on your own. U've done that yourself. U've...[1]

— Я была там! — влетела я в наш номер в небольшой берлинской гостинице.

— Ну же? — спросили они у меня. — Как?

Я не смогла сказать им, что имела в виду не Швайнфурт. Я не смогла рассказать им все, о чем я передумала, сидя с закрытыми глазами в поезде на Берлин.

«Нет. Я не заплачу. Не заплачу, — подумала я. — Нельзя так. Говорить об этом вообще нельзя».

[1] Значит, так. Во-первых. Ты сама видела это. Ты сама делала это. Ты... (*англ.*)

И вместо ответа на вопрос я выпалила что-то несуразное:

— Швайнфурт замечательный! — и перевела тему: — Слушайте, а вы верите в то, что сны — это правда? Да, и как вам Шарлоттенбург?

Почему я вдруг спросила про сны — сама не знаю. Просто так.

Вечером, уже собираясь ложиться спать, я случайно бросила на себя взгляд в зеркале. То, что я увидела в нем...

Конечно, ничего не происходит просто так.

Пора, пора возвращаться назад...

Здравствуй, Карина...

Знакомьтесь, это я

ВОТ она я,

по эту сторону зеркала. У меня черные волосы и ярко-синие грустноватые глаза. Запястья изрисованы красными полосками — вдоль, и обмотаны десятками фенечек — поперек. Это я на сегодня. Завтра я буду другой.

Вот она я,

по другую сторону зеркала. Я немного не такая. *За зеркалом* у меня каштановые волосы, карие глаза и озорной взгляд. Я одета очень странно — наверное, так одевались лет ... назад?

Я пытаюсь заглянуть за зеркало. Что там, за этим дерзким взглядом?

В ужасе отшатываюсь от зеркала. Мне страшно. Такого я и представить никогда не могла.

Это — взгляд человека совершенно *чужого*. Но это и *мой* взгляд.

Бред

ХОЛОДНО. МНЕ холодно.

Замерзшими пальцами обхватываю чашку горячего кофе и жду, пока от тепла оттают пальцы. Я и представить не могла, что в августе в Берлине может быть так холодно. Никогда не можешь представить себе чего-нибудь, чего не ожидаешь. Никогда не хочешь, чтобы приходило то, чего ты не ожидаешь. Скажем, ровно год назад я бы не поверила, узнав, что сегодня буду сидеть на подоконнике берлинской гостиницы и...

Вот на календаре — первое августа. Две тысячи четвертого года. А пусть будет сегодня седьмое ноября. Другого года.

Теперь для нас это как один час. Меньше, больше — какая разница?

Поэтому пусть будет седьмое ноября — для тебя и для меня.

Что случилось много-много лет седьмого ноября?

Седьмого ноября...

Седьмого ноября, седьмого ноября...

Да, то самое. И не только.

Седьмого ноября год назад, два года назад, десять, двадцать, сто лет назад кто-то появился на свет. Мы почему-то редко об этом думаем, а, между прочим, пока я это пишу, а ты читаешь, на свет появляются новые люди, которым суждено развязать третью мировую войну, взорвать ядерную бомбу, первыми высадиться на Марсе, сломать ногу в день своего совершеннолетия и изменить мир. Но мы-то с тобой этого не знаем, да не так уж и интересно думать о том, что может случиться в будущем. Потому что этого может и не случиться.

Поэтому будем говорить о том, что уже случилось. Про то, что происходило в прошлом, нельзя сказать: да ну ты, брось, все было совсем не так.

Впрочем, я уже заболталась. Давай я расскажу обо всем, что действительно случилось со мной, а ты сам решишь, верить мне или нет.

И знаешь, я пойму, если ты не поверишь мне, когда я скажу «я умерла, и меня больше не было». Это ведь совсем не похоже на правду. Но постарайся поверить мне, пожалуйста.

Ты видишь меня — значит, я есть. Я ничего не выдумываю, это все было, было на самом деле, просто, наверное, происходило в другом времени. Я так думаю. А что подумаешь ты — решать тебе.

Тема закрыта.

Начнем?

Началось все года три назад. Весной. Я лежала в постели и устало наблюдала за тем, как последний лучик уходящего солнца скользит по моему подоконнику. Это был один из тех дней в начале апреля, когда солнце уже светит очень ласково, а зима еще не спешит поддаваться его мнимому обаянию и уходить.

Температура медленно, но неуклонно поднималась, отталкиваясь от сороковой отметки. В горле как будто поработали валиком из наждачной бумаги. Меня лихорадило, бросало то в жар, то в холод.

— Сон и покой, — сказала врач со строгими глазами. И написала на листке шесть названий разных лекарств — вдобавок ко сну и покою.

Спать я не хотела и не могла. Как только закрывались глаза, начиналось что-то странное и страшное. В воздухе надо мной повисали шары — небольшие, гладкие, как для игры в бильярд, белые. Я знала, что их тридцать три и что нужно построить из них треугольник, но у меня не получалось, треугольник рушился и приходилось начинать все сначала, а я почему-то знала, что это плохо, очень плохо...

Солнце давно погасло, и в комнате едва можно было различить смутные очертания мебели.

— Легси, ты спишь? — мама вошла в комнату.

Я молча покачала головой — говорить не могла. Она положила мне на лоб холодную, ледяную почти ладонь.

— Тебе нужно спать.

...Потолок медленно опустился надо мной, стены придвинулись. Я приподнялась и поняла, что это — *другая* комната, *моя*, но *другая*. Чуть поодаль я увидела стол. На нем стоял зажженная свеча в тарелочке. В комнате были две кровати — моя и еще одна, на которой лежала маленькая девочка, лет, наверное, пяти. Рядом с ней на стуле сидела женщина — я видела ее первый раз в жизни, но точно знала, что это *моя мама*. Я хотела спросить, как попала сюда, но не смогла ничего произнести. Оставалось только молча разглядывать потолок. И снова с него посыпались шары — белые, гладкие, числом тридцать три. Я принялась строить треугольник...

Первый шар, второй третий... Аккуратно я уложила нижний ряд. Потом, по одному, начала выкладывать поверх него второй слой. Но как только я положила девятый шар, треугольник снова рассыпался... Я начала все сначала...

Треугольник рассыпался каждый раз, когда я доходила до третьего ряда. Один раз только я смогла сложить двадцать восемь шаров — но на двадцать девятом они снова разлетелись...

Время тянулось, как кисель. Откуда-то издалека я услышала голоса, мужской и женский:

— Lina geht es ganz schlecht. Fürchte, das Sie denn Morgen nicht erlebt[1], — женский голос дрожал.

— Aber Karina?[2]

— Etwas besser, nur die Temperatur steigt dauernd[3].

— Kann Mann Sie nicht runterschlagen?[4]

— Nein, Doktor sagte, das von einem Umschlag es nur schlimmer verden kann. Wenn wird die Temperatur nich anhalten, dann auch Karina...[5]

— Was?[6]

---

[1] Лине совсем плохо. Боюсь, она не доживет до утра (*нем.*).

[2] А Карина? (*нем.*)

[3] Немного лучше, но температура продолжает подниматься (*нем.*).

[4] Ее никак нельзя сбить? (*нем.*)

[5] Нет, доктор сказал, что от компрессов станет только хуже. Если мы не сможем остановить температуру, то и Карина... (*нем.*)

[6] Что? (*нем.*)

— In einer Nacht verlieren wir zwei Kinder: diese — она указала на Лину, — erstickt, und diese — verglüht[1].

«Лина — это моя сестра, — подумала я сквозь сон. — Мы с ней болеем... у нас скарлатина... кажется, в селе у всех скарлатина...»

К моей кровати подошел мужчина с очень грустными и добрыми глазами. Это был *мой папа*, хотя и его я тоже видела впервые в жизни.

— Karina...[2]

— Papa, — прошептала я, жадно глотая воздух для каждого нового слова. — Papa, heute sterbe Ich? [3]

— Nein, — ответил он уверенно. — Du stirbs nicht[4].

Я откинулась на подушку. Шары висели надо мной, я испугалась, что, как только папа отойдет, мне снова придется собирать их.

— Papa, dort sind Kugeln[5], — я слабо махнула рукой.

— Welche Kugeln?[6] — спросил он очень серьезно.

— Dort... so welche weise. Sie fallen[7].

Не знаю, понял папа меня или нет, но он остался сидеть рядом со мной. Я закрыла глаза и провалилась в пустоту. Потом почувствовала, что мне на лоб положили что-то холодное, влажное, хотела сказать спасибо, но сил не было...

Не знаю, сколько дней длился мой сон. Когда я вынырнула из вязкой темноты, было светло, хотя окна были зашторены. Я чувствовала себя плохо, но никаких шаров надо мной не было, и я подумала, что, значит, я поправлюсь. Я лежала на кровати с открытыми глазами и вдруг увидела, что на соседней кровати — большая кукла. «Откуда здесь такая кукла?» — удивилась я. На ней было красивое белое платье, ангельские светлые волосы аккуратно расправлены на подушке. Я приподнялась в кровати.

«Это Лина... — с ужасом поняла я, — Лина. Я не умерла, а она умерла...»

— Karina, bist Du aufgewacht?[8] — кто-то позвал меня шепотом. Это была мама, во всем черном.

— Ya[9], — ответила я, поняв, что теперь могу произносить слова.

— Mama, ist Line gestorben?[10] — Мама кивнула, и по ее щекам потекли слезы.

Только теперь я увидела, что глаза у нее красные, заплаканные.

— Mama, und Renate, Sabine, Irma, Helge — Sie sind nicht gestorben?[11]

— Nein, Karinchen, Sie sind nicht gestorben, und Du auch nicht. Du wirst leben[12].

Потом я услышала колокольный звон. Начали звонить в маленькие колокола — значит, умер ребенок. В это время люди выходили на улицу и цепочкой передавали в оба конца, кто умер. Так оповестили все село, что умерла наша Лина.

Я еще несколько дней провела в постели. Потом начала вставать, ходить понемногу. Но одним утром проснулась от холода. Меня трясло в ознобе так, что стучали зубы. Теперь в меня вцепилась малярия. Родители испугались — от малярии уже умерли несколько человек в селе.

Они снова не отходили от меня днем и ночью. Иногда я просыпалась, видела на стуле около своей кровати спящих отца или маму и снова проваливалась в сон.

Один раз ночью проснулась — почувствовала, что меня подняли на руки и несут куда-то прямо с одеялом и подушкой.

— Papa, wohin trägst Du mich?[13]

— Du, Karinchen, schlafe. Wir fahren weg[14].

Я не удивилась. Уже было такое — к папе приходили какие-то люди, и потом мы ночью сели на телегу и уехали в другое село. Родители тогда не сказали нам ничего, но мы слышали обрывки разговоров и поняли, что нам надо уехать, потому что мы — немцы и потому что папа — учитель.

Папа с мамой аккуратно положили меня на дно телеги, мама укрыла сверху еще двумя одеялами, а голову положила себе на колени. Рядом уже сидели мои сестры, серьезные, сонные. Испуганные. Мне вдруг тоже стало страшно.

— Mama, wir fahren wieder weg, weil wir Deutsche sind?[15]

— Was führ eine Dummheit! Schlafe, Kind![16]

---

[1] В одну ночь теряем двух детей. Эта — задохнется, а эта — сгорит (*нем.*).

[2] Карина... (*нем.*)

[3] Папа, папа, я сегодня... умру? (*нем.*)

[4] Нет, ты не умрешь (*нем.*).

[5] Папа, там... шары (*нем.*).

[6] Какие шары? (*нем.*)

[7] Там... белые такие. Они... падают (*нем.*).

[8] Карина, ты проснулась? (*нем.*)

[9] Да (*нем.*).

[10] Мама, Лина умерла? (*нем.*)

[11] Мама, а Рената, Сабина, Ирма, Хельга? Они не умерли? (*нем.*)

[12] Нет, Кариночка, они не умерли, и ты тоже нет, ты жить будешь... (*нем.*)

[13] Папа, ты куда меня несешь? (*нем.*)

[14] Спи, Кариночка, спи. Мы уезжаем (*нем.*).

[15] Мама, мы опять уезжаем потому, что мы — немцы? (*нем.*)

[16] Тссс... Что за глупости? Спи, ребенок, спи (*нем.*).

— Nein, ich weiß es genau, aber fahren Wir weit?[1]

— Ya, weit...[2]

Тут я, *Легси*, очнулась. Я болела не так сильно, как Карина, и скоро поправилась. Потом я не раз вспоминала тот сон. Решила, что мне все приснилось, что это было из-за высокой температуры. Но...

Снова и снова.

В следующий раз, кажется, была середина октября. Раннее утро. Я шлепала по вязким осенним лужам, не глядя по сторонам. Наверное, и тогда было так же холодно, как и сегодня. Я куталась в шарф, цеплялась за разломанные мысли, а люди, смотря на меня, наверное, думали что-нибудь вроде: у этой девушки большое горе. Или: ей плохо. А мне было все равно, что могут представить себе эти чужие, посторонние люди, все равно, кто они такие. Если бы ко мне подошли с любым, самым простым вопросом — я бы даже не заметила.

Мне было одиноко. *И я снова была не я*. Там, где была я, людей не было вообще. Ветер пронизывал до костей и бросал в лицо ледяные иголки.

...Почему стало так холодно, ведь я тепло одета? И почему здесь никого, никого нет?

...Я огляделась по сторонам. Снег, везде, куда ни посмотри, один снег...

Я потерялась.

Мне было страшно.

Айс

СЕМНАДЦАТЬ.

Исполняется мне сегодня. Отличная дата, отличный повод.

Ночью мы отправимся dance. А пока мы сидим в этой пыльной, полутемной комнате, затерянной глубоко в недрах музыкальной школы. Лето, здесь пусто, за дверью не раздаются быстрые шаги, не слышно топота ножек первоклассников, сгибающихся под тяжестью своих первых нот.

Не скрипит скрипка,

не гудит гитара,

не бьет барабан. Тихо-тихо-тихо. Мы идем по коридору, сворачиваем то в одну сторону, то в другую, и я понимаю, что без Эйлина мы не выберемся наружу. Кажется, мы попали в лабиринт Минотавра.

— Эйлин, ты нас потом выведешь отсюда, точно? — спрашиваю я.

— Ты вообще знаешь, куда мы идем? — добавляет Айс.

— Конечно, — с укоризной смотрит он, — мы уже пришли.

Из связки старых ключей он выуживает нужный, и — медленно, нехотя открывается перед нами дверь. Эта школа — она, наверное, одна из самых старых в городе. Я никогда не видела, чтобы в простой школьный кабинет вела такая дверь — дубовая, резная, потрескавшаяся.

— Сейчас, свет включу, — говорит Эйлин, но я его останавливаю:

— Тссс, не надо.

Постепенно все предметы очерчиваются в темноте и принимают свой истинный облик. Мы в огромном балетном классе; все стены — зеркальные, и у меня мелькает смутное ощущение дежавю — столько меня сразу, со всех сторон... Деревянные полы, прохладные даже на вид, и хочется в пылающий летний день снять обувь и пройтись по ним босиком. В углу — покосившиеся кресла, кривоногий столик. И шторы на окнах — тяжелые, пыльные. Я трогаю одну из них, но сразу резко отдергиваю руку — а вдруг там кто-то живет? Айс тихонько проходит к стоящему в дальнем углу пианино — его-то я не заметила.

— Начнем? — спрашивает она, и Эйлин поднимает крышку, стирает пыль с клавиш.

— На этом пианино еще мой учитель играл в детстве, — говорит он.

Айс благоговейно проводит пальцем по крышке.

Пока Эйлин разыгрывается, я подхожу поближе и сажусь в кресло, Айс устраивается совсем рядом с пианино.

Эйлин — бой-френд Айс, и бой, и френд.

Она его любит. Он любит ее. Она об этом знает. Он об этом знает. Но не любит говорить.

Он: «I love you».

Она: «I know».

И так всегда.

Айс... Очень давно, пока еще наши сантиметры роста не полетели ввысь так стремительно, мы с друзьями каждую субботу катались в парке на роликах. Как-то мы с Айс укатили неизвестно куда и, упав на скамейку, заговорили о... О дружбе — так, как об этом говорят в двенадцать лет... Плюнув на ладони, мы скрепили клятву вечной дружбы рукопожатием.

Она вытаскивала меня из депрессняков, звонила раз в час, приезжала ночью.

Я держала Айс за руки, искала ей стимулы, лечила кровью.

[1] Нет, я знаю точно. А мы далеко едем? (*нем.*)

[2] Да, далеко... (*нем.*)

Я не умею говорить про дружбу так, чтобы это действительно *звучало*. И еще меньше умеет говорить это Айс. «О, это так слащаво!» — говорит она в ответ на любые проявления чувств. Поэтому Эйлину она и в будущем ответит: «Я знаю».

Эйлин — это... а впрочем, я уже сказала, что он — мой друг. Что еще сказать?

Итак, мне сегодня исполняется семнадцать. Я, Айс и Эйлин пришли в по-летнему пустую музыкальную школу, чтобы Эйлин сыграл для меня «Венгерскую рапсодию» Листа. Эйлин — он очень талантливый, слышу я.

...Эйлин, спасибо.

Нас с Эйлином объединяют две любви: любовь к музыке и любовь к Айс.

— Я тебя люблю, — говорит он ей.

— Я тоже, — смеюсь я.

Айс спрыгивает со стула.

— Ну что, пойдем? — громко спрашивает она, направляясь к двери. И, оборачиваясь, тихо добавляет: — Я вас тоже. Ну что... может, пойдем уже, а?

Карина

Я, КАРИНА, родилась в субботу седьмого ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года в час ночи при убывающем полнолунии в селе Моргентау, Гнаденфлюрского кантона АССР, немцев Поволжья.

Моргентау — Рассвет. Значит,

Я родилась ночью в Рассвете. Значит,

Все было перемешано с самого начала.

Сейчас Моргентау на карте уже не найдешь, теперь оно называется *село Нестеровка, Ершовского района, Саратовской области, Россия.*

До девяти лет мы жили там и говорили только на немецком.

Но когда мне было девять лет, нам пришлось уехать из Моргентау.

Меня часто спрашивали: почему?

«Потому что мой отец был врагом народа», — отвечала я. И снова натыкалась на вопрос: почему? Я не знаю. Считалось, что он враг народа, потому что получил образование при царизме. А раз так, значит, ему жилось хорошо.

Из-за этого в последние десять лет жизни моего отца нам семь раз пришлось покидать свой дом. Чаще всего ночью, захватив то, что могли унести, мы тайком бежали от угрозы уничтожения всей семьи. В ...-м году — в Нейдорф, потом в Ершово, затем в Орлово-Гай, где прожили три года. Год провели в Новоузенске. Два года в селе Куриловка

Всегда это было по-разному. Сначала — страшно. Потом страх стал привычкой, осталось только изматывающее чувство усталости. Мы знали, что так будет повторяться снова и снова — до тех пор, пока мы не исколесим все темные уголки, пока не доберутся до нашего последнего прибежища. Хотя... все могло быть и по-другому. Однажды мы просто не успеем уйти. И... что дальше? Мы жили под сверкающим острием дамоклова меча; он висел так низко, что иногда чуть-чуть не оставлял на нашем плече огромный рубец. Но до поры до времени все обходилось: всегда находился кто-то, кто помогал нам, предупреждал в последнюю минуту, отводил удар.

Помню, однажды вечером к моему отцу пришел старый друг. Сел, облокотившись на стол, и тихо сказал:

— Саша, за мной придут сегодня вечером. За тобой — завтра. Спасай семью, у тебя есть еще один день.

В сорок два года моего отца не стало. Это было в декабре сорокового года.

В сорок первом... в сорок первом за нами пришли.

...Сорок один, сорок два, сорок три...

Лиций

С ЛИЦИЕМ МНЕ случилось познакомиться... скажем, почти случайно; знай я тогда, что этот парень с электропилой сыграет такую большую роль во всем, что мне случится сделать, наверняка бы постаралась себя к этому подготовить; наверняка бы этим все было испорчено.

Но нет, с Лицием я познакомилась... скажем, почти случайно.

Как-то в ЖЖ[1] я наткнулась на объявление:

ОТКРОЮ ТРЕТИЙ ГЛАЗ
ПОДРУЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
БОЛЬНО И ОПАСНО,
МЕСТАМИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО.

Полистав дневник Лиция и поведясь на честность, я списала семь цифр его телефона и вечером же позвонила. Никто не поднимал, я снова зашла на livejournal и оставила в дневнике Лиция коммент[2]: «Готова попробовать. Подручный предмет по выбору?» Оказалось — по выбору. В голову пришли только нож и плоско-

[1] Интернет-сайт, где любой желающий может завести дневник.

[2] Если автор дневника не предусматривает обратного, то записи в дневнике могут прокомментировать все желающие.

губцы, я выбрала нож, попозже вечером перезвонила Лицию и договорилась о сеансе на завтра.

Утром в голове вертелась только одна мысль: «А можно красить ресницы тушью или нет?» Чувствовала себя глупой и отчаянной.

В десять я уже стояла перед дверью квартиры, указанной мне Лицием, и думала: звонить — не звонить. Нож, казавшийся холодным даже сквозь стенку сумки, намекал на то, что пора делать ноги.

«Глупо, — подумала я, — доверять свои глаза ножу совершенно незнакомого человека».

«Не незнакомого, а лже-юзера. У него классный дневник».

«Дневник, дневник... Ну и что, что дневник?»

Я повернулась и посмотрела в окно.

«Пожалуй, я все-таки пойду. Сорри, Лиций», — я направилась к лестнице.

Дверь за моей спиной с шумом распахнулась.

— Легси? Привет. Ну как, не раздумала?

— Знаешь... Вообще-то, раздумала.

Так мы молча стояли на лестничной площадке, смотря друг на друга. Я разглядывала Лиция: он был таким, как я и ожидала. Вид погруженный в себя, но не потерянный. Светлоглазый. Спокойный. Он мне очень понравился.

— Не сходи с верного пути, — наконец, сказал он, затем неожиданно рассмеялся и добавил: — Да не бойся, все будет окей!

— Точно?

— Надеюсь, — подмигнул он.

«Хотя бы честно», — подумала я и сделала три шага вперед.

— А это больно?

— А ты наркоз переносишь? — ответил он в тон.

— А я без наркоза хочу.

— А тогда больно.

— А... тогда... ну и ладно.

— Заходи, — посторонился он.

Я зашла, сняла пальто, повесила его на крючок, вытащила из сумки нож.

— Подручный предмет...

— А, да. Так, — он повертел нож в руках, — лезвие не такое тонкое, как, — взгляд на меня, — тебе нужно, ладно, у меня есть другой.

— А он у тебя стерильный? — навострила я уши.

— Сейчас будет, хотя, в общем-то, это необязательно.

Я пошла за Лицием в комнату — он достал нож с черной ручкой и опустил его в квадратную стеклянную колбу с какой-то зеленой жидкостью.

— Это что?

— Стерилизатор. Боишься?

— Еще как. А вдруг ты — серийный убийца какой-нибудь?

— А разве я похож?

— Мало ли? Может, и похож, может, и нет, я не знаю, как они выглядят.

— Не совсем так, как я. Хотя мне тоже не доводилось встречать. Ну, начнем?

...Загадочный человек этот Лиций. До сих пор не знаю, как я решилась встать под нож из этой зеленой субстанции, но что-то во взгляде держащего его человека подсказывало: все в порядке, бояться нечего. Да, я могла бы уйти — дверь Лиций оставил открытой. Но вместо этого я сказала:

— Давай все-таки с наркозом.

Он кивнул.

...Пробуждение я помню плохо. Ужасно саднило лоб, хотелось пить, и голова раскалывалась. Я открыла глаза и увидела, что повисла на каком-то кресле; напротив, за окном — багровеющее небо с прилипшим оранжевым солнцем.

«Небо горит. Пора звонить пожарникам», — подумала я и вышла в коридор.

Из другой комнаты — ура! кухня! вода! — вышел Лиций.

— Ты как? — коротко спросил, вид был самый что ни на есть озабоченный.

— Я хочу пить. И еще зеркало, — я страшно боялась, что на лице останутся шрамы.

Лиций ушел в кухню, а зеркало я сама увидела на стене.

Ни порезов, но ссадин, ни шрамов. Я закрыла глаза, открыла, снова на себя посмотрела. Я выглядела так же, как и утром.

— Почему на мне нет порезов от ножа? — спросила я, выхватывая у Лиция стакан с водой.

— А почему они должны быть?

Молчание.

— Но... операция прошла успешно, так?

— Вполне, и даже более чем.

— Здорово. Подожди, а... что теперь?

— А теперь все зависит только от тебя. Захочешь — что-то сможешь. Не захочешь — не сможешь.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, ты сама знаешь, писала об этом в своем ЖЖ.

— Ты читал мой ЖЖ?

— Конечно, а как бы я тебе тогда открывал третий глаз?

— Тоже логично.

— У тебя интересный дневник. Только торопливый какой-то, как будто ты спешишь и всегда недосказываешь чего-то.

Так состоялось наше знакомство. Проговорив еще часа три, не только о третьем глазе, мы поняли, что, наверное, нам есть о чем поговорить.

— Все только с помощью большой и большой работы, — предупредил меня Лиций, когда я, поздно вечером уже, накинув капюшон, садилась в такси.

Я над этим работаю.

Война

...ОГРОМНЫЙ УРАГАН надвигается прямо на меня; бросает в лицо кривые палки, изогнутые заклинанием старой карги-ведьмы; комки бумаги с криво набросанными строчками, ведра, грязные метлы, ружья, камни, песок — все это летит на меня, ударяя и оставляя следы, рваные царапины. Каждый следующий предмет — сильнее предыдущего: они вытягивают из меня силу, я это чувствую, но не могу сопротивляться: камешки становятся огромными булыжниками, все больше и больше, больше! Больше! Уже огромный валун катится на меня, а я не могу сдвинуться с места: вся моя сила ушла в него. Он надвигается на меня, и я, мысленно ругая себя за слабость, закрываю глаза...

Вдруг. Пробуждение. Саднит в висках, больно пошевелиться; осматриваюсь. Я не дома. Пытаюсь вспомнить, как здесь оказалась, — не могу. «Я подумаю об этом, когда проснусь».

Снова просыпаюсь, на этот раз — от знакомого гудка будильника, нащупываю сотовый телефон и отключаю звук, смотрю на экран: двадцать второе июня, половина восьмого утра.

В памяти всплывают отрывки ночного кошмара, с испугом оглядываюсь по сторонам: где я? Знакомые очертания... я дома; странный сон; улыбаюсь...

22 июня 1941 года.

— Ирма, сколько сейчас времени? — спрашиваю я у сестры.

Солнце бьет ей в глаза, она прищуривается.

— Где-то четыре, наверное.

— Карина! Ирма! Пойдемте в круг, танцевать! — кричат нам — сегодня в Куриловке одновременно шесть свадеб, вся деревня гуляет. Четыре часа пополудни. Половина пятого.

В пять часов по улицам едут вестники:

— Всем срочно собраться на стадионе! Началась война!

— Что это, шутка? Война, — это слово повторяется всеми подряд на разные лады. — Война, война, война!

Гул растет. Мы с Ирмой выходим из круга и бежим к матери. Мама, что значит — война?

Вместе со всеми спешим к стадиону; он переполнен. Огромное море бушует, переплескивая через трибуны, все пытаются друг друга перекричать, наконец, кто-то один запрыгивает на трибуну и машет рукой с зажатым в ней листом бумаги.

В четыре часа германские войска бомбили Киев, другие пограничные пункты.

Страна узнала об этом лишь спустя двенадцать часов.

Сталин запрещал открывать встречный огонь, доказывая, что это — провокация. Бряцающие и клацающие войска продвинулись на сотни километров внутрь страны, они рвали ее на части и грызли железными зубами.

Россия, очнувшись ото сна, вскочила на военные рельсы.

Нужно было срочно перенести все фабрики, заводы, по возможности, с запада на Восток — **в Сибирь**, **Казахстан**, **на Урал**.

В первые месяцы миллионы советских солдат попали в плен.

Ленинград не сдался более чем за девятьсот дней блокады.

А мы тогда, двадцать второго июня, стояли на стадионе, слушали сообщения о начале войны, переглядываясь. Каждое лицо означало: страх. Все прекрасно понимали, что такое война с Германией: война с немцами.

Германские войска продолжают наступление.

Мир вдруг стал огромным; те километры огромной страны, которые раньше воспринимались, как что-то единое и непостижимо огромное, разделились, разбились на полоски и стали измеряться цифрами, городами, о которых мы раньше не слышали, и снова цифрами: «Враг продвинулся на столько-то километров», «Враги захватили город N*». Враги — это были немцы. А немцы — это были мы.

И мы вдруг стали очень маленькими в этом растянутом до пределов мире.

Переселение АССР немцев Поволжья и немцев Крыма, Украины, Кавказа было произведено благодаря гениальному и мудрому решению партии и правительства во главе с отцом, учителем, другом и сыном трудового народа, вождем и впоследствии генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Крестик, крестик, еще два крестика на карте, еще множество их было поставлено рукой Ста-

лина, и, наконец, в августе сорок первого года вышел указ о переселении всех немцев с европейской территории СССР в Азию. Миллионы людей грузили в скотные вагоны и увозили нах Остен.

Сталин — наша слава боевая!
Сталин — нашей юности полет!
Великому Сталину — ура!

Мудрому вождю, учителю, отцу
И другу — Слава! Ура!

Спасибо товарищу Сталину
За наше счастливое детство!!!

По списку мы заходили в вагон. Оконца в нем были очень маленькие, зарешеченные, и от этого вагон казался еще теснее и угрюмее. Хорошо, что в окнах хотя бы не было стекол, и через маленькие эти квадратики к нам проникал воздух. Мама, я и две мои сестры — старшие Рената и Сабина с нами тогда уже не жили — протиснулись друг к другу и уселись на своих узлах. Помню, я все хотела спросить у мамы — куда мы едем? Но понимала, что и мама знает столько же, сколько я, поэтому молчала. Из Куриловки вывезли, кроме нас, еще шестерых — всего одиннадцать человек. Охранников с нами было пятнадцать.

Поезд наш ехал по ночам, а днем мы стояли в степи — останавливались у какого-нибудь водоема, чтобы все могли умыться, попить воды. Через одиннадцать дней нас выгрузили на станции Кай-Багор, в Кустанайской области — прямо на путях: вокзала там не было. Три ночи мы провели, греясь у костров, на четвертый день ближе к полудню пришли подводы. На них мы погрузили вещи, а сами побрели следом.

Так мы прибыли в Маршановку.

Фиолетовый куб. Красный шар

В ЭТОМ ОГРОМНОМ фиолетовом кубе не чувствуешь своего веса и не удивляешься, обнаружив, что сидишь, скрестив ноги, в воздухе.

Сквозь прозрачные стенки куба я вижу, что происходит снаружи. Люди просыпаются, потягиваются, зевая, идут на работу, бездельничают, отдыхают, гуляют, смотрят фильмы, женятся-разводятся... и все это — не поднимая глаз. Мне обидно, что и я — такая же, я также живу своей воображаемой полной жизнью и не замечаю, что, может быть, из огромного фиолетового куба, прижав ладони к стеклу, я в любой момент пытаюсь достучаться до самой себя. Я слепа, как и все вокруг. Я себя не вижу. И пусть этот фиолетовый куб упадет прямо перед моим носом — я пройду и не замечу его.

Поэтому я постепенно привыкаю к тому, что бесполезно что-то доказывать самой себе, но есть еще другой путь — сложнее и гораздо интереснее. Я слежу за каждым своим шагом.

...Однажды мой куб загорается, начинает полыхать красным пламенем, и стенки его разгибаются, меняют форму. Чувства страха нет. Вокруг меня порхают багровые искорки; я ловлю одну из них за хвост; она не обжигает меня, а вдруг оборачивается маленькой рыбкой и заглядывает мне в глаза с потаенной надеждой. Я чувствую себя царем, богом, ведь я — властелин этого куба.

— Плыви! — отпускаю я рыбку, и она, вильнув хвостом, исчезает.

Вокруг меня много таких искорок, они сливаются в потоки и начинают в бешеном темпе вращаться вокруг меня; страшно. Мой уютный куб дрожит, изгибается... и вдруг превращается в огромный багровый шар, пышущий духотой.

Жарко.

Напротив меня, открыв космосу ладони, в позе лотоса сидит Лиций. Он что-то говорит, но я не слышу его, как будто чья-то рука отключила нам звук. Но его дыхание становится... видимым; он говорит, и между нами возникает завеса из золотистых букв его слов. Я читаю их, неровными глотками, быстрее, чем они успевают появляться в воздухе:

— Поговорим о жажде. Это чувство может осесть надолго. Самая обычная физическая жажда, желание зачерпнуть рукой из центра Вселенной, пить, пока не кончится вечность. Так вот, Она жжет спички возле моих глаз и кладет их в воду, эту воду я выпиваю и... наваждение проходит. Пытаюсь пересчитать количество спичек в Ее руке. Первая, я собираюсь с мыслями и вдумываюсь в Ее слова. Вторая, я соглашаюсь с Ее первой фразой; третья, появляется противоречие; четвертая, пытаюсь почувствовать, как Она читает мои мысли, если... — он делает паузу, *— если Она их вообще читает. Пятая, понимаю, что неплохо было бы все это записать. Шестая, вспоминаю какую-нибудь грубость, в чем после раскаиваюсь, и пытаюсь быть Ей во всем благодарным. Седьмая... или все же восьмая?*

Я открываю в ответ свои ладони и начинаю говорить. Золотистая пыль срывается с моих губ и вьется перед Лицием. Я не знаю, что говорю, я не знаю, что он сейчас читает. Потом хо-

лодный голос в висках начинает читать вслух то, что, должно быть, было на языке:

— Я чувствую себя одетой в огонь. Или в лед, среднего состояния мне давно уже не дано. Привычно и волнующе для меня — первое, но обычно, увы, второе: я выпадаю из секундной эйфории и перестаю чувствовать, как горячая кровь течет по венам, — наверное, она замерзает. Вместе с ней — и я: меня хватает от силы на час-два, потом — провал, час-два — снова нет сил, вспышка, эйфория... глупо, но знаешь, как это изматывает? Не вижу никакой конкретики, не хочу приземленности, закрываю глаза на реальность, не хочу останавливаться и закрывать мир в себе. Потеряла счет времени.

Лиций протягивает ко мне руки и прорывает завесу наших слов. Я вижу струящийся из кончиков его пальцев огонь. Огонь собирается в один трепещущий комок; по губам понимаю, что Лиций велит мне взять его. Складываю ладони ковшиком и осторожно забираю огонь. В моих руках пламя разгорается. Поднимаю руки над головой и развожу их в стороны, рисуя вокруг себя большой круг.

Не успеваю дорисовать. Раздаются удары, треск, стенки шара ломаются, между мной и Лицием появляется преграда, вижу чьи-то лица, крики, кровь, становится не по себе, сквозь меня кто-то проходит, Лиция больше нет, шара нет, все охватывает багровое пламя, оно неожиданно обжигает...

После этого я не помню ничего.

Зимняя

ЗИМНЯЯ. ЭТО ОДНО их тех знакомств, которые будто бы случайны, а на деле — так должно было быть.

Познакомились мы в Интернете. Нет, на курсах китайского. Нет — в метро.

Да, именно в метро.

Поезд тряхнуло на повороте, меня бросило на стоящую рядом девушку, а ее, в свою очередь, на другую девушку, которая что-то читала. Пока мы собирали свои упавшие вещи, двери вагона открылись на станции «Библиотека имени Ленина», и выяснять, где чьи книги, пришлось уже...

— Кажется, это моя книга, — нахмурилась девушка — та самая, с книгой, на которую бросило девушку, на которую бросило меня.

Я держала в руках «Пособие для изучающих китайский язык». У меня тоже была с собой такая книга.

— Извините. Просто у меня такая же.

Девушка внимательно посмотрела на меня, и рассмеялась.

— Я помню! Тебя зовут Легси.

До курсов мы дошли вместе, вежливо разговаривая на общие темы — о книгах, кино, о том, что-де среда заела.

Оказалось, что тем для разговора в нейтральных тонах у нас было много. И еще больше их открывалось, стоило хоть чуть-чуть переступить эту черту нейтральности.

Зимняя меня потрясла. В ней было — и навсегда сохранилось — то, что сейчас так редко встретишь в людях: цельность и уверенность в собственном пути.

Наверное, именно из-за этого Зимняя оказалась самым живым человеком из всех, кого я знала.

Она ни под кого не подделывалась и была не похожа ни на кого. Когда мы стояли в метро, я насмотреться не могла на ее ботинки. Это были симпатичные желтые лодочки на огромной платформе, со скалящимися зубами на носу и клыками. Я думала — забавно будет, если я не отдам этой девушке учебник по китайскому, а она возьмет и скажет своим ботинкам укусить меня за ногу: они — как дернутся, и я — как останусь без одной ноги.

Но несмотря на эти ботинки и еще тысячу деталей, не вяжущихся ни с героинями Тургенева, ни с Изольдой, ни с кем из милых монахинь, в Зимней была какая-то очень твердая и несокрушимая духовность. Она всегда была уверена в себе и своем пути; если ошибалась — не стеснялась свои ошибки признавать и исправлять. Не знаю, откуда в ней это было — хотя... глупо задавать такой вопрос. Конечно, от Бога.

Конечно, это все я о ней узнала много позже того, как мы познакомились. В тот раз мы просто пришли вместе на курсы, обменялись номерами телефонов, пару раз отправили друг другу по смс.

На самом деле мы подружились благодаря Живому Журналу. Она вела дневник — я вела дневник. В моей инфе я указала номер аськи — она послала мне запрос на авторизацию.

Она поздоровалась — я ответила.

Я спросила как дела — и она честно ответила: «Хуже некуда».

Вот с этого момента, наверное, все и началось.

Если бы Зимняя тогда сказала: «Да нормально все», вряд ли бы мы разговорились. Да, в какой-нибудь из параллельных реальностей мы бы все равно подружились, просто какими-то другими тропами все сложилось бы в нашей

жизни. Но она честно призналась, что дела идут плохо, и, пока мы переписывались о том, почему — плохо, шаг за шагом мы за одну ночь общения и чтения от первой до последней записи дневников друг друга залезли так далеко в each other's souls, что дальше уже просто некуда было.

Оказалось, что мы похожи. В том же, в чем мы не были похожи, мы были полной противоположностью друг друга.

Зимняя была высокой рыжеволосой хиппистайл-девочкой с огромными карими глазами. Я – Белоснежка из параллельной реальности.

На курсы китайского я забрела случайно. Мне хотелось попробовать, хотя бы по чуть-чуть, всего, что я не знала. Поэтому когда однажды, идя по улице, я наткнулась на вывеску: «Курсы китайского языка», не раздумывая ни минуты, я вошла внутрь, узнала, что через месяц будет набираться группа новичков, и оставила телефон.

Вскоре я уже корпела над словарями и глохла в лингофонном кабинете.

Зимняя же бредила Китаем, болела им. Ей на момент нашего знакомства было семнадцать лет, как и мне. Но у меня будущее было одним большим знаком вопроса. У нее — одним большим иероглифом. Все, что могло касаться ее будущего, так или иначе касалось Китая.

Ее шпильки, ее книги, ее музыка, ее танцы, ее философия, ее одежда — все оказывалось связанным с Китаем.

Потом я познакомила Зимнюю с Айс и, пока они отгадывали мысли друг друга и по очереди произносили их вслух, пила горячий шоколад. Так и должно было быть — они отражали друг друга. Тут мне позвонил Лиций и решил тоже к нам присоединиться; а приехав, не растерялся, быстро считал все с наших лиц и сказал:

— Вот и замечательно, — и заказал двойной эспрессо.

Все теперь были так или иначе окольцованы — *это тоже потом сказал Лиций*.

Рената

В СОРОК первом... да, это было в сорок первом... Тогда за нами снова *пришли*, тогда мы уже не успели да и не могли скрыться, никто из нас уже не мог изменить ничего.

Мне тогда было пятнадцать, моей старшей сестре — двадцать восемь.

Она жила не с нами, а в Москве, в загадочном Калашном переулке, и работала в немецком посольстве, но уже решенным вопросом было, что скоро она бросит эту работу.

Рената должна была выйти замуж и уехать с мужем в Германию. До свадьбы оставалось несколько месяцев. Ее жених уехал в Германию, родственники помогли ему найти квартиру. Он прислал Ренате открытку с коротенькой запиской: жду, влюблен, влюблен, влюблен... Все было решено; она писала нам легкой рукой счастливые письма.

Потом — как пушечный удар: война. В доме стало тихо. Писем от Ренаты не приходило; мама надолго закрывалась в комнате и выходила с красными глазами. Мы вели себя тихо.

В доме поселилась тревога — но это не был обычный абстрактный страх. Чувство было острым; отточенным.

Через много-много лет, когда мы наконец-то встретились, Рената сухо рассказала, что с ней произошло — без прикрас и подробностей.

Тогда же мы ничего не знали; мама сходила с ума от тревоги, писем от сестры все не было; потом за нами пришли и увезли. Только через два с половиной года к нам пробилось письмо от Ренаты.

Так мы узнали, что и за ней тогда пришли — двадцать второго июня.

Она хотела спрятаться в посольстве; наскоро бросив в сумку деньги, документы, она выбежала в Калашный переулок.

Я часто пытаюсь понять: о чем она думала в те страшные часы? О чем может думать молодая женщина, пытающаяся найти убежище, спасаясь от погони? Весь мир мелькал перед ней как калейдоскоп: что делать?

Что она могла сделать?

Работники посольства поспешили выйти на улицу; они взяли Ренату в кольцо, пытаясь ввести ее в здание. Преследователи вырвали Ренату из окружения и увезли в тех же вагонах, что и нас — потом.

Она никогда не увидела больше своего жениха. Никогда.

Мама, две мои сестры — Ирма и Хельга — больше не увидели земли, где родились.

Вообще, много нам осталось таких «больше никогда».

...Потом уже я часто вспоминала слова своего отца о том, что мы, немцы, в России — неродные дети. И это всегда, особенно в войну, чувствовалось, даже в мимолетных репликах: «...тоже человек... хороший человек, хотя и немец... трудолюбивый, добросовестный, а немец... как жаль... такая красивая девушка — и немка...»

Я молча стискивала зубы, когда слышала такое. Мы ведь не сами сюда явились, как непро-

шеные гости, и мы не хуже и не лучше других. За что же так с нами?

Ренату отправили в лагерь, на лесоповал.

Готическая рапсодия

ВЕЧЕР. НОТА за нотой.

Меняю Кольцо на Радиус. Долой кольца — обручальные, свадебные, метро, серебряные, платиновые, глупые, узкие, широкие, старые, новые, консервативные, ограничивающие, смешные, нелепые, бесконечные, неясные!

Хочу точности и четкости
в отношениях, и без аллегорий,
в жизни, и без путаницы
в сердце, и свободно
в свободе, и вечно,
в вечности, и относительно.

«Все в жизни относительно», — спускаюсь по лестнице, смотрю на часы: одиннадцать-одиннадцать. Поздно, полно подозрительных полулюдей-полу-непонятно-кого.

В ожидании первого вагона первого попавшегося поезда поднимаю глаза и вижу парня, разглядывающего меня с видом предвкушающего резню бензопилой маньяка. Ох.

Он не отрывает от меня взгляда,

и мне становится совсем не по себе. Рассматриваю его исподлобья. В убийственных ботинках, кожаных штанах и косухе, на боку ржавая цепь. Взгляд затравленного хорька. Спокойно, только спокойно. Я медленно иду по платформе и останавливаюсь около четвертого вагона. Оборачиваюсь — странный парень идет за мной, улыбается — ехидно: привет, вот и снова я.

Ну, привет.

Улыбаюсь в пол и поворачиваю обратно, в сторону первого вагона. Прогуливаюсь. Он — за мной. Поезд подходит, я останавливаюсь около второго вагона и с безмятежным видом разглядываю потолок.

Ну же, давай двигайся быстрее, тебе что, цепь мешает?

Дополз, слава богу. Пропускаю его вперед — он улыбается уже совсем нехорошо и проводит рукой по горлу.

...Можно передумать о тысяче вещей в одну десятую долю секунды. Войдя в вагон, я поняла, что будет дальше. Ненормальный мальчик придушит меня цепью где-то в пяти минутах ходьбы от метро «Проспект Вернадского». Напомнит мне, что бриллианты — лучшие друзья девушки. И подарит мне сразу целый гарнитур: серьги, кольца, два браслета, колье. Подумает и добавит еще бриллиантовый поясок и серьги для пирсинга: в нос, в язык и в ладошку. И прямо там, на улице, достанет скальпель из кармана и куртки и начнет меня одаривать своими драгоценностями. Начнет, наверное... с сережек... нет, с колье. Нарисует мне скальпелем на шее тонкие нити, бусины, бриллиантины то есть, — медленно, аккуратно, как первоклассник выписывает буковки — одну за другой; тщательно вдавливая скальпель, вырежет заклепки... потом серьги с крючьями-застежками. Потом браслеты и поясок на талию, тоненький такой. Кольца, обязательно по одному на каждый палец — он же щедр. Одно кольцо получится неаккуратным, и он резко сорвет его вместе с пальцем. Луна будет светить с неба.

Обо всем можно передумать за десятую долю секунды.

За ту же десятую долю секунды до того, как двери должны были закрыться, я вылетела из вагона метро.

Хлоп. Закрылись двери, и хорек с цепью и исказившимся от ярости лицом заколотил по дверям, выкрикивая что-то.

Поезд уехал. Я рухнула на скамейку.

— Брейнингер, ты ненормальная. Ты только что до смерти испугала какого-то хорька с цепью от игрушечного поезда, которые вез своей бабушке пирожки и средство от мигрени. Ты испугала его так, что он даже бился о двери вагона и кричал тебе, что таких, как ты, надо запирать в клетке. Брейнингер, таких, как ты, надо запирать в клетке. Вставай, чего ты сидишь, что, ноги отнялись, что ли? Я мысленно тараторила сама с собой.

Если бы не предчувствие того, что сейчас встречным поездом приедет любитель бриллиантов, избавляющий от мигрени, я бы...

Я бы пришла домой на час позже. Только и всего.

Спецкомендант

ПРИЕХАВ в Маршановку, мы сразу начали работать. А через день после приезда я побежала на почту с ворохом писем в руках: почти все — в Куриловку. И довольно скоро получила ответ: оказалось, что мои бывшие одноклассники уже снова сели за парту. В районном центре Карасу была средняя школа, но мои восемь классов остались позади, поэтому каждый вечер, засыпая, я с тоской вспоминала свою школу, учителей, друзей, первую любовь, оставленные далеко-далеко. Часто бывало, что все уже спали, а я прокрадывалась на крыльцо и подолгу сидела там,

утирая слезы и разговаривая со звездами — больше ведь мне говорить было не с кем.

— Пожалуйста, пусть война поскорее кончится, и мы все попадем домой, на Волгу, как можно скорее, скорее, скорее!

Днем, во время работы, мне нередко приходилось задерживать дыхание, чтобы не заплакать. Иногда мне хотелось броситься на кого-нибудь, разбить вдребезги все, что под руку попадется. Я сжимала кулачки и молчала.

Седьмого ноября тысяча девятьсот сорок первого года мне исполнилось шестнадцать лет, и в моем паспорте значилось: **«Разрешено проживать только в пределах района Карасу»**. За нарушение этого правила мне грозили двадцать пять лет каторжных работ.

Мое будущее, как мне казалось, было перечеркнуто навсегда. Я не могла уже увидеть своих друзей, не могла вернуться на Родину, не могла учиться, не могла вернуться к самому любимому на свете человеку. Если еще совсем недавно, в октябре, я на что-то надеялась, думала, что вот-вот все станет по-старому, то теперь уже не оставалось никаких сомнений, никаких надежд — ровным счетом ничего...

С ним я могла теперь только переписываться — так часто, как позволяла почта: одно письмо за месяц, а то и полтора — после него несколько дней я ходила счастливая-пресчастливая. Потом снова впадала в уныние.

Так я пряталась не один месяц; наконец, однажды со мной случилась истерика прямо на току: я упала на ворох пшеницы, билась в судорогах, потом вскочила, побежала в степь, повалилась прямо на холодную землю и кричала, ругала и степь, и эту полынь, и ковыль этот, и веялку, на которой я уже не могла больше работать, ругала эту проклятую войну — почему она именно с Германией, и вообще, зачем она нужна, эта война... На току в это время было двенадцать взрослых женщин, по шесть человек на двух веялках. Все они бегали вокруг меня, плакали, держали за руки, пытались успокоить. Я кричала:

— Почему, зачем это нужно? Почему нам, если мы этого не хотим? Я молодая, влюбленная, я хочу вернуться домой, к своим родным и друзьям, к нему! Никто ведь не хочет воевать, женщины плачут, мужчины, уходя, целуют землю, потому что знают, что не вернутся, никому это не нужно, *никому*!

Потом одна женщина, тоже приезжая, в прошлом учительница, села около меня и сказала:

— Все-то ты, детка, правильно говоришь. Мы тоже так думаем, а ты вслух сказала. Все пройдет, война кончится, и все будет хорошо. Про тебя много говорят разного, что ты училась много и хорошо и активная была, а теперь такая хрупкая и красивая девочка, на тяжелой работе стоишь. Да только кто ж теперь посмотрит, что ты ребенок еще... Пойдем, немного осталось, скоро уже домой можно будет идти.

По пути домой мы всегда проходили мимо кладбища, где я сама боялась ходить — мне казалось, холод сковывает колени и кто-то пытается заговорить со мной. Вот и в тот день, проходя мимо, я старалась не смотреть направо, на ряды мрачных крестов. Вдруг у меня потемнело в глазах, и я едва успела ухватиться за руку идущей рядом женщины.

Потом сказали, что лицо у меня стало бледное, как мел, я потеряла сознание. Женщины привели меня в чувство. Кто-то сказал: «Это из-за кладбища. Страшно тут ходить». А та, что разговаривала со мной днем, покачала головой: «Нет. Это война».

С тех пор я все время старалась быть спокойной и не привлекать к себе лишнего внимания, но за три дня со мной четырежды случился обморок. Женщины стали косо глядеть на меня, избегали встречаться взглядом. Я старалась ни с кем не заговаривать без особой необходимости, даже встречая их после работы в селе, неудобно и неприятно было видеть, как они поспешно сворачивают разговор, спешат отделаться от меня. Только по вечерам я часто ходила к нашим соседям, читала вслух газету; нередко они просили меня рассказать о тех местах, где родилась и выросла. Этим людям действительно было интересно послушать что-нибудь обо мне: не так, как, полюбовавшись на ярмарке на трехголового теленка, чертыхаются и проходят мимо, а вдумавшись, примерить мою жизнь на себя, сравнить с собой.

Я все меньше и меньше могла говорить с мамой и сестрами — то, что нас объединяло, — смерть отца, насильственный отъезд, последний взгляд на брошенный дом — это нас и отдаляло друг от друга; в нас самих мы видели то, что больше всего хотели забыть; нас тянуло к друг другу, и мы друг друга боялись. Внутри семьи поселилось разъедающее душу одиночество.

Через три дня после происшествия на току к нам пришли гости: супруги Лейкам, учителя немецкого языка, знавшие нас еще по Куриловке. Они сказали, что по селу прошел слух, что я «припадочная».

На следующий день к нам зашел бригадир и предложил мне отдохнуть недельки две; а вскоре он предложил отослать меня на курсы трактористов в поселке Караман, что в пяти километрах от районного центра Карасу; от Мар-

шановки же этот поселок был в двадцати километрах.

Отправились туда мы вдвоем с одной немолодой женщиной, которая была очень слаба здоровьем и не работала — послали на тракторы именно нас с ней, потому что каждая пара рабочих рук была на счету: неделю назад всех немцев-мужчин мы проводили в трудармию, спасся только один Лейкам, который был тяжело болен. Все мужчины были со средним или высшим образованием; их направили в Свердловскую область на лесоповал.

Свердловская и Молотовская области — это были самые страшные места. От голода и холода там умирали тысячи людей. Они жили в лесу, в бараках, где было так холодно, что даже не таял снег на полу. Каждое утро несколько человек уже не вставали с нар — их хоронили где-то, сбрасывали в овраг, засыпали снегом их оставшиеся в живых товарищи, а потом, промерзшие до костей, полуголодные, шли работать. Многие от истощения уже не могли работать — их отпускали домой. Они шли, шаг за шагом, одни умирали по пути, другие доползали домой, и родные закрывали им глаза.

Я тогда еще не понимала вполне, что такое трудармия. Думала, там работают — «трудятся». А эта женщина, с которой мы пошли на курсы, сказала: «Трудармия — это не где работают. Это где умирают». Ее мужа тоже забрали на лесоповал, и она все время бормотала шепотом: «Боже, спаси и сохрани».

Тракторному делу нас учил один комбайнер, который читал по слогам. Поэтому приходилось мне читать, а он уже со знанием дела показывал все прямо на тракторах, этих СТЗ, СХТЗ, на которые мы смотрели с чувством благоговейного восторга и с ужасом.

Холодное, мрачное время. Занять себя было нечем — ни книг, ни газет, ни даже какого-нибудь старенького патефона. Выйти на улицу в лютые морозы лишний раз казалось просто невозможным; большую часть времени мы проводили там же, где учились, — в старом, чуть покосившемся на один бок, хитро прищурившемся амбаре. Спали мы, укутавшись кто чем, прямо под комбайнами, сначала устало переговариваясь, но почти сразу теряя нить разговора и проваливаясь в глубокий сон. Так прошли зима, весна и наступило лето. Из всех курсантов отобрали восьмерых, остальных распустили по домам. И через некоторое время нам дали работу — мне в том числе. Но я не имела права выезжать из Карасу.

— Я это дело улажу сам, — сказал директор совхоза.

Сказано — сделано. Через два дня ко мне прибежал стажер и сказал идти с паспортом в контору, в кабинет директора, чтобы получить разрешение на работу от военного из спецкомендатуры.

Через пятнадцать минут я уже стучалась в скромную деревянную дверь — директор поприветствовал меня и сказал какому-то немолодому плотному человеку с большим портфелем:

— Вот та девушка, о которой я вам говорил, — сказал директор. Но спецкомендант неприязненно посмотрел на меня и, покачиваясь, делая шаг за шагом в мою сторону, зашипел:

— Почему бегаем с места на место? Кто разрешил? Разве не знаешь, что тебе теперь двадцать пять лет каторжных работ грозит? Ты же прописана в Маршановке!

— Я не бегаю самовольно, я пришла сюда по районной повестке.

— Ничего я не знаю про эти ваши повестки! Я тебя забираю отсюда! Иди собирай вещи!

— Вы разве не знаете правил? — вмешался директор. — В паспорте у Карины написано, что ей можно жить в пределах Карасу, и она живет в пяти километрах от районного центра — нарушения никакого нет, тем более что вы сами визировали ее повестку. Вот, — протянул он бумагу, лежавшую у него на столе, — ваша печать и подпись.

Комендант задвигал челюстью, борода его заходила из стороны в сторону. Наконец, он махнул рукой и выговорил:

— Пусть она завтра придет ко мне со своим паспортом и с повесткой. Я еще подумаю над этим вопросом. Вы понимаете, конечно, что я запросто могу эту вашу бумажку признать недействительной, и девчонке грозит...

Директор поднялся из-за стола.

— Мы сейчас с вами поедем в райком партии к Дыхову и продолжим разговор у него.

Коменданта вмиг как подменили. Он быстренько вытащил из портфеля чистый бланк, повертел его в руках, впечатал в стол и бросил мне:

— Давай, пиши фамилию, как тебя там!

Я написала, он выхватил у меня листок и запихнул его обратно в портфель.

— Нувотвсеоформленоправильнодосссвиданьице, — с этими словами Иудушка испарился. — Дурак старый, — вздохнул директор, потом вспомнил, что не один в комнате и осекся.

— Говорят, что дураки опаснее врагов, — вздохнула я. — До свидания и спасибо вам большое.

Дней за десять до моего первого выезда на сборку урожая неприятный человек из спецко-

мендатуры объявился снова. Покрутился-покрутился и исчез. Мне было не до него. Именно в тот день мне предстояло первое серьезное поручение. Наш учитель на обкатке мотора сломал правую руку, и мне пришлось вести сцеп двух комбайнов.

— Смотри, Карина, доверяем тебе трактор и два комбайна! Не подкачай!

В первое лето мы поехали косить на третью ферму, поселок в пятнадцати километрах от центральной усадьбы. Всего таких ферм было пять, и наш директор совхоза частенько совершал круговые осмотры.

В один из дней приехал он и к нам, вместе с комендантом. Во время перерыва тот снова все время крутился поблизости, а когда я ненадолго осталась одна — тут как тут, и портфель сжимал так же судорожно, как и в прошлый раз, а говорил, словно боялся зубы разжать.

— Ну-с, дорогуша, не миновать тебе какого-нибудь рудника, точно говорю, не миновать! Там с тобой знаешь, что будет? Тебя под землю загонят, и ты оттудова уже не вылезешь! Я не я буду!

Я отвернулась. Нужно было чем-то занять руки и, став к нему спиной, я стала проверять автол в картере. В ту минуту я мечтала только об одном: чтобы мне уши залили воском.

Рядом со мной стоял серый, с землистым лицом человек, пытался заглянуть мне в глаза и, брызгая слюной, с наслаждением рисовал картинки моего будущего:

— Сначала твои косы красивые повылезут, потом зубы повыпадут, глаза станут бесцветные, будешь ты все страшная, морщинистая, как старуха, почище концлагерных, ясно тебе?

Я обернулась к нему. Он смотрел мне прямо в глаза, как завороженный, и продолжал говорить что-то, раскачиваясь на месте. Глаза его застекленели.

«Надо вспомнить что-нибудь хорошее», — подумала я. Но в голову ничего не приходило, и я не могла заставить себя оторвать взгляд от коменданта. «Ночью вывезли из дома на подводах до станции... переселение... скотные вагоны... железные решетки высоко на маленьких окнах... мы сидим на своих вещах... ворота с прочным замком... мы едем... днем стоим у маленького водоема... не радуйся жизни, не будь легкомысленной... как будто по голове ударило... не летай в облаках... забудь обо всем... думай о плохом...»

— Да мы тебе еще сопроводительное письмецо чиркнем, хорошенькое такое, — прорвался из-за завесы голос коменданта, — вот и посмотрим, какая ты там станешь, я прямо специально приеду через полгодика на тебя посмотреть. — Он глянул вверх и застыл с открытым ртом, — глядя на нас сверху вниз, стоял на штурвальном мостике комбайна директор. Мне вдруг стало неудобно, что я стою, вцепившись, как в единственное спасение, в брошечку на кофте, подаренную когда-то давно тем, кого я больше не увижу. Стыдно было, что я такая беспомощная и безъязыкая, даже не могу ничего сказать в ответ.

Директор переводил взгляд с меня на коменданта. Тот побледнел и затрясся еще сильнее, как будто кости у него внутри все разошлись.

— Поехали, — сказали одновременно и директор, и комендант, но сказали с интонацией совершенно разной: первый — со спокойной угрозой, мерзкий старикан — отчаянно заполняя молчание.

— Карина, — обратился ко мне Виктор Матвеевич, — надеюсь, тебе будет интересно узнать, что свой рассказ уважаемый комендант продолжит уже совсем в другом месте, где его, несомненно, выслушают с огромным интересом. Все в порядке?

Я кивнула.

— Тогда мы уже поедем. До свидания, Карина.

Венорезка

Я НИКОГДА *не резала вены.*

А думаю, хотя бы раз это следовало сделать.

Когда-то я снималась в одном видеоролике, который хорошо врезался мне в память:

22nd CENTURY FOX

presents

PANASONIC YOUTH FOR SUICIDE

Черные декорации.

Черный потолок, черные стены, черный пол. Красная река — из ниоткуда в никуда, наверное, так выглядит Река Забвения для самоубийц. Кануть в Лету для этой социальной категории... слишком просто! А вот в такой поток — в самый раз. Что-то наподобие: надеть белое платье, закрыться в ванной, набрать горячей воды и чиркнуть лезвием по рукам — под водой. А потом проснуться и понять, что все оставшееся время до Страшного суда проведешь в той же самой ванной, только побольше, барахтаясь в собственной крови.

Выглядит здорово, честно. В жизни не видела такой гадости.

А на самом деле это просто маленькая комнатушка, наполовину завешанная полотнами из черного шелка. Меня уже четвертый час валяют по холодному полу, заставляя лечь то так, то по-другому, повернуться, встать, облокотиться на специально для этого жеста принесенную барную стойку, вылить на платье красную краску, надеть другое, такое же платье, но без краски, поправить грим, сменить гриндерсы на вампирские туфли, улыбнуться, изобразить отсутствие эмоций, встать прямо, опереться рукой о бедро, обворожительно улыбнуться, улыбнуться еще более обворожительно, наконец, улыбнуться так обворожительно, как только можно, и еще более обворожительно.

Я послушно улыбаюсь в объектив. Эти обворожительность и красота — красота девушки, держащей за спиной пистолет, обмотанный в два ряда тройным жемчужным ожерельем — чистый Hollywood! — девушки, всегда имеющей за кружевной резинкой чулка лезвие, а на поясе — намыленную веревку, всю в стразах, — наверное, такой больнее давиться. Это красота момента, который больше не повторится. Это красота на один раз: она есть, но ее больше не будет. Мерзость. Но, в конце концов, это не более чем маленькая — во всех смыслах — игра.

— Стоп! — кричит режиссер.

Все отскакивают в сторону.

— Чертовы сценаристы! — орет он. — Такого не может быть! Какого *** она улыбается? А ну перестань!

Я послушно перестаю улыбаться. Все сразу начинают суетиться, бегать, что-то говорить друг другу.

Сценарий срочно переписывают, меня гримируют снова, камера, мотор...

На этот раз полагается изображать вселенскую печаль — что ж, это несложно. Лениво делаю вид, что лениво не смотрю в камеру, а сама думаю о том, успеем ли мы управиться хотя бы к половине восьмого или нет. Если успеем — значит, я опоздаю в кино не больше чем на пятнадцать минут и еще пойму, о чем фильм. Если нет — мне придется сидеть в пустом баре кинотеатра, рисовать ложечкой грустные смайлы на столе и ждать, пока Айс, Зимняя и Лиций досмотрят «Ифигению в Авлиде» без меня.

— Стоп! Снято! — не уверена, что так говорят на самом деле, но поверим MTV. Пусть будет...

...— Кому сказал! Стоп! Снято! Снято, я говорю! Снято, черт вас всех подери!

Все снова отскакивают в сторону...

Наконец, смонтировано приличное видео. Выглядит оно примерно так:

Я лежу на полу с отсутствующим видом. Довольно мило. Достоверно. Неплохо смотрится. Вся необходимая бутафорика соблюдена.

Низкий и вполне себе таинственный голос за кадром:

WHY HASN'T THIS GIRL COMMITED SUICIDE?[1]

Я поворачиваю голову, приближенный план — я смотрю прямо в объектив. Техничная вселенская печаль. Фокус камеры въедается в глаза, растворяется в них, выныривает откуда-то из стены и снова устремляется на меня.

Голос:

SHE'S TOO STRONG[2].

Голос объясняет тезис. Я поднимаю глаза с решительным видом.

SHE'S TOO WEAK[3].

Я опускаю глаза. Голос продолжает бубнить.

Я чувствую неприятное покалывание в пальцах. Что-то знакомое настойчиво бьется в мозгу, я уже не слушаю текст.

SHE SIMPLY KNOWS WHAT SHE WANTS[4].

Все, правильно, синтез. Я должна знать, чего я хочу, а я не хочу барахтаться в своей крови, я вообще хочу поскорее покончить с этим роликом, вызвать такси и поехать в кино.

KILL YOURSELF IF YOU REALLY WANT IT[5].

RIGHT NOW[6].

START DOING ANYTHING[7].

RIGHT NOW.

Зима 1943—1944 года

СЕДЬМОГО ноября 1943 года мне исполнилось восемнадцать лет. Это был как раз тот год, когда я жила в Карасу, и за это небольшое время многое изменилось — или изменилась я сама?

После той истории с комендантом я как будто приобрела закалку от обид и насмешек. Перестала обращать внимание на упреки в свою сторону и обвинения в том, что, дескать, немцы

[1] Почему эта девушка не покончила жизнь самоубийством? (*англ.*)

[2] Она слишком сильна (*англ.*).

[3] Она слишком слаба (*англ.*).

[4] Просто она знает, чего хочет (*англ.*).

[5] Убей себя, если правда этого хочешь (*англ.*).

[6] Прямо сейчас (*англ.*).

[7] Начни что-нибудь делать (*англ.*).

войну затеяли, так и я тоже в этом виновата. Я обзавелась толстой кожей и стала жестче, и тоску я лечила работой, работой, работой... Я уже не так часто вспоминала Маршановку, где жила мама с сестрами, не думала по ночам о том, как там сейчас Рената и Сабина. Все реже и реже снились мне по-вечернему уютные классные комнаты в Куриловке, и даже о нем... нет, о нем я не стала реже думать. О нем я вообще не думала, запретив себе это раз и навсегда.

Однажды, когда я возилась с запчастями на складе, мне показалось, что через окно я увидела знакомую фигуру. Не успела я еще понять, кто это был, как сердце уже само застучало в груди. Он шел через двор своей обычной, уверенной походкой прямо к двери склада. На крыльце послышались шаги, и я спряталась за ближайшую груду коробок, чтобы первой увидеть Его. Внутри все ныло, я не могла понять, каким образом он оказался здесь, но я подумала, что, наверное, для него нет ничего невозможного. Он ведь мог приехать сюда, ко мне?

— Здрасть, теть Надя! — какой-то незнакомый молодой человек, совсем непохожий на него, с шумом распахнул дверь.

Это был не он. Я смотрела на этого парня издалека и, до крови прикусив губу, думала — неудивительно, что люди умирают от любви. Неудивительно, что люди совершают глупые поступки. Неудивительно, что влюбленный человек может приехать за сотни, тысячи километров, чтобы хоть одним глазом увидеть восемнадцатилетнюю девушку, думающую о нем днями и ночами.

— Мог бы и приехать, — сердилась я, пиная какую-то коробку. — В конце концов, он не мальчик, а молодой мужчина, что ему стоит сесть на поезд и... — Было стыдно за себя, но ярость цепко охватила меня, и я уже не могла остановиться. — В конце концов, одно письмо за месяц — куда это годится!

Я принялась перетаскивать коробки из угла в угол в поиске нужных мне деталей и, с шумом ставя их друг на друга, продолжала говорить сама с собой.

— Карина, ты чего там возмущаешься?

— Ничего, ничего, тетя Надя, извините. Я просто стихи повторяю, тренирую память.

— А, ну тогда ладно, это дело хорошее.

Той ночью я не могла заснуть. Лежала в постели, зажав в ладонях его брошку. Мне было стыдно: и за то, что я позволила себе так плохо думать о Нем, и за то, что я приписала ему поступки и мысли, которых у него, наверное, отродясь не было. И самое главное — я понимала, что придумала себе о нем не только плохое, но и хорошее. Наверное, впервые за все это время я увидела, как на карте, что нас разделяет. Глупо было думать про поезд — никакой поезд сюда не мог прийти. И может быть, он уже давно понял то, что мне пришло в голову только сегодня, и забыл меня, вспоминая лишь для того, чтобы написать еще одно письмо.

Я не разлюбила его, я знаю точно. Просто я замерзла. Изнутри. Мне нужно было оторвать от себя все, что не давало мне жить новой жизнью, новым миром вокруг меня. И я заставила себя перестать думать о прошлом.

Первые несколько месяцев я жила словно на автомате. Просыпалась рано утром, работала, по звонку шла на завтрак, обед, ужин, отдыхала, снова работала, читала, спала — все это повторялось изо дня в день. А потом я с удивлением поняла, что все это — все, что я делаю, — мне нравится. Я стала забывать его.

Весной я работала на гусеничном тракторе. До сих пор помню свою первую машину — с надписью «Челябинский тракторный завод» — он, как и все заводы сельхозтехники, в те годы работал только «на войну», поэтому мы работали на старых, дышащих на ладан машинах, которые сами ремонтировали запчастями из утиля.

Летом я работала на ремонте комбайнов. Осенью — косила, дальше, ближе к зиме — молотила скирды. Потом — автотракторный парк — снова ремонт техники, только теперь в холодных цехах.

Особенно неприятно было мыть детали в холодном бензине без перчаток. За такой работой меня однажды застала та самая тетя Надя, заведующая складом.

— Твои красивые ручки целовать надо, а у тебя они в мазуте и бензине! — ахнула она. — Лучше пойди в обоз. Тулуп и теплая одежда у тебя есть, будешь целый день на санях кататься. Ну, конечно, нагружать мешки пшеницей придется.

— А меня отпустят? — спросила я.

— Попробую-ка я это уладить, — ответила тетя Надя. Вечером она нашла меня и сказала:

— Ну, будешь теперь в обозе.

На другое утро я уже насыпала пшеницу в мешки и помогала укладывать их на сани, аккуратно застеленные сеном. Всего нас было человек восемь-десять, на каждого — двое саней, запряженных парой быков. Ездить нужно было до станции Кай-Багор: три дня туда — три обратно. Ночью мы останавливались на заезжем дворе.

Я была тепло одета: хорошие валенки, телогрейка, мужская шапка, теплые самодельные рукавицы и мужской же тулуп, чуть-чуть не до-

стающий до земли. Рукава тулупа я заворачивала наружу, а воротник был высокий, закрывал почти всю голову. Закутавшись в тулуп, чудесно было лежать на санях и наблюдать за тем, как пробегают мимо деревья, дома, телеграфные столбы...

Но и в работе в обозе было свои сложности. Перво-наперво нам приходилось таскать тяжелые, по шестьдесят-семьдесят килограммов, мешки с пшеницей, и укладывать их на телеги. Такой мешок двое взрослых мужчин и то не без труда поднимали, не говоря уже о слабенькой восемнадцатилетней девчонке. Но с этим мы разобрались, меня поставили в пару с одним парнем, тоже невысоким ростом, но сильным и в обозе бывшим уже больше года; с ним мы очень хорошо сработались.

Ночью, на постоялом дворе, мы устанавливали очередь дежурств: по два часа каждый. Дежурный должен был сидеть на санях и следить за мешками с пшеницей. Чтобы не заснуть, мы обычно вполголоса напевали какие-нибудь песенки.

Дежурить было страшновато. Если где-нибудь раздавались шаги, я сразу повышала голос и делала вид, что с кем-то разговариваю.

Однако однажды утром я проснулась от шумного разговора. В ту ночь я дежурила первой, после меня заступил Майер, тоже немец, чудом избежавший трудармии. Отстояв два часа, он разбудил Нину, двадцатилетнюю девицу, тоже трудармейскую, сбежавшую в наш совхоз.

Нина мне не очень нравилась: вначале я работала с ней в паре, но потом попросила поставить меня с кем-нибудь другим, сославшись на то, что Нина слишком высокая, и мне с ней неудобно носить мешки. На самом деле Нина хитрила и отлынивала от работы: когда мы носили мешки, сцепив руки, она держала руку подле себя, и весь вес доставался мне; вообще, она была очень ленивая. Частенько просыпала время подъема, или, например, когда мы вели быков на водопой, начинала у саней возиться, мешки поправлять — лишь бы что-то делать. Когда мы приводили быков обратно, она выпрямлялась, вздыхала, словно запыхавшись от тяжкой работы, и шла со всеми к завтраку. Потом, пока мы быков запрягали, мешки поправляли, пока то да се, Нина таинственно исчезала.

Майер, отстояв два часа, разбудил Нину и лег спать. Утром дедушка Берлет, проснувшись, удивился, что Нина его не разбудила, и решил, что она все еще караулит мешки. Нину он нашел спящей, пшеницу, к счастью, нетронутой. Зато исчезло сено — быков кормить было нечем. Нина доказывала, что ее никто не будил, но все почему-то поверили Майеру: не мог ведь он лечь спать, не передав дежурство следующему! Нина оскорбилась и, усевшись в углу, задремала. Внимания на нее никто не обращал: были заботы и посерьезнее. Решено было сделать так: мешки с двух моих саней разбросали, каждый взял себе по два. С одних саней мне дали сено, с других забрали — тоже каждый взял понемногу. Договорились, что на каждом постоялом дворе будут брать немного сена. Меня же с двумя пустыми санями отправили домой.

Утро было пасмурное, ветреное, шел снег. Меня это не смущало — я была тепло одета, ехала домой. Когда я выехала из села и оглянулась, то уже ничего не увидела — замело снегом. В степи был буран. Через какое-то время расстегнулась упряжь, и быки со вторых саней отцепились от моих саней. Я остановила сани и пошла назад за теми быками. Иду за ними, а передние пошли сами — чуть видны. Словом, пока я собрала обе пары вместе, прицепила их хорошо к саням, то оказалась в степи, в снегу, в степи, без дороги. Я взяла передних быков за повод и пошла искать дорогу.

— Она должна быть где-то совсем близко, я ведь недалеко отошла. Да и село тут близко, ничего, не потеряюсь, — успокаивала я себя.

Я шла вперед, направо, потом налево, назад, снова вперед. Ни дороги, ни села... Я одна — в степи... Вокруг — только снег, куда ни посмотри — под ногами — снег, над головой — снег... Буран разыгрался не на шутку: все кругом свистело, гудело.

Стоять на месте было нельзя — холодало. Я села поудобнее на сани и погнала быков куда глаза глядят. Лучше я ничего не могла придумать. Поехали туда, куда ветер дул.

Так прошел целый день. Замерзнуть я уже не боялась — наоборот, стало жарко. Я боялась волков.

Часто рассказывали истории о том, как в степи волки нападают на людей. В буран в разведку идет один волк. Обнаружив хорошую добычу, он приводит за собой всю стаю. Один раз мне показалось, что сбоку мелькнуло черное пятно, — я быстрее погнала быков.

Стало темнеть. Я все ехала неизвестно куда. Вдруг что-то огромное полетело на меня, я испугалась, показалось, что на меня падает гора. Оказалось, мои быки уперлись ярмом в скирду сена. Я испугалась еще сильнее — около сена могли ведь и волки ютиться... Но тут я услышала голоса людей и, спрыгнув с саней, побежала туда, к ним, боясь, что они могут уйти. Но они уже и сами меня увидели. Это были несколько женщин. Я села на сани и поехала за ними.

Оказалось, что я ушла на двадцать два километра в сторону от дороги. Случайно я наехала на стог, из которого женщины брали сено. Будь я чуть подальше, они бы не заметили меня, и я могла проехать мимо и блуждать пятьсот километров, пока бы у меня не кончилась еда или я не встретила волков.

— Тебя спас твой ангел-хранитель, девочка, — сказала одна из женщин. Она сразу сказала всем, что забирает меня к себе домой. Мы с ней сели на мои сани, она управляла быками, а я сидела сзади. Стало очень холодно, меня колотило от мысли о том, что каких-то двадцать метров спасли мою жизнь.

— Сейчас уже приедем, — обернулась женщина.

— Спасибо, что взяли меня к себе, — сказала я.

— Да что там, брось ты это — благодарить, — ответила она, — побереги силы, а то еще упадешь, не дойдя до дома.

Совет был дельный: я и вправду уже чуть держалась на ногах. Пройдя в маленький домик, я села на скамейку и так и осталась там сидеть.

— Нужно встать и помочь хозяйке, а не сидеть тут, — ругала я себя мысленно, но сил подняться уже не было. Приятное тепло расползлось по моему телу, я прислонилась к стене, глаза закрывались сами собой...

Вдруг передо мной появилась большая кружка, и знакомый уже мне голос произнес:

— Совсем замерзла, бедняжка? Отогревайся потихоньку. Меня Анна Петровна зовут. А тебя как? Да ты откуда же взялась, такая маленькая? Родители где? — женщина, наливая в кружку теплое молоко и нарезая большими ломтями черный хлеб, засыпала меня вопросами.

Я отвечала медленно, вопрос за вопросом, разглядывая маленькую, тесную кухоньку. Как хорошо здесь было после бескрайней степи, которая умирала в снегу!

— Меня зовут Карина. Я приехала из... Карасу... Родители мои... папа умер, а мама... в Маршановке...

— Карина? — женщина удивленно подняла брови. — Имя-то нерусское.

— А я не русская. Я немка.

— Немка? — как будто прохладно спросила она. — А ты почему тогда здесь?

Сразу стало неуютно. Я тихо ответила:

— Я ведь ни в чем виновата... Нас привезли сюда... Мы... Мы...

Я никогда, никогда не позволяла себе плакать, что бы ни случилось. Слишком глубоко во мне сидело чувство того, что *я одна* и не могу позволить себе опустить руки. Заплакать — значило сдаться и позволить относиться к себе с пренебрежением. Стали бы говорить: *эта* мало того что немка, так еще и хнычет.

А тут, в этой маленькой, жарко натопленной комнате, рядом с неизвестной женщиной с добрым лицом и добрым именем, я сдалась. Разве раньше не знала я, что теперь люди, услышав ужасное «немка», вдруг резко стараются свернуть разговор? Знала. Но сейчас, рядом с ней, еще не оправившись от пережитого страха, от мысли того, что чуть-чуть — и я могла умереть, заблудится в ужасной, вечной степи, потеряться в буран, — сейчас я не выдержала и расплакалась.

Анна Петровна всплеснула руками, неловко как-то, пододвинула ко мне кувшин с молоком, села рядом, обняла меня и сказала как-то очень просто:

— Ну, давай рассказывай. И плачь, если хочется, тебе выплакаться надо.

Анна Петровна

АННА ПЕТРОВНА и ее муж — высокий, неразговорчивый мужчина, который исчезал рано утром, а возвращался вечером, на санях, принося в и без того тесный домик сугроб снега, — они сказали, что «слишком много для девочки» и что «надо хотя бы недельку пожить *в доме*».

И мне разрешили — невиданное, неслыханное дело! Я не поверила своим ушам, когда узнала, что директор совхоза, в котором я работала комбайнером, передал что-то вроде: «Правда, эта шестнадцатилетняя девочка работает, как взрослый мужчина. Да еще и чуть не потерялась в степи! Пусть отдохнет недельку-две. Потом наверстает, а не наверстает — как-нибудь поправим дело».

Я прожила у них почти две недели. Самые светлые две недели за те годы.

Я вставала рано утром вместе с Анной Петровной, помогала ей по хозяйству. Она часто хвалила меня, и эти простые, теплые слова были для меня радостны, как часть чего-то родного, часть дома и детства. Я рассказывала ей о том, как мы жили в Моргентау, она много говорила о своем сыне, который ушел на фронт. Это была удивительная женщина. За все дни до того, как ей пришло письмо с фронта, она ни разу не упомянула о том, с кем шла война, почему и за что. Она разговаривала со мной, как с дочерью, расспрашивала о семье, о маме, об отце и сестрах.

А потом наступил тот ужасный день, который я, наверное, за всю жизнь не смогу забыть. Я впервые в жизни не могла поднять глаза. Мне

было стыдно, стыдно за то, в чем я не была и не могла — быть виноватой, — но была.

Утро этого дня началось как обычно. До полудня мы переделали уйму дел, а около двенадцати кто-то громко постучал в дверь. Анна Петровна открыла. Почтальон.

— От Славика! — воскликнула она. Славиком звали ее сына.

— Заходите, заходите, — пригласила она почтальона, — мы вас напоим чаем перед дорогой да с собой кое-чего дадим, — улыбнулась она. — Сейчас вот только письмо прочитаю.

Почтальон, неловко повернувшись, не смотря нее, протянул письмо. Анна Петровна радостно выхватила его, глянула и вдруг побледнела, оперлась на стену. Так бывает в фильмах: замедленная съемка, когда герой на экране как будто с трудом закрывает глаза и прижимает к груди конверт... Я подбежала к Анне Петровне, хотела помочь ей подняться...

У нее в руках был серый лист бумаги, свернутый треугольником. В таких треугольниках присылали похоронки...

— У, фашисты проклятые! — закричала Анна Петровна и заплакала, беззвучно, крупными слезами...

...Я замерла на месте.

Вечером, на той самой кухне, где сидела в самый первый день, замерзшая, испуганная, я тихо сказала Анне Петровне и ее мужу:

— Я поеду завтра... В совхоз. Пора уже.

— Поезжай, Кариночка, поезжай, — ответили они в один голос, не поднимая глаз...

Диалоги

Я НЕ УСПЕВАЮ, мой телефон уже трещит. Опоздала больше чем на час, и вместо кинозала — бар на втором этаже, скучать в одиночестве, не спать.

Так — полтора часа в маленьком уютном кафе. Я слушала Элвиса Пресли. Бармен смешивал коктейли, закрыв глаза и подпевая: «Love me tender, love me sweet». Коктейли он делал мастерски, смотреть на него было редким и необычным удовольствием.

Из-за своего спрятанного в далеком углу столика я разглядывала людей: смеющихся, грустных, веселых, нахмуренных...

«Почему в моей жизни так мало спокойных и размеренных полос? Почему я всегда спешу куда-то, всегда тороплюсь, боюсь прибыть не вовремя, всегда решаю все на ходу?» — думала я. Так захотелось тихой и милой жизни, где все идет по плану, и от этого не становится менее приятным и интересным, где на Новый год развешивают над камином красные матерчатые сапожки для подарков и каждый день случаются маленькие приятные сюрпризы.

— Ты чего на столе лежишь? Так сильно устала? — разбудили меня друзья, рассаживаясь по стульям.

— Сплю, — улыбнулась я. — Как фильм?

Им не понравилось.

— Understand. Мне бы тоже — нет?

— Absolutely.

— Вы уже собираетесь уезжать?

— Да, я уже спешу, — тихо, Айс.

— Я тоже, — говорит Зимняя, — мне надо к десяти успеть.

— А ты? — спрашиваю я у Лиция.

— Я – нет. Хочешь, останусь с тобой? — спрашивает он.

— Хочу — не могу заставить себя подняться. Нет позвоночника.

Лиций вызывает такси для Айс и Зимней. Они уходят, а мы с Лицием остаемся вдвоем.

Кстати, именно Лицию мы обязаны термином «Panasonic youth» — знайте.

— Как там панасоники? — спрашиваю я.

Он улыбается.

— Все также. В последний раз это была трехдневная тусовка из пятнадцати человек в трех пустых комнатах, кончилось чем-то вроде того, что «мы не знаем, чего мы хотим, но, безусловно, мы это можем». Когда-то я верил в это, ну а сейчас только трещина становится все шире и шире — split wide open.

— Знаешь, мы же вместе с Игорем составляли текст для ролика. Это так странно было — он сказал мне: «Представь, что ты проснулась после того, как умерла. Ходишь по улицам, стонешь от боли, а тебя никто не видит. Understand? А теперь опиши это». Это такое страшное, страшное ощущение, последняя ступенька одиночества, дальше уже некуда, дальше — бесконечность этого самого одиночества...

— А чем тебя так заинтересовали панасоники?

— Не знаю, вдруг... — улыбаюсь я.

— Any plans?

— Well... еще не знаю. Просто так. By the way... что ты думаешь о параллельных реальностях?

— Что ты имеешь в виду?

— Скажем, дежавю — может, это наши отрывки воспоминаний из другой жизни или параллельной реальности? Как ты думаешь? Наверняка, есть такая реальность, где все идет только так, как мы хотим. И сущность бытия там — не прямой угол, однозначно.

— А, тот разговор, — вспоминает Лиций полуночное висение в аське. — Что есть твоя сущность бытия?

Я молчу, потом, осторожно, подбирая слова по одному, отвечаю:

— Well... что-то вроде паутины... все нити ведут к одной точке, но расходятся далеко друг от друга. И... их пересекают другие нити, параллельные друг другу, таких тоже много, это даже не нити, а, скорее, замкнутые круги. То есть одни паутинки замкнутые. Другие исходят из одной точки и уходят в бесконечность. Они пересекаются под прямым углом, и он существует, этот прямой угол, но только как часть целого. Круги — архетипы, которые все замыкают и влияют на каждого. И бесконечность, все в мире бесконечно. Круги тоже бесконечны, но некоторые из них рвутся и начинают расти, виться спиралями. What about you?

— *Мы всегда смотрим на все одинаково*, — сказал Лиций.

Волга-матушка

ВОЗВРАЩЕНИЕ на Родину, в Германию, оказалось совсем не таким ярким и праздничным, как когда-то мне виделось. Скорее, наоборот — это было скучно и серо. И тяжело. Долгие очереди, расспросы, антраги — документы, которые нужно было заполнять всем вновь приехавшим немцам. Тысячи историй, одна другой страшнее, о том, как складывались судьбы всех этих людей, решивших вернуться на Родину. Шел тысяча девятьсот девяносто первый год.

Приехав в Германию, я попала в лагерь — так называли места, где проверяли документы, распределяли по городам, — одним словом, лагерь был перевалочным пунктом между Германией и СССР. До лагеря мы еще были гражданами России, Казахстана, Украины — после него мы становились гражданами Германии.

Гражданами Германии — но не немцами. Это нам сразу дали понять.

Может быть, там, в России, мы и были *немцы*, то здесь, на Родине, мы моментально стали чужаками. *Русскими*.

— Понимаете ли вы меня? — спрашивала меня с ужасающим акцентом женщина, занимавшаяся распределением приехавших по языковым курсам. Она, как и мы, недавно приехала в Германию и изо всех сил старалась это скрыть. Когда я ответила ей на чистейшем немецком языке своих родителей, она поджала губы и отправила меня в подготовительную группу.

Преподавательница на курсах тоже была русской.

— Что вы, что вы! В Германии сейчас никто не говорит так, как вы! Это же устаревший язык! Нужно развивать в себе современный немецкий акцент, — говорила она не очень уверенно. Скоро я поняла, что и языком она владела не очень уверенно.

Меня распределили в Швайнфурт, тихий городок на севере Баварии. Русских здесь было много. Достаточно много для того, чтобы немецкое население города не слишком любило их.

Некоторые из соседей невзлюбили и меня.

— А правда, что многие немки в России выходили замуж за русских мужчин? — спросила меня как-то соседка из машины, смотрясь в боковое зеркало и подкрашивая губы коричневой помадой. Ей было около пятидесяти пяти, и она жила с молоденьким мальчиком-турком.

— Да. Так же, как и немецкие женщины выходят замуж за турков, — спокойно ответила я и, повернувшись, вошла в дом.

Мне было уже шестьдесят шесть, и начинать все заново было совсем непросто. Никогда не забуду одного момента, когда после лагеря я поехала в Берлин. Ходила одна по городу — без карты, без денег, без настроения. Я уже поняла, что вовсе не вернулась домой — просто приехала жить в Германию; и эта мысль была совсем нерадостной. Но были дети, внуки, они верили, ждали, надеялись. Я должна была вернуть им Родину.

Было в тот день темно, пасмурно, солнце спряталось за тучами, изредка лишь один-другой луч пробивался на землю. Я стояла на площади перед Ратушей, и вдруг до меня донеслось пение.

Пели по-русски:

Издалека долго
Течет река Волга,
Течет моя Волга —
Конца и края нет...

Я живо обернулась. Это пели несколько человек, сидевшие на скамейке, с рюкзаками, уставшие, несчастные. Я подошла к ним послушать песню. Когда они допели, я спросила:

— Почему вы поете эту песню?

Они вздохнули, переглянулись. Один из них угрюмо сказал:

— Вы русская?

— Я немка. Но всю жизнь я прожила в Казахстане.

Они с удивлением посмотрели на меня. Один из них спросил, уже по-немецки, с интересом:

— А давно вы вернулись в Германию?

Они освободили место на скамейке, приглашая меня сесть.

Я постаралась коротко рассказать о своей жизни. Сказала, что родилась на Волге, что потом всю семью сослали в Казахстан. Что только месяц назад приехала в Германию.

Стоило мне только упомянуть Волгу, как лица этих пятерых людей словно осветились изнутри. Женщина, единственная среди них, в желтой футболке, тоже придвинулась поближе ко мне и сказала:

— И мы тоже с Волги, meine Liebe, мы тоже с Волги.

Мы очень долго разговаривали. Они рассказали, что так же, как и я, родились на Волге. В семидесятые они — кто смог найти друг друга — вместе приехали в Германию. Но не смогли прижиться.

— Чужое, — качали они головой. — Чужие все.

Поэтому они общались только с теми, кого знали еще по той, старой жизни. Берлин им не нравился. Они даже хотели было вернуться назад — но куда?

Пока мы разговаривали, совсем стемнело. Я попрощалась с ними: пора было идти. Женщина — ее звали Ангелина — сказала мне:

— Помните, что здесь — не наш дом. Мы с вами — с Волги-матушки, как говорят в России.

Уходя, я слышала, как они снова запели тоскливо:

Волга, Волга, мать родная...

Ноябрь 2004 года

СО ВРЕМЕНИ ПОЕЗДКИ в Берлин прошло уже три месяца, а я все не могла заставить себя сделать хоть что-нибудь: мне было страшно.

Страх бывает разным: мы боимся тысячи вещей; из них некоторых стоит бояться всем людям, других — только нам, третьи же мы просто придумали, и боимся мы их потому, что не знаем, стоит ли на самом деле подвергать себя слепому чувству отчаяния или нет. Мой страх был как раз их таких — слепых, и я это знала. Но переборoть себя не могла. Мне нужен был толчок, точка, которая бы закрыла от меня все то, что было до Берлина.

Нужно было, наконец, что-то сделать.

В один холодный день — седьмого ноября — я закрыла дверь за подругой и, усевшись на подоконнике с чашкой горячего кофе в замерзших руках, уставилась в окно. *Кажется, это уже было когда-то...*

По ту сторону окна человек бросала палочки собаке; молодая женщина спешила к остановке, ведя за собой карапуза в желтой шапочке; около горки толпилась малышня. Я сидела и бесцельно смотрела в окно, автоматически отмечая все, что там происходило.

— Если бы ты мог мне помочь, — обратилась я непонятно к кому. — Но ты не можешь... тогда сиди и слушай. Или сиди и молчи.

Потянулась было к телефону — остановила себя. Как рассказать другому о том, чего я сама не понимаю?

— Привет. Как дела? Слушай, мне кажется, мне пора умереть.

Отбросив всякую мысль о такого рода откровении, я оделась, бросила в сумку свой блокнот, ручку и вышла на улицу. Все лучше, чем сидеть дома.

Выйдя на улицу, я освободила мысли от ограничивавших их стен, и теперь мое воображение пустилось в свободное плавание. Надо было, надо было понять, что происходит со мной.

Я села на скамейку и достала из сумки дневник.

Две страницы

«ЧЕЛОВЕК ТАК устроен: если в него выстрелить, польется кровь».

Зачем мы ведем дневники? Наверное, с тех самых пор, как кому-то пришло в голову поместить свои переживания на лист бумаги, люди задаются этим вопросом, и я — не более чем миллиардное его повторение. Ничего нового, в сущности, нет — и не будет, а все действительно важное было сказано еще в античности. Можно пытаться опровергнуть это, спорить, но нельзя не соглашаться в глубине души.

Не понимаю, зачем я пишу все это. Наверное, эти глупости, как будто важные сейчас, — не более чем защитная реакция организма. Не думать о том, что пугает. Не думать о том, о чем нужно бы, но... нет, как ни крути, как ни крутись — не выберешься ты из этого чертового лабиринта...

...Занимательно попасть на место человека, чувствующего, что он сходит с ума. Не могу сказать, что мне это показалось приятным. Физическая сторона вопроса: ледяные руки, ритмичные удары кувалдой в висках, кружится голова. Трудно дышать. Размытые очертания предметов, звуки доносятся издалека. Холодно, потом жарко, снова холодно. Прислоняешься к стене и закрываешь глаза: так легче.

— Выключите, пожалуйста, свет.

Это немного похоже на око тайфуна: отматываешь пленку назад и мощным ударом разума пытаешься объяснить себе, что все в порядке, это не более чем плод воспаленного воображения.

На сем моменте я сбиваюсь, и раздвоившийся образ вновь начинает с бешеной силой кружиться вокруг меня. Музыка Грига. Сумасшедший карнавал, бал-маскарад.

— Оля? Легси? Карина?

Пока я, закрыв глаза, держалась за холодную поверхность стены, как за последнюю опору, свет уже давно загорелся. Немного успокаиваюсь, вдыхаю воздух почти глубоко, почти полной грудью, убеждаю себя, что все если и не в порядке, то хотя бы меня не касается, и тут...

— Легси?

От неожиданности я чуть не спрыгиваю со стула, но вовремя успеваю взять себя под контроль, прикусываю губу, чтобы не закричать. Сцепив пальцы в замок, оборачиваюсь. Мне задают вопрос, я отвечаю.

Защелкнув замок на двери, падаю на кровать и обхватываю голову руками.

Трещат виски, и затылок раскалывается. Каждое движение отдается болью в глазах, в зубах, губах, снова в глазах.

Мои предложения стали длинными и сухими, мои мысли — короткими и раскаленными. Я раскалена. Окружающий мир воспринимается как стилизация. Я не могу заставить себя сделать это, я так хочу, так надо, думаю, так надо.

Ты — для себя и... для себя.

Я...

Боюсь разочаровать себя, тебя.

Тебя в себе, тебе. Себя во мне, тебе.

Хорошо, что ты об этом не думаешь: так у тебя больше шансов не свернуть с выбранной тропы.

Не верю тебе, себе, ей, ему. Сложное — просто. Это гордиев узел, не более.

...Снова и снова, сама не понимаю. И я. И эти сны, это героическое прошлое, которое частями — героическое, а частями — будто бы героическое. Есть что-то другое, чего я не вижу, но как будто чувствую, могу потрогать. Есть девочка Карина, которая так похожа на меня и которая, наверное, ждет, чтобы я, наконец, хоть что-то сделала. Пора, пора, пора, не молчи.

Жаль, что...

«Человек так устроен: если в него выстрелить, польется кровь».

Самоубийство — грех. А смерть — тоже грех?

А если не хочешь, но умираешь — это грех? А если не хочешь, но приходится — грех?

Наваждение какое-то — этот страх.

Нет, нет. Все просто. Все так просто, что не бывает. Око за око — так.

Ифигения в Авлиде. Во имя чего — она?

Во имя чего — я?

Есть девочка Карина. И она ждет, чтобы я хоть что-то сделала.

Карина — это я. Спираль идет на новый виток... ты скажешь об этом Лицию?

Нужно ли учиться тому, как говорить «прощай»? Но я прощаться ни с кем не буду.

Вот, здесь: прощайте.

Человек так устроен».

Это как на исповеди. Это как на приеме у психолога. *Это просто не оставить себе ничего, кроме одного решения.* Это как *cum tacent, clamant.*

Все, все упирается в прошлое. Ведь я правильно поняла намеки?

Возвращение

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ я снова увиделась с бабушкой. Она осуществила свою мечту: отправилась в Нестеровку, в надежде найти место, где родилась. После этой поездки она и приехала к нам.

Ома выглядела очень огорченной. Она подробно рассказала о том, как и куда они ездили — с ней был старший сын, мой дядя.

Сначала — несколько дней пути: самолет, поезд, автобус, машина. Потом — долгие поиски.

По приметам, что бабушка помнила еще с детства, они только примерно определили место, где мог стоять дом, в котором родилась бабушка, в котором родилась ее мама, в котором жили многие поколения до них. Нестеровка уже слабо напоминала Моргентау; правильнее даже сказать, совсем не напоминала Моргентау.

Несколько дней они бродили по селу, вокруг села, вызывая удивление местных жителей: что могут делать здесь прилично одетый мужчина, явно горожанин, и совсем уж чужеземного вида пожилая женщина? Да еще и говорили эти двое между собой на немецком... Чудеса, да и только!

Наконец, через несколько дней поисков, бабушка узнала четыре дерева, которые образовывали почти правильной формы квадрат. Они несколько раз уже бывали на том месте, но бабушка никак не могла его вспомнить, потому что она представляла этот квадрат еще по-детски огромным. Теперь же она могла измерить его считанными шагами.

Это были те самые деревья, на которые она забиралась в детстве, играя в прятки с сестра-

ми, деревья, где, держа на коленях тетрадь, она писала школьные сочинения. Я помню, что бабушка рассказывала мне, как написала однажды в школе такое сочинение: девочка сидит на длинной ветке дерева, откидывающего тень на веранду ее дома, и видит, как сменяются времена года, как летом по двору бегают дети, играя в лапту, как наступает осень и забрасывает их багряными листьями с золотыми прожилками, как зима покрывает реку льдом, и те же ребята бегают по льду на коньках; весной на дереве снова зеленеет листва; а она сидит на дереве и наблюдает за всем, что происходит вокруг...

Когда Ома писала это, ей было тринадцать лет, она жила уже не в Моргентау, а в Орлово-Гае, до этого успев переменить несколько городов и сел; но именно это воспоминание запало бабушке в душу. Думаю, поэтому-то она запомнила так хорошо примету — четыре дерева.

И вот теперь под их ногами была та земля, где родилась моя Ома Карина. Пока они искали этот кусочек родного, они не обращали внимания на сор, лом, кирпичи, бетонные плиты, которые со времен еще Второй мировой громоздились здесь и которые потихоньку разбирали домовитые крестьяне. Теперь же все это бросилось им в глаза. Серая плита навалилась прямо на ствол одного из деревьев; оно, как сломанный бокал, покосилось, наклонилось, почти касаясь ветвями земли.

Дядя сказал, что бабушка попросила оставить ее одну — ненадолго. Но больше часа она ходила по обломкам того, что некогда было ее домом, и шептала про себя какие-то слова.

На фоне уходящего солнца она стояла, прислонившись к дереву, смотрела вдаль и вместе с тем — в никуда.

Потом она проходит между завалами строительного мусора, бревен, веток, железяк, кирпичей — молча, тихо. Останавливается, что-то шепчет про себя. И — снова делает несколько шагов — так же тихо, как будто она здесь — чужая, как будто она — проникла тайком на чужую землю. На глазах у нее слезы.

Так я представляла себе сцену прощания Омы Карины со своим домом.

Почему прощания? Я ведь никогда не узнаю, о чем говорила бабушка, с кем она говорила. Но мне кажется, не так сложно об этом догадаться. Обломки. Разруха. Большие деревья детства, ставшие вдруг маленькими, старенькими. Да, она прощалась: больше она там уже не побывает. Дорога назад — закрыта. И вместе с тем — ее и не оказалось-то на самом деле, этой дороги в прошлое. Кто-то истоптал ее, смешал с пылью и кровью, прошелся тяжелыми сапогами по тропинке, которая вела в прошлое.

Мне жаль, что у тебя нет Родины, моя родная.

Я так хочу хоть что-нибудь сделать для тебя...

Хэппи-энд

КАК-ТО НА ГРАНИ вечера и ночи, за «Игрой в бисер», я вдруг понимаю, что надо идти. Куда именно — не знаю. Но прямо сейчас, не задерживаясь ни на секунду, не думая, не сомневаясь.

На часах — одиннадцать-сорок шесть.

В метро людей мало, но, как всегда, вечером здесь странно; странно-неприятно: вспоминаю мальчика-хорька.

Я знаю, что, выйдя из метро, сверну направо и долго буду идти по едва освещенной улице, пока не дойду до дома, в который мне захочется войти. Предвкушение этого наполняет меня уютным чувством радости, смешанной с легким волнением. Я улыбаюсь сама себе.

В переходе женщина поет незнакомую песню. Я кладу в ее шляпу-котелок монетку и останавливаюсь на секунду.

Она поет, кажется, не вполне хорошо; но ее пение чем-то трогает. Звонкий, чуть надтреснутый голос взлетает к потолку — и, чуть не коснувшись его, камнем падает вниз.

Я выхожу из метро. Смотрю на часы.

Так или иначе, но теперь действительно — пора.

Ноги сами меня несут куда-то.

Узкая улица. Вспоминаю вдруг, что когда-то я часто бывала здесь. Тогда, залитые солнцем, эти дома, эти окна, эти фонарные столбы казались совсем другими. Тогда, давным-давно, я три раза в неделю приезжала сюда на курсы актерского мастерства. Тогда около метро меня всегда ждал Лиций. Но теперь его не было со мной.

Мне, кажется, не так уже много жить?

Пришло время. В меня уже проникла эта мысль, незаметно для меня разлетелась по телу, обвилась браслетами на запястьях и подсказывает, что делать.

Я же на самом деле это знаю, давно знаю. Что это не я живу, а мысль в моем обличье. Она говорит за меня, я суть ничто.

Знобит от холода, от волнения.

Проходя мимо своего бывшего театра, с удивлением вижу, что дверь приоткрыта. Кто-то забыл закрыть? Я быстро приоткрываю дверь и проскальзываю вовнутрь.

На цыпочках. Сторож спит. Я снимаю ключи от большого зала и тихо-тихо поднимаюсь по лестнице. Мельком бросаю взгляд на листовку на стене: сегодня вечером, оказывается, была «Ифигения».

Три лестничных пролета — как три века, и мне кажется, что мои шаги отзываются так громко, что и с улицы слышно, что сейчас уж точно проснется сторож.

Все, быстро открываю и закрываю изнутри на ключ дверь большого зала.

Ключ подрагивает в руках.

Здесь ничего не изменилось за то время, что меня не было. На стенах — так же странно: Шекспир, Станиславский и Высоцкий. Между креслами пробегают потрепанные бордовые дорожки. И сцена — по-прежнему ободрана, по-прежнему за декорациями неприглядные секреты.

В этом зале, чаще всего полупустом, мы ставили отчетные спектакли. Первой ролью, которая мне досталась, была Офелия в «Гамлете». Помню, как волновалась перед началом спектакля. Я боялась, что выйду на сцену и у меня подкосятся колени или я забуду свои слова. Я всегда волновалась перед спектаклями.

Волнуюсь я и сейчас.

Быстро прохожу между рядами потертых кресел. Будь у меня время, я бы остановилась, попыталась запомнить, что и как выглядело здесь. Но я боюсь даже на минуту задержаться, поэтому просто пробегаю между рядами. Падаю прямо на пол перед сценой.

Внизу зашумели. Сердце вот-вот пробьет грудную клетку.

Раз — и вправду пробивает.

Пробивает.

У меня в груди дыра.

Из нее выскакивает подпрыгивающий комок и увеличивается, расползается, принимает форму этих стен, этой комнаты. Теперь весь этот зал — мое сердце. Теперь не оно находится внутри меня, а я внутри него. Оно бьется со всех сторон, из каждой стены, в каждом стуле, в не убранных со сцены декорациях.

Я чувствую гордость — каким большим стало мое сердце! И раз все так, значит, я правильно пришла. Не слышно ли чего снизу?

Кажется нет.

Тишина. Сколько времени уже прошло?

Я так и сижу, скрестив ноги, на полу перед сценой; темнота обволакивает меня. Потом потихоньку рассеивается. Декорации остались на сцене после спектакля. Жертвенный камень, доспехи, веревки, деревья.

Еще немножко тяну время, отдыхаю в эти бесконечные секунды. Я почти готова.

Сняв обувь, подхожу к окну и аккуратно открываю его — миллиметр за миллиметром — окно старое, пыльное, давным-давно не крашенное — оно так скрипит, что сердце снова начинает сильнее биться в стенах со всех сторон; рассеиваюсь по залу, я становлюсь всем, всем, каждой пылинкой, даже тем самым окном, которое, наконец, приоткрылось.

Дикая, вакхическая радость охватывает меня, и я хочу петь, танцевать, позабыв про осторожность. Сердце по-прежнему лихорадочно бьется со всех сторон, предупреждая, что затягивать уже нельзя. Скоро, скоро, скоро!!!

Я здесь! Veni! Я пришла! Vidi! Я нашла! Vici!

И — все-таки — я прощаюсь — про себя — долго и исступленно, словно в агонии. Я называю имена, говорю что-то, чего не успела в жизни, признаюсь в...

...Лежа на этом камне, где еще накануне вечером билась в судорогах Ифигения, считаю про себя:

— Один. Два. Три. Четыре. Пять...

Надо мной появляются шары — гладкие, белые, числом тридцать три. Я знаю, что их нужно уложить в треугольник. Я беру первый шар, ставлю его на место:

— Один.

— Два, — второй шар аккуратно ложится рядом с первым.

— Три. Четыре. Пять. Шесть.

Треугольник получается аккуратный, ровный; осталось всего два шара.

— Тридцать два... Тридцать три.

Вдруг все останавливается, замирает; медленно исчезает треугольник из шаров, откидывается моя рука, ничего не слышу, не видно...

Как будто время свернулось в клубок...

Как будто время свернулось в клубок...

Как будто время свернулось в клубок...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

...эхо, эхо соскальзывает со стен...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

...тени, тени пляшут по стенам...

...времявремявремясвернулосьвклубоклубоклубоклубок...

Я нигде. В пустоте. В темном, плотном пространстве.

— Я думала, что это будет похоже на лабиринт, — говорю я вслух — и сразу появляются стены, двери, коридоры, светлеет.

Наткнулась на дверь, открыла. Там снова коридор, на полу зеленая вода. Еще одна дверь. Пустая комната. Коридор. Дверь. Коридор с горячими полами. Дверь. Комната. На стене картина. Багровая, окровавленная картина. Я на ощупь шла по коридорам, сворачивала направо, потом налево, открывала двери, проходила через пустые комнаты, попадала в очередной коридор.

Так я бродила очень долго, удивляясь тому, что здесь и там появлялись вещи, тени людей, о которых я думала. Я видела родителей, Ому Карину, Айс, Зимнюю, Лиция, трогала их, целовала, но они не видели меня.

«Наверное, у этого лабиринта нет конца».

Одна из дверей исчезла. Я подергала за ручку другую — она была закрыта. Оставалось идти дальше по коридору.

...Сначала я медленно, осторожно делала шаг за шагом, боясь наткнуться на что-то, что будет еще страшнее, чем это беспомощное блуждание в неизвестности. Потом мне стало все равно, я рывком открывала двери, быстро проходила через комнаты, не смотря по сторонам. То вдруг меня подхватывал ураганный ветер, швырял на пол, то приходила в комнату, где из стен сочился березовый сок. Я устала...

Иногда шла по битому стеклу. Иногда — по песчаному пляжу, и волны смывали кровь со ступней. Потом песка не стало, волны убежали, и я снова пошла по паркету. Через открытую дверь я шагнула прямо в пылающую кузницу, подпалившую кончики волос, пробежала через нее и обнаружила на запястьях своих оковы.

— Только цепей мне не хватало, — неосторожно сказала я вслух, и почувствовала: прицепилась к наручникам огромная, толстая цепь.

— Это потому, что я подумала или вслух сказала?

Хотелось пить. Воды. Любой. Родничка какого-нибудь.

Из стены полилась вода. Я сложила руки ковшиком и зачерпнула воды

— Спасибо.

— Пожалуйста, — прозвучало с потолка.

— Я прямо как Алиса в Зазеркалье.

Передо мной появилось зеркало. Я увидела себя — всю в царапинах, в пыли, растрепанную, обезумевшую. По щеке бежала струйка крови; я вытерла ее рукавом. За моей спиной появилась еще одна фигура.

— Карина?

Она погладила меня по щеке.

— Я так устала...

— Еще чуть-чуть, Легси, еще чуть-чуть...

И дальше — снова пустота... Пустота и бесконечность. Битое стекло. Ветер. Вода. Ножи. Ружья. Огонь. Длинные, бесконечные коридоры. Целая вечность из коридоров.

Но наконец, пришел момент, которого я так ждала: я дошла до комнаты, в которой не было уже ничего. Пустые стены, ни одного коридоры, ни одной двери. Пустота. Я села, прислонившись к пустоте, и закрыла глаза. Теперь это должно начаться...

Мир сошел с ума

БУДУЩЕЕ МОГЛО БЫ быть прекрасным.

Но люди раскололи наш фиолетовокрасный кубошар — то, что могло стать прекрасным. И мое будущее стало таким, какое есть. Оно не стало плохим. Но мы видим его под другим углом, и этот угол — совсем не то, что раньше. Призма искажения.

* * *

Мне двадцать пять лет, и я работаю в суицидарии.

Меня зовут Ольга, хотя еще каких-то десять лет назад меня звали гораздо проще и красивее: Легси. Но эти десять лет вместили в себя такую резину воспоминаний и событий, что это все было как будто столетие назад.

Итак, я работаю в суицидарии.

И через восемь дней я подаю заявление об увольнении, иначе скоро сама же и стану его клиенткой.

Моя задача — встречать всех желающих покончить жизнь самоубийством, задавать им два контрольных вопроса и выдавать таблички для предсмертной надписи. Затем выделять им место в крытой или открытой зоне. За отдельную плату в офисе можно купить веревки, таблетки, ножи, отточенные карандаши и прочую чепуху, но это уже не в моей юрисдикции: я — топ-менеджер и лицо суицидария, не более чем.

Я ненавижу эту работу! Ненавижу!

Она сводит меня с ума. Кажется, я пробовала уже все, что только можно было испробовать, но — суицидарий оказался сильнее меня. Здесь выживают либо божьи одуванчики, которые с улыбкой помогут выбрать веревку поудобнее, расскажут посетителям последний анекдот и обсудят с ними погоду. Либо мрачные поэты, бросающие на всех злобные взгляды исподлобья и сжимающие в руках блокноты с самыми едкими, точными и остроумными эпитафиями. Еще изредка можно встретить суховатых добродушных старушек, милых и исполнительных, но от того не менее странных: с ними невозмож-

но говорить. Они не понимают, что вы пытаетесь до них донести, они слушают — и слышат что-то совсем другое, свое.

Самыми естественными, человечными в суицидарии кажутся посетители. Они разные. Они проходят в офис, чуть стесняясь и застенчиво опуская глаза, говорят, что хотят покончить жизнь самоубийством. Они пинком открывают дверь и падают на кресло, закатывая глаза. Они незаметно просачиваются в комнату и пугают вас своим уничижительным взглядом, когда вы случайно поднимаете на них взгляд. Они могут быть приятными и отталкивающими. Но они — живые, они не похожи друг на друга, и я люблю их за это.

В первые три дня у меня руки тряслись, когда я ставила подпись на их заявлениях. Потом привыкла. Работа — отвратительная. Но я дала себе слово, что продержусь хотя бы три месяца. Жаль, что не два, и совсем жаль, что не один.

...До конца рабочего дня осталось полчаса; уже радостно засуетились старушки, запели песни балагуры-шутники. Дверь приоткрылась, и за ней показался чей-то глаз, прикрытый трогательной детской челкой. Потом за моим столом появилось воздушное создание лет, наверное, четырнадцати, которое предъявило паспорт, подтверждающий минувшее совершеннолетие, и прошептало: несчастная любовь...

«Девочка, да оглянись же ты вокруг! Какая несчастная любовь! Да будет тебе скоро столько их, счастливых, что не будешь знать, куда отпрыгнуть, чтобы не разбить на кусочки еще чью-то надежду!

Хорошо, допустим, он тебя бросил. И ты его любишь, нет сомнений. Но если это так, то почему ты хочешь повесить на него грех ответственности за свою смерть? Хочешь, чтобы он всю жизнь мучился из-за того, что не увидел, не услышал, не сказал?

Нелюбовь, дорогая моя, не любовь».

Но сказать все это вслух я не имею права, поэтому я произношу изжеванные контрольные фразы:

— Вы уверены, что хотите покончить жизнь самоубийством?

— Да.

— Нет ли кого-то, кто мог отговорить вас от самоубийства?

Девушка молчит. Мне кажется, она сейчас сломается — или заплачет, или спрыгнет со стула и убежит. Я тихо радуюсь. Но она дергает подбородком и выдавливает из себя:

— Нет.

Что ж, в таком случае осталась чистая формальность: стандартный, распечатанный в тысячах экземпляров бланк, ее роспись и виноватый взгляд, брошенный мне напоследок. Я ловлю этот взгляд, этот кусочек льда. Часы бьют семь, я срываюсь с места и почти бегу к выходу.

Самое страшное место суицидария — дорога от офиса к выходу. Офис прячется в самой глубине парка, и каждый день мне приходится дважды вышагивать меж стройными рядами табличек и плит, аккуратно начищенных уборщиками. Утром путь кажется не таким страшным — солнце играет над головой, создает ощущение второй реальности, которая касается только тех, кто сам втягивается в нее. В семь часов все совсем по-другому. В семь уже темно, и каждый раз, идя к спасительной машине, я чувствую, как холодеют у меня руки, и пальцы становятся такими белыми, что ими можно освещать дорогу в темноте.

Ненавижу суицидарий! Ненавижу себя за то, что я решила и здесь получить долю чувств!

Каждый раз, приближаясь к выходу, я смотрю на новые таблички. Закусываю губу, чтобы не пнуть их ногой от злости и не заплакать от отчаяния:

«Меня бросил Вася».

«Игорь больше меня не любит».

«Он встречается с другой. Будьте счастливы, ребята».

«Ты виноват во всем».

«Среда заела».

«Достало».

Прохожу мимо двух могил, выкопанных совсем рядом друг с другом. Табличка на одной из них покосилась, того и гляди, упадет. Я, было, протягиваю руку, чтобы поправить покосившуюся табличку, но прочитываю надписи, и рука повисает в воздухе.

На первой табличке написано:

«Я обидела свою лучшую подругу».

На второй:

«Из-за меня моя лучшая подруга покончила жизнь самоубийством».

Кто-то невидимый резко ставит мне подножку, и я падаю, больно ударившись коленками и локтями. Уже не жалея белого костюма, я реву, вытирая слезы рукавами пиджака, ощупывая пальцами эти таблички, как будто в них есть ключ к разгадке всей этой глупости. Дрожащими руками я достаю из сумки телефон и звоню Айс.

— Пожалуйста...

Айс сейчас возглавляет кружок художников-космистов. На днях у нее открывается персональная выставка работ в Берлине. Поеду освещать и вспоминать *былое*.

Зимняя тоже приедет из Пекина. Сейчас она там переводит манифесты для городских сумас-

шедших и занимается легализацией флэшмоба. В Пекине она живет уже три года, лишь изредка приезжая в гости. Жизнь в отрыве и эмоциях идет ей только на пользу: в последний раз она вихрем спрыгнула со ступенек притормаживающего поезда, предварительно сбросив свой чемодан в виде арбуза, заливаясь смехом.

— Легси, Легси! Хей, Оля, я здесь!!! — кричала она, размахивая своей ковбойской шляпой с розовой вуалью и подпрыгивая на фиолетовых шпильках.

Лиций сейчас в Тибете. Быть может, он тоже приедет в Берлин, но я не уверена в этом.

Наверное, в скором времени я подарю кому-нибудь свой ресторан «Гурманы-извращенцы», откажусь от колонки в журнале и поставлю крест на разбросанных в пылище книжных магазинов книгах. Оставлю это все и тоже уеду. Хватит. Я получила свою часть чувств в этом мире, а больше мне и не нужно.

Гордиев узел

БЕРЛИН НИЧУТЬ не изменился со времен моего семнадцатилетия.

Мы прилетели рано утром одним рейсом с Айс; Берлин все так же утопал во времени, черном кофе и серой погоде. Айс поспешила в выставочный зал, пообещав вернуться не позже завтра. В распоряжении моего одиночества был целый день. Зимняя должна была прилететь только послезавтра, а Лиций — уже завтра.

И чем больше я думала о нем, тем сильнее понимала, как хочу его увидеть.

Лиций уехал в Тибет шесть лет назад. В первый год от него почти не было вестей. Постепенно я отвыкала от него; скучала, но вспоминала почему-то все реже и реже. Мне было стыдно перед собой за то, что я словно бы забыла Лиция. Но, наверное, так я подсознательно приспосабливалась, чтобы не грустить без него.

Через год он объявился — возвращаясь домой, я увидела его машину у своего дома, а в следующую секунду — его самого. Следующие три года он периодически давал о себе знать — то прилетал на пару дней, то звонил. Чем чаще я его видела, тем больше я по нему скучала: привыкала.

Потом он снова исчез. За два года пришло три-четыре письма.

И за несколько дней до моего отъезда в Берлин Лиций позвонил мне и сказал, что обязательно будет. Из голоса его можно было высечь искру.

Не помню уже точно, что я делала в тот день в Берлине.

Сначала позвонила бабушке. Это точно. Это я помню.

Долго разговаривала с ней — решено было, что я приеду после выставки.

Потом вышла на улицу. Где ходила — и ходила ли вообще; что видела — и видела ли что-нибудь — все как в тумане. Я была одна.

В своей сумке я неожиданно обнаружила старый дневник — тот, что вела еще в семнадцать лет. Я полистала его. Последняя запись была сделана именно в Берлине — тогда, когда мы вчетвером были здесь на Wanderjahr[1]. Что ж, еще одно совпадение.

Я нашла ручку и открыла чистую страницу.

«Когда я в семнадцать лет вела этот дневник, моя жизнь была похожа на стакан воды, всегда наполненный до краев.

Прошло восемь лет. И сейчас все зависит от дождя — наполнит ли он стакан так, что вода перельется через край — или стакан будет долго-долго стоять пустым на крыше высотки, ожидая дождя???

Последняя запись — я в Берлине. Новая запись — снова в Берлине. Пока еще одна, но это — приятное одиночество, одиночество предвкушения.

Чем чаще я открываю что-то новое для себя, тем реже мне приходится находить что-то еще — тем реже идет дождь, и тем он желанней.

Хочется и боязно попробовать на вкус понимание того, что ничего дальше тебя уже нет, мира нет, границ нет, только вязкая, очень плотная и осязаемая темнота.

Мотивы кругов. Круг действительно замыкается, доказательств это не требует. Круги замыкаются в сверхмировом пространстве, и все мы здесь очень даже при чем».

— «Все мы здесь очень даже при чем», — повторяю я про себя, смотря себе под ноги, на остро вычерченные булыжники, которыми выложена площадка. Если попытаться найти среди них тропинку, то можно взглядом дойти до огромного старого дуба, который отбрасывает тень на все эти скамейки, наверное, ему лет сто, не меньше, то есть он в четыре раза старше меня и в...

— Наконец-то, — произнес голос за спиной. — Я все думала, догадаешься ты сейчас или нет.

Невысокая босая девушка в белом платье садится рядом со мной. Она, прищурившись,

[1] В Германии: год после окончания учебы, который принято посвящать путешествиям.

смотрит на меня со странной улыбкой. Ее лицо кажется мне очень знакомым.

Я молчу, пытаясь вспомнить, где, когда я ее видела.

— Ты могла меня плохо запомнить. Ты видела меня в зеркале, — говорит она.

— В зеркале... — Я вспоминаю старое пыльное зеркало в номере гостиницы, где мы останавливались тогда, в прошлый приезд. Карина... Сны... видения, которые вдруг резко прекратились после Берлина...

— Узнала, — робко улыбается Карина, отбрасывая назад челку, — если честно, я боялась — вдруг я изменилась за это время. Мы ведь давно с тобой не виделись.

— Нет, ты не изменилась, — отвечаю я. И в самом деле: все те же глаза, волосы, улыбка, взгляд. — Просто... я не знала, что ты есть на самом деле. А... ты, оказывается, есть.

— Как видишь. Оля, мне надо кое-кого тебе показать и многое рассказать. Пойдем.

Разговор кажется мне странным. Постепенно все предметы вокруг меня отдаляются, прячутся за пеленой тумана, и остается только скамейка, на которой сидим мы с Кариной...

Мы встаем со скамейки и куда-то идем. Становится холодно, как в давнишних снах про Карину, я зябко поеживаюсь, а Карине холод нипочем. Мы поворачиваем направо, потом еще раз, петляем так, что мне начинает казаться, что мы просто ходим по кругу. Дорога, по которой мы идем, если она, конечно, есть, вся в тумане, и сначала мне кажется, что вот-вот я могу оступиться и упасть; потом я просто перестаю смотреть под ноги — очень удобно.

Не знаю, сколько мы шли, но все же, по-моему, не очень долго. Я все время разглядывала Карину. Никак не определишь, сколько ей лет — то ли семнадцать, то ли двадцать пять, то ли тридцать. Она выглядит как девчонка лет четырнадцати-пятнадцати, но ее выдает походка — уверенная в себе, полная спокойного достоинства. Она говорит очень живо, но голос у нее — спокойный и отстраненный. Такой бывал у молодых вдов, сидевших за моим столом в суицидарии.

— Карина, сколько тебе лет? — спрашиваю я.

Она пожимает плечами:

— Сама не знаю, если честно. Очень хотела бы знать, на самом деле. Понимаешь, я — это идея многих-многих моих я — и тебя тоже, потому что ты — мое порождение. Поэтому каждый раз я разная. Но об этом мы еще поговорим. Смотри, мы почти пришли.

С удивлением вижу, что мы вдруг идем по одной из московских улиц. Карина улыбается мне и показывает рукой на здание, смутно знакомое... Потом она вдруг наклоняется и поднимает что-то, блеснувшее в снегу, — связку ключей.

Открывает. Мы заходим внутрь, я вспоминаю, что когда-то ходила сюда на курсы актеров. Поднимаемся по лестнице, я чувствую, что мы идем, не касаясь ногами земли.

В большом зал я вижу себя, лежащую на сцене на каком-то камне, в таком же белом платье, как и Карина. Что это, что происходит?

— Что это все значит? — спрашиваю я у Карины.

— Как ты думаешь, сколько тебе сейчас лет? То есть, — она указывает на стол, — сколько тебе *здесь* лет?

— Семнадцать?

— Да. Ты только что вернулась из Берлина.

* * *

Я чуть заметно шевельнула рукой. Карина подошла поближе и положила мне на лоб ладонь.

— Тебе сейчас очень и очень нелегко, — вздохнула она. — Мне жаль, что именно тебе, Легси, выпал такой жребий. — Она вынула из-за пазухи тонкий платок, встряхнула его и положила мне на лоб: — Еще чуть-чуть, — прошептала Карина, — потерпи еще немного.

— Что с ней? — спросила я.

— Она умирает. Уже совсем скоро.

— Мы можем ей чем-нибудь помочь?

Карина покачала головой.

— Мы не должны. Она сама так решила. Она спасает нас.

— Да что такое происходит! — не выдержала я. — Что это все значит?

* * *

Мы сели прямо на полу, Карина облокотилась на камень. Она устала.

— Вся эта история, наверное, началась очень и очень давно. Мне кажется — тогда, когда люди впервые совершили свой главный грех — не каждый в отдельности, как всегда было и до, и после того, а все вместе: начали строить Вавилонскую башню. Во всяком случае, я уверена, что это началось не позже того, как Бог, решив покарать их, разметал людей по Земле и дал им разные языки. Несомненно, эта история продолжилась в восемнадцатом веке, когда наши предки приехали из Берлина на поселение в Volga Deutsche Republik.

Эти слова Карина выговаривает с замечательным немецким акцентом, и они долго еще

отскакивают эхом от какой-то невидимой перегородки. Я понимаю, что на самом деле ей было бы легче говорить со мной по-немецки. Она делает паузу, потом продолжает:

— Ты сама понимаешь, что девушка на этом жертвеннике — это ты, такая же, как и та, что сидит сейчас передо мной. Вопрос в другом: как? Можешь сама сказать?

— Параллельная реальность? Это я в прошлом, после Берлина, но в другом мире. То есть получается, что нас с тобой здесь нет, мы... мы — из будущего. Так?

— Почти. Оля... тебя ведь в семнадцать лет тоже все называли Легси?

— Да.

— Я даже не знаю, с чего начать рассказывать. Конечно, знай я все сама, я бы и тебе могла объяснить. Но и я тоже знаю только частицы... саму суть того, что происходит, знать невозможно. Ты, я и Легси — мы все есть суть одного и того же. Я – это наше прошлое, Легси — настоящее, ты — будущее. И на всех нас лежит одно и то же клеймо: нам всем при рождении суждено стать жертвой.

— Жертвой?

— Да. Мы можем исправить то, что сложилось плохо, неправильно, — собой. Или мы можем не использовать эту возможность, можем жить так, как живется, или даже использовать ее неправильно, не во благо, а во вред. Потому что в жизни от нас вообще мало что зависит.

Легси снова пошевельнулась и застонала. Карина встала, приоткрыла окно, взяла с подоконника горсть снега и приложила его к щекам Легси. Я тоже встала и дотронулась до своей руки; она горела. Я посмотрела на Карину.

— Почти, — сказала она.

Мы снова сели на пол, Карина торопилась мне все рассказать.

— Когда я была еще совсем мала, кто-то решил, что пора использовать меня. Но я сопротивлялась. Ты видела это — та ночь, когда я болела скарлатиной и мне чудились белые шары, когда болела и умерла моя сестра, — именно ту ночь я и имею в виду. Не понимаю, как получилось, что я выжила — ведь была еще совсем маленькая. Но я осталась в живых. Ты знаешь, как я жила дальше — война, репрессии, переезды с места на место, обиды, оскорбления, постоянный страх. Я почти сломалась... но что-то меня удержало — я не сдалась, пыталась бороться с обстоятельствами, готова была бороться со всем подряд. И наверное, решено было оставить меня в покое. Я вернулась из Казахстана в Германию. Это ничего не изменило — я была чужой в Казахстане, потому что я — немка. Но я приехала в Германию и там стала русской — тоже чужой. Теперь я — человек без Родины. Но не опускать же руки! Родина — родная земля — для меня очень много значит. Но пока я живу во всем мире — и все равно, всем наперекор, чувствую себя счастливой, хотя бы потому, что я вообще живу, а не погибла в буран, не была обглодана добела волками, не зачахла на рудниках, не попала в концлагерь.

— Бабушка. Ты... ты невероятная, — говорю я, — ты самая лучшая. Хотя у меня в голове не укладывается, как это так: я и есть моя бабушка, и еще одна я, и так до бесконечности.

— Так и есть. Ты — это я, твоя бабушка, но и твоя мать, и твоя будущая дочь, и ее дочери — это тоже ты. Но слушай дальше, у нас совсем немного времени. В Легси, а вместе с ней и в тебе, есть то же самое ощущение жертвенности. Вспомни свой болезненный интерес к «Ифигении в Авлиде», к самоубийствам — ты ведь чувствовала в себе это, так ведь?

— Значит, все, кто об этом думает, — потенциальные жертвы?

— Нет, конечно. Я вообще смотрю-смотрю на нынешнюю молодежь и поражаюсь, какие пустоголовые вы растете. — Она явно хитрила, давая мне понять, что не стоит воспринимать эти слова слишком уж всерьез. — У вас такая мода пошла дурацкая на суицид! Тем более что удобно ощущать себя жертвой, это так оправдывает собственное бездействие.

— Все равно не обижусь, — смеюсь я.

— Не обижайся, правильно. А нам некогда было думать об этом всем — нам надо было выживать. У вас же есть все условия для жизни — и вам тоже хочется какой-нибудь борьбы. Это глупо. Не бери в голову. В конце концов, должна же я хоть один урок тебе дать, я же твоя бабушка. Дальше... Мне пришлось потревожить тебя. С одной стороны, через меня тебе пытались объяснить, что нужно делать. Но это все так и осталось бы твоими снами, кошмарами, если бы не твои попытки открыть себе третий глаз. С тех пор как это стало тебе удаваться, я все больше и больше проникала в твою жизнь, я начала жить тобой. Мне это даже нравилось; мне вообще очень нравишься ты — так похожа на меня, — улыбнулась она. — И я решила действовать самостоятельно. Я на самом деле не хотела, чтобы ты делала это, — Карина указала на Легси и грустно покачала головой, — пыталась внушить тебе, что можно разрешить все по-другому. Но ты все поняла сама. Без меня.

Дверь со скрипом приоткрылась. Передо мной стоял хорек, тот самый хорек из метро, и так же точно он улыбался, оскалив зубы и прикидывая, с чего начать.

Я вскочила со стула, но Карина взяла меня за руку.

— Это тоже часть того, о чем я тебе говорила.

Хорек улыбнулся мне с мерзкой обаятельностью.

— Здравствуй. Извини, что я тогда напугал тебя. Не совладал с собой.

Карина сказала:

— Мы справимся вдвоем. Уходи.

Хорек пожал плечами, послал мне воздушный поцелуй и исчез.

— С тех пор как я стала пытаться объяснить тебе все на своем примере, решено было, что надо ускорить события. Раз ты не спешила совершать жертвоприношение, нужно было сделать это, не дожидаясь тебя. Это несложный ритуал, и форма его не так уж важна — была бы жертва...

Позже, разговаривая с Лицием, я часто вспоминала то, как мы сидели с Кариной на полу в зрительном зале захудалого театра, около жертвенника, на котором умирала девушка, бывшая мной самой, как она страдала, а мы не могли ей ничем помочь, потому что она была в совсем другом измерении, как Карина медленно рассказывала мне обо всем, и я не могла вставить ни слова, потому что не то что говорить — даже думать не могла ни о чем. До меня слабо доносился голос Карины:

— Потом ты поехала в Берлин, и мы дважды с тобой виделись. По твоим расспросам я поняла, что оставшееся — дело времени. Поэтому вскоре видения прекратились — в них больше не было необходимости. Я наблюдала за собой — хотела сама проводить тебя и рассказать тебе, что делать дальше. Так я появилась на той скамейке, в Берлине...

Тут Карина замолчала, и я почувствовала, что мне не хватает воздуха, как будто кто-то туго сдавил грудную клетку. Я попыталась сделать вдох, но грудь закололо тысячей иголок. Сердце встрепенулось — и резко успокоилось. Я открыла глаза и посмотрела на Карину.

Карина стояла у стола боком ко мне и держала Легси за руку.

— Все, — тихо сказала она. Я поднялась и увидела, что она плачет.

Легси была мертва. Я была мертва.

Мое лицо было белым как бумага, мои губы сравнялись с ним цветом. На запястьях просвечивали голубые вены. Я была похожа на восковую куклу — не хватало только подушки из черного бархата. С моей щеки на мою щеку скатилась слеза, и я стерла ее своим пальцем.

Карина обняла меня.

— Я горжусь тобой.

Она закрыла мне глаза и положила две монеты. Перекрестила Легси и поцеловала в лоб.

— Теперь пойдем.

— Карина, а мы можем еще немного здесь побыть? — спросила я.

— Можем. Но зачем? Лучше не надо. Тем более, тебя снова ждут.

— Кто? — вздрогнула я.

— Не волнуйся. Ты заслужила большой подарок... или этот большой подарок заслужил тебя, в таких делах никогда не разберешь.

Я в последний раз посмотрела на себя.

— Спи, маленькая героиня, — сказала Карина и увела меня.

Мы снова шли, шли, шли... Вдруг Карина чуть толкнула меня, и я упала на мягкий диван.

Она села рядом. Постепенно туман рассеялся, и стало ясно, что мы сидим в холле гостиницы в Берлине.

— Теперь все, — сказала Карина. Я увидела, что у нее на щеках все еще блестят слезы. — Снов и видений больше не будет, во всяком случае, связанных со мной. А другие, наверное, будут, — вздохнула она.

— Тогда, может быть, все равно будешь и ты? — то ли спросила, то ли сказала я.

— Я надеялась, что ты спросишь, — улыбнулась Карина. — Мне пора идти. Но можешь спросить у меня еще что-нибудь, если хочешь.

— То, что сделала Легси, — поможет? Что-нибудь изменится?

Карина молчала.

— Карина?

Она не ответила.

— Карина, скажи мне, что-нибудь изменится благодаря Легси?

— Нет, — с трудом ответила она. — Мне жаль, но, наверное, мир еще не готов к такому. Но ты не должна об этом думать, и я тоже. Спроси что-нибудь другое.

Я задумалась.

— Карина, а... фиолетовый куб? Это было? Или нет?

— И все-таки ты спрашиваешь все про одно и то же. Да, это было. Еще одна ты. Ты, которая была другой, не такой, как Легси, — но стала такой, как ты сейчас.

— А как все это может быть? То есть, например, ты — это моя бабушка, но ты — и я тоже, и моя мама, и моя дочь, и моя внучка, и моя прапра-пра-кто-нибудь-там? Как это?

— Вот это один из таких вопросов, на который и я не могу ответить. Я — это я, ваша идея, а вы — множество моих воплощений. На этом все, Оль. Теперь действительно пора.

Она обняла меня и сказал:

— Будь умницей — все-таки я, как твоя бабушка, должна тебе что-нибудь такое говорить. На все свои вопросы ты сама сможешь ответить. Он тебе поможет.

— Кто — он? — удивилась я.

Карина только улыбнулась.

— До свидания.

Пустота

МИР не изменился.

Все было сделано напрасно.

То ли вечность, то ли бесконечность

КАРИНА ПОВЕРНУЛАСЬ и пошла к выходу через холл. В дверях она обернулась еще раз, на прощание, и улыбнулась мне. Такой я ее и запомнила: босоногая девушка с удивительно грустными глазами и робкой, теплой улыбкой смотрит на меня, опираясь одной рукой о дверь. Челка спадала ей на лоб, и она снова откинула ее нетерпеливым жестом.

Карина вышла на веранду.

А мне спешить было некуда, делать — нечего, думать же было о чем.

— Оля, — голос был тихий и дымчатый.

Он ничуть не изменился: по-прежнему казалось, что он умеет читать мысли.

— Здравствуй, Лиций, — сказала я и подумала, что в ответ на мое мысленное признание в любви он скажет: «Я знаю».

Но он сказал: «Я тоже».

Так мы молчали, глядя друг на друга.

«Он тебе поможет, — вспомнила я. — Он все знает».

— Лиций... что ты знаешь? — спросила я. По сравнению с тем, как я о нем думала, вопрос мой прозвучал резко и требовательно, как будто это не был разговор, начавшийся признанием в любви.

— Про тебя и про нее. Знаю, зачем ты это сделала, знаю, что это оказалось впустую. Горжусь тобой, — очень просто, до неправдоподобности, ответил Лиций.

— Обидно, что ты так все это говоришь.

— Просто я по-другому не могу об этом говорить. Извини. Мне было очень тяжело, когда ты это сделала, даже не сказав никому из нас ничего на прощание.

— Я боялась. Я не знала, так ли делаю, не так. И еще думала, что если я вам скажу, то уже не выдержу и сдамся. Знаешь, как одиноко мне было?

— Знаю, — отвечает Лиций. — Теперь ты точно этого не повторишь, я не дам. Хватит тебе и одного раза. И мне тоже.

— Лиций... что значит — тебе тоже?

— То, что и я... тоже.

— «Я тоже» — что это значит, Лиций?

— Посидим на веранде?

Мы идем по гостинице, держась за руки, но отстраненно, не смотря друг на друга.

— Мы все с вами были так или иначе связаны — не только дружескими отношениями, но и чем-то другим, не знаю, как это назвать. Все люди делятся на тех, кому предназначено быть жертвой и нет. И еще на тех, кто ей станет, и тех, кто нет. Из нас тебе суждено было стать жертвой, и ты сыграла свою роль. Зимней тоже была уготована такая участь, но она идет по другой тропе. Она верит. Айс. Для нее ничего не написано. И она не играет в жертвы. Думаю, что Айс и Зимняя придут к цели каким-то иным путем. И наконец, я. Мне, как и Айс, тоже не предписана участь агнца. Но после тебя я тоже сделал это. Отдал себя.

— Подожди. Не надо все это перечислять так цинично, — тихо сказала я. — Говори нормально, пожалуйста. Зачем ты это сделал? Как это случилось? Кто тебя толкнул на это?

— Понимаешь... Мне казалось, велики шансы того, что если в одной из наших реальностей что-то изменить, то и в других все пойдет так же. И я боялся, что во всех этих мирах не станет тебя. Когда ты это сделала, я знал, почему так произошло... скорее, я даже заранее знал, но остановить тебя не мог. Поэтому потом, через несколько месяцев... я тоже это сделал — для того, чтобы в другом мире мы могли быть с тобой вместе. Это была моя жертва ради нас с тобой.

...Мне кажется, что в тот вечер я в последний раз плакала за эту жизнь. Больше уже никогда не буду.

Но нам еще было о чем говорить — и мы разговаривали, пока голос не охрип. Лиций сидел на бордюре фонтана, я лежала рядом, положив голову ему на колени, и мы говорили, говорили, говорили... Я спрашивала у Лиция обо всем, потому что каким-то образом он все знал, знал с самого начала.

— Лиций, а что будет с Кариной?

— Она шла по другому пути — может, по тому, который еще только ищут Зимняя и Айс. Она вступила в борьбу — очень неравную. Борьба против Хаоса или Мира — одно и то же. Конечно, победить она не победила, но завоевала свое право на счастье. Мне кажется, она счастлива, разве не так?

— Если моя Ома Карина, то, думаю, да. А та Карина, которая моя, в белом платье?

— И она тоже.

— Хорошо, что она счастлива и здесь, и там. Она это заслужила. Лиций, а чем отличаются все наши миры? Хотя бы тот, в котором все было, и этот?

— Вот этого я не знаю, не могу ответить. Мне кажется, что этот мир по сравнению с тем... он какой-то искаженный. Извращенный, я бы даже сказал. В нем очень много такого, что скорее неправильно, чем правильно, — все эти суицидарии, например. Они поощряют слабости людей. Такое вот извращенное будущее. Или космизм, которым занимается Айс, — это тоже неправильно, и я думаю, она сама понимает, что нужно его бросать.

— Почему?

— Она занимается искусством, а искусство больше, чем что-либо другое, идет от работы над собой, от упрямства. В ее кружке, кроме нее и еще двух-трех человек, нет ни одного настоящего художника — они все пришли от лени, оттого, что хотят богемной жизни без всяких забот. А Айс действительно талантлива — ей нужно расти, и я уверен, что скоро она отойдет от космизма. Вообще, наверное, все наши миры на самом деле похожи. Просто каждый из них мы воспринимаем через какую-то призму. Или, может, миры на самом деле одинаковые, просто разные в них — мы. И мы сами — эта призма. Каждый видит только то, что хочет видеть. Я хочу видеть тебя, например. И во всем, что я вижу, я вижу тебя — потому что я смотрю на все через призму желания быть с тобой.

— Лиций, я так долго смотрела на мир через призму Карины... Хотя все-таки я знала, сразу знала, как только ты открыл мне третий глаз, что я буду любить тебя не одну свою жизнь. А скажи... мы с тобой — неправильно все сделали? То есть ты сказал про Айс, что она идет своей дорогой, и Зимняя тоже пойдет по другому пути, к Богу. Значит, мы — не к Богу? Или мы — слабые, потому что не стали бороться?

— Тебе легким показалось умереть?

— Нет.

— И мне тоже. Поэтому нельзя сказать, что мы слабые. Мы тоже идем по своей дороге. Нельзя думать, что то, что мы сделали, — грех, потому что мы не сами убили себя. Мы просто встретили смерть в той точке, в которой ее ждали. Пришли — и она сама на нас наткнулась. Но точку эту тоже нам подсказали, понимаешь? Поэтому ничего тут не скажешь — все получилось так, как должно быть. Невозможно просчитать все возможные варианты. Нам выпал один, и, как ни крути, мы сделали все, что от нас зависело. Это как карты, в которых ты играла честно, а я немного сблефовал. Остальное зависит уже... — он не договорил, да и не нужно было.

— Да в-общем-то, и игра уже кончилась, — поставил Лиций точку. — Все.

— И что теперь?

— Что теперь... Круг замкнулся. Мы сейчас — снова в Берлине, в котором мы были в другом мире и в другом обличье много лет назад. Только тогда...

— Тогда, — перебила я его и процитировала фразу из своего дневника: — «Мы не были влюблены друг в друга, просто мы друг без друга не могли».

Мы рассмеялись.

— Я после выставки еще еду к бабушке. Знаешь, она пишет книгу своих воспоминаний. Правда ведь, это здорово?

— Очень. Я собираюсь поехать к ней вместе с тобой.

Я не сразу нашлась, что ответить. Какое-то непонятное тепло разлилось внутри. И я просто сказала:

— Она тебе очень, очень, очень понравится.

— А она ездила в Нестеровку?

— Да... Лиций, откуда ты об этом знаешь?

— Я следил за тобой все это время, — очень серьезно ответил он.

...Не знаю, что подумали Айс и Зимняя про Берлин. Может, он им понравился чуть меньше, чем нам с Лицием. Но выставка Айс прошла замечательно, и моя редакция была более чем довольна, как, впрочем, и флэшмобберы Зимней, и Лиций — сам собой.

Люблю в нем эту самодостаточность.

По вечерам мы снова сидели в маленьких кафе на Курюрстендамм, которая стала еще более шумной, и ощущение было такое, словно мы посещаем места былой славы, хотя нам было всего по двадцать пять, и чувство было пока незаслуженное.

Как-то вечером Лиций вдруг щелкнул пальцами, словно вспомнил что-то.

— Айс, ты не показывала? Айс нарисовала наш с тобой портрет, — сказал он. — Обязательно заберем его с собой в Тибет.

Зимняя тоже еще не видела этого портрета, и мы все поднялись в номер Айс.

Среди лабиринтов разбросанной обуви, кистей, холстов, двух или трех мольбертов, чемоданов, прислоненной к стене стояла новая картина Айс. Она перевернула ее и подняла:

— Смотрите.

Это было что-то вроде паутины. Нити и пересекающие их круги. То есть одни паутинки прямые, а другие — как круги. Несколько кругов разомкнуто, и они вьются спиралями.

Василий Попов

Попов Василий Николаевич, родился 3 апреля 1983 года в городе Ангарске, Иркутской области. Студент Литературного института им. А. М. Горького (4 курс, поэзия, семинар Сергея Сергеевича Арутюнова).

Отцу

ВОТ МОЙ дом: изба да прясло,
Да рябина под окном.
Там, где землю дождь, как масло,
Месит мокрым языком.

Вот мой дом: частица горя,
Ну а счастья — камни, рвы.
Там, где ветер волны моря
Выдувает из травы.

Вот мой дом, и мне не надо
Светлых окон, ярких крыш.
Для меня одна награда —
Слушать, как скребётся мышь.

Слушать песню под берёзой,
Что поёт кузнец-солдат.
Видеть солнце красной розой,
Уходящее в закат.

И ещё мой дом — дорога,
Между сосен и берёз.
Там, где люди верят в Бога,
Не роняя наземь слёз.

❀ ❀ ❀

КОГДА В НОЧЬ уходила заря,
Просыпались ленивые совы.
И о чём-то своём втихаря
Скрежетали дверные засовы.

«Ты почто еще здесь, котофей?
Ну-ка дуй на охоту к амбарам, —
Пнул под зад его дед у дверей: —
«Это что же, кормить его даром?»

И старуха в постели под нос
Неразборчиво так причитала:
«Стороною бы ветер пронес,
Непогоды еще не хватало».

Под навесом у новой дуги
Мыши грызли древесные сушки,
А далече один за другим
Потухали огни деревушки.

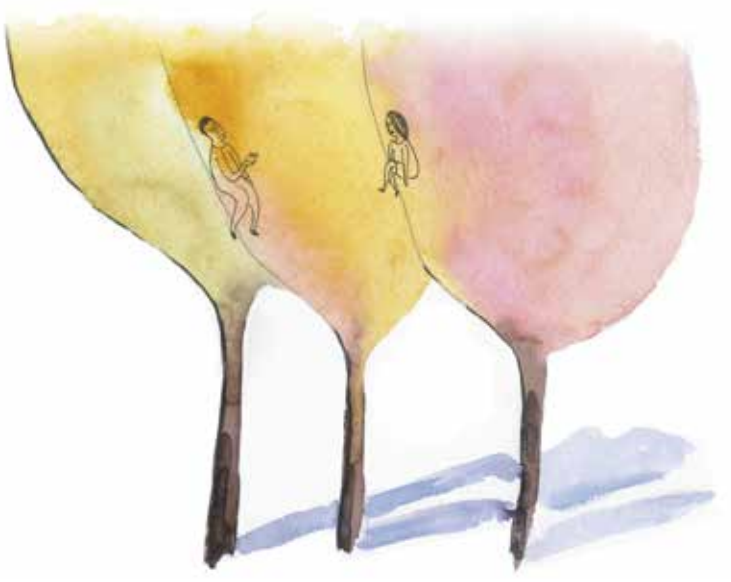
❀ ❀ ❀

Мы уйдем, и пропадут куда-то
Все дороги неба и земли.
Хорошо деревьям, им не надо
Ни побед, ни славы, ни любви.

Почему серебряная вьюга
Говорила ветру одному?
Понимаешь, верная подруга
Может просто взять и обмануть.

Понимаешь, в мире есть тревога
За слова, что люди говорят.
Потому всегда молчит дорога,
Принимая ливень, снег и град.

Потому нельзя идти по кругу,
Потому и солнце на заре
Каждый день протягивает руку,
Дожидаясь ночи во дворе.



❀ ❀ ❀

Как хорошо смотреть на небо ночью
И про себя о чём-нибудь мечтать.
Желаниями звёзды потчуют,
А я не знаю, что мне загадать.

Любовь? Быть может. Но любовь не требуют,
Ее огонь всегда покорно ждут.
В любви не подымают руки к небу
И звезды рук своих не подают.

А может быть, здоровья самым близким?
Пускай живут, не зная в мире бед.
Но как стоять им за оградой низкой
И принимать любовь холодных лет?

Лети, звезда, и это расставание
Пусть не заметят люди никогда.
Какое мне загадывать желание,
Когда она упала навсегда?

❀ ❀ ❀

Где мы, где мы? Только снится,
Снится: листьев намело,
Проскакала колесница
По дорогам тяжело.

Кто мы, кто мы? Сердце бьётся,
А душе ещё теплей.
Неужели оборвется
Это небо с тополей?

Неужели всё проходит
И не нужно никому?
Вон бумажный пароходик
Даже в луже утонул.

Ты его не трогай, мальчик,
Он уже не поплывёт.
Но, не зная, он заплачет,
Сжав в кармане самолёт.

❀ ❀ ❀

Господи, я ли это или не я?
Господи, ты ли это или не ты?
Там, где накатанная колея,
Не оставляет никто следы.

Я не пойду за тобой, а ты
Должен поверить, что я люблю.
Если растут на земле цветы,
Значит, и падать легко в бою.

Евгений Завадский

Родился 31 мая 1986 года в городе Венёв, Тульской области.
Отец – инженер, мать – учитель.
Окончил музыкальную школу по классу народных инструментов. Больше всего любил Баха, Генделя, Пёрселла и «Я на горку шла».
Учился в детском телевизионном центре.
В 2004 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.
В журнале «Кольцо „А“» была напечатана повесть «Психи», за что получил премию «Дебют года» от редакции этого журнала.

Дачная гора

Рассказ

ЛЕЗВИЕ ВЫБРАЛО место. Колбасный батон напрягся. Оболочка хрустнула. Ядрышки белого жира подались и сдулись, осев пеной на ровном крае срезанного ломтика. Нож прошел мякоть и щелкнул о разделочную доску. Старую, всю в ровных вкусных рубцах. Запахло копченым мясом, и прозрачная кожура заструилась колесиком по кончику. Прямые линии и идеальные круги. На кухне.

Это все, что осталось отцу. На белых овалах хлеба. Я заворачиваю пакет.

— Не мало нам одной колбасы?

— А там бабушка куличи привозила. Вон там, в тазу... нет, в эмалированном. Да. Вот. Нет. Побольше уж возьми. Вот его и с чаем можно.

Кратер шахтерского термоса на столе курится свежей мятой. Мы с отцом теперь в квартире одни. Только бесцветный пепел засушенных трав на газетах в комнатах напоминает о хозяйке. На сломанном черно-белом телевизоре расцвел срезанным цветом зверобой. Мать уехала. Под старым бордовым пальто остывают трехлитровые огурцы. В рассоле и укропе. Это все здесь, в большой комнате.

Мы собираемся на кухне. Здесь встает солнце. Жалкая, обесцвеченная бликами утра лампочка без абажура и стены в сколах старого кафеля. Еще вчера на этой плите кипела кастрюля, над ней, на железных решеточках, потели наполненные паром пузыри банок, а в тазу с водой плавали скользкие огурцы, — на полу горькие попки и пучки зелени. Желтый, с точками перца, рассол обдавал втиснутые в стекло зозули. И если в тазу, уже без попок они еще хоть как-то цеплялись за жизнь и шевелили красными жабрами, то в рассоле сразу же обмякали и раздувались. Широкие овальные поры впитывали в себя перечный отвар и затвердевали. Мать уехала.

В квартире все переползает в другое и селится в третьем. Никогда уже не найти ее первого образа. Когда мы въехали, мне было уже много. А ей еще больше. Какого цвета были обои, где были комнаты, что в них было. Только взвесь пыли в луче была здесь всегда, возможно, еще до стен и ломтиков сырокопченки. Не могу выйти из одной минуты первого впечатления моего детства. Я всегда в ней. Как и комната. Вся история ее не больше одной минуты, кото-

рая длится и сейчас. И еще долго не кончится. Пусть трижды остынет мятный завар. Пусть колбаса засохнет и свернется в хрустящие трубочки. Еще до нас здесь остывала каша, разливалась по граненкам водка и ссыхались мышиные корки. Прошлое квартиры ушло, его и не было совсем. Но сама комната-квартира осталась и никогда не была другой.

Где они? Где Родченко, его жена и дети... Только вечное становление рисунка советских обоев, перешедшего в мяту и тысячелистник на линолеуме. А мать еще говорит — пятнадцать лет как. И минуты не прошло. Только взвесь в луче... Только темнота, перетекшая в утро.

А кому нужен Родченко? А кому буду нужен я, знавший о нем? Минута пользуется тем, что память в этом городе слишком большое богатство, никому не по карману. Мой залог и страховой билет — память о бедном шахтере и его жене — кассирше. Только так я еще могу ходить по этому полу, есть с отцом куличи и отличать себя от пучка редиски в раковине.

* * *

— Мне ее и не надо!

— Куда?

— А нужна вам она, эта, как ее, вишня?

— Это чего?

— Вот и я ей говорю, к чему. Зачем, ей говорю, теперь...

— Это кому?

— Да Ивановой, кому! У них же полный огород всегда вызревает. Теперь, говорю, куда она нам?

— Я уж и сама как пятнадцать банок вчера закрутила.

— Варенья?

— Куда варенья, компоту! На варенье я попозже ее снимаю. Вот как Ванька соберется, машину починит, вот поедем с ним уже и на варенье собирать. В этом году ж ее как много.

— А я ей и чего! Куда она нам теперь? У всех вон какая, аж от солнца трескается. Девать некуда. Я-то бабка старая, куда мне столько, разве что внукам. А все равно вон уже полведра сгнило. Сахар, его же еще сколько надо.

— И... допрешь его! Я сама вон по килограммчику ношу, да так вот и чего....

— Мне ее и не надо. Кому она теперь.

— У-у-у, бля, — завершала молчавшая весь разговор третья — баба Ваня, и прижимала к себе беленького собаченыша с кривыми ушами. А тот трясся у бабы Вани на грудях, и нижний клычок торчал из-под губы.

И продолжалось, продолжалось, что уж вот и потихонечку, и на старые кости, да все ведь для внуков в Москву, так оно и ничего, да успеется, да зимой зато...

* * *

В маленькой комнате теперь что осталось от прошлого, того, где был Родченко? Насмешка квартиры. Живых людей помнят лишь соседи — двое стариков и мы — еще новые жильцы. Вот все они — пятнадцать лет матери, а мы до сих пор новые жильцы. И никаких пятнадцати уже нет. Старики мудрее нас.

Только тела и предметы остаются в комнате глухим чугунным изваянием. Поднимешь старенькую закаточную машинку из ящика — и она тихонечко зазвенит по железной пустоте. А еще старая раковина, списанный стол из управления. Даже в раскладушках уже ничего, кроме монотонной пустоты и отсутствия. Я пытаю комнаты: Родченко, Родченко, но в ответ лишь эхо фамилии и пустого круглого звука. Если я когда-нибудь попаду в ноту чугунной ванны, раскладушки дадут свое трезвучие и уже совсем про другого «Родченко» будут вспоминать следующие пятнадцать лет новые жильцы. Тем и будут живы. А я пока лишь пытаюсь растянуть сужающуюся минуту, но уже потерял всякую надежду сделать из одной хотя бы две.

* * *

Отец собрал скомканную авоську. Туго завинченный термос, в мятой газете кулич и бутерброды в скользком пакете. Мы на шоссе. Комната способна сокращать не только время. И не всегда от нее дождешься подарка, редкого пришедшего воспоминания. Здесь у нас дача. Здесь была прошлая жизнь. Здесь жили мои родители, здесь пытался и маленький я.

Теперь висит бумага — дача продается. Город знает, шестнадцатого года не будет, должен быть первый год. И старые друзья родителей уже готовят его для своей дочери и ее маленького. Маленького, как я пятнадцать лет тому назад.

Шоссе. Хрусткий, латанный лужами гудрона асфальт. В нем есть от выслужившей спецовки, — линолеум, посыпанный по сторонам той же сухой травой. Желтые головы вызревшего на солнце зверобоя. Бобылки шелушащегося чертополоха — ветхого кочевника — от столба к столбу, к ножкам старенького телевизора. С пашни поднялась пыль тупоносых гра-

чей. Кувыркаясь в одном большом луче прозрачной лампочки, протекая по мокрому мираж над поворотом шоссе, следуя потоку воздуха или сквозняку между прелой от огурцов кухней и комнатой. Черные бисерины перца в желтом рассоле. Шоссе — комната — таз — банка. И снова неутомимая лампочка, только без старого абажура, когда дед обернул проводок газетным листом, и в комнате надолго зажглась «Правда». А еще Ленин и ордена.

Отец говорит, что солнце, в сущности, лишь точка и сфера. Его так учили. Шоссе и поля — плоскости, а стая — закономерна, и он может высчитать их полет и падение той дуры, севшей на оголенный провод и замкнувшей цепь. Раскрытые ветром безвольные крылья поддадутся расчетам, и он повторит этот опыт. Дохлая ворона снова упадет под густой шар чертополоха. Будет падать, а отец скажет — как. Да, сначала левое крыло, а потом — правое. Все будет просто телом, падающим. Будет вес, будет скорость. Отец держит небо. Дает порядок вещам. Вся эта степь сошла с его чертежей. Оттого новая колючая былка вырастет из пучка полусгнивших перьев, а белая в зеленый кубик рубашка еще долго будет идти за миражом над шоссе.

Оглянуться или идти назад. Сзади поле и глубокий гудок локомотива. Там где-то наш пятиэтажный городок, у станции.

Ветер с пустоты полей размазывает по горизонту старые брюки отца и держит их натянутым флагом. Отец, как-то в себя глядя, ждет из-за поворота свой старый автобус — овальный и оранжевый. Он остановится, подберет отца и увезет его на шахту.

Мы не сбавляем шаг, но там, у обочины, все еще стоит сутуловатый человек в отглаженных брюках... или идти назад.

Горизонтали и вертикали старой шахты. Каждая была вычерчена и пройдена до конца. Каждой был дан яркий тупик, и дальше было совсем нельзя. Отцу оставалось только смотреть на полные клети белых оскалов и ярких глаз.

Они уходили под землю, а отец стоял в спецовке, измазанный угольной пылью. Лениво болтался на плече самоспасатель, луч фонаря напоминал о вечном рое пыли. Отец стоял и думал: что же он все-таки сделал такое? Что построил для этих людей? И правильно ли? Кому нужен этот второсортный уголь? Почему здесь должен быть тупик и кто это определил?

Проходческий щит ломал породу и тяжело шел вперед. Шахтеры вывозили полные вагонетки, а щит продолжал вгрызаться в бесконечный и бесконечный уголь. Отец не верил чертежам. Особенно тем, которые делались где-нибудь там — в управлениях. А своих он боялся. Щит в непроглядной темноте будто ищет себя самого. И отец шел за ним.

Щит замер, от автобуса осталась только большая полая раковина, а слизень с длинными рожками засох.

Больше отца никто не заберет с шоссе. Теперь он сам волен выбирать себе дорогу. Быть может, оттого мы ни разу и не меняли маршрут, даже там, где можно было срезать. Допустим, вон там, через новый поселок. Мимо коттеджей. Там рядом брод и уже наша гора с дачами. Только мимо Борзуна, и там еще...

* * *

Шахтеру Борзуну дали много денег. Он был болен лучевой болезнью. Работал в Чернобыле. Тогда он начал строить дом. Свой дом. С огородом и парниками. Уже зеленел квадрат картофельной ботвы, жаркие капли стекали с клеенок теплицы и падали на вздутые полузрелые помидоры. Люди приходили в гости посмотреть на Борзуна. А чаще специально шли мимо — подглядеть. Он ни за что не хотел себя пожалеть, как это делал кое-кто из его бывших товарищей.

Те сидели у пивнушки и ссорились, один из них показывал всем дрожащую руку и орал:

— Вот этими самыми руками... А он?!

А он заливал куб фундамента вязким раствором и перевозил в тележке гладкие кирпичи.

Через четыре года у пивнушки поубавилось, а кое-кого даже посадили за ворованные борзунские кирпичи.

— Василича, сволочь, посади-и-и-л! Кирпича жалко паскуде! Ы-хых! — закашливался кто-то в темноте БАРа — бывшей пивнушки.

— Мое! И никому не отдам! — кричал на суде Борзун, и все это слышали.

А еще через год над картофельной степью стоял пятиэтажный гладкобокий великан с дырами окон, без рам и стекла. Жена не вытерпела и устроила Борзуну скандал.

— Построил себе, все деньги в него вбухал! Какие сыновья? Они все в Москве давно!

Не получилось отмахнуться Борзуну сразу.

— Куда они вернутся?! Зачем мне такой! Да я зайти в него боюсь! Как в могилу! Построил себе мавзолей! Живи в нем один! Ведь знал же, ни света, ни газа, ни воды! Зачем он тебе нужен был! Все деньги спустил!

Он сдержался. На глупости еще отвечать.

— Да ты на себя посмотри! А подыхать на что будешь?!

Говорят, Борзун тогда в первый раз ударил свою жену. Через неделю после скандала чернобылец Борзун умер. Он выпал из окна своего дома. Совсем у чердака. Вместе с куском свежей рамы и рубанком в руке. Его нашла жена. Она до сих пор не верит врачам. Все у них «сердце». Младший сын хотел забрать ее к себе, но она отказалась. Ухаживать за могилой.

Теперь нет и жены. Сыновей в городе с ее похорон не видели. Только дом Борзуна, холодный, страшный и злой навис над степью, шоссе и всеми дачами на том берегу Венёвки.

Может быть, все это было совсем не так. Я не знаю. Мать всегда рассказывает. Но сейчас уехала. А откуда ей все это известно.

* * *

Венёвка совсем мелкая и тощая. И так всю свою жизнь ужиком в самых ногах дачной горы. Снова спустили после дождей. Третий год уже как не чинят паром. Край железного бака торчит из-под воды у самого берега. Еле держится на побуревших пухлых кольцах, зажавших тяжелый металлический трос, — от ивы до кривого полого столба на высоком берегу. Держится из последних сил и не хочет затонуть. Упрямым до паранойи «вопреки», а может быть, самым здоровым «хрен вам!».

Последняя искорка натруженного о трос железа затухает в ободах колец. Разве вспыхнет от закатного луча, но и он тлеет не долго.

Дачная гора доживает. Соты домишек, заметные с шоссе уже только бесконечный кривой забор из серых, в дырках от сучков досок. Забор устал сам от себя, жалок и бит. Разве не дает сползти в реку.

Вот двухметровые сосновые доски в узорах короеда — это Валентиновы, а это сетка на железных столбиках и теплица с выбитыми стеклами — Труновы, а на самой горе — Кум и Кислицкий, они вдвоем всё ходили к дяде Гене. Но тот клал ладонь на впалую поседевшую грудь и говорил им: не могу я больше, мужики.

Тогда обиженный Кислицкий заводил свой хриплый «Урал» и вез Кума на другой конец, к Ивличеву. У того на самом отшибе в старом вагончике всегда топилась печурка-самоделка. На ней жарили дрянь с баночной килькой и утром варили в кастрюле чай.

Вот он — Кум. До сих пор как свежая сидит белая штукатурка на плотном кирпиче, на раме не облупилась краска, только кое-где сполз дефицитный шифер с четырехскатной, как стог, крыши. У чердачного оконца прибита высокая худая жердь со скворечником. Чуть нагнулась в небе, над всей горой, как наседка. Все ищет где-то между лапами своего цыпленка, топчется на месте, кудахчет и не может найти.

А рядом маленький Кислицкий — двускатная коробочка из бетонных блоков с промазанными щелями — крестики-нолики. Низенько в нестриженных, хитрых вишнях. В том году еще были занавески с кружевными краями. И кружево — как пепельный грибок на стволах. И весь участок сквозь паутину веток, и все теперь в этом пепле.

* * *

И все же вляпался в «Викторию»! Дядя Гена еще не заметил нас. Не заметил клубничного кустика. Он идет с ведром к общему баку с водой. Мы тихонько поднялись на участок. Отец сразу притянул к себе веточку прикалиточной сливы. Ствол весь в трещинах, смола забурела вонючим киселем. Только на одном черенке свежая прозрачная капелька, стянувшая на себя все солнца и отражения неба. Сразу от нее — зелено-сизая мякоть раннего плода.

Отец подержал сливу на ладони, мягко сдернул ее с черенка. Протер дымчатый бочок до спелого глянца и, высоко подняв подбородок, положил в рот.

* * *

Маленький дядя Гена тащит из бака ведро и опрокидывает его воду в лейку. Снова чешет впалую заросшую грудь, которая у него как раз между пуговиц и дырочек расстегнутой дачной рубашки. Бывшей выходной или парадной. Сейчас залитая водой и с земляной пятерней на крупе. Вставал от грядок — прострелило.

На все «не могу» тети Гали он только усерднее гнется и роется в земле. Пусть и сам от земли еле до бака и лейки. Пусть перед этим полдня долбит отбоем второсортный уголь. Он силен в том, что никогда не задался — почему и зачем. А просто так все устроено. И пока не кончатся силы, не вырастут внуки и не вернется сын, домой с войны. Он сядет в молодой морковке и будет продергивать, лишнее, до правдивых линий, по которым хоть определяй стороны света.

Он знает, тяжелый брус его дачи прогнил и провалился. В дому на каждый шаг только дырка в мышиный подпол, где пасется мышь или корова. Мычит, стучится рогами о стены земля-

ного колодца. Месит копытами залежи семенной синеглазки и скребется, пищит в гнилой мешковине. Но смириться можно и с ее правом на бытие. Забыть себя, а помнить про сына, внуков и зиму, которая еще будет. Будет, даже не здесь, а там — далеко на войне. Которая будет до тех пор, пока не кончатся силы, пока не вырастут внуки.

А пока подвяжись гнилым ремнем из кожзама, подверни свои брюки, найди сапоги. И поверь в то, что с каждой толстомордой морковкой и опухшей от вишен компотной банкой... А лучше заткнись, вставай задницей кверху и на час избавься от себя самого.

Если тебе повезет, дядя Гена, так и замрешь, уткнувшись рылом в ботву. С благородной пометкой «сердце», и с морковным пучком между пальцами. Будешь памятником и памяткой. А тебя, между прочим, звали.

Дядя Гена не видит, перекосившись, волочит за собой жестяную лейку.

Видит и слышит на все огороды Качановна. Выползает золотыми зубами из своей калитки напротив. И все здравствуйте да здравствуйте!

— Здравствуйте, Катерина Александровна!

Снова отец. Он один называет по имени полностью. С приездом, и полузрелый парной помидор из теплицы, и огурцов парочку грунтовых, в колючках, с желтой звездочкой на попке. А Яша поехал за навозом. Бодрый такой дед с наколотой гирляндой от плеча до плеча.

* * *

Качановна ведет нас пить квас. Упрашивает и тащит. Собственный, домашний. Мы сидим в холодке, перед верандой. На солнечную сторону нельзя, чтобы не смущать выкопанный с нашего участка махровый пион. Наверное, как раз перед майскими праздниками. Он теперь там, совсем у скамейки, сразу за розами. Там и дверца в подвал, где гремит Яшин хлам.

Вот выходит с кувшином кваса, режет половинку бородинского. Смотрят добрые глаза пожилой хозяйки. Угощайтесь, угощайтесь.

— Кум ведь уже совсем совесть потерял! Растет вот слива. Сортовая, скороспелая. В каком году ее Яша сажал? У нее ветки уже какие! И на его огород! Нужна ему эта дача! Который год уже даже картошки не сажает! Приехал тут к ночи. Яша уже в багажник вишню поставил, спускается за клубникой, а я лук решила к столу пока. Так он же и вот, у крыльца. Что я там увижу? А этот стоит у себя, как ждет чего! Думаю, все своего дружка, Кислицкого этого, дожидается. Вот, в том году чуть дачу ему вместе не спалили. Ждет он его. Берем мы лук с Яшей, ну и домой. А утром приходим, так с его стороны вся наша слива, представляете, всю оборвал! Паразит какой! И нет его уже. Умотал! Бога на него нет!

Нам снова подлит квас. В блюдечке с отбитым краем лоснится несколько клубничек и пара спасшихся скороспелых слив.

— Никто уже своим трудом жить не хочет! Все бы у бедной бабки сорвать! А вишни в этом году тоже у вас сколько. Таня варенье варит?

В березовую посадку на самой вершине холма вламываются старые красные «Жигули». Яша спускается с ведрами душистого навоза и чинно приветствует отца. Сосед. А как же.

* * *

Наш домик устал ждать. Уходит в землю горы. Его тянет, как в омут, тяжелый фундамент. Привязанный к шее камень. Затягивает в воду ряску жирного нестриженного газона. Дерновина скрепит по утрам. Доски совсем поползли. Их привез сюда дед.

Эти ящики для мотоциклов и велосипедов. Стали домом. Новый ящик, коробка, с верандой и чердаком.

Когда мы уходим домой, в середину маленькой комнатки выносят старые пальто наш белый столик. Сына деда. И ставят табуретки. На фанеру пола. Две для пальто, одну для старой шубы.

На столе зажигают фитиль извернувшейся, стекшей в тесную банку свечки. Там она на виду у всех, голая, через прозрачное стекло с бумажкой — джем. Ломается раненым червяком. Свивается в кольца. Горит.

Ставят пыльные чашки, и наш самовар наливают водой. Чай, в него идут спички, зазубренный ножик, пакетик семян редиски, головка чеснока и местная газета за прошлый год с мышиным пометом и пластырем. Все содержимое нашего стола. Мешают чай скриплыми ножницами с остатками краски на кольцах. Читают московские газеты. Горстки мух и измятые бабочки оживят подоконники. По комнате бегает белая детская маечка и боится заглянуть за занавеску. Там в темной кладовке инструменты, банки для полива и острый топор. Шуба всем разливает чай. Слегка запотевают стекла.

Приходят воры, забирают медные карнизы. По полу разлетаются прищепки на кольцах. От старых штор. На одну неторопливо наползает загустевший ночной луч. Она отдает комнате

искорку. И луч уходит. Древняя амеба. Не разбирая пола, стен и потолка.

А шуба наливает всем вторые чашки. В облаке горящей свечи проходят тертые рукава. В придонной мути Венёвки скользят, выпучив глаза, невесомые алюминиевые ложки. Прячется под краником чесночная голова.

Ответом висит на четвертой стене картина в белой деревянной рамке. С лодки, у берега, полощет старуха белье. Когда приезжает бабушка — все плачет над этой природой. Дело там вечно к осени.

Уходят воры. Спотыкаясь в темноте веранды о каменные кеды. И лодка пропала в квадратной дыре от ножа. Остался пейзаж, вросший в мох старый дом. И лишенный всякого места человек на мышином полу.

Только шуба поправит фитиль, прислушавшись. И хрюкнет в углу семенной огурец, раздутый болезненной желтизной.

Приплывет из омута рыба. Всколыхнет невидимыми плавниками дерн. Или это ветер? Вокруг домика пойдут по траве круги. Сам он качнется, и петушки на крыше заходят из стороны в сторону на волнах. Рыба сверкнет на луну немигающим глазом, сомкнет тяжелые губы и уйдет на дно. К утру место затянется жирным клевером.

* * *

С веранды мы вынесли скамейку. У своего домика на перевернутом ведре сидит дядя Гена. Натягивает на колени парус семейных трусов и гоняет ладонью мошкару. Рубашка рядом, колышется на черенке лопаты. Штык ее в земле.

Сегодня один. Склонился над белой дутой папиросой. В коричневых усах туман. Тихо тает тяжелым запахом и идет книзу. А длинные рукава колышутся от ветра и задевают верхушки картофельных кустов. Подкопал сегодня молоденькой.

— Гена, иди! — отец машет рукой.

Он скромно лезет сквозь свой молодой крыжовник. Теперь хоть от соседей не стыдно. Забор. Приносит своего хлеба. Мятный чай парит в большой кружке. Отец отрезает кулича с сахарной головой. А ты, Львович, Александр Львович, вот клубнику. Только сейчас вот. На свежее блюдечко опрокидывается ковшом ладонь дяди Гены. Там красная ягода в мелких крепких зернах. Они хрустят на зубах. Отец смотрит на половинку. Держит ее за черенок. Внутри за сочным откусом спелая сладкая пустота.

Теперь дядя Гена спокоен, он отпивает чаю и ест кулич с чистой совестью. Перед ним в земле дырка от махрового пиона. Дядя Гена устраивается на скамейке, сдувает с руки комара.

— Зыбкая здесь земля, Александр Львович.

Он еще хочет сказать, что и дома, под ногами, в родной квартире, у Гали, чудится ему не угольный пол шахты, а все этот участок. И эта земля. Связан он с ней на всю жизнь и дальше, а как — он понять совсем не может. Вот выкопал картошку, собрал, отвез домой — от этого и сыну его там легче. А земля все как течет у него под ногами.

Качановна вон жалуется, плохо все растет, все ей сада хочется. Чтобы всего. Будет — захлебнется бабка. А земля — она сквозь руки, и руки — земля. Вскапывать ее, вскапывать. Шесть соток положено. А им где конец? Хрен один — есть навоз, нет навоза. Земля. Главное вскапывать ее...

— Это как, зыбкая?

А сказать все это.

— И слова не подберешь, Александр Львович.

Дядя Гена расстроился. Хрюкнул чаем и затянулся в кашле.

* * *

Через дорогу, над кустами смородины кричит Качановна.

— Яша! Яша, давай!

В душном парнике, как в ангаре, раздувается белое тело кабачка-дирижабля, упирается боками в рейчатую крышу, подрагивает в тяжелом стремлении к полету. Скрипит толстой кожурой.

— Я-ша! Ты где?!

На дальних грядках. Под стремящейся грушей. Белым хрустом отозвались упругие капустные головы и прогнули над горой небо.

— Яша! Етить твою!

Качановна разогнулась в конце картофельной грядки. В жестянку из-под кофе плюхнулась шестиногая полосатая зебра и погрузилась в мутные воды Нила. Над ней, прижавшей к груди свои копыта, бились и лягались такие же, как она, — зебры. Забирались друг другу на полосатую спину, кусались и пускали едкие слюни. Они потихоньку тонули. Стоило воде просочиться под мягкие крылья.

Зебра расправила ноги. Над ней еще блестел мутный светлый круг колодца, зебре хотелось смотреть на него дольше. Круг прогнулся серпом растущего полумесяца и совсем исчез в

темноте. И все воды Нила с копошащимися в них зебрами.

Качановна гнутой крышечкой заткнула банку.

— Яша! Яша, возьми жуков! Кинь в печку! — надрывалась Качановна.

Над кустами смородины слышались только удары по пустому ведру.

Вокруг снова было одичавшее поле и взвесь грачей над ним, где отвечал забывшийся голос.

— Иду-у-у!

* * *

Отец еще долго сидел на лавке с дядей Геной. Дядя Гена все говорил, но на каждом слове спотыкался и искал следующее, а там уже начинал совсем о другом. Все неумело и, казалось, впустую. Слова, слова, а ничего так до конца и не понятно. А слов становилось все больше, и дядя Гена совсем терялся в них.

Отец пробовал ему отвечать. Но и у него теперь получалось все путано и неумело. Он чувствовал в словах дяди Гены то — нужное им обоим, ценное — одутловатую картофелину, там, глубоко, в перегное, который они пытались вместе разбросать. Его становилось все больше и больше. Получалось совсем странное.

Еще давно, вставая из-за стола, отец говорил нашей кошке: поела? Пойдем теперь — тело свое определим. Кошка смотрела на отца и слушалась. Сворачивалась у него на коленях. Он сидел в кресле и вздыхал.

Они говорили и говорили, а потом молчали, дойдя до маленькой устойчивой точки, на которой им можно было с трудом уместиться. И получалось у них на этой одинокой болотной лысине, что нет большей мудрости, чем сорвать кисточку красной смородины и положить ее в ведро.

А еще отец нашел пару корешков, тех самых, за которыми ездила когда-то мама далеко на болото. Они тоже лежали у нас в квартире на пыльных газетах, и по всему коридору стоял теплый запах перегноя. Или это показалось только. Или снова заявила о своих правах квартира?

Где на размытой потопом обойной ёлочке в коридоре проступила кривая скамейка, пятно домика с лихими петухами на крыше и две фигуры за старым термосом и куличом.

В самом углу, у трубы, разводы потопа оставили кусты смородины и макушку стремящейся груши, но что было за ними — там обои уже успели содрать. Глуп и неприличен вопрос — кто и когда.

* * *

Отец притворяет калитку, спускает на сухую колею маленькие колесики сумчатой тележки. На ней теперь крепко сдавлен резиновым жгутом мешок с картошкой. Тележка такая маленькая, что оба колесика умещаются на большой колее. В трещинах и дуплах муравейников.

Снизу, от реки, в бузине надрывно стонет мотор водовоза, хрустит внутренностями и лезет наверх, к посадке. Ветки от заросших соток закрыли вершины берез. Разве кусочек неба колышется у самого вымпела. Мелькнуло красное пятно «Жигулей» с холма, и все заволокло.

На бузине оседает взъерошенная дорога, и где-то у самого верха колышется еще сухой пыльный ком. Покатая цистерна взгромоздилась на гору и свернула в сторону колхоза.

Дорога унялась. Еле живой подорожник отряхнул свои лопушки, из дырки под жестким листом появился муравей.

Отец, тяжело упираясь ногами, шел вверх и был совсем у поворота.

За посадкой, там, между голых стволов. Между бледных ростков прошлогодней синеглазки. Из сырого подвала, где не найти низких труб, голодных котов и дверушек с висячими замками. Все они смешались до колкой темноты в глазах.

Темноту щупает бледным отростком мягкий и сморщенный клубень. И ищет зеленоватым носиком луч из кошачьего оконца. Натыкается на оплеуху желтой шахтерской лампы.

Истерично, из последних сил уткнулись в небо стволы. Даже шевелящиеся макушки не достают выгнутого купола. Луч закатного солнца, налившегося боками, дрожащего от собственной тяжести. Упадет и закатится в грядки. Никогда не достать.

Хрустнет зимой в мороз тощий упрямый ствол. Лопнет, и со скрипом войдет в снег. Растрескавшийся, сквозь кусты пейзаж, найдет в себе бледный комочек света. Он продержится час или два, где свежий высокий пень.

За посадкой, там, между голых стволов — голое поле.

* * *

Солнце село. Отец уже у самой окраины. Видно монастырскую колокольню, в старом городе. Чахлый серый скелет, открытый каждому ветру широкими пролетами этажей-арок. На ней еще долго будет гореть позолоченное ябло-

ко. На острой макушке. В небе, совсем в небе. В бликах потеряется тонкий крест.

Вот и дядя Толя. Его мята который год сползает с грядок и тянется за заборами, падает в ноги душистыми семенами. Макушки мягко задевают штанину и левое колесико тележки. Кончился Ивличев. Отец еще задумался, успеет созреть этот его подсолнух. Высоко над забором. Как последний семафор, вечно дающий свой странный неопределимый сигнал.

* * *

На станции заревел дизель.

— На десять часов, к бабушке поехал! — говорит отец — давай-ка поспешим!

Он ставит к порогу старую тележку. В сумке пила и мотки проволоки. Чинить забор. Отец уверен, он кому-то еще будет нужен.

Я сижу над шнурками. На маленьком детском стульчике неудобно. Пусть со спинки и улыбается веселый мишка в сарафане.

Отец что-то ищет в кладовке. Старый веник тычется в пол оголодавшими хворостинами.

— Ну все, пошли на улицу!

На обоях давным-давно село солнце. Лампочка в коридоре врет, светит отраженным светом и разбухает до удалой антоновки.

Ты ли это, отец?

Что ж, тогда пошли. Вот сумка с куличом, термосом и колбасой.

Только выйдем ли мы хотя бы за порог.

Наталья Левашова

Родилась в 1977 г. в Москве, где и живет по сей день. В 2004 г. поступила в Литературный институт им. А. М. Горького — семинар поэзии, руководитель — Е. Б. Рейн.
В поэзии ценит ясность, точность и простоту. Любит стихи Хименеса, Эмили Дикинсон, Фета, Баратынского, из поэтов Серебряного века — Георгия Иванова. Стихи публиковались в разное время в следующих изданиях: международный альманах «Славянские колокола» (выпуск № 3, 2005 г.), журнал «Студенческий меридиан» (2006 г, №№ 1, 6), литературный альманах «ЛитЭра», (2006, 2007 гг., №№ 1, 2).

Вечер. На реке

В ДАЛИ прозрачной музыка слышна,
И воздух пахнет свежей хлебной коркой...
Уходит день, как дуло у виска,
Походкой строгой, вдумчивой и твердой.

Мигают тихо огоньки костров.
И лодки телеса свои лелеют...
Уходит день, бесспорен и суров,
И только неба край едва алеет.

Дождь

ТЫ ГДЕ-ТО рядом. Вышел только что,
И комната запомнила твой запах.
Свернул за угол... Воротник пальто
Поднял... И дождь несмело продолжает капать.
Потом на остановке постоять.
И выбрать путь — короткий, так, чтоб быстро.
А память продолжает вспоминать...
И памятное действо длится, длится, длится.
Его ничем, никак не отменить,
и невозможно вдруг себя заставить
забыть тот день, тот взмах и воротник...
Но дождь упрямый только точки ставит.

Речная жизнь

ЖИТЬ НА ПТИЧЬИХ правах, у излома реки,
Где кругом ни души, ни жилья, ни соседства...
Где дрожат у воды светляков огоньки
И до слез так обратно хочется в детство.
Где встает тишина, словно рыцарь больной,
Вся в тумане, укрытая илом...
И дрожат, и дрожат огоньки над рекой,
В млечном мареве, блеклом и хилом...
Каждый день приходить к золотым берегам.
Наблюдать за полетами чаек.
Верить небу и теплым любимым рукам,
И не чаять разлуки... не чаять.

6 августа 2008 г.

Снящемуся однажды

РАСПАСТЬСЯ на строчки, рукою вдруг дно
ощутить,
Почувствовать край и веки свободно прикрыть.
Вздохнуть — так вздыхает протяжно и точно
волна.
Поверить, что чушь, все себе нагадала сама.

И карты с обидой смахнуть и порвать эту
нить.
Не длить расставание, вычеркнуть, просто
забыть.
Из памяти вон. Но, вечерней звездой ослеплен,
Он все же прорвется однажды в мой тихий
и вдумчивый сон.

H_2O

ВОДА ЗАПОМНИТ окончанье фраз.
И форму слез, и зыбкость поцелуя.
Она вздохнет волной в последний раз...
И ветром волосы зачем-то мне взволнует.

Она разберет твои стихи.
И вывернет признанья наизнанку.
Она нас выведет на воду чистоты...
И ошарашит радостью подарков.

Вода... вода... как долго ты лилась.
Как долго шли твои косые ливни.
Как долго тропка к берегу вилась...
И Волга мне блестела всё призывней.

Всё нижеследующее написано на даче в период с 10 по 26 августа 2008 г.

✿ ✿ ✿

ВСЁ, ЧТО нужно для счастья, — простые слова.
И вода... Тихий шепот задумчивых капель.
Выйду в сад. И закрою глаза.
Ветви густо и долго маячат...
И шумят, и волнуют весь мглистый уют,
Вскрикнет птица и вырвется шумно.
Ничего. Никого. Парки истово ткут,
И алеет бессмертник безумно.

✿ ✿ ✿

ОТЦВЕЛА И УВЯЛА тревога,
отцвела и заглохла тоска.
Распустилась полынь у порога.
Расцвела под окном лебеда.
Запустение выпустит корни.
Вегетации долог распад.
Липа, ясень, сирень-недотрога
сбились в кучку и робко молчат.
Яблонь тонкие ветви сухие
словно руки по кровле скребут...
Моросящим и мелким природа
отстояла свой скорбный уют.

Старый гамак

СГНИВШИЙ ГАМАК, словно лодка без весел,
грузно качает провисшим боком...
Выбить ковер. Простирнуть покрывало. Солнце застать до обеда и после
выкосить ровно газон и лужайки, выполоть астры, обрезать клубнику.
Август приходит нежданно-негаданно... розы осыпались, лилии сникли.
Только сороки во всю... балаболки. Им хоть бы хны. Им дожди не мешают.
Осень настанет... осталось немного... сгнивший гамак одиноко вздыхает.
Сколько оставлено книжек в нем было... снов и газет, бадминтонный воланчик...
Вымок гамак... убрать — значит, лихо лето промчалось, как солнечный зайчик.
Лето ушло. И уже не воротишь. Август рассыплет усталые звезды.
Осень приходит, и только сороки не покидают ненужные гнезда.

✿ ✿ ✿

OH, RIVER time! Вздыхает мне вода.
У берега стоять. И верить чайкам.
Расставит осень скоро невода,
И я попалась вовсе не случайно.
Взмахнув крылом, опять ловить поток,
Весь сотканный из искр и превращений...
Струится пар. И берег так широк,
Еще чуть-чуть — мне волны шепчут, пенясь.
Еще чуть-чуть, и в синей тишине
Родится музыка, которой не узнаю.
Взмахнуть крылом. Стать не такой, как все.
И вдруг понять, что ветер не мешает.

✿ ✿ ✿

ЕВА В СИНЕМ платье входит в сад.
Тишина кругом. Все в округе спят.
Сад роняет листья и плоды.
Ева входит в царство немоты.
Ева входит. Тишина кругом.
Ночь устало дышит теплым ртом.
Совы гулко ухают, и сад
Отвечает Еве наугад.

✿ ✿ ✿

ДЕНЬ НАПОЛНЕН убогой заботой.
Бесполезной беседой и сном.
Сплетней, смехом и вялой работой:
Вымыть окна и выскоблить пол.

А еще, а еще Пенелопе
Нужно саван скорее доткать.
Но не клеится что-то, и снова
Ей приходится нить распускать.

Эхо

ВЕЧЕРА у кромки лета.
Голоса.
Август звезды рассыпает.
И роса...
У сарая, где малинник,
Ждут сычи.
Ночи летней тени длинны,
Хоть кричи.
Не услышит крика август-
Государь.
Флоксы, астры, куст рябины —
Киноварь.

Июнь-июль 08

❀ ❀ ❀

УХОДИТ ВОЗДУХ из любви,
Уходит воздух...
Он покидает тишину и мерность комнат.
Он оставляет навсегда неровность стекол,
Он наполняет провода,
Гудит и помнит.
Он жив в обрывках телеграмм
И нервных писем.
Он ходит, воя, по следам,
И ждет, и ищет
Твое окно, твои слова и боль ладоней.
Уходит воздух из любви.
И лодка тонет.

1989. Лето

Я ВЫРАСТАЮ, словно Гулливер
среди невзрачных мелких лилипутов.
На физкультуре номер, номер пер-
вый, а далее по списку... Ниоткуда
пришла печаль. И розовых очков
противное обманчивое бремя.
Пропалываю грядку... Помидор
растет, ему, как мне, необходимо время.
Привыкнуть, приспособиться, постичь
черту забора, тайну пилорамы.
И сердце научается любить
И вкус обид... и яблока, и драмы.

Глубина

И ГДЕ ЖЕ его найдешь... Ветер.
Гуляет где хочет, с кем хочет кутит,
По ночам — бредит.
Бередит прошедшего раны...
Воспоминаний магнит
тянет на дно упрямо.
А там в дорогой стране, среди сосен
девушка ждет его, та самая,
и — не бросит.
Не разомкнет рук,
никогда не уйдет к другому...
Там исчезнувший друг, и не враг, и даже не омут.
И тихо поет сверчок на чердаке, нет, скорее
за печкой.
Сразу не разберешь... Ведь жить еще целую
вечность.

❀ ❀ ❀

А ВОЗДУХ ТЕРПКИЙ и густой, как память.
ты надо мной склонился низко... таять,
как снег и сахар, от любви теперь не деться.
расклад пугающий такой, такой не детский.
и дружно спорят воробьи о Кьеркегоре.
срывают голос от тоски, дерутся, сорят...
холодный душ твоих замет о неизбежном.
и нет зацепок и примет — одна лишь нежность.

Вчера

Я ДУМАЛА, что не больно...
Забыла. Проснулась —
табула раса.
И только в висках стучит,
говорит чужими губами,
чужими словами
твой голос,
свинцовый, как утро.
Весь день идет дождь.
Слезы... Капли...
Лбом прижалась к стеклу.
Лбом, а потом щекой.
А ты всё звучишь.
Струна.

6 июля 08

Дерево ты

У ТВОЕГО ДЕРЕВА сухие ветки,
У твоего дерева сухие листья.
Оно живет в тени, и облако
до него не достанет... не долетит птица.
У твоего дерева сырые руки.
У твоего дерева далекий голос.
Оно стоит и уговаривает — не горбись,
не подходи, не раскрывай рану.

У твоего дерева кора пустая.
И дупло посреди — в нем сидят гости.
Они пьют и плюют в твою душу,
ты громко смеешься — Господи, еще,
мне не больно.
Я хожу кругами вокруг этого древа.
Я не знаю, как к тебе подойти, как
подступиться.
Я тебе принесла ведро побелки.
Я замажу царапины — вот тогда погуляем.
Вот тогда повоюем.

Язык жестов

ПРИЖАТЬСЯ ЩЕКОЮ, поверить.
Но синтаксис этот чужой.
Он весь перекручен, изъеден
Огромной, громадной судьбой.
И нет полустанков и улиц...
Есть только большая вода.
И так удивительно трудно
Сплетаются пальцы в слова.
Из вздохов, из песен и сплетен
С окраины боли моей
Ты едешь... ты дышишь и веришь...
Так будем держаться прямей.

✿ ✿ ✿

ПОПРОБУЙ ПОВЕРИТЬ в чудо,
Что ты пришла прямо из рая,
Что не гетера, не сука,
не дрянь последняя, записная.
Попробуй поверить в чудо.
Вдруг в твоих руках яйцо станет красным.
Ты протянешь его Тиберию, скажешь:
Проверьте, сударь, вот вам моя вера,
вот кесарю — кесарево, а иуде — иудино.
И цезарь тебе поверит,
повертит в руках яйцо, как шарик из алебастра,
возьмет тебя цепкой дланью за скулы...
Посмотрим, скажет, кто здесь царь,
а кто сторонница блуда.
И пальцы его пахнут пеплом.
И душа у него пахнет адом.
Ты глядишь широко,
прямо в сердце.
Глядишь и не знаешь от страха, как надо.

✿ ✿ ✿

НЕ ПИСАТЬ стихов. Разорвать тетрадь.
Вспомнить, как проклинала мать.
Говорила — *дворником или посудомойкой,*
жить тебе лучше всего среди своих, на помойке.
Там дерутся, пьют, никого не ждут,
очень просто все, только божий суд.
Примитивно все, без обмана,
труд физический делает обезьяной.
Очень просто все — никаких долгов.
Сунул, вынул и был таков.
Может, в чем-то она права.
Прекратить вплетать ерунду в слова.
И не петь, не жить, по-простому длить
Бытия мотив... и по-волчьи выть.

Миленький ты мой, возьми меня с собой...

Песенка

ЭРОТИЧЕСКОЙ пены подвздошный глоток
Продолжение нерва, когда до вершины —
вершок.
И объемлет от края до края тоска —
Я пустая бутылка в ладонях уставших творца.
Я пустая бутылка. И выпита влага до дна.
Я звеню на ветру — про себя, про себя,
про себя.
Лучше выброси сразу такую в кювет.
Нет проблемы, нет боли и памяти нет.
Остается одно — отвернуться, забыть.
Только как эту боль одному пережить?
Переправить обиду на берег другой.
Я решила — останусь ненужной, чужой.
И как в песне — все есть: и жена, и сестра.
Только сердце болит, не живет без меня.

Татьяна Панкратова

Родилась в городе Долгопрудный третьего декабря тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. Когда ей было три года, семья переехала в Мытищи, где и живет до сих пор. Родители Татьяны экономисты, и брат тоже пошел по этой стезе. Она же решила, что будет дизайнером одежды. Пять лет занималась с художником, поступила в Московский технологический колледж. В 2005 году окончила его с отличием и должна была идти без экзаменов на третий курс института по той же специальности, «художник-модельер одежды». Но в тот момент поняла, что хочет заниматься совсем другим делом, поняла, что хочет писать, и это единственное, чем ей бы хотелось заниматься всю жизнь. В этом же году поступила в Литературный институт, где и учится до сих пор.

Техас

Повесть

ТЕХАС — ЭТО крошечный кусочек суши, разумеется, если сравнивать его со вселенной; а для кого-то это дом, и целый мир, и родина, и любовь, и детство. Я не знаю, откуда взялось это название. Говорят: «Просто людям делать было нечего, вот и прозвали так», «Ну, типа, Дикий Запад».

Вероятно, из-за огромных пустырей и постоянных бандитских разборок. В нашем Техасе всегда велась борьба за власть. Всего лишь десять лет назад перестрелки случались прямо на площади. Морги были забиты трупами успешных авторитетов. Впрочем, это название появилось так давно, что никто и не помнит, кто его придумал. А может, этого кого-то уже давно нет на свете.

Мытищи — маленький город. Железная дорога делит его на две части: старые и новые Мытищи. Старые по правую сторону, вдоль Ярославского шоссе (их-то и называют на местном жаргоне — Техас). Мы переехали сюда из Долгопрудного, когда мне было три года.

Вскоре развелись мои родители. Я очень хорошо помню тот вечер, когда отец забрал вещи и уехал. Мы с братом деремся из-за коробки от магнитофона, он хочет складывать туда кассеты, а я хочу сделать из нее домик для кукол, мама сидит на полу и плачет. Коробку мы порвали, и она никому так и не досталась.

Наш дом двадцать второй по счету на улице академика Каргина. Панельная девятиэтажка, построенная в конце семидесятых, стоит на перепутье, в какую сторону ни глянь — всюду будет развилка.

Если пойти налево — то окажешься в районе ветхих пятиэтажных домов. Хрущёвки и сталинки утопают в зелени и тишине. Крохотные чистые дворики, почти не видавшие машин, свежестиранное белье на веревках.

За ними на поле огромной буквой «П» расположилась моя школа. Рядом с ней — детский садик «Елочка», в который я ходила.

Если же пойти направо, придешь к Владимирской церкви. Оттуда доносится колокольный звон, я под него просыпалась когда-то. Бывает, мне и сейчас мерещится, что я его слышу. Туда мы теперь ходим святить куличи, ставить свечки и причащаться.

За моим двором — пустырь. Потом здесь появится новый дом, с большими дорогими квартирами.

А прямо через дорогу — огороженная территория. Обещали сделать спортивный комплекс

с бассейном, но в итоге получилась вечная незавершенная стройка. Уже около десяти лет на этом месте два заброшенных здания. Там собираются наркоманы и бомжи, наши мальчишки тоже лазят туда, для них это вроде проверки смелости. Сторож их гоняет, а им все нипочем. Совсем близко стадион «Торпедо» — сюда меня в пять лет записали в секцию по фигурному катанию. В двух шагах от него — старый дом культуры. Раньше в нем был кинотеатр, детские кружки и библиотека. Теперь — ночной клуб «Индиана Джонс».

В нашей квартире четыре комнаты, мама все время называет их «клетушками». Все окна выходят во двор. Но только из моего окна видно большую березу. По ней всегда можно определить время года: осенью ее листья окрашиваются в цвет багряной охры и неторопливо умирают, разбиваясь о землю; зимой она оденется искрящейся белой шубой; весной нахохлится, набирая бутоны; а летом зазеленеет.

Автобусная остановка называется «Химгородок». Это оттого, что неподалеку находится завод «Химволокно», где моя мама проработала три года экономистом. У нас в городе всегда было много заводов. Железные громады стоят и по сей день, исторгая смрад.

Помимо всего прочего на «Химволокне» производили удивительные, не горящие в огне нитки. Они наматывались на длинные катушки и мерцали диковинным медно-розовым цветом. Я долго упрашивала маму принести эти нитки, а когда она их принесла, они оказались просто нитками, самыми что ни на есть обыкновенными. Такое случается.

Сложно назвать день, когда всё это началось. Это произошло как-то постепенно, как-то незаметно для нас. Разве мы тогда могли представить, чем всё это закончится.

Просто с разницей в несколько лет мы родились в Советском Союзе. Во время его медленной мучительной смерти. Кто скажет нынче точно: успели или опоздали?

Мы были обычными детьми. Как все, болели корью и ветрянкой, играли в казаки-разбойники и салки, мечтали поскорее стать взрослыми.

Двор и в самом деле был небольшим, но нам чудилось, будто это гигантская планета. На пустыре были свалены бетонные плиты, в них мы ухитрялись пролезать, — получался двухэтажный домик. Там мы прятали маленьких щенков, чтобы за ними не приехали собаколовы, по очереди ходили их кормить. У каждого был свой щенок. Часто мальчишки перетаскивали их в свой шалаш, и начиналась борьба. Место нахождения их штаба всегда было засекречено, как только оно становилось известно — они тут же искали новое.

Два старых полузасохших дерева тоже нередко служили домом. На них можно было залезать и развешивать различные драгоценные штуки: стекла, бутылки, фантики, листья, цветы, кусочки ткани и прочее — мы находили их под окнами. Также из этого богатства делались «секретики»: цветы, листья и красивая фольга клались в специально вырытую ямку, накрывались стеклышком и тщательно закапывались. Может, мы думали, что их когда-нибудь раскопают наши дети или какие-нибудь чужие? Не знаю. Просто это было красиво.

Между двором и пустырем был небольшой овраг. Над ним взрослые ребята сделали тарзанку — привязали дощечку к толстой веревке, которая имела обыкновение рваться в самый не подходящий момент. Так произошло, когда на ней катался Сашка Козаков. Хотел показать, какой он храбрый, прыгнуть прямо с ветки, на которой все держалось, — и упал. Все смеялись, а я нет. Мне его почему-то было жалко, наверное, ему все-таки было больно. У него есть брат близнец — Сережка, до сих пор не могу их отличить друг от друга. Они жили в доме за пустырем и учились в одном классе с Женей, Ильинским Игорем (Илюхой), Братухиным Лешкой (Братаном), Димой Екимовым (Кимом), Костей Филиным (Филей), Филимоновым Егором (Филимоном), Семёновым Стасом (Сёмой), Кузиным Юрой (Кузей), Лешаковым Славой (Лешим) и Немцем. У них была своя взрослая компания. Их считали крутыми. Многие из них жили в моем доме, некоторые даже в моем подъезде. Я в то время часто забывала ключи от квартиры, сидела под дверью и видела их. Когда на улице было холодно, они собирались на пятом этаже, там жил Ильинский (Женя жил на восьмом, а Кузя на девятом), в остальное время они сидели в соседнем дворе, ближе к вечеру подтягивались к ночному клубу «Индиана Джонс».

Когда нам было шесть, а им девять-десять, мы играли вместе и в казаки, и в испорченный телефон, и в чепуху, носились по двору, а вечером жгли костры. В школе на переменах — в прятки и салки. Женька был тогда забавный: светлые волосы; короткая стрижка с длинной челкой, которая все время падала на синие глаза, шебутной, задиристый, драчливый и непоседливый мальчишка. Девчонки смотрели на него с восторгом и замиранием в сердцах, а он их будто бы не замечал. Машинки и мальчишеские игры — вот, что ему было интересно. Ни минуты не мог усидеть на месте. Лет в десять под-

рался с Илюхой и рассек себе бровь. Все ужасно перепугались, у него полголовы было в крови. А он совсем не плакал, только растеряно смотрел по сторонам, словно не понимая, что случилось. Нас развели по классам, и я его в тот день больше не видела.

Как раз в этом году я только пошла в школу, мы еще застали форму. Черный или белый фартук, бесконечная стирка манжет и воротничков, а еще бант, большой капроновый бант, чуть ли не с мою голову величиной. До школы у меня были очень длинные волосы, темные и прямые, но в детском саду меня заразили вшами — пришлось их остричь. Так я и пошла в первый класс, правда, говорили, что мне идет, интересовались, в каком салоне меня стригли. В руках разноцветный ранец со «спиди-гонщиком» (герой популярного в то время мультика) и букет из розовых гладиолусов. Я должна была быть в «А» классе, нас распределяли по итогам собеседования, но мама не сдала мои документы вовремя, и я попала в «Е». Теперь я даже рада, что попала именно туда, у нас был замечательный класс.

* * *

В восьмом к нам пришла новенькая — Яна. Она жила недалеко от меня, в доме около медучилища. Мы как-то вместе шли из школы, и она предложила сходить в «Индиану Джонс» на дискотеку.

— Нас туда не пустят! Нам же шестнадцати нет.

— Да пустят. Там всех пускают. У меня брат туда ходит. Говорит, прикольно. Пошли?! Не понравится — уйдем!

— Ну, пошли! — ответила я просто так.

И мы пошли туда в субботу вечером. Жуткая давка на входе, невероятное количество дыма, и люди с безумными лицами. Клуб стилизован под джунгли, кроме того, в соседнем городе Королёве был точно такой же клуб, только назывался Jangle. Тех, кто туда ходил, называли джанглистами. Они устраивали кровавые разборки с нашими ребятами. После таких побоищ большинство попадало в больницу или в милицию.

В баре стоял скелет, повсюду висели зеленые сети и канаты, в танцзале бревна — на них можно было сидеть; вместо столов большие бочки с деревянными лавками. Белые вещи светятся в темноте под действием ультрафиолета, поэтому почти все ходят в белом, остальные — в разноцветных майках, топах, юбках или с фосфорными браслетами и кольцами. Такое чувство, что почти все знакомы, постоянно целуются и обнимаются. Мы встретили девчонок из моего дома, и стали танцевать в их круге. Все сверкает, блестит и мелькает перед глазами, как нарисованный мультик. Кажется, что это не ты, а какой-то другой посторонний человек, красиво двигающийся под долбящую отовсюду музыку.

Женя стоял у стенки, совсем недалеко от сцены, где танцевали девчонки в коротеньких шортиках и топах апельсинового цвета. В кепке и черных очках — его было сложно разглядеть, но я его узнала. К нему подошла Ольга. Они стали целоваться, он ее обнял. Я не то чтобы завидовала, просто Женя был такой, каким я и представляла себе идеального парня, я думала, такие бывают.

На сцену вышли хардкористы, многие из них были моего возраста, и я их хорошо знала. Самое смешное, когда они, забыв вытащить вещи из карманов, начинают крутиться на голове. Вот и в этот раз из Юркиных карманов посыпалась всякая всячина. Когда я снова посмотрела в тот угол, где стоял Женя, — никого не было.

Мы стали ходить на дискотеку каждые выходные. Перезнакомились, наверно, со всеми. Там часто случались драки. Девчонки тоже дрались — похлеще мальчишек. Повод может быть любой: от оскорбления до «просто не понравилась». Чаще всего обходилось все мелкими разборками с участием какого-нибудь авторитета (у нас была некая Мусё, которая занималась борьбой, — ее все ужасно боялись; или Наташа Кострова, которая была старше всех и имела обширные связи). Нас с самого начала предупредила Катька, что золотые украшения лучше не надевать, денег с собой брать по минимуму, в женский туалет не заходить. Сначала нам как-то везло, до нас только доходили слухи, что девушек избивают, забирают у них деньги и украшения. Вскоре настала наша очередь. Мы стояли перед входом в клуб с девчонками. К нам подошла Людка со своими подругами (из-за коротких стрижек их называли «лысыми»), они были самыми главными. Люда прижала нас к стенке:

— Деньги есть?!

— Нет! — ответила Яна.

— Как это нет? Вы же на дискотеку пришли, на вход должны быть деньги! Сюда без денег не приходят!

— Ну, мы думали пострелять! — сообразила Юля.

— Пострелять только я могу! Выворачивайте карманы! А то я вас так отделаю, мало не покажется!

Она забрала деньги у девчонок и подошла ко мне:

— У тебя тоже нет?

В этот момент непонятно откуда появился Серега Евдокимов (Толстый, Пончик — так его называли):

— Ее не трогай, она моя сестра! Есть у нее деньги, ей мама дала.

— Что, правда, сестра? — спросила она у меня, пристально разглядывая нас с Серегой.

Я кивнула. Серега меня увел. Люда его уважала, вместе учились, почти ровесники. Им было по семнадцать, нам с девчонками четырнадцать. Не понимаю, чего мы тогда так боялись какой-то наркоманки. Мы видели в ней то, чем она никогда не была. Сами же этот культ и создали, про них ходили жуткие слухи. С другой стороны, они ведь могли и избить по-настоящему, если никто за тебя не вступится. Много было таких случаев, девчонок увозили на «скорой». Помню, как мы тащили домой Юльку. Она подралась с Варькой, одной из них, на улице возле клуба, пришла с разбитым ртом и вся грязная. Это было обычным делом, никто не придавал этому значения.

Ребята дрались даже на танцполе. Мы сидели с девчонками около бара, мимо нас пролетел парень и упал на пол. Его подняли, и начался настоящий бойцовский ринг, пока не пришла охрана. Того парня, его звали Андреем, никто больше не видел. Порядок был простой, кто сильнее — тот и прав.

Обычно было семь или восемь медленных танцев за вечер (мы называли их медляки). Главная интрига: с кем танцевать медляки? Если это твой парень, тогда танцуешь только с ним, иначе будут неприятности, разборки и прочее. Если парня нет — танцуешь с тем, кто пригласит.

Дискотеки затягивают, появляется компания или несколько знакомых компаний, куда можно ходить в любое время. Меня это устраивало, потому что домой идти все равно не хотелось.

* * *

После развода мама начала пить. Я плакала каждую ночь, просыпалась одна в квартире. Вечером мама мне врала, что не уйдет. Я старалась не спать, но все равно засыпала, а когда просыпалась, ее уже не было. Мне казалось, что слезы когда-нибудь кончатся, вот я их сейчас выплачу и больше не смогу плакать, думала, у человека ограниченный запас слез.

Однажды, мне тогда было лет пять, я пошла к ее друзьям. Я знала, где они собираются, она иногда брала меня с собой. Была глубокая ночь, и мне было безумно страшно идти в темноте, кроме того, я никак не могла вспомнить дом. Когда я их нашла, мама совсем не удивилась, что я пришла одна. Мужчины в нашем доме менялись с завидной регулярностью. Я не осуждаю ее, я даже уже не обижаюсь, просто забыть все никак не могу.

Не могу забыть восьмое марта в детском саду. Я учила стихотворение, она обещала, что придет, но не пришла. Мне было очень обидно, у всех были мамы, а у меня нет. Домой она пришла пьяная, и сразу заснула. Я хотела поджарить рыбные палочки, но порезала палец. Видимо, задела сосуд, потому что кровь не останавливалась, она все текла и текла. Мне стало очень страшно, я ревела, смотрела на этот палец и думала, что я умираю. Пыталась разбудить маму — она не реагировала. Позвонила папе, он сказал, что надо держать под холодной водой. Я спросила, а если не пройдет? Он ответил, что тогда приедет. Не знаю почему, но меня это успокоило, и кровь перестала идти. Только шрам остался, из-за него ноготь на большом пальце наклонился вбок.

У меня были самые дорогие куклы и даже дом для барби. Девчонки завидовали мне, а я завидовала им, потому что у них были родители. Потому что ими интересовались, их провожали и встречали. А меня редко встречали, даже вечером со стадиона, где я занималась фигурным катанием. И мне всегда было стыдно перед чужими родителями, я им врала, что мама работает, они доводили меня до дома. Многих моих друзей не отпускали гулять, меня отпускали всегда, я и не спрашивала. Все равно никто бы не заметил, что меня нет.

* * *

В феврале тысяча девятьсот девяносто восьмого года на дискотеке Катька познакомила меня с Колей Артамоновым, он был из Женькиной компании, говорили, что они с ним лучшие друзья. Добрый, улыбчивый, с удивительным грустным взглядом, словно слезы в глазах стояли. Он угощал нас мороженым и без конца рассказывал анекдоты. С ним было легко общаться. Мне только потом Катька рассказала, что он детдомовский. Его родители погибли, когда ему было четыре года, из детдома сбежал, даже некоторое время жил при монастыре. Учился он мало. Думаю, закончил классов девять или восемь. Впрочем, он никогда не рассказывал об этом. Хотя, наверное, я и не спрашивала.

Они проводили меня до подъезда, я сказала, что дальше дойду сама. Лифт ехал нестерпимо долго, я прислонилась к стене и стала разглядывать батарею, на которой обычно спали бомжи. Дверь распахнулась, и вместе с февральским холодом в подъезд ввалился Саша с пьяным

Женей, которого шатало из стороны в сторону. Саша пытался его держать, но он все время вырывался и цеплялся за стену с почтовыми ящиками, бормоча что-то невнятное.

— Не, бля. Ну ты достал меня уже конкретно! Стой! — Саша резко приставил его к стене около лифта.

— Девушкааа!.. Красииивая!.. — Женя увидел меня и обрадовался.

Двери лифта открылись. Мы запихались вовнутрь.

— Мне третий! — Саша послушно нажал на кнопку.

— Смелая девушка, зашла с нами в лифт! А вдруг мы эти, как его... маньяки какие-нибудь!

Я улыбнулась.

— Не слушайте вы его! Просто у него настроения нет, кинули его сегодня прилично.

— А че не слушайте-то! Я, может, серьезно, ваще! Девушка, выходите за меня замуж!

Испуганно мотаю головой.

Он смотрел на меня все тем же наивным детским взглядом, только глаза потускнели и волосы уже не такие яркие.

— Не хотите, да! Вот, видишь, я и ей ни хрена не нужен!

Лифт остановился на третьем этаже. Я вышла.

Женя двинулся за мной.

— Э, вы не думайте... Я ведь и трезвый бываю! Как тя зовут-то?

Саша с трудом втащил его обратно в лифт.

До дискотек я как-то не задумывалась о ребятах и ни разу никого не любила. Если не считать Максима в детском саду. Он подарил мне компас, а я научила его завязывать шнурки. А потом мы пошли в разные школы. И наверное, он уже не помнит, как меня зовут.

А теперь у всех были парни, а у меня нет. Не то чтобы я никому не нравилась, нравилась, и очень многим. Но мне все они были не интересны. Может, я пересмотрела мыльных опер (в детстве меня часто оставляли с бабушкой, так что все сериалы я знала наизусть). Я верила в то, что однажды я встречу его, принца на белом коне. Он будет самым умным, самым добрым и красивым. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Глупо, конечно, но я думала, что так бывает. Где-то внутри была надежда, что все так и будет. Или почти так.

* * *

Девушка на сцене ладошками била по воображаемому стеклу, создавалась иллюзия, будто она и вправду за стеклом и никак не может выбраться. Этот прием называется «стеклышко». В то время на дискотеках он был особенно популярен. Это не сложно, нужно только самой верить больше всех, что это стекло существует на самом деле, — тогда и другие в это поверят.

Мне было грустно. Почти все мои подруги — по парам. Смотреть на то, как они целуются, невыносимо. Да еще Олег досаждал мне своим присутствием и, как он утверждал, любовью. Он был замечательным парнем, даже симпатичным, но я воспринимала его как друга, и никак больше. Худенький, ниже меня ростом, он выглядел, как маленький ребенок. Мой брат, увидев его, удивился: «Что это еще за детский сад?»

Я собралась уходить домой, Олег меня упорно не пускал. У него в руках была кружка пива, которая при очередной моей попытке вырваться опрокинулась мне на майку. Пришлось снять ее и остаться в коротеньком синем топике. Из-под него была видна грудь и я стеснялась ужасно. От всего этого совсем стало паршиво. Я села на корточки и обхватила голову руками.

И тут появился Коля:

— Привет! Чего такая грустная?

— Голова болит.

— Сейчас вылечим! Пойдем потанцуем?!

Он взял меня за руку, и мы пошли танцевать. Он что-то говорил, я не слушала. Потом вспомнила:

— А ты знаешь Женьку?

— Какого еще Женьку?

— Ну, из моего подъезда.

— А, Женька, что ли? Конечно, знаю! Он мне вообще как брат! Я ж когда из Сергиева Посада сюда приехал, дурак дураком был, ничего не знал. Меня скины отмутузить хотели, Женька меня отбил. В ментуру сколько раз попадал — он меня вытаскивал. Я ему по гроб жизни обязан. Хочешь познакомлю?

— Да... ну! Хотя... давай!

— Ты не замерзла?!

Коля, наконец-то разглядев меня, набросил мне на плечи свитер. Хотя там было жарко и на фоне всеобщей раздетости я была самой одетой.

— Сейчас. Тут где-то он был.

Через секунду они стояли передо мной.

— Вот, это Женя. А это Таня.

— Типа, привет! — с издевкой произнес он.

Я сняла свитер и вернула его Коле.

Женя уставился на мою грудь.

К Коле подошла Наташка Кострова и со слезами начала упрашивать помочь ей донести Филю до дома, который уже не стоял на ногах. Она тогда с ним встречалась, хотя была влюблена в Илюху, но он встречался с ее старшей сестрой Мариной, впрочем, и не только с ней.

Коля сказал, что скоро вернется, и ушел. Мы остались с Женей вдвоем. Мне стало не по себе, мелкие мурашки забегали по телу. Я совсем не знала, что ему сказать. Когда мечтаешь, представляешь себе и так и эдак — все красиво. А когда стоишь перед этим человеком лицом к лицу — ноги подкашиваются, голос пропадает. Женька мне нравился, но я и не думала, что он может обратить внимание на меня, за ним столько девчонок бегало.

Заиграл «It must have been love» Roxette — мой любимый медляк.

— Потанцуем?

Он крепко обхватил меня за талию. Я робко положила руки ему на плечи.

— Колян не будет против?

— Да нет. А чего ты спрашиваешь?

— Ну, я думал, вдруг ты его девушка.

— Да нет. Ты что?!

Мы, наверно, смотрелись смешно: он метр восемьдесят три и я метр пятьдесят девять.

— Мне кажется, я тебя где-то видел. Откуда я тебя могу знать?

— Просто я в твоем подъезде живу.

— Да ладно?

— А ты в музыкалку случаем не ходил?

(Я-то знаю, что ходил. Нарочно спрашиваю.)

— Да, на гитару. Года три назад закончил. А что?

— Я на фортепиано туда ходила. Ты здорово играешь!

(Он играл не просто здорово, он играл потрясающе, или во всяком случае мне так казалось тогда. Он мог подобрать на слух любую песню, и у него был такой проникновенный голос, мужественный и в то же время нежный.)

— У тебя кто был по сольфеджио?

— Вера Владимировна! — я улыбаюсь. — Помоему, нет такого человека, которому она бы поставила целую оценку. У меня за четверть была тройка с четырьмя минусами.

— Это еще ерунда. Вон Филимон вообще два с девятью минусами получил.

Я смеюсь.

— Да он и в школе больше не получал.

(В конце каждой четверти Марина Владимировна выписывала его оценки на доске: один, один, два, один, два, два... И спрашивала: «Ну и что мы поставим Егору за четверть? Ваши предложения?» Один Филимон поднимал руку: «Три?!»)

Женя тоже засмеялся.

— Не, школа — это весело. Ким один раз прикололся — спичек в школьный замок напихал, техничка ушла, а сторож внутри пьяный спал. Утром открыть не смогли — всех домой отпустили.

— Ким это такой высокий в красной кепке?

— Да. Вон стоит! — Женя указал в конец зала.

— Он все время там стоит, ни разу не видела, чтобы танцевал. У него взгляд какой-то хитрый и глаза черные. Мрачная личность.

— Да не, он юморной парень. Вечно в школе приколы всякие отмачивал. Биологичке нос разбил один раз.

— Как это?

— Да так! Не нарочно, конечно. В кабинете математики дежурил. Доску мыл шваброй, не видел, как она зашла, повернулся и задел ее нечаянно. Ходил потом извинялся, цветочки ей носил.

— Бедная Валентина Андреевна.

— Это еще ерунда, вон Сёма, вообще всех рыбок в аквариуме ей отравил, порошка какого-то им насыпал. Правда, никто так и не просек, что это Сема был. Филя тоже прикалывался. У нас как-то физра была в маленьком зале, в конце крыла. Ну, знаешь?

— Где ритмика у детей?

— Да. Так вот, подходит Филя и говорит: «Ща я вам такой прикол покажу!» Мы: «Ладно, давай». Он разбегается и со всего размаха дверь вышибает.

— И че вам за это было?

— Ниче, съе...ись оттуда по-быстрому и все!

— А у нас классная Елена Сергеевна!

— Это такая, которая вечно ходит во всем вязаном с помпонами?

— Ага! Она у нас тут недавно на огоньке баклышку пива отняла и демонстративно вылила в раковину. Дискотеку отменила. Ну, наши пошли к «вэшкам», у них там в открытую все бухали.

— Мы у нее как-то в классе стекло разбили, когда в футбол играли.

— Сильно ругалась?

— Не, это воскресенье было. Палыч (сторож) вышел: «Типа, четыре бутылки — и я вставлю, никто не узнает, только стекло потом принесёте». Ну, мы в магазин сгоняли, поставили ему четыре бутылки — он все вставил. Нормально.

Мы вспоминали про школу, про учителей. Смеялись. Стало как-то проще и веселее. Музыка окутывала чем-то волшебным, протяжный голос солистки будто проникал прямо в сердце. Белый смог, мерцание разноцветных огоньков, и мы кружимся, прислонившись друг к другу. Дух захватывало. Я танцевала с парнем своей мечты. Разве можно было желать большего?

Медляк кончился, а мы все танцевали, обнявшись. Говорили о какой-то ерунде, о друзьях, общих знакомых. Я не видела его лица, не

знала, о чем он думает, но чувствовала, как он дышит.

— О, без десяти уже! Пойдем, а то сейчас народ повалит!

Мы пошли к выходу. Он не заметил, но я видела колючий, ненавидящий Олин взгляд. В раздевалке сидел Толстый, он там работал по выходным, за это ему разрешали проходить бесплатно. Он всегда относился ко мне очень тепло, как к сестре, даже не знаю почему. Но, увидев нас с Женей, насторожился.

— О, Женёк, здорово!

Они пожали друг другу руки. Толстый принес нам одежду. Дошли мы очень быстро, но почти молча. Он словно бы о чем-то думал. Заговорили только в лифте:

— Забыл спросить, тебе какой этаж? — както растерялся он.

— Третий!

Мне показалось, он загрустил.

— Что случилось? — спросила я.

— Все нормально! — отмахнулся он.

Я вышла — он тоскливо улыбнулся в дверях.

— Пока.

— Шарф! — вспомнила я. — Ты шарф забыл!

Он дал мне его, когда мы одевались, еще в клубе.

Я принялась судорожно стаскивать с шеи спартаковскую розу. Это шарф болельщика, на котором изображена символика команды. У нас в то время все в основном болели за «Спартак», коней, то есть болельщиков «ЦСКА» или армейцев, почти не было, их всех перебили, кроме разве что Позднякова, его не тронули. Правда, потом его все равно посадили. На рынке была драка: скины, он был одним из них, отмечали очередной день рождения Гитлера, тогда погибло очень много кавказцев, а посадили только Позднякова, вроде у него на гриндерсах нашли кровь одного из убитых. Но разве можно точно определить, кто именно добил, били же все. Эту драку по телевизору показывали в новостях. Всякие программы были, в которых все выясняли, кто прав и кто виноват. А через неделю-другую замолчали или забыли.

Шарф был длинный и очень теплый. Ребята обычно носили его под куртку-бомбер (короткая черная мужская куртка с яркой оранжевой изнанкой) — так носил и он.

Женя вышел из лифта.

— Ну, вот теперь тебе пешком придется!

(У нас в доме лифт не вызывается с того этажа, на котором стоит.)

— Ничего, не привыкать.

Он помог мне снять шарф. И был так близко, что у меня бешено колотилось сердце. От него пахло сигаретами и чем-то знакомым. Больше всего я боялась, что он меня поцелует и узнает, что я не умею целоваться. Я думала, тогда все будет испорчено, и я стану ему неинтересна.

— Ну, мне пора.

— Угу.

Я кинулась к двери и нажала на звонок.

— Пока.

Лешка (мой брат) открыл мне, а Женя все стоял в задумчивости.

Кое-как раздевшись, я кинулась к телефону. Набрала номер Лизы (это моя лучшая подруга. Мы дружим с пятого класса. Только ей я могу рассказать все). После двух гудков в трубке раздался ее сонный голос:

— Да.

— Это я.

— Знаю. Что стряслось?

— Ты ни за что не догадаешься.

— Что Янка с Юриком разбежались опять?

— Нет.

— Ну, тогда, наверное, Тимофеева замутила с Веталем?

(Веталь предложил Тимофеевой встречаться, она сказала, что подумает, и через две недели даст ответ. Завела блокнот, который носила с собой и записывала в него все плюсы и минусы. Если к концу двух недель плюсов будет больше, чем минусов, тогда она согласится. Веталь уже чего только не делал, и цветы дарил, и провожал, и даже делал вид, что бросил курить. И мы все ждали, когда Тимофеева сдастся. Прибавляли Веталю плюсы и всячески ее уговаривали. Всех это веселило. Но она стойко держалась.)

— Да нет же.

— Ты согласилась встречаться с Олегом?

— Ты мелко мыслишь. Я с Женькой танцевала, и он меня проводил! — торжествующе заявила я.

— Какой еще Женька?

— Какой-какой, как будто у нас их вагон и маленькая тележка! Ну, из моего дома! Из Илюхиной компании! Ты уже спишь, что ли?!

— Быть не может?! — оживилась Лиза.

— Очень даже может!

— Хм, а Ольга?!

— А что Ольга?! Он с ней больше не встречается. Она нас видела.

— Может, это прикол какой-то? Что-то я не догоняю! С чего вдруг?!

Мы еще долго разговаривали. Лиза советовала быть осторожней и не верить во все это. Вследствие чего в школу я пришла совершенно невыспавшейся. Благо мы сидели на последней парте, и я уже почти спала, когда мне в ладошку

положили свернутый кусочек бумаги. Это Тимофеева передала мне записку через Загорского, она сидела на соседнем ряду, но не с моей стороны.

«Что у тебя с Женькой? Он же с Ольгой встречается! Что вчера было?»

Пытаясь разлепить глаза, калякаю:

«Да ничего. Просто потанцевали — проводил! А что? При чем тут Ольга? Они же разошлись!»

Тимофеева задумчиво что-то пишет в ответ и отдает записку. Загорский, видимо почуяв, что там что-то интересное, берет себе и начинает разворачивать. Я хватаю его за руку:

— Отдай!

— Не отдам! — сладостно улыбается он.

Я изо всех сил стараюсь разжать его кулак и вытащить записку. Не получается.

— Дурак! Отдай сейчас же!

Мы боремся под партой. На нашу возню поворачивается впереди сидящая Юрцева:

— Чего это вы там делаете?

Мы хихикаем. Она злится. Ей давно нравится Загорский. Безответно.

Тут все это замечает и Елена Сергеевна (наша классная, учительница английского языка):

— Таня, выйди! Немедленно!

Вот, всегда так. Вопиющая несправедливость. Виноват Загорский, а выгоняют меня. Я выдергиваю у него остатки изорванной бумаги и выхожу. Выкидываю их, прочитать уже все равно ничего невозможно.

Иду в женский туалет, он совсем рядом с классом английского на третьем этаже, именно здесь с утра мы переписываем домашку, здесь же обсуждаем жизненно важные вопросы, скрываемся от учителей и прочее.

На подоконнике сидела Ольга, рядом стояли две ее подруги, Надя и Ира.

— Смотрите, кто пришел! А мы как раз тебя вспоминали! — громко сказала Ольга.

— Вспомнишь, вот и оно! — подхватила Надька.

Они засмеялись.

— Да пошли вы! — со злостью ответила я.

— Ты кого это тут посылаешь, шалава?! — Надя прижала меня к стене, выложенной холодной плиткой.

Прозвенел звонок.

— Не здесь! — Ольга отодвинула Надю. — В субботу на диске разберемся. Будешь знать, как с чужими пацанами танцевать! Я тебе устрою! Весь Техас соберу!

Они пошли к выходу.

— Только попробуй не прийти! Хуже будет! Я тебя все равно достану! — сказала Надя уже в дверях.

Лиза как раз столкнулась с ними, она взяла мои вещи из класса:

— Ну что, доигралась! Говорила же я тебе! Стрелу забили? — она взволнованно смотрела на меня.

— Да. Послезавтра в «Индиане».

— И че делать будем?

— Ничего, пойдем, что же еще!

— С ума сошла, она старше и сильнее раз в сто! К тому же она с собой приведет всех своих! А ты? Все же будут за нее стопудняк! — она почти кричала. — Весь одиннадцатый, из десятого где-то пятеро, с новых Мытищ девки, плюс все старшие! — Лиза принялась считать, сколько народу приведет Ольга. — Даже наши будут за нее, потому что она по-любому права. Ты танцевала с ее парнем. Поражаюсь просто, че ты молчишь?

— Он не ее парень!

— Это он тебе сказал?

— Нет!

— Тогда с чего ты взяла?

— Знаю! — На самом деле не знаю, зачем я это брякнула.

— Может, они поссорились, и он решил ей отомстить, или еще что-нибудь...

— Нет! — Я продолжила отковыривать белую плитку с надписью: «Я люблю тебя, Стас!»

— Откуда такая уверенность! Кошмар какой-то!

В этот момент пришла Тимофеева.

— Что? — глядя на наши кислые лица, спросила она.

— Ольга забила ей стрелу!

— П...ц! — только и сказала Тимофеева.

* * *

Мы пришли к самому началу. Почти никого не было. Лиза шутила на тему завещания, Юлька и Анька переглядывались. Неожиданный состав. Янка, которая считалась моей подругой, сказала, что я сама виновата и нефига с чужими пацанами танцевать. Еще была надежда на старших девчонок из моего дома, мы ждали их за столиками около бара.

Когда они, наконец, появились, то тут же стали учить меня драться:

— Хватай ее за волосы и бей об стенку! Тут самое главное — быстро! Она наверняка будет ногами — так что старайся увернуться, а иначе кабздец!

— Это бред — из-за парня драться! — скорчилась Катька.

— Да не из-за парня! Они на нее первые наехали. А Танюха тут ваще ни при чем! Это же он ее пригласил. Вот Ольга и бесится.

— А они разве не разбежались? Надька мне говорила — с концами. Типа, он ее бросил. Она вены себе пыталась порезать.

— Эта Ольга такая дура. А строит из себя «не плюньте рядом». Давно пора ей морду набить.

Подошла Надька и сказала, что через пять минут они нас ждут в женском туалете.

— Скоко их? — спросила Олеся.

— Хрен знает, ща пойдем посмотрим! — демонстративно разжевывая жвачку, ответила Юлька.

— Не ссы, прорвемся!

Когда мы зашли, там уже было много девчонок, и мы с трудом протиснулись между ними в маленькое пространство. Все притихли. Ольга стояла в центре, презрительно глядя на меня:

— Ну че, испугалась?

Если честно, то да. И больше всего я боялась, что она меня изуродует, все остальное, пожалуй, было не так уж и страшно. До этого я никогда не дралась с девчонками, только с братом, да и то скорее в шутку.

— Кого? Тебя, что ли? Не смеши меня! — изо всех сил, стараясь изобразить бесстрашие, сказала я.

— Значит, не боишься! — усмехнулась она. — Тогда давай один на один, на фига девок притащила?!

— Давай! — не подумав, ответила я.

Девчонки с ужасом и недоумением посмотрели на меня и вышли. Мы остались с ней вдвоем, с другой стороны стояла Надя и держала дверь.

— Какого х... ты с моим парнем танцевала?! — закричала она и подошла ко мне вплотную.

Ее глаза горели какой-то несказанной ненавистью. Она схватила меня за руки, вонзив длинные ногти в кожу.

— Ни хрена он не твой парень, так что не твое дело! — огрызнулась я.

Она резко оттолкнула меня к стенке. Я ударилась головой о полуразбитое зеркало, висевшее над раковиной. Ольга снова подошла ко мне, попыталась ухватить за волосы, я успела удержать ее руки. Она была явно сильнее.

Я терпеть не могу, когда бьют по ногам, но если бы я не ударила, она окунула бы меня головой в раковину, многих девчонок уже били здесь об нее, от этого она треснула. Говорили даже, что одну девушку ударили головой о край, и она умерла. Ольга отпрянула, а затем тоже начала бить ногами, я пыталась увернуться. Ей удалось схватить меня за волосы. Я ударила ей в грудь, она достала нож и прислонила к моему лицу:

— Я тебе всю рожу расцарапаю!

И мне стало страшно по-настоящему, внутри все похолодело.

В этот момент вошла Наташка Кострова.

— Какого хрена ты здесь делаешь! — Оля повернулась к ней.

— Не трогай ее! — Наташка стояла и невозмутимо, скорее даже равнодушно смотрела. У нее были длинные светлые волосы до пояса, которые она носила распущенными, так что они окутывали ее и скрывали худощавую фигуру; азиатский разрез глаз сочетался с мелкими, едва заметными веснушками.

— Без тебя как-нибудь разберемся! Нам защитников здесь не надо! У нас все чин чинарем, по-честному! Один на один.

— Ты че, оглохла, что ли! Руки убери, не трогай ее! Тронешь ее — будешь иметь дело со мной! У тя совсем крыша поехала?! Хочешь проблемы, я тебе их организую! — Наташка отодвинула Ольгу, взяла меня за руку и провела к двери вперед себя.

— С ума сойти, ты за эту тварь заступаешься? — усмехнулась Ольга.

Мы вышли, около входа толпились девчонки, они смотрели на нас и перешептывались, почти никто не танцевал. Я отряхнула джинсы — на ногах уже чувствовались синяки.

— Спасибо! Никогда бы не подумала, что ты будешь за меня!

Хотя мы и жили в одном доме, но как-то не особенно дружили. Она меня недолюбливала из-за того, что отец привозил мне много красивых дорогих игрушек. Когда мне было года четыре, папа привез мне из Швеции серого ослика с розовыми ушами. Он мне очень нравился, я даже не засыпала без него. И вот однажды она зашла за мной и позвала гулять. Ослика я взяла с собой. Она посадила его на качели и стала качать. На улице было ужасно грязно и слякотно. Я боялась, что он упадет, и просила ее не качать. Она сказала, подумаешь, ну и что. И он упал в самую грязь, и сколько бы мы с мамой не пытались его отстирать — бесполезно. Я тогда безумно расстроилась, плакала целый день.

У Наташки никогда не было отца и игрушек тоже. Они жили очень бедно, донашивали одежду друг за другом, их было трое в семье — все девчонки. Мать, как могла, поднимала их — работала целыми днями. Но все новое доставалось старшей — Марине, да еще и Ильинский, который очень нравился Наташке, стал встречаться с Маринкой. За это она ненавидела ее лютой ненавистью.

— А я и не за тебя! Я это сделала только ради Коли, так что ему говори спасибо! — Она довела меня до столика, где сидел Коля.

Он повернулся к нам:

— Спасибо.

— Вот еще! — фыркнула Наташка и ушла. Она сказала моим девчонкам, чтобы они ко мне пока не подходили, и они ее послушались.

Коля взял меня за плечи и усадил рядом. Мне совсем не хотелось разговаривать, тем более с ним. Было как-то стыдно и неприятно. Всё казалось нелепым. Коля достал из кармана платок, смочил его в рюмке с водкой и стал аккуратно смазывать ссадины, которые остались на моих руках от Ольгиных ногтей.

— Щиплет! — нахмурилась я.

Он подул на царапину.

— Не надо! — я попыталась выдернуть руку.

— Потерпи — до свадьбы заживет! Зачем ты стала с ними драться, не соображаешь совсем!

— Затем! — разозлилась я, вскочила и побежала к выходу. Еще нравоучений мне только не хватало! Почему-то он меня раздражал своей заботой, к тому же настроения совсем не было.

Он догнал меня на выходе:

— Ну прости, не обижайся! Я просто думаю, глупо это все, когда девчонки дерутся. Зачем? Ерунда какая-то.

Я рассержено посмотрела на него.

— Подожди — вещи возьму! — Он вытащил зажатый в ладошке номерок и пошел к раздевалке.

Коля проводил меня до самой квартиры.

— Пока! — сказала я.

А он стоял и как-то виновато смотрел на меня. Я молча ушла.

На следующий день около двенадцати кто-то робко нажал на звонок. Я подумала, что это мама вернулась из магазина, и открыла в чем была, то есть в старых рваных джинсах и рубашке брата. На пороге стоял Женя и улыбался:

— Привет!

— Ага! — только и ответила обалдевшая я.

— Выйди — поговорим!

Я покорно вышла, стыдливо прикрывая рваные джинсы.

— Я тут это. Хотел тебе сказать, извини вобщем! Мне Колян про вчерашнее рассказал... — он замялся.

— А! — в полушоке говорю я. — Да ничего! Нормально все!

— По-дурацки вышло... Понимаешь, просто Ольга, она...

— Нет, не надо! Не говори ничего! Забыли! — перебила его я. Мне ужасно не хотелось говорить с ним об этом.

— Да, хорошо! Я понимаю все! Просто мы с ней расстались, и она хочет все вернуть назад! Психует из-за этого! Это пройдет!

— Ты только поэтому пришел?

— Нет! Я спросить хотел, ты пойдешь на дискотеку?

— Да нет, наверное, мне вчерашнего хватило! — улыбаюсь я. — А что?

— Не, ничего! Я так просто спросил, думал, может, с нами пойдешь?!

Удивленно смотрю на него, этого я не ожидала. Даже досадно стало, что отказалась.

— Ладно, пока тогда. Увидимся, — он вызвал лифт и уехал.

Я не видела его целую неделю. Стояли сильные морозы. В воскресенье я возвращалась от бабушки. Она живет в Королёве, это совсем недалеко от Мытищ, следующая станция по железке, или двадцать минут на автобусе, или тридцать пешком. Я забрала у нее чистое белье. У нас тогда не было стиральной машины, а у бабушки была, и мы иногда возили к ней постельное белье. Я прождала электричку минут сорок, попала в перерыв. Промерзла до костей, ноги не слушались, руки не шевелились, да еще ручка от пакета с бельем предательски врезалась через тонкие перчатки прямо в ладонь, из глаз текли слезы, а волосы от дыхания стали белыми. В электричке согреться я не успела, она шла минут пять, даже не семь. Поэтому, когда я вышла на третьей платформе в Мытищах и перешла через мост, окоченела еще сильней. Женя шел мне навстречу со стороны «Химволокна» в расстегнутой куртке со свисавшим шарфом, за ним шли ребята с магнитофоном, из которого орала Metallica. Они обогнули памятник Ленину, который почему-то стоит лицом к заводу и спиной к вокзалу, вокруг него растут высокие ели, а по периметру — низкая ограда.

— О, привет! Ты откуда тута? — Он увидел меня и остановился, остальные начали подниматься на мост.

— Из электрички! — еле-еле разжав смерзшиеся губы, ответила я.

— Хорошо, что я тя встретил! Поговорить с тобой хотел! — выдыхая пар изо рта, сказал он.

— Женька, блин! Че ты там застрял?! Электричка идет! — заорал Сашка с моста.

— Ща, иду! — отмахнулся он. — Ты будешь со мной встречаться?

От смущения у меня еще сильнее запылали щеки и потекли слезы, говорить я не могла совершенно, только смотрела на него, вытаращив глаза.

— Тебе холодно? — Он стал снимать с себя куртку.

— Нет! — я замотала головой, останавливая его.

— Я тут уезжаю где-то на месяц, сессию надо сдать. Так что ты подумай, хорошо?!

— Угу! — растерянно киваю.

— Женька!!! — еще громче заорали ребята с платформы.

— Всё, извини, пора бежать! Но ты подумай! Слышишь, подумай! — последнюю фразу он крикнул уже с моста.

На деревянных ногах я влезла в автобус, наскребла по карманам мелочь. Раньше у нас в городе были бесплатные автобусы, правда, и народу было больше, так что вылезти на своей остановке почти нереально, вот так мы и катались от станции до Леонидовки. Это район, следующий за Техасом, границей между ними является «китайская стена» (это самый длинный дом в Техасе, поэтому его так и прозвали).

Вечером Лиза убеждала меня, что это очередная подстава, что так не бывает. И я почти с ней согласилась. А на следующий день, когда я пришла домой, столкнулась с матерью и отчимом, они были пьяные. Мы поругались, он ударил меня, наверное, это громко сказано, шлепнул, но для меня это был кошмар, меня ведь раньше в семье никто и никогда не бил. Я пошла к Лешке в комнату, вцепилась в него и громко зарыдала. Потом был большой скандал, и даже драка. К вечеру поутихло. Мы сидели вдвоем с братом в его комнате, обнявшись. По первому каналу тогда шел «Терминатор», Леша его записывал. Мы решили, что уйдем жить к бабушке. И может быть, все и успокоилось бы, но снова пришел он и, не слова не говоря, забрал у нас телевизор. Скандал разгорелся с новой силой, они опять подрались, кто-то вызвал милицию. Парень в форме о чем-то меня расспрашивал, я не понимала его и говорить отчего-то могла с трудом, только кивала или мотала головой.

Их забрали в участок, я осталась плакать у себя в комнате. Закрыла глаза и, даже не знаю как, заснула. Обычно я плохо засыпаю, тем более одна в квартире, я боюсь. Но это было не так, как всегда, будто меня кто-то убаюкивал. Сон это был или явь — даже сейчас не могу сказать точно. Я лежала в большой колыбели, ее кто-то слегка раскачивал. Вокруг все было покрыто дивным светом и музыка необыкновенная, тихая, но очень мелодичная. Рядом стояли, как их правильно назвать, думаю, это были ангелы, и золотое свечение исходило от них. А еще необъяснимое, непередаваемое, несказанное чувство счастья, покоя, умиротворенности и доброты. Они словно утопали в этом волшебном свете, и только очертания их лиц были четко видны. Среди них был Он, я узнала его, я видела его в церкви на Кресте и на прабабкиных иконах. Он улыбнулся мне, теплой и ласковой улыбкой.

Дверь открыли ключом, я проснулась и больше в ту ночь уже не спала. Брат переехал к бабушке, а я осталась. Мне кажется, я его тогда потеряла. Мы редко видимся, еще реже разговариваем. Мы встали по разные стороны баррикад и стали пушечным мясом в войне наших родителей.

* * *

Домой идти теперь совсем не хотелось, поэтому я шаталась по подругам и разным компаниям. Однажды мы зашли в квартиру к Мишке. Такого я не видела никогда, как будто после урагана, вещи в хаотичном порядке разбросаны по квартире, мебели почти нет, на полу матрас и старенький телевизор, на кухне электрическая плитка и грязный, уставленный пустыми банками стол. Я, конечно, знала, что его мама пьет, но такого точно не представляла. Он жил с матерью и сестрой, Юлькой. Мы с ней как-то незаметно подружились. Стали гулять вместе, она перезнакомила меня почти со всем Техасом. К тому же на улице стало теплеть, приближалась весна и каникулы. Я зашла к ней как-то днем после школы, и она торжественно сообщила мне, что влюбилась.

— В кого?

Она загадочно улыбнулась:

— В Козаковых!

— Что, сразу в двоих?

— Да нет, в одного, но второй тоже ничего!

— У одного из них есть девушка, только не знаю у какого! — некстати вспомнила я.

— Сейчас узнаем! — обрадовалась Юля.

Она взяла телефон и набрала на нем какой-то номер.

Я горько вздохнула, недавняя ее любовь к Киму еще не зажила. После того как он не ответил ей взаимностью, а вернее, послал, она вырезала его имя лезвием у себя на руке.

Сашка Казаков, видимо, оказался вежливее Кима и после взаимного хихиканья и болтовни по телефону даже пригласил ее, то есть нас, к Филе.

— Мы сейчас прям пойдем? — спросила я.

— Ага! Только мне надо отдать кое-что! — она достала из-под ванной небольшой белый сверток. В нем был «план».

— Ты спятила?! — я встревоженно посмотрела на нее.

— Понимаешь, я бы не стала, просто деньги нужны! Не боись, я мигом! В подъезде меня подождешь!

Я прождала ее около двух часов и пошла к Филе, он жил в этом же доме, только в другом подъезде. Подумала — вдруг она там. Но ее там не оказалось. Дверь мне открыл Ким.

— О, хорошо, что пришла, а то у нас тут скучно! — он силой втащил меня вовнутрь и захлопнул дверь.

Я испуганно отшатнулась к стенке.

— Кто там? — из-за двери выглянул Коля.

Увидел меня и обрадовался, сказал, что искал меня по все знакомым, спрашивал, куда я пропала, домой ко мне сто раз заходил. Я не знала, что ему на все это ответить. Рассказать про то, что произошло дома? С чего вдруг? Да и какое ему до меня дело? Он все равно бы не понял, а я не смогла бы сказать, наверное, никому, даже Лизе. Поэтому я решила просто уйти. Но Коля меня остановил:

— Останься! Посиди вместе с нами, клёвыми пацанами! Я тебя провожу потом, а то как ты щас одна пойдешь, темно уже! — рассудил Коля, видимо слегка поддатый.

И я согласилась. В квартире было две комнаты. В одной горел торшер, играла музыка, из прикрытой двери доносился визг и хихиканье, кто-то танцевал. В другой за накрытым столом сидел Сёма и играл на гитаре, Филя, Сашка и Серега подпевали ему:

Туманный вечер на город опустился.
Погасли свечи, и дело шито-крыто.
Укутав плечи, гуляют синьорины.
В магнитофоне кассета Чилентано.
А мы на сломе, и снова пьяно, пьяно.
Давайте деньги, очки, штаны, бокалы.
В кармане кэмэл и три пакета плана.
Где беломора достать? Закрыты уже магазины.
Где беломора достать? Хоть пачки половину.
Где беломора достать? Ну подскажите, сеньоры.
А не то я напьюсь.
Повсюду панки в американском свете.
А мы не янки, мы плановые дети.
Мы любим фанту, варенье и конфеты,
И на Таганку мы не берем билеты.
Предпочитаем вино и дискотеки
И уважаем страну, где жили греки.
Но забиваем косую для утехи,
И так бывает, что с нами плана нету...

Сёма раньше пел романтичные баллады, особенно трогательно у него получалась «Снежная королева»:

Ты такая нежная, королева снежная,
распустила волосы, да не слышно голоса...

А потом у него сломался голос. Как-то он вышел во двор и забасил:

Эх, вы кони, мои кони...

Коля положил мне еду на тарелку, налил сок и вино. Я хотела отказаться, но потом подумала, что надо на всякий случай поесть, мало ли что творится дома. Мне в тот момент было тоскливо, все казалось каким-то бессмысленным и не нужным. Хотелось куда-нибудь исчезнуть, провалиться под землю и чтобы все оставили в покое.

Мы потанцевали немного.

— Я наверно, пойду уже.

— Еще же рано! — запротестовал Коля. — Вон, токо восемь! — он указал на часы.

— Мне еще уроки делать! — неожиданно соврала я. По правде говоря, в школе я скатилась до троек. С гуманитарными дисциплинами еще кое-как, а физику и математику решала Лиза. Мне было наплевать.

Коля вздохнул и пошел меня провожать. Он в тот вечер много всего говорил. А я почти не слушала. Я так жалею теперь, что не слушала его тогда. Ведь он говорил что-то важное, что-то хотел объяснить. Рассказывал даже про детдом, про родителей, что он совсем их не помнит. Я в тот момент подумала, лучше бы и мне не помнить. Можно было бы придумать их в своем воображении, придумать самыми замечательными на свете, самыми добрыми и верить, что они такие и есть.

Он учил меня свистеть, а у меня все никак не получалось. Выходило только какое-то сдавленное шипение. Мы долго стояли в подъезде. Он говорил тогда, что хочет стать врачом, чтобы вылечить всех людей, чтобы никто не болел. А я сдуру спросила его, не знает ли он, когда приедет Женя. Он загрустил, сказал, что не знает, и ушел.

На следующий день я пошла к Юльке. Из квартиры доносился запах гари и вылетали клубы дыма. Дверь была открыта, на кухне сидели наши мальчишки. Они учились со мной в одном классе, редко ходили в школу и были двоечниками. Их родителей все время вызывали. Они, когда были трезвыми, что случалось редко, вспоминали, что у них есть дети, кричали и били их за двойки. Некоторых даже избивали ремнем, после чего те убегали из дома. Учителя срывались на них, а они, будто бы назло, начинали вести себя еще хуже. Еле-еле их перетаскивали из класса в класс, но окончить школу они так и не смогли.

— Что вы тут делаете? — спросила я, отмахиваясь от дыма.

— Блины жарим! — обрадовался Мишка, Юлькин брат. — Хочешь? — Он протянул мне тарелку с черными, сгоревшими кругами, смутно напоминавшими блины.

— Нет, спасибо! — я пошла в комнату в надежде найти Юльку.

В комнате на матрасе сидел Петрухин. У него то сужались, то расширялись зрачки, казалось, он задыхается. Опять надышался клеем. Взрослые ребята говорили, что он смешной, когда нанюхается, с раковиной целуется и всякие номера откалывает. И нарочно давали ему нюхать, чтобы повеселиться. А потом сам пристрастился. Дома он почти не жил, боялся матери, она его сильно била.

Олег резко повалил меня на матрас. Попытался расстегнуть ремень у меня на юбке, но тот никак не поддавался. А я выбивалась.

— Чего ты дергаешься, ты же моя девушка! — прохрипел он.

— Нет. У меня парень есть! — заорала я, пытаясь выбиться из его стальных объятий.

— Кто? Кто он? — у него был такой детский взгляд. Удивительные большие глаза небесного цвета.

— Женька! — крикнула я.

— Женька? Не гуляй с ним, не надо! — испугался он.

— А тебе-то что? Ревнуешь, что ли? — разозлилась я.

Петрухин мотнул головой. Он ослабил хватку, я вырвалась и побежала в ванную. Села и заплакала. Мишка зашел, виновато глядя на меня.

— Зеркало! Принеси мне зеркало! — захлебываясь слезами, потребовала я.

Он притащил небольшой осколок. Не знаю, уж откуда он его взял. Волосы взъерошены, из губы течет кровь, поранилась об часы, уворачиваясь от поцелуев Петрухина. Умылась, расчесалась и спросила Мишку про Юльку. Он пожал плечами. Стало понятно, что он ничего не знает. В дверях я встретила Долгополова, еще один мой одноклассник, с Бертой, это его собака породы ротвейлер. Они пошли меня провожать.

Долгополов всегда был умным и отличался от двоечников тем, что учился. Правда, только когда приходил в школу. Он много читал. В пятом классе сразил нашу учительницу тем, что прочитал всего Яна. Я в то время даже не знала, кто это. Его считали способным, но учиться он не мог. Ему приходилось сидеть с младшей сестрой. Родители были заняты бизнесом. Они торговали проститутками. Нанимали молдаванок, хохлушек и прочих. Снимали им квартиру. Мы как-то ходили туда с Юлькой, она дружила с одной из девчонок. Я тогда не поняла, кто она. У нее было странное имя то ли Лина, то ли Лима — не помню. Очень грубая и как будто злая на весь мир.

Но всем этим в основном занималась его мать, а отец пил. Часто вместе с моей матерью, иногда они пили все вместе. Именно к ним я ходила тогда одна в пять лет.

Долгополов знал, где Юлька. Но не сказал мне. Может, всё еще злился, что из-за меня не состоялась его карьера флаерщика (флаер — это такой кусочек картона с картинками и надписями, который при входе в клуб позволяет платить за вход по льготному тарифу. В «Индиане Джонс» вход с флаером стоил двадцать рублей, без — тридцать пять). Чтобы стать флаерщиком, нужно было, чтобы по твоим флаерам прошло определенное количество людей. У каждого флаерщика был свой личный ник и подпись. Так вот, Долгополову не хватило одного флаера, который он отдал мне, а я по нему не прошла. Флаер этот сохранился, дома лежит, на память. А Долгополов до сих пор припоминает, вот, мол, все из-за тебя.

Юлька вернулась на следующий день вечером с фингалом под глазом и разбитой губой. Она ничего мне не сказала, просто тихо закрылась в ванной. Всё было и так ясно.

Два дня я сидела дома. Ругалась с мамой. Она кричала, что я целыми днями шляюсь черте где, ничего не делаю, поздно прихожу и прочее. С ней такое случается. Она может не замечать меня неделями, а потом, вспомнив, что я есть, кидается меня обнимать. Или вдруг ни с того ни с сего спрашивает, как дела в школе, хотя никогда этим не интересовалась. Меня это ужасно пугало. Я же потом чувствовала себя виноватой. А она говорила, что я сама ничего ей не рассказываю и не хочу с ней играть. Дескать, такой самостоятельный ребенок. Я уже с этим смирилась, но зачем тогда делать мне лишний раз больно.

Вот и на этот раз то же самое, очередной приступ заботы. Я закрылась у себя в комнате и слушала музыку. Месяц назад мой брат купил музыкальный центр, он очень долго на него копил. До этого у нас был только магнитофон, который папа привез из Германии, лет десять назад. Его столько раз швыряли, что кассетные дверцы полностью вылетели, а он все работал. Скажу больше — работает и теперь.

Когда я не могла заснуть, Лешка принес мне в комнату новенький музыкальный центр. Я слушала радио всю ночь, думала, он его заберет утром. А он не забрал, сказал, что купит себе еще. Я не поверила, Лешка так мечтал о нем, а тут вдруг просто отдал мне. Центр остался, а брата нет.

* * *

Женя появился, когда я уже его не ждала.

— Твой ответ понимать как «нет»? — сердито спросил он прямо с порога.

— В смысле? Какой ответ? — не понимая, переспросила я.

— Я слышал, ты тут с Колей?!

— Что с Колей?

— ...танцуешь.

Я изумленно посмотрела на него.

— Танцуй дальше! — он развернулся и хотел уйти.

— Подожди! — я взяла его за руку. — Причем тут Коля?

— Тебе виднее!

— Бред какой-то! Ты чего?!

— Говорят, что ты с ним гуляешь!

Я засмеялась:

— Больше ничего не говорят? Это же ерунда!

Он смотрел на меня, прищурив глаза.

— Не встречаюсь я ни с каким Колей! Вас подло обманули!

— Правда? — все еще недоверчиво, но уже с улыбкой, переспросил он.

— Да, правда-правда. Кто тебе сказал такую глупость?

— Неважно. Проехали.

Женя засмеялся.

— Как твоя сессия?

— Отлично! Лучше всех!

Поднимаюсь чуть выше по лестнице, Женя идет за мной. Я прислоняюсь к зеленой стене, на которой черным маркером красуется надпись: *«Таня + Олег = лубовь»*.

— Кто это писал? Любовь пишется через «ю»! — замечает Женька.

— Да это Олег Петрухин!

— Парень твой?

— Да нет! Ты что?! — смеюсь я.

— Так ты подумала? — вспоминает он.

— Да! — говорю я, стараясь не смотреть ему в глаза, разглядываю надписи на стене.

— Что — да? — он поворачивает меня лицом к себе и прижимает к стене.

— Ну да! Я согласна! — приходится смотреть ему в глаза.

— На что согласна? — нарочно издевается, видит, что я стесняюсь.

— Ну, быть твоей девушкой! — говорю я и опускаю глаза.

Он смеется, но как-то по-доброму. Подхватывает меня на руки и несет вниз.

— Гулять пойдем?

— Сейчас? — спрашиваю я.

— Не, мне надо вещи разобрать. Приходи через часок ко мне, предки всё равно в Москве. А там решим.

Я киваю в ответ. Он ставит меня на пол.

— Всё, тогда жду тебя. — Женька поднимается по лестнице.

Я вбегаю в квартиру, не зная, куда деться. Переворачиваю весь шкаф вверх дном. В итоге надеваю топик и джинсы клеш. В это время как раз вернулась мода семидесятых: клешеные брюки, свитера и водолазки с фактурой «лапша», ботинки на платформе и прочее. Джинсы я выпросила у папы, для этого мне пришлось целый час решать математику.

Накрасилась маминой косметикой. Она разрешала мне краситься, а бабушка нет. Поэтому, когда я жила с бабушкой на даче, после дискотеки приходилось незаметно всё стирать листьями в лесу.

В тот раз я переборщила и в конце концов все смыла. Я не любила краситься, чувствовала себя как-то неестественно, как кукла. Ни лишних движений, ни эмоций — приходится следить, чтоб не размазалось, не растеклось.

Через час я стояла около его квартиры, и у меня предательски тряслись руки. Он открыл мне дверь почти нагишом. Я покраснела и отвернулась. Это был шок. Я никогда не видела голых мужчин, разве что нарисованных в книжке. Но чтоб так...

— Я тут стираю! Ты заходи, не стесняйся! — весело сказал он.

В замешательстве я все также стояла, не двигаясь с места, стараясь не смотреть на него. Он это заметил.

— Да ладно, не боись. Я оденусь сейчас!

Робко сделала пару шагов вовнутрь квартиры. Длинный коридор, в антресоли вбит турник, две комнаты по бокам — закрыты, в третье видно кусок дивана и паркет, кухня слева.

— Проходи на кухню, садись! Я щас! — он скрылся в ванной.

Кухня из дерева, уголок из коричневой кожи, подоконник весь в цветах, на плите что-то варится. Я села на табуретку и стала рассматривать рисунок на бежевой плитке. Вскоре появился он в черных джинсах и светлой рубашке нараспашку.

— Ты чего меня стесняешься? Ты же теперь моя девушка!

— Я просто никогда... понимаешь...

— Что, серьезно — никогда? — он удивленно посмотрел на меня.

Я мотаю головой.

— Н-да! Сюрприз!

«Вот дура! — подумала тогда я. — Могла бы и притвориться! Зачем я ему нужна такая? Всё, теперь он точно не будет со мной встречаться!»

— Есть будешь?

— Не, я ела дома, спасибо!

— Слушай, брось стесняться! Ешь давай! — он положил мне в тарелку три большие карто-

фелины, на них сверху расплавленные кусочки сыра. — Фирменное блюдо: картошка с сыром. Больше все равно ничего нет, а в магазин идти лень.

Мы стали молча жевать.

— Ну че, куда пойдем? — вдруг спросил он.

Я пожала плечами.

В этот вечер мы пошли на дискотеку с его компанией. Было весело, ребята шутили. Один Колька был какой-то грустный, долго о чем-то разговаривал с Женей, а потом и вовсе ушел, не прощаясь.

Мы протанцевали все медляки вместе. Он проводил меня до квартиры и спросил, можно ли меня поцеловать.

— Нет!

— Почему?

— Я не умею! — честно призналась я и подумала, что это конец.

— Хочешь научу! — обрадовался он.

Я кивнула.

— Рот расслабь и приоткрой! — поучительно сказал Женька.

Я широко открыла рот и закрыла глаза.

Женя захихикал.

— Ну, что не так? — обиделась я.

Он поцеловал меня по-настоящему, по-взрослому. Но вначале мне показалось, что он слишком далеко залез языком. Нелепое ощущение: чужой язык во рту. Это случилось совсем не так, как я представляла.

Женя всегда целовался безумно нежно: наклонялся ко мне, дотрагивался рукой до шеи, тихонько приподнимал голову и жадно, будто пытаясь проглотить, целовал меня. А потом скользил руками вниз по спине и, когда доходил до талии, резко прижимал меня к себе. Легкая дрожь пробегала по всему телу, и я не помнила себя. Мы могли целоваться часами, ничего не замечая, не чувствуя ни обветренных губ, ни времени, которое летело с бешеной скоростью, мелькая цифрами в календаре. Он поднимал меня на руки и кружил по всей комнате, а у меня кружилась голова.

* * *

Я рассказала ему о себе почти всё. Он рассказал, что учится на юридическом факультете в МГУ на заочном. У него была золотая медаль в школе. Он всегда хорошо учился. Говорил, что хочет заработать много денег, открыть свою фирму, купить машину. А я спорила: разве деньги так важны? Женя считал, что в нашем мире без денег не выживешь. Мы тогда болтали ночи напролет.

Его родители получили квартиру в Москве и переехали туда, а эту оставили Женьке. О них он рассказывал мне совсем мало. Его отец, Анатолий Сергеевич, военный, поэтому они все время переезжали из города в город. Женя родился в Тольятти, когда ему было года три, Анатолия Сергеевича перевели в управление и они переехали в Мытищи, здесь жила его мама, Женина бабушка. Здесь же через десять лет родилась его сестра Люда. Я ее частенько видела во дворе, она дралась с мальчишками и была жутко вредной девчонкой. Его мама как-то приезжала, для своих лет она очень хорошо выглядела. Я приняла ее за девушку, и Женьке долго пришлось доказывать мне, что это его мама. Когда она увидела меня, сказала, что это черт-те что, впрочем, по ее словам, это соответствовало его кругу общения. Она кричала, что не за этим его вырастила, и все в том же духе. Она всю жизнь очень громко кричала по поводу и без, меня всегда удивляло, как Женя может сидеть и спокойно слушать, не обращая внимания. Когда она приезжала, он готовил ей еду, мыл посуду и убирался. Я спросила, почему он всегда всё сам делает, почему его мама ничего не делает.

— А у мамы маникюр! — вот и всё, что он мне ответил.

Он встречал меня из школы. Мы очень сблизились. Если у меня что-либо случалось, я бежала к нему. Он стал для меня убежищем от ада, что творился дома, ему я была нужна, его интересовали мои проблемы. Я почти перестала замечать окружающий мир, было все равно, что там творится. Он был очень ласков со мной. Я считала его самым близким и самым родным. Только он меня понимал. У нас даже сердца бились одинаково. Я писала у себя в дневнике, что люблю его безумно. В действительности, я тогда даже не знала, что такое любовь. Впрочем, и сейчас не возьмусь сказать точно. В то время мне легко давалось это слово, а когда на самом деле поняла, что люблю, — стало сложно.

Мы совсем не ссорились, не было повода. Он дарил мне цветы и подарки. Устраивал всякие сюрпризы.

Однажды днем, когда я мыла окна у себя в комнате, он крикнул с улицы:

— Выйди на балкон!

— Зачем?

— Ну выйди, увидишь!

Я вышла. Он отпустил красный шарик-сердечко, к которому был привязан плюшевый белый мишка, и сказал:

— Это тебе! Лови!

Я едва успела его схватить:

— А если бы я не поймала! — рассердилась я.

— Значит, улетел бы! — он пожал плечами.
— Спасибо!
— Я вечером зайду!

* * *

Это было самое счастливое время. Весна в самом разгаре. Мы каждый вечер гуляли или сидели у кого-нибудь дома. Пели под гитару разные песни. Как-то в мае Ким с Лешим как раз орали «Кино»:

Солдат шел по улице домой и увидел этих
ребят.
«Кто ваша мама, ребята?» — спросил у ребят
солдат.
«Мама — анархия, папа — стакан портвейна...»

Ко мне подошел Коля:
— Пойдем, пройдемся? Мне тебе что-то сказать надо!

Он принес большой букет сирени, самой разной. И откуда он столько взял? Мы давно с ним не разговаривали и не виделись, он пропал куда-то. Мы шли по песчаной дорожке, мимо медухи к ЦРБ, она находится справа от стадиона «Торпедо». Там — небольшой сквер с лавочками. Я вдыхала запах сирени — он молча шел рядом.

Больница была большая. Дикие яблони уже зацвели. Я вспомнила тетю Иру, она всегда собирала эти яблоки, варила из них варенье. Она была маминой подругой, из всех ее подруг алкоголичек самой доброй. Они познакомились на кладбище, когда мама хоронила своего очередного бой-френда, который помер от пьянки. Тетя Ира оказалась его родственницей. Они вместе ушли в запой по этому поводу. У нее была дочка, которую она очень любила, звала ее Лёлей (ее имя Оля). Оля ее ненавидела и забирала у нее все, что она зарабатывала. Последний раз она устроилась чистильщицей рыбы. Работать было тяжело, у нее все время болели руки. Когда Оля вышла замуж и ушла жить к мужу, тетя Ира бросила работу и окончательно спилась. А через месяц сгорела в собственной квартире, не потушила окурок и заснула. Пожар был страшный, дом очень старый, перекрытия деревянные. Мне и вправду было ее очень жаль.

— О чем ты думаешь? — Коля заметил, что я задумалась.

— Ни о чем! — не рассказывать же ему про тетю Иру.

Мы наконец-то добрели до лавочки и сели. Я выискивала в букете цветок с пятью лепестками, чтобы загадать желание. Коля по-прежнему молчал.

— Что ты сказать хотел?

Он замялся, очевидно не зная, с чего начать.

— У меня никого нет из близких, кроме вас с Женькой. Вы самые дорогие мне люди. Я никому никогда не рассказывал то, что рассказывал тебе.

— Коль, да что случилось-то? — перебила я.

— Я попрощаться хотел, вдруг не увидимся больше!

— Как это попрощаться?

От главного корпуса прямо к нам шли Филя с Сёмой.

— Я в армию ухожу! Повестка пришла!

Коля их не сразу заметил. Они подошли к нам.

— Здорово! — Филя пожал руку Коле.

Сёма сделал тоже самое.

— Ну че, уходишь? — спросил Филя.

Коля кивнул.

— На хрена? — возмутился Сёма. — Че те делать, б.., больше нечего?

— Я ему говорил, давай денег соберем — отмажем! А он уперся, как баран, пойду служить! — поддержал Филя.

— Да шел бы ты! — отмахнулся Коля.

— Не, я тя не понимаю, Колян! — не унимался Сёма.

— Да хорош уже! Отвали ты от него! Решил так решил! Че теперь?! Мы те шикарные проводы устроим, всем Техасом! — Филя крутил на руке толстую цепь.

— Слышь, пойдем! Нам еще к Толстому тащиться! — вспомнил Сёма.

— Лано, короче, вечером у Сашки!

Они ушли.

Мы посидели еще минут пять и тоже побрели к дому. Он думал о чём-то своем, а я просто не знала, что говорят в таких случаях.

У самой квартиры он попросил:

— Дай мне фотку на память!

Не люблю фотографироваться, получаюсь всегда по-дурацки, не нравлюсь себе. Отдала ему фотографию, на которой смеюсь, стою, прижавшись к двери. Меня фотографировал брат, она показалась мне самой удачной.

Мне стало ужасно грустно, я не хотела, чтобы Коля уезжал. Обняла его и заплакала. Было такое чувство, будто я потеряла, что-то драгоценное. Будто сейчас все изменится, а остановить это я никак не смогу. Это хуже всего, когда ощущаешь, что сделать ничего нельзя.

— Малыш, ты чего загрустила, а?! Подумаешь, армия! Ты чего?

— Не хочу, чтобы ты уезжал!

— Перестань, два года всего. Это ерунда!

Я заплакала, и он как-то по-особому прижал меня к себе. Так прижимают родных. Я знаю, что

ему было тяжело, но он никогда не показывал вида. Только по тоскливому взгляду его бледно-зеленых глаз можно было догадаться.

Проводы действительно вышли шикарными. Много народу и выпивки. По очереди все говорили тосты. Больше всего мне почему-то запомнился тост Филимона. Он встал с серьезным лицом и сказал:

— Было два друга. Ну, один влюбился в девушку. Ну, типа туда-сюда — шуры-муры. Решил на ней жениться. Пошел к родителям просить руки. Ну значит, приходит. Отец девушки говорит, если хочешь, чтоб я ее тебе отдал, то ты должен провести в ледяной пещере на горе три дня и три ночи прикованным. Ну, тот подумал, согласился. В пещере снег, лед, холодрыга. Приковали его. Первая ночь, ему холодно. Уже синий весь, замерз, чуть ли не до смерти. Раз, вдалеке около выхода из пещеры разгорелся гигантский костер — согрел его. Вторая ночь, снова ему холодно, снова прямо в последний момент костер разгорается, опять его согревает. Наступает третья ночь — то же самое. Из ниоткуда появился костер супергигантских размеров — согрел его. По истечении третьего дня пришел отец девушки, снял с него оковы. Все, типа, ты выдержал, давай к свадьбе готовиться. Тот на радостях бежит к другу. Прибегает к нему, ну, стучится — выходит мать парнишки. И говорит, что он умер. Он у нее естественно спрашивает: «Как? Из-за чего?» Она ему отвечает: «Когда ты в первую ночь в пещере был, он собрал весь хворост, который нашел вокруг пещеры, и развел костер, чтобы тебя согреть. Во вторую ночь он вынес из дома все, что горело, и снова разжег костер, чтобы тебя согреть. В третью ночь он не нашел ничего, что можно было жечь, чтобы тебя согреть, и поджег себя». Так выпьем же за настоящих друзей!

— Во блин ты загнул! — удивился Сёма.

Все чокнулись.

— Да лано, Колян, дембель не девушка — мимо не пройдет! — обнадежил Филя.

— О, наконец-то, родная зажигалка! Э, слышь, откуда она у тя? Неделю уже ищу! — обрадовался Филимон, глядя на закуривающего Сёму.

— У Наташки на кухне нашел!

— Угу, тихо спи...л и ушел, называется нашел!

— Так, тихо вы, черти, не жужжите! — сказал Ким. — Колька, раз уж ты идешь отдавать долг, который не занимал, желаю тебе, чтобы ты его побыстрее отдал. Если в пеленках не сдох, не сдохнешь и в портянках. У меня же брат служил на зоне, и ничё, жив-здоров, проблем не знает. Одним словом, служи, как наши деды.

Потом встал Сашка Козаков:

— Ща, пацаны, я реальный армейский тост вспомнил. Слушайте, короче, стихотворение:

Я пью за то, что не сбылось,
За запах девичьих волос,
За неотправленные письма,
За телеграмму «Замуж вышла»,
За суету внутри казармы,
За годы, что пропали даром,
За королеву черной масти,
За отпуска военной части,
За марш-бросок, глухие стоны
И за старшинские погоны,
Что упадут тебе на плечи,
Как звезды в этот теплый вечер!

— О, ты смотри, выучил! — удивился Сёма.

Тостов говорили еще много, шутили. Женя с Колей потом ушли и пили вдвоем.

Утром мы проводили его до военкомата. Он улыбнулся на прощание, как-то по-детски, больше он так не улыбался уже никогда. С тех пор прошло много лет, а я все еще помню эту улыбку — грустную, наивную. Если бы Коля знал, что ждет его там! Если бы знал!

* * *

Через неделю все вернулись к своим делам и забыли думать про Колю. Жизнь продолжалась и как никогда была полна красок и чудес. Мы все также бегали по дискотекам, собирались компаниями. Случались, конечно, мелкие драки, но кто придавал им значение.

Около «Индианы Джонс» стояли старые деревянные дома. В них жили люди, и они были не в восторге от такого соседства. Постоянные сборища пьяной молодежи, всякие стрелки, громкая музыка и прочее. Какой-то мужчина, дом которого был ближе всего, решил разобраться. Его забили ногами пятеро ребят. Он выжил, но остался инвалидом. Его жена потом кричала на нас, что мы нелюди, твари, сволочи...

Я видела только, как его увезли в больницу. И многого не знала. Но мне стало жутко от всего этого.

Я спросила Женьку:

— Что случилось?

— Да хрен какой-то начал на наших пацанов вырубаться. Сам нарвался, первый полез! Не х... выё...ся!

Мягко говоря, я была потрясена. Успокаивала себя тем, что Жени там не было.

Спустя два дня мы с Женькой попали под ливень. Пока добежали от Фили домой, промокли до нитки. Я люблю дождь, многие боятся про-

мокнуть, а я нет. В детстве мы с Кристиной все время танцевали под дождем босиком, прыгали и радовались, что идет дождь, пока бабушка не загоняла нас в дом. Кристина — это моя первая подружка, соседка по даче. Мы дружили очень близко, а потом мама увезла ее с собой в Америку. Я очень скучаю по ней. Не знаю, вспоминает ли она обо мне или забыла. Нам было всего по шесть лет, когда мы виделись последний раз. Поэтому, когда идет дождь, я всегда вспоминаю о ней.

В тот день дома у меня никого не оказалось, и ключей у меня тоже не было. Поэтому мы пошли к Жене. Он принес полотенце и попытался снять с меня майку. Я скрестила руки на груди и замотала головой.

— Одежду нужно снять! Она мокрая! — настаивал он.

Я отчаянно вцепилась в нее.

— Ты меня боишься?

Я замотала головой и покраснела, как помидор.

— Снимай, отдай мне, я повешу! Там на кровати чистая рубашка! — он отвернулся и вытянул руку, чтобы взять мокрую одежду.

С одной стороны, мне было страшно, и я стеснялась жутко, а с другой стороны, мне хотелось быть с ним по-настоящему. Хотя я и не знала, как это — по-настоящему.

Все вокруг говорили, что ему это нужно. А он сказал, что подождет. У него было много девушек. Они с презрением смотрели на меня, считали наши с ним отношения несерьезными. Ольга даже как-то пришла к нему, кричала, что он променял ее на какую-то малолетку:

— Ты ведь даже не спишь с ней!

Женя говорил тихо, поэтому плохо было слышно, я сидела в его комнате, пытаясь разобрать каждый звук. В итоге он ее выпроводил и вернулся ко мне. Я заплакала.

— Ты чего? — обнял меня.

— Почему ты со мной не спишь? Ты меня не любишь? — спросила я сквозь всхлипывания.

— Дурочка, я тебя очень люблю! Просто рано еще! — он вытирал мои слезы ладонью и гладил по щекам.

— Когда будет не рано? — рассердилась я

— Когда мы будем ем и же! — он всегда так говорил, и его никто не понимал. Все сразу спрашивали, что это значит. Только я знала — мужем и женой.

Я сняла одежду и прижалась к нему голым холодным телом. Он повернулся. Минут пять мы стояли, тесно обнявшись. Было слышно, как стучит его сердце быстро-быстро. Когда я насчитала шестьдесят ударов, он взял меня на руки, отнес на кровать и закутал в одеяло.

— Ты замерзла совсем. Я сейчас чай сделаю, — и ушел на кухню.

С того дня мы стали спать в одной кровати. Обнимались и засыпали. Он всегда был такой теплый, а я мерзну все время. Мне нравился его запах, он пах чем-то очень родным. Когда я была маленькой, моя мама пахла так же, или, по крайней мере, мне так казалось. Это, наверно, глупо звучит, но я успокаивалась и засыпала. Я часто оставалась у него ночевать.

Иногда он уезжал на футбол с ребятами, болеть за «Спартак». На обратной дороге они обычно ехали либо в трех последних вагонах, либо в первых, в Лосинке заходили болельщики ЦСКА, и начиналось месиво. Порой было непонятно, где свои, а где чужие; некоторых ребят задушили шарфами; с дребезгом вылетали стекла, полвагона — залито кровью. Самые маленькие пытались выпрыгивать на полном ходу или прятались под лавками. На следующей платформе все выходили с пробитыми головами.

Он не хотел, чтобы я его видела таким. И я ночевала дома. Дома было хуже. Помимо родителей, у меня еще «замечательные соседи». На втором этаже, под нами, постоянные скандалы. Машка пьет, а мать бьет ее за это и выгоняет из дома. Маша валяется в подъезде или на улице, один раз даже врезалась в продовольственную палатку. Впрочем, сейчас мало что изменилось, разве что хуже стало. Музыку врубает в три часа ночи и днями напролет. Включит и заснет.

Соседи сверху — сколько себя помню, постоянно стучат, пилят и ремонтируют. Казалось бы, уже тысячу раз сделали перепланировку: из четырех комнат — две и большую кухню; ванную с туалетом объединили. Что еще? Так нет, каждый день сверлят. Стены в дырочку? Я подозреваю, что именно этим они и занимаются. Если каждый день сверлить по одной дырке, то сколько дырок получится за двадцать лет?

* * *

Женя появился у меня через два дня с виноватым видом и в рваной куртке.

— Привет!

— Я соскучился! — он поцеловал меня.

— Куда ты пропал?

— Дела были.

Он наклонил голову и шрам на левой брови, тот самый, из детства, после драки с Илюхой, стал отчетливо заметен — тоненькая белая полосочка. Я провела по нему кончиком пальца, пытаясь разгладить его.

— Это я в детстве упал.

— Подрался.

— Откуда ты знаешь?

— Видела.

Он слегка сощурил глаза и усмехнулся.

Вечером, когда мы ложились спать, я случайно увидела все его синяки со стадиона, на руке был след от пореза, уже запекшийся.

— Господи!

— Да брось ты, это мелочи! Били и сильнее!

Я все еще встревоженно смотрела на него.

— Меня один раз шестеро били ногами. И ничего же, жив-здоров, а ты переживаешь.

— Как это? Когда?

— Да это давно было. Терпел же, только голову руками закрывал, чтоб не отбили. В жизни иногда надо терпеть. Думал, все, хана. Ан нет, сутки в крови провалялся, и нормально.

Я прислонилась к нему. Он тогда такой худенький был, мальчишка еще совсем. Даже борода еще не росла, так, пух какой-то светлый. Я рисовала что-то у него на коже, она у него была как будто загорелая, как песок на Черном море, а у меня белая-пребелая. Он ставил мою ножку на ладонь и удивлялся, какая она маленькая, почти с его ладонь, или сжимал мою ручку в своей. Я сворачивалась клубочком, а он ложился рядом и грел меня.

— Давай спать! — Женя выключил свет.

Мне всю ночь снились кошмары. Я молчала, хотя и переживала за него. Думала, что это со временем пройдет. Ведь тогда это считалось нормальным. Почти все мальчишки дрались.

* * *

День был прохладным, несмотря на летнее время года. Мы с Женькой шли из «кооператора» (это такой магазин, когда-то он был кооперативным, а теперь в нем продавалась всякая всячина: продукты и галантерея. Название давно сменилось, но местные все равно звали его так по привычке). Женя вытащил мне в автомате две игрушки, ежика и слоненка. И я все думала, отдать ли их Лизе, она собирала сорок игрушек, чтобы поменять на большого мишку, или оставить себе. Женька всегда их легко вытаскивал, везло. У меня скопилась уже целая куча мягких игрушек.

Около детской площадки в соседнем от нас дворе, возле шестого дома, в котором жили Козаковы, мы встретили Филимона с Сёмой, они сидели на каруселях и курили. Здесь были качели-лодочка, к которым, когда мы были маленькими, в качестве наказания ребята привязывали провинившихся и раскачивали их солнышком; а еще много скамеек со столами, на них играли в карты и пили, часто собирались всей кампанией; но больше всего мне нравились лавочки на цепочках, знаете, такие двойные, на них можно качаться. Я вообще любила этот двор, тут всегда было красиво и тихо. Особенно летом: березки изумрудно-зеленые и ветер шелестит в листьях, они подпрыгивают и будто переливаются, как шелковые. А под ногами клевер вперемешку с мягкой травой. Хоть босиком иди. Сейчас всего этого уже нет.

— Здорово! — они пожали друг другу руки.

— Че ты вчера не зашел-то?

— Да вчера прикол такой был! Прикинь, сидим мы с Илюхой около овощного, пиво пьем. (Овощной — это тоже магазин такой. В нем давно не продаются овощи, местные по старинке так называют. В данный момент там построили ночной клуб «Бамбура», но это не имеет отношения к делу. Потому что тогда там был только продуктовый магазин и музыкальная школа.) И тут мужик подходит, спрашивает, ну, типа, можно рядом сесть. Ну, нам че, садись. А он ствол из кармана достает и на Илюху наводит. Я такой думаю, блин, пиво жалко конечно, но че делать-то, бутылку отбил, и ему по чайнику. Короче, пистолет мы забрали. Прикинь, че за х...

— Куда ствол дели?

— Да я его Илюхе отдал. Он просил поиграться.

— Ну, и где он?

— Да, он прое... его уже. Я спрашивал.

— Ищите по-любому! Вечером зайдешь! — Женя хлопнул его по плечу.

Мы двинулись дальше.

— Жень, а что это был за мужик с пистолетом? Ты его знаешь? — осторожно спросила я.

— Не-а. Не бери в голову! — отмахнулся он.

Я задумалась и не заметила, что сзади едет машина прямо на меня.

— Тебе что, жить надоело! — Женя резко дернул меня с дороги, так что мы упали. Причем я — в самую лужу и каблук на босоножках сломала. Он донес меня до дома. Там, как ни странно, никого не было. Я бросилась в ванную — отмываться. Женя пошел на кухню.

Вода — ржавая и чуть теплая, хотя отключить должны только через неделю. У нас так часто бывает, то ржавая весь месяц идет, то зимой горячую отключают. А в третьем классе нас водили на экскурсию по водонапорной станции. Это вроде как местная достопримечательность — первый водопровод в Москве. И мы должны гордиться. Только чем? Станция давно обветшала и развалилась.

— Тань, выходи за меня замуж? — донеслось из кухни.

От неожиданности я поскользнулась и больно шлепнулась об ванну.

— Это понимать как да?– отозвался на звук Женька.

— Нет! — попыталась подняться я.

— Нет? — не унимался он.

— Да, нет, не в смысле нет, а в смысле — не шути так.

— Я серьезно! Подумай! Хорошо?

— Ага! — вылезаю и вытираюсь.

Как же он всегда умел выбирать время и место для подобных объяснений.

— Почему ты сейчас об этом спрашиваешь? — подхожу к нему и обнимаю его.

Он домывает посуду и оборачивается.

— Потому что хочу забрать тебя отсюда.

— И где мы будем жить?

— Пока у меня, а там решим.

— Не знаю. Я как-то не думала об этом.

— Тебе холодно? У тебя мурашки.

Пытается меня согреть, прислоняется к моей коже губами и выдувает теплый воздух. Мы идем в ванную, жмемся друг к другу, чтобы согреться, и целуемся, наивно. Я нарочно брызгаю его водой, он смешной, когда мокрый. Мне в тот момент хотелось схватить его крепко-крепко и никогда не отпускать.

Теплым вечером в середине июля ко мне зашла Анька и стала уговаривать меня пойти на дискотеку. Я ждала Женьку, он еще в обед ушел к Киму, и его все не было. Анька хныкала и причитала, что не хочет идти одна. И я в конце концов согласилась. Мы перешли через дорогу, прошли мимо заброшенной стройки и старых деревянных домов. Остановились и замерли. Сложно передать словами, что творилось возле «Индианы Джонс». Было непонятно. Мелькали руки, ноги, бейсбольные биты. Кто-то уже лежал, кто-то еще бил или пытался отбиться. Я выискивала глазами его, но разобрать что-либо было невозможно.

— Пойдем отсюда, скорее! — я прихватила Аньку за рукав.

— Давай посмотрим! — вырвалась она.

— Какое посмотрим! С ума сошла? Пойдем отсюда! — крикнула я.

Недалеко от нас упал парень, все лицо у него было испачкано кровью.

— Интересно! — продолжала упираться Аня.

— Сейчас тебе битой съездят — будет интересно! — я не хотела бросать здесь Аньку.

Из кустов рядом с нами вылезли Тёма (Артем Красильников — смелый, хорохористый парень) с Веталем.

— Тема, ты? — удивились мы в один голос.

— А вы че тут делаете? Мотайте отсюда побыстрому! Ща менты приедут!

Мы побежали по дорожке к дому, Анька все время оглядывалась.

Я прождала его до одиннадцати. Поднималась к нему каждые полчаса, слушала шорохи, выбегала на лестницу. Пыталась заснуть, но не вышло. Без света я боюсь, а со светом не могу. Утром его тоже не было. Искала по всем друзьям — бесполезно. И когда уже шла домой, увидела вдалеке знакомые черты. Я бежала быстро, а подошла тихо, уткнулась в его куртку.

Он сказал:

— Прости меня!

Я не знала, что ему ответить. Радость оттого, что он пришел, заглушила обиду.

Мы легли спать и проспали до глубокой ночи. Мне казалось, что всё прошло и главное, что теперь всё хорошо. Как говорит моя мама: «Всё хорошо, что хорошо кончается».

Временами я находила в его карманах: ножи, кастеты, шило (пожалуй, самое надежное оружие, если подойти к человеку сзади, например к танцующему на дискотеке, и резко воткнуть в него шило, он ничего не почувствует, кроме легкого укола, и продолжит танцевать, умрет от кровоизлияния), заточки из фильтра сигарет (они острее лезвия, разрезают даже шелковые шарфы, их обычно используют карманники). Думала, что все это ерунда. Мальчишки любят собирать всякую всячину. Настоящее оружие появилось позже, вернее, сначала у него появилась бейсбольная бита.

Я многого не знала. Не задавалась вопросом, откуда он берет деньги, на которые мы живем. Если бы я тогда об этом знала. Ведь началось все с обычного гоп-стопа (ограбления). Мы зависали целых четыре дня у Сёмы, а потом у них, видимо, кончились деньги, а душа требовала продолжения банкета. Они пошли к магазинчику возле моего дома, через дорогу, смотрели, кто что покупает. Мужчина в шляпе и пальто набрал больше всего еды и выпивки. Они, их было четверо: Сёма, Илюха, Ким и Женька, в кустах около дома дали ему по голове. Взяли только еду и выпивку, даже карманы не проверили. Мне это потом рассказывали. Говорили, что самое смешное было, когда Сёма вышел из этих кустов в шляпе и с пакетами. А потом завертелось, они почувствовали вкус легких денег. Как ни пытаюсь, язык не поворачивается назвать их бандитами, а это так и было. Я тогда про бандитов знала мало и представляла их иначе. Как-то к нам домой ворвался мужчина. Он задыхался, словно обежал бегом вокруг земли, видимо, стоять он уже не мог, поэтому полз. Сняв здоровенный золотой перстень с пальца, он умолял не выдавать его. Сказал, что за ним гонятся. Обе-

щал нам море денег, если мы его спрячем. Испугавшись за нас с бабушкой, брат отказался и выпихнул его за дверь. Мужчина заплакал, на вид ему было лет тридцать, а может, так казалось из-за его чрезмерно упитанной фигуры. На нем была кожаная куртка и небывалой толщины золотая цепь.

А еще моя мама одно время работала у бандитов бухгалтером в их фирме, о них я знаю еще меньше. Видела их пару раз, мне тогда было года четыре, поэтому, что я могу помнить. Пряталась за занавеской, когда здоровые, еле проходившие в дверь мужчины приезжали к нам домой. Вот и всё.

А Женя и его друзья для меня были обычными ребятами, мы же росли в одном дворе.

* * *

Колю из военкомата повезли в город Железнодорожный, там их распределяли по частям. В учебке все как положено — дедовщина, вместо еды плесневелая капуста с червями и тараканами, из душа тонкая струйка ледяной воды, ночной дозор с тридцатикилограммовым обмундированием, половина роты наркоманы. На «губе» по колено воды и нет даже нар. Так и простоял один раз трое суток. Ему отбили почки и сломали челюсть. Почки за то, что плохо изображал спутник. Это у сержантов такая забава, разбудить посреди ночи и заставить что-нибудь изображать для развлекухи. Челюсть за то, что вовремя не подшил воротник. Об этом он мне не писал и никогда не говорил, я знаю это от его друзей по учебке. Письмо от него пришло где-то через три недели после отъезда.

«Здравствуй, Танюша! Женьке тоже большой привет!

У меня все хорошо! Скучаю только сильно. Но с другой стороны, здесь тоже весело. Дедовщины у нас нет, зато есть уставщина, даже не знаю, что хуже. Хотя поначалу всем тяжело. Писать мне, кроме вас, больше некому, адреса ребят я не записал, так что напишите, если можете, черкну и им что-нибудь.

Сейчас пишу впопыхах, чтобы все успеть написать. Первое время, до присяги, писать вряд ли смогу. Мысли в кучу и все перемешалось, так что простите за бедлам.

Кстати, вы бы знали, какие у нас выходные, просто супер, в будни меньше устаешь, чем в субботу или воскресенье. Все выходные подметаем плац. Остальное терпимо. Самое противное — это искать сигареты на подпись, если „дед“ курит, на сигарете пишется, сколько до приказа об увольнении в запас. Женя, я думаю, ты более-менее в курсе, но для Танюшки поясняю, если ей интересно: запах — солдат до присяги; дух — после (первые 6—8 месяцев); слон — после прихода первого карантина (полгода); дед (черпак) — после прихода второго карантина (то есть год, 2-й карантин для дедов является „духами“, „черпаком“ считаются деды до начала стодневки, когда молодых переводят в роту); дембеля — те, кто отслужил полтора года и больше (им уже все по барабану). Теперь вы знаете всю армейскую иерархию. В караул мы будем ходить только через месяц-полтора, когда выучим все уставы, а их немало.

Да, после того, как попрощались, на душе стало пусто и это очень давило, с этим чувством хожу до сих пор. Но с каждым днем оно стихает, и служить становится легче. Главная проблема — это найти себе занятие. Я взял у одного парня устав и переписал. Пытаюсь выучить, так как потом времени не будет, а знать надо. Правда, учится с трудом, потому что все идет сплошным текстом и вдобавок слишком закручено, могли написать и попроще, ну и, конечно, извечная моя проблема — лень. Иногда получается с ней справляться; помогает то, что за незнание устава меня будут потом гонять так, что мало не покажется. С ностальгией справиться, как оказалось, гораздо сложнее, чем с ленью.

Не знаю, что еще написать, все просто не влезет, а половину все равно забуду.

Напишите, как там у вас дела. Адрес на конверте. Всем большущий привет! Всех помню!

Ваш друг Коля, Я».

В конце нарисовал розу, с лепестками и стеблем — красиво.

Больше он не писал.

— Почему Коля не пишет? — спросила я както у Женьки.

— Ну... Тут только два варианта возможно: либо ему там очень плохо, либо хорошо. Наиболее вероятно — первое.

Я помаялась с неделю, а потом это как-то отошло на второй план. К тому моменту они (Женя и его друзья) уже держали здесь всё (палатки, магазины, рынки, автосервисы, дискотеки, кафе — всё). Когда я вспоминаю это теперь, то многое начинаю понимать, сопоставлять какие-то факты. Почему тогда я не замечала таких очевидных вещей? На восемнадцатилетие Жене подарили новенькую черную BMW, мои капризы и желания выполнялись по мановению волшебной палочки, мы ездили по кафе и дискотекам, и я ни разу не видела, чтобы он платил по

счету, для нас все было бесплатно. Но и этого для них уже было мало, решили перебраться в Москву. Нашли небольшой автосалон. Устроили туда Братухина Лешку охранником, чтобы разведать обстановку. Салон этот держали какие-то «чурки», во всяком случае, мне рассказывали именно так.

Они стали владельцами этого салона, торговали машинами и воровали по-страшному, ведь именно таким способом у Жени появилась BMW и прочее, до этого у них была белая «девятка» с трехсотым номером. Парня, который ее водил, так и звали — Трёхсотка. Его настоящее имя мне не известно до сих пор.

Где-то через месяц пришли московские ребята. Сначала пропал Братан, просто ушел на работу и не вернулся. После его двухдневного отсутствия туда поехали Немец, Леший и Кузя. Их привязали за руки под потолок и били. Так они провисели три дня. Затем забеспокоились уже родители, написали заявления в милицию. Да и мы тоже с ума сходили. Я тогда не понимала, что происходит.

Женя засыпал меня розами, каждый день дарил по огромному букету, у меня вся комната была в розах — ставить было некуда и не во что. Целыми днями он где-то пропадал и ничего мне не говорил. Кроме как: «Ну ты же знаешь, у меня дела». Какие дела? Я не знала. Но и подумать, что было на самом деле, не могла. Я ему верила.

Вскоре их отпустили, но в милиции уже завели дело. Московские ребята взяли девчонок из этого автосалона и, как они говорят, «попрессовали» их немножко — повесили изнасилования на наших.

Это я знаю сейчас, а тогда я даже не знала, что и думать. Лиза постоянно твердила, что я встречаюсь с бандитом и убийцей, что пора уже открыть глаза. Я старалась ее не слушать, закрывала уши, уходила от нее. Я уже и сама не соображала ничего. Но от ее нотаций становилось только хуже. Один раз я разозлилась — накричала на нее, наговорила ей кучу всяких гадостей, обвинила ее в том, что она завидует и специально все это говорит.

Она ведь умудрилась влюбиться в Ильинского. А он к тому времени женился на Маринке, так как она забеременела. Он не хотел — родители заставили. По-моему, стало только хуже. Им сделали квартиру, но дома он почти не появлялся. Гулял направо и налево. Марина сидела дома и плакала. Сложно было найти девушку, не побывавшую в его постели. Девочки с Ярославки знали его в лицо. Он клеился ко всем, в том числе и ко мне. Я молчала, а тут по глупости ляпнула.

Лиза обиделась и ушла. А я осталась сидеть на скамейке с заплаканными глазами.

Пыталась поговорить с Женей, но он либо переводил тему, либо упрекал меня в недоверии, либо и вовсе начинал меня целовать и обнимать...

Я отгоняла от себя эти мысли и продолжала закрывать глаза. Дня через два он пришел радостный и сказал, что теперь у нас все будет хорошо. Они договорились с московскими, а наших отправили на Украину где-то на полгода. Постепенно всё как-то утихло. Я помирилась с Лизой, пыталась учиться. Определилась с будущей профессией (дизайнер-модельер) и готовилась поступать. Отец договорился со своим другом, художником, чтобы он со мной позанимался.

Каждое воскресенье я ездила рисовать. Приходила ранним утром, когда все, кроме моего учителя, спали. Сначала было тяжело, многое не получалось, занятия казались ужасной пыткой. Нужно было искать какие-то точки пересечения, оси, углы наклона. Мне многое давалось не сразу: я долго мучилась над эллипсами — они решительно не выходили; не понимала, как в обыденном предмете можно видеть нечто необыкновенное.

Но потом как-то постепенно начала понимать, вглядываться в предметы и замечать их скрытые свойства. Тарелки были уже не просто тарелками, я смотрела на них как бы сквозь, каждая линия была загадочной. Я стала видеть этот мир по-другому.

Живопись — самое настоящее волшебство. Из бликов и цвета получается нечто живое и настоящее, частичка этого мира. И не важно, что это — яблоко или тарелка. Оно уже живет своей жизнью, дышит. Мне нравилось рисовать. Я радовалась, что у меня получается.

Женя по-прежнему встречал меня. Весной мы бегали по кинотеатрам и Макдоналдсам. Он ждал меня на морозе четыре часа, шутил постоянно. Ему нравилось меня удивлять. Но вероятнее всего, он просто выпендривался, как все мальчишки. Хотел показать, какой он взрослый, самостоятельный, необыкновенный и смелый. И когда открывал мне дверь голышом. И когда уселся в переходе играть на гитаре. Заработал рублей сто. Я краснела, бледнела и, озираясь по сторонам, пыталась его поднять. Сейчас и вспоминать-то смешно. Странно, но тогда, без денег, было свободнее и легче.

А осенью он уже приезжал за мной на BMW, возил по дорогим ресторанам и магазинам. Только общались мы гораздо реже.

На мой день рождения он преподнес мне самый необычный подарок. Уже выпал первый

снег, я проснулась и смотрела на снежинки, они крутились, прилипали к стеклу и исчезали. Дышала на стекло и писала: *«Женя, Женя, Женечка...»*

Он позвонил в дверь, хотя у него были ключи. Я даже подумала, что это не он. А открыв, растерялась. Женя стоял на пороге, улыбался и что-то прятал за спиной.

— С днем рождения тебя, моя маленькая!

Вошел и протянул мне букет одуванчиков. Это мои самые любимые цветы. Может, кому-то это покажется смешным, а мне они дороже всяких роз и эдельвейсов. Потому что они живые, настоящие, искренние, словно маленькие огоньки или искорки. Посмотришь на них, и сразу тепло становится. Для меня до сих пор загадка: где он их взял в декабре?

Я даже запрыгала от радости, я всегда подпрыгиваю, когда радуюсь. Такого мне никто не дарил, это самый незабываемый подарок.

А он поцеловал тихонько в губы и прошептал на ушко:

— Давай поженимся?

И положил мне на ладонь бархатную коробочку с колечком. Я посмотрела ему в глаза. И он понял, что это безоговорочное да. Иногда взглядом можно сказать все без слов.

Он лепил мне снеговиков; писал записки; сочинял песни и играл их на гитаре; кормил вареньем, когда я болела.

Нет. Ничего, конечно, не изменилось. Он по-прежнему исчезал, а я старалась не спрашивать и не думать.

* * *

В Техасе какой-то особенный, свой менталитет, отличный от других. Здесь все друга за друга горой и жизнь за друга отдадут без сожаления. Здесь все как на ладони, пять минут от дома до дома, все друг друга знают. И никогда никто не предаст, друзья помогут, что бы ни случилось, придут и сделают все возможное и невозможное. Конечно, все это распространялось только на своих. Чужих сюда не принимали, к ним относились чрезмерно настороженно, иногда даже жестоко. Их не жалели. Долго они не задерживались.

Если кто-то из наших ребят что-либо пообещал, он это сделает. Раз обещал — значит, сделает. Даже если сильно пьян.

У них включается «автопилот», и из любого места они находят дорогу домой. При этом делают все, что запланировали или пообещали. И только после всего этого спокойно ложатся спать.

Может, из-за того, что им приходилось каждый день отзваниваться. С утра они объезжали все объекты, а вечером докладывали. Сначала Женя докладывал, потом докладывали ему, а он кому-то выше. А когда этот кто-то был застрелен на площади напротив кинотеатра «Родина» (был такой на новых Мытищах), чеку вытащить не успел, так и лежал с гранатой в руке, Женя стал на его место.

Техас всегда считался самым сильным после Солнцева и Люберец. И когда на вопрос: «Откуда вы?» — мы говорили, что из Техаса, на нас смотрели со страхом и уважением.

* * *

Новый год пролетел в сплошном угаре. Пили бесчисленно много. Как вообще возможно было столько пить? Видимо, организм был молодой и крепкий. Почти все курили траву: план, коноплю (многие сами дома под лампой выращивали), гашиш, еще сушеную кожуру от бананов (не саму кожуру, конечно, а тонкую прослойку между кожурой и бананом). Если в обычный йогурт добавить миндаль (имеется в виду приправа в пакетиках), то получится нечто вроде наркотика — Сёма любил такие штуки делать.

Поторговав месяц этим всем, можно было заработать на машину и на квартиру. Коробок плана стоил рублей сто. А Сёма приносил где-то по стакану, так что после фасовки у него еще один лишний коробок оставался. Он отдавал его ребятам или брал себе.

Героин тогда не был так популярен. Стоил дорого, сто — двести баксов за дозу (минимальная доза — одна десятая грамма), теперь — тысячу рублей.

Весь шестой дом на него подсел, началось все с травы, дальше — больше.

Их пытались лечить. Отправляли аж за Урал. Но все бесполезно. Они возвращались, собирались вместе, и все начиналось заново.

Леший вернулся из Украины и спутался с какой-то сутенёршей. Родители, естественно, были против. Он ушел к ней, спал там с пятью девчонками. Там же его и посадили на иглу. Долго слезал, а вскоре взялся за старое.

Марина родила дочку. Илюха даже не пришел на нее посмотреть. Появился только через два дня со стеклянными глазами. Единственный способ хоть как-то справится с ломкой — пить водку. Ребята отпаивали его где-то неделю. Просто вливали в него водку литрами или оставляли ему ящик и уходили. Но на ноги поставили.

Сашке Козакову повезло гораздо меньше. Он умер от передозировки во сне, заснул и не про-

снулся. Шприц вытащить не успел, так и лежал. На похоронах было очень много народу. Сережка стоял, опустив голову, словно это он сам умер, а не брат. Каково это — смотреть на свою копию в гробу. Он поддерживал под руку мать, измученную, худую женщину. Она выглядела, как старуха, хотя ей не было и сорока. Мне стало плохо еще в церкви. Женя отвез меня домой.

У меня все не укладывалось в голове, как же это может быть. Я же видела его вчера. Они с Кимом пили пиво около подъезда. Это же Сашка, улыбчивый темноволосый парень с ямочкой на подбородке. Который играл с нами в прятки и в казаки, катал нас на велосипеде, а весной дарил цветы. Они их рвали возле пятиэтажек, бабки ругались ужасно, а догнать не могли. Каждый дарил своей девушке, и только Сашка дарил всем.

Женя принес мне валерьянку, а себе налил водки. Я плакала. Он гладил меня по голове, пытаясь успокоить. Думал, я так не замечу, что у него самого слезы на глазах.

* * *

В дверь позвонили. Я сразу поняла, что это кто-то чужой. Свои звонят один раз, тихонько, или так заходят, дверь почти всегда открыта. А этот резко нажал на звонок три раза, от неожиданности я вздрогнула.

На пороге стоял молодой парень, одетый в камуфляжную одежду. Он смотрел исподлобья, и оттого казалось, что он хмурится. Тонкие губы были плотно сжаты, как будто его что-то сильно раздосадовало или обидело. Быстро оглядев меня острым, разрезающим насквозь взглядом, спросил:

— Ты — Таня?

— Да! — опешила я.

Из кухни вышел Женя.

— Разговор есть! — быстро сказал парень и, не разуваясь, прошел на кухню.

Женя сказал, что это к нему, и пошел вслед за ним.

Домой мне идти не хотелось. Мы с Лизой побродили по Техасу, замерзли и вернулись в мой подъезд. Сидели на ступеньках и, сколько бы ни старались не говорить про Сашку, у нас не получалось. В подъезде было темно и безумно тихо.

Тишину нарушили чьи-то резкие громкие шаги.

Это тот незнакомый парень спускался по лестнице, а увидев нас, остановился.

Замер, что-то напряженно обдумывая. Потом достал из кармана какие-то бумажные обрывки и высыпал их мне в руки.

— Это тебе от Коли. — И добавил виновато: — Порвалось немножко.

Я спохватилась.

— Так ты от Коли? Как он там? — крикнула я вдогонку.

Но парня уже не было.

Лиза достала из кармана зажигалку (она в это время как раз начала покуривать. Я этого не одобряла, но она меня не слушала. Обижалась, когда я заводила эту тему. И со временем я перестала, решила ее не трогать), и мы в темноте подъезда принялись складывать кусочки опаленной бумаги. Надо сказать, у Коли всегда был непонятный почерк, а в том письме и вовсе буквы длинными загогулинами плыли в разные стороны, да и значительных частей похоже не хватало. Переместившись ко мне в квартиру и разложив письмо под лампой, нам удалось разобрать только вот что:

«Привет тебе из ада...! Я в Чечне. Пока жив... думаю... ненадолго.

Все... перевернулось кверху дном... Если кто тебе скажет, что война кончилась... дай ему в морду... Это бред...

Вчера на зачистке... тридцать наших. Все со мной в учебке были, никого не осталось. Витьке Тюхину раздробило голову... Сереге Аверченко оторвало руки и ноги... Чичи режут головы нашим пацанам и кидают их нам потом. Даже трупы режут на части... Среди них Сашка Кисейников. ...был парень, добрый. Английский знал, рисовал здорово... Наколол мне скорпиона (имеется в виду наколка в виде ползущего вверх скорпиона — означает, что участвовал в боевых действиях и был в горячей точке; ползущий вниз — был, но не участвовал; такое кололи почти всем)... *Жаль, что ты его не знала.*

У нас хоть учебка была, а сейчас к нам шлют призывников, перепуганное до смерти мясо для чичей, сто процентный груз двести. Мы тоже таким мясом были, но мы хоть автомат в руках держать умели. Дурачье, конечно, в учебке прикалывались постоянно, часового как-то стреманули. Парень, что до него шел, в кусты залег. А второй идет, смотрит — из кустов автомат торчит. Со страху едва не уложил его. Было бы два трупа. Когда на тебя ствол наводят — это не хрена не смешно.

...плохо соображаю, вернее, не соображаю уже ни черта. Здесь почему-то особенно хочется жить... А иногда наоборот думаю, скорей бы. Когда... как взрываются... кровавым фейерверком. Внутри... разбивается на части, или рвется что ли, кажется, что от... что-то оторвали. И умом понимаю... не смотреть, а стою как вкопанный и смотрю. ...слезы текут... беззвучно и

вою как-то по-собачьи. Сам удивляюсь, как остался жив...

...смутные... Отчетливо только огонь минометов, очередь и разрыв. ...когда быстро не успеваешь испугаться. ...понимаешь, что все еще жив, появляется... обреченность. ...начинаешь стрелять, как ненормальный, что есть мочи до самого конца... Бежишь... убиваешь... опять бежишь. Под ногами не земля, а кровавое месиво и трупы ребят, раздробленные укатанные танками...

Пишу тебе, потому что... от этого легче. ...и если меня зароют в братскую могилу или и вовсе... Ты, наверно, и сама догадалась, но я на всякий случай скажу... Я сохранил твою фотку, она хоть обгорела немного, но в общем цела. Прячу ее в надежном месте.

Знаю, что зря пишу... Дурак... прости... Надеюсь, что ты никогда не прочтешь это письмо. А еще больше надеюсь, что прочтешь. Соскучился жутко... Как там дома? Как там наши? Как Женька? Что вообще в мире делается? Я все время... это единственное, что здесь спасает. ...О тебе, о наших. О... беззаботном...

У... ...есть матери и любимые, у меня ты. ... хватаюсь за это, как за последнюю гранату. Разговариваю с тобой, чтобы совсем не свихнуться.

...верю, что ты меня слышишь. Или у меня все-таки съехала крыша?..»

Лиза встревоженно посмотрела на меня, так, как будто это я виновата во всем. У меня слезы навернулись на глаза и больно сдавило где-то внутри.

Входная дверь в квартиру открылась.

— Таааань! — позвал кто-то.

Мы сгребли куски письма под диван. В комнате появился пьяный Женя.

— О, а чей-то вы на полу? С настольной лампой?

— Кольцо искали, я потеряла. Нашли уже. — Затараторила Лиза, вертя в руке кольцо.

Он встал в дверях, скрестив руки на груди, и грустно улыбнулся. В черной майке и джинсах Женя казался еще выше и худее. Мне нравилось прижиматься к его груди и животу. У него тогда был пресс с кубиками. В доме, в котором жил Ким (это рядом с моей школой и одновременно напротив детского сада, я же говорила, что тут все близко), в подвале сделали качалку. Они ходили туда заниматься. Когда девчонки восхищенно говорили: «О, ты качаешься!» — он всегда шутил в ответ: «Ага, на качелях».

В тот момент мне показалось, что он такой родной, такой хороший, мой и больше ничей. И я кинулась его обнимать, а он меня целовать.

— Пойдем спать! — вспомнив про Лизу, сказала я.

С утра спросила его про парня, что вчера приходил. Он не сказал мне правду, не хотел расстраивать. Мы же Сашку только вчера похоронили.

Я тоже промолчала про Колю. До сих пор не знаю, почему он попал туда, может, из-за того, что сирота, а может, сам вызвался. Я все время думала, как он там. По телевизору говорили, что боевые действия прекращены. А у меня всего-то и было, что обрывки от его письма. Я складывала его снова и снова, пытаясь разобрать еще хоть что-нибудь или додумать. И каждый раз, когда в телевизоре показывали репортаж из Чечни, прилипала к экрану, надеясь увидеть Колю. Женя это заметил.

— А если Коля попал в Чечню? — вдруг выпалила я.

Он не ответил и вышел из комнаты.

Так вот мы и молчали. Институт он забросил. Деньги у нас были, я уже не спрашивала, откуда. Мы стали готовиться к свадьбе.

* * *

Если вы меня спросите, а где же была все это время моя мама, мне сложно будет ответить на этот вопрос. Как будто у меня из памяти это стерли. Я видела ее не так часто. Пить она стала меньше и вроде начала готовить. Съездила с дядей Сашей (это мой отчим) на юг. Они частенько пропадали на даче. И вообще, из этого периода я помню разве что многочисленные ссоры. Она ненавидела Женю. Как только его не называла. А отчим все твердил, что Женя на меня плохо влияет, что я стала агрессивной, постоянно огрызаюсь и уверена в собственной безнаказанности.

Отец и вовсе был не в курсе. И по своему обыкновению каждый раз читал мне нравоучения. Это делать надо, этого не надо. Вдалбливал мне знания по математике и прочее. Если я это делала — он покупал мне, что я хотела, или давал денег. Каждый раз после такого общения я ревела. Это было хуже пытки. И потому, когда у нас с Женей появились деньги, я просто перестала к нему ездить.

Одним словом, я решила не оповещать их об этом, а поставить перед фактом уже потом. А то бы началось такое, подумать страшно.

Женины родители тоже меня недолюбливали да и всерьез не воспринимали. Когда Женя им сообщил о нашей свадьбе, они были где-то за границей. Не помню, где. Кажется, у Люды было плохо с сердцем, поэтому ее увезли лечиться.

Они, конечно, поругали его, повозмущались. Однако посчитали лишним возвращаться из-за того, что Жене просто вздумалось жениться. Не могу сказать, что нас это особенно огорчило.

Все было почти чудесно, пока я случайно не услышала один разговор. Мы с Лизой стояли у стекляшки (это магазин в доме), с другой стороны курили Филимон с Сёмой. Они нас не заметили.

— Че с Веталем-то? — позевывая, спросил Сема.

— Че-че, ниче, кони двинул! Не, ну, он оборзел совсем! Бабла назадолжал! Пацаны ему и вломили. На Волковское (кладбище возле Мытищ) отвезли, заставили рыть могилу. Он, короче: «Вы че, пацаны, я вам все отдам». Ну, они, типа, ладно, живи пока. Отмутузили его и бросили. А он прикинь, короче, обдолбанный такой весь, покоцанный пошел в ментуру заяву на наших накатал. Мы такое ха-ха ловили, конкретное просто. Ну, менты тоже постебались малец над ним и отослали его. Короче, довыеживался. Пацаны его и зарыли живьем.

Сёма засмеялся.

— Да ладно?! Во, блин, вы там коры мочите! Знал бы — с вами поехал!

Они докурили, и нам пришлось уйти, иначе бы нас заметили. Веталь торговал наркотой и сам подсел на нее, поэтому и был много должен. Он пропал дня три назад. Тимофеева его уже обыскалась, они же встречались.

У меня на душе творилось что-то невообразимое, мне все представлялся Веталь в могиле, как его засыпают землей живого. И крутилась какая-то глупая мысль: вдруг он там еще живой.

— Почему, скажи мне почему? Зачем тебе это всё? — закричала я с порога.

— Что всё? — удивился Женька, вскочивший с дивана от моего резкого вторжения.

— Хватит, надоело! Сколько можно! Я не могу больше!

— Сядь, успокойся! — он силой усадил меня на диван.

— Так нельзя! Что же ты делаешь?!

Я дрожала.

— Да, а ты, может, знаешь, как по-другому?

— Но ведь тебя тоже убьют!

— Зато сразу пулю в голову и все! Хотя, может, и помучают, конечно, но не долго. Я не боюсь смерти! Мы все когда-нибудь умрем!

— Что ты такое говоришь? Что?

— А что? Лучше горбатиться на ММЗ или на РКК за копейки, да? Как все!

— Женя!

— Что Женя? Восемнадцать лет уже Женя! Пусть недолго, зато по-человечески. Нормально. Я хочу, чтобы мы с тобой пожили хорошо.

— А дальше что?

— Да мне по фигу, насрать на все!

— И на меня тоже? На меня тебе тоже наплевать?

У меня началась истерика.

— Да нет! Нет, конечно! — опомнился он и стал прижимать меня к себе.

Я еще громче зарыдала.

— Все-все, успокойся. Прости меня, глупостей наговорил, успокойся.

Неделю мы почти не разговаривали. Сначала я твердо решила, что уйду от него. Но вскоре поняла, что не смогу. Он просил прощения. Нежно брал за руку, клал голову мне на колени. Смотрел виновато, как котенок, пытаясь разжалобить.

Мы помирились. Он со мной превращался в ребенка. С ребятами Женя был совсем не такой. Всё началось сначала.

* * *

Это было Прощеное воскресенье. Последний день Масленицы (проводы, прощание, прощеный день). На улице мерзко, как бывает в начале марта. Полурастаявший снег, в воздухе пахло весной, ветер обвивал в кокон, залезал под одежду, руки зябли. Мы вышли из подъезда. Женя о чем-то спорил с каким-то мужчиной. Не знаю, кто это был. Когда я пришла (мы собирались с Женькой в Москву), они уже разговаривали. Я подумала, что мы никуда не поедем, но Женька сказал, что все решено. Было заметно, что разговор его разозлил, он нервничал. Около подъезда они остановились. Женя оглянулся на меня, заметил, как я кукожусь от холода:

— Иди, садись, сейчас поедем!

Он достал из кармана брелок, нажал на нем маленькую кнопочку, и черная BMW пронзительно взвизгнула. Я шла по мокрому асфальту в новых голубых джинсах. Внезапно что-то громко и быстро хлопнуло, будто резкий удар хлыста на арене цирка. Женя что-то крикнул мне. Я не смогла разобрать что, не успела обернуться. Он отчаянно дернулся ко мне. Слишком быстро...

Слишком быстро все произошло. Даже не поняла, как Женя мгновенно прижал меня к земле, я выставила вперед ладони и ободрала колено. От боли резко хлынули слезы. Меня, наверное, больше всего испугал не сам выстрел, а Женя, внезапно упавший.

Он подхватил меня на руки, понес к машине, ободранными руками я закрывала кровоточащее колено. Женя посадил меня на сиденье.

— Где больно? Где? — никак не понимал он.

А я силилась сказать и не могла. Как будто голос пропал, язык не слушался. Вместо этого выходили сдавленные всхлипы.

Женя испугался. Гораздо сильнее от неизвестности. Он не знал, что делать.

— Джинсы! Женя, джинсы! — заплакала я, открывая разбитое колено.

— Что джинсы?

— Новые! — продолжала всхлипывать я.

— Я тебе тысячу таких куплю! Не плачь!

Мне обработали рану — ничего серьезного. Так, небольшой рубец остался на память об этом дне.

А потом я спала. Долго. Мне казалось, что бесконечно долго. И снился мне один и тот же длинный сон. Будто я иду по высоким сугробам, а вокруг поле бескрайнее. Ноги увязают в снегу, проваливаюсь по колено. Встаю и снова иду и снова падаю и все никак не дойду.

Он приходил, подолгу сидел со мной рядом. Если бы кто-нибудь спросил, сколько времени я так провалялась или что делал или говорил Женя в этот момент, я бы не ответила. Не помню совсем. Мои воспоминания об этом что разрезанная магнитофонная пленка.

Он, конечно, просил прощения. Говорил, что это вышло случайно и его не касалось никоим образом. Стреляли в того мужчину, что был с ним.

— Ну сама подумай, если бы в меня, то сто процентов бы насмерть. Заказ есть заказ. Это только в американских боевиках живут с десятью дырками в голове и ничего. Ну поверь ты мне!

Я не отвечала, устало смотрела на него.

— Тебя посадят! — угрюмо заметила я.

— Не посадят!

Он монотонно пережевывал спичку во рту.

— Почему ты так уверен?

— Потому что менты тоже жить хотят, им тоже деньги нужны. Жаль, конечно, на зоне лучше, чем тут. Целый дом со всеми удобствами, бутерброды с черной икрой, шампунь (он так шампанское называл), культурная программа, каждую неделю автобус с девочками — на выбор любую. Там сделают и привезут все, что угодно, были бы деньги. И вправду, сесть, что ли?

— Идиот!

— Ладно, не буду. Скучно там!

Я ушла от него. Решила, что навсегда. Он запил. Пропадал где-то ночами. Я держалась лишь внешне. Каждую ночь сидела у окна, ждала, когда он приедет. Я безошибочно могла узнать его машину по цвету фар, по звуку колес, по писку сигнализации. И тогда я выключала свет, чтобы он, не дай бог, меня не заметил, и закутывалась в свое детское одеяло.

Он пытался со мной помириться, я сопротивлялась из последних сил. Когда он понял, что все бесполезно, то совсем распустился. Загулял. Приводил домой черт-те кого. Как-то я зашла к нему за тетрадкой, дверь была открыта, куча знакомых и незнакомых мне людей (все постоянно тусовались у него дома), музыка на полную катушку, ящики со спиртным возле двери, закуска на кухне. Основное веселье у них начиналось как раз вечером, собирались ребята привозили выпивку, девочек, травку. Квартира превратилась в притон, мусор никто не выносил, убираться естественно никто даже не пытался. Соседи тихо их ненавидели, но сделать ничего не могли.

Женя лежал на диване и судя по его реакции на мой приход (он принял меня за галлюцинацию) уже порядком накурился всякой дряни. Пьяная девица в блестящей красной юбке и лифчике попыталась вскарабкаться на него, но он ее скинул. Она повторила попытку, он ответил уже более грубо:

— Че, не поняла? Пошла отсюда!

Девушка выругалась и ушла.

Он сплюнул:

— Только и могут что ноги раздвигать!

Закурил сигарету и уставился на меня, как бы соображая, глюк я или нет.

Я взяла тетрадку, вышла на лестничную площадку и еле слышно заплакала. Вечером следующего дня мы сидели с Кузей и грызли семечки. Женя подъехал прямо к самому подъезду, почему-то не вышел из машины и не выключил фары. Кузя открыл дверь. Женя вывалился на асфальт. Было невероятно, как он доехал такой пьяный. Пару раз его вырвало, пока мы донесли его до квартиры.

На следующий вечер опять пьяный он пришел ко мне, встал на колени. Просил вернуться; говорил, что я единственное, что у него есть; плакал.

Дошло до того, что он пьяный спокойно ходил по улице со спортивной сумкой, из которой торчал автомат Калашникова, или вовсе без сумки, прямо так.

Сёма рассказывал, что он даже пытался сброситься с китайки. Его спас какой-то мужик, которого он потом за это избил.

После этого он пропал на целую неделю. Я волновалась. Никто ничего не говорил. Не выдержала, поднялась к Кузе на девятый. Дверь была открыта. Кузя разговаривал по телефону, стоял спиной ко мне. Подслушивать я не собиралась, просто отвлекать не хотела.

— Мы в ЦРБ, в экстренной хирургии лежим. Мне операцию только что сделали. Слышь, принеси че-нить пожрать, жутко хочется. Ты это,

токо матери не говори! — донесся из трубки голос Фили.

— С Женяем че?

— Да полная ж... У него животяра прострелен. Операцию сделали, он в реанимации щас. Херово, в общем. Короче, давай быстрее, а то я тут сдохну с голоду.

Я не выдержала и выхватила трубку, но Филя ее уже положил. Кузя виновато посмотрел на меня и опустил глаза.

— Где они?

— В экстренной хирургии, на четвертом. Филя в третьей палате, Женя в реанимации.

— Я пойду туда!

— Надо еды собрать!

— Я сама отнесу!

— Я с тобой.

* * *

Что произошло на самом деле, я узнала только теперь. Они избили в магазине парня, деньги забрали, документы — пьяные были. Оказалось, что этот парень из московской братвы.

Они тогда торговали квартирами. Выселяли алкашей, делали шикарный ремонт и продавали за бешеные бабки. В одной из таких квартир они и были в тот вечер втроем (Женя, Филя и Немец). Как их нашли — до сих пор непонятно. Немца сразу насмерть. Женю с Филей не стали добивать.

Отделение экстренной хирургии находится в главном корпусе. До это я ходила в ЦРБ только анализы сдавать по направлению из детской поликлиники. По области все до восемнадцати лет в детской. Детская поликлиника тихая маленькая. Возможно, поэтому она не кажется страшной, а ЦРБ — большая, со множеством коридоров и этажей.

Филя сидел в коридоре у окна и курил, рядом стояли костыли. Кузя пошел узнавать про Женю. Я протянула ему пакет с едой.

— Спасибо! — обрадовался он и тут же начал разворачивать.

— Что случилось?

— Да фигня, сквозное в ногу. Артерию задела, но до кости не дошла. До свадьбы заживет. Тут, кстати, такие медсестры — супер просто. Решил, как поправлюсь, точно женюсь. Мне вставать по идее нельзя, а я вот договорился, прискакал, — он указал на костыли.

— Я про Женю спрашиваю!

— А! — огорчился Филя. — Ну, его вчера прооперировали. Щас в коме, УЗИ ему сделали, анализы взяли.

Пришел Кузя.

— Узнал что-нибудь?

— Ничего нового. В коме. Ему сделали лапароскопию. Надо ждать результаты анализов.

— Я пойду к нему.

— К нему не пускают. Он в реанимации. Пошли домой, завтра придем.

— Нет. Я останусь.

— Тут все равно делать больше нечего.

— Я не уйду! — уперлась я.

— Ну, сиди тогда. Я пошел.

— Э, стоп! Меня до палаты донеси! — встрепенулся Филя.

Не помню уже, что я говорила, как упросила, чтобы мне разрешили остаться. Сидела в полутемном коридоре. Плакала, молилась, как умела. Обещала все что угодно, лишь бы жив. Все бы отдала. Мне казалось, что земля уходит из-под ног. Наверно, только теряя кого-то, начинаешь понимать, насколько дорог этот человек. Забываешь все обиды. Всю ночь я вслушивалась, пытаясь услышать хотя бы звук, хоть что-нибудь. А передо мной была только белая ободранная дверь, за которой без сознания лежал он.

Утром пришел Кузя.

— Что, все сидишь?

Я кивнула затекшей головой.

— Марш домой! Вся зеленая уже! Сама так заболеешь!

— Нет, я не уйду!

Кузя почти силой оттащил меня домой, заставил что-то поесть. Желудок требовал еды, а есть совсем не хотелось.

Женя очнулся вечером. Через час его уже перевели в палату. В палате, кроме него, лежало еще человек пять. Он был такой бледный, говорил с трудом. Я сидела, пока он не заснул.

Каждый день приходила к нему после школы. Через две недели ему сняли швы. Остался шрам полукругом прямо над пупком. Он обещал мне, что все будет по-другому, сказал, что изменится. Я поняла одно: мне все равно, главное, чтобы он был рядом, чтобы живой. И больше мне ничего было не нужно.

Разрешение родителей на брак я написала сама. Это было не сложно. Моя мама бухгалтер, и мне часто приходилось расписываться за других (тех, кто с ней работал), всех же не оббежишь, чтобы они расписались. А ее подпись вообще легкая, сто раз уже за нее расписывалась.

По закону нас никогда бы не расписали, на тот момент мне было пятнадцать, а ему восемнадцать. Но Женька сказал, что все уладил. Деньги, оказалось, многое могут. Свадьба была назначена на пятнадцатое июня.

Я объездила, наверно, все магазины — платья, которое я хотела, нигде не было. Поэтому мне

шили его в ателье на новых Мытищах, там работала знакомая Тимофеевой. Пышное, с корсетом, рукава три четверти и фата, волшебная, не длинная и не короткая, с маленькой диадемой и жемчужинами. Мне ужасно нравилось кружиться в этом платье. Такой меня как-то и увидел Женька. Он искал свой мобильник, набирал номер и слушал, где звенит. Звенело за диваном в той комнате, где как раз я мерила платье. Он зашел, хотя я кричала, чтобы не заходил.

— Не смотрю я, не смотрю! — он зажмурил глаза.

А когда выходил, увидел мельком и остановился.

— Какая же ты красивая!

— Женя! Ты же обещал не смотреть! Тебе нельзя меня до свадьбы видеть! Примета такая! — разозлилась я.

— А я и не видел. Ерунда все эти приметы.

Я расстроилась, но потом забыла об этом.

* * *

Через неделю приехал Коля. Вернее, это уже был не он. С потухшими глазами и обожженной щекой. Незнакомый мужчина, с жестким, как камень, лицом. Если бы я не знала, сколько ему на самом деле лет, подумала бы, что не меньше тридцати. Когда он только появился, я хотела броситься к нему и обнять, но что-то в нем отталкивало, будто невидимый барьер был между нами. Коля стоял на лестнице напротив меня, и взгляд у него был четкий, почти неподвижный, с немым укором. Словно сама смерть смотрела на меня его глазами, в них не было ни капли страха. Он потерял это чувство там, так же как и другие человеческие чувства и желания умерли в нем навсегда. На запястье была наколота группа крови и резус.

— Привет! — наконец-то выдавил из себя он.

— Привет! — пропищала я и опустила глаза.

Лифт остановился на нашем этаже и оттуда вышел Сёма.

— О, Колян, здорово! На свадьбу приехал? Как служится?

Быстро пожал ему руку.

— Нормально. Че за свадьба?

— Так ты не в курсе, что ли?

— Нет.

— Эти ненормальные женятся, — Сёма указал на меня.

Вспомнив, зачем пришел, повернулся ко мне.

— Я те кольца привез. Три часа там убил. На, меряй! — недовольно пробурчал он.

Дело в том, что в последний момент мое кольцо пришлось подгонять, оно мне было велико. Палец почему-то стал тоньше на целый размер, был шестнадцатый, а стал пятнадцатый.

— Женитесь? — переспросил с недоверием Коля и закурил.

Я кивнула, стараясь не встретиться с ним взглядом. Он помолчал немного, помял губами сигарету и спросил:

— Женька дома?

— Да.

Коля быстро зашагал вверх по лестнице.

— Ты мерить будешь или как? — рассердился Сёма.

Я померила, не глядя. Сердце сжалось, и по телу пробежали мурашки.

* * *

Женя с Колей сидели в большой комнате, на столе две бутылки водки и баклажка пива, возле двери — три пустые. Я была за стенкой, вроде как домашку по русскому делала, и невольно слышала их разговор.

— Давай к нам! Не х... тебе там делать! — Женя был уже сильно пьян.

— Нет! Не могу! Пацаны там мои!

— Какие пацаны? Кому ты рассказываешь? Вся рота на том свете, никого не осталось! Кстати, давай за них, пусть земля им будет пухом!

Они снова выпили.

— Здесь пацаны тоже воюют. Токо им за это деньги платят. А вы за что гибнете? За бесплатный цинк, что ли?

Коля молчал.

— За родину? Так ей на вас глубоко насрать! — Женька уже разошелся.

Коля по-прежнему молчал.

— Чтобы вернуться? Так это уладим, не вопрос. Ты токо скажи.

— Или, может, за то, чтобы другие на вас бабки делали? За че? Ты скажи, а то я че-то не х... не понимаю!

— И не поймешь!

— Не, ну ты объясни! Вот вернешься ты и че, куда дальше? Либо в менты заделаешься, либо к нам.

— Я нормально хочу, по-людски! Я этой дряни там нагляделся!

— Нормально? Думаешь, здесь нормально будет? Да здесь ни хрена не будет! Хочешь жить по-нормальному, тада ствол в руки — и вперед.

— Это не нормально! Я не хочу так! Мы не за это горели! Если бы ты видел, как пацаны умирали, ты бы понял! За ребят, за Сашку, за тех, кто щас там кишки собирает! За них я дерусь и буду драться!

— Забей, возвращайся, будешь с нами!

— С вами? Своих же мочить? Да не в жисть! Зачем убивать, мало крови, что ли?

— Смерть везде, вокруг! Какая разница — смертью больше, смертью меньше! Один хрен все там будем! Днем раньше, днем позже!

— А кто тебе дал право решать чужие жизни?

— Эти уроды недостойны дышать! Здесь тесно вместе!

— Кем ты себя возомнил?

— Никем я себя не возомнил! Они не признают никаких понятий, живут по беспределу! У них нет нечего святого!

— А у тебя-то что святого?

— Я это все для нее делаю. Чтобы мы пожили по-человечески. На остальных мне плевать. За это я всех убью и всех продам.

...Послышался грохот, звон битого стекла. Когда я вошла, Коля стоял возле стола, Женя лежал на полу, прикрывая разбитый нос, из которого текла кровь.

— А я думал, что хуже этих тварей никого нет...

Коля оделся и вышел.

Я хотела поднять Женю, но он оттолкнул меня и пошел в ванную.

Где-то через час, спускаясь к себе, я наткнулась на Колю. Он сидел на ступеньках и курил.

— Знаешь, я там все мечтал вернуться, увидеть тебя хотел, все сюда рвался. Мы все мечтали, что вернемся, что заживем. А приехал, брожу как неприкаянный. Оказывается, если у тебя нет денег, ты слабак; не отмазался от армии — дурак; сам пошел на войну — полный дебил. Я думал, друзья меня ждут! Ждали — дождались! Они меня не понимают, я не понимаю их. Каждый на своей волне. Ты прости, если чего не так. Я хотел, чтобы ты счастлива была.

— А я счастлива!

— Вижу!

Он встал и медленно начал спускаться.

— Коля! — окликнула я.

— Не боись, башку себе автоматом сносить не буду!

Так мы и расстались.

* * *

— Ты не прав! Так нельзя!

— Ты и понятия не имеешь об этом! — резко ответил Женя.

— Он же твой друг!

— Был когда-то!

— Он тебе ничего не сделал!

— Ты кого любишь, его или меня?

— Зря ты так!

* * *

Мне было жалко Колю, я злилась на Женю. На следующий день спросила у Фили, когда он уезжает. Он сказал, что сегодня поезд с Павелецкого вокзала в четыре часа. Уговорила Филимона довезти меня до вокзала, бежала. Мне казалось, я должна поговорить с Колей. Зачем? Что я собиралась ему сказать? Теперь не знаю. Тогда мне казалось, что многое.

Я опоздала на пять минут. Поезд ушел. Каких-то пять минут, а оказалось — целая жизнь. Почему все получилось так? Меня душила обида непонятно на кого. Я села на мокрую от дождя землю и заплакала. Кто-то поднял меня и спросил все ли в порядке. Я не ответила, не смогла, пошла к машине.

Филимон докурил и посмотрел на меня.

— Не успела.

— Я в курсе! Вот! Этот дуралей тебе просил передать!

Филимон протянул мне алюминиевый крест на черном шнурке. Обычный с виду крест, его Коле дал монах, когда он жил при монастыре. Коля считал, что он особенный и помогает ему.

Женя молчал, даже в глаза мне не смотрел. Он был совсем не тем парнем, в которого я влюбилась. Он поправился, зарос щетиной и поменял свои взгляды на жизнь. Но все это было уже совсем не важно. Я любила его таким, и больше меня ничего не интересовало. Думаю, в глубине души он знал, что не прав. Знал, что так нельзя. Но не мог иначе. И он очень уважал Колю, отдал бы жизнь за него, если надо. Жалел, что не пошел в Чечню вместо него. Говорил, что считает эту войну бессмыслицей. На самом деле он не пошел, потому что встретил меня, потому что у него была компания, друзья.

Накануне свадьбы с утра он был у меня.

— Я тут отъеду ненадолго.

— Куда это еще?

— Я скоро. У меня подарок для тебя есть!

— Какой?

— Вечером отдам.

— Нет, так не честно. Скажи сейчас! Цветы?

— Нет, холодно.

— Украшения какие-нибудь?

— Нет.

— Мягкая игрушка, что ли?

— Нет.

— Ну, тогда котенок?

— Еще не хватало! Нет.

— Ну что?

— Вечером узнаешь! Всё.

— Ну Женя, нехороший ты!

Он ушел. На самом деле Женя купил две путевки в Грецию, как я и хотела. Так и не отдал их мне, я потом нашла их в ящике стола.

Девчонки подбили меня устроить девичник. Мы смотрели американские комедии, ели пироги и пили коктейли. Обсуждали, честно говоря, всякую ерунду, но было весело — шутили. Я прождала Женю до глубокой ночи — его не было. Временами я проваливалась в сон. Проснулась от того, что услышала голоса в коридоре.

— Ты скажешь?

— Нет, я не могу. Сам говори!

— Может, не говорить?

— Все равно узнает.

— Что говорить?

— Скажи, что разбился.

— Зачем?

— Ну, не правду же говорить.

— Думаешь, не догадается?!

Сердце бешено заколотилось, я вскочила с дивана. В коридоре стояли Филимон с Кузей. Надежда, что это приснилось, медленно растаяла.

Увидев меня, они испугались. Я уже не стала ждать, пока они скажут, спросила сама:

— Что с Женей?

— ...

Они молчали в оцепенении.

— Что? Говорите же!

— ...Прости, так вышло! Понимаешь, он... его больше нет! — еле-еле пробормотал Кузя.

Мир рухнул в одну секунду. Грудь сдавило. Сердце будто бы остановилось. Слезы сами собой потекли из глаз. Вокруг всё поплыло. С минуту я стояла в каком-то ступоре. А потом неожиданно бросилась к окну. Кузя удержал меня. Они напичкали меня снотворным, и я отключилась.

* * *

Гроб был закрытый. Мне так и не дали на него посмотреть. Похороны я помню плохо. Кидалась к нему в могилу, меня держали, я вырывалась. Я хотела умереть вместе с ним, хотела, чтобы меня зарыли живьем, лишь бы с ним. И сейчас бывают моменты, когда мне хочется к нему, лечь с ним рядом. Я до сих пор чувствую себя виноватой в том, что не умерла вместе с ним. Я не могла без него жить, он был всем для меня.

Он снился мне или это было наяву. Садился на кровать, она не приминалась, смотрел на меня и молчал. И такая тоска сжимала изнутри, разъедала всю душу. Умоляла его, чтобы он забрал меня с собой. Он молчал и таял, как тень. Сначала я даже злилась, кричала. Он же обещал мне, что мы всегда будем вместе, что он никогда меня не бросит, всегда будет рядом.

Последующий месяц я почти не помню. Говорят, что я совсем сошла с ума. Положила все наши фотографии, его вещи, все, что он мне дарил, мое платье на середину комнаты и подожгла. И себя хотела сжечь. Потом Лиза с Кузей стали пристегивать меня к батарее наручниками. Я отключилась от всего этого мира. Меня словно не было. Я перестала разговаривать и есть. Мне ничего не хотелось, всё было безразлично. С большим трудом меня поставили на ноги. Спасибо Кузе с Лизой.

Я вернулась к жизни, но я никогда не смогу забыть о нем, никогда не перестану его любить. Может быть, я встречу другого, может, выйду когда-нибудь замуж, рожу детей — он все равно останется в моем сердце. Он снился мне недавно. Стоял по пояс в озере и звал меня к себе. А я говорила, что купаться еще холодно, вода ледяная. Или бывает мне снится, что я с ним разговариваю как ни в чем не бывало. Обнимаю его, мы решаем, куда нам поехать, а потом вспоминаю, что он умер, и он исчезает, растворяется в воздухе.

Его больше нет, а я все живу. Я опять столкнулась с реальностью, от которой он меня так тщательно оберегал. Не думала, что после этого как-то можно жить дальше. Это чудовищно, когда дорогой тебе человек лежит в сырой земле, и от него остался только холм да крест.

* * *

Коля погиб в Чечне четырнадцатого июня при выполнении боевого задания. Сгорел заживо. Никаких наград он так и не получил. Ему сказали, что зачистки, которые они производили чуть ли не каждый день, — это не война. Что война якобы закончилась. Коля — сирота, никаких родственников у него не было, государству он и подавно не нужен. Похоронили его в Дагестане на горе, помянули хорошим словом, спиртом и автоматной очередью. Когда-нибудь я съезжу туда, найду это место и скажу ему все, что не успела. Я знаю, он меня услышит и простит. Я верю в это.

Всех наших ребят перестреляли в конце июля. Сначала говорили, что королёвская братва. Но это неправда, их перебили менты. Всего лишь за то, что они перестали с ними делиться и вовсе обнаглели. В живых остался только Сережка. И это действительно чудо. Четыре пули — вокруг сердца, а он выжил. Он долго скры-

вался, не знаю, где он теперь. Слышала, что вроде все у него хорошо, семья, дети.

Те, кого там не было, продолжают жить так же. Теперь только называются они иначе — бизнесмены. Вежливее стали, культурнее, семьями обзавелись. За любое неверное слово пристрелить могут без базара. Оружие уже не так популярно, в последнее время появилась мода ездить на разборки с двумя битами: одна деревянная, другая железная. Они водят дружбу с московской братвой. До сих пор вся эта гопкомпания держит мытищинский рынок на Ярославке, торговый центр и пару палаток. Но это уже совсем другая история.

У Ильинского осталась дочь Катя. Она его совсем не помнит и называет папой нового мужа мамы.

Наташка остригла волосы и работает теперь в продуктовом магазине.

Поздняков вышел из тюрьмы. А через полгода снова сел. Стащил у какого-то парня мобильный телефон. После зоны мало кто может вернуться к нормальной жизни.

Толстый уже совсем не толстый. В армии здорово похудел. Видела его недавно в маршрутке. Сначала даже не узнала, так сильно он изменился.

Женины родители продали квартиру. Мне говорили, что его мама отравилась. Я думала, что это сплетни. А весной пришла на кладбище и увидела рядом с Жениной новую могилу.

Всё кануло куда-то в необъятную бездну. Распалось, рассыпалось на мелкие частички. На улице больше не бренчит Семина гитара, не слышен Женин голос. Нынешняя молодежь предпочитает компьютеры и осваивает просторы Интернета. Может, оно и правильно.

Я живу всё там же, и из окна по-прежнему видна моя береза. Наш пыльный двор теперь загородил новый дом. Нет больше тарзанки, которую смастерил Сашка, как нет и самого Сашки.

А напротив моего дома втиснули детский сад. Правда, очередь туда уже расписана на десять лет вперед. Какими будут наши дети? Иногда я думаю, почему у меня нет от него ребенка. Он был бы похож на него, был бы рядом, и я любила бы его, как Женьку. Понимаю, глупо все это. Сама еще ребенок.

«Индиану Джонс» перекрасили и переделали, она утратила популярность, но все еще работает. На месте детской музыкальной школы и овощного магазина соорудили ночной клуб «Бамбура», теперь все тусят там.

Техас все тот же, почти ничуть не изменился. Только дома слегка ссутулились, да и мы вроде наконец-то выросли.

Из наших почти никого не осталось. Только воспоминания. Да и они постепенно уходят, как-то стираются со временем на пыльных фотографиях. Скоро семь лет как Жени не стало, кажется, что жутко много, а на самом деле всего каких-то семь лет. Четырнадцатого июня я поеду на кладбище, принесу ему цветы. И буду говорить с ним долго-долго, расскажу ему обо всем.

А потом мы с Саней пройдем по всему кладбищу. Посидим у могил наших ребят, помолчим. Потому что нечего сказать.

Мне больно за них, мне больно за всех, кто погиб в Чечне, мне больно за тех, кто еще не погиб, мне больно за нас.

Их не вернуть, они не плохие и не хорошие, их просто нет в этом мире.

Мы выросли в Техасе, мы верили в чудеса, и мы хотели немножко счастья.

Алексей Рудевич

Родился в Иркутске (11.01.1985). Пять лет прожил в Монголии, в русском поселке Дорнод. В пять лет с родителями вернулся в Иркутск. После школы поступил в Иркутский Государственный университет на филологический факультет. Учился там три курса, после чего поступил в Литературный институт (семинар Е. Б. Рейна). Больше десяти лет занимался парусным спортом, был чемпионом области в классе «Кадет», участвовал в крейсерских регатах, путешествовал на яхте по Байкалу. Занимался кикбоксингом, несколько лет посвятил айкидо. Пишет стихи и прозу. Публикаций немного (относится к ним довольно скептически). Свою публикацию хотел бы посвятить своей безвременно ушедшей классной руководительнице, замечательному учителю и просто хорошему человеку Тишиной Раисе Васильевне, которой обязан очень многим.

✿ ✿ ✿

ЗАНАВЕСЬ ВСЕ окна. Выключи свет.
Не надо музыки. Просто посиди в темноте.
Вспомни всех, кому говорил сегодня «привет»,
И подумай о том, близки ли тебе все те,
Кого встретил сегодня, кому улыбался
и с кем шутил.
Кому строил глазки и кому ты плевался вслед.
Вспомни всех, кого ненавидишь, кого простил,
Будь то это даже твой вечно пьяный сосед...

Твой сосед, что за стенкой всю ночь гудит,
Запивает дешевую водку сырой водой,
Балагурит, кричит, до обеда спит,
Спит один, без жены — он расстался с женой.

Вспомни брата, отца и родную мать,
Которых не видел уж третий год,
Уезжал — обещал звонить, навещать...
Хоть бы хны! Закопался, как в землю крот.

И сидишь в норе, только дни бегут
И летит душа мотыльком на свет...
«Мама, мамочка, это я, привет!» —
Номер занят... или мамы на свете нет.

Всё одно: опоздал, упустил, проспал,
Невесёлый расклад, как в плохом кино,
Ты в стоп-кадре, как в глине тяжелой встрял,
И не светит тебе ни одно окно.

А сосед, как назло, всё одно поёт,
Набухался — и ну голосить, как чёрт,
Про трамвай, что уже никогда не придёт,
И про всех, кого дома никто не ждёт.

А на улице гулко гудят провода,
А на улице ночь и прохожих нет.
Только в небе мерцает твоя звезда,
Обещая надежду на новый свет.

Значит, будет утро, сосед уснёт,
Чтобы снова встать и шары залить,
Будет новой жизни исходный счёт,
Можно будет снова пытаться жить.

✿ ✿ ✿

СРЫВАЛАСЬ жизнь, как голос у подростка,
Как стебелёк, как камень, как звезда,
Срывалась просто так — обыденно и плоско,
Срывалась... и летела в никуда.

Чем дальше в лес, тем искушённей души,
Чем глубже в сон, тем ближе до рассвета,
Язык немеет, остаётся — слушать
И ждать — неочевидного ответа.

О том, как жизнь, срываясь и плутая
В лесу, во сне всё что-то ищет, чует,
Но не находит... и, как льдинка, тает,
Сама себя нещадно четвертует.

На чувства, мысли, на слова, на звуки
Зачем-то делит всё, ревниво разделяет,
И терпит, сносит неземные муки,
И — этой мукой — в вечность прорастает.

✿ ✿ ✿

Я НАЧАЛ ЖИТЬ. И принялся кричать,
Орать, визжать, ногами дрыгать
Из-за того, что трудно передать,
О чём не прочитаешь в мудрых книгах.

Я начал жить. Я начал умирать.
И каждый раз при наступленье ночи
Я продолжаю с болью понимать,
Что стала жизнь на целый день короче.

Но что-то там, но что-то там — внутри
Растёт и расцветает постоянно,
С приходом ночи, с лучиком зари,
И это что-то остаётся безымянным.

И это всё, что будет после нас,
И это всё, что было до рожденья,
Что помогает жить в тяжелый час
И почему растут стихотворенья.

✿ ✿ ✿

ХОТЯ, ЕСЛИ подумать, всегда есть выход,
И каждый вдох таит в себе выдох.
Пора перестать покупать одежду навырост.
Роста уже не будет. Один лишь выхлоп.
Роста уже не будет. Сними с косяка линейку.
Буксиру не хватит соляры стать кораблем линейным.
Всё-то мы знаем, но каждый мечту лелеет,
Пусть в глубине души, но каждый — такое племя.

Такое вот племя людей. Венцов (венцов ли?) творенья,
С надеждой глядящих вперед (насколько хватает зренья),
Но, будь ты хоть гением, прачкою или царем,
Взгляд всё равно упирается в окоём.

Вот так и живем, а потом уходим в рассвет,
А может — в закат, но разницы в принципе нет,
Разница есть только здесь, только здесь и сейчас,
А после — играем не мы. Играют нас.

✿ ✿ ✿

ПОЕЗД МЧИТСЯ из точки «И» в точку «М».
В поезде я. Сижу и ем
Лапшу «Доширак» и смотрю в окно.
И поскольку ночь — за окном темно.

На верхней — грозно храпит сосед,
Напротив дама — тридцати с лишним лет
Упорно читает Донцову, как будто ей
Экзамен сдавать летней сессией.

Иркутск всё дальше. В Иркутске ты.
Пытаясь уйти от своей пустоты.
Вернее, от пустоты меня рядом с собой,
Занимаешься всякою ерундой.

А я методично жую лапшу.
И себя никогда, никогда не прощу,
Что всё и дальше и дальше моё окно,
И поскольку разлука — за окном темно.

❀ ❀ ❀

ПУСТЬ сердце в груди в двери к Богу стучится,
Но разум страшится услышать ответ,
Что в миг, когда смертная дверь отворится,
Окажется вдруг — что Хозяина нет.

❀ ❀ ❀

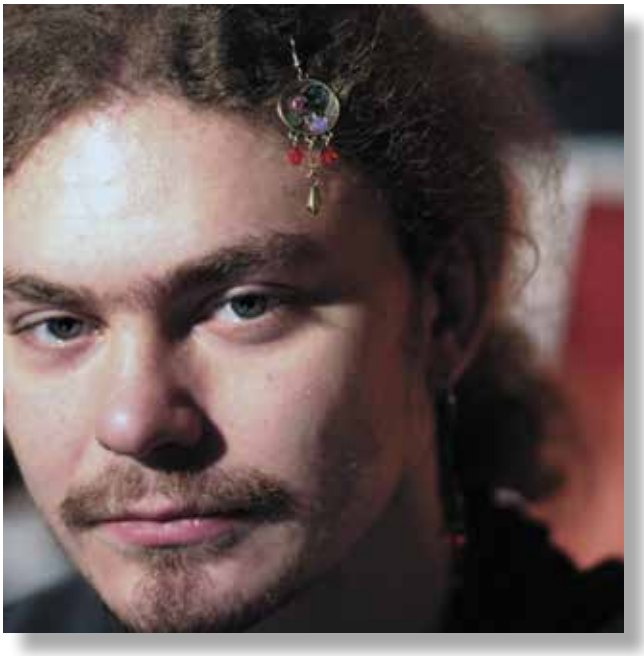
ШАГ ВПЕРЕД — шаг в будущее или шаг
в пространство?
Право, тут можно и растеряться,
Если, конечно, это не шаг под едущий поезд,
Это уже не шаг, а взлет, на нём обрывается
повесть
Жизни, дошедшей до точки кипения ртути.
Всуе не стоит стенать о последней минуте,
Но без повода никто не шагнет с перрона
И не ринется в пропасть с отвесного склона.

Значит — всегда есть причина и есть начало,
Но вряд ли оно там, когда мать на руках качала.
Тогда — все невинны, чисты, как ластик,
Младенцы — почти Христы. Младенцы —
мудрее страсти,
Сжигающей жизнь, как капля съедает железо.
Разрушение — разве что в искусстве полезно,
Но вопрос в таланте. Талант — от Бога,
Хирургия бессильна в случае с ухом Ван Гога.

Что значит — шагать в ногу со временем?
Может это — об Анне Карениной?
Её случай — хронический в прямом смысле.
В нём Хронос ломает пространство и числа.

Больше не будет шагов в пространство.
Суть конца — постоянство.

Артем Гончаренко



Родился на Украине, в Донецкой области, в 1987 году. Отец — военнослужащий, мать — учительница английского языка. Двенадцать лет жил на севере в заполярной военной базе Островной (Мурманская область). Потом семья переехала в Дмитров. В настоящее время живет в Москве. Работает в театре Анатолия Васильева «Школа драматического искусства».

Причал судьбы

Повесть

Моя художница

МОЯ ХУДОЖНИЦА живет со мной уже два месяца. Она очень тиха и аккуратна. Много разговаривать мне с ней не приходилось. Когда она рисует, она неразговорчива. Я стою рядом с ней и говорю:

— Вера, ты опять угадала! Ты молодец.

Она поворачивается ко мне и улыбается. Есть в этой улыбке что-то коварное.

— Это то, что нужно, — добавляю я, желая услышать хоть пару слов в ответ. Но она молчит.

Уже два месяца мы вместе. Но мы не любовники. При очередной нашей встрече она попросила жилища. Удивительно то, что именно на этом свидании я хотел предложить ей жить у меня. Я охотно согласился, и мы поняли, что для нашего дела нам надо жить вместе.

Я не требую от нее соблюдать порядок в комнате, мыть посуду или подметать пол. Я не заставляю ее готовить еду. Все происходит само собой. Когда Вера голодна, она может приготовить сама. Может поесть то, что приготовил я. С первых дней совместной жизни я сказал ей, чтобы она чувствовала себя совершенно свободно. Я позволил ей разместиться как угодно. Ничто не должно отвлекать нас от дела.

Вера расставила свои баночки с краской, кисточки, карандаши, листы с холстами, мисочки с водой, палитры по всей комнате. В одном углу она хранит наброски. В противоположном углу — неоконченные картины.

Моя художница пишет каждый день. С самого первого дня, как поселилась у меня. Я стою за ее спиной, смотрю на холст. Слежу за каждым движением ее кисти. За каждой черточкой. За каждым мазком. Смотрю, как она окунает кисть в миску с водой. Как протирает ее. Я созерцаю создание картины от грунтовки холста до последнего штриха. Изучаю готовую работу и в очередной раз повторяю произнесенные не один раз слова:

— Вера, ты молодец! Ты опять угадала!

Она, как всегда, поворачивается ко мне и смотрит, коварно улыбаясь.

Вера любит слушать истории. Я рассказываю ей их каждый день. Моей художнице нужны мои рассказы. А мне — ее картины. Раньше одной истории ей хватало на пару дней. Порой даже на неделю. Теперь она нуждается в них ежедневно. В этом мой долг перед ней — постоянно что-то рассказывать. Она расплачивается

со мной своими картинами. Об этом мы договорились с того момента, как решили жить вместе.

Мы познакомились в переходе.

— Почем вот эта? — спросил я, указав на холст.

— Триста, — ответила она сухо и устало.

— Давай, — протянул деньги, — похоже на Островной, — сказал сам себе. Она услышала.

— Правда похоже?! — удивилась на весь переход.

Рисунок полузатонувшего причала напомнил мне о прошлом.

— Да, я видел такие же на Севере.

— Ты жил на Севере?

— Да. Ты знаешь такой городок — Островной?

— Знаю, — сказала она. — Меня зовут Вера. То есть я думаю, что знаю.

— ?

— Мои родители там жили. Так странно. Я никогда его не видела. Мне никто про него не рассказывал. Я фантазировала. И — похоже.

Мы поговорили еще несколько минут. Я опаздывал на работу. Договорились о встрече. Ушел. Через день встретились. После — через неделю. Встречались четыре с половиной недели. Разговаривали обо всем вокруг, узнавали друг друга. О себе говорили меньше. Все это время меня умиляло, как она начинает беседу.

В книжном магазине-кафе «ПирОГИ»:

— Привет, — говорю я.

— Привет, — она садится напротив.

— Что будешь? — спрашиваю. Листаю меню.

— Мясной пирог и пиво с клюквой, — говорит она подошедшему официанту.

Я заказываю березовый сок. Смотрит на меня. Пятисекундная пауза.

— Мой папа начал пить, когда мы переехали с Севера в Питер, — во взгляде пустота, — я переезда не помню. Маленькая была. Он почти спился через пять лет. Так быстро. Мама его выгнала. Через семь лет нашла нового.

Все это время она не выпускает сумочку из рук. Держит ее на коленях.

— Мама говорит — из-за переезда начал пить.

Я смотрю и улыбаюсь. Молчу. Она кладет сумку в ноги. Наклоняется ко мне и шепчет:

— Я так хочу узнать, как там, на Севере. Там папа не пил. Я у мамы спрашивала, она не хочет рассказывать. Говорит — не помню. А мне интересно. Как хорошо, что мы встретились.

Официант приносит заказ.

— Мне тоже иногда очень хочется увидеть еще раз те места, — говорю и выпиваю сок.

После этой встречи увиделись через неделю.

Качели около какого-то ресторана. Останкино.

— Привет, — говорю я. Она садится рядом.

— Я, когда из дома сбежала, вспомнила уже в Москве, что забыла пастели. Здесь дороже. Привет. Прости.

— Накопи, — говорю я.

— Да, надо, — отвечает. Щелкает костяшкой пальца: — Мне негде жить. У тебя можно?

Ответил не сразу:

— Можно.

— Ты мне расскажешь про Север? — спрашивает она.

Я улыбаюсь.

— Да. Расскажу. А с тебя картины по моим рассказам.

— Я за этим и прошу, — лукаво улыбается.

Мы стали жить вместе. Я рассказывал ей про север. И про другое тоже. Она писала картины. Успех ее работы во многом зависел от качества рассказанной мною истории. Мы стали нуждаться друг в друге. Она писала, я смотрел и вспоминал еще больше. Я смотрел на картину и чувствовал свой собственный рассказ еще сильнее. Иногда Вера останавливала мое повествование и уточняла цвет.

Моя художница очень старательная. Она рисует до тех пор, пока не добьется нужного результата. Я не жалею, что приютил ее. Она стала для меня смыслом. Мы привыкли друг к другу. Я возвращаюсь домой и вижу ее сидящей за работой. В комнате тихо. Иногда я стою на пороге. Не смею войти. Мне страшно нарушить воздух творчества в комнате.

Спустя два месяца совместной жизни я выяснил, что моя художница имеет немало страхов. Она о них неохотно рассказывает. Маленькими порциями и очень редко.

— Есть некоторые люди, которых я боюсь, — говорит она шепотом. Словно нас могут подслушать.

— Кто? — я.

— Тебе они неизвестны. — Пауза. — Но они в Москве. Я боюсь их встретить. — Пауза. — Я боюсь, где бы ни находилась. Только когда рисую, мне спокойно.

Почему Вера боится, я не знал. Да и существуют ли они. Мне иногда казалось, что большой город пугает ее, и она ищет мою защиту, придумывая неизвестных людей.

— Вот в детстве я чувствовала себя такой сильной, — рассказывает Вера, — чувствовала огромную любовь, какую-то чистоту. Я не боялась ничего. Помню даже, мальчишки, соседи по двору, не смогли прыгнуть на стройке с кры-

ши на крышу. А я смогла. Я собралась духом и прыгнула. — Улыбается. Долгая пауза: — А теперь многого боюсь.

— Не надо бояться, — говорю я, — отвлечешься от работы. Ты ведь не для страха живешь.

Улыбка Веры становится уверенней. За ее страхом прячется доброта. Она всегда желает удачи, когда я ухожу. Вот, например, Вера рисует несколько часов подряд. Молчит, после чего поворачивается ко мне и говорит:

— Желаю тебе счастья.

Когда я услышал *это* пожелание от нее в первый раз, мне стало немного неловко. Я поблагодарил. Смутился.

Как только Вера впервые зашла ко мне домой, сказала:

— Пускай в этом доме будет всегда мирно и спокойно.

— Во многом это зависит от тебя, — ответил я. Она пожелала это искренне. Я почувствовал по голосу.

Я стою за спиной Веры. Смотрю на готовую картину. О завершении работы моя художница никогда не говорит вслух. Это понятно без слов. Она откладывает кисточки. Замирает. Начинает тихо и учащенно дышать. Не отрывая взгляда от холста, щелкает костяшками пальцев. Смотрит на картину.

— Вера, ты угадала! Ты молодец! — восхищаюсь.

Она поворачивается ко мне и улыбается.

Я изучаю картину еще подробней. Вглядываюсь в каждый мазок. В каждый, даже самый незаметный, переход цвета. Мой взгляд прикован к холсту. Я смотрю, не отрывая глаз. Все за границами картины теряет цвет, становясь черно-белым. Чувствую запах еще не высохшей краски.

Картина — темно-синее море, вбирающее в себя падающий снег. Бело-голубое небо. Альбатросы, тоже белые, еле заметные, с оттенками розово-желтого на крыльях и хвостах. Это цвет света от солнца. Ржавый причал. Рядом с ним черно-рыжая подводная лодка. На переднем плане фигура маленького мальчика. На причале матросы в фуфайках. Слабо-фиолетовые тона краски — снег. Маленький мальчик держит руку у лица. Из-под его воротника виден красный шарф. Шарф горизонтально развевается по ветру. В самом конце причала, в середине картины, черный силуэт мужчины, идущего к мальчику.

Я начинаю слышать гул ветра. Шелест морских волн и скрежет металла. Крик чаек. Я падаю в белую краску. Лечу, пачкаясь масляными снежинками. Падаю в масляный снег. Все вокруг кажется масляным.

Железная пилюля

ХОЛОД. КАПЮШОН все время слезает с головы. Струи холодного воздуха обжигают щеки. Море. Север. Кольский полуостров. Если посмотреть влево или вправо, видны ступенчатые берега и белые скалы. Над головой мельтешат снежинки. Взгляд уходит вперед и тонет где-то в горизонте, там, где не видно конца моря и начала неба, — все одинаково бело-синее. Светло. Недалеко от берега белеет остров Йоканьга. На фоне снегопада его белесый скалистый рельеф заметно выделяется.

Мальчик лет шести стоит около причала. Он стоит спокойно, он не грустит и не веселится. Он ждет. Он смотрит на горизонт, он видит, что небо берет свое начало из моря, он щурится от снежинок. Ему не холодно. Пехора[1] согревает не только тело, но и душу. Ветер назойливо стягивает капюшон с головы, мальчик придерживает его рукой.

Проходит несколько минут, и ветер успокаивается. Бьющей по щекам снежной крупицы больше нет. На смену ей приходят большие, перистые снежные лохмотья, степенно опускающиеся на землю.

Ласточки и бакланы летают над головой и вдали над водой. Кричат. Позади, за жилыми домами, сквозь бархат снегопада виднеются сопки в бело-коричневых и бело-серых тонах.

Мальчик смотрит на раскачивающийся причал и думает про себя, что он бы мог подождать и на нем, но в ту же секунду понимает, что его укачает, и ему станет плохо. Это немного стыдит его, он смотрит на пару матросиков, стоящих около одного из тросов подводной лодки.

Из-за спины мальчика вылетают две маленькие воздушно-снежные воронки, крутящие крошеные снежинки. Они гонятся друг за другом и, столкнувшись, распадаются.

По правую сторону причала раскачивается громоздкая ржаво-черная подводная лодка. Эта огромная железная машина непонятна мальчику. Она кажется невероятной. Неужели она плавает под водой вдали от земли, в глубинах морей и океанов? Из буксира, находящегося по левую сторону причала, выходит мужчина.

Летающих в небе птиц трудно рассмотреть. Они теряются в отблесках солнца от прибрежных скал, отблесков от белого снега вокруг. Этот блеск приятно слепит глаза. Солнце в пустыне снега увлекает внимание мальчика. Блеск свежести.

К мальчику подходит мужчина.

— Пойдем, — говорит он.

Мальчик идет за мужчиной. Но неожиданно для себя останавливается.

— Не бойся, — говорит мужчина. Это его отец.

Мальчик смотрит на подводную лодку. Она ведь железная. Мальчик с отцом идут по трапу. Трап угрожающе скрипит.

Черно-рыжая пилюля приближается. Трап вовсе не укачивает мальчика. Это радует мальчика.

— Стой пока здесь, — говорит отец, — внутрь нельзя.

Мальчик остается на корме подводной лодки. Бегает из стороны в сторону и смотрит на воду. Вода его пугает. От одного ее вида становится холодно. Подводная лодка раскачивается не в такт причалу. Мальчик радуется, что он находится здесь.

Отец возвращается. Подходит к мальчику.

— А зачем она нужна? — спрашивает мальчик, указав рукой на подводную лодку.

Ответ звучит не сразу:

— Чтобы корабли не напали, — говорит отец. Улыбается: — Вон оттуда, — и показывает рукой в сторону моря.

После мальчик часто поглядывал на горизонт, когда проходил мимо моря. Он всматривался в еле заметную грань между водой и небом в страхе увидеть там нападающие корабли. Но их не было, и мальчик успокаивался.

Звук моторов машин, крик матросов, смех. Ледяной ветер. Снег. Скрежет причала — раскачивающегося на волнах. Эти звуки он слышал каждый раз, когда вместе с экипажем покидал прибывший корабль.

С корабля спускают трап. Мальчик стоит в толпе людей, сходящих на берег. Глаза встречающих полны радостью встречи с родными, друзьями, близкими. На причал корабельная стрела спускает с судна машины, провизию. Мальчик с семьей спускается по трапу. Чужие, встречающие взгляды буравят лица, пытаясь найти среди всех знакомые.

Смотрит на воду. Ему беспокойно. Вдруг за ними увязались враги, и теперь они знают, куда плыть, и планируют напасть на городок.

Около других трапов раскачиваются подводные лодки, напоминающие мальчику железные пилюли. Ему становится спокойно при виде их.

Вместе с семьей он двигается в сторону автобусной остановки.

Автобус. Ржавый, искореженный временем, сминая снег колесами, едет в поселок. Он везет их домой, в небольшой городок. В окно, укра-

[1] Северная верхняя одежда, похожая на пальто, только сильно утепленное мехом

шенное снежно-бархатными картинками, немного видны мелькающие силуэты заснеженных двухэтажных домов. Слышен шум ветра. Северного ветра, плетущего ледяные кружева на стеклах зданий и автомобилей. Люди сидят в креслах, стоят, держась за поручни. Снежинки на их одежде тают от автобусного тепла. Скоро будет остановка. Ехать минут десять, не больше.

Мальчик вспоминает свой дом. Слушая истории взрослых, мальчик узнал, что улица Бессонова, на которой он живет, названа в честь подводника.

В автобусе с капюшона рядом стоящей женщины скатывается маленькая капелька воды. В полете она блестит. Море — это миллиард таких капелек. За окном мелькают дома в вечерней снежной синеве. Воображение мальчика превращает автобус в катер. Снег за окном в море. Все мысли сейчас о подводнике.

Ночь. Подводная лодка капитана Бессонова затонула. Спасательный катер подбирает людей, плавающих на волнах. Холод. Ледяная вода обжигает тело. Времени — считанные секунды. Находиться в такой воде долго невозможно. Холод воды окутывает ледяными руками, хватает за горло и душит. Душит.

Темно. Шум моря, крики. Во рту вкус соли. Дрожь в теле, руки и ноги онемели. Боли нет. Становится уже не холодно. Дышать трудно. Двигаешься, еще пытаешься держаться на плаву. Конвульсии. Судорожная вибрация в теле. Уже не чувствуешь — над водой ты или нет.

При мысли о человеке в воде становится холодно. На миг мальчику кажется, что это он в воде.

Криков становится меньше. С каждой секундой все меньше и меньше. Катер не успевает выловить всех. За левым бортом на волнах раскачивается капитан Бессонов. Он пытается подплыть к катеру. Молчит. Тянет правую руку. Борт близко. Всплеск! Волна относит его назад. На борту суета. Кутают спасенных. Фляжки со спиртом ходят по рукам. Бессонов подбирается снова. Опять тянет правую руку. Человек высовывается из катера. Чуть не падает. Хватает капитана за руку. Всплеск! Вместо руки спасатель хватает за мокрую книжку. Волна относит Бессонова еще дальше. Поднимает на свой хребет. Затягивает под воду. Кажется, все. Тишина. Криков нет вообще.

Криков нет.

Только шум волн.

Капитан больше не всплывает. Он уходит за своим кораблем. Спасатель смотрит на море. Смотрит на книжку. В ней перечислен экипаж судна. Отчет о действиях. И все.

Мальчик ходит по скалистому берегу моря. Подходит к самой воде. Мочит руку. Пальцы обжигает холодом. Становится страшно.

Белое. Зеленое

ВЕРА ГОТОВИТ новый холст. Всегда перед работой протирает влажноватой тряпкой мольберт. Периодически поглядывает на меня. Я наблюдаю за ней. Сам готовлю чистые листочки. Складываю их в стопочку. Она смотрит на них. Смотрит на холст, словно сравнивая — у кого лучше. Я смотрю на нее и записываю ее действия. Услышав царапание ручки по бумаге, она на секунду замирает. Тихо дышит. Берет кисточки. Складывает их в коробочку. Меняет воду в миске. Баночки с краской собирает в одно место. Устанавливает холст. Из большой сумки, вроде походного рюкзака, извлекает кусочек чистой ткани. Ей она будет протирать кисточки. Тряпочку Вера вяжет на левую руку. Смотрит на полотно. Дыхание почти не слышно.

Приготовления закончены.

Вера берет чистую кисть. Мочит ее кончик. Опускает в белую краску. Кисть большая. Грунтовочная. Вера наносит краску на холст. Грунтовать она всегда начинает с левого угла.

Белое.

Белая краска, цвета свежевыпавшего снега ложится в основу картины. Вера уверенно наносит первый слой. Ждет минут десять. Готовится наносить второй. Мочит кисть. Протирает ее тряпкой. Опускает в краску.

Белый цвет всегда напоминает север. Глаз привык к белому. Грунт севера — белая краска. Это основа. Из нее рождаются дома. Серый и красный кирпич появляются из белого. Голубое небо — смесь белого и синего. Серебристо-коричневые остановки вырастают из белого. Темно-серые камни лежат в белом. Белый цвет — это начало. С детства я к нему привык. Он стал основой всего.

В нем жили люди. В нем женились и выходили замуж. В нем рожали. В нем и умирали.

Из него росли двухметровые, не выше, кустарники. Рябь коричневого на белом.

Вера нанесла второй слой белой краски. Подождала. Вера вытерла кисть. Взяла другую — тоньше. Намочила. Окунула в баночку с зеленой краской.

Зеленое.

Поверх белого грунта ложатся зеленые мазки. Насыщенно зеленый цвет режет глаз. Вера рисует лес, примешивая иногда коричневую краску.

— Расскажи о первом дне, когда вы переехали, — просит она.

Я думаю. Вспоминаю. Говорю:

— Мы вышли вечером. Сели в автобус, до причала. На теплоходе до Мурманска. Обычный день. Спокойно. Потом в аэропорт. Там на самолете в Шереметьево. Потом такси.

— Не-ет. Ты не понимаешь. Другой первый день... первый день в другой краске.

Думаю.

— Самая первая мысль была о цвете. Очень удивительно. Даже сложно смотреть. Вокруг все зеленое.

— Насколько зеленое? — спрашивает и щелкает костяшкой пальца.

— Жгуче зеленое. Кажется, что жжет глаза. Похоже на то, когда чистишь лук.

Вера смешивает в блюдце кислотно-зеленую краску. Рисует. Больше ничего не спрашивает.

Я слежу за ее кистью. Большой кисточкой Вера наносит крупные мазки. Хаотично. Быстро. Кисточкой поменьше еще быстрее наносит точечные мазочки. Их краска ярче, чем предыдущая. Размытым темно-коричневым цветом намечает стволы деревьев. На холсте вырисовывается лес. Я погружаюсь в краски.

Дмитровский лес. Листья и жаркое солнце. Высокие деревья. Песни птиц. Этот лес никто не высаживал. Он дикий. Первобытный. В его звуках и запахе чувствуется отшельничество. Лес говорит и смеется. Он выражает свои эмоции. У него даже есть своя мимика. Тропинки, вытоптанные людьми, молодят его. Его тело — стволы берез и елок. Он может показаться неподвижным и неживым.

Казалось, что может быть проще — лес. Деревья. Шелест листвы. Березы, елки, сосны. Все это выглядит простым и обыденным.

Но чудо не далеко.

Интересно наблюдать за обитателем южных стран, который впервые увидел березовую рощу. Он удивлен. Это так прельщает его, что у себя на участке он высаживает березку и растит ее как маленькое чудо.

В солнечный летний день в лесу спокойно и сонно. Тропинки вьются мимо деревьев и муравейников. Трудолюбивые муравьи, управляемые, словно, одним сознанием, работают в честь своей Великой Матери. Тишину нарушает только шелест листвы, крик вспорхнувшей с ветки птицы или почти незаметный треск от упавшей шишки.

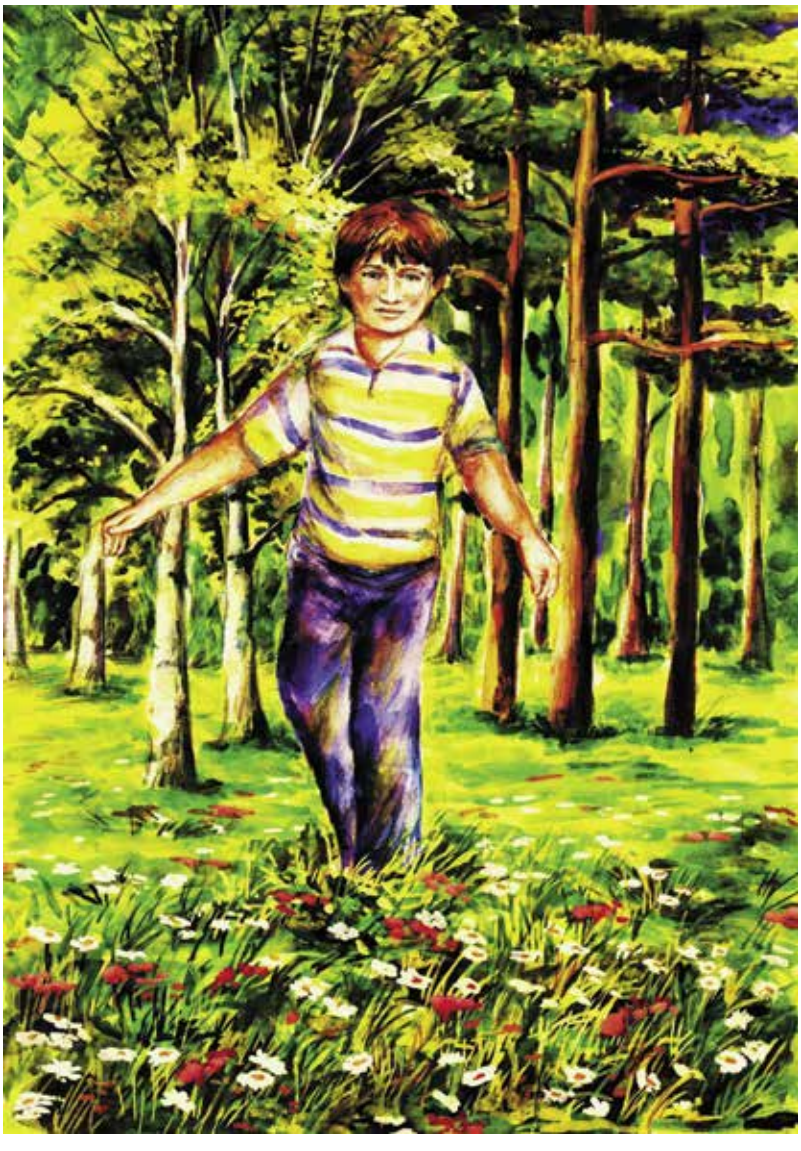
Я помню, как первый раз я пошел по тропинке. Неторопливо. Озираясь по сторонам. Это было маленькое чудо.

Вера делает набросок человека. Всего пару мазков. Он пока не может ходить — у него нет ног, их еще не нарисовали. Он оглядывается по сторонам. Ему не терпится сделать шаг. Он умоляюще смотрит на кисть, просит скорее нарисовать ему ноги.

Краски становятся ярче, лес четче. Наконец Вера рисует ноги. Он делает шаг.

Он становится на тропинку.

Первый раз его нога ступает на эту землю. Вокруг деревья. Они кажутся ему сказочными. Их много, и они очень высокие. Он удивлен, слегка взволнован, но он идет неторопливо,



внимательно разглядывая каждую деталь. Он впервые видит такой лес. Деревья настолько густо растут, что треск сломавшейся палочки под ногой раздается легким эхом. Тропинки вьются. Лес приветливо шумит. Заманчиво.

Ему не надо ничего. Он идет не спеша. Он знает, что следующая прогулка не восхитит его, как эта.

Он оборачивается. Видит развилку тропинок. Странно, но ему кажется, что ее не было. Идет по одной из тропок. Опять развилка. Он еще не понимает, что произошло, и поэтому спокоен. Лес все еще его удивляет. Он идет дальше. Нагулявшись, решает идти обратно. Но понимает, что заблудился. Больше половины дня бродит он, прежде чем находит нужную тропинку. Первая прогулка надолго запомнится.

Вера замерла. Я замер вместе с ней.

— Что? — тихо спрашиваю.

— Расскажи еще, — просит и смотрит в глаза.

Я рассказываю про первую прогулку по лесу. Вера слушает мой рассказ. Отворачивается, берет кисть и рисует. Я замолкаю.

— Нет, нет, нет, нет! — произносит Вера и хватает меня за руки. От неожиданности я роняю ручку. — Не молчи, рассказывай! Не молчи.

— Тебе же интересен только север, — говорю и улыбаюсь.

— Без остального он невозможен. Рассказывай. Я должна понять все. Мне нужно все. Ты приехал с севера. Дальше.

Своей взволнованностью она смешит меня. Я рассказываю дальше. Я рассказываю про Дмитровский лес. Отдаю ей свое первое впечатление. Она продолжает рисовать.

Я смотрю на еще неготовый рисунок севера. Вера пока отложила его.

Подводные твари

МЫ С ДРУГОМ ходили на рыбалку. Погода была спокойная. Нельзя сказать, что было тепло. Так же не скажешь, что было холодно. Северяне теплой погодой могут назвать время и при минусе. Так все и жили. При минусе, но в теплоте.

Мы набрали в железные баночки наживку — капшуков. Как правильно называется это существо, я не знаю. Все называли их так. Они похожи на маленьких креветок. Только в отличие от известного морепродукта эти имеют грязно-зеленый цвет, неприятный запах и есть их нельзя.

При отливе вода уходит так сильно, что можно пройти на дно с двумя палками в руках для опоры, используя их как костыли. Главное — держать равновесие и не поскользнуться на мокрых камнях. Под ногами лопаются водоросли, чем-то похожие на виноград. Вытекая, вода вместе с прозрачной слизью обволакивает камень и увеличивает шанс падения.

Когда отойдешь от берега, остановившись, главное — удержаться на ногах. В маленькой неровности дна остается кусочек моря. В нем панически мельтешат капшуки. Их даже не надо ловить. Достаточно опустить туда баночку. Они сами в нее заплывут.

Когда наживка на крючке, остается опустить ее в воду и ждать. Ловили мы чаще всего с причала, на сотню метров уходящего в море. Ждать долго не приходилось. Если под причалом проходил косяк трески, то набрать полные пакеты рыбы можно было за полчаса.

Мы разговаривали о морских тварях, чаще всего придумывали своих. И охотно друг другу верили. Порой вместо трески клевал морской бычок — колючий, несъедобный, со страшным большим ртом. Наживку он заглатывал глубоко, и снимать с крючка его было сложно. Его окрас был невероятно красивым. Переливаясь в свете солнца, бычок блестел муаром. А если смотреть на него под определенным углом, он становился зеленым.

Я вспомнил этот зеленый цвет. Как мы пытались найти подходящий угол зрения, чтобы увидеть его, забыв про рыбалку.

— Я видел, как проплывала касатка, — сказал мне друг.

— Это неправда.

— Правда.

— Касатки здесь не водятся.

— Водятся! — воскликнул он.

— Насчет касаток, не знаю. А дельфинов я видел.

— Где это ты их видел? — спросил он.

— С теплохода. Когда плыли, в начале лета. Двое. Они плыли перед теплоходом, выпрыгивая из воды.

— Касатка может съесть, а дельфины нет. Дельфины не страшные. А знаешь, как я испугался, когда увидел касатку.

Почему-то я не верил своему другу. Но чтобы он поверил мне, я сделал вид, что поверил ему.

— Ты же был не в воде. Как бы она тебя съела? — Мой друг ничего не ответил. — А мне рассказывали страшнее историю. Про сома...

Летом мы с семьей ездили на Украину. В небольшом городке Донецкой области была

река Кальмиус, неширокая и с сильным течением, но были места, где течение практически не ощущалось. Вода в этой речке всегда оставалась зеленой. Мы с друзьями купались в ней. Видели рыбаков, стоящих неподалеку, по пояс в воде.

Рыбаки часто ходили ловить рыбу ночью. Случилось, что один из них не вернулся.

Духота дня сменилась вечерней прохладой. В окошках домов появился уютный свет ночников. Темная ночь окрасила зелень листьев черным. Небо наполнилось звездами.

Рыбак шел неторопливо. После душного воздуха ночная прохлада была приятной. Коробку со снастями он приготовил еще утром. Упаковал крючки. Смотал леску. Пойманные сыном лягушки копошились в баночке. Мужчина шел на сома.

Прибыв на место, он разложил снасти. Специальное, для рыбалки, покрывало он постелил на землю.

Речка приятно шумела. Он сел на покрывало. Некоторое время мужчина ничего не делал, просто сидел. Слушал. Он слышал шелест листвы. От воды раздавался скрежет. Источник звука был от него метрах в десяти. Это был сом. Поймав лягушку, он не проглатывает ее: сом перетирает жертву зубами, похожими на китовый ус, выпивает все соки и выплевывает ее.

Мужчина забросил леску. Он рассчитывал на большой улов — леска была толстой.

Прошел час. Поклевки не было. Прошло еще несколько часов. Мужчину начало клонить в сон. Глаза закрывались. Ему нравилась погода. Нравился шум речки. В тишине и спокойствии он отдыхал.

Мужчина аккуратно взял леску. Обмотал вокруг ноги. Лег на покрывало. Он смотрел в небо. Множество звезд мерцало перед его глазами. Некоторое время он смотрел на них. Потом закрыл глаза.

Утром он не вернулся домой.

Мы купались с друзьями в Кальмиусе. Жара была невыносимой. Стоило окунуться, освежиться, как уже через десять минут снова становилось жарко. Друзья придумали развлечение. Наполнив пластиковую бутылку песком, кидали ее в воду. Дальше нужно было найти бутылку. Кто найдет, тот и выиграл.

Недалеко от нас рыбачил мужчина. Он стоял в воде по пояс, с удочкой в руках. Мы не обращали на него внимания.

Мы купались и громко кричали, как вдруг вместе с нами закричал рыбак. Но не радостно, как мы, а с ужасом. Мы все замолчали. Его водило по воде, словно засасывало в подводную воронку. Потом затянуло под воду. Он больше не всплывал.

После этого дня в речке мы не купались. Стало известно всему городу, что в Кальмиусе живет рыба-людоед. Вызывали аквалангистов. Но те ничего не нашли. Им не повезло.

Повезло другому человеку. В двадцати километрах от того самого места, где пропал рыбак, праздновали день рождения одного охотника. На праздник собрались не все. С собой в машине у охотника был огромный крюк. Такие крюки я видел и на севере. Они были на цепи и использовались для поимки в колодце отцепившегося ведра. Их еще называли «кошкой». Следуя пьяному велению разума, именинник привязал цепь к дереву около реки, нацепил на него оставшееся мясо и кинул в воду. И забыл про него.

Вспомнил о крюке, когда в нем появилась необходимость. Охотник долго не мог припомнить, где он оставил «кошку». Потом в памяти всплыли моменты со дня рождения.

Приехав туда на машине, охотник обнаружил ту самую цепь. Подойдя к ней, он удивился — она была натянута как струна. По какому-то охотничьему чутью мужчина не отвязал цепь, чувствуя попавшуюся жертву.

Охотник съездил за помощью. С друзьями вместе он перевязал цепь с дерева к машине. Друзья охотника были уверенны, что крюк зацепился за корягу. Но это было не так.

Сначала из воды показалась голова громадного сома, сразу же разинувшего пасть полуметрового диаметра. За головой потянулось все тело. Длинна пойманного сома была около трех метров. Сом начал биться изо всех сил. Но охотник не упустил свою возможность и достал всегда находящееся в машине ружье. Быстро зарядил, прицелился и выстрелил.

Этот выстрел прославил охотника. После он хвастался, что стрелял не только зверей, но и подстрелил громадного сома-людоеда. На стену, дома, охотник повесил длиннющий сомин ус.

Весть о подстреленном соме пронеслась с быстротой пули. Привезенный во двор сом первые часы лежал как экспонат в музее — вся округа пришла посмотреть на него.

Недалеко от охотника жила женщина, чей муж пропал на рыбалке ночью. Зайдя во двор, она увидела убитое чудовище и, вскрикнув, прижалась к калитке. Она заплакала. Она не могла поверить, что вот эта тварь отрастила себе брюхо, полакомившись ее мужем и еще наверняка многими. А дети пропадать в последние годы стали часто. Многие пропадали после

школы, как раз тогда, когда все школьники купаются. Тело пропавшего ночью рыбака нашли позже. Тело раскачивалось на воде, зацепившись за корягу. Вокруг ноги была обмотана леска.

После показа охотник лично вскрыл тушу убитого сома. Здесь началось второе представление. В животе у него он нашел *семь* колец, три из них обручальных. Около двух сотен рыбацких крючков, был даже один поплавок. Несколько пар сережек и плотный моток серебряных и золотых цепочек с крестиками. Все найденное охотник отнес в церковь. На местной остановке появились объявления с описанием случая. Многим из прихожан возвращали кресты. В основном женщинам.

Брошенные стены

МОЯ ХУДОЖНИЦА нарисовала реку. Над водой склонились горбатые деревья. Из-за синебелых облаков выглядывало желто-золотое солнце. В правом углу, там, где петляет речка, она нарисовала купающихся детей. В нижнем левом углу стоял на берегу рыбак. В выражении его лица было нечто блаженное. Крючок был виден. В центре картины, в реке, где деревья дают самую большую тень и чернеют прибившиеся к берегу коряги, она нарисовала огромного сома.

Я смотрел на картину, и мне самому стало страшно. Вера, как всегда, попала в самую точку.

— Рисовать чью-то жизнь — это то, что я хотела, — сказала Вера. — Спасибо, что ты мне разрешаешь.

— Для меня это важно не меньше, — говорю я.

Вера смотрит в окно.

— Я чувствую себя там, в этих картинах, в этой краске, в этих кисточках. Мне все это нужно. Все, что у меня есть, лежит вот в этом рюкзаке, — Вера показывает на свою большую сумку. — Когда-то у меня была машина. Была даже своя квартира. — Вера глубоко и медленно вдыхает воздух. — Был муж, — медленно и протяжно выдыхает.

Вера не переставала меня удивлять. Удивлять своими картинами. Удивлять своими короткими рассказами.

— У меня все хорошо, — говорит она, — я вообще-то по образованию юрист. У меня была своя небольшая фирма. Далеко не бедствовала.

Я слушаю. Смотрю на ее темные волосы. Чувствую, что надо спросить:

— А что случилось?

Вера поворачивается ко мне. Смотрит в глаза. Выражение ее лица странное. Не суета, не грусть, не радость, не спокойствие. Не удивление, не печаль. Ничто.

— Я построила свой капкан, и сама в него добровольно залезла. — Вера отворачивается. — Не спрашивай, не спрашивай. Я не смогу ответить.

Вера нечасто рассказывала о себе. И такие коротенькие истории были для меня важны. Моя художница была для меня загадкой. Я привык к ней и, казалось, хорошо ее знал. Когда я видел, что она делает, ее жесты, ее движения мне казались знакомыми с детства. Но в то же время я не знал ее совсем.

В субботнее осеннее утро мы пошли гулять. Вера взяла с собой одну из своих маленьких сумок. В нее она положила несколько чистых листов и цветные карандаши. Свои маленькие тряпичные сумочки она хранила в большом походном рюкзаке.

— Куда пойдем? — спросил.

— Не важно, ни капельки не важно, — монотонно ответила Вера.

Мы пошли просто по дороге. Моя художница увидела сметенные в кучу листья.

— Смотри, листья, — засмеялась и побежала к ним. Я пошел за ней.

— Листья — это мазочки краски.

Вера набрала в руки листьев и подбросила над собой.

— Каждый лист — это холст, — сказал я, протянув ей один.

Вера подбросила еще раз.

— Я хочу понять, как они падают, — даже не мне, а, скорее, себе сказала Вера.

— Правильно. Что еще с ними делать. Лишь сметать и подбрасывать.

Мы услышали стремительно нарастающую ругань за спиной. К нам, матерясь, бежал дворник.

— Пора быстренько уходить, — прошептала Вера.

Мы перебежали через дорогу. За спиной, сигналя, пронеслась машина.

Мы шли по дороге. Всегда вперед. Шли, не задумываясь куда.

— Я раньше сильно привязывалась к вещам, к мелочам, к каждой пылинке дома.

— Почему же привязывалась?

— Я все ставила на свои места, буквально по линеечке ровняла. Меня это уничтожало и мне казалось, что все не в порядке.

— Капкан, — тихо сказал я.

Вера смотрит себе под ноги.

— Я хочу летать. — Смотрит на меня. Улыбается. — У меня был период, я рисовала птиц. Только полет.

— Полет, — повторил я, — хочешь шоколадку?

— Шоколадку, — повторила Вера, растягивая буквы «о», — буду.

У меня был с собой шоколад. Я отдал его Вере.

— Ты любишь звон колоколов? — спрашивает Вера.

— Люблю. У меня всегда дух захватывает.

— И я люблю. Я рисовала картину. На ней колокольня. Я ее перерисовывала много раз. Хотела передать звук краской. Чтобы смотреть и слышать. Не получилось.

— Получится.

Перед нами показалась церковь. За церковью стоял старый трехэтажный дом. Его должны были сносить. Жителей переселили, окна забивать не стали. Стекло в рамах было разбито. Каждый прохожий мог безнаказанно кинуть камень в окно.

— Полезли вовнутрь, — предложил я. Интерес к таким местам у меня возник еще в детстве.

— Да, да! Полезли, — Вере эта идея понравилась.

Мы пролезли в окно. Я запрыгнул сам. Втянул к себе Веру. Обломки стекла валялись на подоконнике. Вера боязливо поглядывала на них.

Мы оказались в покинутой квартире. Запах плесени и сырости ударил в нос. Штукатурка сильно обсыпалась. Трещины густо покрывали стены. Остатки некогда бывшей жизни в виде непонятных тряпок, тапочек, разбитых кружек и многого другого хлама купалось в плотном слое пыли, грязи и побелки.

— Пойдем туда, — сказала Вера и указала рукой на перекошенную дверь.

Квартира была трехкомнатная. Вера достала запасенные листочки и начала что-то рисовать. Я не стал отвлекать ее и ушел в другую комнату. Комната была больше остальных двух. В ней было *что-то* особенное. Когда находишься в заброшенном доме или квартире, кажется, что слышишь *каким-то* внутренним ухом обрывки фраз из жизни этого места. Порой даже мелькают перед глазами кадры из прошлого этих стен. В этой комнате ничего подобного со мной не происходило. Там не было обоев — ни малейшего обрывка. Похоже, их не было и раньше. Как и паркета. Стены и потолок были голые. Ни следа штукатурки и краски. Словно помещение не до-

строили. О том, что было здесь раньше, можно было только догадываться.

Я прошел на кухню. Небольшая, почти вся обложенная плиткой, она пестрела своими цветами. Рама была окрашена в фиолетовый цвет. Плитка над раковиной краснела нарисованными цветками. Зеленые лепестки украшали подоконник.

Я заглянул в комнату, где находилась Вера. Она увлеченно рисовала. Красный карандаш выпал из рук моей художницы. Остро заточенный грифель, ударившись о пол, сломался. Вера растерла отвалившийся красный кусочек ногой. Подняла карандаш. Извлекла из сумочки пятисантиметровый ножичек. Стала затачивать карандаш заново.

— В детстве я любил лазить по заброшенным домам, — сказал я, — на севере было место под названием Ущелье. Все дети называли его так. Это было очень важное место в нашей жизни. Заброшенные трехэтажные дома заносило снегом. Появлялась горка. Скатываться с нее было и страшно, и увлекательно.

Вера молчала. Улыбалась. Я вспоминал детские игры.

В детстве с друзьями мы часто играли в войнушку в заброшенном садике. Бегали по этажам, наступая на головы поломанным куклам. Бегали всегда парами. В одиночку было страшно. На стенах краской были нарисованы животные. Когда-то они украшали садик и дарили детям радость. Теперь, полуразрушенные, выглядывая из-за горок отвалившейся штукатурки, рисунки отдаленно напоминали о когда-то бывшем здесь детском мирке.

Вера продолжала рисовать. Мне не терпелось посмотреть на ее набросок. Она догадалась о моем желании.

— Попозже, — сказала, — дорисую только.

У меня зазвонил телефон:

— Алло? — спросил я.

— Привет. Это Серега.

— Привет.

— Слушай, подработка есть. Надо?

— Что делать?

— В доме отдыха дворником. Всего неделю. Тысяча в день.

— Надо подумать.

— Думай скорее. Нужно двоих. Соглашайся. Можно заселиться там. Кормят два раза в день. Если заселяешься, то по восемьсот. Там хорошо. Тихо. Надо прибраться до приезда отдыхающих.

— Я перезвоню через пять минут. Можно?

— Давай, жду ровно пять минут.

Я рассказал Вере о подработке.

— Да, да, да! — обрадовалась. — Это очень кстати. Это очень-очень кстати. Мне сейчас нужны листья. Там будет тихо. Соглашайся! Поехали!

Я позвонил Сергею и дал согласие. Вера смотрела на меня и улыбалась. В правой руке она держала листочек с наброском. Протянула его мне.

— Для меня это важно. Мои желания управляют моей жизнью. Я хочу понять осень. Я хочу нарисовать ее. Листья. Это настроение. Понять суть листопада. Увидеть его краски. Почувствовать ее цвет. Нарисовать ту самую поэтическую осень.

Я смотрел на набросок и не мог поверить своим глазам. Вера заметила удивление на моем лице.

— Что? — спросила она.

Мне захотелось смеяться. Я смеялся от радости. Смотрел на набросок.

— Ты просто прекрасна, — сказал я, — ты молодец!

— Что, что?!

На листочке был нарисован заброшенный садик. Зритель видит то, что происходит внутри, словно смотрит сквозь стену рентгеновским зрением. Группа детей в одной из комнат. Они держали палки в руках, как огнестрельное оружие. Другая группа детей была нарисована на этаж выше. Они так же были вооружены палками. Перед входом в здание была полуразрушенная детская площадка. Уцелел лишь один детский деревянный грибочек. Покосившись набок, он завис в готовности упасть.

— Ты нарисовала еще не рассказанную мной историю. Когда мы пришли сюда, я думал об этом! Я в детстве играл в заброшенном садике.

Вера коварно заулыбалась.

— Теперь нам никуда не деться друг от друга, — сказала она, после чего тихо добавила: — Пока не дойдем до цели.

Я смотрел ей в глаза. Я чувствовал привязанность к ней. Эту связь сложно объяснить. Она тонкая и незаметная и в то же время сильная и обнаруживается в такие, как сейчас, моменты. Я смотрю на Веру и чувствую, что мы должны...

— А в чем цель? — я.

Взгляд Веры становится задумчивым и немного печальным.

— В том, что мы делаем, — отвечает она.

Но и она, и я знаем, что нужно следовать дальше. Зачем? Мы живем вместе в постоянном предчувствии чего-то значительного. Мы живем, и я знаю, как и я, моя художница испытывает муки. Те легкие страдания, о которых мы никогда не говорим, которых никогда не пока-

зываем. Мы живем вместе. Мы живем тем, что делаем. То, что мы делаем, меняет нас. Это и есть наш смысл. Страшно думать о цели. Цель предвещает конец. Конец стремлению. Пустота.

Новый холст. Чистый лист.

Листья

СЕРГЕЙ НАС ждал около ворот дома отдыха.

— Опоздали на десять минут, — сказал он.

— Не могли найти маршрутку, — оправдывался я.

Мы вошли.

— Держите пропуска, — сказал он и протянул мне две картонки размером с визитку. — Если будете выходить за территорию, на проходной показывайте. Внутри не обязательно. В корпус вход по паспорту, в общем, я сейчас все покажу.

Мы двигались по широкой дороге, ведущей в центр дома отдыха. По левую и правую сторону стояли небольшие деревянные домики.

— Это склады, — сказал Сергей, — спортинвентарь, белье, техника. Всякая другая ерунда. Кстати, грабли, метлы в одном из них. Вон в том.

Сергей указал рукой на единственный желтый домик. Остальные были выкрашены в синие, красные и зеленые цвета.

— Здесь все отделы по цветам. Ваш цвет желтый. Вам выдадут желтые бейджики. Прицепите их, когда будете работать. Администрация требует. Кстати, ее цвет белый. Здоровайтесь. Другие цвета не важны. У администраторов дом с белой дверью. Увидите.

Мы оказались на небольшой круглой площади. Свернули с нее направо. Перед нами появился двухэтажный домик с большой белой дверью. Зашли внутрь. Усатый, плотного телосложения мужчина поздоровался с нами.

— Вот, — сказал Сергей и указал на нас рукой.

— Так, так, — сказал мужчина.

Мы сели на стулья. Администратор обозначил время работы. Объяснил, где мести, как работать, что делать с листьями, в какое время завтрак и обед.

Сейчас позвоню в жилой корпус. Скомандую, вас пустят, — добавил он и протянул ключи от склада.

Наша комната оказалась лучше, чем я ожидал, — две большие кровати, свой санузел, большое окно с видом на предстоящую работу — парк. Вера сразу же разложила свои кисточки и краски.

— Уютная норка, — сказала она, спрятав листочек и карандаш в карман.

Мы пошли работать. Взяли грабли. Первые часы я мел очень тщательно. Вера периодически подбирала листочки. Крутила их в руках. Разглядывала. Некоторые даже спрятала в карман. В парке было тихо. Деревья медленно раскачивались. Листья. Вокруг было множество листьев. Я заметил увлечение в глазах моей художницы.

— Это холсты, — говорила она, — это слезы деревьев, — сказала она, собрала в охапку и подбросила вверх.

Я увидел идущего к нам седого старичка. В руках у него была метла. Он шел медленно. Смотрел в сторону. Старался нас не замечать. Обратил внимание, как только подошел.

— Доброе утро, — сказал он, — вы на листьях. А я дороги подметаю. На неделю приехали?

— Да, — ответил я, — на неделю.

— Ясно. Дни быстро летят. Успеете?

— Успеем.

— Ничего. Утром спать хочется. Потом днем в сон клонит. Можно работать и не в указанное время. Ладно, я пойду. Мне надо убраться. Вон туда, — и указал метлой.

Я посмотрел ему вслед. Вера продолжала рассматривать поднятый листочек.

На следующий рабочий день старичок опять появился:

— День добрый, нравится вам здесь?

— Здесь хорошо, — ответила Вера, не отрываясь от работы.

— Да-а, — протянул он, — здесь хорошо. Я работаю уже пятнадцать лет. Здесь и живу. До этого был преподавателем музыки. Всю жизнь преподавал в Москве. Устал. Устроился сюда. Денег меньше, зато спокойно. Тихо. Жена в Москве осталась. Дети выросли. Иногда видимся.

— А живете здесь — это где? — спросил я.

— Да прям здесь. В домике, — он указал метлой на небольшой синий домик, — никто не возражает. Я ведь еще и охраняю одновременно. Понимаете?

На дороге стоял администратор. Увидел нас. Подошел к нам.

— Сан Саныч! — крикнул он. — Отвлекаешь? Иди работать. Не мешай молодым.

— Я не мешаю, я...

— Иди, сказал! — и топнул ногой. — Поговорить лишь бы. Ты вчера главную дорогу не убрал?

— Я сегод...

— За свой счет теперь обедай. Иди. Сегодня не уберешься, завтра без обеда и завтрака оставлю.

Сан Саныч ушел.

— Любитель поговорить, — с усмешкой сказал администратор и пошел за Сан Санычем.

— Интересный старичок, — сказала Вера, — я раньше очень хотела жить в своем домике, где-нибудь в тихом месте, — была даже такая возможность.

— Передумала? — спросил я.

— Нет, — ответила она и вздохнула, — боюсь себя. Иногда страшно оставаться надолго в одиночестве. Плохо мне. Боюсь собственных мыслей. Я еще не готова к этому. Чувствую, что-то мешает. Хочу избавиться от помех. Знаешь, — Вера посмотрела на меня, — говорят, что каждый строит свое счастье.

— Знаю.

— А я считаю, что каждый строит свое одиночество. Я вот рисую. Мне хорошо. Без этого хуже. Когда картина готова, мне спокойно. Проходит день, мне опять не по себе. Я рисую еще, на какой-то момент мне лучше, чем раньше. Но потом еще хуже.

— Я ездил на Украину, к родственникам. Жил в домике, в селе, — начал я, — жил один. Рядом с селом есть скалы. Пешком можно дойти. Сверху покричать хорошо. Сидишь на скале. Дует ветерок. Солнышко печет. Время идет медленно-медленно. Немного скучно жилось. Но потом привык. Я часто ходил на скалы. В один из вечеров задумал пойти утром. Но не пошел. Как раз в это утро ветер сильный был. До сих пор вспоминаю. Пошел бы — сдуло. Любил остаться со своими мыслями. Или просто отдохнуть в тишине.

Вера кидает на землю грабли.

— Расскажи подробней.

Я перестаю мести. Закрываю глаза. Стараюсь увидеть все вновь.

Листья не страшны. Они даже красивы. Когда они лежат на земле, приятно по ним пройтись. Сгрести в большую кучу и прыгнуть в нее с дерева. Было начало осени. Листочков опало совсем немного. В домике не было постоянных жильцов. Иногда его сдавали. Иногда в него приезжали отдыхать. На пару месяцев в него заехал я. Я любил гулять. Закрывал дверь. Брал с собой бутылку воды. Выходил на дорогу и шел по ней, не сворачивая, до тех пор, пока не упирался в каменный забор. От него начинались частные поля. За кукурузным и пшеничным полями начиналась горка. Я шел по тропинке, ведущей наверх. Шел около часа. Для незнающего местности гостя это тропинка могла быть опасной. Совсем незаметно горка перерастала в скалы. Сразу, резко. Когда поднимаешься, скал не видно. Но когда ты наверху, понимаешь, — ты шел по ним.

Утром, я сидел перед домом. Было тихо. Мой домик был на возвышенности, я видел горизонт. На всю жизнь я запомнил наставшую вдруг тишину. Птицы не чирикали. Не было даже самого слабого ветерка. Было такое впечатление, что воздух замер. Листья на деревьях не шевелились. Мир остановился. Ниже, рядом с моим домом, был соседский огород. Протянутый в него шланг поливал высаженную рядками картошку.

Стало темнеть. Медленно, все *небо* стало желтым. Деревья, далеко на горизонте, гнулись и колыхались. Они напомнали мне морские волны при шторме, такие я видел на севере. Я услышал гул. Он все набирал и набирал силу. Он становился сильней и сильней, заполнив все вокруг.

Маленькие воронки появлялись повсюду, врезаясь в дом, друг в друга. Соседский шланг, крутясь, словно кобра под раскачивание флейты, поднимался из огорода вверх и разбрызгивал воду. Вдалеке небо начало чернеть. Оно стало закручиваться, образуя одну большую воронку. Я поднял голову и увидел мелкий мусор, маленькие листочки высоко над собой. Над собственной головой, над домом, на высоте птичьего полета. Тогда меня напугали листья. Воронка в небе вбирала в себя весь этот мусор. Я увидел ствол смерча, петлявшего из стороны в сторону. Он мчался ко мне. Прежде чем я успел что-то подумать и предпринять, смерч с диким воем пролетел в километре от моего домика, забросив кусок шифера в окно. Стекло звонко разбилось. И стало опять тихо. С неба посыпался песок с землей и мелкими камушками. Листья кружили в воздухе, медленно, опускаясь.

Я никогда не забуду ту тишину перед ураганом. Иногда я слышу ее просто так. Значит, где-то происходит нечто значительное.

— Вот и вас заразил, — раздался голос за спиной. Это был администратор. Я не заметил, как он подошел. — Работайте, работайте. Вы можете и говорить, и работать. Да.

— Да, да, — сказал я.

Мы взяли грабли. Все оставшееся время работы мы с Верой молчали. Каждый думал о своем. Только вечером Вера произнесла:

— Такой интересный старичок. Нам с тобой еще нужно дойти до конца, — и посмотрела грустными глазами, — я бы пронеслась ураганом по миру. Ветром. Сорвала бы шифер с крыш. Раскидала бы всех по разным частям света. Чтобы каждый искал друг друга и стремился навстречу, преодолевая океаны и пустыни.

Вера залезла на подоконник. Стала ходить назад и вперед между баночками с краской и кисточками.

— А что значит дойти до конца? — спрашиваю.

В ответе я не нуждаюсь, но Вера отвечает:

— Не дойдя до него, я не могу тебе ответить, — и сознательно столкнула баночку с белой краской. Краска выплеснулась на пол. Белая клякса. — О-е-е-й! — воскликнула моя художница, словно произошло что-то случайное.

Мы недолго посидели в тишине. Потом легли спать.

Сон был глубокий и приятный.

Встали рано.

Пошли работать. Утром, с граблями в руках, еще не понимаешь, что проснулся. Парк кажется сонным, шелест собираемых листьев громким. Вера работает медленно. Движения мягкие. Во взгляде полузабытье. Я тоже не тороплюсь. Прохладный ветерок бодрит, а главное, никакого шума. Тихо.

Просыпаешься спустя полчаса как начал работать. Вместе с тобой просыпается все вокруг. Иногда останавливаешься и смотришь на верхушки деревьев. На небо. В эти минуты мыслей нет совсем. Смотришь просто так.

Настало время завтрака.

— Пойдем, — говорю я Вере.

Она кивает в ответ. Бросает грабли. Не доходя до меня, намеренно падает в собранную мной кучу листвы. Переворачивается на спину.

— Я бы вот здесь прям и заснула, — сообщает.

Недолго думая, я ложусь рядом. Земля прохладная, но на листве мягко.

— У меня мог быть ребенок, — говорит, повернувшись ко мне.

Я пытаюсь понять, почему Вера именно сейчас об этом сообщает. Ответа не нахожу. К черту их.

— Почему мог быть? — тихо спрашиваю.

— Выкидыш, — отвечает и встает, — пойдем завтракать.

Я молча встаю и мы идем.

В столовой мы садимся за столик около окна. Я делаю глоток кофе.

— Можно? — спрашивает подошедший Сан Саныч. Я киваю. Садится рядом. — Приятно позавтракать, — желает он нам.

— Взаимно, — отвечает Вера.

— Работается хорошо? — спрашивает Сан Саныч.

— Да, — отвечаю я.

— Сегодня моему внуку десять лет, — гордо заявляет дворник. Смотрит в окно. Достает из кармана пару кусочков сахара. Кладет в кофе. Размешивает. — Уже большой. Хороший он. Только врачи говорят, что больной. — Пьет кофе. — Когда родился, все очень радовались. Потом, когда подрос, стали замечать за ним всякие странности. Он молчал. Почти всегда молчал, лишь иногда говорил. У него периодами было. Может долго молчать. Неделями. Смотрит на тебя своими большими глазами и молчит. Потом раз заговорил. Такие вещи рассказывает. На своих сверстников он совершенно не похож. Сидит в своей комнате. Очень любит всякие головоломки разгадывать. Ребусы любит. На улицу боится выходить. Встанет около калитки, смотрит на дорогу. Мальчишки соседские пробегут мимо, он при виде их бежит домой. Врачи говорят, что он ребенок индиго. Так, говорят, болезнь называется. Это на заграничный манер. По-нашему «гиперактивность». Но я вижу, что он здоров. Он просто другой. Взгляд у него умный. Я иногда смотрю — мне не по себе становится. Чувствуется, что он личность. Смотрит взросло-взросло. Только когда смеется, на ребенка похож. А так на взрослого.

Сан Саныч откусил кусок запеканки. Отпил кофе. Посмотрел по сторонам. Наклонился к нам и зашептал:

— Я интересовался, говорят, что это новая раса людей. Наша скоро исчезнет... Слишком она загнала себя. Выродимся. В тупике мы сейчас. Говорят, что такие дети вовсе не молчат. Они на расстоянии общаются. — Сан Саныч еле слышно зашептал: — Им по-своему жить хочется. Понимаете. Их просто слишком мало, чтобы заявить о себе. Может, я и сумасшедший, но знаю — это так. Ничего нового в жизни и общении между слоями людей не появится. Придет новый человек.

Сан Саныч доел. В столовой было шумно. Но даже через этот шум на меня обрушилась та, необычная тишина. Мы молча позавтракали. Перед работой решили пару часиков посидеть в номере. Вера хотела рисовать. Рассказ дворника меня впечатлил. Мне хотелось подумать.

— А ведь есть в этом правда, — сказала Вера уже в номере, — я про внука дворника. На устах подобные истории. Многие говорят о таких детях. Они рождаются повсюду.

Я молчал. Вера приготовила все для рисования. Потом сказала:

— Я тоже чувствую какой-то тупик. Все както остановилось. Что-то скоро должно произойти. Нечто, что все изменит.

Я не отвечал. Я безмолвно соглашался. Вера набрала в баночку воды. Намочила кисточку. Начала размачивать белую краску на полу. Размочив, окунула в нее кисть. Рядом с белой кляксой, прямо на пол, вылила немного розовой краски.

— Иногда мне кажется, что я заблудилась, — промолвила Вера, — дорог в мире много. Можно бесконечно гулять. Но по какой дороге или тропинке нужно пойти. Знаешь, — Вера выдержала небольшую паузу, — меня не покидает желание вернуться. Вернуться в Питер. После того как мы переехали, я ни разу там не была. Если бы хоть на денек. Посмотреть на свой парк перед домом. Мне он постоянно снится. Это тревожно. Я там все детство провела. Правда, не знаю, чего ожидать.

— Это ты узнаешь только когда окажешься там, — сказал я и улыбнулся.

Вера посмотрела на меня. За все время нашего знакомства я впервые заметил огонек флирта в ее взгляде. Я вспомнил, как однажды сам потерялся. Мне захотелось, чтобы моя художница знала это. Мы давно не работали вместе. Я начал рассказывать. Она взяла холст.

Опасные прогулки

СЕВЕР. МАЛЬЧИК выходит из дома. Снег с дорог убран, по ним приятно ходить. Светит солнце, снег блестит желтым. Около дома железные ограждения — замерзший скелет крохотного цветника — как иллюзия жизни, ненужная. В нем никогда не растут цветы. Даже летом, освещенная холодными лучами солнца, эта клумба напоминает неудачную модель спокойствия. В этом есть что-то предательское.

По большой деревянной лестнице подниматься не страшно. Когда лестница покрыта льдом, можно легко поскользнутся. Когда-то поздним вечером по ней шел мужчина. Пьяный. Упал. Остался лежать. К утру замерз.

Мальчик идет за городок. Не доходя до заброшенных домов сразу направо. По плиточной дороге около полукилометра. Дальше сопки. Безмолвная белая пустыня. Ни деревьев, ни холмов. Ветра нет. Тихо. Иногда встречаются огромные куски гранита, словно кем-то беспорядочно разбросанные. Мальчик идет, все дальше отдаляясь от городка. Мысль устроить себе прогулку пришла еще вчера. До этого приходилось гулять рядом с морем, около причалов, рядом с домами. Но что там — за белизной сопок. Неизвестность приманивает. Любопытство.

Мальчик зашел уже далеко. За спиной видны только верхушки домов — маяк, для возвращения. Сопки молчат, не меняясь. Все так же спокойно дует ветер. Светло. Все так же тихо. Решение приходит сразу — пройти по прямой еще немного. Снег хрустит под ногами. Из-под него местами торчат пучки засохшей травы. Мальчик беззаботно идет.

Домов не видно. Вокруг белоснежные равнины. Над головой голубое небо. Облака. Желтое солнце. И все. Ни одной души рядом. Мальчик помнит, в какую сторону ему нужно повернуться. Неторопливо падает снег, большими лохмотьями. Мальчик ловит снежинки и рассматривает их. Время уже близится к обеду. Хочется есть. Приятно стоять на месте и смотреть над собой. Приятно смотреть вверх и кружиться. Куда ни повернешься, везде одно и то же.

Над головой кружит снег.

Снег! Мальчика охватывает ужас. Снег!

Неужели он забыл одну самую важную истину, которую рассказывали ему охотники! Как он мог забыть про нее! Ему постоянно твердили: «Если не послушаешь родителей и пойдешь гулять в сопки, иди, когда не идет снег. Если снег пошел, немедленно возвращайся. Снег заметет твои следы. Не заходи далеко. Всегда оставляй видимый ориентир за спиной».

Мальчик поворачивается. Видит собственные следы. Идет по ним, но через несколько метров они исчезают. Сердцебиение учащается. Появляется чувство обиды. «Сопки обидели тебя и сейчас смеются над тобой», — думает мальчик, обращаясь к самому себе. Но вокруг все спокойно. Медленно падает снег. Про него нельзя забывать. «Ты забыл, и он может обидеться», — приходит в голову мысль. «Не обижайся», — говорит вслух, обращаясь к снегу. Если снег обидится, то начнет идти сильней. Солнце светит. Тишина. Все спокойно и ничего не предвещает беды. Это спокойствие усиливает страх.

Мальчик бежит. Он бежит, как ему кажется, в сторону городка. Бежит долго. Но дома не появляются. Запыхавшись, приходится остановиться. От быстрого бега становится жарко. Страх становится привычным, сейчас. Не верится, что заблудился. Мальчик спокойно идет. Просто идет. Стоять на месте невозможно. Проходит час, но вокруг только сопки. Почему-то страх исчезает. В голову приходят мысли о том, что придется здесь замерзнуть. Но странно. Это уже не так страшно.

Проходит еще несколько часов. Мальчик идет не останавливаясь. Он идет не торопясь, уже не думая, куда прибудет. Смотрит на горизонт. Он не волнуется. Просто идет. Вокруг белеют сопки. Страх вовсе исчез. «Не стоит бояться сопок, — думает мальчик, — тогда они тебя отпустят». В груди появляется новое чувство. Оно не похоже ни на одно из тех, которые когда-то ощущал мальчик. Это чувство важнее всего сейчас. На мгновение кажется, что это чувс-

тво важнее жизни. Это ощущение вечного. Оно неизмеримо.

Впереди показывается огромный, заснеженный гранитный камень. Мальчик взбирается на него осмотреться. С первого раза вскарабкаться наверх не получается. После нескольких попыток все же удается. Вокруг ничего не видно, кроме сопок. Мальчик слышит звук, исходящий снизу. Из-за камня выбегает серый песец. От неожиданности мальчик вздрагивает. Песец смотрит мальчику в глаза. В них он не видит страха. Мальчик не может отвести взгляд. В глазах песца холод. Они словно светятся сине-ледяным цветом. В них видна свобода. В них одиночество.

Песец отводит глаза первый и бежит от камня. Метров через пятнадцать он останавливается и поворачивается. Смотрит несколько секунд. Убегает.

Мальчик замечает вдалеке еле заметную полоску домов. Раньше ее не было видно так отчетливо. Снег перестал идти. Радость переполняет. Мальчик бежит в сторону дома. Скоро он уже там.

Мальчик подходит к домам. Тело расслабляется, мальчик чуть не падает. На мгновение он останавливается и смотрит в сторону сопок. Где-то там бегает полярный лис.

Облака зеленеют. С неба падает огромная зеленая капля. Падает на дом. Жидкость стекает на землю. Брызги летят во все стороны. Мальчик смотрит на испачканные зеленые руки. Это краска.

Я смотрю на холст.

— А! — восклицает Вера.

В левом углу, там, где нарисованы дома, я вижу зеленую краску. Вера взяла не ту кисточку и случайно капнула на холст.

— Ну вот, — говорит она, — маленький ляп, — откладывает картину. Берет ту, где нарисован лес. Ставит перед собой. Смотрит на нее. Я молчу. — Ладно, — говорит, — пока хватит.

Мы пошли работать. Не доходя до нужного места, Вера остановилась.

— Вон на лавочке Сан Саныч, — сказала моя художница, — пойдем к нему, я хочу кое-что спросить, — взяла меня за руку и потянула.

Мы подошли к лавочке.

— Ну что, отдохнули? — спросил дворник.

— Да, — ответил я.

Мы сели рядом.

— Вы нам рассказывали про своего внука, — тихо промолвила Вера.

— Да, — сказал Сан Саныч, — заинтересовались? Я кому ни рассказывал, всем неинтересно.

— Он так все время дома и сидит? — Вера.

— А-а. Нет. Все время не может. Точнее, не дают. Он в школу ходит. В свободное время — всегда дома. Очень мало гуляет. Родители говорят — иди погуляй. А он отвечает, что уже нагулялся, хотя никуда не ходил. Странный немного. Точнее, другой.

— Дети индиго, — говорит Вера.

— Они есть, — словно пытаясь нам доказать, произносит Сан Саныч. Мы и так верим. — Знаете, врачи говорят, что он необучаемый. Я так не считаю. Родители не знают, что думать. Иногда он их шокирует. В школе он неважно учится. Учителя называют его невнимательным. — Дворник достает сигарету. Прикуривает. — Я не согласен. Чувствую, его как-то по-другому нужно обучать. У меня есть знакомый врач. Он интересуется такими детьми. С внуком общался. Говорит, типичный ребенок индиго. Знакомый говорит, у таких детей оба полушария развиты одинаково. Они и в технике соображают, и образное мышление у них сильное. Внук рисует постоянно. Глаза всякие, животных необычных.

— О, это интересно, — сказала Вера.

— Ага, — кивает дворник, — он так чутко чувствует обман. Очень сильно расстроился, когда узнал, что Деда Мороза не существует. Подошел к родителям и спросил, почему его обманывали. Он порой бывает очень серьезен. На улице двое мальчишек после школы дуэль устроили. Подрались. Он к ним подошел и очень серьезно стал говорить, что нельзя так делать. Папа его много работает. Ребенка мало видит. Сын спрашивает маму, зачем. Ради денег, мама говорит, чтобы купить тебе все. Сын подумал и попросил маму, очень хитро, купить ему звезды. Порой очень уж серьезно размышляет он о Боге. Он о нем начал рассказывать, как только говорить научился. Удивляет он родителей. Они думают — фантазирует. Я послушал, боже мой, он в четыре года библейские заповеди пересказывает. А читать-то еще не умел тогда. Телевизор не смотрит почти. Отходит от него, когда включают. Мультики иногда. Как посмотрит, начнет рассказывать о своем мире. Да так детально, — дворник, улыбаясь, смотрел на нас. — А, что, испугались, — засмеялся, — не бойтесь. Каждый немного ребенок индиго. Просто за последнее время все больше проявляется это у детей.

— А... — хотела что-то спросить Вера, но Сан Саныч ее перебил:

— Так! Вон администратор идет. Сейчас опять начнет. Вы уж идите тоже. Штраф еще всем выпишет, — дворник встал, — напоследок скажу, неудивительно будет, если всех за собой поведет ребенок, — и ушел. Мы пошли работать.

В оставшиеся дни работы Сан Саныч нам не встречался. Администратор нам сказал, что дворник уехал на пару дней домой. Вера хотела спросить его о внуке что-то еще, но не случилось. Мы почистили нужную территорию раньше на день, чем предполагалось. Нам все равно заплатили, сколько обещали, и отпустили раньше. Было немного грустно, покидать дом отдыха не хотелось. Мы привыкли к его тишине, к его спокойствию и неторопливости. В автобусе ехали молча.

В переходе метро было пусто. Время приближалось к полуночи. Шли мы неторопливо, каждый думал о своем. Нам навстречу вышли трое парней. Что произошло, я не успел понять, но заметил дикий испуг Веры. Я хотел спросить у моей художницы, кто эти парни. Один, матерясь, подбежал к нам.

— Узнала меня, узнала! — кричал он Вере.

Я вопросительно посмотрел на нее, но вместо ответа увидел в глазах ужас.

— Это они, — прошептала моя художница.

Стало ясно, что просто так стоять бессмысленно, я ударил крикуна. Он упал. На меня сразу же набросились двое других и свалили с ног (что самое страшное в такой ситуации). Я прикрыл руками лицо. Они, матерясь, били ногами. Насколько я понял, Вера сбила одного из них с ног своим огромным рюкзаком. Я попытался встать. Последнее, что я увидел, — приближающийся к своему лицу кроссовок.

Когда я очнулся, заплаканная Вера сидела около меня. У нее была разбита губа. Двое неизвестных мужчин угрожали уже отошедшим ко входу в метро напавшим на нас парням. Между ними бегал невысокий старичок в одежде охранника, дул в свисток и просил всех успокоиться. У одного из мужчин в руке была бутылка пива, он разбил ее о стену и медленно пошел на тех троих. Троица убежало в метро. Неизвестно откуда появился, еле передвигая ноги, пьяный кавказец. Он посмотрел на нас, перевел взгляд на уже идущих к нам мужчин с разбитой бутылкой. Пропустив основное действие, он неправильно понял ситуацию:

— Не трогай их. Слюшай, убей лучше меня, зарэж, — говорил он, встав перед нами, — зачэм тебе они. Зарэж меня.

— Иди отсюда! — сказала Вера ему.

— Я помочь хочу! Зачем прогоняешь, — возмутился тот.

— Уже помогли, — ответила ему Вера.

Двое подошли. Помогли мне встать.

— А, боец! Ну-ка, посмотри сюда. А, не сильно. Только нос разбит. Пару синяков, ничего, пройдет. Я тебе советую кастет купить. Или бабочку. А лучше прутик носи с собой железный. Я почти всегда ношу, сегодня только забыл. А на самом деле лучше пистолет. Тогда точно никто не тронет.

Вера достала из кармана платок. Я им вытерся.

— Ребята, давайте выпьем. Угощу! — сказал мужчина.

— Нам надо ехать. Спасибо, — сказала Вера и потянула меня за руку.

— Спасибо, — тихо сказал я.

— А, не за что, — ответил мужчина, — обычное дело, — и засмеялся.

Мне показалось, что если бы мы его встретили в пустом переходе, то пришлось бы отбиваться от него.

Мы поднялись на улицу. Поймали попутку. Доехали до дома. Уже дома я спросил:

— Откуда они взялись?

— Они, похоже, сзади шли. Когда все началось, подбежали.

— Ясно, — сказал я. Посмотрел на Веру: — А эти трое кто?

— Я виновата. Это из-за меня. Я.... Я у одного из них деньги брала.

— Долг?

— Нет, — Вера опустила глаза, — я украла. Это... это долгая история. Он был мне должен и не отдавал, я взяла сама. Немножко больше. На четверть. — Вера посмотрела на меня. В ее глазах я заметил флирт. То, что я узнал, меня не удивило.

— Бывает, — сказал я, — ты ведь другая сейчас?

— Я другая, — ответила Вера, — я так хочу избавиться от прошлого. Я сильно изменилась. Очень.

— Никто не без греха, — сказал я.

Для меня воровство моей художницы не имело значения. Мне не казалось это странным. Самым важным было наше дело. Я в очередной раз убедился, что не знаю ее.

Дорога домой

ВЕРА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА извиняться за случай в переходе. Я не переставал убеждать ее в невиновности. С того дня многое изменилось. Вера стала меньше рисовать. Редко просила рассказать ей что-нибудь. Она доработала все картины. Поставила их по порядку, в линию. Последнее время она работала над одним холстом, который мне не показывала. Утверждала, что доделает — покажет. Мы часто сидели в тишине, молча. Недавний случай в переходе связал нас общей бедой. Хотя, возможно, все могло быть иначе.

Вера часто сидела около окна. Молча. Смотрела в него и иногда сама себе что-то шептала. Я догадывался, что моя художница грустит по Питеру. Она о нем рассказывала с чувством восхищения и радости. Она хотела вернуться. Но боялась.

За последнее время я очень привык к Вере. Наши отношения изменились. Сейчас нашему делу стало что-то мешать. Когда я рассказывал моей художнице историю, я постоянно сбивался. Я смотрел, как она рисует, и видел, что у нее тоже не получается так, как раньше. «Что же мы потеряли?» — думал я. Мысли о Вере стали появляться все чаще и чаще. Я думал, пытаясь понять, в чем дело.

В один из дней Вера дорисовала картину, за созданием которой она запретила мне наблюдать. Я посмотрел на холст. На нем была нарисована наша комната. В ней все в точности, до самой маленькой детали, было вырисовано. Был вечер. Вера нарисовала себя сидящей на полу. А я был напротив Веры. На холсте было все гармонично. Цвета играли аккордом, каждая деталь была на своем месте.

Эта работа самая лучшая!

Недавнее настоящее подобралось к белым холстам Веры и шагнуло на полотно. Меня не покидала мысль, что чаша нашего дела пустеет.

Я помню тот первый вечер, первый день, когда приехала моя художница. Помню начало нашего пути.

Совместная жизнь рано или поздно принесет свои плоды. Мы собирали богатый урожай картин. Мне удавалось жить еще раз в нарисованном Верой своем прошлом.

У нас стали появляться чувства друг к другу.

Это и стало мешать.

Я знал, да и моя художница, уверен, тоже прекрасно понимала это. То тонкое ощущение друг друга, чувство нужной дистанции рухнули бы как карточный домик под кирпичом желаний и быта.

Уже сейчас, в моменты осознания своих чувств, появлялись проблемы. Вере было сложно рисовать. Я с трудом рассказывал.

— Надо закончить то, что начали, — сухо сказала моя художница. — У меня бабушка цыган-

ка, — зачем-то добавила она. В ее глазах было спокойствие. И отчаяние.

— Поехали в Питер, — предложил я.

— Поехали, — ответила Вера, — а когда?

— Завтра утром!

Вера, даже не думая, ответила:

— Поехали.

— Автостопом. Ты же хотела вернуться?

— Я боюсь, — сказала моя художница, — боюсь не дороги. — Пауза. — Я хочу вернуться! Не знаю, что будет, когда увижу дом.

— Надо закончить то, что начали, — повторил я, — сама говорила. Боишься, значит, надо.

— Спасибо, — сказала Вера, — давай собираться.

Взяла все свои картины. Сложила в стопочку. Обвернула большой тряпкой. Уложила все в свой рюкзак. Он у нее безразмерный. Я всегда удивлялся, как она таскает с собой такую тяжесть. Я собрал свой небольшой портфель.

— Я хочу подарить тебе эту картину, — сказала Вера и протянула мне свою последнюю работу, где были нарисованы мы. Я смотрел на холст несколько секунд.

— Спасибо, — поблагодарил.

Вера ушла умываться. Я достал часть заработанных в доме отдыха денег и спрятал их в шкаф. Другую часть оставил в кармане. Прислушался, не идет ли моя художница. Поверх денег положил подаренную картину. Достал из своей сумки припрятанную белую розу. Подарить ей цветок лучше позже. Положил его на картину. Закрыл шкаф. Чем окажется роза, точкой ли или началом, я не знал.

Вера села на подоконник.

— Выключи свет, — попросила моя художница. Я выключил и сел рядом. В темноте я отчетливо видел силуэт Веры. Я видел сложенные руки на коленях. Ее плечи. Наблюдал, как она медленно вертит головой. Мне захотелось ее обнять. Но я не стал.

— Давай помолчим, — тихо промолвила она.

Мы сидели около получаса. Потом легли спать. Я долго не мог заснуть. За пару часов до раннего подъема все же отключился. Мне приснился север. Я увидел свой заполярный городок сверху, с неба. Казалось я медленно парю над домами. Я вижу крыши построек, они словно шляпки грибов белого цвета. Я медленно спускаюсь на землю. Передо мной дом офицеров. Я подхожу к входу. Смотрю на облака. Они темно-серые, плотные, в них есть нечто зловещее и коварное, они мне не нравятся. Сделав шаг, я краем глаза замечаю человека справа от меня. Я двигаюсь в его сторону. Он сидит на ступеньках, в пуховике, без шапки. На его голову опускаются снежинки. Я узнаю в нем своего учителя по труду. Он курит. Я заглядываю в его глаза. Они словно стеклянные. В них нет ничего. Выражение отсутствует. Он поворачивается ко мне и приглашает присесть рядом. Я сажусь. Он говорит мне, что осталось чуть-чуть. Я не понимаю его и об этом говорю. Он поясняет мне. Я узнаю, что, кроме нас с ним, в городке больше никого нет. Все ушли. Я спрашиваю куда. Он кивает головой в сторону моря. Я смотрю на море. Вдалеке, уже на горизонте, виднеется белая точка. Это корабль! Я спрашиваю, почему они уплыли. Он смотрит мне за спину. Я поворачиваюсь. За домами, далеко на горизонте, я отчетливо вижу, как с неба на землю резко падает белая линия. Она становится все больше и больше. С каждой секундой вертикальный снежный столб пугает меня все сильней. Я слышу гул, он становится громче. Это смерч! Это ледяной смерч! Он движется прямо на нас! Это огромная снежная воронка! Не может быть! Мне становится страшно. Бежать некуда, понимаю я, и просыпаюсь.

Прошло всего два часа как я заснул. Будильник зазвенел. Вера уже встала. Она сидела на подоконнике.

— Доброе утро, — пожелала она.

— Взаимно, — ответил я.

— Я уже час как не сплю, — сказала Вера и коварно улыбнулась, как часто бывает.

Мы вышли на улицу. Доехали до Ленинградского шоссе.

Машин было много. Периодически водители останавливались, но никто не хотел подвозить бесплатно. Мы долго голосовали. Наконец, остановился грузовик.

— Мы в Питер, — сказал я водителю, — подальше, за город подвезете?

Водила кивнул. Ехали молча, наконец, он спросил:

— Путешествуете?

— Да, — ответил я.

Прошел еще десяток минут. Молчать было неудобно. Я стал задавать вопросы. Спрашивал о работе, о грабежах на дорогах. Водитель рассказывал анекдоты, я старался смеяться над ними. Поддерживать беседу было необходимо. Водитель взбодрился. Говорил о своей семье, о детях. Мне ничего не оставалось делать, как быть активным собеседником.

— Я вас подобрал, чтобы не заснуть, — сказал он, — одному скучно. Дорога баюкает. Разговор сон отбивает. Вы смотрите, если я к рулю начну клониться, толкните меня.

Через несколько часов он нас высадил. Ему было не по пути. На шоссе легче поймать машину. В основном нас подбирали дальнобойщики. У всех я спрашивал одно и то же. Каждый отвечал по-своему, но, по сути, все ответы были похожи. Мы ничего не ели весь день. Уже ближе к шести часам вечера стало немного страшно. Мы стояли на обочине. Половина пути была проделана. Возвращаться уже бессмысленно. До Питера и до Москвы одинаково. Мы стояли, вглядываясь в лобовое стекло каждого автомобиля. Никаких желаний не было, кроме одного желания. И я, и Вера хотели поскорее оказаться в машине. Стало холодать. Наконец, нас подобрал очередной дальнобойщик. С ним разговаривала Вера. У меня уже не было сил задавать одни и те же вопросы. Я сидел на диванчике за передними креслами. Водитель долго рассказывал о своей матери, которая живет в Мурманске. Явно соскучился. Он говорил, что она живет одна. Когда он рассказывал про мать, я вспомнил похожую на нее по описанию старушку. Рассказал про нее. Она жила у нас в городке, на севере. Мы жили в квартире, на первом этаже, и я часто сидел около окна, наблюдая за улицей. Мимо, изо дня в день, ходила бабушка. Она шла до конца улицы. Потом шла обратно. Она всегда ходила с маленькой пушистой собачкой. На голове собачки был маленький красный бантик. Я узнал, что эта бабушка живет в городке всю жизнь. У нее был муж, но он утонул, когда произошло крушение судна капитана Бессонова. Сыновья, как и отец, любили море и стали подводниками. Как и отец, они утонули. Но не на корабле. Они разбились о скалы, катаясь на катере. И утонули.

Бабушка жила одна. На краю земли. Иногда заглядывала в школу, где в прошлом преподавала. Каждый день я смотрел на нее и на ее вечно живую собачку. Старушку не было жалко. Почему-то мне становилось спокойно.

Когда я рассказывал, я заметил, что Вера рисовала карандашом на листочке. Потом на мгновение остановилась. Смяла листочек и, приоткрыв окно, бросила его туда. Но он не улетел на асфальт. Ударившись о стекло, он оказался у меня на диванчике. Я развернул его. Моя художница пыталась изобразить эту бабушку, окно, собачку. Но у нее не получилось. Раньше такого не было. Она всегда попадала в точку с первого раза.

Этот дальнобойщик отличался от других. Он не рассказывал анекдотов, он спрашивал про нашу жизнь. Мы разговорились с ним.

— Ты жил в Мурманской области ведь, — говорил он. — Да, знаю я, как там порой бывает. Я в Мурманске, а ты еще дальше, за полярным кругом! Надо же. Слышал я, в таких городках с электричеством проблемы всегда.

— Со светом бывали проблемы, — говорю я, — но не всегда. Редко, но надолго. Один раз на месяц отключили. Полярная ночь была. В обед уже темнота. Жили при свечах. Готовили на огне, на керосинках. Раз так! Нет электричества и все — ты в другом веке. А если еще где в трубах вода замерзнет — трубы лопнут — воды нет. Еще веселее. Самое интересное, жили весело. С соседями общались, смеялись.

— Погибать, так с музыкой, — сказал водитель.

— Да, — говорю я, смеясь, — верно.

Остаток пути до Питера мы проделали в компании этого дальнобойщика. Периодически он замолкал, минут на двадцать, после чего опять спрашивал.

— Я с женой поссорился, — тихо промолвил он, — плохо это. Перед отъездом ссориться невыносимо. Всю дорогу думаю, как она там, — он посмотрел на нас, — если бы не ссора, вас бы не подобрал. А так хоть поговорить можно. Отвлечься.

— А долго рабочая смена длится? — спросил я.

— Когда как, — ответил он, — груз довезешь — конец смены. Я от предприятия работаю. Неделю в дороге, неделю дома. Процент свой от груза платят, за перевозку. Смотря что везти. Я ценный груз не люблю, опасно. Нервничаешь постоянно, — дальнобойщик улыбнулся, — прошлая поездка в Нижний Новгород была. Точнее, в область. Устал я сильно. Решил переночевать там. В кровати поспать. В салоне невыносимо. В одной деревушке домик снял на ночь. Представляете, в жизни никогда такого не видел. В общем, история такая, — дальнобойщик серьезно посмотрел на нас. — Жили старичок с бабушкой. Возраст уже преклонный у них был. У старичка нога больная была. Какая болезнь — не знаю. Больную ногу он клал на небольшую чурочку. Чурочку никому не давал. Говорил, что помогает она ему — боль снимает. Много он с ней времени проводил. Каждый день часов по пять, сидел или лежал — всегда с ней. Даже ночевал с ней, — водитель с ухмылкой глянул на нас, — старичок умер. Через полгода чурочку его расколоть решили. Я вот этот момент и застал. Пошел я попрощаться, уезжать было пора. Старушка эта мне дом сдавала. Захожу во двор, внук дрова колет. Я тогда про чурочку и не знал ничего. Смотрю, хорошо дрова колет! Поставит чурбанчик. Топором даст, на две части — раз! Прошу его бабку позвать. Бабка пришла, в руках чурочку дедовскую держит.

Внуку дает, просит расколоть, какая от нее еще польза, мол. Внук поставил. Раз топором, да не расколол. Топор отлетел, словно от камня. Внук второй раз даст, топор из рук вылетел, а чурочка на две равные половинки распалась. Я смотрю, не могу глазам поверить. На одной из половинок распятие из смолы вылито. Четкое. Словно мастер делал. Оставаться я не мог, надо было ехать, я и так много времени потерял. Только и успел расспросить про эту чурочку, мне и про старичка рассказали. Дослушал и пошел. Вот так случай.

Больше дальнобойщик нам ничего не рассказывал. Всю оставшуюся дорогу он молчал, лишь иногда мы слышали тихую ругань от него на других водителей. Я сладко задремал.

— Все, ребятки, — сказал дальнобойщик, — приехали. Черная речка.

Мы добрались до Питера.

Питер

ВЕРА ЗАМЕТНО оживилась. Я, сонный, шел за ней. Она поймала попутку, мы доехали до гостиницы. Моя художница не говорила, где мы будем ночевать, она все предусмотрела и не волновалась на этот счет. После долгой дороги я мечтал поспать на простой кровати. В гостинице я сразу же лег спать.

Проснулись мы ранним утром. Привычка вставать рано осталась с дома отдыха. Мы позавтракали. С виду Вера была спокойна, но что-то ее внутренне тяготило.

— Пойдем погуляем, — сказала она, — я хочу посмотреть на свой дом.

Мы вышли на улицу.

— Здесь недалеко, — тихо промолвила моя художница и щелкнула костяшкой пальца.

Мы прошли пару сотен метров. Я не поспевал за Верой. Она почти бежала.

— Еще немного, — негромко сказала она, — за этим домом будет ДК, а чуть дальше мой дом, — она говорила, не поворачиваясь. Я еле слышал ее.

Глядя на большой рюкзак моей художницы, я в очередной раз удивлялся ее выносливости и силе. Было забавно смотреть на такую дюймовочку с походным рюкзаком. Мы завернули за ДК. Вера резко остановилась. Я это место видел впервые, но для Веры оно много значило. Сейчас я видел свою художницу в необычном настроении. Ее брови чуть дрожали. Руки крепко сжимали лямки рюкзака. Глаза были широко раскрыты. Она смотрела в сторону дома, не отрывая от него взгляд.

— Вон мой подъезд, — сказала она очень тихо и указала рукой.

Я увидел подъезд, для меня ничем не отличающийся от других. Старый. Потрепанный временем. Вера очень медленно пошла к нему. Мы подошли почти вплотную, как Вера вдруг остановилась.

— Вот заборчик, — сказала она и дотронулась рукой до небольшого ограждения метровой высоты, — в детстве он казался мне огромной стеной, — добавила: — До сих пор стоит.

Я молчал. Мне нечего было сказать. Я почувствовал спокойствие. На мгновение мне стало жалко мою художницу. Она так хотела вернуться, как мне казалось, сама не зная куда. Возможно, этим возвращением Вера и жила последнее время. Этот двор все тот же. Тот же и подъезд. Те же окна, двери. То же, но не то. Все уже совершенно другое. Она изучала каждый сантиметр этого дворика. Я сел на лавочку. Вера очень медленно переходила от одного места к другому. Сделает шаг. Остановится. Стоит, словно прислушиваясь к звукам двора. Или прислушиваясь к себе.

Не больше получаса моя художница изучала дворик, после чего села со мной рядом. Она молчала, ее лицо было совершенно спокойным.

— Вон там окно квартиры, где я жила, — Вера указала рукой на него. Форточка была открыта. Поток воздуха покачивал белые шторы за окном.

— Зайдешь? — спросил я.

— Нет, — сказала она спустя полминуты.

— А кто там? — я.

— Мама, — Вера.

Мы посидели еще несколько минут. Моя художница встала и пошла к дороге. Я пошел за ней.

— Не сейчас, — услышал я шепот Веры. Мы ушли к гостинице.

Весь оставшийся день Вера молчала. Мы сидели в комнате и ничего не делали. Мне казалось, что моя художница расстроена. Несмотря на это, Вера была очень спокойна. Ближе к поздней ночи мы легли спать.

Новый день начался для нас на рассвете. Я проснулся, как только взошло солнце, и с удивлением обнаружил, что Вера встала раньше. За завтраком моя художница сказала:

— Я вчера ничего не почувствовала, — и посмотрела на меня. Я это понял еще вчера.

— Пойдем в Эрмитаж, — это лучшее, что я мог предложить сейчас Вере. Она посмотрела на меня и улыбнулась.

До обеда мы гуляли по Питеру. Моя художница стала невероятно радостной. Она не могла

стоять на месте, постоянно кружилась, хлопала в ладоши и смеялась. Перед Эрмитажем мы купили воды. Есть совершенно не хотелось. Мы зашли в здание. Сначала, гуляя по залам, Вера останавливалась около некоторых картин. Подолгу их рассматривала. Спустя несколько часов мы уже просто шли из помещения в помещение, наблюдая за всем на ходу. Сейчас моя художница была счастлива.

Ближе к вечеру глаза устали. Цвета из разных картин слились в один большой водоворот краски. Мы утомились. Немного отдохнув перед Эрмитажем, Вера предложила:

— Поехали к моему мосту. У меня с ним столько всего связанно. Мы проводили уйму времени около него, раньше. В детстве. Это было место наших встреч.

— Поехали, а что за мост? — спросил я. Идея мне понравилась.

— Наш мост, — ответила она.

— Очень интересно, — сказал я. Ни расстроится ли Вера сегодня, как вчера? Я задавал сам себе этот вопрос. Мне бы этого не хотелось.

До моста мы добрались довольно быстро. Вера поймала машину и сама расплатилась. Я предлагал ей деньги, но она, улыбаясь, отвечала, что хочет платить сама.

Мы стояли на мосту.

— А как он называется? — спросил я.

— Народный, — ответила Вера, смотря на воду.

Я смотрел на воду тоже. Шум города смешивался с шумом воды. Это было замечательно. Краем глаза я заметил, как моя художница достала что-то большое из рюкзака. Я посмотрел на небо. Раздался плеск воды. Я посмотрел на Веру.

— Ой, — сказала она улыбаясь. Моя художница выкинула картину в канал!

— Стой, что ты делаешь! — крикнул я.

Вера достала еще одну картину и выкинула ее с моста. Мальчик около подводной лодки полетел в воду. Плюхнулся. Картина поплыла по течению. Проходящие мимо люди смотрели на нас, ничего ни говоря.

— Зачем ты... — уже тихо, почти шепотом, промолвил я.

Моя художница молча доставала картины и кидала их в воду. Она не торопилась. Смотрела на каждую по несколько секунд. Я с болью смотрел на каждое полотно. Вера закончила. Я увидел в ее глазах сомнение и страх, но потом моя художница улыбнулась. Глубоко вдохнула. Начала кружиться, отойдя не середину моста.

— Была голышом, бегала по траве, — говорила она, смотря в небо, — оделась в белое. С ног до головы, вся в белом. Сняла платье, ходила в любом цвете. Меняла краску. Прошло время, оделась в черное. Во все черное. С ног до головы. Сняла черное платье, потеряла цвет. Выронила краски. Осталась цветами. Рассталась с цветами.

— Вера, — сказал я и вздохнул.

— Я море, — промолвила она.

Я посмотрел на уплывающие картины. В голову пришла мысль прыгнуть с моста. Разбежаться, оттолкнуться и плюхнуться в холодную воду. Простудиться, промокнуть, но спасти полотна. Но я не прыгнул. Я отпустил их.

Мы молча шли вдоль канала. Вера села на лавочку. Достала листочек. Я устроился рядом. Моя художница начала рисовать маленьким карандашиком. Через полчаса на бумажке был уже вполне узнаваемый мир. Север. Причал. Вера рисовала море. Судя по большим волнам, погода была буйной. Полузатонувший причал пеленала морская пена. На мгновение она остановилась, рука с карандашиком замерла. После короткой паузы моя художница нарисовала человека, стоящего на причале.

Человечек начал вертеть головой. Потом забегал из стороны в сторону. Он суетился, волны пугали его. Поскользнувшись, он начал скатываться в воду. Его руки суетливо пытались ухватиться за изогнутые перила.

Внезапно море изогнулось. Это было похоже на цунами. Человечек взобрался на верх причала. Все вокруг начало гнуться. Море комкалось, поднимая часть воды с берегами к небу и смешиваясь с облаками. Причал согнулся пополам, человечек в страхе замер. Земля, вода и небо слились в комок графита, в эту же воронку унесло человека.

Это Вера комкала листочек. Зарисовка ей не понравилась. Она выкинула его в урну. Встала и подошла к каналу. Пока моя художница наблюдала за водой, я засунул руку в мусорку и спрятал выкинутый листочек в карман.

Остаток дня до вечера мы провели в безмолвии. Мы гуляли. Вера сделалась серьезной и задумчивой. Иногда она выглядела так, словно сейчас заплачет. Иногда еле заметно улыбалась. Я не знал, что у нее творится в голове. Не знал, о чем она думает. Я чувствовал себя невероятно свободно.

В гостинице Вера сказала:

— Знаешь, я, кажется, избавилась от... в общем, мне просто как-то легко, — и улыбнулась.

Уже перед сном моя художница тихонько шепнула:

— Спасибо.

Я закрыл глаза и заснул.

Проснувшись, я обнаружил, что Вера уехала. Она забрала свои вещи. В углу, где стоял ее огромный рюкзак, было пусто. Я заварил чаю. Сел на подоконник. Я ждал. Ждал час. Потом еще два. Веры не было. Ждал до вечера. Но, похоже, моя художница уехала, не собираясь возвращаться.

На вокзале я купил билет до Москвы. В поезде мимо меня проносились люди. Кто-то из соседей попытался со мной заговорить, но я, не отрываясь, смотрел в окно и ничего не отвечал. В груди что-то давило, заворачивалось, я не мог понять — то ли мне хорошо, то ли безмерно грустно. Движение поезда меня убаюкало. Я заснул. Давно я не спал так крепко. Поезд остановился. Проснувшись, я даже слегка удивился — что я делаю в поезде.

Дома я зашел в свою комнату. Долго сидел на пороге и изучал свое жилище. Когда со мной жила Вера, ее вещи были для меня незаметны. Сейчас мне казалось, что комната опустела.

Я вспомнил о картине и о цветке, который не подарил. Я заглянул в шкаф и... Картины не было. Цветка тоже. Пропали и деньги. Мне захотелось смеяться. Четверть цыганки в Вере меня ограбила, это было замечательно.

— Вера, ты, как всегда, угадала, — сказал я самому себе, смеясь. Когда я обнаружил пропажу, мне стало легче. Это и была точка. Моя художница молодец.

Я сел за стол. Взял ручку. И начал писать все, как было, с самого начала. Поздней ночью я лег спать. Перед сном я развернул набросок причала, сделанный Верой в Питере. Я знал, что никогда не смогу вернуться туда. Заполярный городок расформировали. Всех людей переселили. Мне приснился север.

Север

Я УВИДЕЛ северное сияние. Неморгающий зеленый глаз расползся по всему небу. Была полярная ночь. Я видел свой городок сразу в нескольких местах, как часто бывает во сне. Улицы занесло снегом. Их никто не чистил. Городок был пуст. В окнах не было света. Все уехали. По площади шел олень. Он уже приходил сюда, но в прошлом здесь были люди. Его тогда не тронули, он смело пришел еще раз.

Стая бездомных собак бегает по городку. С каждым днем они дичают и становятся злее. Приходит время и самую слабую собаку из стаи

приходится убить и съесть. Пищи нет. Холод и снег.

Белый медведь идет по городку. Он слышит лай собак, чувствует их запах. Ему не трудно поймать одну из них. Он идет осторожно. Запаха человека не чувствуется, но он знает, что люди очень опасны, они могут за секунду убить его. Когда-то они убили его мать. Он помнит, как охотники застрелили ее. Он был еще медвежонком, но его они не тронули. Из рассказов охотников я помню историю об этом случае. Этих людей поймали и наказали. Сезон охоты не был открыт в то время. Они даже не успели забрать подстреленную медведицу, когда их обнаружили службы по борьбе с браконьерством.

Оставлять медведицу было бессмысленно. Ее увезли в городок. Возможно, тогда медвежонок понял, что мать жива. Может, он даже надеялся на это. Только сейчас он пришел к людям. Но никого не обнаружил.

Я вижу, как медведь идет по площади. При виде его олень поспешно *убегает*. Медведь смотрит ему вслед. Он не голоден. Ему сейчас незачем охотиться. Он забирается на трибуну, с которой не так давно вещали люди. С нее лучше наблюдать за округой. Он смотрит в сторону моря. Снег мелким крошевом щекочет морду. Северное сияние украшает небо. Через время снег засыплет дома.

Между домами, на окраине городка, промелькнет серый песец. В зубах он держит пойманную куропатку. Северный лис посмотрит несколько секунд на дома и побежит в сопки.

Яна Мамбетова

Студентка Литературного института им. Горького. Родилась в Уфе. Ищет центр мира.

Ах, Алиса

Рассказ

НАШ МАРАТ растрепан, хмур и резок, руки его всегда напряжены и тяжелы, походка — стремительна, он качается, с трудом не бежит, гулко звучат его вечно грязные туфли. Он не здоровается, входя, и мы радуемся, когда он пропускает репетиции.

Не просто радуемся, если честно, а так, что включаем первый попавшийся диск и несколько минут просто прыгаем по залу, кидаясь на стены и на пол, и иногда что-то вскрикиваем сквозь зубы, но что именно — не разобрать самим.

Иногда в такие дни кто-то вдруг начинал махать руками, собирал всех вокруг себя, объяснял им что-то и за одно занятие делали этюд, да такой, что Марат, приходя, удивлялся самостоятельности и кажущейся ему самобытности того, что видел. Обычно этюды ему старались не показывать, но только через него они попадали на сцену, так что просмотра было не избежать.

Волосы его светлы, длинны и всклокочены, туфли грязны и грустны, когда он забывает их в раздевалке, но не поэтому, совсем не поэтому мы его — не любим.

Все начиналось очень просто: к нам приняли Алису. Невиннее события невозможно было придумать; она пришла на первое свое занятие, все узнали, как ее зовут и как она здесь оказалась, и начали разминку. Эта Алиса стояла в углу и с неприятным сосредоточенным выражением лица повторяла вслед за всеми плие, вцепившись левой рукой в станок. На ногах ее были зеленые гетры.

Марат пришел, как всегда, поздно и, не поздоровавшись, упал на стул в углу, свесив руки. От него старательно отводили глаза, а его острые колени упрямо указывали в зал, и его черные глаза придирчиво рассматривали каждого.

Я стояла к нему ближе всех, а дальше всех от него стояла Алиса, и вряд ли только зеленые гетры на ее ногах привлекли такое пристальное внимание. Мне с моего места было видно, как спокойно она работает и какое у нее при этом безразличное лицо. Все усыпанное бледными веснушками, но этого, конечно, разглядеть было нельзя.

— Я вот посмотрел сейчас, — говорит Марат, когда мы закончили и устроили перерыв, — какие же вы все-таки уроды.

И начинает объяснять каждому его недостатки. Мы внимаем. Нужно заниматься больше, больше, со следующей недели будет дополнительный класс хореографии, всем ходить в обя-

зательном порядке, ответственной — что неожиданно — буду я. На этом отдых заканчивается, и мы начинаем. Алиса сзади, разучивает все партии сразу, мы склеенными парами выходим на середину. Марат щелкает нам пальцами и отбивает ритм ногой.

* * *

Мы занимаемся каждый вечер, кроме субботы и понедельника, и устаем друг от друга на репетициях. Все реже и реже мы выбираемся куда-нибудь все вместе.

И это все Алиса.

Это все Алиса с ее бесцветными волосами и веснушчатым лицом, Алиса в зеленых гетрах, через неделю после своего прихода, попросившая Костю помочь ей, из чего получилась красивая приличная миниатюра. Костя поправил футболку, перевязал свой хвост и согласился: они ушли в угол и шептались и топтались там. Костя придерживал Алису, а она, лежа на его руках, ходила по стенам.

Не успев войти, Марат закричал на нас, что мы бездельники, и заставил вспоминать одну старую вещь, которую он хотел подновить, но которую никто не помнил. Конечно, это разозлило его еще больше, как злы были его шаги, когда он шел вдоль зеркал. Костя рассмеялся в углу и поставил Алису на землю.

— Вспомнили?! — спросил у них Марат.

— Нет, — ответила Алиса. — Мы не этим занимаемся.

— Почему вы не этим занимаетесь? Я ясно сказал: всем вспоминать «Стулья». Слышали?!

Его лицо становится очень некрасивым, когда он начинает кричать, темнеет и стареет за несколько мгновений; Алиса отшатнулась от него, шагнувшего в ее угол. Она в жизни не видела наших старых «Стульев» и ей нечего было вспоминать, но она промолчала. Сжала губы и промолчала.

Вот так все и началось. Мелочь и мелочь, а потом вдруг выросло что-то ужасное.

— Не обращай внимания, — шепнул ей Костя потом. — Он у нас всегда бешеный.

Ему, конечно, повезло, что Марат не слышал. Алиса сдержанно кивнула, ответив: «Хорошо», — и больше в тот день не произнесла ни одного слова. Только помогая мне вытаскивать занозу из ладони, получение которой и завершило ту репетицию, полюбопытствовала, что это были за «Стулья».

— Джазовый номер, — ответила я. — Три человека ухаживают за одним стулом. А на стуле боа какой-то девушки. Потом кто-то побеждает, появляется девушка, но уходит с другим, а победитель так и остается со своим стулом.

— А третий?

— А третий остается один. Так и расходятся по углам — две пары и один, несчастный.

— Ну, может, он и не такой несчастный, — возразила Алиса и сжала губы, вытаскивая одну тоненькую занозину. — Может, он-то как раз и счастливый. И за кулисами его ждет что-то хорошее.

— Когда ты на сцене, кулис не существует.

Она отвлеклась от моей ладони, опустила глаза, и я принялась считать веснушки у нее на щеках, но тут же спохватилась:

— Так Марат говорит.

На этом разговор прервался. Я ходила с забинтованной рукой больше недели, но снисхождения со стороны Марата не чувствовала.

* * *

И это повторялось из вечера в вечер.

Мы входили в зал, пахнущие осенней гарью, осенним ветром и осенней сыростью. На улицах зажигались фонари, мы не обращали внимания, у нас было новое задание: каждый раз какой-то паре завязывали глаза платком и ставили на середину. Так, чтоб, вытянув руки, они могли коснуться друг друга. К каждому слепому приставлялся один зрячий, чтобы направлять его в случае полной дезориентации, но обычно они молчали. Нащупав друг друга, слепые начинали приближаться, и мы все следили за их пальцами, стараясь дышать как можно тише. Иногда те, кому завязали глаза, начинали разговаривать друг с другом, но их речь была столь же непонятна нам, как и то, что чувствовали их пальцы. Возможно, именно это они и пытались сказать, но этого не почувствуешь, пока сам не ослепнешь.

Особенно Марат хвалил Костю и Лену, которым выпало выходить в числе последних. Лена была маленькое лысое существо, носящее вне зала огромные очки и не любившее серьезные разговоры. На все она отвечала шуткой, но, попадая сюда, телом не смеялась никогда. Она повела себя активнее всех остальных и, резким рывком притянув к себе Костю, позволила его пальцам походить по себе, а потом, будто лепила статую, поставила его, как ей чувствовалось, и медленно залезла к нему на плечи. Костя с трудом держал равновесие.

— А-и, — пропела Лена, соскальзывая на землю. Получилось сдавленно и конец смазался, но все равно нам понравилось.

А Алиса ведет себя так странно. Я все еще думаю, что мы ей нравимся. Когда она встречает

кого-то из нас у дверей в раздевалку, ее губы улыбаются и все лицо, обычно такое сосредоточенное, неправильной формы, неприятное, — оно все светлеет. И веснушки из угрюмых и жалких становятся весенними; она все-таки умеет улыбаться.

А еще она умеет многое другое: однажды, вместо того чтобы отдыхать в перерыв, она попросила нас всех сесть. Только Костя остался стоять. Она порылась в альбоме с дисками, нашла нужный, и на нас полилось какое-то невнятное шипение, изредка разбиваемое длинными скрипичными стонами; шипение — это был Костя, а вступающая скрипка — это была Алиса. Скрипка дергается, Алиса оступается, шипение усиливается, и Костя ловит ее, чтоб, аккуратно поддерживая, позволить ей, находясь в горизонтальном положении, пройтись по воздуху. После этого он ставит ее на пол и поворачивается к нам спиной.

Мы не успеваем похвалить эту их вещь, а ее действительно нужно хвалить, когда приходит Марат, но ни Костя, ни Алиса не спешат просить его посмотреть на то, что они сделали. Напротив, они уходят вглубь. Вместо этого на середину выходят трое других — они выносят стул и начинают оказывать ему всяческое внимание, но Марат хлопает в ладоши — он неожиданно придумал какой-то новый кусок, мы начинаем повторять вслед за ним, стул забыт, боа упало на пол. Так странно — увлекшись чем-то новым, Марат забывает о стуле, и тот со скрипом отползает в угол в конце репетиции. Больше мы к нему не возвращаемся.

— О, многострадальная мебель! — с пафосом обращается к стулу Костя, падая перед ним на колено.

Это уже другой день, один из тех замечательных дней, когда мы предоставлены сами себе, когда наш надзиратель почему-то отсутствует, и можно остаться здесь до ночи. Можно выключить свет и ходить на руках, невнятно и хрипло звуча горлом, можно не делать ничего, если тебе не хочется, если руки и ноги вдруг отяжелели, но этого, конечно, никто себе не позволяет.

— О, бесстрашный стул! Что за участь! Ты был на сцене и тебе рукоплескали, ты был обласкан светом софитов и прикосновениями заинтересованных в тебе рук! А теперь! О, горе!..

За представлением с любопытством наблюдают Леныч и Алиса. Я вместе с тремя людьми вспоминаю и придумываю поддержки, а остальные ушли, поняв, что Марат не явится. Так обычно и бывает: остаются немногие заинтересованные; и чем их меньше, тем интереснее проходит вечер.

— А теперь на тебе сидит Зиганшин, — продолжает Костя, хватая стул за сиденье. — И, будь уверен, когда-нибудь он тебя раздавит.

Лена фыркает, стул безмолвствует. Жаба, державший меня на своем колене, устает и, взяв за талию, ставит на пол.

В тот вечер Алиса избрала себе в партнеры именно Жабу, а еще поманила Лену, и Лена тоже заулыбалась, а больше они никого не звали, хотя и не смущались, если на них смотрели. Алиса сидела на корточках, упираясь руками в пол, и раскачивалась, над ней стояла Лена, тоже поймавшая эту качку, а над ними возвышался Жаба и тоже раскачивался, иногда порываясь упасть вперед.

Одна минута, две: мы уже потеряли весь интерес к своим поддержками, а Костя, изображающий Марата, застрял в стуле; а они раскачиваются, и по хитрющим Лениным глазам можно догадаться, что именно этого они и дожидаются. В зале становится холодно.

Взрыв! Это Алиса с силой бьет в пол, и Жаба падает вперед; она и Леныч успевают откатиться, утечь в стороны, но Жаба все равно придавливает их ноги, и они лежат. Снова можно отсчитывать минуту.

— А дальше? — спрашивает Костя.

— Следующая серия будет завтра, — флегматично отвечает Жаба.

Алиса отряхивается и помогает Косте выбраться из стула.

* * *

Но следующей серии не получается, потому что Марат возвращается, и невозможно не заметить, как сникает Алиса, когда он находится в одном с ней зале. Марат занимал свой стул и запускал руки в волосы, глядя на нас. Нет, не одна она старалась отойти подальше. Иногда у Марата бывали такие глаза — стоит только взглянуть в них, как тут же забываешь все, что пришло в голову, и ищешь только укрытия от этого взгляда. Костя и Жаба дурачились друг с другом, когда у Марата были такие дни, но было видно, что и им очень неловко.

В тот день мне везло, мне странно везло: я забыла книжку, обещанную Марату, и он сам забыл о ней и не обратил внимания, когда Жаба глупо пошутил, растягиваясь у станка, и не смотрел ни на кого, кроме Алисы. Мне изредка требовалось пересечь эту невидимую линию, связавшую их двоих, и я незаметно нагибалась, чтоб не нарушить ее. А на самом деле всем было тягостно, Марат молчал.

Во время второго перерыва я сидела на полу и думала: что такого в ее прямой спине, что все,

глядя на то, как она незаметно отворачивается от Марата, ловят себя на том, что стремятся отвернуться тоже?

Будет странная картина: Марат входит в зал, неся в руке свои ботинки, и застывает. Он видит ряд одинаковых черных спин: все сидят на середине зала, между станком и зеркалами, сидят, прижавшись или даже запутавшись руками, и молчат. Эти спины — они только молчат ему. Хотя каждое человеческое тело может говорить.

Вдруг мимо него проскальзывает кто-то, например пусть это будет Лена.

— Привет, — забывшись, от неожиданности происходящего говорит Марат.

Кто-то дергается, видя, как повлияло на него увиденное — он даже начал здороваться, но соседи удерживают его и не дают подняться с пола. Лена молча проходит на середину и, не глядя на Марата, садится с краю. Ее рука сплетается с моей рукой, а моей спине чудится, что Марат отшатывается назад. Он видит, что мы срастаемся друг с другом, и никогда больше не повернемся к нему лицом.

* * *

Ах, Алиса, — я опомнилась слишком поздно.

«Ах, Алиса!» — гремит у меня в голове.

— Мышь! — донеслось из зала.

Мы выходили из раздевалки и брели по коридору мимо раскрытых дверей — я, Леныч и Алиса. У меня с завидной периодичностью сводило левую ногу на репетиции, и Марат предлагал уколоть ее булавкой, но я отказывалась и на одной ноге упрыгивала в угол.

Одно из самых страшных ощущений — понимать, что не можешь контролировать собственное тело. Неподвластное сокращение мышц под кожей, сигналы из мозга не доходят, застревают на полпути и нога неподвижна, хотя с такой же легкостью она может выпрямиться и устремиться вперед: кости пропорют кожу, выйдут наружу и все станут кричать и отворачиваться. Эти мышцы, эта дрожь — это что-то чужое, оказавшееся во мне, нужно вытащить, нужно избавиться. Тело подводит и в голове остается все меньше разума, начинаю понимать, что работают только рефлексы: как у гусеницы; поднесешь палец — и она свернется колечком.

— Мышь! — доносится из зала.

— Мы тут подождем, — говорит Леныч.

Я сворачиваюсь колечком и вхожу в зал.

Марат сидит верхом на стуле, я спотыкаюсь о порог, но беру себя в руки — мне не сто лет, я могу, я чувствую себя. Мне нечего бояться и ожидать от себя неожиданностей.

— Ты чего? — спрашивает Марат. — Что случилось? Что-то случилось?

Сперва мне кажется, что он говорит обо мне, но он на самом деле говорит о себе, а то, что ругает меня за плохое поведение, — это так, не важно, можно и не услышать. Он говорит о себе. Разве мог он не заметить, как странно все избегают его последнее время. Разве мог он не заметить, что сейчас все у нас подражают Алисе и молчат на репетициях, все тише становятся, скрывают от него что-то, сговариваются. Мы больше не оставались выпить с ним чаю и поговорить о чем-нибудь, мы больше не звали его с нами в театр или на какой-нибудь маленький концерт заезжего пианиста, мы не ужинали вместе, мы виделись только на репетициях. Мы знали, что Марат одинок. У него не было семьи, а те, кто бывал у него дома, делали огромные глаза и качал головой. Там была одна комната, заваленная дисками и книгами. Диван, из которого сыпался песок при каждом прикосновении. В кухне жили тараканы, стоял вялый декабрист. На окнах не было занавесок, а по ночам трубы пели и клокотали. Марат бывал там редко.

— Все в порядке, — отвечаю я ему.

— Да? Точно? — спрашивает он.

В левой руке, которая безвольно лежит на спинке стула, у него зажата сигарета; пепел вздрагивает и падает на пол. Может, мне показалось, а может, у него на самом деле не было зрачков в тот момент.

— Я думаю, — наконец произнес он, — все будет хорошо.

Я чувствовала, как мои брови вопросительно изогнулись, но спохватилась, мое тело подчиняется только мне, и вновь вернула лицу непроницаемость.

— До свиданья, — глухо буркнула я и убежала вон из зала.

Алиса и Лена стояли у двери и молчали.

— Что? — спросили они.

— Я порчусь, — сказала я. — Он ругается.

Алиса улыбнулась своими длинными губами.

* * *

Каждый вечер я бываю эхом городских переулков, ноги сплетаются друг с другом от холода, и я передвигаюсь короткими перебежками от угла к углу. Бег — это падение, и я спасаю себя, выкидывая вперед то одну, то другую ногу, отрываюсь от земли и зависаю. Я бегу неслышно, локти прижаты к телу, до нашего дворца культуры путь совсем короток, и я специально кружу, пропитываюсь дождливым воздухом, бегу

по улицам, обгоняя дома и фонари. Смысла в этом не вижу, но, перепрыгивая через громадные лужи, не замедляя хода, проглатываю совершенно иной воздух, чем если брести пешком.

Потом прихожу, здороваюсь со всеми, и мы поднимаемся по лестнице в зал.

— Мышь, подойди, — позвал Марат.

Выхожу на середину, молча жду, что будет дальше.

— Ну, допустим, допустим, — бормочет он, обходя и разглядывая меня. Но глаза сегодня обычные, не безумные, не меня он видит, а движение, перетекающее из одного в другое. То, что их выполняет мое тело, совсем неважно. — Представь, что ты... рыба.

Молчу некоторое время.

— Мне нужна вода, — что здесь еще сказать.

— Андрюх, — покладисто командует Марат, и Жаба выходит ко мне.

Мышь и Жаба. Рыба и ее река.

Я вздрагиваю, покачиваюсь и медленно открываю и закрываю рот, стекленея глазами. Из рук исчезают все кости, моя вода поддерживает меня и куда-то несет. Мои ноги срастаются и выбирают направление, а голова тяжела и ленива.

Марат сидит на полу, прислонившись спиной к зеркалу. По его кивку выходит Леныч, становится справа от нас и начинает клокотать горлом, бурчать, журчать, это звуки воды.

— Слушай ее, — говорит мне Марат. — Попробуй услышать.

Я отдаю свое тело воде и ее голосу. Глазами ничего не вижу. Сколько это длится, я не запоминаю, но как потом приятно встать на землю, закрыть рот и что-то сказать. Я очень часто становлюсь жертвой этих внезапных идей Марата, и раньше мне это очень льстило, точно так же, как и то, что он ругает меня. Это значит, что ему нужно, чтоб я росла, я слушала его и росла, молчание было хуже всего, но сейчас не его молчание было тяжелее. Алисино перевесило.

Он позвал Алису к себе в пару и взял ее за руку, велев нам тоже разбиться на пары и повторять вслед за ними. Заставил ее нырнуть под свою руку, а потом аккуратно установил ее ноги на свои и сказал, что пол очень горяч. Алиса поняла и не наступала на него. Я, лежа на плече своего Жабы, обнимала его за шею и смотрела на ее лицо. Оно ничего не выражало, было спокойно и было больше похоже на совершенно гладкую кожу — глаза, нос и рот затянулись белой пленкой, их не было видно. Иногда она морщилась и тогда по этой белой пленке пробегала рябь.

Ах, Алиса, и ее тонкие руки, ее острые локти, ее индийские пальцы и острые мелкие зубы в горячем рту, укусившие мою шею, и откровенно открытые, когда она смеялась. Только сейчас она не смеялась. Она смотрела на Марата, и он вдруг почувствовал ее презрение, смутился и разогнал нас всех очень быстро, попрощавшись. Мне хотелось знать почему, но я постоянно сбивалась на мысли, начинающиеся вздохом — ах, Алиса...

* * *

— Знаешь, — говорит Марат, прохаживаясь между нами и отстукивая ногами какой-то стихийный ритм, — ты к нему должна относиться... относиться... Как к мужу. Со всеми недостатками. Вот представляешь, приходит он к тебе в один прекрасный день, — Алиса молча слушает, стоя на одной ноге, — и ходит там что-то, ходит, а потом вдруг кричит — сука! — оглушительно заорал Марат.

Мы вздрогнули, Алиса не шевельнулась, только дернула головой. Он усмехнулся и продолжал:

— Вот лицо у тебя должно быть такое же, как сейчас, когда ты на него смотришь.

На самом деле, я думаю, Марат знал о мужьях и женах не больше нашего, этот тощий крикливый человек. Он взял Алисину голову обеими руками и повернул ее к зеркалу, чтоб она могла увидеть и запомнить свое лицо. Потом отошел к магнитофону, скормил ему блестящий диск и кивнул нам: можно начинать.

После занятия мне нужно отнести магнитофон и чемоданище с дисками в комнатку Марата, которая ему лично служит офисом, раздевалкой и даже иногда спальней. Там всегда душно, светло, накурено и тесно: мы иногда там пьем чай. То есть раньше пили чай: остыв после занятий, переодевшись, выключив в зале свет и проветрив его, закрывали раздевалку и приходили со своими вещами сюда. Кидали их на пол, как-то рассаживались на креслах. Не все, конечно, оставались — большая часть уходила сразу; были — я, Лена, Жаба — чаще всех. Когда я впервые была допущена на такое чаепитие, я слова не могла почему-то сказать. А они все говорили без умолка, в каждом кресле (низком, желтом, продавленном) шел свой диалог, потому что сидело на них, как правило, по три человека. Когда Марат спросил, есть ли у меня какие-нибудь свои идеи, я подавилась чаем и пролила его — кипяток! — себе на колени; все смеялись, но он не отставал, и в конце я перестала бояться, и мы тихо говорили, склонившись друг к другу через стол о воздушных шариках, о том, сколько всего ими можно выразить и как с ними можно танцевать.

— Ну да, ну да, — бормотал Марат. — А какую ты книгу сейчас читаешь?

— Я... ну... «Гистология и общая цитология» Быкова, — смутившись, отрапортовала я.

Чья-то рука проскользнула под моим локтем и протянула мне кружок лимона, посыпанный чем-то белым. Поблагодарив, я взяла его и откусила, глядя, как Марат разочарованно отвернулся и роется под своим стулом, где были какие-то черные сумки. Но — на лимоне вместо сахара оказалась соль (на лимоне — соль! До сих пор не укладывается в голове, но мы едим это каждую неделю, как только заводятся новые лимоны, и это вкусно). И в результате я принимала от него книжку с неразборчивым названием, не умея собрать свое перекосившееся лицо. Книжка была — гессевская «Игра в бисер», и так я узнала, что книжки живут у Марата под стулом. А вообще же приглашение на такое чаепитие означало, что я стала — своей. Несмотря на то, что пили только чай и кофе, никакого алкоголя, сердце тогда плясало чечетку, в животе прыгали горячие лягушки.

А теперь вот мы отчего-то больше не собираемся. Раньше там всегда было полно народу, приходили какие-то люди со стороны, незнакомцы, но все радовались, здоровались, обменивались какими-то новостями, о спектаклях, о фотографиях, о планах — звали нас всех в подвальный театр, на просмотр фильма с ужасно неприличным названием, о котором говорили — настоящее кино, не глянцевое. Наше кино, говорили. Без шуток. Посмотрите.

Да, да, отвечали мы, в итоге сходили Жаба с Маратом и на наши расспросы одинаково скривились, а молодой человек с сутулой спиной и холодными, влажными руками, больше у нас не появлялся. Когда он, пригласив нас в этот подвальчик, уходил по лестнице, он все время оглядывался, потом возвращался и прощался еще раз, снова уходил и снова возвращался, а потом Марат не досчитался зажигалки и какого-то модного диска, но — не факт, хотя диски все были у нас на учете и пропадали редко.

В общем, каждый вечер что-то происходило. Иногда, когда удавалось уволочь из кабинета вышестоящего начальства видеодвойку, мы смотрели разные концерты и программы — например, про школу Элвина Эйли, с людьми из которой работал Марат в летней школе; или про маленький немецкий балет, который устраивал свои спектакли в старых, разрушающихся домах; или про американскую труппу из восьми человек, которая поставила чудное действо — «Конверт» на музыку Пуччини, права на который теперь стоили огромных денег; или про Айседору Дункан (ее фотография, напечатанная на тоненькой бумаге, висела у Марата на стене вместе с разными дипломами и сертификатами).

Сейчас я спрятала магнитофон и диски в шкаф, заперла его на ключ, впихнув туда облако белой марли, которое вываливалось каждый раз, когда открывали дверцы. Марат сидел в кресле, выставив свои колени (как будто защищался), и курил.

— До свиданья, — чуть вопросительно сказала я.

— Мышь, — опять сказал он, — а вот как умер Ха... ну ладно. До свиданья, да.

— Как умер кто? — спросила я.

— Как умер? Кто? — откликнулся Марат, и стало понятно, что на него опять нашло что-то необъяснимое.

Со мной тоже иногда так случалось, а Жаба, например, постоянно был в таком странноватом состоянии.

— Мышь, а Мышь... — сипло сказал Марат. — Пойдем гулять.

— Куда? — спросила я и тут же вспомнила: — Я не могу.

— Не могу, — сказал Марат. — Я — не могу. Пойдем.

— Я... С Алисой мы идем.

— Идем, — снова попросил Марат, не двигаясь.

— Я не могу, — ответила я.

Ужасно выходило. Он сидел в этом кресле и смотрел на меня стеклянными глазами и не желал говорить сам, как будто просто ленился, и мог сделать сейчас, что угодно, — его нельзя было оставлять. А я стояла напротив, совершенно обычная, обе ноги — на земле, все в порядке, все спокойно, и чувствовала к нему теперь не безграничное уважение, и восхищение, и понимание, и преклонение, как раньше. А только немножко равнодушия, отвращения и неприязни — я ведь помнила, как он накричал сегодня на Алису. Мне это почему-то было больно. А видеть его таким потерянным и жалким — не больно. Только противно.

— Извините, — сказала я.

Но, прежде чем успела договорить, он вдруг вскочил, схватил меня за плечи жесткими пальцами, повернул и вытолкал за дверь. В скважине повернулся ключ.

Очень ясно увиделось: начни я сейчас стучать, он откроет, втащит обратно и все расскажет. Он, наверное, сейчас стоит за дверью и ждет. Стука ждет, испуганного, встревоженного, частого стука. Моего.

Я же — повернулась и пошла в раздевалку, к Алисе.

* * *

— Я... — смеялась Алиса. — Я... — захлебывалась Алиса. — Я...

Огромные рыжие волосы, глаза блестят, голос улыбается, и мы стремительно шагаем по блестящим, мягко светящимся расплавленными огнями улицам; я иду и мне взволнованно-холодно от того, что я могу говорить об Алисе и себе — «мы».

— Я думала — умру на репетиции, — говорит Алиса. — Он ведь — на меня одну так кричит, он ведь ни на кого так не кричит... только на меня.

— На всех, — отвечала я, зная, что это неправда, — он даже раньше... в общем, раньше еще хуже было, так что это не самое страшное.

— Вот так — нельзя. В любой ситуации, даже если он просто объясняет, и не извинится даже, это ужасно... почему я всегда с ним в паре?

— Это лучше всего, с ним быть лучше всего. Ты тогда все понимаешь, чего он хочет... С ним всегда лучше всего.

— И вовсе не лучше. Я ненормальная, — вдруг бормочет она, забывая о Марате, — я же вот от всего сегодня ночью счастлива — от луны, от облака, от света, от запаха — какой запах, да? — от того, что вот мы просто идем, от того, что мы не просто идем — но куда-то, от того, что это именно мы идем — я и ты... Я ненормальная и от этого тоже счастлива, и мне хотелось бы именно так умереть, именно в таком состоянии, когда я уже не могу следующего вдоха сделать от счастья...

— Не надо умереть, — говорю я, иду рядом с нею и думаю: да, безумная, никто не говорит таких слов, никто, да, безумная, да. А скованность от того, что я, возможно, не сумею поддержать беседу, пропала, она невозможна, когда Алиса вот так смеется, глядя вверх, и ее зубы и глаза блестят посреди ночи, горят ее глаза; и мы, схватившись за руки, идем. С ней рядом — невозможно не быть такой же необъяснимо счастливой всем. Алиса.

* * *

Скоро у нас концерт.

Вообще-то все знали о нем еще за месяц, точную дату и время назначили за две недели, список номеров утвердили за неделю, а мы спохватились за три дня. Да, я впервые увидела наши афиши в городе, ровно за три дня до концерта. Так стало понятно, что его не избежать. И внутри — из самого центра головы и до пяток, некой точки между ступнями, которая является продолжением моего тела, хоть и находится вне его, — натянулась толстая звонкая струна. Ее вибрация не прекращалась ни на минуту.

Это очень привычная суматоха — мы несколько часов копались в ворохе своих костюмов, и я в который раз думала, до чего же они бедны. Льняная, крашеная нами же ткань — для большинства номеров; наши собственные строгие костюмы для легкомысленных джазовых танцев и черные шляпы, которые обязательно упадут с чьей-нибудь головы; легкие цветастые ткани, которые нужно будет укреплять на себе морскими узлами; и — для одного этюда — обычная повседневная одежда, черные колготки и майки. Все отобрали свои вещи и растащили по домам — стирать, мерить и ушивать. Правда, до этого был прогон в костюмах.

Марат был угрюм и сер. Курил без меры, утвердил большинство показанных ему этюдов, решительно не хотел репетировать с Алисой. Она была задействована только в одном танце

— Почему ты так не любишь его? — спросила я, зашнуровывая ботинки в раздевалке.

Алиса медленно обматывала шею шарфом. Посмотрела на меня, а в глазах ничего не читается.

— Почему вы так думаете?

— Это не мы, а я, — отвечаю. — Ты с ним не разговаривала ни разу.

— Ну и что? — слабо улыбается Алиса. — Зато танцевала.

Она рассказала, что она — не словам верит, она верит только жестам и прикосновениям; сама может изобразить что угодно и никогда не делает так, никогда не обманывает — нас. Но другие — не так; насчет Марата я не знаю, великий ли он обманщик или вовсе наоборот; но другие лгут телом, не задумываясь. Им она не верит; а нам улыбается потому, что мы тоже не лжем. Живем без всякого намека на нарочитость, говорит она; хочу верить ее словам.

* * *

Но в результате из-за слов все и вышло. Даже если им не верить, их ведь невозможно не слышать.

— Идиоты, — говорит Марат. — Придурки. Коряги.

Концерт у нас завтра.

Все идет отлично. Отлично, у Марата необъяснимые вспышки бешенства каждые пятнадцать минут, он нервничает, кричит, ругается. От него постепенно заражаются все: Жаба не отвечает ни на один мой вопрос, Лена слоняется без дела и странно бледна, Костя, лишившись своей обычной жизнерадостности, угрюм и уныл,

Алиса — что хуже всего — вдруг снимает свою обычную сомнамбулическую маску.

— Делай! — кричит Марат. — Давай, сейчас же.

— Не могу, — отвечает она.

Он вдруг резко взялся все менять и придумал, что Алиса должна сделать целую серию акробатических элементов, оказавшись на сцене.

— Это просто демонстрация какая-то, — возражает Алиса.

— То есть?

— Показать — я вот так умею, а смысла в этом никакого нет. Тем более, я все равно не умею.

— Делай, — приказывает Марат. — Учись, прямо сейчас. Вот давай — учись. Сейчас же.

— Не могу, — говорит Алиса.

Но под его чудовищным взглядом вдруг сдается и покорно прыгает на руки, чтоб потом стечь на землю — сначала грудь, потом живот, бедра и ноги; и конечно, с первого раза, без страховки у нее ничего не получается, и она оглушительно, всем телом, плашмя падает на пол.

— Господи, — шепчет Жаба и делает шаг к ней, потому что Алиса не двигается.

— Вставай, — говорит Марат.

Жаба останавливается, Алиса как-то встает — она ужасно бледна и шарит руками по телу, как будто ей хочется схватится сразу за все, а рук — только две.

— Еще раз, — говорит Марат.

— Я не могу, — отвечает Алиса.

— Еще раз. Не могу — не существует.

— Я не буду этого делать. Я не хочу...

Марат смотрит на нее, втянув щеки и приоткрыв рот. Она расставляет ноги пошире (голова у нее наверняка кружится), но он хватает ее за руку и вдруг ведет к двери, не ведет — тащит; она не понимает. А он раскрывает дверь и вдруг кричит, по-настоящему кричит:

— Пошла вон! Не хочешь — вон!!! Убирайся!

И выталкивает ее кулаком — в спину, и захлопывает дверь, и рывком ставит меня на ее место с коротким:

— Давай.

И я, глядя на его покрасневшие белки, побуревшее лицо, к собственному стыду, боюсь возразить. Покорно соскальзываю на пол, так ничего и не сказав.

* * *

Я знала, что ее зовут Алиса и что она может так кричать, обернув голову голубым платком. Только она и может так кричать, стоя посреди сцены и пробивая мою голову этим высоким вибрирующим «л».

Она стоит, хотя он изгнал ее, и кричит, похоже на сон, и во сне даже она ненавидит его больше обычного, но ведь громкий бесстыжий голос и всклокоченные волосы — еще не повод ненавидеть человека, ведь правда же, правда.

Как она оказалась здесь?

Я принялась строить предположения: как было похоже происходящее на то, что Алиса когда-то любила Марата, бывшего тогда не менее бедным и странным, чем он сейчас; ах, Алиса, и твои голые плечи, пахнущие потом и пылью, и твои серые волосы, и когда-то ты любила его, а потом у него наступил кризис, и он позабыл всех, с кем был близок раньше, и забыл тебя, забыл. И она не пойдет спрашивать его в лицо, почему он больше не звонит, она думает, что он изменяет ей с одной из своих танцовщиц, ведь иначе откуда такая страсть в его глазах, когда он кружит одну из них в красном платье на очередном концерте, Алиса смотрит из зала, а потом уходит и часами учится держать свое тело, учит его подчиняться и иногда выходить за границы дозволенного, и тогда, и тогда, ах, Алиса... Я снимаю красное платье и говорю, что не могу остаться на ужин после концерта, хотя я и принесла на общий стол салат, я выхожу и иду по блестящим от дождя улицам, а за мной неслышно движется женщина, и я хочу оглянуться, но вдруг начинаю бояться ее, и боюсь так сильно, что не замечаю, когда она исчезает, а потом она заходит в зал через несколько лет, я смотрю на ее ноги в зеленых гетрах и пою про себя: ах, Алиса...

Она давно умолкла и на сцене никого нет. Сверху доносится ругань Марата и звукорежиссера. По сцене блуждает свет из пушки. Я кладу под голову рюкзак и закрываю глаза. Уже половина второго. На улице — ночь и дождь. На сцене полумрак, на сцене нет никакой улицы. Мы еще даже не начинали основного прогона.

Или, может быть, все было не так; может быть, Алиса была вместе с нами в летней школе танца и видела, как Марат участвовал там в очередном эксперименте, как он носился по лестницам старого здания школы и как вежлив был с нами, как смешлив, как красив; и вот она бросает все свои занятия, среди которых танец — хобби по вечерам, и ни одного концерта вот уже три года, и редкие абонементы на занятия с заграничными педагогами, и вот она разыскивает нас, а попасть в группу не сложно; стоит прийти, и если ты хорош, то тебя заметят, и ее заметят, ведь это Алиса; и стоит ей приблизится к нему, как она понимает, что пропала, проиграла, обозналась и не оставила своим родным ни одного слова, исчезнув, чтоб отыскать этого чело-

века, который настолько замкнут в себе, что не может запомнить ее лица и ее имени, не может обратить на нее хоть ту каплю внимания, которую она заслуживает, и просто потому, что он не видит, не видит, что это Алиса; а она верила, что стоит ей войти, как он тотчас узнает ее, и...

Открываю глаза, рядом ноги в зеленых гетрах.

— Привет, — говорит Алиса, — спи, я просто посижу.

— Я не сплю, — говорю я и тру глаза. — Что ты здесь делаешь?

— Я решила, — отвечает Алиса, — просто здесь побыть, я же не мешаю? Просто посмотреть.

— Алиса! — шепотом кричу я. — Ты только не уходи от нас. Не обращай на него внимания, но не уходи. Он ведь — так, он не плохой, правда, он — странный... Но он... Не обращай внимания. Тебе нельзя уходить. Ты ведь — танцуешь. В этом городе танцевать больше — негде. Я правду говорю.

— Есть театр, — говорит она, — но театр для балерин, а не для самоучек, как мы, и мне все равно, что он есть, там все равно все не так, там все равно были бы не те мы, что есть сейчас.

— А Марат одумается, вот увидишь, — шепчу, — и вернет тебя. Он увидит, что ты лучше всех, и вернет, — говорю я и оказываюсь права.

* * *

У Алисы — глаза горят, и в руках ее — невидимы! — мы. Я в сонном бреду брожу по сцене босиком, и из зала до меня доносится только тишина. Она улыбается редко, она говорит трудно, она на нас смотрит гордо, но мы ее — вопреки всему.

Леныч говорит, что иногда думает о ней, как о сестре, и о том, что у нее шрам сзади на шее, который звучит Алисиным дыханием под пальцами, а я улыбаюсь от нежности и киваю, забывшись; ни ревности, ни безразличности; ну как же, это же наша, *наша* Алиса.

Жаба дарит ей цветы и обнимает украдкой на улице, ласково берет за плечи, оберегая, как потерявшегося ребенка, и шутит, чтоб только увидеть, как уголки губ уползут вниз в недоуменном, недоверчивом восхищении; и вырастающая, как стена, как каменная становится, когда рядом Марат.

И все, что я ни скажу про то почему, — неправда; я не знаю ничего; лгать о ней — руки тяжелы; молчать о ней — разорвусь. Это точно так же, как с движением: я не могу, глядя на сцену из зала, быть спокойной, я смотрю на свои руки — они горят изнутри, меня сжигает; ноги начинают дрожать, дрожь уходит в пол и тот — вибрирует под ногами, будто толчками огромного горячего сердца из глубины пробивается ко мне — то, что вскидывает над полом. Распластываюсь в прыжке, и воздух тут же густеет, твердеет, держит и держит, и кисть правой руки не чувствует веса, доверься я воздуху, оторви я от сцены пальцы — полечу.

Мы все сейчас влюблены. Нам через десять минут на сцену. Влюблены в каждого, спокойны уже до лени, самое отвратительное кажущееся спокойствие — а внутри гремят барабаны, сердце где-то в висках. Прыгаем по сцене, грея мышцы.

Но на самом деле все — немного неправда. Она сидит на стуле и молчит. Как будто ее подменили за одну ночь. Да, мы не спали почти, да, вчера вечером, ночью, Марат вернул ей ее партию, девушки в желтом в последнем номере, но с тех пор они не говорили, и с тех пор она молчит и только сидит на стуле, как будто она ничего не видит. Как будто она ничего не понимает, и она даже еще не переоделась, и грима никакого на ее лице нет, как будто просто захожая гостья, которой не досталось места в зале.

На вопросы, что случилось, она не отвечает.

А потом, перед самым началом, уже испугавшись всерьез и потеряв всю свою легкость, я сажусь перед ней на колени и говорю:

— Алиса, сейчас же иди одевайся.

А она спокойно отвечает:

— Я не буду танцевать.

И прежде чем я успеваю что-то ответить, мимо проносится Жаба, как огромный поезд, и забирает меня с собой, ставит на сцену, и кулисы тут же разъезжаются, краем глаза вижу, как с другой стороны выскакивает взмыленный Марат, которого где-то носило, а потом загорается свет и льется звук. Больше я не вижу ничего, кроме незнакомых людей на сцене, не слышу ничего, кроме этой тяжелой, изредка звякающей колокольчиками, текущей, падающей музыки.

* * *

— Иди, — говорю я и силой поднимаю ее с кресла, Алиса стоит заторможенно, смотрит в пол, не слышит, не видит — ей же танцевать сейчас, ну что она.

— Сейчас наплевать на это, забудь про него, это не Марат там, на сцене! — шепчу я, присев и заглядывая снизу в ее лицо. — Марата там нет, там просто человек, у него и имени-то нет, и ты его... ты — его...

— Алиса! Ты его не можешь не любить, ты никого, кроме него, не помнишь, не знаешь, он тебе письма писал самолетиками на газетах и у тебя на плечах его пиджак... У него зеленая рубашка, у него ботинки на шнурках, самолетики — вот вся его история, абсолютно плоский человек, без прошлого-будущего, — Алиса, слышишь? Сейчас ты к нему выйдешь и у вас все будет хорошо, а занавес рухнет — и все кончится. Но историю надо — надо ее, не знаю... создать. Там зрители.

— Там зрители, их надо — их надо заставить поверить. Там человек в зеленой рубашке. Здесь девушка в желтом платье. Она не ненавидит. Она любит — того, кто в зеленой рубашке. И сейчас... Она скоро уже появиться должна. Это она. Иди.

Не знаю, что действует, но вдруг меня будто бы сносит вихрем прямо в кулису; это Алиса выносится на сцену с каким-то плачем, всхлипнула — и замолчала. А мы все — остались в этой темноте, и я до сих пор горю, я до сих пор дрожу, и нога у меня посинела, пальцы не шевелятся, онемели — я в самом начале споткнулась об один из тех ужасных кирпичей, которые придавливают концы кулис к полу. Стою цаплей — и ничего не вижу.

Они там, на сцене. Вдвоем только на сцене, и музыка — тонкие, полудетские голоса говорят быстро и плавно один слог: «па», как будто бабочки машут пестрыми крыльями.

На сцене двое людей, и сейчас больше ничего не существует. Они все промахиваются друг мимо друга: мужчина в зеленой рубашке кидается к девушке в желтом платье, а она как-то ускользает в сторону с блаженной улыбкой, совсем его не замечая. Мужчина делает немыслимые прыжки и резко взмахивает прямыми руками, падает прямо на пол и волной встает на ноги, а она — кружится и подпевает музыке, как будто не видит его. А потом — попадается, как бабочка, лимонная бабочка — в сачок, в его руки. И он ее больше не отпускает, у него тут же ожесточается лицо — никакого страдания, только сосредоточенность. Но он обнимает ее: кажется — крепко, на самом деле — боясь прикоснуться, как самую хрупкую статуэтку, и проводит ладонью по ее щеке, заставляя повернуть голову прямо в зрительный зал. Но там — только темнота, ее слепят софиты, пушка, и ей ничего не остается — только повиноваться его рукам; она сжимается и всхлипывает — слышно. Потом появляются чьи-то тени, какие-то люди в белых одеждах, высокие с цепкими руками, и одна из теней я, просто прохожу где-то сзади, рисуя ногами по полу круги. Тени берут женщину в желтом платье и передают ее друг другу, и она виснет на каждых руках и цепляется за их одежды, и каждый раз кто-то новый берет ее и уносит, кружит, ведет, и ее ноги безвольны, руки слабо сопротивляются, голова лежит на плече. Потом чья-то тень оставляет ее на самом краю сцены, и секунду, две, больше — она просто смотрит в зал, но не видит — ослеплена; и хочет уже заговорить, рассказать им, как ей тут плохо, как неприятно, противно, больно — тем, кто смотрит на это, как на вечернее развлечение, как на спектакль; хочет им рассказать все. Но тут он, мужчина в зеленой рубашке, вырастает у нее за спиной и закрывает ее рот широкой ладонью. А потом с силой толкает вперед, она от неожиданности делает шаг и уже почти летит — с авансцены, вниз, в черный зал, волосы уже над этой пропастью, нога уже занесена. И в последний миг он хватает ее за руку, дергает назад и, заставляя обежать полукруг, возвращает к себе, и она силой его рук взлетает над ним. Музыка захлебывается речитативом, и флейты и скрипки, и долгие звуки виолончели. Марата не видно, только она — одна, высоко, в самой середине густого мрака, освещенная лучом и вдруг взмахнувшая руками и соскользнувшая по его спине, головой — вперед, головой — вниз. Все тени давно исчезли, никого нет, плачущий голос, и это конец, и свет наливается желтизной, и они стоят обнявшись.

Пушка гаснет, сцена окончательно исчезает. Сейчас две светлые тени должны вломиться за кулисы, и я снова дрожу, не зная, как все будет, что делать, как быть. И как смотреть на Марата. Рядом дыхание — это Лена, переступает с ноги на ногу, и что-то щелкает сзади, и ни хлопка еще не раздается из зрительного зала — там только провал, по-прежнему черный провал. И тени все никак не возвращаются. И вдруг понимаю — они ведь так и стоят там, обнявшись, стоят и дышат в унисон, друг другу в плечи, с закрытыми глазами, с дрожащими коленями, с горячими щеками. И не шевельнутся. Просто стоят, обнявшись, как будто — отпусти они друг друга и тут же — мгновенно — потеряются, утонут в этой темноте.

Григорий Шувалов

Родился в 1981 г. в Республике Карелия. Большую часть жизни прожил в пос. Шексна, Вологодской области. Служил в пограничных войсках, работал на стройке и в театре. Поступил в Литинститут на семинар Ю. П. Кузнецова, после смерти Кузнецова перешёл на семинар Е. Б. Рёйна. Поэт-традиционалист, основатель и участник поэтической группы «Разговор».

❀ ❀ ❀

КАК ОСЕНЬ за дымкой тумана,
как праздники, пьянки, цветы,
надежда — продленье обмана,
обман — продолженье мечты.

И после такого нелепо
в сознанье чужой правоты
смотреться в московское небо,
где нет ни единой звезды.

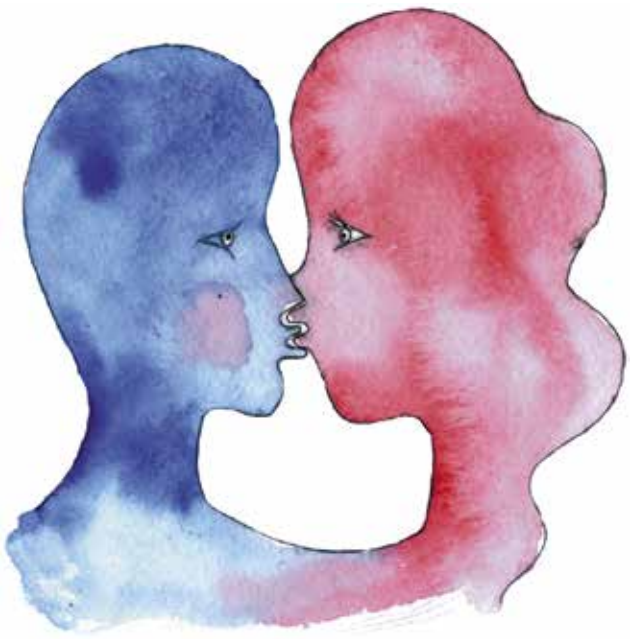
Калёная прихоть, причуда
с поправкой на гений и труд.
Свалить бы скорее отсюда
туда, где жалеют и ждут.

Соринка, жестянка, шутиха,
мелькнувшая в сизом дворе.
Мне будет спокойно и тихо
лежать на Поповской горе.

❀ ❀ ❀

ТЫ КАК ЖЕНА ложишься с краю,
и мы о многом говорим.
Я очень плохо понимаю,
зачем вообще мы вместе спим?

Ты ищешь дом, а я бродяга,
я не тактичен, даже груб.
За дверью вымерла общага
и я твоих касаюсь губ.



Спокойно, боже, как спокойно,
как на душе моей светло!
Пускай ты большего достойна,
но если будет тяжело,

не застрелюсь и не повешусь,
с балкона вниз не ломанусь:
тобой, одной тобой утешусь,
тобой, одной тобой спасусь.

Переход

НА БЕДНОСТЬ пиликает скрипка,
за совесть, обиду и страх.
Недетской выходит улыбка
на детских, поджатых губах.

Мотивчик тоски и неволи
запойный отец стережёт,
и тычется классика боли
в московский, глухой переход.

Незнакомый маршрут

СЕГОДНЯ Я проснулся слишком рано.
Я мало сплю, я слишком скупо жил.
Я вынул зажигалку из кармана,
которую по пьяни положил.

И закурил, и шёл, куда не надо,
совсем один, без денег и следа
среди долгов, зимы и снегопада.
Куда я шёл? Не помню сам куда.

Впитав в себя уныние и смуту,
расстроенный, что счастья в мире нет,
я шёл по незнакомому маршруту,
и всюду мне горел зелёный свет.

И я живу, живу и увядаю,
пока по мёртвым улицам хожу,
пока о Боге всуе вспоминаю,
слова в стихи трагически вяжу.

✿ ✿ ✿

ПРИВЕТ, ШЕКСНА! Как мёртвое сукно,
простой костюм, поношенный и грубый,
вокзальное подгнившее бревно
закрыл собою пластик тонкогубый.

Как я любил первоначальный вид!
Вскочу в маршрутку — резвую повозку,
и быстро мы помчимся к перекрёстку,
пока автобус вдалеке гремит.

Вот Барбач мрачный, спившийся район.
Он неопрятен, тягостен и беден,
различными пороками объеден
дитя иных, блистательных, времён.

Здесь не найдёшь ни храмов, ни крестов.
Как торжество советского закона,
поднялись вышки вместо куполов
и остановка под названьем «Зона».

Торговый центр — загадка для ума
на скучном фоне старого Райтопа,
и, кажется, что ветхие дома
построены задолго до потопа.

Руины школы, выцветший бурьян,
пятиэтажки, рынок и помойка.
Над магазином страшная надстройка
похожа на мясистый нос армян.

На Первомайской воткнут, как топор,
фонтанчик поселкового разлива,
и было бы, наверное, тоскливо,
когда б не окрыляющий простор.

Здесь небо греет, как глоток вина.
А вот мой дом. Встречай меня, Шексна!

✿ ✿ ✿

УПАСТЬ, ПОДНЯТЬСЯ, рухнуть снова
и подниматься много лет.
Живу легко и бестолково,
а счастья не было и нет,

а жизнь тем временем проходит.
Затем и в комнате бардак,
что ничего не происходит,
а я надеюсь, как дурак:

я связи прежние нарушу,
я стану добрый и смешной.
Но кто теперь вернёт мне душу,
давно потерянную мной.

✿ ✿ ✿

ЖИВУ В СУЕТЕ и обмане
с надеждой на лучший исход,
а девушка с фигой в кармане
любви, как спасения, ждёт.

Хорошей любви, не обломной,
а я загоняю ей бред
на лестнице грязной и тёмной,
в которой спасения нет.

Пусть жизнь, как открытка, убога,
но я тебе честно скажу:
я выломлю правду у Бога
и в руку твою положу.

✿ ✿ ✿

ПРОСТИ, МОЙ МИР, что я тобой измучен,
Ты, как и я, невыразимо скучен.
Все истины рассыпались в горсти.
Куда? зачем? и что же будет с нами?
пересыпаю общими словами.

Всё рушится, чего не замути.
Я заблудился в собственной сети.
Больной поэт, задавленный свободой
безволия, безделья, болтовни.
Давай, мой мир, толкай меня, тяни,
закрой меня землёй, плешивой модой.

✿ ✿ ✿

НЕ БУДЕТ вечности для нас.
Она останется незрима,
как непонятный запах дыма,
когда огонь уже погас.

Любовь, отжившая давно,
во мне уже не возродится.
Не страшно жить, не страшно спиться,
а страшно то, что всё равно.

Опохмелиться

ГРЯЗНЫЕ УЛИЦЫ, маски на лицах.
Опохмелиться, опохмелиться.

Глупые маски, несвежие взгляды.
Может, не надо, может, не...
надо.

Словно кинжалом блеснёт продавщица:
«Опохмелиться?..»
— Опохмелиться.

Пыльная лестница, в клетках стучится:
Опохмелиться, опохмелиться.

Хмурых соседок тоскливые взгляды.
Может, не надо, может, не рады.

Ночь не настала, а день прекратился.
Опохмелился, опохмелился.

Утро настало, помятые лица.
Опохмелиться, опохмелиться.

✿ ✿ ✿

ТЫ МЕНЯ ИЗВИНИ, что подсчёт не веду,
Я в любви признавался в прошедшем году.

Испытание чувств проводил на тебе
И тебя привязал к непонятной судьбе.

Я тянулся к теплу сумасшедшей душой
И старательно рушил наш мир небольшой,

И забыл про тебя, и уехал в Москву,
И теперь в общежитии странном живу.

И студенческий день запивая глотком
Надоевшего пива, совсем ни о чём

Завожу разговор, непонятно зачем.
Он живёт до утра и умрёт без проблем.

В грязных джинсах ложась на затёртый матрас,
Иногда по ночам вспоминаю о нас.

Я себя обману и к тебе не рвану,
Только как обмануть и себя, и весну,

Ту, которая нас повстречала давно?
Мы с тобой лишь однажды ходили в кино...

Пусть звучит это очень наивно,
Я люблю твоё имя, Марина.

Анастасия Артёмова

Родилась в 1987 году.
Долгое время занималась в балетной школе.
Изучала иностранные языки — французский, английский, испанский.
Много путешествовала по Европе и Азии, жила в Испании.
В 2004 году поступила в Литературный институт им. А. М. Горького.

На разогреве

Повесть

1

— О БОЖЕ. ЗАЧЕМ ты зажигаешь свечки?!

— Так это же... Романтично.

— Нет. Это совсем не романтично.

— А по-моему, красиво.

— А по-моему, их не надо зажигать.

— Почему?

— Потому что это стандартненько получается очень.

— Стандартненько, значит?

— Да. Стандартненько и сладенько.

— Как скажешь.

Лежала на полу, с кислым вином, на экране — «Кофе и сигареты». Он что-то все бегал, приносил, резал.

Рядом, на полу, пахли крабовые палочки, сыр, ломала куски шоколада.

— Какой хороший вечер после работы.

— Да, и после института тоже ничего так.

— У тебя сегодня снова импульсивное настроение?

— Нет, мне сегодня снова не нравятся свечки.— Я выключил свечки.

— Но перед этим ты их включил.

Я его на самом деле очень люблю. Мы знакомы давно. С того, что вместе работали в ночном клубе, — он танцевал хип-хоп, а я на разогреве. Тогда он был совсем другим, совсем как я. Мы тогда все были совсем как все. Работали до утра, вино за сценой, спали днем — и снова, снова. Последние классы школы, нелепые объяснительные учителям, ночи, ночи, ночи. Олег еще тогда решил полюбить меня. Все говорил — ты какая-то кривая вся, непонятная, нелепая, живешь эмоциями, в тебе столько жизни, ну где же еще такую найдешь. А я отвечала, что полюбить меня — это совсем как-то глупо. Таких, как я, не любят. С такими почему-то любят веселиться, любят — ни о чем. А Олег не слушает.

Но это все так — как началось.

Потом он стал взрослым и важным, окончил престижный институт, написал свой проект для известной авиакомпании и сказал — «Если вы меня возьмете, я увеличу вашу прибыль на тридцать процентов». Повелись на наглость, прибыль увеличилась на пятьдесят. Он открыл, второстепенно, свою алкогольную фирму, купил гоночную машину, купил много девочек, квартиру с небосводом на потолке и еще всякого.

Он для всех такой важный босс, а для меня — друг детства. Я лишь догадываюсь, какой он с

другими. Но со мной все так, как было, — ходим в мои любимые фастфуды, чиним его машину, катаемся по кругу и ночью смотрим фильмы у кого-то из нас дома. Есть сыр, шоколад и всё — как раньше. Иногда — на его забавные встречи, но это лишь так — для просто так.

Я его люблю. Как друга-брата.

И он меня, но не так.

— Вот, Вика, ты хочешь свадьбу?

— Не, не хочу вообще никак.

— Почему?

— Не вижу смысла.

— Ты просто маленькая. А я бы собрал немного людей, мы бы все поехали на один остров. Никаких костюмов, все в джинсах, горячий воздух...

— Да ну. Избито ужас как, — курила в бутылку из-под колы, ковыряла свечки, платье все в шоколаде.

— Ты, как обычно, ничего не понимаешь.

Не вижу смысла в свадьбах. Любите — значит, и так вместе. Бумажки, подписи, надеть платье... Глупо как-то. Вот венчание — это да. Важно. А свадьба, да ну.

Олег считает, что я смешно ем. А у него нелепые очки. И всё время очень много мусора дома. Он такой надежный и правильный, что даже страшно — так и в самом деле бывает. Вся жизнь расписана на двадцать лет вперед, все проблемы решаются за минуту звонком по телефону, костюмы дорогие и безвкусные, но зато с ним так хорошо, как и дома.

Мне даже начало казаться, что вот, вот! — именно с ним надо умереть в один день. Вы будете смотреть фильмы по субботам и любить друг друга по воскресеньям. Готовить вместе салаты, вырывая друг у друга помидоры из рук, вместе укладывать в пакеты купленную еду, пополнять мобильные счета и прочие нежности. Никаких эмоций, потрясений, страхов. Никто никого не бросит, никто никого не обманет.

Я, конечно, продолжала быть лишь его подругой, но страшное подозрение, что, может, любовь — это именно дружба и уважение (ну не смешная же страсть, в самом деле!), начало постепенно проникать в сознание.

И я познакомилась с Максом.

Вот так всё предсказуемо.

2

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ и заканчивается, как правило, обычно. Шаркала кедами по улице и выбирала из пакета с орешками кешью. Было солнечно, люди улыбались, я молчала сама с собой и шла, в общем-то, совсем недовольная. Не любила учиться на отлично, а в институте зачем-то взяла доклад по Фернанду Кнопфу. Не доклад, конечно, а на выбор — несколько картин художника, их история, всё, как обычно. Зачем взяла доклад, совершенно непонятно. Мы что-то говорили на живописи, сказала про Кнопфа. На меня все — удивленно. Оказалось, не знают. А он один из моих любимых. Вот тогда наш преподаватель предложил мне сделать доклад. А тут уж — пути к отказу нет.

Анна говорит, что я ни один предмет в жизни не знаю хорошо. Всего понемножку, всё как-то так поверхностно, всё по-быстрому и вскользь, да что тут — она, безусловно, права.

Искусство художников-графиков-архитекторов я знаю недопустимо плохо.

Расплата ждала меня в читальном зале Тургеневской библиотеки. Очень долго и лениво мне искали нужную книгу. Климпт и Кнопф. Три часа боролась с маленьким томом — интересно очень, но еще больше давила атмосфера сна в библиотеках.

Вокруг — так тихо, серьезно, сосредоточенно, что сразу хочется тихонько положить голову на руки и поспать.

Дважды выходила купить кофе и три раза покурить. Через час чтения начала злиться, что столы в библиотеке неудобны — некуда деть ноги. Через два часа не могла больше читать — рядом слишком громко шуршали страницами. Через три часа сказала себе честно — нельзя обвинять всех вокруг в том, что мне приходится читать.

Когда я с каменной головой вышла на улицу, пытаясь восстановить хоть что-то из прочитанного, состояние было тяжелым. Щурила глаза, попрыгала, пока никто не видел, у входа в здание, чтобы прийти в себя, — не помогало. Прочитанные слова нервировали сознание, смеялись, в общем-то, я почувствовала себя полным ничтожеством и пошла в свое любимое кафе.

Черный кофе. Без сахара. Да, сегодня без штруделя. Мороженого не надо. Простите, у меня нет больше денег, но этого я не скажу. Разглядывать людей никогда не любила, поэтому, чтоб уж совсем не в одиночестве, положила перед собой книгу, которую мне удалось-таки взять с собой.

«Фотография сверху. Профиль незнакомки. 1900 г. Если вспомнить предыдущий портрет Розы Триплекс...»

Рядом со мной кто-то начал так громко смеяться, что подняла голову. Пять-шесть мальчиков лет двадцати, ничего примечатель-

ного. Вино, мартини или что там бывает по вечерам.

«...написанный в 1874 году, то видна перемена...»

— Пятьдесят баксов, отвали отсюда, — я подняла голову. Официант, спрятав банкноту, двинулся к стойке. Один из тех мальчиков громко расхохотался и двинулся в сторону балкона. Второй этаж.

— Макс, я тебе сказал, пошли отсюда.

Макс, который стоял уже на балконе, рассмеялся, закашлялся, сказал: «Я хочу-у-у так!» — и прыгнул на перила балкона. Не могла оторваться. Второй этаж был достаточно высоко, мальчик был очень, очень худым, на теле болталась широкая рубашка, он держался рукой за стену и смеялся. Никогда не забуду. Двое ребят подбежали к нему, стакан разбился на полу.

— Если двинетесь, я прыгаю, — и опять этот смех вперемешку с кашлем.

Смотрела, смотрела, смотрела. Официант боялся двинуться от стойки, пятьдесят долларов — это много пива, орешки, может, даже цветок любимой и вечер дома.

Он качался от ветра, держась за ребра, смеялся, закрыв глаза, было уже темно, я не сводила глаз. Минут пять, полчаса, минута — сколько-то прошло времени, он спрыгнул вниз на пол, ударил по плечу своего друга и вернулся к столику. Я выдохнула и быстро опустила глаза, чтобы он не заметил.

И до этого картины были пустым звучанием, теперь и буквы стали пустыми.

— А ты почему не подошла? Вдруг бы я спрыгнул? Тебе плевать на тех, кто рядом с тобой?

Подняла глаза, он хрипло дышал мне в лицо и сидел на краю стула рядом.

— Если человек хочет спрыгнуть — он прыгает.

— Ох, ох, ох, какие фразы! — резко схватил мою книгу и снова захохотал: — А! Все ясно, интеллектуалка, блять!

Давать пощечины пошло. Давать пощечины равносильно: *«Любимый мой, я та-а-ак устала, мои ножки та-а-ак находились, а не купить ли моим ножкам новые туфельки?»* — что-то вроде. Когда была в шестом классе, только перешла в новую школу и — очень стеснительная. Урок музыки. Стояла во втором ряду и то открывала, то закрывала рот, шепча про себя слова песни. Вдруг чувствую — кто-то из третьего ряда за мной опускает руки на мою талию и начинает в такт детской песенке похлопывать меня по животу. Это было так невероятно для моего детского восприятия. Перестала открывать и закрывать рот в такт песне, развернулась к стоящему за мной и со всей силы ударила ему кулаком в нос. Наверно, уже в то время понимала, что пощечины — это пошло. С того момента ко мне начали относиться правильно.

Кулаком в нос тонкому Максу, хрипло дышащему Максу, давать не хотелось. Ладонью ударила его в лоб. Он запрокинул голову назад, свои прямые волосы назад, свои глаза к потолку, а потом все началось. Он со всей силы пальцами вцепился в мой подбородок и поцеловал, больно, жарко. До боли, до крови, до молчания, до того, что с ним теперь, тогда, только с ним, а по-другому не получается.

Прошло двадцать минут, он должен был встретить меня у института. Подкидывала ногами желтые листья, они шуршали, почти все мои однокурсники уже ушли. Они смеялись.

Рядом с институтом был магазин «Кентавр», но я боялась туда отходить — вдруг он придет. Ждать становилось скучно. Дорога впереди, за мной — вход с тяжелой дверью. Села на лавочку.

Прошло полчаса. Не знала, куда звонить.

Прошел час. Пальцы замерзли. Он обещал зачем-то гулять со мной до Большого театра, сказал, что там ходят девушки и раздают бесплатные банки с колой. Сказал, что это очень забавно. Я не любила театры и колу, но ждала.

Пошла к метро медленно-медленно, чтобы успел увидеть. Несколько серых остановок, вышла к театру. Там, как всегда, была реконструкция. Наверно, если бы строить и перестраивать в Москве было бы больше нечего, то город заплакал бы и тихо умер. А так — есть смысл.

На лавочке сидели бабушки. На лавочке сидела девушка со своим парнем, она положила голову ему на грудь, а ноги на лавочку, они смеялись. На лавочке сидели два школьника, они смеялись. Я была уверена, что он ждал меня у театра, ведь мы собиралась вместе пить бесплатную колу. Села на лавочку вместе с бабушкой и побоялась открывать книгу — могла бы ведь пропустить его.

Прошло полчаса. Пальцы снова мерзли. Не было даже бесплатной колы. Театр был похож на большое умершее животное, покрытое зеленой тканью.

— Мама, привет. Уже закончила. Да так себе. А он не пришел. Да. А больше и нечего делать. Люблю.

Медленно — к дому. Медленно и холодно. Медленно и одиноко. Жалкая. Разбитая.

3

Я ЖИВУ одна, в небольшой однокомнатной квартире на втором этаже.

Эта квартира вся дышит Анной. Она всё выбирала, по всему прошлась своим безупречным вкусом, тут пахло ее маслом для тела.

Квартира небольшая, но совсем Моя. Никаких стен — что кровать, что кухня. Дневной свет — редко. Низкая мебель, запах кофе, полная пепельница, надкусанная шоколадка, краска на полу, туфли под столом. На самой большой стене висит фотография — в темноте стоит пойманный вспышкой Макс — наклонился вперед, руки раскинуты в стороны, что-то кричит и за криком — улыбка. В одной руке светится сигарета. Я его фотографировала.

— Кстати, как тебя зовут? — мы сидели на бордюре, я так устала от ходьбы, что предложила отдохнуть за кофе, но он сказал, что за кофе не отдыхают, и предложил сесть на бордюре. Потому что тогда можно отдыхать, не отвлекаясь.

— А ты что, до сих пор не знаешь?!

— Ты не говорила, а я вдруг подумал, что не знаю, — он любил смотреть исподлобья своими синими глазами.

— Вика, — отвела глаза в сторону.

— Вика? Дурацкое имя.

— Да что ты?

— Никакое оно. Но да ладно, какая разница.

Встала. Собралась уходить. По-настоящему.

— Девочка, ты такая красивая! Прости, я не буду больше тебя обижать, — он быстро упал на колени рядом со мной.

Мы долго шли, он свистел травинкой, складывая ее между ладонями, купил мне ванильное мороженое, людей становилось меньше, мы пришли к озеру, через парк, никогда не любила парки.

Куда мы идем? Мы идем в одно из моих самых любимых мест.

Я так радовалась — если человек ведет в одно из своих любимых мест, то это даже лучше знакомства с родителями.

В одном парке есть озеро, о котором никто не знает. А над озером — очень тонкий, почему-то не падающий, мостик. Он, по-моему, деревянный и сгнивший. И каждый раз, когда я потом там была, то думала — в этот раз он упадет. Поэтому каждый раз приходила и приходила. Если лечь животом на мостик, то — словно лежишь на воде. Мы кидали в воду хлеб и вафельный стаканчик от мороженого. Рыб, правда, не было, но мы все равно их кормили. Никто другой ни разу туда не пришел и даже не прошел мимо, живот замерзал, в майку дуло. Мы лежали на спине, курили и смеялись. Я фотографировала Макса, а потом поставила фотографию в своей комнате. Он не любил фотографироваться, за это любила его еще больше. Не люблю позирующих людей. На фотографиях или в жизни. Фотография должна быть живой. Макс корчился и отворачивался, открывал рот широко-широко, чтобы закрыть им весь объектив и не попасть в кадр.

Один раз он снова начал кашлять и, отвернувшись от меня, пшыкать в горло. Такой знакомый мне жест, продолжала смотреть в воду.

— Я болею, у меня ангина, мне надо все время пшыкать в горло.

— Ясно. А у меня хронический насморк.

Он посмотрел на меня и улыбнулся. Тоже начал любить.

Макс немного рассказал мне. Когда он учился в школе, в младших классах, над ним постоянно издевались. Когда они ехали на экскурсию в пятом классе, ждали автобусов. Макс стоял в стороне. Его одноклассники и не его одноклассники начали толкать его из стороны в сторону, друг другу в руки, он ничего не мог сделать. Потому что ему было плохо, и он был маленьким, не умел драться. Вообще-то, ему нельзя драться, но это все равно, ведь когда толкают друг другу в руки, то это... Потом он лег в больницу надолго, не сказал почему, но кажется, я догадалась. Перевели в другую школу, там он и нашел свою компанию, стал ее центром. Я видела их в кафе, его друзья.

Молчала и смотрела в воду. Он больше не говорил. Мне рассказать было нечего. В моей первой школе меня любили. Мои подруги и преподаватели. Во второй школе я нашла лучших друзей. Меня никто никогда не обижал. У меня прекрасная семья. Я не больна астмой, даже ни разу ничего себе не ломала. Живу одна. Работаю. У меня есть кошка. Когда мне плохо, я говорю, но ведь настоящая радость — внутри, надо просто уметь взглянуть. И сразу легче. У меня есть Макс. Что же мне ему рассказать.

4

ПОЧЕМУ-ТО ТРИ моих самых близких человека в жизни были больны астмой. Ни раком, ни чем-то еще, только астмой. Каким-то образом я все время с этим сталкиваюсь. Один погиб, два других, они лечатся. Один уже почти не пшыкает в горло. Я знаю этот кашель, больше не закрываю уши руками, знаю, где продаются ингаляторы, сколько стоят, сколько раз в день

надо ими пользоваться, знаю, что об этом лучше не говорить. Знаю, что ни в коем случае нельзя курить.

— Макс, когда ты начал курить?

— Не знаю, разве кто-то помнит, когда он начал курить?

— Я помню.

— И когда же?

— Банально. Когда пошла в магазин и купила первую пачку сигарет. Мне было пятнадцать.

— Зачем?

— А зачем ты грызешь чупа-чупсы?

— Ах ты какая.

А потом мы просто молчали и смотрели вниз, воды было почти не видно. Позвонила мама и спросила, где я, хотела поговорить со мной по телефону, почему меня нет так поздно? Сказала — расскажу позже. Да, все хорошо. Мама, не волнуйся. Нет, правда, не волнуйся. Да, завтра приду. Не клади трубку — я люблю тебя. Но мама, как обычно, положила. Есть ли на свете кто-то лучше моей мамы? Нет. Я потом об этом расскажу. Я всегда об этом рассказываю. Везде об этом рассказываю.

Лежала дома и ничего не делала. Брала книжку — не читалась. Кино — не смотрелось. Лениво и совсем без голода грызла кешью, пила кофе до половины — сегодня впервые пошел снег. В моей квартире всегда темно, так как за окном все покрыто высокими деревьями. По радио снова играло что-то испанское, тянущееся, глубокое, я перебирала фотографии и что-то писала. Писать хотелось, чтобы — самой себе. Читаешь — и сразу все понимается.

Рядом — «Тринадцатая сказка» — прочитанная. Последняя книга за долгое время, от которой не могла оторваться, руки дрожали, летела сквозь страницы, закончилась — теперь было пусто. Все еще была в том замке, с девочками-близнецами, с одиноким автором. Мне бы так хотелось туда, к этим людям, которых я люблю в книгах. Кажется, что они понимают, и я — их. Они будут видеть во мне меня и никуда не уйдут. Они — мои. А теперь книга закончилась, и я боялась поставить ее на полку. Пусть лучше лежит.

Макс не звонил уже третий день. Три дня назад он уехал от меня куда-то, куда — не могла спросить. Так не заведено. Не звонил. Я, в общем-то, не ждала. Знала, что придет.

Неделю назад вернулась домой с работы, он был уже тут. Когда он здесь, в квартире всегда пахнет сгоревшими кастрюлями. Как-то у него всегда получается поджигать ручки от кастрюль. Снимала сапоги и слушала жужжание.

Что жужжит?

Макс!

Макс, что там, черт возьми, жужжит и жужжит?!

Вика, помолчи, блин.

Прыгнула в комнату. Макс сидел на кровати и набивал себе татуировку на запястье.

— Ого, — не удержалась. Потом укусила себя за губу. Никогда, никогда нельзя показывать ему, что удивлена.

Не морщился, сидел себе спокойно и набивал цифры на запястье.

— Что за цифры? — села напротив.

— Дата смерти брата.

— Ясно.

Ничего больше не сказал. А спрашивать о смертях нельзя.

— А мне сделаешь? — даже не подумав.

— Тебе? Не майся дурью.

Это было последним доводом.

— Как закончишь, сделай мне.

— Ну, как хочешь, мне не западло.

На левом предплечье он набивал мне руну. Я смотрела, как капельки крови исчезают в черной краске — и обратно. Все два часа так и смотрела на это. На маленькие капельки крови — почему-то это мне казалось очень интересным. Потом он помазал руну вазелином, замотал бинтом, поцеловал в шею.

Мы лежали и смотрели в окно, он совсем тонкий, ребра торчат так остро. Руки прозрачные, почти синие, вены, кажется, можно потрогать и взять двумя пальцами. Зато волосы — словно они забрали всю жизнь из тела — пышные, черные, прямые. Он не любил раздеваться передо мной. Не любил свое тело, я это знала. Очень тонкий. Я рядом с ним стыдилась своего — полного жизнью.

Татуировка не болела, но рука ныла. Хотела поскорее снять повязку.

Макс оделся, я смотрела, молча гладя шею там, где он целовал, любила его каждое движение.

— Вика, что ты будешь делать, когда я умру?

— Мне будет грустно. Но ты не умрешь.

— Умру, умру, у меня же астма.

— От астмы не умирают.

— А я умру, — так спокойно, убежденно.

— Как тебе угодно. Мне будет грустно.

— А мне — нет.

— Почему же?

— Там лучше, чем здесь.

— Откуда знаешь?

И он рассказал мне историю. Историю про людей без тела, которые выглядят как энергетические шары. Они могут говорить без слов и све-

тятся золотым. Там можно встретиться с теми, кто уже давно умер, — но только если желание взаимно. Конечно, сначала будет тяжело — будет хотеться есть и пить, но это только сначала.

Там можно перемещаться в пространстве и, если ты кого-то любишь, опекать этого человека на земле. *«Только, Вика, когда я умру, ты не должна меня держать, иначе мне будет сложно оторваться»*. И не собираюсь тебя держать. Я тебя никогда не держу.

Да, держу руку на шее, но тебя не держу.

Он поцеловал меня и принес в кровать гвоздику. Я замолчала. Для меня гвоздики были цветами смерти — но он этого не знал. Откуда у него гвоздика? Пошла в ванну, не хотела плакать.

Что я могу сказать об отношении к смерти?

Когда он умирает, я регистрирую страничку в Интернете от его имени. Имя. Знак зодиака — Близнецы. Возраст — двадцать пять.

Потом я ухожу в офф-лайн. Когда я захожу, высвечивается — «Вы в сети».

Я смотрю на эту строчку — вы в сети. You are alive.

И не думаю о том, что в сети — я. Так как на меня — другая, моя, страничка.

Я вижу, кто сегодня смотрел мои обновления, кто пытался посмотреть фотографии, которых нет, и снова ухожу в офф-лайн.

Вот такое у меня отношение к смерти.

Вышла, он надевал кроссовки. Хотела схватить его — куда ты? Куда? Вместо этого облокотилась о стену и — уходишь?

Ага, — завязал шнурки, помахал рукой и открыл дверь. Сел на перила и скатился вниз.

Потом долго не могла избавиться от этой картинки — как он садится на перила и скатывается. В этом — весь он.

Достала из холодильника яблочный пирог, который ему приготовила, и отрезала себе самый красивый кусок.

5

В ДЕНЬ, КОГДА умер мой лучший друг, Илья, четыре года назад, я была далеко от него. Я о нем говорить не буду здесь, он был в моей жизни. Вот так просто.

В середине дня, ничего еще не зная, закрылась в ванной и начала бить со всей силы руками по стене, потом впилась ногтями в лицо и царапала, как могла. Кричала его имя, плакала, впивалась ногтями в ладони.

Мама вытащила меня из ванной, налила валерьянки, спросила, что, что такое?!

Я замотала головой, закрыла глаза, схватилась за голову, за волосы.

Что происходит, Вика?!

Мама, Илья...

Что с Ильей?

Илья... Не смогу позвонить. Позвони ему, пожалуйста, сейчас.

Мой лучший друг умер в больнице. По ошибке врачей. Он всю жизнь избавлялся от астмы, а умер из-за заражения крови в больнице.

Я училась в Испании, бабушка лежала в больнице после инфаркта. Помню, как ездила к ней и каждый раз выходила из больницы, плакала. В палате с ее одинокими ровесницами, недовольными медсестрами, которые только после пятисот рублей принесут воды и поменяют белье. К ним никто не приходит и не посещает, потому что все эти бабушки плохо пахнут и ходят под себя. Я мочила бабушке лоб полотенцем. Она спрашивала — как дела у Люсеньки. Люсенька, ее сестра, умерла десять лет назад. Я говорила — все хорошо, у Люси все хорошо. Бабушка спрашивала, как дела в школе. Я заканчивала первый курс. Отвечала — в школе все нормально, заканчиваю четверть. Бабушка, хочешь пить? Бабушка кивала головой, и сок лился мимо ее сухих губ. Я улыбалась ей и плакала потом.

Звонила каждый день из колледжа и спрашивала у мамы — как бабушка? Бабушка каждый день шла на поправку и уже могла ходить с палочкой.

В ночь перед ее смертью мне приснилось, будто она уезжает от меня на автобусе, пытается сломать дверь, чтобы выйти, смотрит на меня и что-то кричит. На следующий день я не спросила, как дела у бабушки.

Почему не говорила ей достаточно часто, как люблю ее? Почему не открыла ей во сне дверь автобуса?

Макс мне не снился, я не бежала в ванну и не царапала лицо. Макс не умрет.

— А почему ты мне совсем не звонишь? Ты жива?

— Олег, я жива. И даже очень.

— Будем сегодня пить кофе?

— Наверно. Позвоню.

Рассказывать о кофе с ним — неинтересно. Словно — да, кофе был, как обычно, горячий и черный. Олег был, как обычно, занят и разговорчив. Я, как обычно, была ему рада, но баланс сломан — все время думала о другом.

Кофе с Олегом. Низкий столик в его любимом «Лаф-кафе». Официанты, которые отнимают у тебя пепельницу, чтобы поставить новую, — хотя и покурить-то еще не успела.

— Выбирай, что будешь есть, — кладет перед собой два телефона, ключи от машины.

— Я тут ничего есть не буду, — кладу перед собой сигареты, жвачку.

— Не нравится?

— Мне невкусно есть за такие деньги.

— Зато еда вкусная.

— В общем, буду черный кофе.

В «Лаф-кафе» нужно долго настраивать голос, чтобы одновременно быть услышанной и не кричать. Вы сидите совсем на разных концах столика, надо особенным образом наклониться, особенным образом положить руку на локоть — чтобы на него опереться. И выглядит тело так особенно скручено, что весьма забавно. Олег, конечно, весьма уютно чувствует себя, забившись в диван на своей половине. Ему сидеть и молчать тоже уютно, а я — пью с ним кофе и хочу общаться.

Потом Олег произнесет что-нибудь такое — *Ты не против, если к нам на минутку заедет мой сотрудник?*

Я, конечно, не против.

Два часа они обсуждают сделки-переговоры-деньги-встречи.

И в итоге Олег говорит — *Ну что, пойдем?*

Вот так мы обычно пьем кофе.

6

ЧЕМ ДАЛЬШЕ Макс — тем больше институт шел мимо меня. Наверное, в расстановке приоритетов всё бы должно быть наоборот. Но думать логически не получалось никогда. А есть Макс — остальное уже и вовсе неважно.

Сидела на паре у окна, на любимом месте, смотрела на преподавателя. Он все время носил шарфы, каждую лекцию — разные. Рассказывал лекцию, глядя перед собой, осталось только пририсовать нимб — точно такой был образ. Когда семинары — он менялся. Взгляд в никуда концентрировался на отвечающем. Он смотрел так внимательно, периодически вскакивая и начиная писать что-то на доске. Смешно, конечно, но для меня наблюдение за ним было одним из самых увлекательных занятий в институте.

Он правда хороший, мой институт, наверно, очень хороший, но я не в силах этого до конца понять. Вся моя жизнь проходила вне его. Люди, важные мои люди, о которых хочу говорить, которые так важны, которые делают мою жизнь, — почти все они — вне института. Работа, Анна, Макс — все основное в жизни проходит за стенами. Иногда думаю — зачем, зачем все это делаю? Анна говорит — осталась пару лет. Добей их. Как всегда, права.

Анна... Анна. Если бы я сказала — *Анна, ты так прекрасна*, ей бы не понравилось. Она бы сказала — *Пожалуйста, перестань*. Я все равно говорю. Я говорю — *Ты такая красивая, ты такая красивая*. Она говорит — *Перестань, пожалуйста*.

Она красивая, у нее такие глаза — такие... не потому что они голубые-голубые, а потому что в них столько всего, что у нее было, первые и единственные в моей жизни, когда по ним можно прочесть, сколько всего было у человека. Губы, которые все время улыбаются и колко отвечают тем, кто обижает. Морщинки у губ, мягкая кожа, которая все время вкусно пахнет маслами, ее одежда пахнет маслами, у нее уставшие и все равно радостные руки, пальцы, с кольцами, дизайн которых придумывает сама.

Анна никого не слушает, ни за кого не держится, и она все время в окружении людей. Нужна всем, телефон звонит все время, ее вечера — театры, гости — по вечерам, конфеты — к кофе. Она ходит в театры не потому, что на следующий день расскажет всем вокруг, что была в театре, а потому что ей хочется. Она ходит туда с подругами, они смеются и могут уйти после антракта пить кофе в соседнее кафе. Потому что им стало скучно, и они не считают нужным досиживать до конца — как все вокруг.

Анна любит есть сырники. Так люблю сидеть и смотреть, как начинает пахнуть сырниками, как она жарит их почти без муки, люблю ее кружку с Биг-беном, ее перчатки без пальцев, ее шапку — на глаза.

Моя подруга однажды рассказывала мне за чаем о людях и образах. Она говорила, что каждый человек — это образ.

— Как это так, Соня, мы же с тобой — не образы?

— И мы — образы, просто наши образы полностью совпадают с нами, а у других людей их выдуманный образ настолько нависает над ними, что они оказываются в его власти и подчиняются ему.

Анна ничему не подчинялась. Она не играет, не пытается создавать впечатлений, не пытается понравиться, ей — все равно. Делает то, что ей хочется и нравится.

Она меня так восхищает.

О ней могут сказать — *Ах, конечно, ах, она такая, может себе все позволить, ездит по всем странам, как ей нас понять.*

Анна работает с девяти до семи, ругается насчет аренды на свои магазины, ругается с налоговыми инспекторами, ездит на закупки, таска-

ет мешки в своих руках, пишет накладные. Что такое о ней могут сказать! Она — self-made, всего добивается сама.

Ездит в Иран, в Сирию, в Индию — ищет себя, она давно нашла себя, она все знает, ей не стыдно хотеть узнавать еще и еще.

Анна смотрит мультики и смеется, ходит на все выставки, воспитывает двух детей, не дает себе плакать, хотя столько поводов, сколько у нее, я еще ни у кого не встречала. Она такая сильная, такая восхитительная, какой мне не стать никогда.

Мы с ней знаем друг друга всю жизнь.

Я работала у нее на фирме.

Работа не была сложной. Я когда-то работала продавцом, поэтому научилась разбираться в покупателях. Знала, что куда нужно поставить, на какие лепестки разложить коллекцию украшений, в какой последовательности поставить открытки. Куда посмотрит человек при входе в магазин, на полки какого уровня что нужно поставить. Знала, что товары, расположенные у кассы, человек купит в шестидесяти процентах случаев.

Это несложное знание, конечно, что и куда поставить, но все знания — несложные, и что уж тут.

Проблемой были продавцы в магазинах. Женщины на пятнадцать-двадцать лет меня старше смотрели с ухмылками и громко стучали каблуками, выходя из магазина, — ах, тоже мне, пришла тут, будто лучше нас разбирается в том, что и как делать. Я говорила им — *Я уверена, что вы лучше меня знаете, как и что сделать, простите, я просто немного здесь поменяю.*

Они мне не отвечали, потом начали говорить немного, потом мы не стали больше с ними ругаться, потому что — любого можно понять. Мы начали общаться, и все стало хорошо. Мне всегда казалось, что лучше с людьми дружить, чем ссориться, и лучше всегда попытаться дать им возможность узнать тебя — прежде чем невзлюбить. По-крайней мере, честно. Да и вообще. Не знаю человека, к которому я хоть когда-нибудь относилась плохо. Почему-то очень люблю людей. Взаимно-невзаимно, все это глупости.

В моей жизни нет врагов, ведь и я не делаю никому ничего плохого. Стараюсь делать хорошее, стараюсь, как могу, зачем нам нужно не любить друг друга?

Мир-дружба-улыбки.

Анна — директор фирмы. Сама все это выстроила, сама все это делает, все сама. Ведь так сложно быть директором-женщиной.

Столько унижения, столько просьб, столько жесткости, столько накладных и расчетов, столько моментов, когда я слышала — *Больше не могу, правда. Я больше не могу. У меня нет сил.*

У нее всегда находились силы. Она все может, я не знаю как. То, что она находит для меня время в своей жизни, — это счастье, это такое счастье. Я смогла бы прожить без любого, но не будь Анны — зачем тогда все. Зачем просыпаться. Зачем учиться. Зачем все.

Почему так? Тут я не знаю, просто так и никак иначе. Все понятия любви, дружбы — в себе вмещает она. Как мне жаль, что мы не учились вместе в школе, не поступили вместе в институт, вряд ли у меня возникла бы необходимость общаться с кем-то еще. У меня нет никого больше, кого боготворю.

Она научила меня всему. Она повторяет: *«Вика. Пойми. Сила не нуждается в подтверждении»*. Она разучила меня бояться. Она научила не волноваться о том, что другие о тебе думают. И сейчас я понимаю, что мне действительно это неважно. Она научила — *Не делай того, что тебе не нравится, не находись в обществе тех, кто тебе неприятен, не стремись сохранять отношения с теми, кто уже давно вне твоей жизни, не слушай никого. Не злись на людей — ты в этой жизни для того, чтобы учиться. Будь спокойна, будь как вода — иди своим течением, у тебя все получится, ты очень сильная. Не обращай внимания на зависть, иди своей дорогой. Ты — хороший человек.*

Я не смогу замолчать о ней.

Как она, больше нет. Я — ее старшая дочка. И иначе быть не может.

— *Я буду у тебя через час.*
— *Хорошо-хорошо.*
— *Будь готова.*
— *Да уж ясно.*

7

ОЛЕГ УДИВИТЕЛЬНО предсказуем. Бывает, что человек предсказуем, и тут раз — откуда-то неожиданное. Вдруг — и снова умирает. В Олеге *вдруг* не было. Все по ежедневнику, все по часам. Когда мы куда-то едем, он всё время обсуждает рабочее по телефону — ведь нельзя же просто так ехать в машине и терять время. Мне кажется, жить так — очень страшно. Он не делает бессмысленных вещей, я же их делаю очень много. Но и бессмысленные вещи делают жизнь. Чтобы было, о чем жалеть. Исправлять. Грустить.

Но неважно.

— Я привез вино твое любимое.

— Мое любимое — за сто рублей из соседнего магазина.

— Ты должна приучаться к хорошему.

— Не должна вообще ничего.

— Как день?

— Спать хочу.

— Опять жизнью непонятной живешь?

— Да, наверно. Куда едем?

— К моим друзьям в ресторан, устраивают банкет.

— Ну, поехали.

Джинсы, майка. Лениво — в окно. На дорогах снова стройки. С Олегом хорошо. Но как бы хорошо ни было с Олегом, постоянный процент мыслей — Макс. Учусь, но — о Максе. Пью кофе — о Максе. Стройки на дорогах — Макс.

Ты совсем мне не пишешь.

Знаешь, вчера был очень важный для меня день. А ты этого почему-то не заметил.

Прости меня, прости. Мы обязательно повторим этот день вдвоем.

Обязательно. Через год.

Можно и раньше... Прости.

Можно. Но не хочется.

Совсем ничего не хочется?

Хочется чуда, на которое ты не способен.

И?

И хорошего тебе вечера, до ро гой.

Ма ла дец. Я люблю тебя.

Его «люблю» — бегу в холл, где нет музыки, звонить.

— Любишь?

— Люблю.

— И я.

Рядом со мной в ресторане сидит человек из Костромы, рассказывает очень много о поставке сухариков в Москву. Кажется, костромские сухарики — самые вкусные сухарики на свете. Он уверяет.

Черт возьми, это так интересно...

Но после *люблю* — интересно все. Смотрю в глаза костромскому поставщику, очень заинтересованная, он, вроде, думает, что я тоже хочу продавать сухарики — теперь и навсегда. У меня откуда-то столько важных вопросов об этом. Олег — напротив. Улыбается всем улыбкой — да-да, она со мной. Я, конечно, улыбки этой не понимаю. Костромской поставщик переходит на что-то совсем личное. Вроде думает, что мы женаты. С Олегом. Олег улыбается — *Пока что нет.*

Вино — красное, сигареты — заканчиваются. У женщин за нашим столиком кольца на каждом пальце, все такие дорогие, золотые, камушки и на пальцах, и на платьях. Они все как одна: беловолосые, пухлогубые, где-то научились говорить одинаковыми интонациями. Почему-то все едят клубнику. Сидела и думала о том, что попала в другое измерение — где женщины одновременно прокалывают клубнику вилками (но ведь удобнее взять рукой?), одновременно и, конечно, очень медленно кладут клубнику в рот, конечно облизнув совсем слегка и совсем неспециально уголок губ.

Чувствовала себя недоженщиной. Поэтому сигареты заканчивались. Сегодня я не курила, сегодня я пыталась занять хоть чем-то руки.

Напиши, когда захочешь уйти.

Сообщение с другого конца столика, Олег улыбался.

Вика. Я с ужасом вспоминаю те дни, когда чуть было не совершил самую большую ошибку. И я способен на чудо.

Дни, когда я лежала в квартире одна, целыми часами и минутами, время было медленное и болотное.

Макс, пожалуйста, давай встретимся.

Сегодня — нет. Может, послезавтра.

Но ты понимаешь, что только сегодня.

Вика, ты ломаешь меня, всех, я не смогу.

Пожалуйста, я так громко прошу тебя, не могу без тебя, совсем, совсем не могу. И ты не можешь, просто чашка кофе, я так прошу тебя.

Прости, прости меня, за все прости. За то, что я такой слабый. За то, что я не способен. За то, что боюсь. За то, что не смог стать всем в твоих больших глазах.

— Да, сейчас уже поедем. Они все — в казино. Ты хочешь?

— Домой хочу.

Дни, медленные, ломанные, болезненные. Чашка кофе, выпрошенная и вымоленная, смотреть ему в глаза — не могу. Не смотреть — не могу. Руки дрожат так, что кофе проливается на юбку. Люди вокруг все несущественные, незначительные, все краски — в нем. Страшно попросить счет и встать, потому что снова уйти, снова — больно. Снова ждать, не ждать, даже в этом не могу определиться.

— Тебе понравился вечер?

— Да, конечно, спасибо тебе. Прости.

— За что?

— Я стала совсем дурацкая.

— Заметил. Просто мало спишь, много куришь, устала. Надо отдохнуть.

— Надо. Спасибо тебе.

Закрыться одеялом и поскорее уснуть, чтобы сегодня — не ждать. Завтра — завтра. А сегодня побыстрее спать.

В жизни все идет кусками, после знакомства с ним — все кусками. Не помню, что и когда бы-

ло, с кем и когда разговаривала. Не помню, что было раньше другого. Запуталась во всем, такое полное и настоящее чувство так часто повторяемой Любви, что мне ничего не остается, кроме как — просто и безысходно — опустить руки.

Однажды стану женой Олега. Однажды с ним разведусь. Однажды скажу себе — это было моей самой большой ошибкой в жизни. Однажды все когда-нибудь случится.

А случается много всего интересного. Очень много всего и за такое короткое время.

Соседка по лестничной клетке испекла специально для меня пирожные. Я, честно, их не люблю, но это было таким счастливым.

А когда бежала на концерт и параллельно писала сообщение подруге, незаметно, но очень сильно врезалась в столб. Думала, такое только в комиксах. Лежала под столбом и смеялась. Глупо, конечно, но все равно.

На улице подошел мужчина, сказал, что я отлично подхожу на роль индианки с корзиной фруктов на голове.

Или, например, так однажды полюбить девочку, чтобы хотеть о ней заботиться и приносить ей яблоки, зеленые, красные и все, какие можно найти. Просто чтобы она улыбнулась.

Много всего происходит каждую минуту, глаза открыты, всё так рядом, всё так близко, если подпускать.

Просто дело как раз в том, что страшно от мысли, как однажды сказал Макс: *«Делать что-то без тебя — это, может, и интересно. Просто — незначительно. Без тебя все незначительно»*.

Жизнь без него, такая полная и интересная, стала просто незначительной.

9

Я ШЛА, ЗАПЛЕТАЛИСЬ ноги, старалась смотреть вниз, холодно, но зачем-то сняла шапку и перчатки и расстегнула пальто — просто так, вот так, вроде — назло всем, потом — какая глупая — никому не надо, просто я заболела, поэтому расстегиваю пальто.

Зачем предлагать встретиться, чтобы потом молчать?

Это, пять часов назад отправленное, конечно — без ответа.

Шла медленно, спать хотелось очень, снова, как обычно, не успела поспать, оказывается, столько всего надо сделать, столько людей и чашек кофе.

От вина заплетались ноги, смотреть было неудобно. Ах, эти взгляды — ты сегодня пьешь? Снова? Ах, какие моралисты. Ах, ты пьешь одна? Милая, это верный путь к сама-знаешь-чему. Конечно-конечно. Слушать это бесконечно скучно, вы знаете — мне так плохо бывает, да, я, наверно, такая слабая. Потому что раньше мне не было так. Раньше — мне плохо, и я пила чай с медом, держа телефонную трубку ухом. А теперь, знаете, это боль, оказывается, такая сильная, такая штампованно душащая, что ведь не было у меня такой.

Алкоголь — морщиться. Сигареты — ужас. Наркотики — ох!

Тысячу раз удаленный, тысячу раз снова в записной книжке, — он, не верю, — звонит. Мне.

И мой голос, моментально настроенный, наученная, черт возьми, как надо и не надо:

— Привет-привет.

— Привет. Поедем сегодня в гости?

— Куда?

— К моим друзьям.

И фраза Анны — *Вика, он даже не знакомит тебя со своими друзьями*

— Да, конечно.

— Мы заедем за тобой через час.

Бежала по ступенькам, улыбалась, не удержалась, несколько сообщений в папке Отправленные: *Я еду к его друзьям!*

Я еду к его друзьям.

Два энергетика на столе, разбавленный с колой кофе, морщилась, пила, только бы не спать. Сигареты по инерции, что бы еще сделать?

Я так нервничала.

Звонок.

Привет.

Ну привет.

Как ты?

Хорошо.

Может, я заеду?

Не знаю, Олег. Наверно, не надо. Я устала.

Тогда не заеду. Правильно, солнышко. Отдыхай. Ты совсем не спишь.

Пока.

Как мне надоели твои «может», твои солнышки, твои «ты совсем мало спишь» — эта дурацкая забота, потому что мне двадцать, я не буду спать. Да и не потому, что двадцать, ты знаешь, я так люблю жить! Один раз без «может» — приехать и сказать — собирайся, сейчас поедем гулять. И я бы поехала, с тобой бы поехала, ты, черт возьми, такой хороший, такой весь правильный, такой весь стопроцентно любящий, прости, я, наверно, совсем здесь несовершенна, но я не могу, как можешь ты.

Звонок в дверь.

Закрыла глаза, быстро зажгла сигарету, энергетик — в сумку.

— Привет-привет, ну, как доехали? — это отработанное равнодушие, хотя больше всего — подбежать, обнять, просто смотреть, кричать: — Без тебя было так плохо.

— Девочка, я так по тебе скучал, — его губы, глаза, очки, хотя ночь, хотя они от солнца. И все. Все мое равнодушие, мне уже плевать. Его голос — и опять сломана.

10

МНЕ БЫЛО страшно с его друзьями, сначала. Они говорили между собой в машине, я пила холодную самбуку из бутылки, руки дрожали. Они отвечали мне односложно, а я боялась говорить дальше. Макс гладил по волосам и даже — шел рядом. Мне было страшно.

А потом была самая лучшая ночь в жизни. Маленькая кухня, страшная собака, которая хотела не просто кусать, а сразу съесть. Много часов в «мафию», а ведь не играла с тринадцати лет! Я, конечно, была врачом, конечно, лечила только Макса — но это сначала. Они жгли самбуку, на дне кофейные зерна.

— Вика, ну что ты, что ты пьешь, как девочка! Залпом!

Его бывшая девушка пела таким высоким голосом, я еще думала — как же такая может быть — бывшей? Его бывшая девушка, которая смотрела на него болезненно. Я все замечала, было стыдно. Она пела так красиво, а он играл на гитаре. Такой великолепный дуэт. А я не умею играть и петь. Друзья играли тоже, но мне, конечно, только он — кого слушала. Ловить его голос через всё. Наливала себе вино. Потом снова роли в «мафии», сигареты в подъезде. Появившаяся соседка снизу. Его друзья — мои друзья, все так быстро и незаметно.

Мы сидели с Катей в подъезде, я — на полу, с колечками дыма.

— Они давно расстались?

— Давно. Он ее оставил.

— Ясно.

— Он всех оставляет.

— И такое бывает... Надеюсь, ей сейчас хорошо.

— После него все нехорошо.

— Звучит не очень-то.

— Наслаждайся, пока есть.

— Я тебя не слышу.

Друзья — актеры. Играют, поют, сочиняют. Громкие, смешные, без правил и этой тонкой возвышенности в лицах. Свобода.

Мне не хотелось спать, терять момент.

Солнышко, я просто пишу пожелать тебе доброе утро.

Девять часов. Доброе утро.

Доброй ночи. Я иду спать.

Просыпаться ночью — и не заснуть. Облокотиться на подушку. Смотреть. Как красиво он умеет спать. Кашель, тонкие ребра, пальцы у щеки, вздох. Мне почему-то все это красиво. Так страшно обнять, так страшно, что вдруг откроет глаза и увидит. Тогда — сразу все.

Ведь пока он — других вообще не надо. Мальчиков-девочек-занятий-интересов.

А утром по квартире ходили тени. Ленивые тени, ленивая гитара. Семь чашек приготовленного кем-то чая, который никто не пил. Который медленно остывал.

На диване Макс с Лапулей смотрели фильм. Села рядом. Закрыла глаза — не взять за руку, не посмотреть с нежностью. Иначе и про меня «он всех бросает». Он взял за руку, он сказал — *Доброе утро, моя девочка.*

Вернулся из ванны:

— Все люди как люди, с кредиткой и купюрой в сто долларов. А я с десятью рублями и проездным на метро.

— Ну и зачем?

— За тем, что мне сегодня весь день работать и нельзя спать.

И что мне сказать. Уйти на кухню, пить чай.

Всемером в одной машине. У подъезда — *Ты уж не пропадай. Да, не пропаду. Ну, смотри. И смотреть не надо.*

11

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ процент моей жизни забирает работа. Конечно, хорошо бы сказать — работаю дизайнером в известной компании. Или, например, — художник, представляющий свои картины на выставке там-то и там-то. Все это очень хорошо, конечно, но я работаю девочкой-промо, девочкой-моделью, такой девочкой-дурочкой.

Моя анкета — в базе данных агентства. Около пяти раз в месяц вечера или дни заняты работой.

Встречать гостей на открытии нового ресторана.

Раздавать приглашения.

Предлагать попробовать новый сорт кофе.

Демонстрировать одежду очередного малоизвестного модельера.

Так далее, так далее...

И все время улыбаться.

В общем-то, да. Моя работа — улыбаться.

Наверное, я бы могла позволить себе что-то более интеллектуальное, но, к сожалению, я все

же студентка, а посему — пять раз в месяц улыбаюсь за деньги.

Таких, как я, привыкли воспринимать определенным образом. На нас смотрят, как на улыбающихся девушек без мыслей и искорок в глазах. Никаких признаков ума и всего прочего. Такие как я, по мнению большинства, ходят на подобные мероприятия, чтобы познакомиться с мужчиной с заработком выше среднего, который будет дарить не букеты, а машины — и далее по списку. Конечно, это вовсе не ложь.

Забавный случай в период моего устройства на работу.

Два года назад была приглашена на собеседование в одно модельное агентство. Пошла, потому что оно проходило в одной из гостиниц, где у Анны магазин. Думаю, пойду и, наконец, посмотрю по пути, как там все оформлено, как работают продавцы. С магазином было все в порядке, зато у модельного агентства точно были проблемы.

Собеседование проходило на последнем этаже. У входа, томно облокотившись о стены, словно возлежали — тощие девочки-гусеницы. Гусеницы, потому что невероятно тонкие и высокие, и лица, лица! Все почему-то совершенно одинаково отрешенные от жизни. Я много общалась с девушками-моделями, но там подобралась на редкость однородная аудитория. Села в стороне на пол, потому что ждать обычно приходится долго, а ждать стоя — не люблю. И слышу удивительнейший разговор.

Девочка, лет шестнадцати, выше меня сантиметров на двадцать, с длинными рыжими волосами, тянула:

— Не-е-ет, вы то-олько поду-умайте... Всего лишь месяц назад у меня был та-а-акой мужчина! Шестьдесят лет, две машины. Одна — «ягуар». Он со мной и ту-уда летал, и сю-юда водил. А я, дурочка такая, взяла отработанные деньги — и ушла. За-а-чем ушла? Надо было хоть «ягуа-ар» забрать. А те-еперь вот сижу тут с вами напротив этой двери, как ду-ура какая-то-о...

Шокированная подобным монологом, зашла внутрь, на собеседование. Искала работу промоутером или моделью на показы.

— Девушка, а у вас бриллиантовый браслет?

— Мм, нет. Обычный.

— Ясно. Вы готовы сниматься обнаженной?

Редкий случай, когда не смогла ответить ниче-го. Шок.

— Нет, не готова. У меня же в анкете это написано.

— Понимаете, у вас типаж такой. Агрессивный, горячий. Вы должны сниматься обнаженной. У вас характер в лице.

— А вы характер только в обнаженном виде умеете показывать?

— Если вы хотите у нас работать, то вам надо перестать думать и задавать вопросы.

— Ну, в таком случае я не хочу у вас работать.

Встала, улыбнулась, пожелала всем хорошего дня. Когда открывала дверь, услышала:

— Так вы будете с нами работать?

— Нет, простите. Мы с вами не сходимся характерами.

Это было начало моих карьерных, так сказать, опытов. А потом было очень много подобных разговоров, забавных девочек, красивых, но одинаково рано испорченных. Были и хорошие девочки, но мало.

В любом случае, я нашла подходящее мне агентство, скромное и нераскрученное. Платят не слишком много, но все устраивает. В конце концов, зарабатывать хоть сколько-то самой гораздо лучше, чем просить денег у родителей.

Про мою работу можно рассказывать долго, очень долго. Это же совершенно другой мир. Интересный, несомненно. Наполненный, сочный, красочный. Интересный в каждой своей мелочи. Забавный, жестокий, не думающий. Но говорить об этом мне почему-то совсем не хочется. Просто. Просто так проходят пять дней в месяц — вот и всё на этом.

12

Я НАЧАЛА ссориться с Анной, когда появился Макс. Мы начали плакать вместе с ней, вылетая из кафе в разные стороны и обе — слезы. Ей хочется мне счастья, а я — люблю ее. Она говорит — *Вика, ты теперь не та девочка, что раньше. Ты теперь взрослая. Ты стала совсем новой. Которой я не понимаю.*

Мне хочется кричать ей без слов, кричать в ее глаза — *Анна, куда ты смотришь. Анна, ты же все, что мне так нужно. Анна, не бросай меня, умоляю. Анна, я просто взрослею немного.*

Она не желает больше слышать о моей личной жизни.

Я, оказывается, всем и каждому делаю больно.

Оказывается, всех ломаю.

Это уж совсем что-то новое.

Оказывается, я — воронка, которая тянет за собой всех.

Я так люблю Анну, всё это больно, всё так повернулось в двадцать лет, что.

Что просто сижу, музыка на громкости, бутылка полупустая, Макс пишет — *Люблю девочку и засыпаю.*

Пишу ей — *Я без тебя пустую. Прости.*

Когда-нибудь все будет хорошо, и это самая верная истина.

Макс удивлял меня, я удивляла Олега. Сначала с Олегом, потом к Максу. Два очень важных человека.

Мы ехали на какую-то вечеринку, куда Олег не хотел без меня. А я не видела его уже две недели и, честно, да, скучала. Вечеринки Олега все же очень странные.

Было семь вечера, с шести на столе стоял любимый салат Макса, в холодильнике охлаждался портвейн — они с Лапулей, Катей и Куней приезжали ко мне в два — после репетиции. Смотрела на часы и хотела успеть.

Олега встретили важно и рукопожатиями. У входа курили белокурые красавицы с длинными ногтями. Смотрели на меня из-под ресниц и отворачивались. Я была в кедах, после института, меня, кажется, вовсе не хотели пускать, но Олег показал свою карточку. В его окружении я всегда недочеловеком получаюсь.

— Ой... А что это тут происходит? Что это они все словно замерли?

За длинными столами сидели люди, по-моему, не разговаривали, по-моему, не пили и даже не ели.

— Сегодня испанская ночь, я уверен, что тебе понравится.

— Раз испанская, то точно понравится.

Мои давным-давно испанские ночи, песок между пальцев, холодные пляжи, жгучая самбука, горячий дым до кашля в горле, музыка гремит внутри кожи, ноги болят от ритмов, испанские ночи, не могут не нравиться.

Прошел час. Люди за столами все же двигались. Разговаривали очень тихо, все невероятно с иголочки. Сцена выложена стразами, пел, и вправду, испанец. Пел хорошо, играл тоже. Их было двое. Очень правильно и хорошо — в Испании так не играют. Один играл, но без взрыва, другой пел — но без боли, без стонов, без максимума. Но все же хорошо.

Но все же прошел час.

— Э-э, Олег, слушай. А почему никто не танцует?

— Да ты что, здесь не танцуют.

— Как это — не танцуют? Это же испанская вечеринка, как ты сказал?

— Да. Все слушают испанскую музыку...

— ...и говорят о своих бизнес-делах.

— Совершенно верно.

— Не могу поверить, ужас какой. Это же скучно.

— Тебе не нравится музыка?

— Очень нравится. Но хочется танцевать. Пойдем со мной?

— Вика, ты о чем? Если тебе не нравится — мы можем уехать.

— Мне нравится, черт возьми! И я хочу танцевать.

Олег улыбнулся, зачем-то погладил по щеке и налил еще вина. Потом вернулся к своему разговору с мужчиной в сером костюме.

Улыбнулась певцу. И он — в ответ. Мне всегда было просто с испанцами, мы с ними очень одинаковые.

Я боюсь высоты, привидений и навязчивых людей. Но напрочь отсутствует страх перед обществом.

Допила вино, встала. Они начали великолепное фламенко.

Не знаю, что делали люди за столиками, я ведь — к сцене. Только Олег, с его постоянными — *Вика, прошу тебя...*

Остановилась перед певцом, протянула руку. Улыбнулся.

Он, конечно, танцевал по-испански, так, что пол не чувствовался, не наступая на ноги. Гитара ускорялась, мы втроем улыбались — из-за гитары, из-за плеча и мне в глаза. В кедах неудобно, но он умел вести сам. Так не танцевала очень давно, ведь он весь отдавался так же, как и я, без всяких — что подумают.

Я была счастлива. Он поцеловал руку и ушел после Gracias.

Повернулась к Олегу. Его лицо, серьезное и шокированное.

А потом громко смеялась и просила не обижаться — ведь он сам не захотел со мной танцевать.

Они ждали у подъезда, пели в машине под System of a down, Катя нажимала на кнопку моего звонка в течение последних пятнадцати минут, убежденная, что так скорее приду.

— Малышка, я купила нам с тобой любимое наше шампанское. Представляешь, нашла его за девяносто рублей!

— Девочка, а где ты бываешь так поздно ночью?

— Представляешь, у меня на репетиции украли гитару.

— Суки.

— Лапуля сегодня придумал новый стих, там как-то так — Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами.

Макс, конечно, удивлял все время и совсем неспециально.

Мы включили фоном телевизор. Катя утверждала, что любую бумажку нельзя свернуть больше чем восемь раз. Лапуля предложил всем спорить с ним, что за минуту никто никогда не

съест больше чем три юбилейных печенья. Я складывала лягушку из бумаги.

— Ну, и нахрена его по телеку показывают, — Макс стоял рядом с диваном, курил и смотрел передачу. Переместились к нему. Показывали то ли йога, то ли кого-то еще, кто сделал невероятную, по словам ведущих телешоу, вещь. Стояли два стула. На один стул йог положил голову, на другой — пятки. И спустя какое-то время замер в этом положении. То есть все его тело, оставаясь на весу, не падало на пол. Через минуту нам надоело смотреть, как йог лежит в этом положении, вернулись на кухню в поисках печенья.

Зовем Макса к нам — не отвечает.

Не знаю, как, но он в точности повторил то, что сделал йог на экране. Мы стояли рядом с ним, не говорили, боялись дотронуться. Его тонкое тело, черные волосы на стуле, ровное дыхание.

Села рядом на пол, положила руки на его колени и так бы сидела всегда.

Моя любимая Анна...

Забежала ко мне домой — принести фотографии своих магазинов, мне надо было их обработать в фотошопе. Я — в институте.

Смеялась долго, много, моя Анна, расклеенные бумажки по всей квартире.

На пепельнице — *Помой меня.*

На клавиатуре — *Протри кнопочки и монитор ваткой с тоником — плиииззз...*

На цветке — *Я уже в другом измерении. Выкинь меня!!!*

На радио — *Пыль на радио, пыль на проводах, пыль на книгах... всюду пыль... Это так романтично, словно входишь в декаданс... там кто-то жил, но не ты...*

Анна, Анна, Анна. Люблю — это так мало, что я могу сказать.

13

Я ВЕРНУЛАСЬ ПОСЛЕ работы. Устала. Макс сидел за столом и чертил схемы, он делал дизайн чьей-то ванной. Не вдавалась в подроб_ности.

Сказала — *Привет. Я так устала.*

Его скучное «угу» — и всё.

Я так устала сегодня, за этот вечер, а он все чертил и чертил свои схемы, не хотел на меня смотреть.

Громко бросила сумку на пол. Макс чертил и чертил. Всё старалась делать громко — громко чистила зубы, громко доставала чашку, громко кашляла.

Он чертил, чертил, чертил.

Села на диван, зажгла сигарету. Огонь был таким большим, что случайно подожгла себе ресницы, побежала к зеркалу — ничего не заметно.

«Но сейчас-то он не имеет права промолчать!»

— Макс! Половина моих ресниц сгорела!!! — подпрыгнула к нему и широко раскрыла глаза.

Нахмурил лоб, посмотрел странно.

— Надеюсь, это будет твоим самым большим огорчением в этом году, — и отвернулся.

Как же ты умеешь это, как же ты умеешь это делать так, чтобы я жалела о каждом своем слове. Как же ты так умеешь все время быть выше.

Хотела плакать, и кричать, и кричать — *Не любишь, не любишь, ты никогда меня не любишь! Я просто хочу, чтобы ты спросил, как прошел мой день!*

Не знала, что еще делать, поэтому подошла к музыкальному центру и включила диск Нино Катамадзе. Я очень любила ее — тянущиеся слова, которых не понимала, мелодии, ее бесконечный голос.

Макс о ее пении говорил кратко — *Орет, как кошка* — и все время нажимал на «стоп».

На середине песни он положил карандаш на стол и посмотрел на меня.

Стараясь не улыбаться, сидела на диване и пила чай.

— Ты ведь знаешь, что я не могу ее слушать.

— Знаю. Зато я могу и хочу.

Как смешно смотреть на свои поступки из следующего дня. Как смешна я бываю так часто!

Макс смотрел на меня еще немного. Потом встал. Дошел до полки с книгами. Взял в руки вазу, которую я вчера закончила расписывать — делала ее долго, около месяца, очень старалась — ведь для мамы.

Пила чай и думала, что, наконец, он скажет — *Вика, Вика, ты правда одаренная, ты так хорошо это сделала!*

Макс улыбнулся и со всей силы бросил вазу на пол. Она разбилась.

Молчала, молчала, молчала... Может, и не молчала бы, но слов не было.

Он улыбнулся и быстро скинул с полки хрустальный колокольчик. Подарок Светы.

Музыка играла.

Он поднес руку к бокалу. Я вскочила. Этот бокал мне привез брат из Англии. Этот бокал и еще несколько других мелочей — никому, кроме меня не нужных, — все, что у меня осталось. Макс знал это. Боялась двинуться, я не плакала, но слезы — сами.

— Нет. Это я не трону, детка, — он погладил бокал.

Потом подскочил к фигурке кошки, которую мне купила когда-то мама, и бросил ее об стену. Кошка отскочила, скользнула по полу, не разбилась.

Я стояла посередине комнаты и плакала, подняла кошку. Мама.

— Что?! Ненавидишь ты меня?! — встал напротив и схватил меня за подбородок.

— Нет, — тихо, — нет, нет. Люблю тебя, — слезы, опускала глаза, не смотрела на него, любила.

— Любишь?! Почему любишь?! Почему ты, черт возьми, меня любишь?! — он кричал громче, я плакала громче.

Опустилась на пол рядом, с его ногами. Увидела разорванные внизу джинсы и подумала, что надо будет зашить.

— Тогда, если любишь, не надо делать вещи назло! — криком, хриплым, громко: — Ты ведь знаешь, как я не люблю твою певицу! Ты ведь знаешь, что я работал! — побежал в прихожую. Надел кроссовки. Взял сумку. Открыл дверь. Я лежала и смотрела на его чертежи, они остались — и он вернется.

Макс заглянул в комнату:

— И... Еще. Прости, я мог быть не прав. В общем, я не прав. Прости. Прав, но не во всем, — щелкнул пальцем по шкафу, — короче, я пойду, встань, пожалуйста, и ложись спать.

Заставила себя встать. Подойти к нему. Сказать:

— Выйди, наконец, отсюда, — и повернуть ключ на три замка налево.

14

МНЕ КАК-ТО позвонила Катя, девушка Лапули. Мы были уже достаточно хорошо знакомы, чтобы я простила ей ночной звонок. Сползла с кровати и взяла трубку.

— Да?

— Вика, слушай, тут такая проблема...

— Мм?

— В общем, к Лапуле зашел знакомый... Они поссорились. Лапуля его избил и решил, что тот умер.

— Катя, черт возьми, что за бред?! Я сплю!

— Послушай, послушай, мне очень страшно, я не знаю, что делать, — она всхлипывала в трубку и торопилась. — Так вот, он решил, что убил его, и потащил закапывать в песочницу во дворе. Я не знаю, что делать!

— Господи, — начала просыпаться, — а ты уверена, что он умер?!

— Нет, не уверена, он ведь дышит, я проверила.

— Катя! А что ты мне звонишь?! Иди во двор, не надо закапывать, — я все еще не могла скомпоновать слова и пыталась проснуться.

— Да... Но я так боюсь...

Лапуля вообще чудесный человек. Для себя я еще не решила, то ли таких, как он, очень много, то ли очень мало, но в любом случае — он совсем не похож на тех, кого знаю я.

В любом случае, такие вещи, как эта история с песочницей, происходили у него постоянно.

Они с Максом были лучшими друзьями со школы. До пятого класса их взросление шло одновременно и вполне одинаково. А вот уже к девятому классу, когда Макс остался таким же худым и белым, как в первых классах, Лапуля был ростом под метр восемьдесят, потом под метр девяносто, тяжелел с каждым годом и вообще начинал пугать людей своей могучестью. Испуганно-наивная улыбка осталась, но все остальное менялось и менялось и никак не могло остановиться. Такой Лапуля сейчас — большой, с прямыми русыми волосами, собранными в хвост, с квадратно выбритой щетиной — настоящий такой Страшный мужчина. Но внутри — нет человека более наивного и радостного.

К двадцати трем годам он успел дважды посидеть в тюрьме — недолго, но успел. Есть у него «маленькая» слабость. Иногда он очень злится. И не зная, как еще выплеснуть из своего большого тела эмоции, он нашел достаточно странный способ.

В первый раз это было, когда его бросила девушка — ситуация весьма часто происходящая в жизни. Лапуля не смог долго метаться по комнате — не хватало места для выхода эмоций. От принятия наркотиков он к тому времени уже отошел. Надо было что-то делать. Он зашел в соседний подъезд и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Никто не ответил. Он выбил со всей силы дверь ногой, нашел где-то в квартире почти что закончившуюся бутылку водки, сел за стол, спокойно ее выпил, осторожно прикрыл дверь и ушел.

Успокоился.

И так ему это понравилось, и так хорошо это помогало успокоиться, что и дальше он продолжал делать то же. Ни разу в жизни он ничего не украл. Сломал он таким образом сорок дверей. Сначала он уезжал в соседние районы, а потом так утомился от езды, что начал ходить в подъезды в доме напротив. Милиция сначала ленилась, потом пыталась не обращать внимания, потом им надоело видеть всё ту же подошву на двери, они разозлились и без труда поймали Лапулю, когда тот выходил из очередной квартиры. Соседи, видимо, уже несколько недель

сидевшие у замочных скважин, увидев приближающееся к соседней двери тело и замахнувшуюся ногу, быстро позвонили в органы правопорядка.

Лапуля ничего не отрицал, виновато улыбался на суде и получил срок в четыре года. За примерное поведение его отпустили через два.

Второй раз он попал в тюрьму совсем нелепо. Было лето, и он одиноко шатался по московскому парку недалеко от какой-то гостиницы. А тогда было почему-то модным у иностранцев разбивать бунгало недалеко от гостиницы и там ночевать — вкушать московский свежий воздух и наслаждаться пейзажами. Вот Лапуля и наткнулся как-то на такое бунгало. Сначала он не понял, что это такое громоздится в парке, и искренне возмутился, что это «что-то» загораживает ему дорогу. Потом он нагнулся и заглянул внутрь. Внутри было пусто. Лапуля забрался в бунгало, нашел там бутылку виски и, не раздумывая, с наслаждением ее выпил. Посидел еще немного, начало темнеть, он достал из бунгало простыню, выполз наружу, прикрылся простыней прямо рядом с бунгало, и уснул. Таким его утром нашли иностранцы. А в силу того, что иностранцы оказались немцами, они оперативно позвонили в московскую милицию, четко по-немецки повозмущались, спрятались в палатку и оттуда наблюдали, не проснется ли большой русский мужчина и не убьет ли их между делом. Лапуля проснулся уже в участке, вспомнил, что видел накануне бунгало и что-то там делал, ничего не отрицал и получил срок два года.

В тюрьме его приняли как родного и любимого, он там отдохнул год, а потом его за примерное поведение выпустили.

Еще у Лапули было две слабости — его маленькая девятилетняя сестренка и кепки. Как же он любил кепки! Когда был в настроении, то брал с собой пакет и снимал с прохожих кепки. Прохожие никогда не возмущались при виде большого небритого мужчины, и кепки спокойно перемещались в пакет. И как у него тряслись руки, когда на ком-то из своих друзей он видел кепки! Дружба не позволяла снимать ему кепки с друзей, так что друзья отдавали сами.

Мы с Лапулей сразу нашли общий язык. Увидела я его впервые в тот день, когда увидела Макса, — он был в компании тогда, когда подвыпивший Макс решил прыгнуть с балкона. Но официально мы познакомились месяца через два. Как раз за игрой в «мафию».

— Здорово, — протянул мне свою большую ладошку и плюхнулся в кресло.

— Привет. Есть хочешь? — меня он почему-то совсем не испугал.

— Есть не хочу. А ты хочешь со мной трахнуться?

— Нет, не хочу, — Макс тогда открывал вино с Катей и смеялся.

— Правильно, правильно, — Лапуля задумчиво крутил в руке мою кисточку для красок, — правильная ты девушка.

— Угу, — я села на подушку напротив него и взяла сигарету.

Он посидел минут пять, разглядывая мою татуировку на плече.

— Макс делал?

— Ага.

— А знаешь, чем отличаются люди с татуировками от людей без них?

— Хм, — я иногда об этом думала, но ни к чему толковому так и не пришла, — наверно, тем, что люди с татуировками никогда не интересуются татуировками других.

— Это правильно. Но главное — тем, что наколотые люди проще относятся к жизни.

— Это еще почему?

— Ну вот есть же такой идиотский вопрос — а что ты будешь делать в сорок лет? Ну там типа татуировка скукожится и прочий бред. Да тебя наверняка спрашивали.

Ну да. Спрашивали. И я не переношу этот вопрос так же, как и вопрос о значении татуировок.

— Так вот и получается, что люди, которые себе что-то колют, они думают только о сегодня. Они хотят татуировку и делают. Какое им дело, что будет через двадцать лет? Может, они завтра выйдут на улицу, и их машина задавит. А так успеют сделать важное для них дело в жизни.

Лапуля радостно улыбался. Он-то наверняка давно уже все это думал-передумал.

В общем-то, он был прав. Очень даже прав. Он сам весь был наколот — запястья, шея, улыбающийся черт во всю спину. Вообще, он весь был в чернилах. Он сам часто кому-то накалывает, а когда проверяет машинки, то только на себе. Работает — хорошо, еще одно пятно на руках.

— Да... А еще у людей с одной татуировкой в девяноста процентах будет как минимум и вторая татуировка.

— Да? А это почему? — Макс сел рядом с Лапулей и начал есть полусваренные белые макароны. Я поморщилась.

— Ну... Это как мужчины — если они изменят своей девушке один раз, то, скорее всего, изменят и второй, и третий.

— Правильная ты все-таки девушка, так надо, так надо, — Лапуля понюхал макароны и выругался.

Такой вот он.

Вторым в их тройке был Куня. С Куней Макс познакомился на курсах по рисованию, когда им обоим было восемнадцать. Макс пошел на курсы от нечего делать. Решил, что надо чем-то заниматься. И лучше заниматься тем, что хорошо получается. Группа у них собралась а-ля элитарная, неземная, что-то похожее на моих однокурсников, только все еще с двумя знаками плюса. Дважды элитарные и дважды возвышенные. К концу третьего месяца Макс совсем разозлился на них. Не прям уж на их возвышенность, а на то, что за возвышенностью стояли бездарные рисунки и неправильные светотени.

Как-то сидели они на графике и рисовали Апполона. Макс ох как не любил этого Апполона — его идеально уложенные кудри и губы бантиком. А Апполон еще огромный — надо было отходить все время, присматриваться. Макс разозлился на него, нарисовал все как надо — вот только губы совсем уж бантиком — такие злостно-сжатые в бантике. И злость в каждом кудре, и пустые глазницы прям готовы открыться и пустить молнии. Все собрались вокруг его рисунка. По исполнению придраться не к чему, но смотришь — и так страшно становится... Никто не понял, в чем дело, преподаватель покусал губы и отошел. И вроде все хорошо, если бы не хриплый голос из-за спины Макса:

— Ну и чудище злое какое у тебя тут.

Макс и сам знал, что перед ним и чудище, и злое, да и похуже. Но чтобы кто-то другой ему это говорил! Он развернулся и увидел перед собой такого же тощего мальчика, как сам он, с которым он ни разу и не разговаривал. У тощего мальчика на все лицо падали прямые белые волосы, синие-синие глаза, в общем, вдруг Максу в этом мальчике примерещился образ Апполона.

— Да ты бы помолчал со своими рыбами, — так же хрипло ответил ему Макс и отвернулся.

Дело в том, что Куня и вправду все время рисовал подводное царство. То у него в воде зависали гигантские рыбы, то какие-то чашки, то люди с оторванными руками и ногами.

— А чем вам, Максим, не нравятся его рыбы? Между прочим, он один из самых одаренных художников на курсе, — властно произнес низенький преподаватель в толстых очках.

Макс не выдержал. Он вообще выдерживать не умеет.

— Чем не нравится? А я скажу, чем! Первое — нет ничего проще, чем рисовать существ в воде! Они же не стоят, они подвешены — вот и рисуй, как хочешь! Второе — почему у него все люди в воде с оторванными руками и иногда без лиц? Потому что они утопленники и все растворилось? А ни фига! Потому что руки и лицо сложнее всего рисовать — вот они у него и плавают ущербными калеками. Одаренный, блин.

После этого Макс с Куней взаимно друг друга ненавидели. А потом им нужно было защищать какую-то бумажку в конце года, и им поручили вместе расписывать стены больницы неврозов. Макс не знал, из-за чего злиться — то ли из-за потребления бесплатной рабочей силы, то ли из-за того, что ему красить вместе с Куней.

Макс сел на табуретку и начал смотреть, как Куня весь этаж медленно покрывает рыбами и утопленниками. По умолчанию они разделили работу пополам — Куня рисовал одну рыбу и шел дальше. Макс подходил к рыбе, закрашивал ее и ждал следующего наброска. И все так тихо, без слов, все как надо. Пошел как-то Макс прогуляться по клинике. Из-за всех углов на него то акулы с огромной пастью смотрят, то рука мимо проплывает. Начал невольно улыбаться — вот это что надо для клиники неврозов. Идешь себе после процедуры — тут, бац, кусок ноги мимо плывет. Доходит Макс до входа, а там стоит чаша — как во всех больницах. Ну стоит чаша и стоит, и тут Макс видит, что из чаши выползает нарисованная Куней змея. Да не просто змея, а дракон какой-то, с челюстью, как у огромной акулы, и чуть ли не огнем дышит. А глазами так и смотрит на проходящих мимо, так и смотрит. Тут Макс не выдержал и начал хохотать. Подходящий, однако, рисунок для такого места.

Потом он собрался идти дальше и увидел, что за его спиной стоял Куня. С такой же ухмылкой и в такой же позе.

Макс улыбнулся. Думали они одинаково.

Мы сидели перед свечкой, он сказал — *Вика, твоя квартира — сплошная мистика.*

Лишь они открыли дверь, отключилось электричество. Свечка сломалась на половине, делали кофе наощупь, разговоры при свече — совсем другие, чем при свете.

Звонит телефон. Одновременно — руки на телефоне.

Звонят мне, а не тебе. А у тебя есть что скрывать?

— Олег. Привет, — они замолчали, наливали чай, слушали.

— Привет, тебя можно отвлечь на две минуты?

— Нельзя.

Кладет трубку.

Вика, это что за херня?

Это что за тон?

Почему он все еще тебе звонит?

— Почему ты бросаешь трубку?

— Но ты же занята.

— Это не повод бросать трубку. Ты что-то хотел?

— Поговорить. Как ты?

— Хорошо. Отключили электричество.

— Так это же романтика.

— Это романтика.

— Ну, у нас с тобой разная романтика. Будь я тобой, не сидел бы один. Позвал бы теплую компанию, зажег бы свечи, открыл бы бутылку...

— Я сижу в теплой компании, мы зажгли свечи, у нас открыт ром. И более того — жарим пиццу на сковородке. Кажется, у нас одна романтика?

— Могла бы и меня позвать.

— Но не позвала.

— Хорошего вечера.

Так почему он тебе звонит?

Ты знаешь, это мой лучший друг.

Он не друг.

Не сходи с ума. Ненавижу выяснять отношения.

Нет, их надо выяснить.

Лиля Брик говорила — Знаешь, почему лошадки не ссорятся? Они не выясняют отношений. Что-то такое.

Мы не о том говорили.

Да дело даже не в этом. Олег. Олег позвонил на следующий день. Спросил — *Ну как прошла твоя ночь? Надеюсь, хорошо посидели?*

Черт возьми. Ты даже не можешь на меня обидеться.

Это так грустно.

15

АННА ГОВОРИТ, что всегда мечтала о спокойной дочке. Точнее — о Дочке, с большой буквы. Получилась я. Анна говорит, как же можно жить с такой головой, какая у меня. И как вообще можно так думать. Точнее, так умело не думать.

Мои когда-то люди меня любили, но не без повода же я от них ушла.

Папа говорит — *Ты — ураганная девочка, поэтому всегда будешь одинока, как и я.*

Я говорю — *Скучно об одиночестве. Оно есть у каждого, что уж тут о нем рассуждать. По умолчанию, так сказать.*

Подруги обижаются, что не звоню им вовремя. Подруги обижаются, что мы видимся раз в неделю. Подругам хочется сказать — но ведь настоящие отношения могут быть только у людей независимых и свободных.

Всем что-то не нравится, но, тем не менее, мы всегда вместе.

Всем хочется сказать, неужели нельзя жить проще.

Вас слушать, слушать, все так неровно-неправильно-и-как-не-должно-быть. И я вся такая неправильная.

Ну и что, что вы правы. Или что не правы.

Зато живу полностью, живу без «а если?», «а вдруг?», сегодня только. Это, знаете ли, тоже надо уметь.

Говорю сейчас, курю сейчас, не умею строить ровно, не знаю, куда добавлять и где убавить и как вообще можно построить жизнь в паре строчек.

Люблю Макса. Люблю Макса. Он говорит — *Вика, люблю тебя крайне. А я тебя бескрайно.* И это все равно никогда и никак не передает, насколько без-крайно.

Ночью и холодно. Олег вез меня домой. Слушала Placebo. Всегда уходила в их музыку, редко когда — не фон, а именно — уходить. И вдруг Олег кричит мне в ухо, совсем уж его не ожидала — так вот вдруг.

— Вика! Мы с тобой такие сумасшедшие! — улыбка, улыбка радостная, что просто разозлилась.

— С чего бы вдруг сумасшествие?

— Вика! Мы только что проехали на красный свет, ночью, понимаешь, на скоростном шоссе!

Замолчала. Совсем замолчала. Это... шутка?

— Ты что, серьезно?

— Серьезно, только что проехали на красный!

— Нет, ты серьезно. То есть ты серьезно считаешь, что это — сумасшествие, да?!

— А что же это еще?!

И мой смех. Голодный, отчаянный, кричащий.

Сумасшествие. Сумасшествие! Красный свет. Как это печально.

Сумасшествие.

Мы ехали с Максом в метро, я передавала книгу Лапуле. Кажется, «Девственницы-самоубийцы». Какое это имеет значение, и вправду, просто с Максом все имеет значение. Был вечер, он открывает книгу и начинает читать.

— Нет, ты ложись вот так вот на мое плечо, а я буду тебе читать.

И начал читать. Лежала и улыбалась. Кажется, там было про какие-то топоры, что-то нелепое. Поднимаю глаза — все вокруг слушают. Метро стало совсем непустым. Макс прерывает чтение. Все вокруг слушают.

— О-о, вам интересно? — вскакивает на середину вагона.

И продолжает читать. Громко, за всех персонажей, бегая по вагону, изображая, жестикулируя, мой смех. Их смех, пропущенные станции, ночь, счастье.

И конечно, сумасшествие.

— Ну вот, Макс, и на тебя нашлась управа.

— Вика, вы съедите друг друга.

— Макс, а разве не проще жить так, как раньше?

— Знаешь, я ведь, Вика, как и ты. До тебя любил всегда как-то... неполноценно, что ли. Принимал, принимал, а отдавать не умел. А с тобой все чувства — полноценные, настоящие.

— Сонь, я иногда думаю, может, оставить все. Оставить все сейчас, потому что такое, как у нас, — оно дальше не бывает, это надо прекращать. Я вот так думаю, думаю, но знаю, что ничего оставить не смогу.

— Ну что, Макс, когда свадьба?

— Ближе к зиме.

— Ну что, Вика, когда свадьба?

— Никаких свадеб.

— А по-моему, здорово. Халявное шампанское.

— Девочка, я так люблю тебя.

— И я тебя.

А получилось все глупо. На маленьком диване, окна напротив, портвейн на столе.

— Что говорят твои друзья обо мне?

— Много говорят. А это важно?

— Наверно. Мои говорят, что, наконец, и на меня нашлась управа. Остепенился я, вот что.

— Это хорошо, что остепенился.

— Нехорошо, я думаю. Знаешь, я без тебя не могу.

— А ты и не без меня.

— Почему нам не жить вместе?

И мое молчание. Его мгновенная реакция. Допитый портвейн. Моя тишина. Так боялась. Жить вместе, это ведь страшно. Совсем так не умею. Чтобы просыпаться каждый день, чтобы каждый день — и не одна. Чтобы знать, не ждать, не знаю, почему-то стало страшно. Макс, Макс, мое все, а почему-то стало очень страшно. Потерять то, чего больше нигде не находила и не хотела, потерять какой-то бездарной обыденностью и совместными завтраками.

Глупо невероятно. Я глупая невероятно.

Он, конечно, потом не позвонил. Конечно, это знала.

Он ведь открылся — мне. Впервые. Я — тоже. Но не успела ответить.

У меня не получалось засыпать, хотела, но не засыпала. Еда — невкусная, сигареты — много. Совсем как раньше. Его запах в квартире, рубашка на вешалке. Начала разговаривать сама с собой.

Ждать звонка. Подходить к двери подъезда и снова, снова надеяться, что он ждет тебя там.

Исписывать дневник, запивать вином, потому что кружится голова, и ты думаешь о том, как бы уснуть, а не как бы дождаться. Находясь на станции метро с его работой идти очень медленно, потому что вдруг он выйдет купить сигареты.

Дни, дни, дни, много дней. Какое сегодня число?

— Вика, я тебе говорила.

— Мама, я знаю. Все хорошо.

«Пинк Флойд» на всю квартиру, чтобы еще больше. Институт — нет. Друзья — нет. Всему — нет. Одна.

Крутить до самоистязания картинки.

Как он щелкает кольцами на пальцах.

Вика, а где те твои джинсы, которые подходят под мое пальто?

Девочка, я тебя встречу у работы.

Как он засыпает в ванной.

Концерт на Ленинском проспекте, шумные люди, он обнимает сзади, курим одну сигарету, он поет во весь голос, прямо мне в уши, мой смех.

А куда мы поедем летом? Ой, получилось прямо как в американских фильмах — Дорогая, а куда мы поедем этим летом? Ах нет. Сначала надо купить диван.

Однажды ночью стук в окно, бегу. *Вика, прости, я знал, что ты спишь, поэтому не хотел тебя будить и решил залезть в окно. Я так по тебе соскучился, но не хотел будить. А потом понял — окно ведь тоже закрыто.*

Волосы на глаза, руки с венами, рваные джинсы, тонкие пальцы, синие глаза.

Кофе с пятью кусочками сахара, горячий шоколад, игры в «мафию» до пяти утра.

Катины звонки ночью — *Мы с Лапулей сейчас приедем, пусть Макс не спит — потом вместе на работу.* И спать вчетвером на одной кровати, просыпаясь к вечеру, забывая обо всех делах.

И тут вдруг такая резкая пустота, дыра, все, чем жила, — просто ничего нет.

Картинки-воспоминания душили, жила ими, ненавидела, плакать совсем не могла.

Три месяца.

Звонок Лапуле.

— Привет. Как Макс?

— В Питере, Вика. Как ты?

— Ты сам знаешь, как я. С кем в Питере?

— С девочкой.

— Со своей девочкой.

— Ты — его девочка.
— Сука ты, Лапуля.
— Вика, Вика. Что мне тебе сказать.
— Ничего. Ничего. Прости.
— Ты сама виновата. Теперь дай ему вернуться в жизнь.
— Ну, точно ты сука.

Мне так часто хочется поговорить с тобой, только с тобой, потому что кажется, что только ты на всё ответишь и всё знаешь. Подруги, даже — Анна, не то. Только с тобой. Не могу. А ты бы сказал, ты бы не осуждал, ты бы понял. Все осудят, все не поймут, все скажут — ты снова живешь неправильно, почему если кто-то падает по мелочам, то ты — на серьезном. Захватывая в свою воронку других людей. Ты бы сказал совсем не так и со всем не то. Когда я говорю «Люблю» — сегодня, я честно в это верю. Я скажу «Люблю» завтра — и это будет снова правдой. Как объяснить. Ведь правда верю.

Я люблю Макса вчера, сегодня, завтра. И если он скажет, я все поменяю. В один день. Ты ведь меня не осудишь потом.

Успешная карьера, друзья, семья. Муж. Любит. Такой положительный и правильный Олег. Я заставила себя думать, что он прав, заставила себя полюбить. Водитель — по утрам и с работы. Графики и планы. Кино — по выходным. Вино — по вечерам. Телефон, который все время звонит. Независимость и уверенность в себе. Такая теперь взрослая.

Но. Один его звонок. Он. Он. И бросила бы все, что делала для, вопреки. Чтобы забыться, доказать, отвлечься. И бросила бы все. Мужа. Работу. Кино.

Ну и что — осуждение, обиды, взгляды.

У тебя же такая успешная работа. У тебя же такой идеальный муж. У тебя же такая идеальная жизнь.

Это всё интересно, конечно. Но надо всем стоит Он. Не сумею объяснить.

Если бы просто один его звонок. С ним, пусть столько времени прошло, нет пространства и времени. С ним — нет дыхания. С ним — такое чистое. С ним ничего больше не имеет значения. Он — один, один, для меня. Ради него перечеркну.

16

КАК-ТО ПИЛА кофе в центре. Книга лежала рядом, я смотрела в окно. Потом оглянулась. От взгляда.

Он не поменялся. Глаза, ухмылка, также крутит сигарету перед затяжкой. Тонкие пальцы с обкусанными ногтями. Всё это видела.

Улыбнулась и откинулась к спинке стула.

И он.

Так долго искала его, везде, во всех, во всем.

Всё остановилось, все исчезли, всё опять сомкнулось до Он-Я.

Уже почти четыре года.

— Привет.
— Привет-привет.
— Как дела?
— Всё отлично. Как ты?
— Тоже ничего.
— Что нового?
— Женился.
— А я вышла замуж.
— Ясно.

И всё не имело значения.

— Встретимся сегодня вечером? — И тот же голос.
— Конечно. Что будем делать?
— Не знаю. Пить пойдем.
— Отлично.
— Я тебя люблю, Вика.
— И я.

Григорий Назаров

Родился 9 января 1982 года в Волгограде. В армии не служил, в милиции не работал. Никогда не мечтал стать космонавтом и пожарником. После школы поступил в Волгоградский государственный педагогический университет им. А. С. Серафимовича на филфак. Переехав в Москву, бросил ВГПУ и поступил в Литературный институт. В данный момент студент 4 курса на отделении поэзии, семинар Олеси Николаевой.

✿ ✿ ✿

ХУЖЕ ВСЕГО поэтов знают родители.
Сколько бы раз его в хлам непотребным
не видели,
До полусмерти избитым — а вышел
развеяться —
Все же надеются.

Ночь до рассвета не спят, ожидая заблудшего,
Трубку боятся поднять, опасаются худшего,
Злобой закрыв облегченье, кричат, что
не нравится
Жизнь им его — ну а он обещает исправиться.

Вроде дождались, вдохнули — «Ну вот,
успокоился»,
Вроде печатают, вроде работать устроился,
Вроде — жена и ребенок. Звонок в мае месяце:
Горе у нас. Сын ваш ночью повесился.

✿ ✿ ✿

КАЖДУЮ НОЧЬ превращал воду в вино.
За три часа — четверть банки, уже результат.
Утром, опробовав выход, кричал в небеса,
Будто на связи, и звал Иисуса-1,
Сам же себя называл Иисус № 2.

Делал доклад, говоря, то пора начинать
Новый поход. Заявлял, что противник готов
Сдаться без боя, а значит, потерь на войне
Больше не будет. Считал, будто старый приказ
Бесов гонять из людей бестолков и не нужен.
Тайной торговлей людей опускал до скотов.
Звал себя Внешней Разведкой и верил,
что Петр
Двери ему распахнет и поклонится в ноги.

Каждое утро выходит на связь с тишиной.
Если ответят, то, видимо, это конец.

✿ ✿ ✿

ЧТО-ТО со мною не так, что-то со мною не то:
Время летит кувырком, и не могут дела
устаканиться.
Видно, оставлен — не держит никто за пальто,
Видимо, ангел-хранитель мой — лодырь
и пьяница.

Каждое утро его начинается где-то в обед.
Морду свою, не побрив, из квартиры выходит,
Чешет к соседу, который сегодня свободен,
А потому с десяти правит водкой портрет.

Рады друг другу, ведь пить одному тяжело.
Сядут на кухне и ну говорить за свободу,
Хаять своих подопечных — гнилую породу,
Если бы дали других — вот бы дело пошло.

Так вот сидят и киряют всю ночь напролет.
Утром мой ангел водички попьет из-под крана,
Скажет себе, что не нищий, а значит, и рано
Встать ни к чему — пусть Господь другим подает.

Друг мой, я знаю — опять голова тяжела,
Только скрываться всю жизнь от меня некрасиво.
Если зайдешь, то, конечно, подлечимся пивом,
После — по сто пятьдесят и обсудим дела.

Вот я и жду, когда делом займется сосед,
Вроде он в верхних кругах служит высшим
идеям.
Ангел ко мне постучит, чтоб поправить портрет,
Если нормальный мужик — договориться сумеем.

✿ ✿ ✿

В НОГИ СВОЙ вес опусти, чтоб стоять
монолиту подобно,
Руки-замки на железные трубы закрой.
Валит волною толпа, и стоять неудобно,
Силы в кулак собери — долго ехать домой.
Больно идут по ногам, бьют по ребрам локтем
нестерпимо,
Это не отдых — защита в жестоком бою.
Стой, и ни шагу назад! Я держу тебе спину,
Значит, уверен, что ты также держишь мою.

Нет нам ни сна, ни покоя, ни точки опоры,
Воздух пропал, погребенный армадою тел.
Крепче, товарищ, держись, облегчение скоро:
Это метро. Так терпи, если сесть не успел.

✿ ✿ ✿

Я ШЕЛ ДОМОЙ. Огнем горела трасса.
Навстречу ты в расцвете юных лет.
Я сбавил ход и встал, как по приказу —
Твои глаза как знак «Прохода нет».

Я не пущу, сдаваться не согласен.
Ты все нашла, окончен твой поход.
В расстройстве чувств я в обществе опасен,
Так задержись на миг, на час, на год.

Самим собой я закрывал дорогу,
Твои шаги считая наперед.
Куда спешишь? Останься, ради бога!
Сейчас уйдешь, а человек умрет.

Лицом бетон, в отчаянье серею.
Ты уходила, чуть задев плечом.
Я за тебя слону сломал бы шею,
Но не желаешь слышать ни о чем.

✿ ✿ ✿

Я ОТСТУПАЮ. БАШНЯ равнодушна,
И не глядит в окошко Рапунцель.
Погашен свет. Внутри темно и душно.
Хозяйка спит, а значит, нам не нужно
Будить ее. Она не ждет гостей.

Покрыта мхом стены суровой кладка.
На башне силуэты часовых.
Не спят всю ночь, и никому украдкой
Подкоп не сделать острою лопаткой —
Тут не пускают на порог чужих.

К ее стенам не подойдут обозы
Людей торговых, подвозящих снедь.
Ей не страшны ни снег, ни град, ни грозы,
Ее глаза бойниц таят угрозу,
Холерный мор, чуму, страданье, смерть.

Вокруг нее клыки седых утесов
Сомкнулись так, что обойти нельзя.
Когда идут на приступ, то с откосов
Летят каменья, оставляя с носом
Перед завалом тех, что с корабля.

Послушай, нам пора задраить трюмов люки.
Пора домой. У войска пыл остыл.
Я — как Пилат. Я умываю руки.
Живи как хочешь. Отвернулся и забыл.

Ирина Михайлова

Ирина Михайлова родилась в подмосковных Люберцах 21 января 1986 года. В 2003 году окончила гуманитарный класс гимназии. Училась год в лицее при Литературном институте и в 2004 году поступила на 1 курс.

В сторону леса

Повесть

Я РОДИЛАСЬ в то время мгновенных страшных перемен, когда старые многокомнатные бараки только-только начинали сносить, а в новеньких домах стали появляться электрические плиты с духовым шкафом. Я сразу полюбила свой город, как только впервые самостоятельно ступила на его неровный, очерченный с обеих сторон галькой тротуар. Полюбила за его непохожесть на другие города, которую скорее чувствовала, нежели понимала, но чувствовала всегда и очень остро.

Мой город находился всего в нескольких километрах от Москвы. Можно было назвать его почти столицей, но было в нём что-то, что не позволяло сделать это. Что-то, что висело в воздухе над ним и давило на него так, как туман давит на людей, страдающих астмой. И я всегда, с самого детства, ощущала необъяснимую страшную тоску по тому миру больших огней и больших подземных поездов — миру, мне недоступному. Я часто ходила к станции — смотрела на огромные электропоезда с освещёнными вагонами, полными людей, провожала их взглядом и мечтала, чтобы и меня когда-нибудь унёс прочь такой вот огнедышащий вагон, превращающийся в острую зелёную стрелу.

Я любила свой город, но не могла ему простить этого чудовищного провинциального запаха, как мы иногда не можем простить родителям, что они зарабатывают слишком мало денег. Я боялась, что так никогда и не узнаю, что же находится там — за пределами моего маленького мира, куда каждое утро уезжали сотни самых разных счастливых, как мне казалось, людей. Я не понимала тогда, что и их гонит отсюда эта необъяснимая тоска.

В моём городе всегда пахло провинцией. Я уловила этот запах сразу, как только научилась дышать. Это ощущалось всюду: в улыбках людей, в их взглядах, походке, в их одежде, в их духах. В их квартирах. Это был запах того, что обычно называют Подмосковьем. Как только я сделала свой первый шаг, даже задолго до этого — когда я ещё и ходить-то толком не умела, когда я только училась, уже тогда я почувствовала это. Я пыталась смыть с себя это клеймо, но запах шёл за мной, будто он породил меня, заставлял постоянно оборачиваться и смотреть ему в глаза, словно хотел унизить, показать, что без него я — ничто. И чем сильнее я пыталась от него избавиться, тем громче и пронзительней был его смех и быстрее его шаги за мной. Тогда я полюбила и этот

запах тоже, но полюбила из-за невозможности что-то изменить.

Я родилась, когда деревья за моим окном были ещё совсем крохотными, и окна у нас были такие, что если зимой подходить к ним близко — становилось неприятно холодно и мерзко. Мы обклеивали их бумагой, затыкали щели ватой и ставили между рамами игрушечных Дед Морозов и пластмассовых зайцев, обсыпая их серой мишурой, отчего создавалось впечатление счастья и сказочности того, что происходило вокруг. Было красиво и немного странно. Весной эти Дед Морозы и зайцы становились пыльными и с каждой новой зимой всё бледней и бледней. И я навсегда запомнила то ощущение неестественности, которое создавал этот оконный холод и печальные игрушечные глаза за рамами.

Я ничем не выделялась среди своих сверстников. Не умела красиво писать, научилась читать точно тогда, когда и положено детям научиться читать, и не умела делать того, чего бы не умели делать другие дети. Обидно не было — было ощущение, что я — это всего лишь я. Не больше, не меньше.

Я поступила в школу тогда же, когда и положено поступать в школу. Не отличалась способностью к рисованию, не умела играть на пианино, не любила вышивать крестиком или крючком, не любила вязать, не держала в руках гитару или скрипку, не умела кататься на коньках и плавать. Я получала столько «солнышек» в своей первой школьной тетради, сколько положено получать девочке в моём возрасте. Единственное, что отличало меня от других детей, — это моя семья.

* * *

У меня была хорошая полноценная семья. Редкость — у моих подруг не было отцов, а если и были, то постоянно пьяные, пахнущие мерзким мужицким провинциальным запахом, от которого сводило скулы и хотелось бежать прочь. Я помню, как рыдала моя одноклассница, когда на родительское собрание пришёл её отец — огромный, пьяный, с красными руками и трясущейся головой. Как он сломал дверь, как вызывали милицию, как потом она неделю не ходила на занятия, потому что не могла вынести сочувственных понимающих взглядов подруг и учителей. Я всегда боялась этого — не пьянства, а того, что в моём маленьком, продолжающем сжиматься городе невозможно что-то утаить.

Здесь все с тобой здороваются, расспрашивают о чём-то, дают денег, если знают, что у тебя их нет. Не дают, если знают, что всё равно пропьёшь. И весь город знал, что мой отец — исключение, что у него не слезливые затуманенные глаза, что он каждый месяц приносит домой зарплату и не играет в шашки во дворе. Знали и завидовали. А я завидовала им.

Потому что я никогда не любила свою семью. Потому что у них у всех было право ненавидеть своих отцов, а у меня такого права не было. Но почему-то именно они каждый вечер в темноте шли во двор, расталкивали знакомых алкашей и забирали своих пап домой, пока ещё те были в состоянии ходить, а я, когда замечала своего отца на улице, переходила на другую сторону, лишь бы не встречаться с ним. Может быть, я хотела быть как все. Может быть, я ненавидела его, потому что он не дал мне такой возможности. Может быть, когда мои подруги бегали встречать поезда и мечтали уйти из дома, я не бегала с ними, потому что у меня была семья, в которую многие хотели попасть, а не сбежать от неё. Мне же хотелось уехать в Москву, чтобы навсегда потеряться там — среди сотен точно таких же счастливых семей.

Нет, мой отец не был каким-то особенным отцом. Так же, как все, закончил школу — не хорошо и не плохо. Так же, как и многие, поступил в институт. Так же, как и другие, отслужил в армии. Так же, как и большинство его друзей, женился и через несколько лет развёлся. Потом женился ещё раз на моей матери — и родилась я. Может быть, ему повезло немного больше, чем другим. Может быть, он просто чувствовал свою ответственность за меня, какую чувствуют обычно за поздних детей. Чувствовал, что должен дать мне немного больше, чем мог.

Когда я пошла в школу, отец зарабатывал много денег. Он работал на заводе литейщиком, и от него всегда пахло машинным маслом и гарью. И руки его были коричневые от копоти и все в мелких порезах, которые не успевали заживать, как на их месте появлялись новые. Он просил меня смазывать их кремом и зелёнкой — и я помню запах его ладоней. Иногда он подрабатывал где-то — стеклил балконы, делал мелкий ремонт, за который хорошо платили.

У нас была машина, и отец привозил меня в школу каждый день. И мои одноклассники с удивлением и, наверное, с завистью смотрели мне вслед. Я помню, как отец привёз меня на моё первое сентября. Остановился у дверей школы и открыл дверь. И первое, что я увидела, — это десятки глаз, обращённых на меня, словно я была ангелом, сошедших к ним и заговорившим на непонятном и страшном языке.

Был девяносто третий год — и для моего города машина, остановившаяся рядом с обычной обшарпанной школой, в которой не делался ремонт с самого дня её основания, настоящее чудо. И я чувствовала свою незаконность, словно я не должна была быть сейчас здесь, но не быть здесь означало признаться в собственной исключительности. А мне, как и всем детям, чувствовать свою исключительность было мучительно неприятно.

Я была для города и всех, кто жил в нём, предателем. Человеком, поправшим саму суть провинциальных городов. Я была тем, кем мечтали стать многие дети, но кого презирали, как удачливого врага. И тогда я ненавидела отца за то, что он невольно погружает меня в эту чуждую мне действительность.

Я со страхом ждала каждого утра, когда мне в сотый раз придётся пройти эту отвратительную милю от открытой двери машины до порога школы, и все, кто окажется в этот момент рядом, застынут и будут провожать меня глазами, пока я, поправляя сползавший огромный рюкзак, не скроюсь за тяжёлыми дверьми.

* * *

Отец очень много работал. С каким-то азартом. Словно при игре в тире, где главное — прицел и скорость. Он всегда копил на что-то. Сначала на машину, потом на новую машину. Складывал деньги всегда в одно и то же место. Однажды он позвал меня и показал свой тайник. «Если что-то случится», — сказал он. «Но что может случиться?» — спросила я, глядя на доллары, аккуратно перевязанные резинкой. Доллары. Я ненавидела его и за эти доллары тоже.

Мама не знала о них — и я была рада, что у нас с отцом появился общий секрет, что можно было иногда за ужином перемигиваться и переговариваться, точно воры, утаившие от своего сообщника часть клада. Впрочем, мы очень редко ужинали вместе. Я и отца-то видела только по утрам — он приходил часто далеко за полночь, сразу ложился спать, и сейчас я с трудом вспоминаю, каким он был тогда — в его сорок лет.

Он говорил, что должен всё успеть, пока ещё может. Заработать столько, сколько возможно, потому что когда-нибудь всё закончится. Он хотел обеспечивать нашу семью, хотел, чтобы мама не работала, и завод давал ему такую возможность. Отец брал сверхурочные и часто выходил по праздникам. Мне казалось, он чего-то боялся. Постепенно его беспокойство передалось мне, и я, когда никого не было дома, заглядывала в наш с ним тайник, пересчитывала деньги и успокаивалась, только когда их было, по моему мнению, достаточно. Иногда его страх становился невыносимым: он кричал на маму за то, что она много тратит, кричал на меня за то, что я покупаю много не нужных мне вещей, кричал на самого себя, когда не получал премии или брал слишком мало дополнительных часов на заводе.

— Я чувствую, что что-то меняется, — говорил он моей матери.

— Я тоже, — отвечала мама, — но это же не страшно?

— Не знаю. У нас половину завода уже сократили. Мой цех ещё работает, но заказов уже нет — производить нам нечего. А я литейщик. Где я ещё найду такую работу?

Потом отец всё чаще стал приходить по вечерам раньше обычного, молчаливый и злой, стал срываться, не спал по ночам, ходил по квартире и почти ничего не говорил. Я начала бояться его ещё больше. Становилось не просто страшно. Становилось жутко. Как перед решающим боем, когда уже знаешь заранее, что он будет проигран. Мне казалось, в доме стали тише говорить. А я не знала, что будет дальше, и не знала, что я могу сделать, чтобы прекратить эту давящую, словно машинка для глажки белья, почти мёртвую тишину, и от понимания, что ничего, мне становилось по-настоящему жутко, словно я потеряла дорогу, по которой шла, и теперь необходимо тратить драгоценное время, чтобы найти её, но с каждой секундой на эту дорогу ложатся новые и новые следы, и найти её кажется совершенно невозможным. Я начинала ощущать, что что-то происходит. Что-то, что изменит и мой город, и мой дом навсегда.

Однажды отец пришёл домой в обед, и я навсегда запомнила то выражение отчаяния, которое он пытался скрыть от меня, но которое выглядывало из-под улыбки, словно притаившийся зверёк, осторожно смотрящий из-за ствола дерева — единственного его убежища.

— Мне придётся уйти, — сказал отец маме за плотно закрытыми дверями. — Завод стоит уже неделю. Денег в этом месяце не будет. И в следующем тоже.

— Ищи другую работу, — ответила мама после долгого молчания, которое мне показалось прогремевшим взрывом. — Займись опять ремонтами.

— Ты не понимаешь, Наденька. Мне обидно. Я всегда шёл другим путём. Я работал столько, сколько мог. Не пил — и получал достаточно де-

нег. А что теперь? Я оказался там, где все они. Тогда какой смысл был во всём, что я делал?

— Но ты же видишь, что творится. Всё со временем наладится. Просто это надо как-то пережить.

— Но мне страшно.

— Мне тоже.

Потом сократили и маму. Она нашла работу где-то в Москве — уезжала рано утром и приезжала домой под самый вечер. Завод закрыли окончательно, цеха распустили, ничего никому не заплатив. И все ходили кругами, писали бумаги кому-то, ругались. И ничего не делали.

Отец поначалу искал новое место литейщика. Потом пытался найти хоть что-то. Звонил знакомым — тем, с кем раньше работал. Но они в основном пили и ничего не искали. Пытался заняться подработкой. Не выходило. Маминой зарплаты едва хватало — отец злился и шатался по городу просто так. Как и все.

* * *

А потом он начал пить. Внезапно, постепенно, помалу. Стал уходить утром, говорил, что ищет работу, а приходил ночью, уставший, нервный, принося с собой терпкий запах папирос и чего-то ещё, чего я раньше в доме никогда не чувствовала. Я помню тот день, когда, вернувшись из школы, с порога ощутила до рези в глазах страшный запах — запах знакомый и привычный, какой обычно жил у нас в подъезде, вместе с чужими голосами и звуками. Я стояла у дверей родительской комнаты, не решаясь войти или хотя бы постучать, потому что понимала — что-то не так. Я помню, как всхлипывала мама и помню грубый голос отца, который в миг изменился — и я едва узнала его. Затем послышался звон, как если бы что-то упало и разбилось, и я быстро выбежала обратно в подъезд, забыв рюкзак и ключи в коридоре.

Тогда я только перешла в девятый класс.

Мама всё чаще стала ночевать в моей комнате, и я слышала, как она плакала ночью. Отца я почти не видела — он запирался у себя и всё время кричал, что за ним кто-то гонится.

— Это они виноваты, — кричал мой отец, — не я, а они! Что же они сделали!

Мне становилось страшно, и я старалась как можно быстрее заснуть. Тот человек, что жил с нами и выходил на кухню только по ночам, стал мне совершенно незнакомым. Я боялась его, жалела, но перестала ненавидеть. Точно впервые почувствовала — он стал мне родным. Впервые почувствовала жалость к нему. Впервые поняла, что он ничем не отличается от других.

Мама старалась не разговаривать с ним. И мы просто сделали вид, что его больше нет, а может, так оно и было.

Для нас он стал предателем.

Я часто просыпалась ночью, замечая, что у моей кровати на коленях сидит отец. Он просто смотрел на меня и ничего не говорил. Можно было подумать, он спит. Но в темноте я чувствовала его большие зелёные глаза. А потом он пытался встать и не мог. Хватался за стены, шатался и опять падал на колени. И тогда я понимала — он не сможет подняться, если ему не помочь.

Денег становилось всё меньше и меньше. Мне перестали покупать новые вещи и учебники, и, если они были нужны, я брала у подруг или соседей. Из тайника однажды пропали все доллары, которые отец так долго копил. Наверное, он пропил и их. А потом он продал машину. Наверное, за бесценок. И больше не осталось ничего, за что я могла бы зацепиться.

Мой отец всегда включал джаз, когда был сильно пьян. Иногда он подпевал. И звук музыки смешивался со звуком его голоса, с запахом спирта, с ощущением вечного неприятия и щенячий жалости.

— Я не могу начать, — пел отец, — я не могу начать жить без тебя. Как же тяжело начать жить без тебя.

Я шла в ванну и включала воду, лишь бы не слышать больше этой дребезжащей музыки, от которой хотелось выть, хотелось схватиться за голову и не просыпаться.

Потом я научилась узнавать и различать песни.

Сегодня — Раскин; завтра — Портер, и отец пел: «...как легко полюбить, если в сердце печаль...» Потом я перестала прятаться в ванной, садилась на корточки под его дверью, курила и слушала. Я облокачивалась на дверь, закрывала глаза и ощущала такую близость, такую жгучую любовь к этому совершенно чуждому мне человеку, что невольно сжимала кулаки, до крови расцарапывая ладони. Мне казалось — именно в эти минуты рождается что-то. Какое-то понимание между нами. Мы невольно говорили, хоть и не видели друг друга.

Мы никогда не были больше так близки, как в эти минуты молчаливого джаза.

А однажды эта дверь открылась.

Отец стоял напротив меня, качаясь, стараясь не упасть, стараясь зацепиться за пальто, висевшее на вешалке, чтобы хоть как-то удержаться.

— Знаешь, чего я всегда хотел? — сказал он. Я всматривалась в его лицо, не узнавая. Небритое, с отвратительно торчащим острым носом. —

Я хотел быть таким, как все. Я не хотел учиться лучше или хуже других. Не хотел зарабатывать больше или меньше других. Не хотел жениться на женщине красивее остальных женщин. Я хотел делать всё так же, как делали это мои одноклассники, сокурсники, друзья или просто знакомые. Просто я делал, а они — нет. Я работал, а они — пили.

— Я знаю, — зачем-то сказала я.

— Знаешь? — отец подошёл ко мне ближе и посмотрел на меня почти с ненавистью. — Знаешь? Ты думаешь, я не видел? Не видел, как ты презираешь меня? Что не приглашаешь домой подруг, потому что боишься этого, — он начал яростно отдирать дорогую обивку от стен, — вот этого, — начал карябать ногтями обои, — вот этого, — попытался оторвать ручку от шкафа, — думаешь, не видел?

Я закрыла уши ладонями, но он подошёл ко мне ближе.

— Думаешь, я не понимал, с каким отвращением ты садилась в нашу машину. Ту, которую я купил тебе. Для чего? Для чего я всё это делал? Для чего?

— Я не знаю, не знаю, — кричала я, пытаясь вырваться.

— Я не хотел отличаться — я не отличаюсь. Больше нет ничего, что бы делало тебя какой-то особенной. Теперь я всё это уничтожу и стану таким же, как все. Как всё в этом чёртовом городе. Как же я ненавижу его. Как же я ненавижу всех здесь. Как же я ненавижу себя.

— Но я не виновата.

— А кто виноват? Кто виноват? — отец схватил меня за руку, потом резко отпустил. — Кто-то ведь должен быть виноватым.

А из его комнаты по-прежнему Сидней Беше играл свой блюз. «У меня это было, но теперь всё ушло», — пел он. «У меня это было, но теперь всё ушло», — повторял за ним мой отец. «У меня это было, но теперь всё ушло», — слышала я сквозь шум воды в ванной.

* * *

А потом мама подала на развод. Я помню, как ко мне в комнату вошёл отец, бросил на стол вскрытое письмо.

Это была повестка в суд.

И дни как-то заметно, отчётливо и пугающе стали одинаковыми. Словно близнецы, которые вдруг, сговорившись, перестали надевать разную одежду, и люди кругом, даже родная мать, отныне не знают, как отличить их, как заставить их отличаться. Они шли друг за дружкой, словно солдаты, наступая в след идущему впереди, создавая впечатление, что по дороге шёл только один человек. Один, но оставляя долгий, глубокий, чуть ли не до кости земли отпечаток. Дни замерли в своей бесконечной и не меняющейся похожести, и казалось, не закончатся никогда. Они будто зависли в воздухе, и, чтобы время пошло дальше, необходим был какой-то толчок. Чтобы пружинка вмиг разогнулась, вытолкнув наружу всё, что накопилось там за это время застоя.

Отец стал пить ещё больше, потеряв последнюю необходимость останавливаться, словно парашютист, который наконец-таки осознал, что его парашют не раскроется, а запасного нет, и получает жестокое экзистенциальное удовольствие от своего собственного скорого падения. Он спал, пил, по ночам куда-то уходил. Возвращался — и пил снова. Он словно не понимал — он навсегда уходит туда, откуда вряд ли возможен выход, потому что никто не знает, где вход.

Было странно подмечать, как медленно менялся его голос, становясь хрипло-грубым, как его запах, который всегда сохранялся в доме, словно сами стены берегли его, подобно символу чего-то сильного, неизменного, мужественного, постепенно выветривался, а на его место приходил новый, страшный, нежданный здесь. Запах стекла.

Мама старалась уходить на работу как можно раньше, а приходить как можно позже, пытаясь, таким образом, показать всему дому, что ничего не происходит. А я начала забывать, как выглядит мой отец. Я смотрела на его фотографии, молодые, ещё чёрно-белые, думая — как мало схожего между этим человеком и тем, незнакомым мне.

Иногда я слышала, как отец умолял маму не уходить, обещал, что всё исправит, начнёт заново, и как мама отвечала ему, что уже поздно. Тогда он кричал, что ненавидит её, что он просто потерял дорогу, а никто не хочет указать ему новый путь, что он не смог поменяться, когда поменялось всё кругом, поменялось вмиг, пока он спал. Он хватал маму за руки, но она всё равно уходила.

И тогда мой отец оставался один. И пил ещё больше.

* * *

А потом как-то внезапно наступило лето — и я закончила десятый класс. Все дни я проводила дома. Можно было спокойно наблюдать, как уходит одна картина и приходит другая, делая вид, что просто смотришь кино или играешь в

нём, но роли выбираешь такие, чтобы забыть о них, как только фильм будет отснят. Я перестала замечать пустые бутылки, которые отец не успевал уносить, — и почти механически выбрасывала их с балкона.

Мама начала прятать вещи, боясь, что отец их продаст, потому что деньги теперь ему не давали даже в долг. А он находил эти вещи и продавал. Я часто не могла найти бокалы из хрустальных сервизов и подменяла их на другие — дешёвые, которые покупала на рынке с рук у таких же алкашей. Поначалу мама не замечала пропаж. Но их становилось так много, что мне не хватало карманных денег. Тогда я просто прятала наборы подальше в шкаф или разбивала их — будто случайно.

Однажды я застала маму в слёзах. Отец стоял рядом, шатаясь и держась за стол, ничего не говоря.

— Продал. Мою вазу тоже продал, — кричала мама. — Я же её купила, когда ты уже пил. Деньги откладывала. Как же я тебя ненавижу! Лучше бы ты вообще ушёл.

И отец уходил. Но я ни разу не видела, чтобы он плакал. Даже когда был сильно пьян.

А потом мама сказала, что мне надо уехать.

— Зачем?

— Родственников навестишь... У меня сестра там живёт двоюродная. Твоя тётя.

— А как же отец? — спросила я, сама испугавшись своих слов, словно они нарушили негласное табу.

— Я взяла тебе билет на следующую неделю, — мама будто не расслышала меня. — А обратный купишь там, когда захочешь. Пойми меня, — сказала она чуть тише, — я познакомилась с другим, с Сашей... И хочу пожить с ним, а когда ты вернёшься, мы что-нибудь придумаем. Отец ведь уже не остановится. Я ведь не обязана... А Саша очень хороший. Он не пьёт. Он выведет нас отсюда.

Я раньше никогда не уезжала далеко от своего города. Я вообще никогда не уезжала от своего города. Он за это время стал для меня бастионом, за которым можно спрятаться, отгородившись от всего, к нему не относящемуся, высокой дамбой, искусственно создавая всё, что может быть нужным: от света солнца до живых людей, лишь бы пространство в городе казалось заполненным, а движение бы никогда не кончалось. И мне было страшно непривычно собирать большие сумки, пакеты с едой и подарками для незнакомых мне людей, которых я никогда не видела, которых бы пожелала никогда и не видеть.

— Это же не навсегда, — успокаивала меня мама, — пока всё не уляжется.

— У меня нет обратного билета, — пожимала я плечами, — а если навсегда? Я даже не помню, как называется этот город.

— Вятский Лес, — сказала мама, — это очень спокойный город.

— Вятский Лес, — повторила зачем-то я, — мой город тоже спокойный.

В день, когда мне надо было уезжать, отца не было дома. Я смотрела на его кровать и думала, что, возможно, я больше никогда его не увижу. Эта мысль не рождала во мне ничего, кроме нежности и сострадания к тому, чего я не могла изменить.

«Я могу больше никогда его не увидеть», — говорила я себе.

Я переворачивала эту фразу, переставляла в ней слова, но смысл её от этого не менялся и попрежнему оставался неприятно-щекочащим, словно от укуса комара. Мне захотелось взять что-нибудь с собой из его комнаты. Я огляделась — здесь уже не осталось ничего, кроме бутылок с водкой и дисков с джазом. Я взяла несколько дисков — первые, что попались мне под руку, — мне всё равно не на чем было их слушать. Просто хотелось держать в руках то, что когда-то было ценно для моего отца и оставалось ценным до сих пор — ведь их он не продал.

На вокзале мама долго не прощалась и долго не уходила. Стояла рядом, молча, иногда спрашивая, не забыла ли я ту или иную вещь, положила ли я всё, что нужно, будто в этом был какой-то смысл. Словно пыталась, но не могла найти предлог, как не пускать меня в этот страшно большой, слишком большой, скрипящий и харкающий вагон.

Предлог не находился.

— Это же не навсегда, — опять сказала мама, словно убеждая себя в этом. Она поцеловала меня в щёку — и я внезапно ощутила запах её тела.

Я кивнула и зашла в поезд. Она подняла мой чемодан — и поставила рядом со мной на ступеньку.

— Где ты познакомилась с этим Сашей? — спросила я.

— На работе, — мама улыбнулась. — Он...

Я помотала головой и прошла на своё место, таща за собой чемодан. Мне не хотелось слушать про него, просто хотелось показать, что я буду любить всё, что будет любить мама.

Потом я долго смотрела в окно, пытаясь разглядеть её фигуру там — на уже отъезжающем от меня перроне. Но её не было. А мне так хотелось помахать ей рукой в окошко... Когда перрон совсем исчез из виду, я ощутила острое желание выбежать вон, прийти опять к себе домой

и начать всё заново. Чтобы все всё начали заново.

Ехать нужно было недолго — всего часов десять. Я сидела на нижней полке, слушая разговоры своих соседей. Мне не хотелось спать, не хотелось шевелиться, что-то делать и как-то выказывать своё нахождение здесь.

Хотелось сделать вид, что меня нет, что это не я, а кто-то другой уезжает сейчас в Вятский Лес, чтобы уже никогда из него не выбраться, потому что, чтобы выбраться из него, надо опять научиться слушать музыку, а у меня, кроме трёх дисков, лежащих в сумке, больше не осталось ничего.

Я смотрела, как постепенно начинало темнеть, как появлялись и исчезали города, в которых я никогда не была, как появилась и исчезла моя станция, а когда за окном вместо домов стали мелькать берёзовые рощи, я, наконец, осознала, что поезд движется.

* * *

Утром я была уже в чужом городе. Я вышла из поезда и осмотрелась. Никого рядом не было. Я прошлась по платформе. Она был такая же, как и в моём городе. Такая же маленькая. Такая же безлюдная. А если кое-где и попадались приезжающие, то нервно курящие, ждущие или встречающие кого-нибудь. Мне даже показалось, что я никуда и не уезжала.

Вдруг меня окрикнули. Я обернулась и увидела мужчину — невысокого, худого, небритого и очень сильного.

Совсем как мой отец. Словно он — это тот, кем был мой отец давно, каким я его помнила и каким, наверное, запомню навсегда.

Словно я вернулась в свой дом. Только на несколько лет назад.

Я кивнула ему и поздоровалась.

— Твоя мама звонила, просила встретить, — словно оправдывая как-то своё присутствие здесь, сказал он. — Вон моя машина, — указал он куда-то, куда не доставал мой взгляд, — пойдём.

Я всё так же молча кивнула и пошла за ним.

По дороге он всё время что-то рассказывал. Про себя, про мамину двоюродную сестру — его жену, про город, иногда указывая в окно на какое-то здание или памятник. Он ничего не спрашивал у меня, ни про то, почему я здесь, ни про то, надолго ли, ни про маму, и мне казалось, что он решил, будто я останусь здесь навсегда.

«Мой отец тоже никогда ни о чём не спрашивал у меня, — подумала я, — не могу вспомнить его голос».

Мы приехали к моей тёте уже к обеду.

— Наконец-то, — услышала я женский радостный голос, как только захлопнула за собой входную дверь.

Я прошла в комнату и увидела длинный стол, весь заставленный едой, трёхлитровыми банками с компотом и вином. Тётя сразу пододвинула мне стул.

Моя семья никогда так не собиралась. Я забыла как это — осознавать, что ты един с кем-то, что составляет часть тебя.

Я сидела молча, слушая, как они обсуждают работу, предстоящий отпуск, здоровье деда, думая, что больше не хочу вспоминать взгляд мамы, когда она стояла на вокзале. Всё это стиралось, словно ненужные выцветшие чёрточки на асфальте.

Во главе стола сидел дед.

— Это мой папа, — сказала тётя, кивнув ему, — а дети на каникулы разъехались. Так что можешь оставаться у нас, сколько захочешь.

«Наверное, такой и должна быть настоящая семья», — думала я, глядя на них.

— Мой муж сейчас совсем не пьёт, — сказала тётя, когда я помогала ей убирать со стола, — бросил. Когда с работы выгнали, сразу бросил. Твой отец тоже бросит. Они все бросают. Когда нечего больше терять. Мой — машину вон купил. Не бросил бы — не купил. У них всегда так — либо бросают, либо спиваются. Время такое. Я ведь тоже разводиться хотела, да отец отговорил. Ты не волнуйся, — она слегка похлопала меня по щеке, — всё наладится.

Я закивала головой и улыбнулась.

— Я покажу тебе завтра город. Конечно, он не такой большой, как твоя Москва, но...

— Я одна погуляю, я не потеряюсь.

Она отвернулась и начала вытирать посуду.

— И я живу не в Москве, — добавила я.

На следующий день я решила выйти из дома рано — ещё до того, как все проснутся.

Дед уже не спал. А может, так и сидел у окна всю ночь, опершись на палку, приоткрыв форточку, потому что было жарко.

— В Москве-то хорошо. Только людей много, — сказал вдруг он, не обращаясь ко мне и делая ударение на «о». — Я, правда, ни разу там не был. Как с фронта пришёл, здесь живу. Но, говорят, там сейчас опасно.

— Да я не в Москве живу...

— Всё как-то некогда было, — опять сказал он, точно не услышав меня. — Как с войны пришёл, работать надо. Потом семья. Теперь, кажется, что и не жил вроде. Ничего и не успел. Говорили — всё потом станет. А когда потом? Потом и не стало. А теперь уже... А ты учишься?

— В одиннадцатом...

— Ты учись. Теперь учиться надо. Раньше воевали — теперь учатся. Мать-то как?

Я пожала плечами, а дед махнул рукой и отвернулся, всё что-то приговаривая про себя.

И мне стало жаль его.

— У вас хорошо, — сказала я, — но я здесь ненадолго.

— Оставайся, у нас тут есть лес и река, — заулыбался дед, — а в Москве летом-то что делать?

* * *

На лестнице было темно, и я на ощупь закрыла ключом дверь, развернулась, сделала шаг назад и чуть было не столкнулась с кем-то.

— А, это ты, — сказала какая-то девушка. Я не могла разглядеть её в тёмном подъезде. — На лето приехала, да? — Она усмехнулась, словно я была её давней подругой, которую она ждала со дня на день.

— Не знаю. У меня нет обратного билета.

— Из Москвы...

— Да не совсем...

— А я тут живу, — она указала на дверь, соседнюю с моей, открыла её ключом и посмотрела на меня. — Заходи.

Я чуть помедлила, испытывая странное желание убежать, потом, не спеша, прошла за ней.

Её квартира была очень маленькая, однокомнатная, тёмная, с необычно длинным коридором, уходящим куда-то вбок, за угол.

Она сразу, не разуваясь, прошла на кухню. А я сняла ботинки и прошла в комнату. Она молча приготовила чай, ни о чём не спрашивая меня, и зашла в комнату с двумя дымящимися чашками в руках. Поставила их на столик около дивана и села рядом со мной. И только сейчас, при утреннем свете, я смогла рассмотреть её.

Я ничего не могу вспомнить сейчас. Только её запах. Такой дерзкий, словно она пыталась построить стену с его помощью между ней и всем, что к ней не имело никакого отношения. И тот, кто был принят к ней, в её мир, сразу же становился пленником этого страшного своей неприкрытой страшностью запаха.

Иногда мне снится этот запах. Он стоит рядом и держит меня за руку. Ничего не говорит. И не отпускает. Просто стоит и держит. А если я пытаюсь бежать, он так сильно сжимает мою ладонь, что я держусь за воздух, чтобы не закричать. Её комната находилась через стенку от той, где спала я. Наверное, этот запах сбегал от неё, как только она засыпала, и ложился ко мне, словно пёс, охраняющий свою косточку. Возможно, она понимала это и злилась. Потому что ей не нужно было принимать меня в свой мир — он сделал это за неё.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Ольга.

Я повторила её имя и тоже представилась, хотя она не спрашивала, словно в этом не было необходимости, словно это была простая ненужная ей истина, которую она тот час позабыла.

Я не знала, зачем она позвала меня к себе и что хотела сказать, потому что она сидела молча, смотря на меня исподлобья, иногда откидывая движением головы со лба длинную прядь волос, отчего все её редкие движения казались грубыми и резкими, словно бы угловатыми, и неожиданными. Её голос казался подчёркнуто отрывистым, как от ангины, словно каждое произнесённое слово причиняло ей боль. Она скорее говорила жестами и взглядом, отгораживаясь, таким образом, от меня и от всего остального мира.

— Я здесь ненадолго, — опять сказала я.

— Все так думают, — она усмехнулась и пожала плечами.

— Все? — не поняла я.

— Пойдём. Покажу тебе город, — сказала она, даже не глядя на меня, будто меня здесь и не было. Сказала так, словно я был преступник, впервые попавший в камеру, а она — единственный человек, способный провести меня по всем мукам.

Весь день мы гуляли по её городу.

Он оказался меньше, чем я думала, гораздо меньше моего. Здесь был всего один небольшой парк, с аллеями и скамейками. Один кинотеатр, но настолько старый, что кресла в нём были с рваной обивкой, а кое-где просто стояли стулья — без номеров. На дорогах почти не было машин, да и людей встречалось мало, словно зимой на южном курорте.

Мы заходили в магазины, кафе, ходили по скверикам, искусственно превращённым в берёзовые рощи, катались на качелях в детском парке — и она смеялась и прижималась ко мне, как бездомный щенок прижимается к первому же человеку, взявшему его на руки.

Этот город казался мне уютным, не враждебным, как мой, не бросающимся дождём или солнцем в лицо — а такой крохотный, нежный, словно маленький ребёнок. И я думала, что лучше быть сейчас здесь — с настоящей семьёй, хоть и не имеющей ко мне никакого отношения; с этой девушкой — молчаливой, точно героиня из старых книг; чем — быть там. В доме, где давно уже никого близкого, а лишь страшные, не похожие на меня тени.

— Зря ты сюда приехала, — сказала она, когда уже вечером мы сидели на скамейке у нашего дома.

— Мои родители разводятся... — начала было я.

— Сбежала?

— Но у меня не было выбора. Мама познакомилась с другим..

— Выбор всегда есть. Ты делаешь выбор, даже когда не делаешь его. Молчание — это тоже выбор.

Я промолчала и сделала вид, что не слышала её.

— Мои родители тоже сбежали, — сказала она. — Я родилась в Киеве, жила там двадцать лет. А потом мы приехали сюда — к родственникам. Как и ты. И остались. И я ничего не сделала. Как и ты.

— От чего они сбежала?

— Думали, в Москву переберёмся со временем... — Она пожала плечами. — Знаешь, у меня ведь здесь ничего нет. А всё, что было, — осталось там. А здесь... Здесь только город и я. Я и город. И эти дороги, которые я знаю наизусть. Я ненавижу их. Они такие одинаковые. И люди здесь одинаковые. Знаешь, в этом городе ведь совсем некуда идти. Иногда я выхожу ночью из дома, иду по этим мерзким, узнаваемым, а от этого ещё более мерзким улицам и не знаю, как и куда мне бежать от них. Я знаю здесь всё. Каждый куст, каждое дерево, каждый поворот, каждый дом. Я знаю, куда приведёт эта тропинка, знаю, чем кончится этот переулок. Знаю, сколько машин разбивается каждую неделю на этом перекрёстке и сколько детей рождается здесь каждый год. Но я не знаю, что мне со всем этим делать. Этот город слишком мал для меня. Я выхожу и чувствую, как он сжимается вокруг меня в кольцо, и чем больше и длиннее я делаю шаги, тем сильнее он давит на меня, словно паук, медленно окружающий паутиной свою жертву. И надо бежать, пока ещё можешь. Я чужая этому городу. Он не принимает меня. В Киеве я могла ходить по дорогам целый день и всё же иногда теряться. И это было так приятно — потеряться. Я бы всё отдала за возможность потеряться здесь. Но это так сложно! Так сложно... Я не думала, что может быть так сложно потеряться. Понимаешь, здесь только один трамвай. Он так и ездит целый день по кругу. Один и тот же. Каждый день.

— В моём городе нет трамваев.

И она впервые улыбнулась.

— Когда я узнала, что ты из Москвы, я так обрадовалась — словно эмигрант, вдруг услышавший русскую речь.

Я хотела что-то сказать, но она не смотрела на меня.

— А твой отец? — вдруг сказала она.

— Что — мой отец?

— Он ведь остался. Один.

* * *

Утром я позвонила домой. Трубку долго никто не брал. Потом я услышала голос отца. Он что-то пробормотал и, видимо, случайно нажал на рычаг, потому что послышались короткие гудки. Значит, отец сейчас дома. Значит, он живёт в одной квартире с мамой и с незнакомым Сашей. А я была здесь.

— Нет никого? — спросил дед. Он по-прежнему сидел у окна, точно что-то неименное для этого дома. Точно дух.

Я покачала головой.

— Дочка моя тоже хотела уходить. Я не дал. Разберутся, — он махнул рукой, — не волнуйся.

Ольга открыла дверь, улыбаясь так, словно давно ждала меня.

— Ты любишь музыку? — сразу спросила она.

— Джаз...

— У тебя есть пластинки?

Я сходила за дисками отца. Она долго смотрела на них, вертела в руках, рассматривала со всех сторон, пробовала на вес, точно слиток золота. Затем выбрала одну и поставила Сиднея Беше. Заиграл «Маленький цветок».

— Это пластинки моего отца... — Я вспомнила, как слушала эту песню под дверью его комнаты, медленно поджигая постоянно гаснущую сигарету. — Он их слушал, когда..

— Когда пил... — продолжила Ольга.

Я кивнула.

— Мой отец никогда не пил. У нас такого не было. Почему он любил джаз?

— Он как-то рассказал мне про Майлза Девиса. Тот каждую ночь выходил на американские улицы и играл на саксофоне. А люди кидали ему мелочь, не зная — кто он такой. А потом он шёл в ближайший бар и пропивал её. А однажды выиграл свой золотой саксофон. Наверное, мой отец ждёт, когда повезёт и ему. А чего ждёт твой отец?

— Мы с ним почти не видимся, с тех пор как приехали сюда.

— Почему?

— Мне нечему у него учиться. Он слабак. Как и твой.

— Мой отец не слабак. Это мы другие. Но мы ничем не лучше. Он просто оказался не готов к тому, что произошло. Но мой отец всегда хотел,

чтобы было по-честному. А мы хотим, что было по-нашему. Вот и вся разница.

— Но твой отец разрушил всё, что ему принадлежало. Разве нет?

— Может быть, — сказала я. — Но ему было что разрушать. А ты? Тебе и разрушать-то нечего. Упрекаешь меня в том, что я уехала? — я усмехнулась. — Да, я уехала, но я уехала, чтобы не быть там — в той реальности. А что делаешь ты? Тычешь меня, как повинившегося щенка, в эту реальность. Зачем? Я уехала в этот лес, а ты вырубаешь его прямо перед моим носом и заставляешь щуриться от внезапно появившегося солнца. Я уехала сюда, чтобы не быть там. Так позволь мне не быть там. Отведи меня к реке, покажи ваш мир, не тот, от которого я сбежала. Другой. Свой.

Она смотрела прямо мне в глаза, спокойно, с той холодностью, которой обычно прикрывают убийство.

— Но другого мира нет, — сказала она. — Его нужно построить.

Она взяла меня за руку, стиснув её так, что я чуть не вскрикнула от резкой боли, словно я была её нелюбимой дочерью, и повела за собой. Я осторожно освободила свою руку — она, казалось, не заметила этого.

* * *

Она повела меня на самую окраину города, через трамвайные рельсы, через парк. Мы шли долго и, наконец, вошли в лес.

Мы поднялись на высокий холм, весь покрытый одуванчиками и издали напоминавший гигантское солнце. Она по-прежнему шла впереди меня, а я за ней еле успевая. Вдруг она остановилась. Я подошла к ней ближе. Мы стояли на верху холма, у самого обрыва — позади нас был лес, а внизу текла река, похожая на зеленоватую змейку. Было очень высоко, и я боялась, что у меня закружится голова, но она подвела меня к самому краю и заставила смотреть вниз.

— Видишь, вон там, внизу, — она указала туда, где начиналась речка, — видишь? Там твой отец. И твоя мать. Это их мир. И они больше сюда не поднимутся. А здесь — наверху — наш мир. Но мы здесь с тобой совсем одни.

И она села на траву — у самого обрыва. Свесив ноги. И вызывающе посмотрела на меня.

Я села на корточки рядом с ней, взяла её руку и слегка притянула к себе.

Она резко встала, толкнув меня так, что я чуть не упала вниз, и обняла за плечи.

Я отвернулась от неё, сделала шаг назад и вдруг почувствовала, что позади меня пустота.

А она продолжала сжимать мои плечи, впиваясь в них ногтями так, что я ощущала почти физическую боль. Я сделал ещё один маленький шаг, но отступать было некуда. Я могла навсегда потеряться в этом лесу или упасть вниз, но я начинала ощущать — мне это сейчас безразлично.

— Я уехала, чтобы не быть там. Было бы только хуже, — сказала я, ощущая, как от её запаха начинаю задыхаться, словно та сила, которая была в ней, уже почти подчиняет меня себе, подчиняет, не оставляя мне абсолютно никакого выбора и шанса эту силу побороть.

Её запах проникал через плечи в мою кожу, становясь почти частью меня, и я, пытаясь не впускать его, инстинктивно сжимала её пальцы, не давая им проникнуть ещё глубже.

— А куда хуже?

* * *

Следующим утром я опять пыталась позвонить домой. Но шли всё время короткие гудки. И я подумала, возможно, папа, увидев, что меня так долго нет дома, испугался и звонит теперь по всем моим друзьям и своим знакомым. Чтобы найти меня. И возможно, он позвонит сюда. Мне так хотелось услышать его — сказать, что всё будет хорошо, что я наконец-то полюбила его, потому что поняла — как это страшно — оказаться там, где сейчас он.

Я положила трубку и ждала. Но позвонили в дверь.

Оля улыбалась так, как будто ничего не произошло, держа в руках два диска, которые вчера остались у неё.

— Я возьму один, — сказала она, не спрашивая у меня разрешения, — Дженкинса, «Прощай». Возможно, мне нужно научиться слушать твою музыку.

И она отвернулась, чтобы уйти.

Я назвала её по имени.

Она остановилась, но не обернулась.

— Я хочу покататься на вашем единственном трамвае.

Мы сидели рядом в старом, трескавшемся по швам, скрипящем трамвае, каких ни в моём городе, ни в Москве уже не осталось.

Я что-то спрашивала у неё, пыталась говорить с ней, а она просто сидела рядом, не отвечая и держа меня за руку так, словно хотела остаться со мной навсегда.

— Мне нравится твой город, — сказала я ей. — Мне кажется, ты не уезжаешь из него не потому, что тебе некуда ехать, а потому, что есть в нём что-то, что заставляет его любить. Ты ска-

зала, что здесь ничего не меняется. Но ведь это же так хорошо. Мне было так страшно чувствовать, что в моём городе происходит что-то, чего ни я, никто другой не может контролировать.

Она по-прежнему ничего не отвечала.

— Я не хочу уезжать, — опять сказала я. — Я хочу, чтобы сюда приехала моя семья и осталась со мной. Мне кажется, здесь мы бы смогли начать всё сначала.

Она чуть повернула голову вбок, взглянув на меня, но продолжая молчать.

— Я не хочу уезжать, — повторила я, — я не хочу уезжать. Я не хочу уезжать домой одна.

Я повторяла и повторяла эти одни и те же слова, как заклинание.

Я смотрела в окно, на медленно проезжавшие дома и людей, вдруг начиная ощущать чуть ли не кожей это чужое небо, чужую жизнь и этого чужого человека рядом, держащего мою руку, не отвечающего на мои вопросы, потому что нарушать ту тишину, которая возникла вдруг вместе с ощущением единочества, было почти кощунством.

Начинало уже темнеть, а мы всё катались и катались по кругу в одном и том же единственном трамвае, молчали и иногда курили, пряча сигареты в ладони.

И она улыбалась. Она очень красиво улыбалась. Редко и неожиданно. Её улыбка напоминала мне выстрел, резко разрывающий пространство на тысячи частей, освящая всё вокруг каким-то особенным, почти электрическим светом, а потом также неожиданно исчезающим, оставляющим после себя лишь отзвук чего-то безмерно печального и уходящего. Я смотрела на её улыбку, и мне хотелось дотронуться до неё, почувствовать под своими пальцами что-то живое, лёгкое.

— Не уходи, — вдруг попросила она, когда мы подошли к нашему дому. — Я хочу кое-что показать тебе, — я чувствовала, как тяжело даётся ей каждое слово.

Я кивнула.

— Закрой глаза.

Я закрыла глаза, инстинктивно выставив вперёд руки. Она взяла их и повела за собой. Я чувствовала, что мы поднимаемся по лестнице, всё выше и выше, потом что-то скрипнуло, видимо замок. Затем ещё несколько ступенек, потом мы прошли немного по асфальту и, наконец, остановились, и она провела по моим закрытым глазам так, что у меня задрожали ресницы.

Я стояла на самом краю крыши девятиэтажного дома, а она держала меня за плечи, подчиняя себе и тому ощущению свободы, которое всё пыталась мне навязать. Я смотрела вниз, прижималась к ней, всё сильнее чувствуя её дерзкий запах. И тогда я впервые услышала музыку. Ту, которую хотела найти. Это была музыка, которую могли дать друг другу только мы.

— Этот город такой же потерянный, как и мы, — сказала она. — Из него все уезжают, уезжают, уезжают. И никто не возвращается. Наверное, я единственная, кто остался в нём.

Я дотронулась до её ресниц, погладила волосы, убрав её длинную чёлку с глаз, и, наконец, коснулась её улыбки.

— И ты тоже уедешь, — сказала она. — И мы останемся с ним вдвоём. Ты возьмёшь меня с собой? — вдруг попросила она. — Заберёшь?

— Но я не могу.

— Почему? — Она обняла меня, прижав так сильно к себе, что я на минуту перестала дышать от того ощущения беспокойства, которое вдруг начало сжимать мои запястья. — У меня здесь ничего нет.

— А у меня там ничего нет.

Она долго молчала, смотрела в мои глаза, будто пытаясь прочитать все мои мысли, все мои желания, все мои страхи.

Потом она обняла меня и поцеловала. И мне стало страшно. Страшно оттого, что я не хотела уходить.

Тогда я поцеловала её сама. Сначала осторожно, точно испугавшись того, что её дыхание вдруг станет моим, а я не буду знать, что мне с ним делать. Потом всё сильнее, прижимаясь к её губам, словно в них был источник моей энергии и мне нужно было пить из него, как из родника.

И я чувствовала, что она — это я. Что больше нет отдельно её и отдельно меня. Что есть только мы. Она стала мной. И я понимала, что даю ей что-то, чего у неё никогда не было, что-то, что ей было необходимо получить именно от меня, именно сейчас и именно здесь. Нам нужно было получить друг от друга.

Я была для неё тогда чем-то родным, отдающим тепло и жалость. Во мне она искала заботу, которую сама себе не могла дать, которую не могла найти в этом городе, замыкающемся в самом себе и не дающем выхода. Я была тем, кто мог дать ей этот выход.

И она цеплялась за любую возможность почувствовать своё не-одиночество. Мы не были похожи, но мы были тогда одним человеком; человеком, растерявшим вдруг весь смысл своего пути, человеком остановившимся, человеком потерявшимся. Человеком, желающим, чтобы его нашли.

Я смотрела в её открытые глаза — и всё вокруг становилось коричневым от их света: и комната, и небо, и её тело, всё. Она — совсем маленькая девочка, которой нужна была моя нежность, которая прижималась ко мне так, как ребёнок впервые прижимается к матери.

Я осталась с ней на ночь — и ждала, пока она уснёт. А потом долго смотрела на неё, стараясь всё запомнить, всё полюбить. Мне хотелось оберегать её от всего, что может случиться с ней в её странной жизни. Я обняла её — и она инстинктивно прижалась ко мне.

А мне было страшно засыпать. Я не знала, что будет дальше. И мне не хотелось, чтобы наступало утро. У меня было ощущение, что что-то изменилось навсегда.

* * *

Утром я проснулась и не могла понять где. Ольги не было рядом. Я встала и прошла на кухню.

Она стояла спиной ко мне.

— Оля, — позвала я.

И она обернулась, почувствовав меня. Долго смотрела. Точно не узнавая.

— Когда ты уезжаешь? — спросила.

— У меня нет обратного билета.

— А мама?

— У мамы есть Саша.

Она опять долго смотрела на меня. Так, точно хотела что-то сказать и не решалась.

— И что мы будем делать?

Я пожала плечами.

— Жить... Не так, как они. Так, как хотим.

И снова долгое молчание.

— А если я скажу, что ты мне не нужна.

— Что?

— А если я скажу, что ты мне не нужна, — повторила.

Я смотрела на неё и не понимала. Она опять долго ничего не говорила, словно боялась нарушить то равновесие, что породили её слова. Я чувствовала, как у меня начинают дрожать руки, я испытывала почти физическую боль, начинающуюся где-то в груди и не заканчивающуюся.

— Но так не бывает, — сказала я. — Что-то же должно быть дальше.

— Что?

— Не знаю. Но что-то должно.

— Ничего, — сказала она. — Ничего.

— Оля, — опять позвала я.

— Не надо. Всё это не имеет смысла. Я не хочу, чтобы ты была здесь, когда я вернусь. Возвращайся домой. Больше тебе здесь делать нечего.

— А ты?

— Неужели ты не поняла — мне здесь ничего не нужно.

И она ушла. И я осталась одна.

Долго сидела на полу, просто, без цели. Потом встала, умылась, забыла выключить воду в ванной — и она набралась до самых краёв.

Посмотрела на себя в зеркало. Ничего не изменилось. И я зарыдала. Сильно. Не сдерживаясь. Как в детстве.

Мне было шестнадцать, мне было страшно и мне хотелось домой — к маме.

Я прорыдала час, может, три, может, намного больше. Я не могла уйти, не увидев её. Но я знала, что она не придёт, пока я здесь, в её доме, пока я не ушла, пока не уехала. Я встала и вышла, не закрыв за собой дверь и не взяв ничего из её дома, даже той пластинки с музыкой Дженкинса.

Я быстро прошла в свою комнату, стараясь быть незаметной, чтобы не пришлось отвечать ни на чьи расспросы, и позвонила домой. Мне хотелось услышать мамин голос.

Но трубку снял незнакомый чужой мужчина.

— Папа? — неуверенно спросила я.

— Нет, это... Это Саша. Надя спит... Ты её дочь, наверное... — ответил голос.

— Да. А где папа?

— Я... Я не знаю. Он ушёл.

— Я завтра приеду... Маме передайте, — сказала я и положила трубку.

* * *

На следующий день я быстро собрала вещи. На все расспросы тёти я отвечала, что мама просила меня вернуться. Она не поверила, но мне было всё равно. Дед всё также сидел у окна и смотрел на дорогу. Я попрощалась с ним. Он машинально кивнул, не оборачиваясь. И я ушла.

Я посмотрела на дверь Оли. Мне было страшно, что она откроется. Но я стояла и смотрела в замочную скважину. Возможно, она тоже стояла и смотрела. С другой стороны.

Дядя отвёз меня на станцию, я купила билет на тот же вечер и, почти не попрощавшись с ними, лишь попросив их позвонить домой, села в поезд. И сразу уснула.

Через десять часов я была уже на московском вокзале.

Меня встретила одна мама.

— А где... Саша? — спросила я.

— А Саши нет, — ответила мама. — Он ушёл. Так никуда и не привёл меня. Просто ушёл и всё.

— Слабак, — сказала я вполголоса.

— Нет. Он не слабак. Просто так бывает. Ты думаешь, я виновата, что с отцом это случилось? Мне кажется, что я.

Я помотала головой и ничего не ответила. И вдруг мама обняла меня. На перроне. Посреди толпы людей.

— Прости меня, не нужно было тебе уезжать, — сказала она, — твой отец тоже ушёл. Бросил пить и сразу ушёл. Я даже не знаю, где он сейчас живёт. Только не вини меня ни в чём.

— Я не виню, мне жаль, что всё вот так... мама, — сказала я и заплакала как тогда — в квартире Ольги.

Я не узнавала свой город.

Он стал иным, будто друг детства, который вдруг вырастает, а ты не замечаешь этого. Просто однажды встречаешь его и понимаешь — он начинает смотреть и говорить как-то по-другому. Как-то иначе. Не так, как ты привык.

В городе было много новых людей — и он смотрел на меня печально и тоскливо. Словно хотел сказать: «Да что им всем нужно от меня?» Я шла по своим улицам, дорогой, которая была мне знакома, и не ощущала больше единства с ней.

Мой дом тоже стал совсем иным. Новые обои, новый запах от стен. Новая мебель. Не было ничего, что отец когда-то делал своими руками. Вместо мужественности, которая жила здесь вместе с ним, появилась тоска. Тоска, от которой хотелось бежать. Не было вещей отца. Он всё забрал, даже свои пластинки. Я поставила «Беззаветную любовь» Хенди — единственное, что осталось у меня.

* * *

Отца я увидела только осенью. Я тогда перешла в последний класс своей школы.

Ко мне в комнату вошла мама и села на край кровати.

— Папа приехал... Иди — он не говорит со мной.

Я вышла из подъезда и машинально остановилась под крышей, потому что шёл дождь.

Отец стоял напротив меня, около своей новой, слишком большой для него одного машины, приоткрыв переднюю дверцу, под дождём, даже не достав зонт. Мы стояли и смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Он очень изменился. Мне казалось, он постарел. И было что-то в его глазах. Какая-то жалость ко всему прочему миру, печаль, которая так и не нашла выхода, так и поселилась навсегда в его зелёных, ставших такими незнакомыми глазах.

Он достал из машины коробку и протянул мне. Коробка тот час намокла. Я, наконец, подошла к нему, взяла коробку и поставила её на землю — в самую грязь.

— Матери отдашь. Это ваза, я тогда... продал... — отец не договорил.

Он сел в машину и закрыл дверцу. Но всё не уезжал. И мне вдруг захотелось сказать ему что-то. Сократить тот путь, что пришлось по-одиночке пройти каждому из нас.

— Мне очень жаль, — прошептала я одними губами, потому что не хотела, чтобы мой голос вдруг сорвался, — папа, — я провела рукой по влажному стеклу, — папа.

— Иди домой, — кивнул отец и чуть приоткрыл окно, — простудишься.

Я помотала головой.

Тогда отец вышел из машины и обнял меня за плечи.

— Мне тоже жаль, — сказал он, — но всё будет хорошо.

Потом он вдруг зашептал мне в самое ухо:

— Я так не хотел тебя терять.

Я прижалась к нему — от него по-прежнему пахло мужественностью и силой.

Он уехал, а я ещё долго стояла под дождём, держа в руках испачканную коробку с вазой, не желая возвращаться в свой дом, пахнущий отныне тоской и свежей краской.

* * *

Потом всё наладилось. Мы жили вдвоём с мамой.

Я купила себе новые диски с джазом и иногда ставила их тихонько ночью, потому что не хотела, чтобы мама слышала музыку, которая всё же напоминает об отце. Отец и для меня, и для неё стал прошлым. Он так и не простил маму. Так больше никогда и не приходил. И никогда не говорил с ней. Иногда он звонил мне — и я знала, что он живёт с какой-то женщиной, неплохо зарабатывает и совсем не пьёт. Возможно, он нашёл тот выход, который не смогли найти мы вместе. А возможно, он навсегда потерялся в том лесу, в котором оказались все в то странное время перемен.

А в моём городе всё постепенно менялось. Приезжали новые люди, строили новые дома. Они не были предателями, нет, они были во многом правы — но мне всё же было жаль их. Они учились жить заново, они смотрели на своих отцов, в глазах которых навсегда поселилась эта бессмысленная тоска, и ничем не могли помочь им. Как и я. Они учились друг у друга, потому что им нечему было учиться у своих родителей. Это совсем другие люди. Их много. Их очень много. Наверное, они понравились бы

Ольге. Наверное, ей было бы хорошо в этом новом городе.

Но если все эти люди выйдут на улицу — город просто исчезнет под их шагами. Когда-нибудь они разрушат его. Их станет слишком много, и они так сильно раскрутят свою планету, что она не выдержит и взорвётся.

А однажды в моей новой комнате раздался звонок.

— Ты помнишь меня?

И я моментально узнала её.

— Помню, — ответила я.

— А помнишь — на крыше сидели?

— Помню...

— А помнишь?..

— Я помню...

— Почему ты не сделала тогда выбор?

— Я сделала.

— Но ведь ты уехала.

— Это и был мой выбор.

И она долго ничего не говорила. И я тоже. И не решалась первой повесить трубку.

— Ты очень редко называла меня по имени, — наконец, сказала Ольга. — Я хочу услышать, как оно звучит, если ты его произносишь. Только медленно. Пожалуйста.

Я назвала её имя. Медленно. Как она и просила. Почти по слогам. Потом ещё и ещё. Пока не услышала гудки. И сквозь них — отчаянную, дремучую, бьющую прямо в виски тишину.

У неё осталась моя пластинка. Наверное, иногда она включает её. И тогда Дженкинс поёт: «Прощай».

Мы больше никогда с ней не виделись. Я не знаю, где она.

Может быть, она уехала туда, куда так стремилась. А может — по-прежнему живёт в своём городе. Всё также ненавидит его, сидит на крыше, гуляет по лесу, спускается к реке. И слушает иногда мою музыку. Мне бы хотелось, чтобы было так. Но я ничего не хочу знать о ней. Так же как отец ничего не хочет знать о моей маме.

* * *

Я сажусь в электричку, в сторону от Москвы.

Через час эта электричка остановится и дальше не поедет. Потому что дальше ничего нет. А я выйду и увижу лес.

2007 год

Александр Кондратенко

Родился в 1987 в городе Люберцы. Студент 5 курса Литературного института, семинара прозы А. Е. Рекемчука.

Встречный марш

Повесть

СТРОЙ ГОЛЫХ ребят прошёл мимо меня. У меня есть два серьёзных отличия. Первое: я одет. У меня в руках бумажка «форма 26», которой нет ни у одного из них, — и это второе. Послезавтра они будут трястись по поездам и расходиться по казармам, а я — сидеть на лекциях. Моя жизнь может быть как угодно неустроенна и катиться по наклонной, но сейчас каждый их них завидует мне.

Отдаю справку и паспорт в окошко. Служащая смотрит в моё дело, где подшиты предыдущие справки, потом мне возвращают паспорт, я иду по коридору на выход. В стеклянных шкафах стоят склеенные модели танков, а в углу, у батареи, манекен солдата в синем берете. Кто-то засунул ему за ухо сигарету. Седой офицер, заправляющий призывниками, злится и орёт на сидящих в трусах школьников, те не шевелятся: «Кто, я? Я этого не делал». — «Мне плевать кто!» Офицер обдаёт и меня злым взглядом, но я выскальзываю на лестницу.

Нет ничего удивительного в том, что я три года исправно ношу сюда справки. Но каждый раз чувствую облегчение. Житель древности, принёсший сезонную жертву своим несуществующим богам.

Добираюсь до института к концу первой пары. Сейчас перед военными я был из другого неподвластного сословия, а приехав в свой замок, тут же стал последним батраком. Косо смотрят, когда я заглядываю в деканат узнать, будет ли пересдача.

— Все пересдачи до двадцатого сентября.

— Так сейчас только двенадцатое.

— А, ну смотри. Вылетишь.

— Я всё сдам.

— Смотри. Будешь и в этом году пропускать, то поблажек уже не будет второй раз. А почему сейчас ты не на занятии?

— Я в военкомате был. Больше не буду, что вы.

Надо было идти по музыкальной части. Не хочу я эти чертежи. Меня в пятом классе учительница хвалила по геометрии, на том и надо было остановиться.

Жду в коридоре профессора, чтобы сдать ему контрольные и получить допуск к пересдаче. В окно видно, как на другой стороне улицы, на лавочке, сидят студенты, кажется, первокурсники. Они потягивают пиво и щурятся на солнце. В такие минуты я разделяюсь на двух человек: один хочет заморозить жизнь и всё время быть

на первом курсе, а другой укоряет первого и показывает на семью, на будущее и прочие ценные вещи, но появляется профессор, я соединяюсь и встаю. С видом учтивого студента протягиваю ему тубус. Мы смотрим чертежи в свободной аудитории, он просматривает всё за минуту.

— Ну ладно, — говорит он, — почему же не сразу? Делали бы вовремя и сейчас бы гуляли себе спокойно. Пересдача будет послезавтра.

Я возвращаюсь домой. Надо бы браться за книги.

А мать и отец на работах ещё, могу спокойно поиграть: включаю пианино, прибавляю громкость. Когда родители дома, то нельзя больше трёх, сейчас ставлю шесть. Еле слышно шипят динамики. Смотрю на клавиши.

В четыре или пять лет меня записали в музыкальную школу. Учительница там говорила, что особых способностей нет, но заниматься не отказывалась — отказывался я. Мама, хотя и не могла проконтролировать, действительно ли верно я разучиваю домашнее задание, всё же сидела рядом, когда я неровно и медленно выводил по книжке этюды. Добравшись до конца страницы и оборвав последнюю ноту на половине, я радостно вскакивал и убегал подальше от огромной чёрной «Лиры».

Прошло много лет и что-то всё же сработало: я научился играть на гитаре, потом заново вспомнил нотную грамоту. Потом пришёл настройщик, у него было красное лицо и татуировки, он раздел инструмент до механики и начал крутить колки, стучать молоточком по струнам; в соседней комнате я пытался записать на магнитофон звуки настройки через прикрытую дверь. Закончив, грубыми пальцами он пробежался по всей клавиатуре, сыграв бодрую гамму, и сказал, что инструмент хороший, только старый. Потом я за несколько месяцев сыграл на этой «Лире» всю программу по оставшимся учебникам. Пианино плохо держало строй, сказались годы вне настройки, я купил цифровое фортепиано. Мне говорили, что у меня нет слуха, что это не моё, что это пустая трата времени и лучше бы я занялся, наконец, своей карьерой.

Нет, не могу. Закрываю крышку, опускаю голову, стыдно видеть это бело-черное немое и смеющееся надо мной приглашение. Опять всё вспомнил про...

Я нигде не работаю. Валяю дурака, как говорят. «Иди хоть каким-нибудь курьером», — говорит мне мать. «Ага, в кафе музыкантом». Я видел таких иногда: просто комната, в которой люди пьют пиво и в углу стоит синтезатор, а за ним почти старик с седым хвостом и в круглых черных очках. Может быть, сейчас он поднимет руки, начнёт играть и помолодеет, оживёт. Люди слегка повернутся с первыми строчками, а потом продолжат свои кислые беседы; почти старик доиграет, потом потянется, чтобы снять очки. Он не помолодел. Не видать его глаз.

А мог бы и я подменять его по четвергам. Лучше терпеть мамины укоры.

Поднимаю голову, на полированной крышке мутное пятно, откидываю её.

Ещё пропавший день. Вечером квартира наполняется семьей, я уже не могу быть один. Лежу у себя на кровати, слушаю, как отец стучит пятками: умылся в ванной, переоделся в спальне, теперь на кухне открывает холодильник.

Открывается дверь, я смотрю с кровати, задрав голову назад, — в комнату заходит мать.

— Как дела?

— Нормально.

— В институте как?

— Всё нормально.

— Хвосты свои сдал?

— Буду сдавать в понедельник, говорил уже.

— А с работой что?

— Когда будут какие-то подвижки, я тебе скажу.

— Хорошо. И ужинать выходи через десять минут.

Я нашариваю рукой пульт от магнитофона под кроватью, жму «плей».

Я почти никогда ничего не делаю. Другие как-то суетятся... Недавно мне говорит один товарищ из института: «Я вот хожу в кино, мы встречаемся с Олей, в боулинг ещё и качалку, а ты чем можешь похвастаться?» Я вообще хвастаться не люблю. Занятия у меня скромные: сижу дома, думаю, переслушиваю «Dark side of the moon»... Девушка у меня была и ушла. Вот об этом я жалею действительно. Но ничего не вернёшь, а всё из-за работы. У меня нет оправданий. Хочу играть на фоно. Надо было идти по музыкальной части. Вспоминаю один день.

Я устраивался на работу очередным курьером. Дело было в Хорошевском переулке, место и впрямь неплохое. Во дворе дома-колодца стояло белое изваяние: мальчик и девочка, у мальчика на лбу были три буквы. Я обошёл внутреннюю площадку кругом, в песочнице возились дети. Это был май, а я был первокурсник. Не мог найти контору, потом позвонил им, перечислил ориентиры. «Ну вот, за мусорными баками и будет серая дверь, заходите». Я нашёл железную дверь в подвал, внутри шла какая-то стройка, были навалены мешки и строительный мусор, пахло ка-

менной пылью. Встретил охранник, направил в комнату для собеседований. Там меня принял менеджер. «У нас много важных клиентов. „Билайн“, например. Или ну не стоит удивляться, если на бандероли будет адрес Красная площадь, дом один». Я кивал положенное число раз, сказал, что позвоню, когда решу, какой будет у меня график. Потом не звонил.

Us... and them. Поднялся с кровати, надо выйти к ужину.

На кухне отец, смотрит. Я не поднимаю глаз, гляжу в тарелку, на сосиски.

— Ну что ты надумал с работой?

Отрезаю кусок, жую. Не отвечаю.

Отец что-то говорит мне тихим и унылым тоном. Ему и самому неприятно меня отчитывать в который раз; уж, наверное, думает махнуть на это рукой, пусть на шее висит, зато нервы целее будут. Тогда я немного вру из жалости к этому его положению:

— Пап, я не хочу пока говорить. Есть кое-что...

Так бывает, когда я играю что-нибудь и слышу в знакомых звуках что-то новое, неизвестное. Я повторяю это и постепенно вытягиваю на свет совершенно новую мысль, живую и бьющуюся. И я улыбаюсь. Мысль мне нравится, но она настолько невероятна, что сам не знаю, как её думать.

Не доев, я поднимаюсь из-за стола и ухожу к себе в комнату, закрываю дверь, шумит компьютер.

В голове очень ясный и сияющий глупостью образ действий: я должен написать письмо Филиппу Киркорову и предложить записать новый альбом. И имя это выскочило само собой. Секунду всё же мысли: случалось мне иногда писать рассказы, и сомневаюсь, может, написать об этом рассказ, а не совершать ничего по-настоящему?

Представляю, как захожу во все эти музыкальные салоны и просто указываю пальцем направо и налево в каждом отделе, среди запахов дорогого пластика, железа и дерева. Представляю уже готовые записи, которые мы слушаем в аппаратной, и остались только мелочи, краски и оттенки приятной, украшающей работы. Представляю изумлённые лица людей, которые купили этот альбом. Сколько моей жизни прошло в этих представлениях, я прожил уже десятки вариантов вперёд. И в другое время я засыпал под вариации таких мыслей, но сейчас — вписываю в адресную строку «киркоров.ру». Может быть, я уже заснул?

Главная страница — на чёрном фоне Филипп в белой рубашке, раскинув руки навстречу посетителю. Белый невырезанный контур вокруг вьющихся волос на фотографии. Подмигивающие кнопки меню. В разделе новостей сообщение: «Филиппу Киркорову было присуждено почётное звание Академика Академии Всех Добрых Людей. В честь этого двенадцатого августа на Аллее Славы Академии в Мытищах была установлена памятная звезда с именем певца». Тут есть и форма отправки письма ему или его команде для деловых предложений. Филиппу можно послать виртуальную открытку, которую выбираешь прямо тут же из трёх: с сердцем, с розой или с восходящим солнцем. Я пишу команде деловое предложение:

«Добрый день. Предлагаю записать новый альбом неформатной музыки Филиппу Киркорову. Это будет новое слово в российской музыкальной индустрии. Мой емейл...»

* * *

На следующий день наступили выходные. Чтобы позавтракать всей семьей, мы отодвигаем стол от стены и приносим из моей комнаты стул, на котором обычно свалены джинсы и свитера. Не могу удержаться, рассказываю о вчерашнем письме:

— Я вот что с работой придумал: я хочу написать письмо Филиппу Киркорову. Предложить записать альбом неформатной музыки. Я буду типа продюсер.

— А, ну что ж... — рассеяно говорит мама.

— Да. Я смог бы записать отличную музыку.

— Не сомневаюсь, — говорит отец.

— У него денег уже полно, и диск, на котором написано его имя, точно купит большое число людей. Он может позволить себе рискнуть. Как блажь такая.

— Ты что, серьёзно? — мать смотрит на меня обеспокоенно и непонимающе.

— Вполне серьёзно. А что? Мне нравится это. Потом я стал бы известным, другие бы звёзды в очередь выстраивались за моей музыкой. Я бы необычную такую музыку делал бы.

Мама начинает негодовать, а отец улыбается:

— А что, Киркоров такой человек... Всякое может выкинуть, — говорит он.

— Нет, я понимаю, что это шутка, — говорит мать уже строже, — но на такую тему... Он работу вон не может найти уже три месяца и шутит ещё.

— Ладно, мам, не кипятись, — говорит отец.

Завтрак кончается.

Сижу на лавочке у нашего дома культуры — гуляю. Раньше маме невозможно было выгнать

меня на улицу, я торчал за компьютером, читал или играл на фоно, но в последнее время часто стал ходить по нашему району один, сидеть везде на лавочках или заборчиках, разглядывать старух, стариков и пьяниц. Перед домом культуры небольшая площадь с клумбой, я помню из детства, прямо в центре цветника рос Ленин, которого мы в школе называли «белый Вовчик», а сейчас модная композиция из цветов. Рядом с ней табличка, что цветы заговорены на несчастье местной потомственной колдуньей (а раньше их, видимо, охраняла аура вождя).

Над этой табличкой мы смеялись вместе с Катей несколько лет назад. Кажется, это была наша первая прогулка. Мы встречались в одной компании и долго были просто приятелями. Дома у одного приятеля было пианино, я решил похвастать на нашей посиделке и спеть «Дом восходящего солнца» на английском. Тогда я играл ещё недолго и искал клавиши взглядом, не помня их пальцами. Я запел тихо, но вроде верно, напряженно слушал себя, чтобы не промазать. Романтически растянув последнее трезвучие, я заметил, что Катя с усмешкой посмотрела на меня и отвела взгляд, а остальные не слушали. Мне стало очень по-детски стыдно, она, наверно, почувствовала это и заговорила со мной об английском, чтобы замять неловкость. Потом мы вышли вместе, чтобы купить пиццу для всех, долго гуляли вместе по скверу около ДК, нам звонили проголодавшиеся ребята, потом шутили, что у нас роман. Так и произошло.

Задрожала эсэмеска в кармане, я отвечаю, и скоро из дома культуры выходит мой друг — Антон тут работает техником по звуку, а по ночам играет со своей бандой в их зале. Одно время я был у них на клавишах, потом мне разонравилась тяжелая альтернатива.

Он присаживается рядом со мной на лавку.

— Совещаешься с вождём народов?

— Типа того.

— Как учёба?

— В норме. Сдал начерталку.

— А творческая деятельность? Сочинил что-нибудь?

Меня подзуживает рассказать про письмо, но я сдерживаюсь. Так дети не рассказывают про загаданную мечту.

— Ну так, как обычно, ты знаешь. Я всегда что-нибудь сочиняю, — отвечаю я, играя сам с собой в двусмысленный диалог.

— У нас тут скоро будет праздник, концерт, приходи.

— В честь чего?

— Да вот депутат какой-то районный устраивает.

— Да ты что? Район без воды летом, а они концерты дают.

— Ну так вот, понимаешь. Приходи, если захочешь.

— А вы там играете?

— Да нет, тут другой уровень. Приезжают разные известные исполнители, — Антон особо выделил последнее слово, как андреграундный металлист ненавидит попсовиков; а мой диалог пополнился репликой от Антона. Мы говорим ещё о музыке и разной ерунде, потом я отправляюсь домой, проводить своё время дальше.

Мне ответили. Я уже три раза подходил и перечитывал письмо в Аутлуке. В каком-то роде это даже наглость — ответить на такое идиотское письмо. «Пришлите пробные записи». Может, там сидит какой-нибудь молодой парень, разбирает почту и шутит таким образом?

Конечно, я испугался. Успокаиваю сам себя: какие-то три байта текста, и так волнуешься? Хватило же смелости написать туда, значит, должен и теперь держаться. Наверно, вот она, взрослая жизнь. Мама проверяет, одеваю ли я шапку. Катя бросила меня, когда я не мог найти работу. И вот этот человек сейчас должен толкнуть наконец-то свою жизнь вперёд, чтобы она поехала, как у людей. Чтобы были машины и квартиры, и мешки денег распиханы по углам. И чтобы в каждом кармане моего тела было счастье, чтобы выплёскивалось, когда я переворачивался бы с боку на бок в столь успешно купленном будущем.

— Я же просила, когда я дома, не играть!

Вздрагиваю, закрываю крышку фоно. Играл, чтобы успокоится.

В таком же взбудораженном настроении я приезжаю в институт на пересдачу. По пустым коридорам проходят студенты, которые не пошли на лекции. Иногда они случайно заглядывают в нашу аудиторию и быстро отходят назад: посреди весёлого начала года здесь вдруг реминисценция сессии. Я совершенно не могу сосредоточиться, смотрю будто на всё помещение сразу: вот вошёл секретарь из деканата, говорит что-то на ухо профессору, студент — товарищ по несчастью за соседним столом в этот момент ловко перекладывает маленький листок, в открытом окне шумит проехавшая машина, из салона доносится танцевальный бит.

— Вы готовы? — спрашивает меня профессор.

Я мотаю головой и опускаюсь к листу жёлтой бумаги. Будь что будет. За раз считаю и, не проверив, отдаю ему. Профессор кидает быст-

рый взгляд в листок и, нахмурившись, откладывает его в сторону. Он разрешает мне идти, результаты будут через несколько дней.

Весь оставшийся день я сидел в наушниках перед монитором, переслушивая все свои записи, хотя заранее знал, что ничего из этого послать нельзя. Что-то можно было дать друзьям, что-то было специально для художественных руководителей, чтобы разрешили выступить, что-то было непроявленными набросками только для себя. Каждый раз это повторялась с каждой записью, будто жизнь не давала мне возможности сделать её так, как следует. Везде чего-то не хватало, что находилось только после, как будто я был вынужден экономить и откладывать в запас все найденные постфактум ходы и приёмы.

И вот я сижу на кухне, от тех звуков уже болит голова. А здесь только шипит и бурлит чайник, звякнула микроволновка. Музыка быта.

— Ну что ты грустишь? — спрашивает мать.

— Сплошные экзамены сквозь всю мою жизнь.

— Если бы их не было, ты бы совсем закис в своём болотце.

Катя тоже мне говорила нечто подобное. Наверно, если б мы поженились, это была бы передача «пост сдал, пост принял» от матери к жене.

Я молчу в ответ.

— Ты молодой ещё. Как-нибудь всё сложится.

— Да, я вот тоже хочу, чтобы как-нибудь уж устаканилось. Чтобы просто ходить на работу каждый день, кормить жену с этого и ребёнка завести.

— Ну зачем же так? Ты всего можешь добиться, если захочешь.

Я мог бы сказать, что хочу жить музыкой, но не стал. Она ведь меня утешает, а я в тупик лезу.

Перед сном я опять сидел у монитора, теперь уже ничего не слушая, только рассматривая короткую фразу, дату и адрес отправителя. Так ничего и не отправил.

Возвращаюсь после пар от метро, слышу, что где-то играет живая музыка. Иду на звук, около дома культуры развёрнут железный каркас и черная материя, это сцена. Проспект за площадью перекрыт, много машин милиции и тёмных хищных джипов. Погода подвела: осенняя водяная пыль, пробирающий ветер. В толпе народа замечаю несколько знакомых лиц. Выступает какая-то молодая певица из телевизора. Несколько минут я смотрю на неё и на политические плакаты, развешанные на огромных колонках. Пришедших и проходивших мимо довольно много, но никто не толпится у сцены, молодые ребята и девушки стоят или сидят на асфальте вокруг, пьют «ягуары», в сквере неподалёку стоят мамаши с колясками, милиционеры ходят между зрителей. Во время музыкального проигрыша певица бежит по сцене с бутылкой воды и поливает себя и размахивает мокрыми волосами. Народ ежится, глядя на неё. Мне надоедает эта фальшь, иду к дому культуры. Мне навстречу Антон, он идёт к пульту в небольшой палатке напротив сцены.

— Это тот концерт? — спрашиваю я.

— Да, он самый. Если не хочешь тут быть, то посиди где-нибудь у нас, не мокни, потом поболтаем.

Тогда я прохожу с черного хода в дом культуры.

Есть одно отличие между художественным вымыслом и реальной жизнь — в последней порой происходят такие случайности, которых никто не потерпел бы в искусстве.

Я захожу в одну из комнат, где обычно хранили аппаратуру, сейчас — резкий запах слишком свежих цветов, в центре комнаты стоит диван, на нём полулежит Киркоров в зелёном сценическом костюме, другой человек стоит у окна и нарочно выдыхает густой сигаретный дым в букет на подоконнике. Оба оборачиваются и смотрят на меня, кажется, я прервал их разговор. Мне на плечо сзади ложится широкая чёрная рука.

— Что это? Уберите, — говорит человек с сигаретой.

— А вам кого? — с ухмылкой спрашивает Киркоров, имея в виду себя.

У меня в голове будто перед смертью пробежала вся жизнь, я одновременно начал говорить какую-то белиберду и тут же отсёк её, заикнувшись и сказав единственную фразу:

— Я от... по поводу нового альбома.

— Вы ошиблись наверно, — беззвучно произносит человек и снова смотрит в окно. Слушает, когда хлопнет дверь, чтобы продолжить говорить, но я не выхожу и он снова оборачивается.

— Моего, что ли, альбома? — спрашивает Киркоров.

— Да, вот, — отвечаю я медленно, неуверенно подбирая слова, — есть новый материал для нового альбома. Необыкновенный. Я написал письмо вам на сайте, — рука неуверенно отпускает меня.

— Да ты что, — усмехается он, — ну покажи, что ли.

— Филипп, послушай... — вмешивается человек, но Киркоров резко перебивает:

— Что? Твои соловьи-то где? Гении твои хреновы ничего не пишут. Где материал, а? Я уже задолбался мотаться по этим залам, там одни старые... тети и дяди. Молодежи такая музыка нафиг не нужна. А я хочу, чтоб слушали меня... Вот молодой человек нам сейчас даст то, что нужно. Как тебя зовут?

— Сергей, — отвечаю.

Подхожу к пианино в углу и со всей силы бью куда попало. Потом оборачиваюсь:

— Такая сейчас музыка нужна. Чтобы у всех кишки свернулись.

Человек у окна долго смотрит на меня сквозь сигаретный дым, ничего не говоря.

Этой ночью не могу заснуть. Жизнь звенит. Слышу своё дыхание, огни окон в доме напротив будто высвечивают меня. Я должен кое-что вспомнить.

Мой дед был лётчиком. Его семья жила хорошо, он полностью обеспечивал их, летом они ездили на юг. Однажды «на работе» летчики делали испытательные прыжки с парашютом. Мой дед стал прыгать сверх нормы, за это давали премию. Он хотел подарить бабушке лакированные туфли. По приземлении сломал обе ноги. Потом всё прошло.

Мой отец в молодости был музыкантом. Может быть, сейчас трудно понять, что такое быть музыкантом в стране советов. Пел и играл в ресторане «Узбекистан». Он говорил: «То ли люди были не те, то ли что... Мы не могли никуда продвинуться. Да нет, люди были что надо. Время такое было, музыкант — только в ресторан. Ну на танцы ещё».

Кто я? Я не наследственный тунеядец. Просто ощущаю порой, что бесполезно делать что-то. Только музыка — она здесь и сейчас, у неё нет завтра. Завтра может и не быть. Поэтому я хочу делать только музыку.

* * *

Охранник в псевдоформе частного спецназа не хочет меня пускать, я говорю ему, что на встречу с Иваном Алексеевичем и Киркоровым. Он машет на меня рукой из-за стекла, улыбаясь моим словам, настолько забавными они ему кажутся. Почему-то меня нет в списке пропусков. Какой-то служащий случайно видит издали эту сцену и кричит «пропусти, давай». Охранник оборачивается, потом с многозначительным видом смотрит куда-то в свой журнал, записывает паспортные данные. Строго глянув на меня, делает разрешающий жест рукой, как грехи отпустил.

Я хожу по лабиринту белых пластиковых стен, спрашиваю, где это комната 1102. «Да это же одиннадцатый этаж». Еду в лифте со звоночком, как в микроволновке: посетитель испечён. Прихожу, наконец, в нужную комнату. За столом сидит Иван и неизвестный мне человек, который здоровается со мной и предлагает сесть. Иван закуривает — это тот человек, который везде сопровождает Киркорова и ведает большинством его дел и курит постоянно. Он был тогда вместе с ним в доме культуры. Теперь он не говорит ничего и только изредка взглядывает на меня. Сам Иван одевается богато и чудно́, так, что, в случае чего, может одолжить свой костюм на замену сценическому Киркорова. Рядом с ним сидит прилизанный менеджер и протягивает мне листы контракта. Я начинаю читать. Иван будто размышляет вслух:

— Я тоже в своё время вот так вылезти хотел, да? Правда, я потратил на это много лет. И тебе надо тут многому научиться, понимаешь? Иначе и не будет никакого контракта...

Читаю второй раз, но мало что понимаю, чувствую, что меня ждут — они оба и всё это одиннадцатиэтажное здание продюсерского центра.

— Кажется, я получу деньги прям сейчас, а потом ещё, если всё будет хорошо?

— Именно это там и написано, — отвечает с улыбкой менеджер и двигает мне через стол ручку с золотым колечком.

Я смотрю ещё раз на строчки контракта. Это как во сне, когда надо прочесть что-нибудь, ты подносишь бумагу всё ближе к лицу, но различаешь только бессмысленные корявые буквы. Подписываю.

— Вас отвезёт домой наш водитель и начиная с двадцать пятого числа, то есть следующий понедельник, вы должны будете работать над материалом в нашей студии. Случай у вас особый... — он что-то не договаривает и смотрит на Ивана.

Я благодарю их.

— Это ваш аванс и ещё кое-что

Он даёт мне белый конверт и ещё большой пакет с дисками, их столько, что они выпирают углами из полиэтилена. Я заглядываю внутрь, там, кажется, самая полная коллекция записей Киркорова.

— Ты понимаешь, что не хуже надо сделать, да? — с усмешкой говорит мне Иван.

Я молча киваю, беру всё это. У выхода из комнаты меня встречает водитель, это старый мужчина в черном костюме. Он улыбается мне и даже берёт у меня из рук пакет. Мы спускаемся вниз, охранник провожает нас удивлённым

взглядом, кажется, за моей спиной они перебрасываются парой фраз с водителем — «кто, а?» — «новый наш товарищ» — я не оборачиваюсь. Мы идём на стоянку во внутреннем дворе, я пытаюсь угадать, на чём поедем. Подмигивает на зов брелка сигнализация на черном джипе, еле втиснутом среди прочих машин.

Я показываю путь до своего дома, путая право и лево. Благодарю водителя, иду к двери. Он окликает меня: «А пакет!» Я улыбаюсь, всплескиваю руками и забираю его, а войдя в подъезд, будто по наитию, как бумажный спам из почтового ящика, бросаю пакет с дисками в мусоропровод. Мелькнул страх бросить туда же и деньги, ощупываю сложенный конверт во внутреннем кармане. Не раздевшись, я долго стою в коридоре, держу в руках тысячи и считаю. Потом долго сижу на полу, очень жарко.

А ещё только три часа дня, я смотрю на часы в коридоре. Можно успеть всё потратить. Вскакиваю, забираю деньги и вылетаю из дома. Уже видна витрина и никчёмные плакаты известных музыкантов с гитарами и просто так, я чувствую, меня трясёт, холодный ветер щупает вспотевшее тело. Прохожу ко входу, плакатные звёзды провожают меня взглядом.

Тогда сидел у Кати дома и показывал ей в Интернете цифровое фортепиано, о каком мечтал. Она стояла рядом со столом, я сидел в старом скрипящем «компьютерном» кресле.

— У тебя же уже есть одно, — сказала она в ответ.

— Ну... это лучше, понимаешь, — хотя я и сам не мог сказать точно, зачем мне другое. И играть я не слишком-то хорошо умею, и денег лишних нет, а почему-то хочется. Так я ей и сказал:

— Это просто моё баловство. Чтоб мне хорошо себя чувствовать.

— Лучше бы подумал о чём-нибудь полезном.

Я закрыл страничку и хотел её обнять. Скрипнуло кресло, когда я потянулся к ней.

— Нет, погоди. Ты мне скажи, Серёжа, если мы поженимся, ты вообще работать думаешь? И деньги будешь все спускать на твои фоно?

— Да нет, я тебе буду всё отдавать, — пошутил я, прикладывая голову к её груди.

Она рядом как каменная, стояла и не отвечала на мою ласку. Я знаю, что это была маска, чтобы меня растрясти, заставить как-то изменить свою жизнь. Я знаю, что она меня любила, а может, и сейчас. А теперь вот кучка денег в кармане, а её нет, пусть и денег не будет.

Большую коробку я прислоняю к железной решётке ларька, за которой витрина с пивным, шоколадным и газировочным товаром. Продавщица недовольно высовывается из маленького окошка.

— Сейчас уберу, — говорю я, — дайте невскую булочку.

Отдаю ей десятку с мелочью из сдачи. Одновременно есть булку и нести большую коробку не получается, я сажусь на заборчик, ставлю свою покупку рядом. Откусываю сладкое жирное тесто, поглядывая на картонный прямоугольник рядом с собой. Оно будто живое, всё смотрит на меня оттуда.

На следующий день стучусь в родной деканат. Девушка-секретарь поднимает на меня взгляд от бумаг, когда я подхожу к её столу. Я протягиваю ей заявление: «Прошу освободить меня от занятий до зимней сессии следующего года ради всего святого. Личные обстоятельства непреодолимой силы». Она пробегает глазами, потом ещё раз удивлённо и смотрит на меня:

— Я такое... как, я не могу такое заявление принять.

Я стараюсь выдержать паузу, потом говорю тихим и низким голосом:

— Простите... я не могу вам назвать, но у меня причина, у меня сверхпричина, — начинаю волноваться и неправильно подбираю слова, — сейчас решается моя жизнь. Вы просто передайте это заявление куда надо.

— У тебя же пересдача была недавно! И ты снова берёшься пропускать. Нет!

— Послушайте, я поговорю с деканом, с ректором, с кем надо, сейчас мне нужно быть в другом месте. Кровь из носа.

— Нет, нет, я не могу принять такое заявление. Иди к декану.

В другой день я, понурив голову, пошёл бы на пары, теперь я прохожу в соседний кабинет с золочёной табличкой на черной двери.

— Добрый день, — здороваюсь я, называя декана по имени и отчеству.

Он сидит за пустым столом, глядя в монитор компьютера, и как-то неуверенно двигает мышкой. Нашему джинсовому студенчеству декан — пример, когда проходит по коридору: выглаженный черный костюм, красная рубашка. Смотрит сквозь, думает о чём-то своём.

Я представляюсь и говорю:

— Мне нужно, чтобы меня отпустили с занятий до конца этого семестра. Но заявление моё не приняли.

Он молчит, нахмуривается, снимает большие коричневатые очки. Глаза чуть слезятся от усталости.

— Какая у вас причина?

— Вы понимаете, это личная причина. У меня работа, от которой я не могу отказаться.

— А от института можете?

— Дело в том, что я записываю альбом с Филиппом Киркоровым. Вы понимаете, я не могу отказаться. Эта работа будет требовать всего моего времени, и я не смогу посещать институт.

Декан снова молчит и думает. Так странно разделять мой абсурд с этим серьёзным человеком. Он протягивает руку, я даю ему заявление, от моего почерка он кривится, как от кислятины. Или от слов? Машет на меня рукой, то ли отпуская восвояси, то ли ставя крест.

В девять утра понедельника у моего дома вновь стоит большой черный внедорожник, я вижу его из окна и спускаюсь. Сегодня за рулём Владимир Сергеевич. Он либо другой молчаливый детина возят меня на сессии записи и с них домой. Мне это было приятно, пока я не подумал, что не могу пойти от подъезда никуда, кроме как на заднее сиденье черной громадины.

Старый водитель раскачивает головой по привычке — в машине не трясёт, это память советского автопрома. Играет шансон. Я смотрю на его затылок с редким торчащими волосками, как они стукаются о ворот белой рубашки. Мы доезжаем до пробки и стоим. Владимир Сергеевич начинает рассказывать что-нибудь — в разные дни он говорит о футболе, запчастях, его «бабских неполадках» с женой, но от меня слышит одинаковое «угу» в ответ, впрочем, ему всё равно. Один раз он заговорил о своей семье, потом о себе, я слушаю внимательно:

— Я, знаешь, в молодости тоже вот всё с головой во что-то уходил... Помню, вот одну штуку я задумал. Ну ты знаешь. Вечный двигатель, — он полуобернулся, вытянулся ремень, на меня с улыбкой, — я вот физику ещё в школе очень любил, и потом пришла мне идея, и я его начертил как бы. Прямо вечный двигатель, и собрал. Там такие были противовесы, ну ты понимаешь, как бы Земля наша вот крутится и ведь не останавливается, а в чём все дело, — он на секунду осёкся, вспоминая, в чём было дело, — так вот я к этому секрету подбирался. Все дело в массе... кажется, в массе и скорости. И что вот ты думаешь, я его собрал. И три дня он у меня крутился, без остановки, я хотел даже учителя позвать нашего.

— И что учитель? — спрашиваю я.

— А учитель... — всё дальше заходит его речь, медленнее произносит он слова, — ну, тогда я не помню, он не пришел, кажется. Я потом думал в институте этим заняться, но пошёл служить и всё... Потом вот как-то стал я работать. Вот. Вожу вот, — произносит он со вздохом, — вожу, всё вожу теперь, уже двадцать лет вожу.

Мы молчим. Он сбился на стариковскую грусть, и я больше не знаю, что сказать. У него звонит телефон. Он говорит с Иваном Алексеевичем, отвечает, что мы едем, но попали в пробку, как обычно. Больше он ничего не говорит, и я слушаю плеер.

So welcome to the machine. А Иван был весьма странным человеком. При простецкой речи и неподходящем имени обладал властью в этом мире, куда я проник через черный ход дома культуры. На записи он порой с презрением смотрел на меня, когда я не знал чего-то, порой просто говорил «нет», и я долго говорил ему про принципы контраста, про сочетание гармонии и мелодии, но он даже не повторял второй раз своего слова. Порой мне казалось, что он сам многого не знает, или не понимает, или не хочет понимать, а только лишь пользуется своим правом вето, когда сталкивается с подобными вещами. Часто у них с Филиппом происходил разговор, когда Киркорова тянуло на гамлетовские интонации: «Я звезда или не звезда?» — «Филя, расслабься». Сам Филипп выходил из себя и раздражался на Ивана, потому что тот мог менять его распорядок дня и прямо планировать его жизнь. Со временем я понял, что подобные управляющие есть у каждой звезды, и это нечто большее, чем пресловутый продюсер. Именно они делали «индустрию», общаясь между собой: Иван звонил Анатолию, Анатолий встречался с Петром, а зрители видели дуэты звёзд и их участие в разных проектах.

Почему-то Иван почти постоянно курил дешёвые сигареты, посылая за ними водителя, который, кряхтя и с улыбочкой, тихо выходил из комнаты.

Запись в самом разгаре. Я сижу с закрытыми глазами, стараясь отвлечься от всех вокруг и сконцентрироваться на звуке. Мы прослушиваем уже готовые фонограммы перед тем, как готовить новый материал. Когда я открываю глаза, большой режиссёрский пульт делает меня маленьким.

Последнее время я давлю в себе чувство мыши, которая вдруг выскочила в зал: мне всё время кажется, что лучше пропасть на два месяца, бросить всё, разбить сотовый и отрезать себя от этих людей. Я вспоминаю, как стоял в комнате, уставленной цветами, и храбро говорил — или это был вовсе не Серёжа, а кто-то другой?

Открывается со шлепком звуконепроницаемая дверь, входит Киркоров, черная рука закрывает её снаружи.

— Ну что? — он садится рядом со мной, смотрит сквозь стекло на комнату записи, где стоит ударная установка, техник подвигает к ней микрофоны.

— Сегодня мы проведём эксперимент, — тихо говорю я, улыбаясь.

— Всё, что ты тут делаешь, — и так эксперимент, а?

Пропускаю мимо, выжидаю пять секунд.

— Я хочу, чтобы мы записали вашу игру на барабанах.

Он тоже выжидает пять секунд.

— Зачем?

— Я понимаю, что это будет не очень музыкально. Но это необходимо. Это будет очень откровенно.

Он молчит, рассматривая подбоченившуюся за стеклом установку. Может, я его смутил?

— Нужно просто стучать по ним громко или тихо. И так и так. Без разбору, — добавляю я, Киркоров молчит.

— Ладно, — он поднимается, скидывает куртку на стул, как перед дракой, и заходит внутрь, выходивший техник его пропускает.

— Включайте, пожалуйста.

Загораются красные лампочки каналов, идущих на запись, Киркоров прохаживается по комнате, пальцем шатает бронзовую тарелку. Та немного шипит, не давая полного голоса. Я вновь закрываю глаза и слушаю.

Шорох одежды, нажим крутящегося стула. Лёгкий деревянный стук, взял палочки. Пауза. Несколько бронзовых всполохов, приглушённый голос через микрофоны издалека «что, вот так, что ли?». Пауза, вздох. Неровный сухой стук, как будто в дверь постучали, — малый барабан. Ещё шорох, звяканье, задел опору ногой. Молчание, потом «Я не понял...». Глухое уханье, бочка. Потом цоканье хета, поднимается, как упавший калека, медленной ритм с провалами и шагами бочки невпопад. Вспыхнула бронза, долго остывая, цоканье сменилось треском и шумом падающей воды, неровным, сильным. Глухо сказал «а ещё так могу», запрыгали камни, сваливаясь с порогов водопада, удары реже и сильнее, человеческий голос ругается, что ли, не разобрать, потом лязг, что-то упало, компьютерный писк — я открываю глаза, установка ходит ходуном, Киркоров машет над нею руками, сжав зубы, будто от злости, потом подскакивает и размахивается было ударить бочку ногой, но резко отворачивается, швыряет палочки — в перегруженном цифровом гуле стукнуло звонко живое дерево — и выходит вовсе из студии, буркнув, что сейчас вернётся. Побледневший техник косится на меня.

Вечером возвращаюсь домой после целого дня в их центре. Темно, идёт дождь, сквозь стекло машины я, лёжа на заднем сиденье, смотрю на плавающие огни мокрой дорожной палитры. Вспыхивает зелёный шар, мы едем, загораются впереди красные глаза тормозов, мы тоже притормаживаем. Потом сворачиваем во двор, тут темно, только большие жёлтые пятна от лампочек над подъездами. Я выхожу из машины, на пятках добегаю до ступенек, кто-то подходит сзади. На большом пальце подношу домофонный магнит.

— Простите, вы Сергей?

Я оборачиваюсь: какой-то человек с пакетом стоит позади меня под зонтом, фары нашего отъехавшего джипа вдалеке. Отвечаю.

— У меня к вам одно дело, Сергей. Вы меня не выслушаете? — он поднимается ко мне под козырёк, складывая зонт, я могу разглядеть его. Наверное, ему больше шестидесяти, это худой старик. Я держу пищащую дверь, потом шагаю внутрь подъезда, он заходит за мной. Теперь он стряхивает со своего старого пальто капли дождя и смотрит в свой пакет, будто у него там зверёк. Под пальто у него стариковский коричневый костюм, когда-то бывший на выход. У старика седые кудрявые волосы и светлые глаза, тонкие очки в золотой оправе.

— У нас в районе, как вы знаете, — начинает говорить он какую-то заготовленную речь, но медленно и неуверенно, — есть краеведческий музей и уже давно при нём существует отделение исторической куклы.

Он делает паузу. В подъезде тихо, его хрипловатый голос отдаётся вверх на этажи. Мне следует позвать его с собой домой, но я никак не могу понять, что ему от меня надо.

— Вы, может быть, помните, я был в вашей школе несколько лет назад и вы были тогда ещё школьником, и тогда наше отделение делало представление...

Он говорит всё это, смотря куда-то чуть в бок, я никак не могу поймать его взгляд.

— У нас замечательная коллекция... — наконец я вижу его глаза, и насколько зол он сейчас, он мучается.

— Простите, что вам нужно от меня?

— Наша коллекция... мы можем предложить вам... вернее, я слышал, что вы сейчас сотрудничаете с Филиппом Киркоровым.

Он вновь останавливается, подбирая слова. Открывается дверь, входит знакомое лицо с

пятого этажа, буркнув «здрасти», проходит к лифту. Я провожаю взглядом уехавшую кабину.

— Мне кажется, что я не могу вам помочь. Извините, — говорю я, чтобы закончить этот странный разговор.

— Может быть, вы могли бы передать вот это. Это работа мастеров нашего отделения, — он достаёт из пакета две куклы и вручает их мне. Одна — это тряпичная девушка в красном народном сарафане, почти без черт лица, с соломкой и пуговицами. В той же манере сделан мужчина в черной рубашке с кудрявыми нитками.

— У вас отделение исторической куклы?

Он кивает, на секунду пропадает озлобленность.

— Да, наше отделение — это... вы понимаете, есть большая и малая история. Что будет, если о чём-то не напишут писатели и не скажут историки? Вот мы как раз это и сохраняем.

— А это разве историческая кукла? — спрашиваю я, указывая на тряпичного Киркорова.

Старик смотрит на меня с прежней злостью, я отвожу взгляд.

— Я постараюсь что-нибудь для вас сделать, но... я ничего там не могу, понимаете.

Мы ещё немного молчим.

— Дайте мне ваш телефон, — мне неловко перед этим человеком.

Он даёт мне бумажку с номером, «всего доброго» и уходит. Я еду в лифте, разглядывая два болтающихся тельца, подбиваю пальцем отвисающую назад голову Киркорова. Дома уже все спят, я стараюсь не шуметь.

Антон с удивлением оглядывает студию, медленно, как в музее, подходит к усилителям и инструментам в комнате записи. Качает головой:

— Да-а. Слушай, а нельзя как-нибудь тут запись сделать моей группы?

Улыбаюсь, эта его прямота, когда в нём говорит влюблённый в своё дело музыкант, мне нравится, и я отвечаю:

— Да без проблем, — хотя сам не знаю, возможно ли такое.

— Ну, повезло тебе, Серый

Мы включаем аппаратуру, тишина заполняется молчанием звуковой силы. Я позвал его помочь, я и впрямь один не справлялся. Киркоров или, может быть, Иван специально убрали некоторых специалистов из команды, чтобы большинство механической работы мне пришлось делать самому. Или мне так только кажется? Из-за этого я провожу в студии или в их центре всё время без остатка, это выжимает меня, не оставляя ничего для музыки. Однако я хитрю и приглашаю кое-кого из своих друзей мне помочь: один фотографирует для обложки, другой находит тексты. Я точно так же, как Антон сейчас, звонил им и без всяких «как дела» говорил о том, что мне надо. Антон записывает для меня гитару в нескольких местах.

Вдвоём мы справились со всем рано, и я еду проведать институт. Уже довольно поздно, только в некоторых аудиториях горит свет, большинство студентов уже ушли. На стенде у деканата вывешен приказ, среди отчисленных — моя фамилия. Я перечитываю список несколько раз. Может быть, всё это длительные последствия этого странного наркотика, из-за которого я временами вижу Киркорова и пишу с ним альбом. Как только дурман рассеется, всё вновь будет на своих местах. Я выхожу из пустого здания в огромный асфальтовый двор, мне нравится громыхание моих шагов и сколько музыки можно из этого сделать.

* * *

Новый год, уже сделана большая часть песен. У нас дома собирается много родственников, хотя уже давно никто не приходил. Никто из них не знает, чем я в точности занимаюсь, старался не говорить об этом особо. Тем не менее за столом все смотрят на меня, будто я и ёлка, и Дедушка Мороз, и Снегурка в одном лице. Читает речь президент, «у нас есть традиция дарить друг другу панамки» — что он сказал? — подарки, хотя мне тоже послышалось, потом начинаются по всем каналам десять концертов, случайно щелкая, кто-то включает Киркорова, и все слушают его новогодний номер в образе старой армянки с большим вниманием, не переключая канал.

— Может, ты, Сергей, — говорит мне отец, — тост скажешь?

Он что-то вкладывает в эту фразу, будто вот видишь, уж теперь-то ты подрос и можешь говорить.

— Ну... — сам не знаю зачем я начинаю, — всех с Новым годом... типа, с новым счастьем.

Гости смеются над моей угрюмой интонацией, а мой дядя с другого конца стола говорит:

— Ну что такой угрюмый? Ты ж теперь звезда.

«Да, да — а почему — а Киркоров», — говорят за столом с разных концов.

— Ты музыку записываешь с Киркоровым, да, Серёжа?

— Да, записываю и перезаписываю.

— А что ж ты его к нам не пригласил? — снова спрашивает дядя.

— Он занят, Дедом Морозом работает — шутит кто-то из гостей.

— Ну вот... — бурчу я что-нибудь в ответ.

На новогодних праздниках родители уехали в дом отдыха, а я остался дома один. Теперь я хожу по квартире, в большой комнате полутемно, черный треугольник и черный квадрат — стол и ёлка. Я ухожу к себе и долго играю, бессмысленно и механически, быстро обрывая фразы и хватаясь за другие. Я сам не знаю, что со мной, как будто мозг разогнался до бешеной скорости и не хочет останавливаться. Поминутно я смотрю в телефон и проверяю почту, бросив мышь, снова ударяю аккорды, иду на кухню, пью воду, играю нервный ритм, ничего не понимаю, всё стало на полтона выше, резче, я уже не помню. Долго стою на балконе, ветер сдувает снег с перил на меня. А недавно ещё мир был так наполнен музыкой. Альбом почти завершён, осталось всего две песни.

Чертовы форматы, на сколько уступок я пошел! Тогда, осенью, мне казалось, что всё это будет как-то естественно, что надо дать играть внутреннему голосу и всё сложится само собой. Однако нельзя было делать тихую музыку, нельзя было делать слишком долгую или короткую, нельзя было разбрасываться звуком, и я не брался уже спорить. Все обертона того наглого удара по клавишам, что я сделал тогда в зацветшей каморке дома культуры, — они растворились, я больше не могу перебарывать эту машину.

Ладно, есть простые возможности написать песню. Я сажусь вновь за клавиатуру, руки немного онемели на морозе. Та самая морозная свежесть. Те самые радостные люди с белоснежными улыбками. Безграничные горизонты феерического наслаждения и немного светлой грусти. Есть простые возможности.

— Ты знаешь, это мне нравится больше всего, — говорит Иван на следующий день, — все эти твои порывы я, конечно, потерпел, но теперь ты выдал действительно хорошую песню. С этим можно серьёзно поработать.

Он тихо поёт мелодию «на-на-на-на» вслед за фонограммой.

— Да, это будет хит. Во всяком случае, сингл, — продолжает он.

— И клип отличный снимем, — добавляет Киркоров, — синий такой, да?

Он усмехается чему-то, Иван закуривает, мы слушаем запись в клавире ещё раз, я молчу. Работа окончена, дурман на исходе.

* * *

Когда я сегодня проснулся, то на минуту забыл всё, что произошло. Смотрю на белое утро, на крупный снег, который висит на частых ветвях деревьев, они рисуют очень сложный чертёж, который заполняет моё окно. Точки-снежинки и прямые-ветки. Потом я поворачиваюсь в комнату и вижу на столе черный квадратик компакт-диска. Я нажимаю «плей» на проигрывателе и он продолжает оборванный вчера вечером звук. Всё было, всё.

Потом ищу чего-то в Интернете по названию альбома, но ничего не нахожу. Официальный релиз — новость на сайте, несколько анонсов и предложений в интернет-магазинах, отзыв одной строчкой на сайте Академии Всех Добрых Людей с множеством восклицательных знаков, как будто написавшего сразу разорвало от восторга. Я набираюсь храбрости и звоню Ивану. «Алло», — отвечает он.

— Здравствуйте, это Сергей. В Интернете нет на наш альбом никаких рецензий...

Он молчит в ответ.

— Может быть, нам нужно повторить презентацию или запустить какую-то ещё рекламу?

Он ничего не отвечает. Слушает дальше. Я вздыхаю, не знаю, как к нему обратиться. Сейчас я говорю на его языке «продакшн» и будто нарушаю правила игры, которые оберегали меня от него.

— Ну, это же получается просто пустая трата денег. Вы что, хотите просто ждать? Столько вложено в запись и вы не раскручиваете... Я сделал всё для этой пластинки, но она просто так не будет продаваться. Кто за это отвечает?

— Как же, твоя гениальность и не будет просто так продаваться?

— Вы... — я запинаюсь.

Он ещё немного молчит, потом будто усмехается:

— Пиздец тебе.

Телефон отключается.

Я сижу за столом. От слепящего монитора болят глаза, я выключаю его. За окном черно-синее небо и непонятно, где облака и где космос, кусок оранжевого света опускается за дом, начинает темнеть, кровь стучит в голове, от этого все цвета кажутся ярче. Скоро из этого неба начнётся весна.

Не знаю, что это такое на самом деле, но со мной часто случается потеря чувства реальности. Я могу смотреть на свои руки или пристально вглядеться в другого человека — и ощутить, как будто я уже не я. Всё, что живёт у меня в голове, вся музыка, все мои мысли и воспомина-

ния, — всё это так оторвано от моей скверной пустой жизни, что я будто удивляюсь, обнаруживая себя, а не того человека, которым я был сейчас в размытом образе.

Каждое утро я выглядываю будто случайно в окно, но двор пуст, только заледеневшие грязные следы разворота на снегу от шин. И я теперь и не знаю, что было, а что не было.

Родители рано уходят на работу и не знают, что я больше никуда не езжу. Вот я опять просыпаюсь, в квартире тихо и я рад этому, меня ничто не будет тревожить. Не буду включать радио, не буду слушать диски. Кажется, есть диск, который я особенно не буду слушать. Вот я снова просыпаюсь, не замечаю отражения в ванном зеркале, белая пена утекает. Открываю глаза, дни текут, и кто-то звонит в дверь.

«Алло», — спрашиваю я со сна, потом откашливаюсь, «кто там?». Кто-то строгим голосом меня спрашивает. Хмурясь, открываю. Какая-то серая бумажка в руках.

Апрель, а мы едем плацкартой. Трое моих товарищей молча лежат, закинув руки за головы и гладя затылки — ежик в новинку. Станция, куда нас тащат через степи, называется очень смешно — Победа. Уже несколько часов мы едем молча и в тишине, а тут из шипящего радио в изголовьях верхних полок всех кабинок начинает нахрапывать престарелый встречный марш.

Я вздрагиваю от звука и будто вижу его лицо и весь наш разговор по телефону, и как он вечно курил у меня за спиной. Он не сказал мне почти ни слова за все сессии в студии, что у нас прошли; потом вышел альбом и были долгие недели в проглоченной тишине. Не вышло ни одного отзыва, только на нескольких порножелтых сайтах появились баннеры с фотомонтажом: Киркоров с белой пеной у рта и подпись: «Король эстрады сошёл с ума».

Хорошо, что с Катей мы расстались до этого. А то бы она плакала, потом мучилась, ждала бы меня. Пусть так, будет лучше.

Один из ребят сидит на кушетке, кажется, что он хочет заговорить и всё не решается. Я смотрю на него, он отвечает мне взглядом.

— Ну, давайте знакомится, что ли? — говорит он бодро, улыбаясь и морща лоб.

С задержкой все называют свои имена.

— «Рамштайн» кто-нибудь любит? — продолжает он. Парень, лежащий над ним, свешивает голову вниз, смотря на макушку говорящему.

— Да, а вот ещё новый альбом Киркорова никто не слышал? Я у тётки своей послушал и забрал, это такое... — продолжает говорить весёлый.

Опять смотрю на него, потом на наш поезд, который гнётся в окне на повороте. Я и моя армия идём к Победе.

Сергей Мурашев

Родился в Архангельске, но с младенчества живет в деревне Малая Липовка, Вельского района, Архангельской области.
Окончил неполную среднюю школу в родной деревне. Среднее образование получил в Вельске. Работал дворником, кладовщиком. Печатался в районных и областных газетах и журналах, также в московских журналах «Наш современник» и «О Русская земля».
С 2007 года член СП России. С 2008 года зачислен студентом на дневное отделение Литературного института имени А. М. Горького.

За чужой счёт

Рассказ

1

КОТОРЫЙ УЖЕ РАЗ в районной газете можно было найти объявление: «Продаётся хороший дом в д. Ильменьге. На берегу реки. Адрес: ... область, ... район, п-о Ильменьга. Индекс: ******. Клавдии Андреевне Сухаревой».

...Клавдия Андреевна, или попросту, по-деревенски Клавка Хромая, хромой была от рождения и много натерпелась от своей болезни... Её долго никто не брал замуж, а когда наконец «выпало счастье» с сорокапятилетним мужиком, стало совсем тяжело. Муж её бил, часто, даже зимой, выгонял из дома, звал сукой хромой... — молодая Клавдия всё терпела.

К шестидесяти годам муж умер, и единственную дочку она доучивала сама. Именно к ней, если продаст дом, и хотела уехать Клавдия. Дочка была её упоительной радостью: она удачно вышла замуж, работала на хорошем денежном месте и родила трёх подрастающих уже детей.

На деревне одни бабы говорили, что надо в объявлении написать про рыбу, про грибы, про ягоды, другие кричали на них, что где Клавка столько денег возьмёт... — каждая буковка денег стоит.

Почти все мужики сошлись на том, что жить в такую глушь всё равно никто не приедет, поэтому дом не купят; разве что какой дачник.

Однажды ранней весной Клавдия приковыляла к соседям.

— Приехал ко мне покупатель... — сказала она ещё в дверях.

— Кто?

— Не знаю, то ли моряк какой-то, то ли рыбак. Пенсионер уже, собирается жить... — Клавдия, тяжело отпихиваясь, присела на лавку около печи. — Молочка бы вы, Лида, не налили для гостя... Я и денежки принесла...

— Ладно, ладно, Клавдия Андреевна... А какой он?

— Знаете, такой ещё моложавый, сам всё время улыбается, приветливый.

— И точно уже покупает?

— Всё, всё, место очень понравилось, дом понравился... Только цену не обговорили... А если надумает молочко брать, я на вас, Лида, скажу.

— Хорошо, Клавдия Андреевна, хорошо — скажите.

— Пойду я, а то ждёт. До свидания, Лида.

— До свидания.

Пока хозяйка ходила за молоком, гость уже переоделся в фуфайку, штаны и шапку-ушанку, которые дала Клавдия.

— Как раз вам впору, а я молочка принесла.

— Холодно сейчас молочко пить... А почём у вас молочко? — он опять широко улыбнулся, показав красивые ровные зубы.

— Недорого совсем, вот у соседей можно брать... Холодно — печку надо истопить. Я уже два месяца здесь не живу. Только бумагу прожгём, а то задымит.

...Клавдия Андреевна уже давненько не жила дома, как зарезали последнего барана и стали кончаться дрова. До лета она переехала к сестре. А там видно будет...

Ещё на рассвете Клавдия Андреевна пошла за обещанными деньгами: хотелось скорее отдать все долги, заказать с кем-нибудь билеты, хотелось к дочери... Вчера гостя никак не удалось зазвать на ночевку к сестре, остался раскладываться. Но ничего, угореть не должен.

В доме уже топилась плита, на ней что-то шипело. «Хозяйственный», — подумала Клавдия Андреевна.

— Здравствуйте, я пришла.

— За деньгами пришли, хорошо. Я уже всё приготовил: вот, пожалуйста, пересчитайте.

Раньше Клавдия Андреевна всегда считала, но последнее время ей нравилось доверять людям.

— Ладно, не надо, — сказала она.

— Нет, пересчитаем. Смотрите, — гость по бумажке переложил всю пачку и отдал Клавдии Андреевне. Та сровняла на столе и, стесняясь того, что берёт деньги, завернула их в специально принесенную газету.

— Потом, может, сестра моя придёт, я-то уеду. Поможете ей вот эту кровать-полуторку вынести? Будьте добры!.. У неё летом опять Лёша с Лёней приедут, а спать негде, ладно?

— Нет.

— ...Почему нет? — испуганно засмеялась Клавдия непонимающим старушечьим смехом.

— Вы, Клавдия Андреевна, дом продали — и, значит, выносить ничего не будем, — гость расплылся в улыбке.

— Да куда вам, хватит тут кроватей...

— Пригодится, пригодится, Клавдия Андреевна. Сначала кровать, потом диванчик... Выносить ничего не будем, — и снова улыбка. Так и запомнился Клавдии гость. На голове шапка-ушанка, завязанная сверху, красивые ровные зубы и широкая улыбка, обволакивающая всё лицо.

Клавдия Андреевна не стала больше спорить — она немало пожила, немало видела разных людей. Зачем тратить нервы? Много ли ей теперь надо? Гость быстро выхлопотал и оформил все бумаги. На следующий день после этого Клавка Хромая уехала. Моряк (именно так и стали называть его в деревне) быстро обжился. Через неделю он уже сидел в перевозной будке-избушке бригады колхозных мужиков, валивших лес в делянке, и договаривался насчёт дров. Он доставал из своей большой красной сумки бутылку за бутылкой, сало.

— У меня этого добра... — говорил Моряк. — Заходите, если надо. В магазине, пожалуй, кусается?! А если что сделаете — мгновенный расчёт! — Он взмахнул ладонью так, словно хотел отрубить кому-нибудь голову или сбить горлышко бутылки. — Мне сделают — я сделаю.

— Ну, держим.

— ...Да, да, мужики, пейте... Ну что, Рома, завтра дрова сделаете?

Пьяный, оглупевший от вина бригадир Роман кивал головой и издавал мычащие, неизвестные до этого звуки согласия.

После обеда бригада не вышла на работу. Мужики были довольны, они пили за чужой счёт, но, видно, не знали, что счёт этот им ещё предъявят.

Жена Романа, Ира, ещё ни разу не видела мужа смертельно пьяным и, не ругаясь, уложила спать. Раньше Роман почти совсем не пил. Примером ему в этом служил отец. На свадьбе подружки, завидуя, шептали: «Повезло тебе, Ирка, — непьющий, некурящий». Но после смерти отца с самым близким человеком Иры что-то сделалось, что-то сломалось внутри... вернее, стало изнашиваться. И вот за несколько лет изменилось. Ира вспомнила, как в эти новогодние праздники Роман открыл форточку и несколько раз крикнул в темноту: «В будущий год будем встречать миллениум, конец света!»

На следующий день после пьянки трактор с избушкой колхозных лесорубов изменил свой обычный маршрут в делянку и остановился напротив дома Моряка. Роман вылез и хотел зайти за бутылкой, но Моряк уже ждал у дверей. Бригадир обернулся назад, мужики стояли около избушки и курили, перетаптываясь на месте.

— Ну что, Рома? Дрова вот сюда привезёте, притяните ближе к дому. Не забудьте только пару сушин. Хлыстами ведь?

— Пузыря дай, опохмелиться.

— А сделаете?

— Да всё я сделаю — пузыря дай! — зло ответил Роман и снова оглянулся на мужиков.

Моряк, в обычных для него теперь латаной фуфайке и ушанке, суетливо забежал на веранду и сразу же вернулся с двумя бутылками. Роман взял обе...

Работа сегодня у лесорубов не ладилась. Часто перекуривали, ходили пить чай, водка давно уже кончилась.

Вечером к дому Моряка трелёвочник приволок здоровую пачку берёз. А Романа, опять пришедшего домой пьяным, ругала жена. Он огрызался, бурчал что-то. Ира плакала и, наконец, утирая слезы, ушла на кухню...

«Хорошо, что сегодня выходной», — подумал проснувшийся утром Роман. У него болела голова, тело ныло.

— Полоскать пойдём! — бросила проходившая по комнате Ира.

«Хорошо, что сегодня выходной, — снова подумал Роман, — за выходной отойду. Вставать надо». Он встал, оделся, тяжело пыхтя, сначала попил чаю, потом молока... Накинув суконный пиджак, вышел на улицу и молча потащил к реке приготовленные женой санки с бельём. Ира, казавшаяся Роману надзирателем, шла сзади.

Дорога к реке проходила как раз около дома Моряка. Вчера привезённые дрова уже кто-то пилил... Пилил Сашка, если можно так сказать, младший друг Романа, недавно пришедший из армии.

Когда Роман поравнялся с Сашкой, тот заглушил пилу, схватился за чурку — откинул.

— Здорово!

— Здорово!

— Что, калымишь?! — у Романа внутри что-то подскочило к горлу, он обернулся на жену.

— Ага...

2

ДОМА У РОМАНА не было денег. Ира изводила его насчёт этого и отправляла занять к брату. Роман пошёл, когда уже почти стемнело и пора было ужинать.

Стояло начало апреля и, наконец, потеплело: с крыш бежало, на дорогах снежная слякоть. Вечером идти плохо — ничего не видно. Над головой нависло тяжёлое чёрное небо.

Денег у брата не оказалось; на обратном пути Роман зашёл к Моряку. Тот сразу поставил.

— Мне дрова, которые ты привёз, Александр и распилил, и расколол — приложить только осталось. Я с ним всё, хорошо расплатился, а вчера он мне пилу приволок. За три бутылки, плохо, что ли?.. Правда, шина кривая, но шинку-то найдём, да и новень...

(...Бизнес Моряка процветал: каждую неделю ездил он за водкой в город. Почти все покупали у него, так как было дешевле. К нему несли и вещи. На деревне Моряка костили, его водку-отраву ругали, но всё равно покупали. Пополз слух, что Моряк продаёт и школьникам. Роман к Моряку не ходил, только давал деньги кому-нибудь, чтоб купили...)

Роман сам наливал себе и глотал одну за другой стопки, тупо смотря на что-то говорящего Моряка: тот не пил. «Он, гад, не пьёт. Нас спаивает, а сам не пьёт. Пилу у Сашки забрал, на которую я денег... давал. Надо ему...»

Вдруг до Романа донеслось:

— Вы мне, Рома, хлевок под телёнка срубите? С мужиками там договоришься. У меня уже всё — лесобилет выписан. Вы там сами вырубите, окорите, всё что надо, потом на пилораму плах закажем, досок. Всё мне под крышу подведёте; я хорошо заплачу... Вот аванс дам. Я, Роман, на тебя надеюсь!

Роман схватил положенные на стол деньги, сунул в карман и выбежал на улицу.

Он шёл, спотыкаясь и падая в лужи, потерял шапку. Запутавшись в деревне, забрёл в Сашкин дом. На стук в коридор вышла Сашкина мать. Роман, качаясь перед ней и, видимо, не понимая, почему вышел не друг, бубнил:

— Сашку, Сашку мне, Сашку мне...

— Иди, Сашка, сам разбирайся, к тебе тут пришли...

Сашка вышел.

— Ну-у, Ромка...

— Сашка, Сашка, пилу не надо, не надо... не ходи к Моряку, не надо, Сашка.

— Роомка...

— ...Я хожу, я хожу, я не могу... — Он не удержал равновесия и упал. Опёршись руками о ведро с помоями, хотел подняться, но ведро опрокинулось...

Роман сидел в луже помоев, что-то бурчал, хлопал руками по мокрому полу.

На грохот и шум сбежалась вся семья: мать, отец и младший брат Сашки.

— Уууу... Куда он теперь? — тихо сказал отец.

— Дома не оставлю! — мать взбесилась. — Дома не оставлю! Волоки его, Сашка, отсюда!

— Батя! Куда его, батя?

— Что, к Иринке поведём. Больше никак, — отец был спокоен, он уже одевался. — Что стоишь?!

После отцовских слов успокоились и остальные...

Романа было вести трудно: везде скользко, сыро и лужи. Хорошо, что впереди бежал младший брат Сашки, Витька. Он деловито покрикивал: «Тут лужа, тут лужа! Тут токо снегом можно!» На полпути Роман немного протрез-

вел, но от этого начал только «придуряться»: поджимал ноги, виснул на мужиках, пытался вырваться и стонал, чтоб его оставили подыхать. Под конец он перепутал Сашку с женой, стал приставать к нему с ласками, хватая за колено и крича: «Какая ты, Ира, сдобная! Какая сдобная!»

...Ира долго била ничего не понимающего мужа. С рёвом горланила на весь дом забившейся под одеяло дочери: «Любка, он нас продал! Этот алкоголик продал нас, Любонька!»

Утром Роман отдал моряков аванс Ире, та взяла. Люба, проспав, в школу пришла только ко второму уроку. Некоторые почему-то косились на неё с интересом и смешками. Почти вслед за Любой в класс заглянул старшеклассник Витька. Он, подмигивая ребятам, в вразвалочку прогулялся вдоль доски туда — обратно. Потом подошел к сидящей на своём законном учебном месте сжавшейся сейчас в комок и забитой взглядами Любе, облокотился о парту и «прошептал»: «Ну чё, отец-то вчера с запашком пришёл?»

— Опрокинул вчера на себя ведро помойное, — обратился Витя уже ко всем, — и сидит, как поросёнок. А потом вообще корки, когда уже домой вели, Сашку стал за яйца хватать... Голубой, что ли, какой-то?

В школу Люба не ходила несколько дней. Ира на прогулы дочери не обращала внимания, только ставя их Роману в упрёк. Наконец за Любой пришел директор школы, узнавший в чём дело. ...Так как в деревне у многих ребят отцы пили, Любу больше не преследовали. Прошло время, и потерявший совесть Роман был уволен из колхоза. Теперь он пропадал только на «калымах» у Моряка, даже носил дрова и воду. По деревне говорили, что Ира от него отказалась. Роман часто не ночевал дома, заснув у своего «хозяина» на кухонном полу. Что-то случилось с Романом, нарушилось в его голове, лопнула какая-то капсула с едучей жидкостью, растёкшейся по всему мозгу. ...Бывший бригадир, с отличием окончивший техникум, теперь не мог протрезветь, даже когда не пил несколько дней. Жена и дочка казались ему обузой, данной в наказание за что-то.

В конце мая Моряк созвал к себе мужиков, строивших ему хлев, на день рождения. В доме, в такие тёплые деньки, когда все начинает зеленеть и уже выпускают коров, сидеть душно и неохота. Пошли на природу, опустились к неширокой, но красивой реке Ильменьге. Моряк расстелил скатерть, стал доставать закуску.

— Вы, мужики, разбирайте стопочки, наливайте.

— Ты хозяин...

— Нет, нет, пока я разложусь...

Кто-то потянулся за бутылкой. Роман, любовавшийся Ильменьгой и берёзками на той стороне, распустившими почки, сказал:

— А давай, мужики, будем купаться.

— Ты не дури, Ромка, опять у тебя зашиб, — ответил за всех жевавший кусочек сала Сашка.

— Вода больно холодная, — добавил кто-то.

— Ну давай, мужики... За твоё здоровье, Моряк, имени не знаю...

— ...Моряк и ладно...

Они выпили по несколько стопок. Роман снова заладил своё.

— Пойдём купаться, — говорил он пьяно и упрямо.

— Холодно, дурак, вода холодная. ...Замёрзнешь...

— Пойдём купаться. Пойдём... Я пойду один... — Он встал.

— Куда, пропустишь ведь. Держи!

— А, держать?! Буду держать... — Роман опять сел и выпил. Но упрямку его, стержень, который не давал приспосабливаться к изменениям жизни, не смог сжечь даже спирт. Правда, изуродованный водкой, не имеющий подпитки из вне, стержень этот стал примитивной, идущий поперёк общего мнения палкой, что суют в колёса.

— А я пойду купаться, — сказал Роман неожиданно и встал. Сашка успел ухватить друга за пиджак, но тот сбросил его, сбросил и рубаху, оставшись в замызганной майке.

— Дурак, — сказал кто-то.

Роман, сильно шатаясь, шёл к реке. Сегодня его развезло быстрее, так как начал праздновать день рождения он ещё вчерашним вечером.

— Ну что, кто пойдёт купаться?.. Никто что ли?

— Вода холодная!

— Холодная?! — Ромка глянул на реку, потом снова на мужиков. — Холодная, значит, нагреем, — тупо заулыбался он.

Ромка пошёл к старому гнилому плотику Клавдии Андреевны, с которого та раньше полоскала бельё. Небольшой деревянный плотик уже давным-давно кем-то хозяйственным был привязан к берегу тросом и лишь поэтому не уплывал в половодье.

— Сейчас нагреем, сейчас мы вам нагреем, — всё ещё улыбаясь, бормотал Роман. Он ступил на плотик, сгнившие доски, настланные на брёвна, проломились.

— Утонешь, дурак... Э?!

Роман ступал дальше, отживший своё, намокший плотик немного погрузился под его тяжестью.

— Вам холодно?! Я нагрею, я нагрею... — Он расстегнул ширинку и хотел... но доски снова проломились. Роман не удержался и, как-то смешно раскинув руки, упал головой вперёд, потом ещё раз шевельнулся и замер.

— ...Рааман, вставай, не притворяйся. Ромик?! — сказал один, шутя. — Вставай, а то выпьем без тебя! Держи!

— Что-то не так, — вскочил Саша, выкинув налитую стопку. — Что-то не так!

Он забежал в воду, приподнял голову Романа.

— Ромка! Ромка!.. Он головой об железину стукнулся! — зло повернулся Сашка к мужикам.

Роман стукнулся головой о не знаю зачем забитый, огромный, кованый ещё в кузнице гвоздь, который, потеряв шляпку, вылезал теперь из прогнивших досок и брёвен острым штырём, стоящим кверху.

На следующий день Люба снова не пошла в школу.

— Вот да!.. Ольга, Ольга!.. — открыл он двери в дом. — Иди сюда, чего покажу.

— Ну чего там покажешь, чего покажешь... — недовольно, но всё-таки с любопытством поспешила Ольга к мужу.

— ...Смотри, Оля... — выключил Пётр свет. — Уголёк.

— Фу ты, что увидел тоже — уголёк. Залить — и не будет.

— Да зачем залить?! Сколько уж он держится. Вчера печка топлена, а он всё не затих. Вот какая сила! Людям бы столь! Его в печи кочергой долбили, на другой день в таз с золой выгребли, да на улицу, на холод, — а он знай своё дело делает и ничего...

— ...Иди-ка с углями ты со своими...

— Да не, пятнадцать градусов мороза, а он светит!

— Иди-ка...

...Уголёк этот вскоре погас, не забыв своё: светить и греть.

Уголёк

Рассказ

ОЛЬГА С ПОМОЩЬЮ кочерги и совка выгребала из печей золу. По правде говоря, то, что золы уже много накопилось, она заметила несколько дней назад, но руки никак не доходили. Сегодня тоже не было времени, и Ольга подумала... что завтра тем более не будет. Поэтому, придя на обед, она перво-наперво открыла трубы и засуетилась у печей.

— Фу, полный таз накопила, — сказала Ольга одновременно и стыдясь того, что долго не выгребала, и радуясь, что теперь в печах чисто.

Она вынесла золу в коридор. Постояла секунду. И снова к домашним делам.

* * *

Муж Ольги, Пётр, возвращается с работы поздно — в шесть. А январский день короткий, так что в темноте.

Пётр привычно смёл голиком с куртки и валенок снег. Стащил с головы шапку, хлопнул об колено. Потом вошёл на веранду, в коридор...

— Что такое за беда?!

В темноте, притягивая взгляд, светилась красивая, как будто горящая, красная точка... Пётр нащупал рукой выключатель, чикнул и, присмотревшись, увидел в тазу, в серой золе, уголёк.

Богатые

Рассказ

НА САМОМ ДЕЛЕ они вовсе никакие не богатые, просто фамилия такая...

В школе по-настоящему с Богатыми дружу только я один, больше никто... Потому что все их зовут вонючками. Да ещё ходят они во всём старом, с заплатами.

Но никто не знает, как живут Богатые!

Мать у них пьёт. Она пьёт скрытно, не на людях. Потихоньку напьётся, а потом ходит весёлая и противная... Отец, тот приходит поздно, всегда чем-то недоволен, всегда злой.

Поэтому почти всё домашнее хозяйство на ребятах. Антон с Иркой за коровой смотрят, Ирка теперь даже доит. Таня с Олей — за поросёнком, Ленка — за бычком. А Сашка, самый младший, тот каждому помогает...

Мне всегда интересно смотреть, как они со всем легко справляются и потом веселятся. Распахнёшь дверь в дом — а там как будто муравейник: один делает зарядку, другой танцует, третий пишет что-то... а Ленка, Ленка всё время шьёт...

...И за водой они тоже ходят вместе, и за дровами.

Антон среди Богатых самый старший и самый умный. Но мне кажется, что он немного зазнаётся, когда помогает делать уроки; или он хочет стать учителем...

Таня с Олей, те в школе любят только физкультуру, они и дома тренируются, особенно зимой — на лыжах. Ирка ничем таким не увлекается: больше всё что-нибудь варит... А вот Ленка, та хорошо шьёт и на рыбалку ходит. Мы с ней на рыбалке и познакомились. Раньше я не знал, что девочки на рыбалку ходят, а теперь знаю... Я, наверно, когда вырасту, на Ленке женюсь, если она согласна будет.

А так, конечно, жалко, что в школе с Богатыми никто не дружит, просто их не знают.

Космонавты

Рассказ

ВОТ У НАС и экзамены. Готовлюсь всё время — билеты учу. А сегодня ещё надо в конец деревни идти. Там отец и дядя Игорь хлев рубят. Мне придётся им на обед суп варить. Хотя мама еды столько наготовила, что можно и так наесться.

— Где костёр будем жечь? — спросил я, как только пришёл к срубу.

— Будешь, а не будем. Жги около берёзы. Только уху вари, а не суп. Игорь вчера на рыбалку сбегал, хайрузов изловил, в ключике в миске лежат.

— Хорошо клюёт, дядя Игорь?

— Не больно, но первый раз ничего.

Я сварил уху. Мужики пришли, всю съели.

— Что-то я не наелся. Игорь, ты как?

— Да тоже чего-то... Я утром слабовато поел...

— Вари, Женька, тогда ещё и суп.

— Да куда вам, мне ещё к экзаменам...

— Вари-вари... — И пошли дальше рубить.

Сварил я и суп, чаю накипятил полный котелок — всё слопали: суп, сало, яйца, хлеб... только чай не допили.

— Ну, вы как космонавты.

— Какие космонавты?

— Ну, калорий много употребляете. По телевизору недавно показывали, что космонавтам специальная пища нужна, в которой калорий много. Что простому человеку столько не усвоить, надо тренироваться... а вы как космонавты.

— И ты как космонавт будешь, топором потюкаешь столько, сколько мы, — сказал дядя Игорь.

Я почему-то замолчал. А потом подумал, что совсем я ещё не повзрослел, хотя и девятый класс кончаю.

Обида

Рассказ

СИДЯТ ЗА СТОЛОМ в жарко натопленной избе две бабки. Пьют чай с кусковым сахаром. Вспоминают прошлое. Всё больше свою молодость и детство.

Что-то зашёл разговор о родных. И одна бабка вдруг:

— ...Отчим, дядя Петя, жестокий был. Однажды побил меня на повети ни за что ни про что, — у неё на глаза накатились слёзы, голос задрожал. — Я ни брату не сказала, ни маме... Уж потом, как он помирал, а я за ним ходила, хотела спросить, за что он... меня... — да уж ладно.

Смерть

Рассказ

БЫЛ ПРОЕЗДОМ в нашем городке, когда ехал на каникулы домой, и решил заглянуть к одногруппнику по училищу.

Меня всегда к нему тянуло, да и всю нашу группу. Он свой парень! Весёлый! Не унывает никогда. Глебыч! Глеб. ...Помню, у него болел зуб, щёку разнесло. Он к врачу пошёл. «Болит... — двумя пальцами клещи показал, — но скоро пройдёт!»

...Уверенный, что скоро увижу Глеба, на третий этаж взбежал легко. Зачем-то, ступая на каждую, сосчитал бетонные ступеньки всех пролётов. Перед дверью сначала резко выдохнул, чтоб дыхание восстановить, и только потом нажал кнопку звонка.

Открыла мама Глеба.

— Здравствуйте! Глеб дома?

— ...Погиб Глеб...

...Повернулся, шагнул на ступеньки.

Через большое окно между этажами прямо в глаза ударило яркое солнце. До боли! Ослепило. ...Когда опомнился, повернулся, чтобы спросить, где могила...

Но дверь уже закрыта. Мне показалось, что прошли секунды, а на самом деле, наверное, не меньше минуты. ...Снова позвонить, чтобы спросить, где могилка, не смог.

Больше ни к кому не пошёл, даже к тёте, вернулся на вокзал и, дожидаясь свой автобус, весь день просидел там. Ко мне, чего до этого не бывало, несколько раз подходили и спрашивали: «Закурить не найдётся? Мужик! Закурить не найдётся?» А я отвечал: «Не курю».

Победа

Рассказ

Я УЖЕ СОВСЕМ не помнил про это 9 Мая, а тут вспомнилось. И всё вспоминается и вспоминается. Всё яснее и яснее. Так перед глазами и стоит.

Я тогда маленьким был.

...День солнечный. Митинг ещё не начался. На скамейке около памятника сидят дед-ветеран и какой-то мужик. Мы (ребята разного возраста) — кто тоже на скамейке сидит, кто рядом стоит. И я тут же в сторонке.

Дед плотный телом, так что костюм в обтяжку, и кажется, что на брючинах и рукавах пиджака может лопнуть ткань. ...Сидит дед на скамейке боком, повернувшись к мужику. Рядом палка-клюка. Волосы седые. Лицо багровое, над глазами густые брови. Говорит:

— ...То, что видел, — не помню, что помню — не расскажется, а что расскажется... — не поверишь! Вот! — и головой кивнул.

...На митинге стихи читали. Ветеранов вызывали к памятнику. Женщина, работник клуба, долго перечисляла погибших. И кругом шептались, что «какой красивый голос».

Потом в клубе концерт был. В конце на сцене пели «День Победы». ...Вдруг слышу, кто-то мне мешает, на ухо тихонько пришёптывает. Обернулся. ...Маленькая бабуська. В пуховом платке, в демисезонном пальто. Сидит на краю сиденья, на мой ряд руками опершись; ноги назад поджала. На сцену смотрит и слова повторяет. То, что я на неё смотрю, — не видит.

...Потом мы (ребята, кто помладше) в «ляп» около остановки играем. А по дороге полноватая, небольшого роста женщина в спортивках и кофте с молнией, с «химией» на голове ведёт подвыпившего старика-ветерана. Старик, особенно против женщины, высокий. В светлом костюме. На седой голове кепка. Пиджак распахнут. Когда старик пошатывается, покачиваются и полы пиджака. Тогда медали ударяются друг о друга.

— Ну зачем пил? — говорит женщина.

— Фронтовая! Закоонная! — отмахивается старик рукой. Он вообще всё, о чём говорит, руками показывает.

— А вторую зачем пил? И без закуски.

— Фроонтовая! Законная!

— А вторая?! На фронте по одной, наверно, давали!

— Что?! — старик даже остановился и повернулся к женщине. — Знаешь ты... — снова пошёл. — Мы под Смоленцем в атаку пошли... а вернулось... — он показал горсть. — А вина на всех было рассчитано... Так винаа было!

Наверно, мне теперь, если вспомнилось, всю жизнь не забыть этого праздника.

Любовь

Рассказ

ВЧЕРА ДОЛГО сидел у Тани в гостях (пока она собиралась). Наблюдал за двумя Таниными братьями...

Карапузы. Оба на полу на ковре, среди кубиков и деталей от конструктора, ползают. Большую игрушечную машину-кран катают. У крана есть ручка, чтоб нитку-трос с крючком поднимать, есть — чтоб стрелу поворачивать. Витька, который старший, пузатый, в коротких шортиках и футболке мелкими цветочками, босиком. Сашка, тот худенький, маленький, только голова, как часто бывает, большая. Колготки слезли, болтаются у носков, следки натоптаны. Полосатая рубашка-безрукавка с якорем на груди (как он сам хвастается — «моская») из колготок вылезла.

Разодрались. Витька силой берёт и всё молча, а Сашка не отступает, кусается, кричит. Я хотел разнять, но и сам... боюсь. А они на меня внимания не обращают. Правда, сразу их мама, Надежда Александровна, прибежала. Как всегда, чёрные волосы на затылке в пучок собраны, рукава кофты закатаны. Сама в чёрных широких брюках. И Таня на неё не похожа.

— Так! Ну-ка перестаньте! — присела к сыновьям. — Сейчас совсем заберу. Ну-ка по очереди! Кто умнее? Кто умнее — пусть уступит.

Ребята успокоились и сидят смирно, тогда Надежда Александровна опять к своему делу. Я вообще ни разу не видел её без дела. (Правда, она одна, не замужем. Трудно.)

Как только мать ушла, ребята опять засопели. Витька кран заграбастал обеими руками. А Сашка тогда (на полу сидел) голову кверху поднял и заныл. На этот раз Надежда Александровна только в дверях мелькнула, бабушка их прибежала. Стройная, быстрая, дома всегда в спортивных костюмах. Платка не наденет, не то что наши бабуськи. Седые волосы завивает.

— Санюшка, Санюшка. Что, миленький? Обидел? Стукнул?.. Ох бандюга! — на Витьку

для вида замахнулась, но кран оставила. Сашку, который уже только всхлипывает, на руки взяла. — Что, Санюшка, что? — по голове гладит. И опять к Витьке: — Он ведь маленький ещё! Не понимаешь?! — Так Сашку в другую комнату и унесла.

А я Витьке улыбнулся и подмигнул. ...Раньше и мы с Лёнькой дрались из-за чего-нибудь. И так же моя мама или его говорили: «Ну, кто умнее — тот уступит. Ну? Кто умнее?» Я всегда был умнее... или слабее.

А однажды... Это уже в четвёртом классе было...

У нас в семье было заведено, что первое сентября и окончание учёбы — праздники. И мне всегда подарки покупали. Я тогда попросил на окончание учёбы шахматы (в городе видел). Доска большая, ящичком складывалась... на два жёлтеньких металлических крючочка закрывалась. И сами шахматы казались мне очень красивыми: пластмассовые, но словно из кости.

Помню, мама сказала, что это дорогой подарок и что купят мне его, если я закончу без троек.

Когда выдали дневники, я открыл — а там по истории тройка. Я тогда знал, что тройка будет, но всё ещё надеялся — а вдруг! Лёньке про шахматы и про тройку разве что не со слезами рассказывал...

А на следующий день рано утром, когда я ещё лежал в постели, приходил Лёнька. И Лёнька (мне дословно запомнилось!) ...сказал: «Вот, тётя Таня, деньги, если... не хватает. Купите Женьке шахматы, хоть и дорогие. Он очень хочет».

А деньги тогда у Лёньки были накоплены свои (он бутылки сдавал). Я тоже сдавал, но деньги тратил.

* * *

...А вечером мы с Таней гуляли. В конце мая на улице хорошо. Тепло. Трава и листья на деревьях... Зелёные-зелёные. Я рассказывал Тане, как «играли» Витя с Сашей. А мы всё потихоньку шли вдоль аллеи, по набережной и смотрели на реку.

Потом я задержался, чтобы купить мороженое, и побежал догонять Таню.

...Мне встретился Колька Захин. Мы практику проходим вместе.

— Чего бегом?! — спросил он.

— Так... надо догонять, — показал я рукой на Таню.

— За бабой хвостом!

Я сначала пошёл шагом. ...А потом снова побежал.

Когда я догнал Таню, она на ходу повернулась ко мне и сказала:

— Я всё слышала. Я тебя люблю.

Ужас

Рассказ

ВЕЧЕРОМ К КАТЕ пришла соседка по лестнице. Мать двух детей. Старшему десять.

Соседка третий месяц ухаживает за свекровью, которая не встаёт с постели. Так что уже и работу пришлось бросить. Все разговоры сводятся к одному — болезни свекрови.

— ...Младший придумал: «Возьму баночку с таблетками и трясу». А то ведь стонет и стонет, днём и ночью. ...Им уроки надо делать... Ваня всё перепробовал: и свистел, и кричал, по батарее колотил... А Коля младше, а... и смешно и грешно. Ужас. ...Мой сегодня... «Дорежь...» Ужас...

...А утром соседка пришла снова. Остановилась в тёмно затенённой прихожей:

— ...Умерла.

Гимн

Рассказ

Бубенцы

НАД ТЁМНОЙ осенней рекой нависла старая черёмуха. На её самых тонких, будто нити, веточках, почти дотрагивающихся до воды... намёрзли прозрачно-белые округлые льдинки. Ветер покачивает черёмуху, льдинки, касаясь друг друга, слегка позвенивают бубенцами.

Откуда взялись эти бубенцы? Кто их повесил?

...Похоже, до приморозков вода в реке была больше, и валил густой снег. Упав на воду, снежинки, как бывает, не таяли полностью — их, сбившихся на переборах кучнее, несло течением словно рваные клочки размокшей тяжёлой ваты...

Вот эта вата и удержалась за опущенные в речку ветки черёмухи. После заморозков вода в реке спала, кое-где появились забереги. А на черёмухе сказались бубенцы.

В войну

Рассказ

— У МАТЕРИ ТОГДА телята на телятнике начали дохнуть. А она не может ничего, изробилась, заболела. Лежит на кровати пластом; застонет иногда сильно-сильно. Ириша в зыбке не ревит — мне качать не надо. Сашка с Манькой уже большие — где-то чего-то делают. Витька ещё дома. Он меня на два года старше, а тогда совсем карличек был. На подоконник (велики ли окна), веришь — нет, скочит! И помещался. Чуть только голову приклонит, за косяки руками придярживается, что-то всё на улице высматривает. И тогда тоже смотрел... Вдруг как спрыгнет на пол: «Идёт!!!» А кто идёт, чего идёт?

Я в рёв. И реву, и реву. (У меня слёзы близкие, но быстро и высыхали.) Слышу, кто-то застучал на мосту, затопал громко-громко. Я реветь перестала, за сундук спряталась и совсем не шевелюсь. А Павел Иванович, председателем тогда был, вошёл, поздоровался. Никто не ответил — Витька тоже боится, стоит рядом с матерью. А Павел Иванович к матери подошёл. Спина вся в снегу — мело тогда сильно, — в правой руке шапку держит. Подошёл, постоял, постоял, опустился перед самой маминой головой на колени (у него спина была надорвана, наклоняться не мог). Долго присматривался к матери близко-близко, ухом прислушивался. Потом и сказал: «Что ж ты? Что ж ты делаешь-то, Лидия? Лидия, Лидия! Фуур с эма, с телятами! Пусть... У тебя же пятеро детей! Лидия?!»

Постоял ещё, повсхлипывал. А снег на спине так и не растаял, белеет. Поднялся после с трудом, на Витьку посмотрел и ушёл.

Не померла ведь мама. Не померла! Выкарабкалась. С того света воротилась. Здоровее только ещё стала. И нас всех вырастила. Одна.

Налимы

Рассказ

ГЛУБОКАЯ осень. Лист с деревьев осыпается, а снега нет. Льда на реке тоже. Он, от последнего приморозка, тонкий, как стекло, только на лужах.

Вдоль лесной речки тянется узкая тропинка, вся усыпанная опавшей, смёрзшейся теперь, хрусткой под ногами листвой. По тропинке идут два охотника, идут с шумом, разрывающим приречную тишину.

Один из охотников лет шестидесяти, седой, голубоглазый. Сухопарый и высокий. Николай. Второй, Мишка, — лет сорока. Ростом поменьше и телом поплотнее. Волосы чёрные как смоль. Лицо скуластое, усы густые, верхнюю губу закрывают.

Оба в резиновых сапогах, широких шерстяных брюках, в суконных серых пиджаках, в шапках лесорубов. У обоих большие набитые рюкзаки, ружья: у Николая одностволка за правым плечом, у Михаила — двустволка, ремень ружья перекинут через голову, так что за спиной оно наискосок. Охотники торопятся.

В пересохшем староречье, луже, лужице, которая едва больше, чем след лошадиного копыта, но глубокая, словно выкопанная, Михаил, шедший первым, проломил носком сапога ледок...

— Стой-ка, Мишка! Смотри! — Николай перекинул ремень ружья через голову, присел к лужице и стал отламывать пальцами оставшиеся льдинки.

— Мальки! — догадался Михаил.

— Уже не мальки, но малыши совсем. — Николай окунул в лужицу ладонь и осторжно-боязливо приподнял в почти разжатой горсти двух темноватых, сразу выскользнувших рыбок. — Налимчики как будь?

— Налимчики, — кивнул Михаил. Улыбнулся: — Кишит?! — тоже присел на корточки, но слишком резко, рюкзак перевесил и Михаил упал на спину. Тут же встал — и снова к Николаю. Снова присел на корточки, наклонился совсем низко над лужей, так что двустволка Михаила стукнула об одностволку Николая. Николай поднял голову и взглянул на Михаила.

— А давай, Мишка, выручим налимов?

— Давай.

Поставили ружья к ольшине, от рюкзаков высвободились, расправили плечи и принялись друг за другом налимью мелкоту пригоршнями из лужицы черпать и к реке носить. Зачерпнут — поднимут: у каждого в пригоршне по три-четыре изгибающиеся, выскользнуть торопящиеся рыбки удержатся, — к груди ладони с живым чудом... прижмут, чтобы ни одна из рыбок не потерялась, — и к реке. Собаки бегут вслед за хозяевами, а понять ничего не могут.

Уже в избушке, поздней ночью, Николай проснулся от едкого запаха сигаретного дыма. Сразу спросил:

— Ты чего не спишь?

— Да думаю... — В темноте избушки на секунду показался огонёк — Михаил затянулся.

— Чево думаешь?

— Да всё курю, курю, не могу успокоиться.

— Да вот думаю... — Он снова затянулся и затушил сигарету в консервную банку, которую, похоже, привычно держал левой рукой у груди. — Думаю, лужа от реки далековато. А налим икру зимой мечет. Как он туда попасть смог? ... Конечно, может, река в староречье заходила, и вода там была; а по весне замыло. А может, мальков по большой воде самих туда принесло. Не знаю... Я спать сейчас.

Михаил поставил банку-пепельницу (слышно, как стукнулась), но сразу не лёг, а ещё посидел минут пять так. Потом забрался в свой спальный мешок, поворочался немного и вскоре притих... Николай, странно растревоженный, ждал этого. Он чувствовал, что не уснёт до утра. Почему-то боялся пошевелиться. Лежал на спине с широко открытыми глазами, словно что-то увидел в темноте. Думал.

Последняя пятница перед Пасхой

Рассказ

КРИВУЛИНА, ЗАГОТОВКА на сани, дожидалась Сашку ещё с осени. Он тогда на лыжах с охоты возвращался, увидал берёзу, в комле круто изогнутую, и вырубил. Но когда на плечо взвалил — одумался. Тащи такую! Надо обтесать — легче станет. Да охотничьим топороммалышкой много не натешешь. Вынес кривулину на полянку, в снег кинул, а место запомнил... И вот теперь, уже весной, как только начали открываться поля, а ручьи заговорили громче, отправился на то место.

Снега в лесу ещё много. Но ничего, ничего — где бугром, где по ельнику, вышел на примеченную полянку. Глянул. Точно! Лежит! На солнышке вытаяла, слегка покрасневшим отрубом выказывается.

Подошёл к кривулине. Постоял. И... дальше зашагал. Там, на другом краю полянки, берёза стоит — на топорище замечательная. Надо посмотреть...

До берёзы дошёл, до самой. На взгорушке выросла. В широко оттаявшем вокруг ствола кольце сереет прошлогодняя слежавшаяся трава, высохла уже, — под ногами, как ступил, ломким шёркотом отозвалась. Ладонью берёзы коснулся.

— Стоишь?! Хорошие с тебя, девонька, топорища выйдут, вековечные.

Ворона прилетела. (Откуда и взялась.) Села на берёзу, закаркала.

Запрокинул голову.

— Что?..

...В затылок стукнуло, в глазах помутнело, побелело. За комель берёзы ухватился, щекой к нему прижался. Шершавый. Отдышался. Пошёл потихоньку, как старик совсем, со вздохами. «Какие санки, какая кривулина. Топорища! Дойти хоть...» — «А что ты хочешь? Пост. Последняя пятница перед Пасхой». — «С вечера ничего не ел — конечно. Конечно — не ел ничего с вечера. Совсем я, что ли...»

К кривулине подошёл... «Аахаа. Ну-ну». Достал топор из-за пояса (батя этак носить приучил) — и рубанул. Ещё раз! Ещё!

Уууx!

Легонько прошёлся вдоль по всей кривулине с внешней стороны изгиба — этой стороной полозья новых саней скользить будут. Теперь надо с внутренней стороны. ...С внутренней стороны убирать намного больше. Сначала сделал несколько глубоких, глубже сердцевины, зарубов — чтобы не скололось. Вытер рукавом выступивший на лбу пот и принялся стёсывать. Осторожно выбрал изгиб. «Ладно-то как». Стал полоз намечать. «Как ладно». Топор больно ловко щепу снимает. «Помогают мне!»

— Ой какая! Ой какая! — Саня, оперевшись о топорище, присел перед чистой, древесной белизны кривулиной. Взявшись рукой за её изогнутый конец, поводил осторожно по истоптанному, усыпанному щепками снегу. Потом заулыбался, заулыбался чему-то. Засмеялся тихонько, с неожиданными слезами. Вдруг, затаив дыхание, прислушался...

— Прилетел! Прилетел журавушка. Поздоровался. Впору. Снежок по буграм стаял. ...И тебе тоже здоровья хорошего!

Во весь рост распрямился. Заткнул топор за пояс. Кривулину на плечо закинул. А она вся в снегу. Так что осыпал себя зернистым снегом.

— Пойду уж!

Дома, как высохнет, распустит пилой облаженную кривулину на два полоза, острогает. Потом свяжет две готовые половинки черёмуховыми прутами — вот и будут корневушки-сани.

Иван Курбаков

Родился в полдень 7 марта.
Рос. Посещал Зеленоградскую гимназию. Гулял в лесу, играл в футбол, бил по клавишам.
В результате сложного стечения обстоятельств вынужден был рано покинуть отчие края, и началось время скитаний. Канада, Мексика, княжество Лихтенштейн, Гана... наконец крохотный атолл в Тихом океане, где волею судеб оказался втянут в извержение двух вулканов и падение трёх республик. Затем вспышки озарений, выплескивавшиеся в письмо на бумаге, папирусе, камне, ворде, снеге, бог знает чём одним словом. Пастернак вызывает во мне приливы строгой радости, а Хлебников ленивые симфонии дыхания языка. Когда меня спрашивают, за что я люблю Литературный институт, я отвечаю: за тропические фрукты. Не будь его, могло бы многого не быть. И здесь я намеренно серьезно рефлексирую, потому что время и место.

бумеранг

спина поперек равнины
горизонт и смуглая семья его позвонков
поднимается расправляя смутные ткани скал
матери зажигают ауру неподкупных животных
вокруг того что не имеет отношения к страху
жизнь происходит с упорством волны

солнце закатывается за шиворот
монотонным статуям чьи тени
сходят как пот
пустынный перекресток пустыни
сквозь руины сияния
хлещет великан он любое *действие*
вещи ветра
остаются лежать нетронутыми

Нарцисс: Внутреннее отсутствие

О Нарцисс
Ты спешился и твой серый конь
Медлительно будет ломать мрак и сам станет
досками
Ты ищешь росу своего двойника
А невеста собрала весь мир в дорогу
Ты в тщетном кувшине танца
Принял форму страдания
А на плече существо возвращения
Любуется идеей висков
И радость загадочными братьями
Раскачивается между зря и зря
И не то и не то
Твои брови меж тем
Помнят точную цену бессмертия
И настает монумент внимания
подчеркнуто
Чтобы слышать как
Бьется сердце
Вдребезги самонепознаваемости

стоит скала гуляет зеркало
сидит скала проходит сон
стреляется из ветра зеркало
оно увидело весь сон
а сон был морем дул с небес
качался на качелях лес
вдруг лес сорвался

песнь легких

вчерченные небом в меня отражения
лазурные косточки в центре плодоносящих
взглядов

стеклянная хореография захваченная врасплох
лаконичной пустотой предстаешь брат воздух
высота наклоняется из тебя
и загораживает все вокруг
намагничивай горечь
нечаянно намагничивай эту горечь
рыхлыми знаками проявляется
темперамент температуры
вязы ждут грозовых покашливаний
через тридцать сейчас
она делает дерево маленьким
она делает полдень
тем движением в которое я полупогружен
а оно полупогружено в мечту о целостности

абстрактность точит мою кровь
она превращает меня в лабиринт
внутренних самоатак
у прикосновений свой мел
начерченная им мысль полудня
закроется как тюльпан
на мокрый замок асфальта
и падающий приподнимается
становясь подсолнухом
насмерть стоит лежащий
и бережет со страшной силой
всю волшебную улицу что простерла над ним
многочисленные освобождения

тончайшие произведения вечности
целятся в наши головы

ловушка самопровозглашения
первый подтаявший снег
оброс колесницами беззаботных лучей
и боль моего горла
боль горла моего и всея
есть большая весна
лихорадочное причащение светом всея

птица говорит себе я взлетаю

снег говорит себе я растаю

свет говорит себе я светаю

человек говорит себе я не знаю

полдень рождение солнце сомнамбула
воздух ритм свет параллельное наступление
дня и дня и безадресная симпатия вслед

пение всех всех несостоявшихся птиц

Это ли дождь спрашиваю я себя
Это ли те сумерки что пришли с ним

Не кричите и не качайтесь
Когда начинаешь всего избегать
К тебе в лицо залетает бабочка расторжения
И чиркает спичка исчезновения
А свита поднимает упавшего короля
Но он ничего не может кроме как повторять
«я Отвлекся, я Не Расслышал»

sobeski

очнись кто ты
ты заметишь как ключ не имеет возможности
повернуться
когда вся воля людских совпадений
вошла в сырую голову злого пространства
и стала там жить
сверкая поочередностью
вспыхивает луна!
шорох предельной сосредоточенности
оканчивается на

нелинейное мумифицирование

оборотни ротни
оборотни ротни
рты бора
тур нить
оборотни ротни
оборотнИ

иже наружу
раз
тца лень
шу шу гОры
аз

оборотни ротни
ини корни роб
мЕтни

ко ве до
ве корЫ
ини нортвы зоп
кли рЕмя отни

мА аяюч
ротнибо.

gewitter uber europa

небо словно приговоренный
бормочет грозу как молитву

деревья и птицы берутся за руки

Бог замурован в солнце

и в венках непогоды
юные головы гаснут
в бессмысленную глубину

июль секунд

двенадцать секунд
вода ведет машину
двенадцать секунд
одиннадцать секунд
облака сворачиваются в восточное боевое
искусство
одиннадцать секунд
десять секунд
фосфор серебрянного сечения
десять секунд
девять секунд
старая ошибка прислушайся насколько все
ошибается
девять секунд
восемь секунд
средневековые жуки хотят тебя опрокинуть
восемь секунд
семь секунд
смотри в оба солнечных рта
семь секунд
шесть секунд
испарина смелости на листве
шесть секунд
пять секунд
плохой камень знает тебя наизусть
пять секунд
четыре секунды
ничего не осталось только начало
четыре секунды
три секунды
христос произносит вот мне
и исполнилось 70
три секунды
две секунды
телефонный звонок видимости
две секунды
одна секунда
быстрее астральное многоточие
одна секунда
июль секунд
кто-то выложит из своих костей слово
бессмертие
июль секунд
все значения я втиснул между секундой
до написания и секундой после написания
кроме последнего

Медлительной черной тканью
укрыты дремучие горние звезды

Бесконечность великими листьями
распространяется среди нас

И нам ли

Колодцам

в которые падают

Боги тоски

ее останавливать

Сейчас во вселенной моего шепота
Безумно улыбается древность

Я стою на следах бытия
в ощущениях формы пропасти

Тело увенчанное короной зрения
Мой долгий незабываемый дар

пейзаж вырванный с корнем с последующей
деконструкцией смотрящего на него лица

сухие кувырки предела
самосожжение гор и зим

крупное окончание ночи
развеяно по ветру

корни настигнутого языка что-то оплакивают

смерть знака вопроса
в покинутом доме значений

морю нельзя дальше двигаться.
дальше старшие нематериальные воды

дальше самая одинокая мысль
рожденная вне чего бы то ни было

самый странный облик
который когда-либо принимала природа

человек неуместен.

oculus christi

ровно в полдень у него нет рук
он смотрит со всех чердаков

и его старушечьи взгляды
меньше любого цветка
он бежит и на пыльной дороге
нет уже ни его ни дороги
только рваных веревок немое качание

возвышается слабый флаг
вьется прямоугольное пламя
вьется именно так
как показывают руками

вымершие стада зданий
упрямо стоят на месте
они ничего не знают
они недошедшие вести

когда там были и когда здесь будут

ушедшие от земли поля
устойчивый мальчик никто
гуляет по ним весь рьян
в поиск или в восторг

?

из зовов
ночь смысла
потеет поет густотой
(в ноябре пеликанов —
— образуются не-наше
— не-мы)
как лис краска-красться
лечь лугу
на разомкнутое серебро объема
устами брести над
(предзначение) и оказываться

не покинутым ли в я ли
будь сильнее мест —
— каббала бликов — облако-лов

?

канопус

луч происходит из случая
пока рыб нет
навстречу морю
горькие ветры
роняют мучительных птиц
в знак согласия с экстатическим напряжением
радуг
вор волн моя воля
трехколесная ностальгия развалилась
снесенная шквалом пути
один цветной скелет позднего лета
одна игра в моментальные бубны

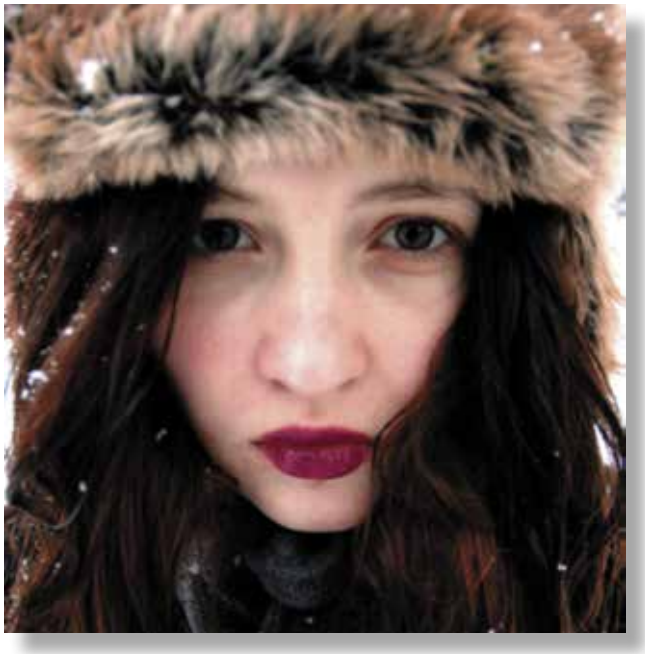
душное звяканье раздается
в пустых панорамах дворов
солнце развязывает узлы тел
прикосновение кратное исчезновению дневных
бед

?

зараза берилл
ливень ли в вене
скорость забытого как
повороты с одной улицы на императорское
уныние
каштаны в глазницах вертятся неизмеримые
выстрелы
яростного безвременья
флегматические тартарары
КАНЕТ КАНЕТ
в старых и радостных лентах
падая замертво на себя самого словно фонтан
как тихо какие колючие узы
дремота исполненная средневековых гримас
ландшафты тянут одеяло небес в разные стороны
орел раскрывает зонт стремительного
благополучия
надо всем что нравится

лассаль скостит и каникул возникнет
Рваная Ариадна
Зацветет ее воздушная истерика
пить смех из ее грудей
виадук =-=- это кто-то идет навстречу
все шапито организма
лампа атака волос
жар это
вальсирующая рана корня\пеленание
вечновечерних лесов во внутреннем
дворике меня
Архитектура схватки
Неё схватки
Нею Схватки
Ее подопечные сегодня гуляют
в тени воскрешающей лихорадки
Я бы повесился на этой улыбке
...месса остатка упрямо
вьется на празднике узника
(тогда мир елозит на втором плане)
кнут Шпиля КАШЕЛЬ?
опоздание знакоравенство
и надкусанное яблоко катится прочь
от замершей сцены
рождество может быть состояло из всех

Инга Шепелёва



Родилась в 1987 г. В Якутии. В семье ученых. Пишет прозу и стихи. Работала внештатным корреспондентом в газете «Якутия». Там же опубликовала свои первые прозаические опыты. В 2004 г. поступила в Литературный институт им. А. М. Горького.

Прозрачная пропасть

Повесть

МАРИКА СИДЕЛА на песке у озера, обжигала ноги зеленой застоявшейся водой, ловила кожей стрекоз. Мама бегала по побережью, звала ее, потеряла к обеду. Сизые рыбы смотрели на маму из воды. Мама собирает волосы в узел, готовит суп. Мама есть, а Марики нет. Искала, искала, не нашла.

Марика лезла по золотому стволу березы, собирала яблоки, пускала по руке муравья. Она играет, зарывает в песок ногти, по ночам целуется с принцем.

— Я тебе не расскажу свою сказку, она слишком страшная, ты не заснешь, ты проснешься от своего крика. Ты убьешь себя рано или поздно. Ты убьешь себя этим. И кто-то лезет на чердак по скрипучей лестнице, с улыбкой заглядывает в форточку. Видна только голова, белые волосы, как у брата Яна, маленький ребенок, брат Ян лезет в форточку и на чердак. Проказник.

Папа мечтал, как всегда, мечтал еще давно стать военным. Так и не стал. А за окном был салют, ревела корова, рядом город, слышно, как там шумят заводы.

Мама волновалась, нашла Марику в траве, спящую, принесла домой. Марика так и не проснулась после этого. Ян дергал ее за волосы, дышал в ухо, тыкал пальцем в живот. Она не орала, не смеялась, не визжала.

Мама, причитая, гоняла по двору куриц, они разбегались в разные стороны, роняли перья.

— Ничего тут не скажешь, дорогой мой. Веселая птичка устает летать быстрее.

Она, наконец, поймала белую курочку и понесла в дом. Бегала по кухне, кудахтала, брызгала перышками, роняла стулья. Папа встал, унес спящую Марику в другую комнату, вернулся с веревкой, связал курице ноги. Мама всхлипнула и увела Яна. Потом пошел дождь. Мама сидела на стуле у подоконника, подперев рукой щеку, и смотрела в окно. Ручейки воды отражались у нее на лице дрожащей тенью.

— Затопит всю картошку, — вздохнула мама.

— Ты молодец, что решился. Ты очень смелый мальчик. Только никогда, никогда больше не уходи за мыс. Там черти живут.

Ян катил по столу игрушечный грузовик.

— Мам..!

Но мама не откликалась. Она все сидела и сидела у подоконника. Положила голову на сложенные руки.

— Мамочка...

Ян гулял по коридору. Тетя Марта несла таз с морковкой, шлепала сандалиями по полу и что есть силы кричала кому-то в открытую дверь:

— Надорвется мать!

Из светлого проема двери вилась цветастая занавеска. Тяжело возвращаться. Дотянись до выключателя, попробуй. Ты еще очень маленький. На ужин ели ту курочку с яблоками. Только и слышно было, как стучали вилки и ножи о фарфор, а из комнаты Марики будто доносилась тихая музыка. Ян не понимал, не связывал нежную кашицу у себя во рту и веселую белую курочку. Он думал, она исчезла, превратилась в облачко.

— Когда Марика проснется?

— А ты не читал сказку про спящую красавицу? Когда превратится в прекрасную девушку и найдется принц, который разбудит ее поцелуем.

— А когда это будет?

— Когда-нибудь... — уклончиво ответил отец и закурил трубку. Лицо у него было, будто он съел лимон.

Ночью Яну все казалось, будто кто-то стучит в окно, он плакал, плакал, пока мама не открыла стеклянные створки и не показала сухую ветку черемухи, бившуюся от ветра.

— Спи теперь, — сказала она и выключила свет.

В темноте все стало темно-фиолетовым или синим, зашевелилось, зашептало. Ян зажмурился и вдавил голову в подушку. Ему все казалось, будто из комнаты сестры льется и льется тихая музыка.

Дождь затянулся, превратился из восторженного душа в сиплую ненужную канитель. Папа, ругаясь, выкатил из-под почерневшего от влаги навеса свой зеленый мотоциклет с коляской и долго курил на крыльце, хмурый, невыспавшийся, ждал, пока мама соберет вещи Яна и напоит его молоком. А потом они долго ехали по дороге вдоль поля, разбрызгивая грязь, между разбухших мокрых сосен, взбивая пеной желтую хвою. Ян ничего не спрашивал, даже не плакал, сидел, вцепившись ручонками в вязаную сумку, в которую мама уложила теплый свитер, смену белья и пирожки в пакете. Папина спина казалась невероятно огромной, будто скала, за ней не было страшно. И мысли, что раньше роились и танцевали у него в голове, теперь тоже затихли, вымокли, посерели. Молчал Ян снаружи, молчал внутри. Только одна мысль пульсировала искристой ленточкой, не в голове даже, а в самом сердце. Как он будет расти, расти, вырастет большим, как папа, найдет самого лучшего принца в мире и приведет в сестринскую комнату. Он прямо видел это перед глазами: плотные оранжевые шторы, зимний свет сквозь них, скрипучий пол, прикроватный беленький коврик, мятая постель, а на ней — Марика, убранная ленточками, тоже большая, спокойная, златовласая в теплом безмятежном сне. И он попросит принца поцеловать ее, а сам выйдет из комнаты, будет стоять у приоткрытой двери, а потом вдруг белый, серебряный свет польется из комнаты, они выйдут под руку, Марика, живая, веселая, возьмет его за руку, и они пойдут втроем за мыс, на теплые камни, поросшие мхом, и будут долго-долго сидеть там, рядышком, и смотреть на сверкающее море.

Только вот бабушка выбежала на крыльцо встречать их почему-то с плачем, не как обычно, ее лицо покрывали соленые дождинки, она понесла его, легко-легко, в самую дальнюю комнату, посадила на кровать, дала машинку и быстро ушла.

Я маленький, маленький, я шпилькой выпал из бабушкиной прически, меня унес рыжий муравей, я заблудился в волшебном саду. Я мальчик, девочка, глиняная дудочка. У меня нет человеческих друзей, таких живых, с веснушками, опасных. Есть собака Найда, солдатик без ноги, деревянный меч и мамино сито вместо щита. Берегись, враг!

Я сегодня не я, не Ян, стою в вихре песка посреди двора, и плащ мой бьется от ветра.

Я большой, большой, я пресвященный. Я пророк Исайя.

Ян прикрыл рукой левый глаз и посмотрел на солнце, внезапно вспыхнувшее прожектором из черной тучи. Все вокруг теперь сверкало в этом солнце, рябило глаза дождевыми слезами.

— Ты плачешь? Ты не плачь. Я тебе найду твое спасенье, нужно только подождать. Тебе легко ждать, тепло, сухо. Ты только спишь и все. А я расту и буду расти, расти, сквозь облака, выше гор, сосен, папы. И буду драться со львом, приручать орла.

Папа громко хлопал мотоциклом, дрыгал ногой и ругался. Он решил оставить Яна бабушке.

— Навсегда? — Ян смотрел на папу и ему опять казалось, будто папина голова терялась внутри неба.

— Ну нет, конечно.

— А Марика? Пап! А Марика?

— Слушайся бабушку, она очень, очень старая. Ужасно старая у тебя бабушка.

— А почему ты не взял Марику? Я бы играл с ней здесь, даже со спящей. Слышишь, а?

Но папа еще раз дрыгнул ногой и рванул по дороге, обдав Яна удушливым дымом.

— Папа! Ну подожди! Подожди!

Ян бежал за ним долго-долго, изо всех сил стараясь перекричать шум мотора, все спрашивал про Марику. Но папа на своем мотоцикле быстро обогнал его и вскоре превратился в маленькое дымное пятнышко на горизонте. Ян остановился, провел загорелым запястьем по высохшим губам и вспомнил вдруг, что он ребенок, что ему можно вдруг заплакать. Тер кулаками глаза до боли, до мурашек, вспышек, звезд, нитяных салютов.

Высоко подхватив юбки, к нему медленно бежала бабушка.

— Она ужасно старая, а может меня поднять и нести. Значит, я не вырос, я легкий и маленький. Даже для бабушки я не тяжелее чайника.

— Бабушка, я не тяжелый?

— Легче перышка.

— Какой ужас...

Бабушка умела хохотать лучше всех в мире. Она не издавала при этом никаких звуков, только тряслась всем телом, и многочисленные стеклянные бусы на ее полной шее трещали и звенели на разные лады.

Сейчас бабушка тоже смеялась, она даже поставила Яна обратно на землю, чтобы он не мешал. Она смеялась, а потом вдруг заплакала, так горько, навзрыд, и лицо у нее тоже стало такое, будто бы она съела лимон.

— Сиротка ты моя, не понимаешь ничего, цыпленок, ой-ой-ой, — причитала бабушка, прижав голову Яна к своему ситцевому животу.

Нарисовала тебе во сне кентавра в бабушкиных бусах. С твоими совсем кудряшками, улыбкой до ушей. Милый брат, скажи, не улетели ли скворцы с нашего дерева? Мне ужасно интересно.

Пришла к тебе в сон герцогиней, облаком.

Бабушка стояла на крыльце, обнимала сухой рукой собаку Найду за мохнатую шею и заглядывала за луну, сквозь зубчатый лесной горизонт. По щекам у нее опять катились густые, прозрачные слезы.

Там, за луной, на другой стороне неба танцевала ее внучка, юркая, тоненькая Марика, наряженная, как цыганка. Хохотала, двигала животиком, трясла юбками, выкрикивала «оп! оп!», запрокидывала голову, выставив острый подбородок.

А бабушка смотрела на нее, в солнечном луче, в дымке воспоминания, и все сильней сжимала пальцами мягкую собачью шерсть. Найда тяжело дышала, дрыгала хвостом.

Было жарко, Ян скинул одеяло. Не вспоминал ни маму, ни папу, не спал, не мечтал. Просто лежал на большой кровати, вытянув руки и ноги, светился в темноте фосфором молодой, эластичной кожи.

— Сколько можно ждать, это невыносимо, невыносимо долго. Ждать, ждать. Ты лежишь где-то в далеком гнезде, за лесом, за полем, тяжело дышишь или не дышишь вовсе. Тебя нашла огромная серая птица, подняла выше солнца, напоила своим молоком. Это невозможно почувствовать, тебя невозможно почувствовать.

Зачем ты тогда вообще существуешь, если перестала жить, двигаться? Почему ты не исчезнешь отовсюду, из моей головы, не растворишься облачком?

Герцогиня, сестра, бабочка.

Я вырасту, вырасту. Я сделаю все как нужно.

Ян вспомнил мамины слова. Когда чего-то очень-очень хочешь, нужно молиться Богу. Она так часто говорила это, что Ян запомнил. Бог, Бог. Перечеловек. Если никто не может помочь, даже время, даже мама, никто не делает его сильным, умным, большим, значит, нужно просить Бога.

Ян встал с кровати и тихо-тихо пошел по темному дому, не касаясь скрипучего пола, не открывая тяжелых дверей, парил, как привидение, как звук, как солнечный зайчик. На бабушкиной кровати никого не лежало, только кот ходил кругами по теплому ковру и глухо стучали часы.

— Ты чего гуляешь? — спросил вдруг из-за спины бабушкин голос. Ян было испугался, вжал голову в плечи, вспомнились ее звонкие затрещины. Но бабушка даже не ругала его. Только вздохнула и сгребла его в охапку, в складки огромной ночной рубашки.

Редко бывает так, что взрослые делают как надо.

— Бабушка, а как молиться? — глухо спросил Ян.

Но она молчала только, всхлипывала, теребила его кудряшки привыкшими ко всему смуглыми пальцами.

— Просто проси, и все. Как хочешь, как получается.

— А услышит?
— Услышит.
— Даже если шепотом?

На утро Ян решил, что станет папой. Он скрутил травинку, сунул в зубы и, степенно попыхивая, вывел из сарайчика свой красный трехколесный велосипед, посадил в корзинку перед рулем деревянного солдатика и покатил по дороге, разговаривая то писклявым голосом за солдатика, то папиным, настоящим.

— А куда мы едем? — спрашивал солдатик.
— Искать принца, — отвечал папа.
— Где мы будем его искать?

Ян не знал, что ответить, наверное, во ржи, там, между стогов.. Или за озером, в озере, в зеленой воде, на верхушках сосен.. В клюве ли у птицы?

— Дорогой Бог, я прошу тебя сделать меня взрослым, высоким, даже великаном, чтобы перерасти это поле и с высоты увидеть принца. Наверное, он спит в каком-нибудь стогу и, вероятно, тоже маленький, потому что я не могу его отыскать. Тогда сделай, пожалуйста, заодно большим и его, ведь двум великанам легче встретиться в поле, чем двум муравьям, — задыхаясь, кричал Ян, быстро-быстро крутя педали велосипеда. Солдатик в корзинке подпрыгивал, деревянно стуча, но Ян забыл про солдатика. Ветер свистел у него в ушах, он не слышал того, что кричал, все тонуло в этом ветре и волнах ржи и деревьев. В лицо летел песок, какие-то мертвые букашки.

— Чем быстрее я буду ехать, тем быстрее я доберусь до цели, — думал Ян, хотя цель ему не представлялась материальной, была такой абстрактной, принц этот — чей-то дымчатый силуэт.

В конце концов, его вынудил остановиться гвоздь на дороге. Проткнул шину, и ни туда ни сюда. Ян сел рядом, сунул в зубы новую травинку и задумался. Ветер будто отыскивал что-то в траве, какую-то жемчужину, взбивал облака, как подушки, чернил облака, как холсты. Будто все поле, весь мир скакал за Яном следом и теперь не смог остановиться.

— Ураган, — сказал Ян.
— Я боюсь! — пропищал солдатик.
— Тебя не сдует, я привяжу тебя!

Он вытащил шнурок из ботинка и привязал солдатика к животу. Потом попробовал надуть шину или вовсе обойтись без нее. Плюнул, как папа, выругался каким-то дрянным словом, зажал рот ладошкой, хихикнул и ринулся в колышущееся покрывало ржи, как в воронку. Из-под подошв со стрекотом разлетались кузнечики, тыкались в грудь испуганные медведки, слепили красными брюшками и громко жужжа, зигзагами, улетали ввысь, под мокрые тугие облака, в косой солнечный луч.

Идти было сложно, не видно куда. Ян путался, спотыкался, задирал голову, но кроме неба ничего не видел.

— Я не уходил за мыс. Только за мысом страшно. А я не за мысом, я вообще в другой стороне.

— И к тому же не ночь, — добавил солдатик.

— Да, днем не страшно. Страшно ночью, страшно на мысе, страшно на высоком дереве.

— Марике страшно?

— Не говори глупостей! Ей не может быть страшно, она, где дом, где мама. Лежит, и все.

— Ты раньше говорил, что ее унесла птица.

— Не говорил!

— Говорил! Она умерла, вот и все! Умерла сама, а тебя обманула! — закричал солдатик.

— Замолчи, замолчи! — Ян силой отвязал его и швырнул на землю. — Пусть тебя унесет ветром в ущелье! Пусть тебя съедят мыши!

— Ты даже не знаешь, что такое умереть! Ты глупый, глупый маленький ребенок!

Из глаз Яна хлынули слезы, злые-презлые, и он, что есть силы, ударил по солдатику ботинком, разбил его в щепки, в клочки.

— Большой! Я большой! Большо-о-ой! — кричал Ян, топал ногами, катался в пыли. В волосы ему набилась солома и внезапный приступ тоски, небывалой раньше, бесконечной, как поле, вдруг навалился, силой прижал к земле, готовый тоже ударить его ботинком, разбить в щепки. Ян лежал, уткнувшись лицом в землю, и молчал. По спине ему ездил холодными утюгами ветер, а в ушах звенел, звенел сестрин голос и ее быстрее мелкие шажки и шуршание ее тонкого платья.

— Ты как жучок, не найти тебя! — она тронула Яна за спину, подняла его голову легкими ладошками. И он увидел ее лицо, узорчатые тени от травы на прозрачной коже, веснушки, маленькие темные ноздри, смеющийся рот. Ветер лез в глаза сухой травой. Ян зажмурился.

— Эй! Смотри! — Марика достала из кармашка мамины темные очки. — Смотри, я — стрекоза! Шр-шр-шр!

Она нацепила очки на нос и закружилась, затанцевала вокруг.

— Ты что, проснулась?

— Нет. Просто перенеслась вдруг к тебе. Я прилетела. Я же стрекоза.

— Много прошло дней?

— Сотни, сотни. Ты уже умеешь считать?

— Умею. Сотни — это много.

Марика сняла очки и уселась рядом.

— Ты поумнел. Ты вырос.

— Вырос? Правда? — обрадовался Ян.

— Совершенно правда. Стал, как дом!

Ян вскочил на ноги и тоже вдруг закружился, затанцевал вокруг нее, размахивая руками.

— Я искал тебе принца, чтобы расколдовать тебя. Папа сказал — ты стала спящей красавицей, на тебе чары и только я смогу их развеять! — кричал Ян. Марика смеялась.

— Красавица! Красавица! — кричала Марика.

— Папа сказал! Папа сказал! — кричал Ян.

Они кружились в золотой воронке, держась за руки, и кричали, кричали, а солнечный луч все не закрывали темные, тяжелые тучи, он будто окаменел, он всегда будет светить только на них, двоих.

Кажется, Ян спал. Или умер на секундочку. У него закружилась голова, он упал в мягкое, закрыл глаза. А когда открыл — никого-никого вокруг не было, ни очков, ни криков, ни солнечного луча. На лицо летели огромные бесформенные капли дождя, разбивались о кожу на сотни маленьких брызг и навсегда исчезали вокруг. Только разбитый солдатик и коричневый шнурок от ботинка, расплющенный на земле мокрым червячком.

Ян встал, отряхнулся и побрел куда-то наискосок.

Очень медленно, как-то даже коричнево, Ян любил представлять временные отрезки в цвете, тянулось лето. Кто-то может подумает, что он не радовался совсем, только тосковал о том времени, когда не был один в своем детстве на протяжении сотен километров, в окружении смуглых, громких взрослых и бескрайних полей, лесов с одной стороны и моря с другой. Он радовался, радовался всему, как это присуще детям. Рассекал ржаные волны на фанерных лайнерах, героически дрался с нематериальными врагами, пел с бабушкой тягучие старинные песни своим тонким высоким голосом. Но только по вечерам, когда в узкую щелочку между полом и дверью пробивалась желтая полоска света, а все вокруг было фиолетовым, синим, лазурным, он лежал без сна, в бреду, жару фантазий, прорубал светящимся лучом время, тянул его за хвост, как неведомое чудище, как невиданную кинопленку, мотал взад и вперед мгновения и сонно улыбался. Только по ночам, в снах, он по-детски неосознанно признавался в своей первой и единственной любви Марике, которая исчезла из любой жизни на этой земле, кроме его, Яна, жизни. Она иногда приходила, каким-то волшебством просачивалась сквозь тоненькую полосочку света между полом и дверью и бесшумно танцевала на крашенном полу. А Ян смотрел, приподнявшись на локте, и тихонько подпевал или отбивал ритм ладонью по спинке кровати. Держал ее ладонь в своей, маленькой, потной ладошке, и обещал разбудить ее, снять неведомые чары. И никому-никому не говорил об этом.

Но однажды, когда Ян лежал под большим деревом, раскинув руки и ноги и часто-часто дышал после марафона, соревнования с самим собой, когда он бежал многие мили просто ради бега, а потом бросался на траву и долго-долго дышал, наслаждался покоем тела и небом над головой. Однажды, когда Ян лежал и смотрел, как сквозь зеленую крону дерева сочится солнечный свет, он увидел, как откуда-то сверху медленно летит желтый лист, крутится волчком в порыве ветра и наконец ложится на его грудь. Ян взял лист в руки и положил на свой левый глаз. И весь мир вдруг оказался желтым, словно накрытым папиросной бумагой, с тонкими прожилками и крапинками зеленого.

— Осень, — сказал Ян.

В этот же день бабушка нарядилась в широкое красное платье, взяла Яна за руку и повела.

— Куда мы идем?

— Ты знаешь, приходит осень, а что это значит?

— Что это значит?

— Это значит, мой милый, что тебе пора в школу.

— Ой! — об этом Ян не подумал. Он начал было всхлипывать, но потом решил, что это не нужно. — Мы сейчас идем в школу?

— О, нет, пока рановато, — бабушка рассмеялась, — мы идем купить тебе красивый ранец и тетради.

— Хорошо, — Ян привык со всем соглашаться. Он ничего не имел против красивого ранца и тетрадей.

Он навсегда запомнил эту белую девочку с заснеженной косой, заткнутой за поясок платья. Девочка была с мамой, Ян сразу подумал, что эта мама сама ее слепила прошлой зимой из свежего снега. Он зажмурил глаза и поклялся, что никогда больше не будет смотреть на эту девочку, чтобы она не растаяла. Или чтобы не раста-

ял он сам. Такой поддающийся красоте, он стоял рядом с бабушкой во дворе школы, большой, темно-синей. И крыша ее терялась в облаках. А рядом бегали непокорные вихрастые мальчики, и цветы у них в руках поломались, разливая по кулачкам зеленое молоко. И родители будто этого не замечали. Все их мамы были почти одинаковые, от всех пахло пудрой, увядшим летом, потом, жарой, а руки, плохо отмытые от земли, шебуршали листками. Все их папы курили и ждали, когда можно будет наконец отойти в тень.

Только одна эта девочка была непохожей на всех. Ее ничто не волновало, не беспокоило. И голова ее от тяжести длиннющей косы была чуть наклонена вбок.

И Ян, пропуская мимо ушей наставления бабушки, первое слово учителей и директора, думал про нее так сильно, что заболела голова. Он назвал ее Анитой, больше никакое имя ей не подходило, только это, меховое, как подснежник, имя, и, наверное, они подружились бы с Марикой и сидели бы рядом, обе такие красивые, ах, если бы она тоже была бы его сестрой, тогда и тоска, может быть, не так била его по сердцу, тогда тоска не была бы сообщницей одиночества, а была бы просто тоской. Светлой грустью, ломкой соломинкой.

Он не заметил, как вместе со стайкой ребят вошел в полукруглый класс и конечно же не услышал, как учительница сказала бабушке в дверях:

— Мне жаль, но ему будет тяжело в коллективе.

Но бабушка только презрительно повела своей молодой бровью:

— Не думаю.

Ян не плакал, когда его заставили расстаться с бабушкой, как другие дети, особенно девочки, и бабушку это успокоило. Она медленно пошла к остановке, вспоминая, как вела в эту же школу за руку маленькую Марику, и почему-то больнее всего вспоминался ровный пробор и гладкие, как поверхность фортепиано, волосы.

Начались уроки, и Ян впервые услышал шум автомобилей на пыльной дороге прямо под окном, впервые столкнулся так близко со сворой по сути чужих и враждебно настроенных детей. Когда-то давно-давно ему в память врезалась фраза, сказанная кем-то из взрослых:

— Дети жестоки.

И сейчас он ждал этой жестокости, ее воплощения, ее дыхания, двигался по школьным коридорам плавно и медленно, как охотник, или, скорее, как лисица, понимавшая, что где-то рядом опасность. И еще интереснее, чем то, что говорила учительница, было выражение ее лица, хаотично двигавшийся большой, неровно накрашенный рот, и след помады на белой кружке, оставленный ею, и муха, ползавшая по еще чуть влажному ободку фарфора. Иногда время будто застывало на месте, и мальчик, замахнувшись, медленно что-то кидал, комок намокшей бумаги, и он летел, летел, летел, и смех, сливаясь, превращался в рев, а Ян не понимал, зачем нужны слова и действия, если можно прекрасно обойтись созерцанием и при желании находить во всем что-то, достойное улыбки или слез. И в шею его больно ударялась бумажная пуля, и он представлял, что умер и что Анита с красным крестиком на груди бежит к нему и кричит:

— Генерал! Генерал!

А потом была тишина, лесной дождь, перепалка птиц, и снова голубой школьный автобус ехал в сторону города, а он сидел на заднем сиденье, приплюснув нос к стеклу, и думал, что это будет длиться вечно и вечно.

И домой, к маме и папе, не пускали, да еще по вечерам нужно было учить уроки, под неусыпным надзором бабушки выводить в тетрадке буквы, читать вслух, зачем-то перебирать счетные палочки из матовой пластмассы, сидеть за большим дедовским столом под лампой с красным абажуром и, когда бабушка уходила куда-то, упиваться заоконьем, где в сумерках дождем бродит осень и Найда бегает по размокшему двору и лает, лает, лает...

Не пускали к маме, не пускали гулять на улицу из-за холода, и оставалось только разглядывать стены, протыкая обои в промежутках между бревнами, или так, для виду елозить деревянным грузовиком по ковру, поджав голые коленки, и думать обо всем, что переменилось и меняется еще с неумолимой быстротой. И про тоску, что невидимым червячком грызла грудь, про тикающие в темноте часы, про ушедшее жаркое лето и про солдатика, лучшего друга, которого так ужасно предали на поле битвы...

И уже в кровати, в полусне, в ритм со стрелками часов маршировали по кругу ребята из школы, учителя и дворники, прохожие, собаки, а в центре этого круга стояла Анита, Звездоглазка, почему-то с горящей спичкой в руке и считала:

«One, doux, troix, quatre, cinq....» Он засыпал, путая свой пульс с пульсом часов, и боялся, что эта длинная мокрая осень так и будет тянуться всю жизнь.

В темном переулке, где, наверное, сейчас дрожит собачка, туда я приду и увижу тебя, в

мечтах моих. Собачку взять бабушка не разрешит — у нас уже есть одна, и эта, ненужная, умрет от осени, от дождя. И на это снова моя вина. А про тебя бабушка не узнает, ты по моему желанию превратишься в звездочку, заглянешь в окно, когда я буду засыпать.

Я стою в темном переулке, от ранца в драке оторвалась лямка, он волочится по земле. Я стою на земле, земля покрыта инеем, кажется, я тоже весь замерз. Если бы ты могла только утешить меня. Ох, эта школа, эти злые мальчики, у всех в глазах иголки, в ладонях тяжелые медяки, а у меня синяки. Я слишком мягок, чтобы жить, Марика. Мне, наверное, суждено умереть здесь. Твоя ли в этом вина?

И ты сейчас придешь сюда, выйдешь из арки, ты, а не свора мальчишек, даже не свора собак, не стая птиц из верхних окон. Куда они летят? Улететь бы с ними. Пересчитывает мне ребрышки. Школа — это пережить ад. А я маленький, летний ребенок. Летний, и больше никакой.

И никому не рассказать, кроме тебя, я не хочу. Бабушка сразу побежит к директору, а потом мне вообще смерть. А папа говорит — надо становиться мужчиной. А мама плачет, она вообще теперь мало говорит. Так внезапно стало плохо, ты же знаешь, я не люблю чужих лиц, чужих запахов. Слишком много тяжелого, большого и все это как будто мне на пользу.

И ты не придешь ко мне больше в легком платье, хотя было бы здорово смотреть, как ты дрожишь, и по твоей коже бегут мурашки. Знаешь, я хожу по школе, заглядываю в лица, особенно мальчикам из старших классов. Кто из них мог бы быть твоим принцем, таким великодушным? И вот еще, я придумал, я не хочу, чтобы этот принц держал тебя за руку. Один поцелуй еще можно стерпеть, а за руку — нет. Никто не посмеет. Надо найти того, кто бы все понял, поцеловал бы тебя и сразу исчез навсегда. Я хочу потом быть с тобой один, гулять в вечном лете.

И вот однажды, наверное, Бог увидел Яна, как он шел из школы, увидел маленькой точкой, на краю земли, на краю дороги, Бог услышал его шаги по размякшей, разваливающейся почве, шелест желтых камышей с отсыревшими до черноты листьями и его полушепот-полукрик, и чье-то имя, и песни. Он увидел, услышал и послал ему сверху, наверное, знак или просто решил, что пора.

Ян шел, заплетаясь в собственных ногах, отбивая шаги по карману куртки, уставившись в какую-то аж синюю от влаги землю. И тут будто бы невидимый, огромный палец стукнул его по подбородку, заставив резко и высоко задрать голову в небо. Оттуда комьями, шарами, блюдцами, сладкой ватой, лебяжьим пухом летел снег. Тонны снега. Все вдруг сузилось, сжалось, все можно было окинуть взглядом, все облилось молоком, все превратилось в сказку, в перламутровую шкатулку с песнями. И Ян подпрыгнул, закричал и пустился бегом что есть силы, понесся стрелой в эту манну небесную. Ян, а не Кай, Ян был зацелован внезапной зимой до изнеможения, изнежен до полусмерти, так, что перестал говорить на несколько дней, так, что заболел и долго лежал в большой бабушкиной кровати, укрытый до подбородка с распахнутыми восторженными глазами. Лежал, молчал и улыбался.

За стенами натянутыми резинками трепыхались птицы, кружились — белое по белому небу, и ничего не менялось, Ян жил как в стакане молока это время, белые окна, двери, белая постель, измятая, заерзанная горячим тельцем, какая-то безвкусная еда, капли в уголках рта, застрявшие между зубами апельсиновые волокна, бесчувственный шершавый язык, белые тетрадки, полоски света сквозь решетчатые ставни, бабушка с ружьем, в старой лохматой безрукавке, гоняла ворон в саду, кружились стрелки. Когда кто-то заходил в его комнату, папа или мама, скрипел пол, и Ян не рад был гостям, пленник одиночества, он купался в тишине и снежной, тающей неге болезни. От мамы пахло холодом и одновременно печью, посудой и теперь чем-то новым, она все чаще улыбалась, приносила ему книжки из дома, забытых солдатиков, но уже других, уже всех с двумя ногами, уже не родных, не приятных. Ян благодарно улыбался и скидывал все подальше, в коробку, под кровать, чтобы не видеть того, что прежде было им, его домом.

А у меня нет теперь дома, нет приюта. Я сам околдовал себя своими мыслями. Врач сказал, что я обезвожен. Я обезвожен и обездолен. В меня ничего не лезет, но как я легок, как воздушен. Мне кажется, вот-вот взлечу в небо, и кровать, как каравелла, вслед за мной, и одеяло раздуется пузырем и снег набьется в рот и глаза, и станет так спасительно холодно, тихо, светло, белым-бело.

Иногда как иголкой — в память вкалывалось что-то безбожно яркое — шмель, шершавое животное на маковом цветке, бьющее откуда-то солнце, золотая пыль в сарае, зеленые бутыли с

водой, в которой плавают навсегда насекомые, паутинка под крышей деревянного туалета, круглая, как лупа, почти стеклянная, совершенная, поле, вот его дом, поле без края и конца, море, мыс, фиолетовые цветочки на камнях, ветер — суховей, засуха, трещинки, старуха — нищенка, вся в пыли у крыльца магазина, тающее в кулаке мороженное, липкие пальцы, велосипед.

Но он мотал головой, зажмурившись, нет, теперь лето отодвинуто, забыто, теперь он целиком зимний, зимний, белый, легкий, больной простудой, гибкий, изнеженный, делает в постели мостик, выставив вперед тонкие ребрышки.

Теперь он просмотрел, как кино, сотни вьюг и метелей подряд, заснул и проснулся большое количество раз. Теперь он стоит на пригорке, закутанный во что-то теплое, и смотрит на ранний лес под еще сумрачным, утренним небом и думает, что прекрасней, нежнее этого снега нет в мире, ничьи руки не сравнятся с этим снегом теплотой, ничья кожа, ничье дыхание. Он завидует всему, что видит.

Нет, я не такой прекрасный, как эти холмы, как деревья, как убитая горем трава и беспомощное невидное солнце. Я хуже этой всей природы, потому что я человек и не могу блестеть, опадать, зеленеть, сгибаться под тяжестью ветра. Я человек и чувствую холод, когда меня жмет к земле ветер, когда на мое лицо падает снег, я чувствую боль от ледяных ласк. Мне бы дома, теплого очага. Я слаб в своих желаниях, но влюблен в это все и хочу подражать. Шептать, шелестеть, искриться. Распадаться сотнями, тысячами под сиреневым небом, источать запах, такой, что не выразить. Унести свою Звездоглазку холодной ветвью ввысь, раскачать на своей кроне, не дать упасть.

Но неудобна шуба, обездвиживает, не залезть даже на дерево. Ходит кругами, по пояс в снегу, не знает, куда смотреть, чего хотеть, о чем думать. Пока не позовет бабушка, пока не станет достаточно времени, когда остальные дети выйдут гулять, ходить стороной, смотреть искоса, хихикать в варежки. Нужно скорее уйти, чтобы не испытать этого. Спрятаться за бабушкой, у теплой плиты, ждать обеда, разговаривать с котом, с книгой, с потолком, ходить из угла в угол, слушать радио, ждать у окна.

И вдруг посреди зимы, как чудо, серебряная лошадка, и болезнь, переросшая в каникулы, и узелок с вещами. Бабушка вместе с крыльцом и всем воспоминанием прошедшего здесь удаляется, мельчает...

Каникулы, и в мамины руки.

В тот же день, когда приехали, бросилась в глаза чистотой и порядком давно забытая комната и сестрина дверь пролетала, зажмурившись, — пятном.

В тот же день, едва только приоткрыл крышку чердака, чтобы вспомнить давнюю шалость — свеситься вниз головою из слухового окна маме в кухню и заухать по-совиному.

В тот же день, едва приоткрыв крышку чердака, — вдруг обожгла, бросилась прямо в лицо большая, даже огромная, слепящая лимонница. Заставила крикнуть, вжаться, спрыгнуть — не пустила. Ян больше не подходил потом к чердаку, это было как заклятье, бабочка — хозяйка, пережившая зимнюю чуму, одинокая, королева. Бабочка-сестра как будто. Ян опять никому ничего не сказал.

В доме стало так интересно, отчего? Оттого, что дом — это его внутренность, это дом родился и живет в нем, а не он — Ян — в доме. Артерия плывет, несет на себе маму и кресла, и лампу, и ковер. Был мир внешен, большен, а теперь Ян разросся, вместил, осознал.

И потянулось. Жемчужный дымок, даль — бегом — приближающаяся, и на белом — белый аэроплан. Снежный человек — взлетающий — птичий человек.

А потом что-то столкнуло с дерева вниз, выпотрошило крылья, впечатало в снег. Ян жевал твердое, глотал снежную воду и был уверен, что это серебро сейчас льется по его горлу, ярче, чем ртуть, талое, теплое. Плавленые звезды — тающий в руках снег.

И жужжащий горизонт, безбрежное озеро, синий двор.

Тетя Марта скользит в валенках по коридору, тянет за собой твердые инеем мешки, то кричит, то ноет, то поет, как молитву

— Надорве-е-ется ма-а-ать.... Ма-а-а-а... а-а-а...

Сын у тети Марты сбежал, а внуки остались — тройняшки.

Я слышал, есть такая — Австралия. Ты ли это? Ты ли страна? Австралия, Голландия, ты ли — Аргентина?

— Не надо кукурузных полей! Там будут исчезать дети, теряться там, гаснуть!

Ян помнил сад, красно-зеленые пятна листьев, шмеля, охранявшего виноград. Он стоял в

снегу, в толпе взрослых, вокруг собственной матери, кричавшей, и все корил себя и этот дурацкий пришедший в голову сад. Ее уводили, уговаривали, грозили ей непонятным домом, а она, вытоптавшая поле, все твердила про этих детей, надавив указательными пальцами на виски.

Поля хотели засеять кукурузой, по весне, а к осени она уже бы заполонилась, ростом ставшая выше третьеклассника, она бы манила к себе, в свои желтые чащи и заблуждала бы тех, кто меньше, чем ее стебель — детей. И маме это было больнее всех, Ян знал, вот дочь спит в своих мечтах, а сын, вот незадача, утирает ей морозные слезы, а сам думает про сад и застрявшую в его воротах птицу.

Наконец тетя Марта уводит маму за плечи, машет на всех ладонью и все расступаются, и Ян, оставшийся в поле, видит, как горит резиновое колесо, тая кругом снег в желтой траве, и как женщины, все соседки, качают головами, как под скачущий шелест их слов бежит где-то вдали точка собаки и появляется в молочных сумерках месяц.

Вечером он возвращается по темнеющей тропинке и на веранде, прижавшись к стеклам, тихо плачет, обняв ситцевый солнечный зонтик с паутиной на спице, — за него, за маму, за ушедшее лето и за то прекрасное прошлое, которое больно вспоминать, до того там все в солнце, в ветре и до чего здесь, сейчас томительно и отчужденно. Он дотягивается до черной кнопки выключателя, и под потолком вспыхивает лампочка и тут же — с хлопком, обдав его хрустальным градом, — гаснет.

У Яна мерзлые пальцы, они с трудом сгибаются, считая — лето с середины, осень, зима до середины, и он вырос до выключателя, он дорос до света, сам не заметил, ждал и не заметил.

Значит, к следующему лету он перерастет свет, значит, оно будет — блестящее, зашевелится, и заживется в нем.

Ян улыбался, и с ресниц у него сыпалась стеклянная крошка.

— Я был плохим ребенком, я забывал Иисуса, приравнивая себя ему. Я был плохим ребенком, я не чтил Господа нашего, не отдавал ему свою душу, был полон ненужной жаждой приключений, я был отвратительным ребенком.

И Господь стал ненавидеть меня, заполонил меня, отнял возможность нормальной жизни, силой приручил к себе.

Теперь я проповедую другим людям. Я праведник, я идеальнейший из людей, я достоин подражания. А я все, потому что я был отвратительным ребенком, Ян.

Дядя Марк, мамин брат, лукаво усмехнулся, он ждал реакции от Яна, и Ян вопросительно, как только смог, вопросительно взглянул на дядю Марка.

— Ты хочешь спросить, к чему я это все? А к тому, что для тебя, мальчик мой, еще не все потеряно. А теперь беги, беги к своим насущным играм и не забывай, что они происходят под святым животворящим воздухом. А воздух — есть дыхание небесное.

Ян сорвался с места и умчался что есть силы в распахнувшуюся дверь, как был, без пальто, упал в снег и засмеялся.

Сидя в снегу, он видел в окно, как мама подает дяде чаю, как папа долго счищает щеткой снег с куртки, потом с сапог, не замечая его, проходит мимо, папа ненавидит религию и все, что с ней связано. Поэтому ему следует опасаться общения с дядей, потому что папа, если что, за себя не отвечает.

Ян мерзнет, но не заходит домой, идет в другую сторону, в сторону моря, там холоднее в миллион раз, а ему как назло так хочется рассказать морю об этом смешном происшествии, может быть даже не ему как таковому, а Марике в лице моря. Выбирать не приходится.

Мама говорила, что море не замерзает от своих слез, солью разъедает снег и лед и переливается жидкой жемчужиной даже в самый лютый мороз. Но в эту зиму прибрежная полоса, там где летом швартуют лодки и катера, покрылась тонкой корочкой льда. Ян подошел совсем близко, ему не разрешалось, но сейчас его никто не видит. Он сел на корточки и, поглаживая лед ладошкой, тихонько спросил:

— Ты потеряла слезы, да? Если ты не плачешь, то тебе не грустно, а если не грустно, то весело. Я рад, что тебе весело. Честное слово.

Холодный ветер мог выдуть из Яна душу, высвистать сердце. Еще минута, и глаза у него выцветут, еще минута. Ян побежал обратно по узенькой заледенелой тропинке и на холме, откуда был виден дом, совсем недалеко, упал. Упал и засмеялся.

Вдруг окружающая жизнь нахлынула на него серебряным потоком. Всем своим счастьем, неосознанным, минутным. Ян сидел в снегу, раскинув ноги, даже без сапог. Один носок почти сполз и болтался заснеженной тряпочкой, а Ян улыбался, глядя с холма на свой дом, на внутреннюю золотистость комнат сквозь его стены, на бесконечный горизонт вокруг. И там,

в квадрате окна, сияющего изнутри, он представлял мамин высокий профиль, подернутые шалью плечи, и мама смеялась, он чувствовал сквозь пространство волну радости, был весь охвачен ею.

— Мама забыла. Она снова становится прежней, — прошептал Ян и посмотрел на верхние окна, на свое, в котором лучился свет, небольшой, из коридора, через открытую дверь, а потом на окно Марики, совершенно черное, отражающее фонарь.

— Вот она спит там, и никто не знает, что ее душа есть внутри, бедная моя невидимка... Свет подтверждает наличие душ за стенами — живых, настоящих. Почему они не позаботились об этом? Это же так просто — зажечь свет, чтобы теплилось, грело, чтобы мама излучала радость, как сейчас. Это же так просто.

Ян поднялся на ноги и, убыстряемый идеей, быстро сбежал с холма. Потоптался у двери, выкинул на крыльцо свой снежный наряд и неслышно, как котенок, проник в дом, полный парадного, яркого спокойствия. У двери он еще раз отряхнулся быстрым движением головы и плеч, не задумываясь, инстинктивно, как отряхиваются животные, выпрыгнув на берег из воды. Ян был сейчас приближен к инстинктам, ведь никто его не видел, он был сам с собой — снежный, босой и неслышный. Он оглянулся по сторонам и молниеносно промелькнул мимо распахнутой горящим квадратным желтком двери гостиной, где слышен был дядя, отрывок его речи:

— Бог, про которого все везде говорят в любом лице...

Но Ян не дослушал, он уже бежал вверх по лестнице, забывшись, оглушительно топая, цепляясь вытянутыми руками за перила. И только наверху он сквозь свое двигательное дыханье услышал:

— У вашего мальчика этих сил теперь за двоих.

Ян и правда чувствовал все это время, как ему казалось, что-то новое в себе. Как цветок, вырастающий у него из пяток, вот он почти распустился в голове и ответвления его в сердце и листья его в руках. Он улыбнулся и побежал к себе в комнату, долго искал что-то в темноте, открывая шкафы, судорожно выдвигая грохочущие ящики, но ничего не нашел и опять понесся по лестнице, но уже вниз. Вильнув мимо распахнутой огнем двери гостиной, он быстро свернул в темную кухню, встал на цыпочки, с трудом откинул крючок на двери в чулан, влез даже на стул, но не смог дотянуться до нужной полки. Ян не расстроился, спрыгнул обратно со стула:

— Я охотник за огнем.

Коробки, толстые поваренные книги, пирамида на качающемся стуле, наверху пирамиды — мальчик, царь горы, опасно раскачиваясь в воздухе, он ворошит узкими руками темноту, по очертаниям угадывая предметы. Наконец с приглушенным победным криком, прижимая к животу почерневшую керосиновую лампу, медленно летит вниз и, падая на скрученный ковер, смеется. Смотрит на свою пирамиду, ее верхушка теряется где-то вне глаз, в темном запахе.

— Ты не такая счастливая, как я. Ты даже не дерево. А так. Предмет, — говорит Ян пирамиде.

Но, выбегая наружу, он все же благодарит за помощь все вещи вокруг.

Теперь у него в руках огромный источник света, звеня медной ручкой о стекло, булькая наполняющей огненной водою, он — улика души, жизни, пока погасший, совсем скоро вынесет из себя свет. Свет — жизнь. Если у Марики будет в окне гореть лампа, то все будут думать, что она там, ни у кого даже не будет сомнений, что ее там нет. Спит, ну и что.

Ян схватил спички и побежал наверх.

— Не ругайся, мамочка, не ругайся, спички я взял, я осознанный, ни искорки не пророню. Это чтобы ты поверила мне — она есть, есть.

А мама говорила в гостиной:

— Но он такой скрытный, я не знаю, что у него на душе. Ох, я решила, пусть думает сам. Ну чем я умнее и лучше его? Годами?

Ян не слышал ее речи, слишком был поглощен своей идеей, невероятной по простоте, но такой блестящей. Только, может быть, тихий поток ее голоса успокаивал его, доказывал, что и мама — существует, вот она, здесь, рядом, в одном с ним доме.

— Всё существует, и я. Но сейчас я задан целью, я невидим.

В своей комнате он сел у стены на пол, быстрым движением почесал щеку и задумался.

— Тяжело, когда всё приходится делать самому. Как она открывается?

Тяжелая лампа, закопченная изнутри, чумазый фитилек, дрожащий, как гусеничка.

— Ты какая-то, как из земли, — сказал Ян лампе.

Лампа открылась. Он вспыхнувшей с первого раза спичкой зажег фитиль. Лампа закрылась. Все вокруг озарилось трясущимся светом, ожившие тени поползли вокруг.

— Помнишь свое предназначение? Ты теперь не просто лампа, ты — подтверждение. Поняла?

Каким я буду, когда вырасту? Белым, бессловесным? Четким, добрым? Откровенным? Буду нести в себе постоянно растущий ворох

тайн. Проблема в одном: я ни на кого не хочу быть похожим, моих знаний и чувств недостаточно, чтобы понять хоть кого-нибудь в этом мире. А как я могу хотеть быть похожим на кого-то, если не понимаю его? Что мне нужно в себе растить, какие качества? Естественен ли я, достаточно ли во мне жизни?

Но слова — это камни. Ни в чем сейчас нет такого смысла, весь смысл в том, чтобы зажечь огонь в твоем окне, сестра, озолотить его изнутри, подтвердить твое существование. Но дверь в нужную комнату заперта, ключа нет нигде, Ян искал его сотни раз до этого.

Он стоит, упершись лбом в дверную ручку, в напряженной руке сжата, качаясь, ослепительная лампа, из-под ног уходит, расчерчиваясь на световые полосы, ковровая дорожка. Перед ним сложная задача, ребус.

— Адъютант! — вдруг выкрикивает Ян. — Адъютант! Придется пойти на риск!

Адъютант вытягивается в стойку смирно и рапортует:

— Господин капитан, другого выхода нет, все пути сделаны из дерева и заперты на замок. Остается только окно, господин капитан, только окно.

— Вперед! — кричит капитан.

И Ян бежит за ними вверх, на чердак, бросая по сторонам быстрые световые круги. Снег на его одежде растаял и намок. Чердачная дверь распахнулась затхлым морозом, со вздохом впустив его в себя, как панцирь черепахи впускает в себя голову черепахи. Слуховое окно открылось легко, замерзшая паутина и пыль, и снег, и холодный ветер привел все вокруг в тайное, осторожное и вражеское движение. Ян уже перекинул одну свою ногу на внешний карниз и вдруг замер, обдуваемый холодным воздухом. Прямо на него с черного потолка двумя желтыми веками презрительно и отчужденно смотрели крылья той странной бабочки, что поселилась здесь осенью.

— О... — выдохнул он и вернул ногу обратно. — Извините, но я в пылу достижения своей цели про вас совершенно забыл. Простите, пожалуйста, как поживаете?

Но бабочка не ответила, быстро моргнула прозрачными крыльями, ссыпав немного пыльцы на разрушающийся комод без ноги.

— Можно я тут пролезу? Я быстро, мной движет важная цель.

Ян старался быть с нею очень вежливым, пытался спрятать свой страх, от этой бабочки исходило недовольство. За время, что его здесь не было, она невероятно возросла, стала как две папины ладони, сложенные вместе и распахнутые как крылья. Мерно покачивалась она на потолке.

— Вы не можете нам помешать, — вдруг выкрикнул капитан, и Ян, воспользовавшись этим, легко перепрыгнул через подоконник, про себя извиняясь за капитана, и стал ощупью искать рукой лампу, оставшуюся где-то внутри. Он уже ощутил пальцами жар, исходящий от нее, несколько раз скользнул по обжигающей поверхности стекла и почти нащупал теплую медную ручку, как вдруг его руки, повыше запястья, коснулось что-то множественное и мягкое. Он передернулся от страха и отвращения, но все же ухватился за ручку и осторожно вытащил лампу из окна. Вот он стоит на внешнем карнизе, под самой крышей высокого дома, вытянув руку с зажатой в нею лампой, а на руке его — бабочка, медленно и страшно приближающаяся к локтю.

— А, вы хотите пойти со мной? Вы уверены? Вы не боитесь?

Ян двигает плечом, бессознательно пытаясь освободиться от нее, этой своей рискованной гостьи, но она сидит, вцепилась своими шестью лапками в его рубашку. Сидит и трогает его лицо огромными крыльями. Он держится свободной рукой за холодную, потрескавшуюся краской стену и смотрит вниз. Из его расширившихся глаз медленно катятся две симметричные слезы. Внизу, уходя белой змеею в воронку, шевелится малюсенький двор, кричит, то набегая, то исчезая, черный горизонт, рычит верхушками елок оскалившийся лес, который сейчас может поместиться Яну в ладонь и сидеть там, злой своими вечнозелеными иглами, своими пнями, волками, своею луной и шорохами, и свистом, и все это очень далеко, очень мелко. А на плече его дрожит огромная желтая бабочка, и до водосточной трубы шесть или семь шагов, и нарастает ветер. И Ян идет, его маленькие ноги скользят, снег сваливается вниз, и стена совершенно гладкая, без единого выступа, без ничего, за что можно держаться.

— Пожалуйста, — сказали губы Яна, и он впервые посмотрел этой бабочке прямо в ее глаза. И она смотрела в него, не отрываясь такими черными шариками, дробящимися, витражными бусинами.

— Твоя затея бесполезна, — сказала она и взлетела.

Ян зажмурился, отпустил бесполезную стену и поднял руку вверх.

— Пожалуйста, помоги мне, — шепотом просил он бабочку.

— Это бессмысленно, — отвечала она, кружась вокруг него, — ты сам можешь добраться до окна и вернуться в дом.

— Я не сделаю этого, я не пойду назад, я никогда не пойду назад. Пусть уж лучше я упаду отсюда, пусть уж лучше я разобьюсь как рюмка, но какая мне цена, если я чего-то боюсь?

Ян не смотрел никуда, кроме стены, он еще немного подержал руку в воздухе и опустил ее, медленно пошел дальше, осторожными шажками, слезы катились ему за шиворот, стекали, как неясные улыбки, и грели. Он шел и сквозь грохот железа и свист ветра слышал, как вздыхала бабочка, кружащаяся вокруг него. Она вздыхала, летая, а потом села обратно к нему на плечо.

— Ты знаешь, Ян, я очень тобой горжусь. И так хочу, чтобы ты вырос и жил, радовался всему, что входит в понятие жизни, чтобы ты делал добрые дела и любил, насколько хватает сердца. Поэтому я помогу тебе, — сказала она и, взяв Яна своими шестью руками за рукав рубашки, подняла его вместе с лампой в воздух. Две его слезы скатились с карниза, растопив дорожками снежный лед, и полетели вниз. А Ян полетел наверх, размахом руки поставил лампу в снег на карнизе окна, пытался даже разглядеть на лету — что там, как она спит — на боку? Хотел даже в мыслях услышать ее дыхание, глубокое и легкое, хотя бы таинственные очертания разглядеть. Но в окне так ярко отражался огонь от лампы, и Ян увидел только его и свое заиндевевшее испуганное лицо и всего себя — висящего в безграничной темноте, перекошенную рубашку и желтый свет своей спасительницы над левым плечом — будто его сердце испугалось и вытянулось вверх в воздух — висит в нем, трепещет и держит его над бездной. А потом от этого всего, поразившего Яна, уснувшего, неведомые силы уронили в снег.

Там он лежал с опрокинутой головой, и весь дом возвышался над ним, как живая и теплая скала, и окно Марики пылало громче всего, вся ее душа выглядывала из этого окна, и было видно, что ее душа — самая сильная вокруг. Он лежал и видел — открывается дверь, выходит мама, завернутая в шаль, как улитка, и за нею дядя в строгом пальто, смеются, и пар летит у них изо ртов, а над дверью качается и скрипит фонарь. Они спускаются с крыльца, и мама придерживает шаль у горла и озирается с беспокойством, но потом снова смеется. Они медленно исчезают в темноте — тихонько идут к последнему автобусу. Ян дожидается их исчезновения и рывком проникает в дом, пролетает мимо кухни, где папа, сгорбившись, дует в горячий чай, уткнулся в газету, очки блестят, в окне белым копошится снег, трещит старое дерево, но Ян уже в постели, он быстро стаскивает через голову мокрую и холодную рубашку и прячет ее под кровать, он освобождается от одежды и весь зарывается в спасительные огромные комнаты, ночные, тяжелые. Сейчас ему хочется чтобы он бродил в лабиринтах вечно и чтобы никогда не наступало утро. Он ни за кого не волнуется, ничего не требует взамен. Спит и растет. Дышит.

Когда пришло утро, он не узнал. Теперь будто бы вечное покрывало тайны, сна после великого действа, беспробудного, бессознательного сна окутало Яна, всезнающий, обреченный, он стоял возле белого окна, медленно натягивая свитер на нарядную зеленую рубашку, мама стояла рядом, запрокинув руки в зеркало, надевала в волосы живые ленты. Про то, как теперь горит окно — никто не узнал. Все собирались идти жить, праздновать, смеяться, встречать других, породненных людей, опрокидывать в них свои истории. Папа собирался, мама и Ян.

Шли по белому полю с неудавшейся маленькой кукурузой, бежали мимо озера, схватившись за руки, зажмуренные, отяжеленные. Ян думал — он до сих пор в лабиринте. Взошли в другой дом — Ян был здесь уже однажды, когда-то, в полном вихре, в это же время во время вокруг рождества, тогда вековой снег грел и мчался, тогда все мчалось и сестра была совсем не рядом, запиралась в мансарде с незнакомыми подростками и не хотела выходить, а Ян стоял под дверью и ревел, теперь он думает — какой же он был счастливый, оттого что все запертые Марикой двери всегда непременно открывались, и она выбегала на свет, волновалась, сердилась, размахивала руками, то резко метнется в угол, то очертится на белом оконном фоне сердитой тенью. А теперь Ян заходил в этот чужой дом, вежливо наклонял голову, позволял целовать себя, трогать за волосы и щеки, раздавал смущенные улыбки и смотрел в пол. Тетя Вероника — мамина родственница или подруга — размытая именинница. Обруч вокруг головы, хохочущий рот, двурядовые белые зубы, грустные глаза. Мягкая, белая, холодная и влажная, как большая рыба. Она вздыхала, поднимала его на руки, тяжело несла в комнату, оставляя на ковре кругленькие следы своих коричневых каблуков. Там их садили за длинный стол, и все были похожи друг на друга, смущенные и веселые, все были старые, неинтересные. Дети были, была Берта, девочка, хуже белки, ху-

же выдры, красивая, как фотография, вся лаковая, хитрая, скользкая. Ян не ел, не пил. Из каждой тарелки ему выглядывала Марика и шептала грозно:

— Мальчик, братик! Найди мне принца!

Ян фыркал, переставал смотреть на стол, смотрел вокруг, не останавливая глаз, но опять она мелькала — размытая, быстренькая:

— Ян! ТЫ обещал найти! Ищи!

Мама сидела, положив скулы на ладони, наклонившись, о чем-то беседовала, может быть, пела. И тут прошел Александр.

Александр вышел на балкон, провел по лицу ладонью и закурил. Он совершенно точно знал, что из комнаты на него смотрят через окно все гости, и поэтому курил надменно и гордо, показывая, какой он сильный. Папа тоже захотел выйти к этому Александру, он был даже суров в чем-то, зол на Александра. Поэтому папа вышел на балкон следом за ним. Ян смотрел и по движению папиных губ понял слова «школа», «институт» и «серьезным». Александр на это лишь улыбался и держал сигарету, растопырив пальцы, подняв руку чуть ли не выше головы, как девушка. Ян хихикнул. Этот Александр был приемным сыном тети Вироники, мама говорила, что он крайне плохо учится, совсем ни о ком не думает, кроме себя и своих пластинок. Ян очень заинтересовался Александром, хотя он уже не был ребенком. И дети же тоже были на этом празднике. Была же эта Берта, мама сказала — она ровесница Марики, — и вздохнула. У Берты были коричневые волосы и хитрый вздернутый нос, она вся была длинная и худая, зазнавалась и называла Яна «больное дитя». Это потому мама часто говорила всем, что он чувствителен и молчалив. И что у него нервы. Ян не знал, где у него нервы, он только ненавидящим взглядом жег этой Берте спину, пока она уплетала пирожные, сидя за большим столом. Все кричали что-то, особенно тетя Вероника, видимо, она была пьяна. Ян жалел, что не пошла бабушка. Бабушка не любила тетю Веронику и всех остальных родственников, к тому же она жила далеко и забывала все лица быстро, не жалея об этом.

Сначала выпал снег, потом начались каникулы, Новый год, Яну подарили какой-то набор, большую магнитную доску с пластмассовыми буквами и цифрами. Так это было все ненужно, что он даже плакал потом, под утро в ванной комнате. Ему хотелось бархатного камзола, маленькую живую лошадь, зеркальный шар. А потом его жизнь спасла неведомая сила, и он стал гордиться самим собой. А потом было тети-Вероникино день рождения, мама составляла какой-то букет, совсем не красивый, папа намазал шею одеколоном, и они пошли по тем белым лабиринтам, сквозь них.

И вот сейчас Ян увидел Александра, и все остальные люди даже, кажется, на земле расплылись ненужными пятнами и улетели. Александр был высок, худ и надменен, у него была детская, как молоко кожа, серые холодные глаза и длинные коричневые волосы. И во всем его поведении было столько холодного, непосредственного и даже неприличного, что у Яна замирало дыхание. И сердце билось и билось. Он сказал маме, что хочет в туалет, быстро выбежал из-за стола и уже в туалете, упав на пол, быстро-быстро, задыхаясь, зашептал в сложенные ковшиком ладони:

— Ты знаешь, я нашел тебе принца, я в этом совершенно уверен, Марика, признаюсь, как бы ни было больно, он лучше меня, во много раз лучше. Он такой, такой, и если нарядить его в светящийся плащ и бархатную курточку, а в волосы корону надеть золотую и сапоги на ноги высокие и посадить на коня, пустить к тебе, то ты от одного предчувствия сразу же проснешься от сна. Он красив, изящен, он изнеженный, как девочка, но сколько в нем силы, о, почему же я не родился им...

И Ян вдруг заплакал от зависти и злобы, он никогда не думал, что встретит кого-то прекраснее себя, настолько прекраснее. За круглым окошком в кафельной стене падал тихо снег, слышно было, как в гостиной хохотали и спорили люди, и где-то, в какой-то комнате, запертая собака скулила и скреблась когтями в дверь. Ян затих и поднял голову, оторвал лицо от мокрых рук. На бортике ванны сидела Марика.

— Что ты? — спросила она.

— ТЫ разве не слышала?

— Слышала, ЯН, слышала, но не верю. Ты уже столько раз мне всего обещал, что я вообще ничему не верю из твоих уст.

Она закинула ногу на ногу, выгнула спину. У Яна расширились глаза от мыслей, он вдруг понял, как любит ее, всю, целиком, придуманную, всю, из воздуха, любит.

— Я же тебя не отдам ему! — громко сказал он.

— А я тогда не проснусь!

— Ну пусть он тебя только поцелует и исчезнет навсегда, я договорюсь с ним, я уверен — он поймет.

— Попробуй, — сказала Марика, засмеялась и исчезла.

* * *

И вот я представляю вас. Тонкий союз, нежная кожа. Он будит тебя даже не поцелуем, а только прикосновением руки к твоей руке. Твоя выцветшая, отончавшая рука оживает и через воздух тянется к его раскрытой ладони. Я ликую. Вторая рука твоя не глядя тянется ко мне. Но я за пределами вашего мира — стою маленький, с отросшими волосами, как грустная пони. А вы лошади, несущие, лихие. Слишком возросшие, поднебесные для моих любящих ладоней, восторгающихся глаз. Слишком маленькие для простого приветствующего знакомства. Хватаетесь друг за друга, за живописные исторические наряды, за солнечные лучи. Я закрываю глаза. Оставь мне хотя бы пуговицу от своего платья. Я сам все придумал и отчаялся. Я закрываю глаза.

Ян не смог сдержать слез, выбежал в коридор, стоял у стены.

— Ты почему плачешь? Как тебя зовут?

— Я не плачу. Я отчаялся на мгновение. Но это всего лишь мой вымысел. Я Ян.

— А я — Александр. Ты чей-то сын, да? Здесь столько незнакомых людей, они все вспоминают друг друга несколько раз в год. Возможно, мы и встречались раньше, но я не помню. Приятно тебя узнать.

Александр по-взрослому протянул руку, и Ян пожал ее изо всех сил крепко, тяжело и как будто понял что-то, просиял, притянул Александра к себе, поднял голову

— Ты не удивляйся. Ты должен мне серьезно помочь! Отведи меня, где не звучат голоса.

И Александр, с трудом сдерживая улыбку, пошел за Яном в самую дальнюю комнату большого дома, стоящего на берегу леса.

— Хочешь, я поставлю тебе пластинку?

Александр вытащил из большого светлого ящика прямоугольный конверт, завел проигрыватель и пояснил:

— Как будто Гамлет играет на кларнете. Есть даже рок-н-ролл. Есть даже блюз, малыш. Только тс-с, — он прижал палец к своим большим губам, — Вироника называет это играми, не одобряет. Но если включить — вся жизнь моя кажется чужой. Такое волшебство. Тебе нравится?

Ян смотрел на крутившийся в бесконечность черный диск и на горевшее лицо Александра.

— А как это происходит? — спросил Ян.

— Что?

— Кто делает так, что оттуда появляется музыка?

Александр улыбнулся и наклонился близко-близко к Яну. От него пахло, как иногда от папы — табачным вином, одеколоном, но и еще чем-то, Ян не знал, юностью, горящим лесом. Александр зашептал, обдавая Яна всеми этими запахами:

— Это дикая тайна, дружок. Есть несколько людей, которые делают пластинки. Это происходит в темном виноградном лесу, там, под землей, при свечах, у всех этих людей пар идет изо рта. Они сидят посреди черной земли, на ящиках, чернокожие, блестящие от пота, и каждый делает со своим инструментом мелодию. Да, сначала каждый, а потом все вместе, а женщина — тоже темнокожая, полная, на большой сковороде печет пластинки из дегтя и виноградной смолы и через трубочку вдувает туда все звуки. Потом фотографирует остальных, вырезает из карточки круг и клеит его на подсохшую пластинку. Это сложно, брат, как не забыть, куда что записал, а?

Александр подмигнул ему, резко выпрямился и широко прошагал к окну, закинул руки за спину, уперся лбом в стекло.

А Ян уже забыл, зачем он пришел сюда и кто его привел, он сильно думал про черных людей под землей в лесу, про свечные огарки, что крутятся, поставленные на пластинки, кидая блики на широкие их лица, широкие, влажные, воодушевленные, о саксофонах и гитарах, присыпанных землей и о женщине в фартуке и косынке с горящими щеками.

— А как потом они попадают к тебе?

— Я знаю одного из этих парней, — не оборачиваясь, ответил Александр.

— Ты был там?

— Конечно, был. Но учти, парень, это все страшная тайна!

— Ты можешь во мне не сомневаться.

Ян закусил губу. Теперь у него две страшные тайны, одна тяжелая, другая легкая. Он не человек, он ходячий сундук с секретами.

— Александр, а ты не можешь сказать этому твоему знакомому, чтобы он мне тоже присылал хотя бы по пластинке в год? У меня никогда таких не было, правда.

— А тебе не рано?

— Нет, я выше всех сверстников по развитию. В каком-то смысле, я тоже — тайна, Александр! — гордо сказал Ян.

— Ну, тогда нет проблем, — весело ответил ему Александр, — будут тебе пластинки от моего приятеля!

Ян благодарно улыбнулся и замолчал. Александр закурил, устроившись на подоконнике. Между задравшейся штаниной и ботинком у него виднелась полоска бледной кожи.

— Ты что-то хотел мне рассказать, кажется? О чем-то попросить? Это же важно, правда? — наконец произнес Александр.

— О, да, но это слишком серьезно, пойми. Это смертельная тайна, тебе нужно быть очень понимающим и добрым человеком, чтобы проникнуться ею, тебе нужно быть настоящим принцем, во всех красках этого понятия.

— Дружок, тебе не нужно просить о моей доброте, я и так сама доброта, независимо от твоей просьбы. И я не буду над тобой смеяться, в конце концов, ты так мал и так грустен, в противовес мне, высокому и беззаботному, что мне даже стыдно, черт возьми!

— А я был и так уверен в тебе. Я выбрал тебя из всех, чтобы сделать ключом, спасителем.

Александр, похоже, весь превратился в слух. Он вытянулся тугой шеей, напрягся и посерьезнел. Ему так хотелось узнать что-то об этом маленьком человеке со следами школьных побоев на лице, он отражался в суровых, потемневших глазах Яна и сам дивился своей торжественности.

Отомстить кому-то из врагов, отобравших деньги на завтрак, выслушать о несправедливости отца, как он мог помочь этому ребенку? Какую тайну должен разгадать? Александр терялся в догадках.

Но Ян тогда ничего не успел сказать, из-за пластинок или из-за чего-то другого. Большая белая тетя Вероника была из тех женщин с шеями, будто присыпанными влажной мукой и непомерно крепкими, растущими очень хорошо ногтями. Она тогда стукнула одним из своих ногтей в дверь комнаты Александра. Он молниеносно захлопнул крышку проигрывателя и помахал рукой в воздухе, рассеивая дым, но глаза его при этом все еще витали около тайны, так ему и не открывшейся. Ян видел в его полуоткрытом рте очарованность, невероятность нового поворота жизни. Так бывает только в одном случае, когда жизнь бросает в тебя нового человека, внезапно, и этот человек способен открыть тебе черт знает что. Даже если он очень маленький. И Ян чувствовал себя победителем, открывающим, чувствовал на себе интерес Александра, он подал ему руку, напряженную, теплую.

— До свидания, Александр.

— До свидания, Ян.

В ответ на это тетя Вероника разразилась смехом и закричала сквозь дверной проем в коридор:

— Я такой сцены не видела даже в кино! Вы только посмотрите на их серьезные мордашки!

Большая, она без всяких усилий подняла Яна на руки и стала уносить его от долгожданного, первого, восторженного друга. Ян висел на ее руках и грустил — нет, он не вырос, легкий, легкий, жалкий. Ян висел и смотрел на удаляющего Александра, только его темный силуэт напротив побелевшего в сумерках окна, а потом в свете коридора Александр вместе с комнатой уместился в черный слепой прямоугольник. Уже у двери тетя Вероника, наконец, поставила Яна обратно на пол, поцеловала пьяными губами в лоб и горько усмехнулась, обращаясь к маме:

— Ах, дорогая, чужие дети растут так быстро!

Мама быстро всхлипнула и кивнула узким лицом. Сама она Яна на руки никогда не брала, мама была худенькой и слабой, наверное, только снаружи, потому что столько грусти и смирения Ян не видел ни в ком. Тетя Вероника принялась обнимать маму, уже одетую к выходу. От этих объятий мамина шапка съехала на бок, и вся она как-то осела в тетиных руках, согнулась в коленках, а Ян стоял и не мог найти рукою рукав шубы, все смотрел на мамину длинную, белую, безвольно повисшую над тетиным плечом руку. В комнате папа громко предлагал всем пропустить по рюмочке напоследок.

А потом они втроем молча шли по неслышному снегу мимо погасших больших домов и спящего леса. Когда проходили мимо озера, Ян зажмурил глаза. Но ничего страшного — белый круг, зажатый в лед, толстый, надежный. Почему мама теперь так боится этого уютного места и ивы, заиндевелой красавицы, и песка, и пней, и сосен? Раньше, до этого лета, мама так много времени проводила здесь, сидела на берегу, расплескав юбки, и сыпала песок из кулаков на свои гладкие ноги, пела, аккуратно плавала, как плавают все мамы — ни за что не намочить волос. Многие воспоминания Яна о маме рисуются ему здесь — она стоит, рукой облокотившись о ствол ивы, и улыбается, и ветер шевелит воротник блузки. Есть даже такая фотография.

— Рыбы умерли?

— Спят, Ян, спят, — ответил папа.

— Их тоже разбудит принц?

Но папа посмотрел на него очень сурово, и Ян замолк, не договорив.

Кажется, это легко — вырасти. Стать поближе к верхушке сосны и наклоняться за цветами. Самому стать цветком, распустить крылья. Стряхивать снег с плеч, как пыльцу. Я завидую тебе, ребенок, еще горше, чем ты мне. Я молод, мне семнадцать, у меня нет проблем с

кожей, я не влюблен в свою мать, я не знаю ее совсем. Ты говоришь — мои родители — птицы и этим заставляешь меня сгорать от тоски. Ты не знаешь, они не птицы, они умерли. И я это знаю. Я знаю, а ты — не знаешь. Тебе не надо, ты не поймешь. Но самое странное, что и я — не понимаю. Я смеюсь, видишь? Над тобой, святое детство, золотое детство. Кто послал меня тебе? Зачем? Твои вопросы, твоя тайна, твоя дружба.

Мы идем вместе по снегу, пинаем его, взбиваем сапогами, смеемся. Двое мужчин — большой и маленький, проигравшие эту жизнь. Тебе знакома тоска? Любовь? Ты сам тайна, Ян. И я смеюсь над тобой, увожу под землю, на дерево, в самые глупые сказки.

Я тогда мечтал, чтобы мои волосы выросли немыслимо, волочились бы за мною по земле и имели цвет серый и чтобы мои мускулы налились силой, я мечтал быть ребенком — волком, ребенком без капли страха, чтобы прыгнуть в подземелье и вернуть свою настоящую маму, быть ласковым и понятным, чтобы она поняла меня, поверила и вернулась обратно в мир. Тогда я стал бы вновь обыкновенным ребенком и не мог бы выговорить свое имя и глупел бы каждый час и забыл бы все, только мама была бы рядом. Она то уж верила бы мне, не как Вероника, осознавала, как я рос и, может быть, даже не старела, оставалась вечно, как на фотокарточке.

Александр ринулся, вынул откуда-то из груды книг фотографию и бережно, как поднос с золотом, стал показывать Яну.

— Видишь, она тут совсем как я, ей здесь семнадцать лет, посмотри только в ее глаза.

Ян смотрел на очень красивую девушку, закинувшую руки над головой в хлопке, странный вывих бедра в танце, вытянутую ногу, платье, разошедшееся в разрезе, белую коленку и прозрачные насмешливые глаза. Карточка была черно-белая, маленькая, вся поломанная, с левого края засвеченная, какие-то блики из других времен летали в ней.

— Это снимал мой отец. А через год родился я, понимаешь, не вовремя для них я пришел в этот свет, обездолил их своим появлением, огорчил, даже — убил. Они ничего не смогли никому объяснить, они сбежали из нашего города, из наших краев. Я был внутри ее в те времена, когда они исколесили всю страну на старой машине, голодные, ничего не знающие дети. Я родился посреди поля, я был осыпан слезами. Они бы вырастили меня лучше всех, в любви и счастье, только им никто не объяснил — как. Они так хотели меня спасти, мама назвала меня как отца, он, Александр, не спящий, вел эту машину, она, моя мать, обнимала его ноги, я кричал и кричал на заднем сиденье. Они так любили друг друга, да, милый Ян, это была такая искренняя попытка, весь этот любовный хаос, породивший меня.

— А дальше?

— А потом они сдались. Вероника даже не родственница им, какая-то знакомая, одноклассница, возможно. Они приехали ночью обратно в город, пробрались к ней в дом, нашли ее, сонную, молодую, и навеки поручили ей меня, заплатив ей за это своими жизнями. Той же ночью эта большая машина, ведомая тем неведомым Александром и обнявшей его ноги моей матерью, — полетела с нашего мыса в наше море. Все потом их простили, все потом так плакали — все-таки милые были ребята — мои родители. Стали обо мне заботиться — дедушки, бабушки. Но Вероника никому не отдала меня — добрая и преданная, полюбила. Посмотри — у меня везде их осколки — моих прекрасных разбившихся зеркал.

— Но как ты об этом узнал? Ты же был ребенком.

— Я и сейчас ребенок, и буду ребенком всегда, ведь нет тех людей, которые вырастили бы меня, научили подлинно мудрым вещам. Когда я был маленьким, Вероника говорила, что мама уснула, а потом я сам все разведал, я про смерть знаю с самого рождения, наверное, эта смерть и есть моя мать, я не могу больше говорить.

— Тебе сказали — уснула? Так и сказали?

Александр посмотрел на Яна — в его глазах был истинный ужас, медленно открывался его рот, вытягивалось лицо, страшно и взросло прижимались ручки его к груди.

— Нет, нет, когда говорят — уснул, не всегда подразумевают — умер, — успокоил его Александр. Он уже догадывался о какой-то жуткой трагедии, так преобразившей этого ребенка, представлял ту тяжесть, которую вот-вот взвалит на себя молчаливым согласием в вечной помощи.

— Но все же чаще всего это так, ведь смерть, Ян, это просто.

— А я тебе докажу, — вдруг спокойно сказал Ян, поднимаясь.

— Да, конечно да, а я и не сомневаюсь.

— Ты еще не знаешь моей истории. Твоя история невероятна, и я полюбил тебя в тысячу раз больше после нее. Но моей ты не знаешь. Это такой момент, который заключает в себя всю мою жизнь. Это как раз тот крепкий засов

на моем счастье, который ты должен отпереть. Для этого я и нашел тебя, Александр. Сядь.

Александр опустился на пол рядом с Яном и стал смотреть на него снизу вверх, повинуясь во всем. Всё забыл он, всё.

— Ты слушаешь меня? Когда-то давно, когда я был просто ребенком, и из этого я мало что помню, моя память скользила, танцевала. Я об этом очень жалею, она не отпечатала самых важных моментов. Я долго был просто ребенком, а потом в один момент все переменилось, — Ян вздохнул и тоже опустился на пол, рядом, — нет, я не могу тебе этого рассказать.

— Почему?

— Ты не обрисовался для меня. К сожалению, ты остаешься чуждым, большим.

— Даже после того, как я рассказал тебе свою главную тайну?

— Одной тайны не достаточно. Нужна внутренняя связь и от нее легкость.

— Доверие

— Доверие.

Ян замолчал, он чувствовал от Александра стремление приблизить тот миг открытия, чувствовал, что всё зависит не от него. Почему он должен настолько верить этому юноше? Нет в мире ему близкого сердца, близкое ему сердце уснуло, всё сводится к этому. Ян чувствовал, что положение безвыходно.

— Пойдем съедим что-нибудь, пока не пришла Вироника?

Александр поднялся, открыл настежь окно, впустив в их тайный воздух другой воздух — неопределенный, ледяной. Все запахи погрязли в нем, все тени, отпечатки. Стало бело, светло. Он достал пластинку, улыбнулся, сделал так, чтобы слышал весь дом.

— Даже стены могут танцевать. Я совсем забыл, у меня для тебя кое-что есть!

Ян закрыл глаза, а потом, когда открыл — был рад. Перед ним, на длинных ладонях Александра лежала коробочка из бархатной бумаги.

— Тайна, тайна, тайна, — сказал Александр. Потом улыбнулся.

В коробочке лежала маленькая пастушья дудочка. Ян вспомнил, что он ребенок, и не стал сдерживать слез. Он даже не убежал, просто сидел на полу и плакал. Александр принес еды. Заходило солнце. Пока незаметно умирала зима.

Ян ел хлеб, соленый от слез, на синем ковре двигались тени и красный свет блистал. И от всего исходило странное, невиданное тепло. Он чувствовал — совсем скоро он разрешится от своей тайны, как от бремени, выльет это мертвое море из себя. Он не думал — выльет на Александра, он думал только про себя, совсем не думал про чужую боль этот ребенок.

Дни закрутились быстрей, и, если бы не постоянное ожидание, они были бы счастливыми совсем, мама приносила из почты запечатанные в твердую бумагу конверты, Ян смотрел на крутящиеся пластинки в новеньком проигрывателе, танцевал вместе с просыпающимся солнцем, он часто теперь бегал через поле к Александру, и каждый раз, пробегая озеро, неслышно и нежно икал — это вспоминала о нем озерная вода, что спала, как зверек — тихо, обтянутый ледяной кожей зверь, полный зеленой водою — вот кто было это озеро. Могло ли оно так любить, так вмешиваться в судьбы? Это была прозрачная пропасть.

Из столовой выбегали девочки, вытирающие губы, отряхивающие твердые воротники, и в руках у них у всех — не доставшийся мальчикам черствый, голубиный хлеб. Девочки-воровки бежали наперегонки во двор, чтобы кормить птиц, собирать их вокруг себя бесконечными десятками.

В столовую парами, нехотя сжимая друг другу ладони, входили мальчики, рассаживались за длинные столы, замирали над теплыми тарелками, и в звенящей тишине слышен был с улицы воинственный писк:

— Я первая!

Читали молитву, скрипели стулья, звенели мухи, гремели ложки.

— Я вторая!

— Я третья!

В стаканах плескался и плавал чай.

— Я четвертая!

Ян молчал. В голубом окне рядом с ним сияло дерево и трескался асфальт. Но он не смотрел туда, и даже висевшая на перекладине вниз головой превосходная Диана не заставила его подумать о чем-то другом. Он сидел, вцепившись зубами в стакан, упертый остекленевшими глазами в воздух, и думал лишь об одном — вот и настала весна, пришло время, не совсем, но пришло — разбудить свою спящую сторону, которую, казалось бы, он навсегда забыл. Замученный этим долгим годом, как затянувшейся болезнью, как тяжелым беспорядочным сном, сидел Ян.

Александр заканчивает школу, что же будет потом, он уедет в огромный город получать ка-

кие-то высокие знания, он уедет и забудется, и больше никогда не вернется, и никто, никто не встанет на его место — впереди Яна, за спиною Яна, рядом с ним. И если ничего не получится за это время, пока Александр еще рядом, еще здесь, то — забвение и одиночество, и вечная, непрекращающаяся грусть. Ян закрыл глаза и перед всем в темноте вспыхнула белая запертая дверь, вспыхнула пустота и размытое, переполненное лицо Марики.

В этот день Ян решил тотчас же открыть Александру эту тайну, решил не останавливаться. Но вечером зима вернулась, пошел снег, и мама не пустила Яна в темноту, что крошилась и пела. И он уснул, тревожный, на ковре.

Нина села и ей стало холодно.

— Когда я хожу или смеюсь, там разговариваю... — она остановилась и быстро посмотрела на Александра, — я не чувствую холода... но стоит только окунуться в какую-то неподвижность в виде сидения или лежания, я сразу коченею. Смотри!

Она протянула ему сложенные ковшиком ладони. На мгновение эти ладони повисли в морозном воздухе, Александр не знал, что с ними делать, потом опомнился, обнял их как одеялом своими ладонями, почувствовал чужую холодную кожу, но ему стало тепло от этого.

— Да, я верю, — сказал он и отпустил эту кожу, как бумага, снова стал чувствовать ладонями лишь пустоту.

Наверное, нужно смотреть на нее все время, на эту Нину, которой холодно, ведь он разговаривает с ней, он с ней наедине, в комнате, кроме них, только мебель и лишь за стеной глухие голоса и смех других людей. Но Александр смотрел в пол, ему было стыдно от того, как он громко дышит при ней, он хотел заглушить это дыханье чем-нибудь.

— Давай включим музыку?

Нина кивнула. Она тоже не смотрела на него все время, только иногда быстро смотрела и опять не смотрела.

Оба они не знали, что столкнуло их — незнакомых — в этой пустой комнате.

Александр включил музыку и вернулся на прежнее место — на пол у ее кресла. Она держала руки у лба и волосы падали и колыхались от холодного ветра.

— Этот дом продувает насквозь. Почему такие огромные промежутки в этих стенах?

— Его плохо строили.

— А кто его строил? Куда улетела весна? Была, и сегодня, вдруг перестала.

— Не знаю.

Она выпрямилась и посмотрела на него. На закинутой шее у нее стучала венка, он посмотрел на нее тоже, только не на лицо, а на эту венку, шею вокруг, и кусочек поднимающегося подбородка.

— А что ты здесь тогда живешь?

— Не знаю.

Александр и правда не знал. Что он живет, зачем, где. Знал только, что, если открыть дверь у этого дома, можно выбежать в снег и бежать, оставлять глубочайшие следы. Но он не стал говорить ей об этом, решил, что она не поймет.

— Я когда сижу, мне холодно.

Он пропустил это повторение мимо ушей, все думал о своих следах, вот, когда так бежишь, приходится высоко закидывать ноги, получается смешно, хорошо, что она этого не видела никогда, эта Нина, как он бежит.

В этот вечер они закончили семестр, сдали все экзамены и устроили поэтому праздник, собрали все классы и еще разных знакомых, можно было сделать это в доме у Александра, ведь Вироника уехала, и зима высвистала эти стены, он хотел лежать и видеть вокруг небо. Он не простужался, он вообще ничего такого никогда не делал, только слишком громко дышал, смотрел на фотографию матери и на небо, только еще смотрел на Яна, разговаривал с ним, дружил. Да, и это она знать не должна, что он дружит с маленьким Яном, никто бы не понял их дружбы, они ведь их обоих не знают.

— Я когда сижу, мне холодно.

— Встань.

Нина встала, но ей продолжало быть холодно. Она ведь и простужалась, и все остальное делала, и кашляла, и не дышала так громко. На ней было платье с огромным цветком. И волоски у нее на руках встали дыбом, она закрывала руки, это не красиво, как у зверя, она не зверь. Она девушка, ей семнадцать лет. Она стоит и смотрит на Александра уже не быстро, так медленно, медленно, медленно, смотрит на все его лицо, стоит напротив.

Вот и на этот их праздник — разных классов кто-то пригласил эту чужую Нину. И она сама не знала, зачем пришла, надела платье такое — с цветком. Обманула маму, вылетела за дверь, бежала до остановки, и шуба у нее делилась ветром на две части, левую и правую, ветер залетал между пуговицами, кусал маленьким ртом ее подвижные ноги, коленки на них и все остальное. Она бежала, схватившись обеими руками за уши шапки так, что побелели кулаки. Бежала и думала:

— Зачем я бегу?

На остановке ее подождали друзья, они поехали вместе, смеялись, и из раскрытых ртов летел пар, летел, оседал на шеях и воротниках. Подруга шептала ей своими губами, пуская этот пар, про всех юношей, многогранных, в совокупности, всех-всех в одном доме. У Нины дрожало все внутри, она любила юношей и как они двигаются, и смотреть на их руки и на вены, выпуклые и нежные, которые эти руки оплетали. В Нине смеялось ее растущее запретное существо.

Она в этот дом влетела, потеряла шубу. Она не знала, что этот дом заколдован, что он прибрежный пост, что все двери в нем выходят только в снег, в бесконечность, в ветер и больше никуда, не знала, что в этом доме Александр, что он вообще есть, что он там хозяин. Она не знала про его белое лицо и глаза, вот-вот готовые вылиться, лопнуть от своей величины и выпуклости.

Теперь — стояла, медленно смотрела на его эти глаза, водила взглядом по их контурам, напоминающим лодки, и тоже ничего не знала, боялась, но скрытое в ней существо дрожало, чувствовало за ними великий полет.

А сама Нина не знала ничего про великий полет, как ее привлекло сюда? Бедная Нина.

И Александр стоял и смотрел на нее и думал:

— Ну, привет, какая-то Нина, вот ты и вплелась.

Что неслось между ними, такие ураганы, дрожали у них ребра. Потом стало невозможно, Нина села обратно на стул. Александр продолжал стоять и все смотрел в то место, где только что Нина была, а теперь — только темный воздух и очертания предметов. Но он заметил, что Нина стала дышать так же громко, как он, перестал об этом волноваться и выключил музыку.

— Я буду изваянием, — сказал тихо он.

Она ничего не ответила, от холода у нее начала дергаться голова.

Нина натягивала платье на колени, разглаживала складки на ткани. Александр наблюдал за этим.

— Я не сдвинусь с места, пока ты снова не встанешь и не будешь опять смотреть.

— Куда?

— А куда ты смотрела до того, как села на стул?

— Я не знаю куда, не знаю, — сказала Нина сердито, встала, остекленело тронулась ее рука о его бок, когда она выходила.

Нина вышла, в коридоре горел свет, в таком беспорядке из разной одежды она закрыла лицо ладонями и так стояла спиной к двери, за которой стоял Александр и даже не двигался и даже не думал и не мечтал ни о чем.

Все это им обоим показалось очень странным, что так чуждо в огромном океане они сплылись и вот теперь волнуются, дрожат. Они с этим еще не сталкивались.

Потом Нина вышла в ту комнату, где ей показалось — тысяча людей. Подруга принеслась к ней, затягиваясь сигаретой, впервые накрасившая губы блондинка, стоявшая в профиль, протягивающая стакан вина. Нина взяла из ее руки стакан и пила, стуча зубами о стекло.

— Какой у тебя яркий принт, — сказала подруга. Бедняжка, она не обладала представлениями о красоте.

От вина губы Нины стали похожи на две раздавленные вишни. Подруга дергала подол ее платья, потом задумалась и отпустила, пальцы ее разжались, она вся ослабла и стала танцевать.

Нина трогала ладонью свои багровые губы

Нина протягивала свои багровые губы зеркалу в ванной, стояла на мокром каменном полу шептала:

— Поцелуй меня.

Закрывала глаза и подглядывала сквозь ресницы, какое у нее было лицо, глупое, глупое лицо. Она только улыбалась, в ней рождались сотни новых миров. Она только улыбалась.

А потом: Александр открывает дверь и видит Нину, бегущую по коридору, как она открывает тоже дверь, но другую, и исчезает в бесконечном снежном пространстве.

Он бежит за ней и уже смеется. Потом видит — она летит по белому полю, высоко поднимая ноги, подхватив подол платья, сжав его в кулаке, открывая покрасневшие коленки. Александр забывает про все и бежит к ней

— Эй! Еще можно раскинуть руки и побежать вообще со всей силы, — кричит Александр, и она раскидывает свои руки, и внезапно мир преображается для них.

На порог от этой двери собрались все гости, сжались в узком желтом квадрате в очерченном кубе дома, вытягивают длинные пальцы, взбалтывая в бокалах вино, смеются, смотрят, как бегут они — Нина и Александр.

Можно поверить — они потом вернулись в этот дом, где уже заканчивался праздник, кутались в какие-то одеяла, а потом она уезжала в замерзающем такси, а он вытряхивал пепельницы. Нет, этого ничего не было.

Он падает назад, широко распахнув глаза, взбивая облако снежных кристаллов, медленно

падает в зыбучий ледяной песок, видит ее движимый контур, и потом этот контур падает рядом, и все затихает, и снежная пыль ложится на лицо, и рука в молниеносно тающем снегу ищет ее маленькую мокрую руку.

В тот вечер они все так много смеялись, что чуть не умерли.

Но выжили.

Лавина сверкающих школьников, выпавших из дверей. Ты нужна мне, как третья рука, ты нужна мне тысячей бесполезных ослепительных вещей.

— Мама, зачем луна?

— Мама, далеко ли идти?

— Мама, отчего я умею грустить?

— Мама, тебе нужно больше меня любить.

Это такой кружок — каждодневная жизнь, это красивая плоскость. Какой по счету в жизни Яна этот школьный автобус? Какого цвета у нее вода? Там, где она утонула?

А днем тихонько бежал по заблудшему снегу Ян, чтобы уж точно именно сейчас рассказать все, чтобы сегодня же — не откладывая — взломать эту комнату, взломать и открыть тайну, выпутаться самим и выпутать их — бедных. Может, в ногах кровати Марики будет тихонько сидеть мама Александра и отец его — где-то у окна, так же, как сам Александр — будет курить, подняв руку, как девушка. И все остальные там будут — невидимые дяди и тети и тот мальчик, которого в прошлом году задавил грузовик. Там будут солдаты с войны, их несправедливые начальники, не родившиеся младенчики трусливых матерей, там будут сами матери — все, не старые, а вечно, вечно, как на фотографии. И они взломают эту белую дверь в конце коридора, и Александр будет целовать их всех — бедных, бедных, уснувших. Они разбудят их своей удвоенной чистотой, своим светом.

Ян взбежал на крыльцо, солнце выплыло, все вокруг таяло и неслось. Неясным змеем завился коридор, все двери открытые выпускали из себя дым, дым летел везде, под ногами шелестели бумажные стаканчики, весь пол был изрешечен пулями — это тысячи ярких бумажек лежали на нем. Ян удивлялся, заглядывал в каждую пустую дверь — в окнах солнце, беспорядок, там, где еще недавно хохотала тетя Вероника — пустота, гул, дым. Ян искал Александра — на вазах увяли спиральные бумажки, был праздник, он не ушел, витал здесь повсюду — только зажал себе сам рот ладонью, чтобы не кричать, как ночью, — только дышал и выдыхал Яну что-то чужое, незнакомое, враждебное. Ян шел, озираясь, и чувствовал здесь присутствие другой души, мысли и мечтаний о ней — другой, совсем другой душе. Он нашел Александра лежащим на пустой кровати, гладко застеленной, взрослой. Александр лежал, и глаза его были как ядра, он ничего не видел.

Сначала Ян испугался, что Александр тоже уснул, как все, но потом услышал — дышал так громко, как паровоз, дышал и смотрел куда-то. Потом улыбался, не замечал присутствия друга, дрожал — открытое окно. Призраки летали. Александр сказал:

— Мне снится сон, в этом сне только лицо Нины и все, больше нет совсем ничего.

— Какая еще Нина?

Ян не понимал этого порыва Александра, лежащего перед ним на огромной, ровной, как степь, кровати. Александр лежал, не отвечал, улыбался. Так улыбаются блаженные, что ходят летом вокруг магазина. Так улыбаются старушки в церкви или совсем маленькие дети. Ян уже так не улыбается. Он хмурит брови. Александр поднял голову, посмотрел на Яна, и все провалилось. Его старший друг навеки пронзен чужим сигналом, он во вражеских руках, он уже не он, и глаза его — не его глаза, а глаза всемировой одинаковой молодой любви.

— Послушай, дружок, помоги мне убрать это все, а потом я расскажу тебе все, это невероятная история, ты еще не слышал, это невозможно услышать, это неслыханно, только здесь, — он стукнул себя ладонью в горло, — и здесь, — ударил себя в живот, — вот в этих местах расползается такая боль, Ян, такая невероятная, вкусная, легкая страна!

Ян хотел возразить, указать на ошибку, но только молча кивнул.

— Давай я помогу тебе.

Они убрались в доме, таскали пустые бутылки на задний двор, смотрели сквозь них на солнце, мыли белые стаканчики с багровыми пятнами на донышках, наполняли ими невесомые коробки, прятали до новых праздников, сдирали с люстр и картин мишуру, выметали мусор, полные охапки разноцветных бумажных пятнышек, птичьих следов, выгоняли птицу праздника, выветривали дымные кухни. Ян ждал — вот они закончат и можно будет наброситься на Александра, побить его, окатить водою или сразу — мертвым морем его вернуть. Переманить обратно.

Вышли на улицу — стала жара. Деревья трещали, хотели одним хлопком вдруг распустить-

ся и зацвести, им некуда больше было ждать. Александр опустил руки в ручей. Был лес.

— Смотри — первая бабочка! — сказал Александр.

Ян поднял голову и увидел свою дружницу. Она летала вокруг них — огромная и сверкающая мать. Яну показалось, что она была сердита.

— Теперь уже нельзя ждать, хотя я бы подождал еще, пока ты бы остыл и понял, что пошел по неверному пути.

— Ты хоть и поразительный, но все же ребенок, Ян. Ничего тебе не понять.

Бабочка металась вокруг. Из ручья с треском поднялась громадная мокрая стена и отделила их друг от друга. Но Ян не обратил на это внимания, он закричал через эту стену:

— Она моя сестра, когда это случилось, ей было пятнадцать, теперь на год старше, с ней что-то произошло, она перестала жить, разговаривать, она вообще перестала быть, однажды летом, я думал — навсегда, я так испугался, я был тогда еще такой глупый, мог тоже за ней убежать в ту страну сна, но папа объяснил.. ты слышишь меня?

— Да!

— Папа объяснил, Александр, что она... она всегда у нас была красавицей и за это уснула, таким особенным сном, и может внестись обратно в наш мир, только когда найдется принц, который разбудит ее поцелуем! — От того, что Ян кричал очень громко, у него голос стал горьким, рваным, он кашлял, а потом продолжал кричать: — Я так долго искал этого принца, в поле, и в небе, и в море, за деревом и в школе — среди старшеклассников. Во дворах искал, в животных и насекомых. И тут я встретил тебя... ты слышишь меня?

— Да!

— Я встретил тебя и чуть не лопнул от зависти, ты и был этот принц, ты слышишь? Ты! Был и есть, и останешься вечно. Теперь ты должен пойти со мной к нам в дом, только тихо, а то там мама, мы откроем ее дверь, и она будет там, и ты поцелуешь ее, и мы возьмемся за руки, и...

Чем больше кричал Ян все это, тем больше сам понимал абсурдность этого, чем он жил все это время, что вымотало его до клеточки, что его всего испепелило. Такого не может быть — он знал, теперь-то, спустя год, глотнув настоящего жизненного нектара, он знал, что такого не бывает. Не бывает. И он засмеялся. И Александр, там, за стеной, засмеялся тоже. А потом стена упала, вросла обратно в ручей. Но Ян вдруг накинулся на друга своего, как маленький зверь, вцепился ему в воротник, повис:

— Я не могу больше ждать, это последние дни моего терпения, помоги мне, разбуди ее, разбуди!

Александр сидел, отодвинувши лицо, закинув его своей шеей далеко от Яна, вцепившегося в его воротник, от кипевших глаз Яна, от его растянувшегося, сухого, красного рта.

— Пойдем, пойдем, ты мой единственный друг, ты уедешь, и всё рассыплется и ничего больше не будет.

— Нет, не сегодня, я пока не готов, у меня недостаточно сил, я думаю о другом.

— Ты думаешь не о другом, а о другой! О, какой ты дурак, Александр!

Ян отпустил его, и руки Яна упали, заплакав и устав.

— Ну что ты, я имею право, я.

— Она не волшебная. А я хотел показать тебе — волшебную, волшебное всё. А ты — дурак, что тебе глаза этой Нины, сердце этой Нины, что тебе — кожа этой Нины. Эта Нина — серпантин. А я останусь один, совсем, навсегда.

Было очень сложно объяснить этому чудовищному, прекрасному ребенку абсурдность и тщетность главной его цели, это было невозможно, это была бы черта на нем, безжалостный крест на его ожесточенной маленькой жизни. Александр не сделал этого сейчас, он просто тихим движеньем оттолкнул от себя Яна, он смотрел на шатающееся его маленькое тело и понимал — этого никогда не сделать. И просто сбежать — слишком жестоко. Александр чувствовал злость — он во власти этого маленького человека, он чувствовал слабость — одна мечта делает Яна сильнее, чем он, в сотни раз. Александр не мог уйти.

— А ты знаешь, Ян, про родителей я тебе наврал. Вероника — моя настоящая мать, вот и все. А теперь пойдем — и твою мечту разобьем, чтобы спокойно жить и любить настоящих, живых людей. А хотя знаешь — давай пойдем вечером — мне нужно совершить одну ошибку. Нет, мы сделаем завтра утром. А теперь иди домой, маленький зверь — иди и плачь, плачь заранее. Много плачь.

Ян остался один у ручья. Он не плакал, он снял ботинки и опустил ноги в воду. Так сидел, и спину его целовало солнце. Бабочка села ему на голову. Все молчали.

Сижу, освещаемая, брошенная. Знаешь, о чем я сегодня молилась? Я говорю — я бы дралась с дьяволом на цирковой арене и убила бы

его, а потом стояла, осыпанная блестками, ненавистная Александру. Сегодня он сказал — выпей эту воду из стакана и забудь меня, мое лицо, выпей эту воду или вылей ее на меня. Я стояла, и вдруг эта вода вся вылилась у меня из глаз. Он был у окна и не думал даже смотреть на меня, страшная печать лежала на его лице, ему был поставлен какой-то тайный укол.

А потом, когда я спала, я видела — бросаюсь к его ноге и обнимаю ногу его.

Так говорила Нина своей подруге, уронив руки на колени. Вчера Александр отградил ее от себя совсем и окончательно, вчера Александр заболел, окаменел. Она не знала, что он всю ночь лежал, обняв руками колени, обдуваем всем ветром, и высоко, жалобно плакал. Она не знала, как предвкушал и улыбался, засыпая, Ян. Она не знала, как по полю бежала собака и исчезала за деревьями. Она не знала, как на асфальтовой дороге, ведущей в город, умер голубь и сквозь черный тающий снег неподалеку пробились первые цветы. Свистал ветер, кружились птицы, руки Нины лежали на натянутой ткани между коленями.

А утром мама Яна вышла, вдохнула воздух и оставила дома шаль — впервые после зимы она вышла в одном платье, сорвала сухую травинку, двигался в желтом колышущемся поле ее красивый силуэт.

По небу летят облака, середина апреля, все окна дома открыты, она подходит к озеру и видит, как у него стоят Ян и его друг — Александр — опустив головы, они смотрят в его воду. Мама улыбается.

Они останутся вечно — мечтающие дети, застывшие над прозрачной пропастью.

Анна Аликевич

Аликевич Анна Анатольевна, родилась в Подмосковье, в промышленном городе Электросталь, наиболее известном своими ТВЭЛами, производимыми на местном машиностроительном заводе, в семье физика и дефектолога. После окончания школы училась на историческом отделении Богословского института, а сейчас студентка 5-го курса Литинститута, поэтического семинара Е. Б. Рейна.

Мастер

...Цвела мозаика. В развалинах
Звенели блики голосов.
Войдя, один из дальних варваров
Лицо увидел сквозь песок.

Увидел небо светло-синее,
Белого золота полёт,
Как желтый остов древесины
Под стертой краской восстаёт,

Скупую выписанность ткани,
И зелень в слюдяных лучах;
Жену застывшую, веками
В глазах несущую печаль,

Ввысь уходящие стропила,
И вязь, что вывел богослов,
И как лиловые порфиры
Горят в закате куполов,

И кисти небывалый почерк
Обрел, и напряженье скул,
И руку верную, и очи,
И безъязыкость — и тоску.

Душа моя...

...ЧТО КНИГИ перелистывать —
Я слов не разберу:
Душа ль бежала из дому?
Иль разум мой в бреду?

Глаза мои лазурные,
Мой золотистый лен —
Они ль, землей разубраны,
Лежат под ковылём?

Персты не жмите кольцами,
Ни голову — венцом:
Душа моя — раскосая,
С оскаленным лицом...

Плывет ночными реками,
Густую гнёт траву,
Скользит степными ветрами
К далекому костру...

...Ей звездный лик ощерился,
Ей ветер вьёт закон...
Душа моя — кочевница,
Летящая в огонь...

Песни девы

ТЫ, ЧЕЙ ВОЛОС подобен черной соломе,
Высохшей водоросли солёной,
Вьющейся трещине в моем лале,
Подобен всему, что мы потеряли;

Ты, чьи ноги легки, как сухое древо,
Как песок горы, пар воды у брега,
Как ковыль, летящий с заросших пашен,
Как все то, что вовеки не будет нашим;

Ты, чье око подобно темной и терпкой
Крови, не текшей по венам предка
Ни моего, ни из тех, кто рядом —
Цвет земли, что живёт войной и виноградом;

Ты, что первый средь равных и равный средь
первых,
Чьи уста горьки, как морская пена,
Чьи слова сладки, как медвяные яства,
Чьи пути тихи, словно тропы аспида.

Да клянутся твоим именем цари в спорах!
Да зовут твоим именем детей в селах!
Ты, что ловишь дев на златые струны!
Для меня больше нет ни красивых, ни юных, —

Посмотри, это разве не ты со мной сделал? —
Нет ни тёмных, как мрак, ни, как лён, белых, —
Только ты есть один, и крепки твои путы, —
Ты, с которым — не буду.

К имени

НЕ НАЗОВУ ни сыновей, ни внуков
Гремящим, горьким именем — в день сует.
Пусть по складам из летописных букв
Его на древнем языке произнесут.

Пусть в ветхих сводах, в службе
беспрестанной
Его хранят затворников уста.
Ни глаз твоих, ни голоса, ни стана
Не выдаст в мир скупой полуустав.

Пусть вязь замков тугого переплета,
Пусть толща стен и памяти ключи —
Его спасут от времени навета,
От стрел татар уставят твердый щит.

Но дух, подобен молнии ночной,
Пусть он, сжигая книгу, повторится,
Когда мой сын, беспечный и земной,
В ней отворит тяжелую страницу.

Письмо Курбского

НАШ МИР ПОСТРОЕН из словес и тлена.
Судьба — как ночи августа темна.
Как от земли, пестря, уходит лето,
Моя душа уходит от меня.

И как мой род неосторожный вымер,
Я так же пропаду:
Мне хочется поехать во Владимир,
И в Слободу...

Мне хочется, глаза закинув в небо,
В дождях пропасть,
И гнать коней по вскруженному снегу —
Под листопад...

Идти бегом по бархатным палатам,
Во мрак ступень,
Через ползущий в половицах ладан,
Через капель;

И забывать, что чуден я и смертен,
И, мысль погнав,
Вдруг уловлять тревожный влажный ветер
В киот окна;

И глянуть в алой пропасти колодезь
Из мутных впадин...
Мне хочется любить тебя до слез
И на колени падать, падать, падать...

И ткать рассказ, как пелена ткалась,
Которую не царь — уж инок носит.
Мне хочется приехать... только раз...
В последний... Да пребудет с нами — Осень.

Ольга Коновалова

Родилась в 1986 году. В возрасте пяти лет без ее согласия была отдана в музыкальную школу. Занималась фортепиано и вокалом. После чего добровольно поступила в музыкально-педагогический колледж, который добровольно же бросила по окончании второго курса. Перед этим в колледжском сборнике «Проба пера» напечатали два ее рассказа, поэтому, окрылённая манией совершенства, Ольга бросила музыку. Считает, что если любимое занятие переходит в обязанность, то очень сложно сделать его творческим и любить — тоже. В настоящий момент учится в Литературном институте и отрицает категоричность во всех её проявлениях.

Адаптация

Рассказ

ЧЁРНОЕ небытиё.

Белый луч света растёт. Концентрируется в одной точке. Утолщается.

В центре — карусель. Медный диск, вращающийся по часовой стрелке. На нём люди в чёрных одеждах, похожие на монахов. Они вертятся каждый вокруг своей оси, против часовой стрелки, всё быстрее и быстрее. Быстрее и быстрее.

Луч растёт, он уже не луч, а белое небытие. Карусели не видно. Ни черта не видно. Свет.

Из света выходит толпа всё тех же чёрных монахов. Они семенят, они взволнованы, суетны, шепчутся.

— Он здесь!

— Он здесь?

— Да вон же он, вон же, вон же!

Монахи расступаются, выходит человек в красном. Лица не видно, он идёт быстрым уверенным шагом, на груди у него табличка с надписью «Епископ». Все замолкают. Тьма.

Знакомство с Я (как она, только моложе)

КОМНАТА С ЗЕЛЁНЫМИ обоями, ужасными обоями. Какой-то старый письменный стол, книжный шкаф: «Садоводу любителю», «Как выращивать помидоры в открытом грунте», «Всё о тюльпанах», «Формирование яблонь» и «Граф Монте-Кристо», случайный. Паркетный пол, старый. На нём много яблок. На окне тоже яблоки. Сушатся. А под панцирной с никелированными ножками кроватью зелёные помидоры. Спеют. А на панцирной с никелированными ножками кровати большая, очень большая подушка (такие нестандартные подушки делали когда-то в деревнях, из гусиного пуха обычнее всего.) На стене Айвазовский «Девятый вал», без рамки, в жёлтых разводах, дешёвка. По подоконнику ползают коричневые осенние мухи, похожие на дрозофилов, но больше. **Я (как она, только моложе)** сижу у окна, глажу надподоконное пространство, будто там чья-то рука. На мне дурацкое, фиолетовое, что-то.

Я (как она, только моложе). *Профиль слева.* Мне так хотелось поговорить с тобой о чём-то важном, но всегда не находила нужных слов и...и момента что ли, и забывала ещё... А сейчас...

я всё хотела записать твой голос, чтобы остался... и это, вот что, я невыразимо, невыразимо...

.....
.....

Я (как она, только моложе). *Профиль справа*. А ты всё старела... я приеду — а тебя опять не узнать, и...вообще наспех как-то...ты меня торопила всё, чтобы засветло домой.

.....
.....

Я (как она, только моложе). *Анфас.* Ну как же ведь, ведь как же так, ведь только ты... И никто уже мне не ответит? Мне казалось, мне всё казалось, я всё про тебя знаю, а если не знаю, то успею спросить... А сейчас...а ты любила Айвазовского? А что у тебя было связано с песней «Гори, гори моя звезда»? А какие стихи Есенина ты знала наизусть?..Чёрт! И всё не то, не то, и неважно даже... А кого ты больше любила, первого мужа или моего дедушку? А потом? А меня? А я тебя да...А почему ты уехала из Эстонии? А где бы ты хотела жить?.. хотела жить, хотела жить...да, вот ещё, и почему ты последнее время так не хотела...хотя...

Знакомство с Я (как она, только старше)

КОМНАТА С КРАСНЫМИ обоями. Яблоки целы и спелы. На полу. Под кроватями нет зелёных помидор. Кроватей тоже нет. Помидоры в тазу, они красные. Комната мала, за окном беспросветное лето и удушливые очертания цветущей сирени. Летом-то? Это не принципиально.

Я (как она, только старше) сидит у окна в фиолетовом платье, с глубоким декольте, обнажающем старую спину и плечи. Морщины, морщины, морщщины, морщщины. Она прекрасна. Она одела свой единственный лучший александритовый гарнитур (серьги, брошка и кольцо). Она прекрасна.

Она внимательно смотрит перед собой и кажется в себя. Она видит ту, из зелёной комнаты, которая как она, только...которая гладит её руку... И вместе с тем в комнате только один человек.

Я (как она, только старше). *Профиль слева* Ну что, мой милый журавлик, вот теперь так, вот теперь ничего не поделаешь, теперь так...Я же так там уставала, и всё тебя ждала...

.....
.....

Я (как она, только старше). *Профиль справа*. И старела я потом быстро... И переживала... за всех переживала... и за тебя, и за Раю, за Игоря только не переживала. Дрянь он, вот что.

...а ты приедешь раз в год, и я не знаю, радостно мне или...а потом я снова...И одна всё ходила подолгу, там, у нас, на водной, или это...на лодочной станции...А здесь я теперь платья красивые ношу, мне даже разрешили александритовый гарнитур по праздникам надевать, как у тебя, такой же...И почему ты его не носишь? Я ведь его тебе с душой...ты не думай... А перстень, так он в глухой оправе, дорогой по тем временам был... А у меня знакомая, Шурочка, до войны мы с ней в коммуналке вместе жили, потом она взамуж вышла и в Свердловск уехала, так она в ювелирном работала...Я как-то собралась, тайком от твоего деда и поехала, и выменяла...ткани ей привезла хорошей много, её ведь тоже не достать было... деду твоему потом сказала, что бижутерия, он ведь всё равно не понимал в этом...он вообще мне мало дарил...и цветов тоже... А я их так люблю, ты ведь знаешь, сколько их у нас в саду было, всяких.....да, кстати, у нас тут сирень цветёт, и черёмуха тоже...Не пахнут совсем только...

.....
.....

Я (как она, только старше). *Анфас.* Я вот с тобой всегда говорю, даже без тебя...Увижу что-то красивое и сразу думаю, вот бы журавлик увидела. Я когда ТАМ была, всё ходила к дому, где мы раньше жили. Ты мелками росписи свои на кирпичиках всё ставила, а они до сих пор там...странно, мел ведь, а дождём не смыло... Мне так много, так много хотелось говорить только тебе, но ты так редко...и я боялась надоесть...Ах, ну как же ты! ах...да как тебе такое!.. да я очень люблю и здоровья тебе прошу, лишь бы у тебя всё в порядке было, устроилось всё, лишь бы у тебя...а что мне... лишь бы ты... слышишь? Слышишь? Ну слышишь ты или... Слышишь?!

Я (как она, только старше) стучит ладонями по подоконнику, бессмысленные движения отчаяния.

И ещё там было нечем дышать.

Был март, когда её не стало. ЕЁ. Мне мама сказала по телефону, что она, что её...и так неестественно, по-книжному, «не стало»:

— ...знаешь, что случилось? Нет? Бабы Ани сегодня не стало, ночью...

а дальше гуденье-гуденье и поток неумных маминых слов-заполнений, дополнений, уточнений, я не хочу подробностей, я не хочу этого знать..

— ...в пять утра...А ты ничего не почувствовала?.. Да... хотя по московскому времени не то...

часовые пояса...А папа и тётя Рая в это время проснулись — видимо, есть *что-то*...видимо...---мама почти равнодушна, мама не дочь, сноха, мама не любила её.---Ты только не переживай, слышишь? Так бывает, слышишь, не переживай?

— Ну что же ты говоришь, как же, — глухо сказала из меня Алина.

И несмотря на неуместное «не переживай», мама продолжала уточнять, уточнять, уточнять

— ...Игорь пьяный тогда пришёл, толкнул её в грудь, сердце ведь и так больное, на следующий день скорую пришлось вызвать... а в кардиологию положили как раз туда, где Ольга работает, удачно так получилось...да...вот... потом ей всё хуже-хуже стало, искусственную стимуляцию сердца пришлось делать, несколько раз так... а после этих встрясок человек максимум два дня живёт, Ольга нам сказала... а потом ей лучше было, папа ей апельсинов принёс, она съела один, сказала сладкий... а до этого она не ела ничего, долго не ела...Тебя напоследок увидеть хотела... а потом...так интересно, труп почему-то на улице оставили, во дворике больничном... лицо у неё было мученическое такое, сжалось всё от боли... видимо, ей было очень больно...очень больно...да, вот что, ты...это... не приезжай хоронить... так хотела она... живой её помни, так сказала...

Я тогда куда-то начала проваливаться, быстро-быстро, и трясло меня сильно, а Алина села на пол и зубы сжала и не плакала совсем. И долго так сидела на полу, и страшно было за себя, за Алину, и не хотелось жить, и не хотелось не жить, и только одна мысль-вертушка: её нет, её нет-её нет-её нет-её нет-----И не было других мыслей, и это стало образом жизни.

МОНОЛОГИ

НЕ ПОМНЮ, ЧТО я тогда ела, пила, куда ходила, но появился он, Андрей. Мне даже кажется, что вначале он появился в моей голове, а только потом приобрёл телесность. Я, кажется, где-то гуляла, с Ницше гуляла, серенькая такая книжка, а Андрей заметил, и зацепился, и подсел, и разговорил.

Я говорила про *неё*, воскрешала, воскрешала, это были мои маленькие монологи, направленные не конкретно ему, а... мысли вслух. Он смотрел долго, внимательно, в меня, ловил движения, подстраивался. Я чуяла.

Он говорил что-то о бессмысленности философии и лишних знаниях и о том, что жить так мало, что надо это делать радостно (но глаза его были черны). О, эта обывательщина, он говорил неумное. Я сердито и неохотно возражала, хотела уйти, но не ушла... (А глаза его были черны.)

Потом его стало много, стало везде. В людях, в людях, в людях... Это не от любви, а оттого, что он был стандартен. Телефонов друг друга у нас не было. Он приходил по желанию, предсказуемо, по вторникам, четвергам и субботам, давая мне день на передышку, чтоб не задушить собой. Часто смотрел из моего окна, запоминал, сидел в углу, пил мятный чай, копался в моём компе, тайком подглядывал в блокноты, я знала, было забавно. Я не общалась ни с кем, кроме него, в институте не была больше месяца. Я много гуляла, не плакала о ней — теперь это было бы не настоящим. И постоянное ощущение грома в ушах, постоянного, непрекращающегося грома. И совсем не хотелось быть. Иногда я не открывала ему дверь, а потом смотрела в окно на него уходящего и пыталась что-то почувствовать, но был лишь гром.

— И все говорили мне, ты, Алиночка, как она, только моложе, а я была совсем маленькая, смотрела на неё и насупившись так: ну-у, не-ет. А мне говорили: «думаешь, бабушка твоя всегда такая морщинистая была, она была очень красива, да ты потом поймёшь», она была красива, теперь вижу, и сильна... дух...и голос такой грудной, красивый... слышу его иногда... Эти люди ошибались, я на неё не похожа, я слабее, я без неё не... (опомнилась, жестче, конкретнее, в лицо). Вот думаю я, что все мои эти разговоры не тебе совсем, это мои монологи, можешь уйти, а то я лишнего скажу, наверно...

Но как я не хотела тогда, чтобы он уходил. В этих ему монологах я начинала ощущать себя, в пространстве. Я становилась реальнее, человекообразнее. И это тоже было ново. А потом, когда он уходил, я винила себя за то, что подарила ему кусочек *её*. Что же останется потом мне? Как я буду, если раздарю её...Но не проговаривая все заметки о ней, мозг начал стирать некоторое, перекладывая на сердце ответственность за смутные эмоции. Я была зла на него за это. Я цеплялась за каждую фотографию в памяти, где была *она*. А потом я решила, что больше не скажу ему ни слова о *ней*. И стала молчать.

— Алина, кто она тебе? А, Алина? Что это за женщина, Алина?...

Я молчала. Алина молчала. Мы сидели на полу и пили «Мадейру». Александритовые серьги и кольцо, которые *её*, я тоже показала ему... А за окнами наступала непогода.

— Не храни ты эти вещи, тебя они расстраивают, слышишь? Выброс, отдай их кому-нибудь. Хочешь, я сам? Они же дешёвые, они же не золото, и не серебро?... всё равно...

Алина не слушала. Я молчала.

— --Ты не слушаешь. Мне кажется, ты не слушаешь. Алина! ...Алиииина! У тебя такой странный разрез глаз, цвет глаз и такой запах, твой запах... и руки и я не могу уйти от тебя, Алина! Я нужен тебе?

Я слушала. Алина молчала.

— --Я нужен тебе,- утвердительно. -Ты же, как воробей, и плечи так делаешь, и тебя нужно охранять, ведь мир зол, а ты мала... и я знаю, это опять банальность... я знаю, он у твоих ног, Алина, мир должен быть у твоих ног, Алина!.. Так сложно уйти, так сложно, проводи меня до двери, Алина, ведь я знаю, что ты так немногословна сегодня лишь оттого, что устала и хочешь спать, а я... Ты проводи меня до двери.

Алина проводила его до двери. Я молчала.

А он боялся дышать на неё, как на снежинку. И Алина закрыла за ним двери на все замки. Я, кажется, люблю... А Алина?

Он превращается в Андрея, когда уходит в мир. *Он* нежен, чуток, самозабвенен, предсказуем, чаще молчалив, чаще идеален, нет, всегда идеален, нет, вообще идеален. Зачем он превращается?!

Андрей же чёрствый, Андрей же человеконенавистник, Андрей эгоист, рационалист, злой-злой-злой. Жестокий-жестокий.

Он покупал красные вина, сыры, шоколад, водил меня в кино... Я отворачивалась, он фотографировал, я отворачивалась, он обнимал мои колени, я отворачивалась...

...Алина отворачивалась, она не любила смотреть ему в глаза, это было необъяснимо.

— Это необъяснимо...

— Алина, я знаю тебя только в профиль, и наверно, если ты будешь идти мне навстречу, я не пойму, что это именно ты... — говорил он и пытался развернуть меня в свою сторону, но я только кивала и отворачивалась.

Потом он куда-то пропал. И я запомнила его лицо. Серьёзное, смуглое, с чёрными глазами, со вставленной полуулыбкой, вполне себе красивое или же правильное, но... со вставленной полуулыбкой.

С полуулыбкой он пришёл ко мне через неделю, когда я о нём забыла. Не принёс ничего, никуда не звал, сел в кухне и смотрел, как Алина ела

— не доверяю тебе пока... — сказала я, — не смотри на меня, когда я ем, не люблю так, только для близких, тебе не доверяю пока. — Алина не смогла проглотить пищу при нём и выплюнула. Зло смотрела на него, потом, не выдержав: — ну что? Что?!

Он молчал, смотрел всё с той же полуулыбкой, неподвижно, в меня.

— Вот я тебя всё спрашиваю о чём-то, спрашиваю, и всё равно ничего о тебе не знаю! — так выпалил он вдруг, и прямо оператора зови, хоть сейчас в кино снялся бы. А я Станиславский. Не поверила. Алина отвернулась, по обыкновению, но захохотала. Я не ожидала от неё такой реакции. Он заглядывал мне в лицо, я отворачивалась. Он схватил меня за подбородок, крепко, повернул лицом к себе, неестественно, чтоб в глаза. Алина осеклась, замолчала. Потом:

— Что же? Ну как же, что тебе нужно знать? Я же... да всё неинтересно... как у всех... живу вот себе...

И рассеянно улыбалась, будто оправдываясь, будто таилась.

Потом были попытки просмотра фильмов, что-то не клеилось, потом были попытки секса — аналогичное. Алине было скучно, меня же он упорно игнорировал, так мы пытались спать. Тоже не выходило. Он смотрел на спящую Алину, я чувствовала взгляд и оттого просыпалась, были опять попытки секса, и всё по той же схеме до утра, кроме фильмов.

Алина не фригидна, Алина не могла любить. Его. Я же... Секс получился. Утром. Ему было приятно, а я приготовила овсянку.

Мы ели овсянку и смотрели утренние новости, был ноябрь и никуда не убежать. Безысходность. Он тоже её чувствовал, но —

...А потом он перестал уходить.

где воздух.(?)(!)(...)

КОГДА АНДРЕЙ остался — дышать стало ещё труднее.

Особенно по вечерам с Алиной случались странные приступы. Она глотала воздух, ловила его губами — не находила. Я уже могла при нём спокойно есть, заниматься своими делами, не замечая.

Утром мы вместе завтракали, принимали душ, вместе шли к метро, я в институт, он — на свою работу (знала только, что какой-то банк, что заправлял там всем его отец).

Подруг у Алины было не очень много. Высокая и модель Вера, живущая на содержании у богатых мужчин и похожая на неумную; институтская подруга Дина, с которой они пытались

«делать музыку»; и ещё пара совсем непримечательных людей, скорее случайных. Но Андрей исключил их всех из её жизни, сам же был нелюдим. Рассказывал иногда про какого-то там Фёдора, который то ли из протестантов, то ли... в-общем, фанатик какой-то, друг детства ещё и. Я его опасалась и вообще избегала.

Вечерами Андрей читал какие-то книги, курил на балконе долго-долго, это было, когда я *воскрешала её*. А обычнее всего смотрели с ним фильмы, он любил неумные, всё чаще комедии, и говорил, что жизнь без того сложна, что фильмы и музыка должны расслаблять его, что

— ...эти твои Гринуэи, Бертолуччи для тупых, которые грузят, грузят себя, пустоту заполняют в башке своей... Ты пуста? Ты тоже смотришь их. Ты пуста, — утвердительно, самоуверенно, пока случайно. Мне стало немного обидно, но он погладил Алину по щеке, нежно, и я сделала вид, что не заметила.

Потом он стал выдумывать гадости, от своих обид за моё невнимание причинял обиды мне же. Казалось. У меня же ещё был гром. И я была так не чутка.

— знаешь, меня сложно обидеть, теперь... тем более тебе.

— почему?

— Ну-у...

— нет, почему ты никогда не называешь меня по имени?

— Потому что ты единственный... кто ещё может быть, как мир, как...зачем тебе имя?! (смеюсь отчего-то)

— --Да, чёрт возьми, когда ты будешь говорить серьёзно! Мне кажется порою

— что солдаты,---и опять смех, но я не хотела.

Он сделал чёрную паузу, и ещё мрачнее:

— --мне кажется, Алин, что мы с тобой... вернее, ты со мной, только от скуки... или нет же, вот как, я нужен тебе только лишь для «воскрешения её». Но пойми, Алин, твоя бабка мертва, пойми, и дура ты, если думаешь, что любила её как никого никогда, ты вообще холодная, не способная на это, ты...

Он ходил по комнате, садился, вставал, играл зажигалкой, трогал виски — выворачивался. А я изворачивалась, а я старалась видеть только внешнее, жесты, движения, чтоб не слышать- —

— --...Оттого только, что она так «быстросмертна», как ты говоришь, ты и привязывалась к ней, и будто бы любила только её одну, всё выверенно в этом мире, Алин, продуманно, подсознание, Алин, Юнг, мать его, ты сама забыла, но это именно так!..

* * *

После этого мы, кажется, стали нелюбить друг друга взаимно. Он стал только Андрей. А меня он перестал называть по имени.

Однажды, это было почти лето, мы с Андреем сидели на балконе. Я читала какую-то книгу, к экзаменам, он смотрел на меня и курил. Щурился, недобро улыбался пухлыми губами и был похож на кого-то очень значительного.

— Чего ты боишься?---спросил вдруг.

— В смысле, вообще?---не разобрала.

— Ты многого боишься? Ты всего боишься?---пристально, что-то тая будто бы.

— Необъяснимого скорее.

— А я? А меня?

— Необъяснимо. Наверное, да. Да, боюсь тебя...

— Всё объяснимо в этом мире, тем более я.

Кричали вороны, шумел трамвай, чьи-то чужие голоса, искажённые эхом арки, ведущей во двор. Мы — в стороны. Молчим. И всё как на ладони. И всё так ясно. И я смотрю ему в глаза. И что-то новое — —

— Вот сейчас ты смотришь... — он.

— И?

— Ну раньше ты редко смотрела в глаза, а сейчас...

— Видишь, исправляюсь.

— Но раньше у тебя взгляд был мутен, плыло всё...

— Да? А сейчас?

— Сейчас обычный, чёткий, отчего же?

— Наверное, от очков, я тогда избавлялась от них, а теперь привыкла.

— Ко мне?

— Смотреть без очков.

.....

— Бродить пойду, наверно, — сказал вдруг. — А тебя не возьму, — смотрел внимательно, по-прежнему недобро.

Кричали вороны. Шумели трамваи.

— Неужели тебе настолько всё равно!---заорал.

Я молчала.

— Неужели настолько всё исчерпано, чтобы было такое равнодушие!

Вырвал книгу из рук, выбросил, схватил за лицо:

— В глаза смотри!

Уронил, ударил. Кто это?

— Дурь-то из тебя вышибу!.. не-ет, ты либо здесь, либо нигде, либо со мной... а так... Дурь-то вышибу!

Я заползла в комнату, он стоял надо мною и упивался своей силой — слабый же. Я не понимала, я отворачивалась, чтобы не видеть его глаза. Мерзко-мерзко-мерзко.

— И всегда боюсь слабых, вы такие неуверенные и злые,---я.

Он стоял у окна и больше не смотрел на Алину, потом:

— К тебе вчера эта, как её... Дина забегала, диск передала---и темно лицо, и незнакомо.--- там фотки были, и ты среди каких-то людей... Музыку ты с ней играешь? Какая музыка, ты же не способна ничего создать, ты же женщина!.. А мне не говорила... ты таила? Да? Зачем? Ты что-то скрывала?.. И люди... и эта Дина, они же все как палки — примитивные, а ты... *Ты*! Ты же... не должна опускаться до них, как ты можешь, о чём вы с ней вообще разговариваете!.. Как я тебя оказывается не знаю, может, ты такая же?.. (театрально как-то:) Ты такая же! (утвердительно)

— -- Презираю, — Алина. — слабых всех. Андре-ей! (дразня, по имени, как он любит)

И больше Алина не говорила.

Потом Андрей ушёл, закрыв Алину на все замки.

Вроде сентябрь. Или лето такое рыже-коричневое. Какой-то город. Бесконечно длинный пустой проспект, а в окнах ни занавесок, ни света, ни тени, точно муляж. И то ли вечер, то ли раннее утро. И по проспекту бежит женщина. На ней какое-то старое, хорошо пошитое твидовое пальто, лакированные туфли в стиле пятидесятых, колготки со стрелочками сзади, тёмная помада размазана, глаза подведены чёрным, слишком. Волосы до плеч, растрёпаны. Это красивая женщина.

Звук от её каблуков единственный звук. Всё мертво. Она подбегает к телефонному автомату, набирает, нервничает. То занято, то не берут, то занято, то...

— --Алло, Послушай! Я это! Обещала же, вот и... послушай, я забыла свой адрес, не знаю, что со мною, не знаю. И не у кого спросить, куда-то все подевались, куда мне идти? А ты где? Приезжай же сюда! Я не могу тут!.. Алло, алло? Алло?! Алло?!!

Я (как она, только моложе). Как же так, ведь я люблю... И такое бывает. Или же нет, милая моя, или же только ты. А ещё я думаю, что вдруг нет её, ну не между мужчиной и женщиной, а вообще, такой всеобщей любви... Нет, я не имею в виду любви ко всем, я же не настолько глупа ещё и знаю, чего уж точно... я про такую, которая исцеляет, которая смысл... И вдруг я тебя так любила только оттого, что знала, что ты вскоре... что ты скоросмертна... и всё это лишь эгоизм... Нет же, нет же, нет же, всё глупости, всё бред... только ты...

А ещё мне сегодня виделись снегири, большие такие, пребольшие. Сидят на ветках, и я их фотографирую, чтобы ему показать, ведь он их никогда совсем не видел. И всё это на лодочной станции. А там, где всегда автобус сломанный стоял, куст жимолости вырос и ягод много, и я их ем, и синие, и какие-то красные. А ещё знаю, что куст этот ты садила. И плачу, плачу, и смеюсь, смеюсь... И так чувствую... Я всё чувствую... И даже боли рада... А сейчас будто в коконе, от всего отгородилась, и всё мне мало, и ничего не хочу, и ничего не чувствую — —

Я (как она, только старше)... Это плохо, журавлик мой, это плохо. Мне, перед тем как здесь быть, дома́ снились. Чёрные, такие, как возле железных дорог, из каких-то шпал сделаны. И окон нету, и не выбраться совсем. А страшное то, что правда это. И здесь мне так же... Я тебе звонила-звонила, а ты? Не знаю, когда в следующий раз, и будет ли... И будь осторожна, и себя береги самое главное... и случайностей разных избегай и —

Только Алина

ВСЕ МОИ ЕМУ монологи были как затянувшееся предсмертное послание. Её. Моё. А он понимал. Андрей. Хотя этого не бывает, ведь всё такое непохожее, все такие... не бывает схожего восприятия. И все неповторимы, и в этом одинаковы.

Я проснулась от того, что меня кто-то душил, кто-то в одеждах епископа, католический, очень тяжёлый, звенящий голос, но я понимала его. Освободившись, я соскочила с кровати и пыталась выбежать из комнаты, но не нашла двери. Епископ исчез, но голос остался, он нависал надо мною, играл со светом, смеялся и превращался в Андрея. Единственным выходом было окно. У меня был седьмой —

Дальше — осталась только Алина.

После побоев Алина лежала, свернувшись калачиком, на полу и видела *её*. Там, в сентябре,

у автомата. Алина бежала к ней, обнимала, кричала — она не слышала, не чувствовала. Она плакала и всё становилось сиреневым.

Андрей вернулся через несколько дней, почти трезвый, только слегка обросший. Виновато молчал. Сел возле её кресла и смотрел-смотрел, так любят, наверное.

— Ты знаешь, мне был сегодня странный сон, — и Алина гладила его по небритым щекам, как гладят любимых. — Всё было в жёлтом...

...Всё было в жёлтом. Мы ждали урагана. Мы веселились и пили вино. Вокруг ветер. Спела малина. Огромная малина, величиной с яблоки. Ты целовал меня в глаза и так любил, что —

— Что тебе сделала?

Не люблю быть нелюбимой. Обыденностью тебя, что-ли?.. И слёзы-самокаты. Последний раз так рыдала после *её* смерти...Такая гордая, и не злюсь, и люблю. А когда ты меня — не могла. Такая несвоевременность. И от нежности готова бисером по полу, и к тебе прикатиться, таким мелким, чтоб не собрать. Чтоб ступал по мне каждый день... такая вот гордая.

Так не хотела впускать тебя, страшилась.

Ты спрашивал: «Чего боишься — меня боишься? Почему боишься?»

А я знала, что будет так. И страшилась я *полюбить-потерять*.

Он целовал её в глаза и всё повторял «не потеряла-не потеряла-не потеряла» и ещё «виноват-виноват-так виноват»... не потеряла.

Через несколько дней он ушёл насовсем. Бегством от равнодушия. А Алина уехала в город своего детства, чтобы окончательно воскресить *её* и, наверное, постараться забыть.

В апельсиновом доме

В ЭТОМ ГОРОДЕ вроде бы жили и ещё ждали её люди, такие близкие ей люди, такие уже давно мёртвые ей люди. Город её детства даже в 2007 году оставался в лесах и тайге, в сталинках и хрущёвках, в алюминиевых, трубных, литейных и машиностроительных заводах, в бесконечных ДК «Металлургов», «Строителей», в памятниках Ленину, Марксу, Энгельсу, в бульварах Парижской Коммуны и улицах Четвёртой пятилетки. Даже в 2007 году он был советской мухой в янтарях.

ЕЁ дом, знакомый Алине с детства, полинял и стал ещё рыжей. Уродливый рыжий панельный дом. Рядом лодочная станция, речка, за которой беспросветный лес и много-много несуществующих ныне тополей, которые были когда-то здесь, которые когда-то были большими, которые теперь только в алининой голове и остались. И рыжий дом казался больше. В голове он был такой надёжный, апельсиновый, с вонючим подъездом, стенами с нелепыми глупостями. А когда во сне, она бежала по лестницам на самый последний этаж, то пролёты были чем выше — тем меньше, и лестница сужалась, и дверь в квартиру детства была с ладонь. Как же зайти-как же зайти-как же зайти...И что бы это значило? Что бы значило. А сейчас понятно уже что. Что уже не зайти. Кончилось. Детство. Люди. Воспоминания тоже кончаются. Но пока. Осталось то, что задаёт вопросы. Внутреннее, подсознательное, которое не поймёт ни один ответ, оно не знает слов, оно может только почувствовать отгадки или же стереть что-то очень важное, что-то очень важное, что-то очень важное. В памяти. И будут только образы и непонятная тоска, и она будет казаться беспричинной, беспочвенной, с жиру.

А в подъезде все стены покрашены в небесное. И всё ещё пахнет краской. И уже не сон, и уже Алина поднимается на самый верхний.

У двери она поправляет волосы, кашляет — першит что-то, указательным пальцем касается губ, похожее на «тише», смотрит на коврик и только потом нажимает звонок. Дверь открывают почти сразу — только её и ждали.

Маленькая, толстая, в рыжем парике, пахнущая булочками, терпкими цитрусоподобными духами и валерьянкой, тётя Рая (дочь *её*). Она подготовлено приветливо улыбается, и только предательски щурятся заплаканные глаза.

— ...А я тут пылесосила, отдохнуть села и ты... а я думала, ты попозже будешь, и не накрасилась ещё, только парик натянула, а то совсем страшна что-то... да... вот... да ты проходи же в большую комнату, вон в ту комнату, да ты же знаешь всё тут, а я как с чужой, отвыкла... да, отвыкла...

А потом она суетилась с пирогами, салатами, будто не двое вовсе, и без умолку говорила, говорила о чём-то бытовом, насущном, внешнем, о чём с неблизкими, чтобы время заполнить. Но тут не то. Скорей от волнения и по привычке.

Алина молчала, пила коньяк и смотрела в окно, на деревья, которые...

— Ты ешь, что же ты не ешь-то ничего, я старалась, так ждала тебя, ждала... Как же ты на неё похожа, как же ты похожа!..

И тётка плакала, плакала. После *её* смерти тётка жила с сыном Игорем (внуком *её*) в этой

апельсиновой хрущёвке. Игорь по-прежнему пил, немного работал таксистом, потом разбил машину и работал «электриком на КУМЗе» (местный завод), выплачивал с копеечной зарплаты алименты. С женой Ольгой (медсестра в кардиологии, где умерла *она*) он развёлся ещё давно, и у них взрослела дочь. А когда он очень напивался, то разговаривал сам с собою.

— Да бля, бабка и так старая была, на тот свет пора было...А чё я, я эт, случайно всё... Ма-ать, э-э, ма-ать! — так звал он мою тётку.

— Да, Игорёша,---прибегала,---да ты же еле дышишь, так пьёшь, ведь сердце...

— Да, бля...я тя хотел спросить... мне тут это... щенка предложили, может, нада нам, стаффорда, тебе же нравились...

— Иди проспись, нам самим жить надо на что-то, а тут ещё стаффорда вздумал, живём на мою пенсию, раньше хоть с маминой пенсии как-то боле-мене по-человечески жили...

— Блядь, достала, иди отсюда! — орал, кашлял, задыхался.

— Чтоб ты сдох, скотина такой, — говорила тётка, возвращаясь к домашним делам, полушёпотом, скороговоркой, молитвенно.

Так жили без *неё*.

— И вот, знаешь, Алин, — плакала тётка. — меня вот Игорь обидит если, я вся такая бегу в комнату, думаю, щас маме расскажу, поделюсь, а прибегаю — её нет. А иногда ещё в комнате начинает ей пахнуть, и я начинаю разговаривать с ней. Может, от платьев запах, из шкафа — уж не знаю, надо будет потом отдать их кому-нибудь, а чего, они и новые некоторые есть...

— Тёть Рая, отдай мне, так надо мне, я была бы очень...

Последнее

АЛИНА ЗАБРАЛА все четыре платья, некоторые фотографии, где *она* так молода. Где она с двумя толстыми косами, вздёрнутым загорелым носиком, с подругой в обнимку, а на обороте полудетской *её* рукой: «*Любовь — это бурное море, Любовь — это злой Ураган, Любовь — это слёзы и горе, Любовь — это только обман. Нюра (она) — 14 лет. Маня — 16 лет*». Потом где замужем — уже без кос, в крепдешиновом платье, которое по рассказам было синим, потом 3 на 4, где она беременная Алининым папой (так она рассказывала, так она помнила, что на этой фотографии, где только лицо, она — моим папой).

Ещё у Алины остались её *драгоценности*, в число которых входила медная брошь с почти-рубинами, которую сделал когда-то какой-то знакомый из *её* деревни «*для неё*», которую *она,* даже глубоко состарившись, редко снимала. Остались её открытки на дни рождения, и всё только внешнее...

Побывав в *её* доме, Алина не воскресила её, как казалось. В другом городе, Алина думала, что ещё есть такое место, где *она живёт*. Теперь же была ясность. Определённость. И даже от неё сильнее становишься, вот только бы осознать до конца, как космос постичь, осознать до конца его бесконечность, но это нереально, хотя теоретически — возможно, практически же — сумасшедшим единицам.

Все воспоминания о *ней*, все чувства, Алина как бы превратила в сжатую папку, zip-папку, которая теоретически есть... И хотя ещё нельзя сказать «да, я *её* любил*а*», но уже что-то не позволит сказать «я её люб*лю*».

В саду, в том старом рыжем домике, собственноручно когда-то сделанным Алининым дедом, всё ещё *она*. В вечной осени, без печки даже...Иногда Алина почти видит *её*,видит большие ягоды малины в *её* ладонях, вёдра со свежими огурцами на лавочке возле рыжего домика — *она* собирается домой. Но так и не уезжает.

Она плачет, маленькая совсем, *она* прижимается к Алине, и навзрыд смешиваются все мысли. Алина гладит *её* плечи и говорит *ей*, будто всё обойдётся, хотя знает, что-—

Елизавета Шестакова

Родилась в Москве, пишет стихотворения, прозу, переводит. Интересуется поэзией Австралии, творчеством малоизвестной поэтессы викторианской Англии Елизаветы Россетти. Учится в Литературном институте на семинаре поэзии Г. И. Седых.

Мой муравей

Время дюгоней

ЕСТЬ ДОМА на высоких сваях,
Столбы в островерхих моллюсках,
Как слоновьи разбухшие ноги,
Держат хижины утлое тельце.

Когда приплывут дюгони —
Задремлют попутные ветры.

Посмотри сквозь горячие доски —
В белых щелях моря и света
Не увидишь прибоя скольженье,
Но почувствуешь, что плывешь.

Когда приплывут дюгони —
Кто-то возьмётся за вёсла.

Здесь живут молчаливые люди,
Но когда они чинят сети,
Их лучистые древние песни,
Как крылатые рыбы, летят.

Когда приплывут дюгони —
Наступит новое время.

На вощёной дощечке штиля
Только точка — долблёная лодка.
Может, кто-то бежит к восходу
Или просто «счастливой рыбалки».

Сколько раз заходило солнце,
Сколько раз приплывали дюгони.

От метро

КАРАМЕЛЬКА-фонарь не тает
В снежном стакане вечера.
Кто-то в окне словарь читает,
А кто-то говорит с диспетчером —

Часовым телефонного времени.
Сирота безотказного голоса,
Ты не знаешь, что в этом кружении,
В этом белом — две красные полосы —

От шапки тугой — на лбу у меня.
Значит, снова кружок, огибая дом.
Каждый вечер, знаешь, день ото дня.
Ждут — ждут — ждут в том родном,

В том тёплом, самом любимом, но —
Ещё пять минут поглотаю снег, —

Там пахнет лекарствами так давно,
Там царство бессонных горящих век,

Слепых ночников и ночных неотложек,
И чая, и чая, и чая опять...
Но стоит представить, что стали похожи,
Тем чем-то похожи, ни дать и ни взять,

Твоё «ноль минут» и моё «добрый вечер»...
...Шапку стянуть, нащупать ключи,
И вдруг побежать, побежать, мой диспетчер,
В сердце — ладонях, как пламя свечи,
От ветра хранить —
радость встречи.

Фонарь-карамелька не тает,
И в окнах никто не читает,
И время, мне кажется, спит.
Но только диспетчер не знает,
Секунды с надеждой считает
И в снежное утро глядит.

Жёны декабристов

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР, сидя у окна,
Расплетая седой пучок,
Она думает — вот не одна —
Декабрист цветёт и поёт сверчок.

И встречая рассвет, не может понять —
К той задаче не найден ответ —
Сколько раз проверяет всё ту же тетрадь,
Сколько раз... много — много лет

Просыпается рано и чуда ждёт
И уходит в пушистом пальто.
Вот прохожий не знает, как ярко цветёт
Декабрист... И не знает никто.

Бело-чёрное

НА ПОТОЛКЕ играли мухи —
В мантильях серых — блеск колен,
Движенья выверенно сухи —
В ладоши хлоп и прыг — до стен.

Так подведёнными глазами
В велеречивой немоте
В кино живописали драмы
На белом синема холсте.

Лежал старик на узкой койке,
На полосатой простыне.

И борода вперялась долго
В мушиный танец, как во сне

Спелёнат взгляд незрячим счастьем,
И мысли-мухи гаснут вдруг...
Проектор стих и безучастен
Аплодисмент вечерних рук.

Возвращение

ЕСЛИ ЛЕЧЬ на заднее сиденье
и смотреть на бегущее небо
и ласковый всплеск светотени
встречать распростёртым лицом,
то, кажется, что это — время —
всего лишь деревьев скольженье,
под сенью которых ты не был,
под ними не виденный сон.

А скорость — так просто — послушай,
в стук камешка звонко свернётся
и, словно оса в мякоть дыни,
вопьётся машине под дых.
В любом расстоянье отныне —
сильнее, и глубже, и глуше —
гул радости первопроходца,
пришедшего к дому родных.

Смотри — исчезает движенье,
и мы в горизонт прорастаем,
и облако белой ладонью
на крышу машины легло.
Мы были здесь, я это помню,
был сон, а теперь — пробужденье.
Мы время и место теряем,
и небо течёт сквозь стекло.

Река Оять

Я ВДРУГ медленной-медленной стану,
Буду много всего замечать.
Буду в правом глубоком кармане
Для старушек монетки держать.

Наплету много ярких авосек,
Чтоб нахмуренным людям раздать.
И спою тебе, если попросишь,
Про далёкую реку Оять.

Там течёт река — по земле ли,
Там плывут облака — по реке ли.
Только добрые тихие ели
Могут небо с водой различать.

Но пока я такая, как прежде,
С остановками буду бежать,
Буду просто идти с надеждой,
Что когда-то смогу рассказать,

Как течёт река — по земле ли,
Как плывут облака — по реке ли...
И про ели, про тихие ели
Спой, Оять, мне, спой
Мне бегущей, не-медленной.

Муравей

МОЙ МУРАВЕЙ, не бойся и держись.
Твоё весло — надежная травинка.
Плывут навстречу — облако к былинке —
Тележка под тобой и над тобою высь.

Стожок сложил из скошенной травы
Незримый дворник бережно и просто
И покатил его — плавучий остров —
И луч смахнул с усталой головы.

Плыви, мой друг, плыви, не бойся волн,
Плыви по солнцу, круглое сиянье
Теплом встречает, малое созданье,
Немудрое и хрупкое, твой чёлн.

Есть твой причал, сомнения развей.
Вот трав волна легла к ступеням храма —
На Троицу по ней дитя и мама
Идут.
Плыви, мой муравей.

Ольга Волкова

Родилась в Беларуси, в городе Бобруйске. Работала в международной газете «СССР: постфактум», «МК» (белорусский выпуск). Печаталась в «Немиге», в научном журнале «Личность — слово социум». В 2001 году вышел сборник «У зеркала».

Проща

Повесть

«И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына...»

Я СМОТРЕЛА на воду. Недалеко от берега плавала лодка. Старая деревянная лодка. Не было в ней рыбака, закидывающего сутулую удочку, не плескалась и не билась вода о ее ребра, потому что не было того, кто бы баламутил эту прозрачную, мягкую озерную гладь. Должно быть, она оторвалась... а может быть, ее спустили. Она стояла на воде, как будто ждала чего-то. Или кого-то... А может, это все тот же... ожидающий твари...

Самое интересное было для меня желание творить... творить из такой красоты — такую тварь. Ведь так тихо все: и дышит... и цветет... поет... плачет. Вдруг мне показалось, что все это тоскует по своему одиночеству. Может, самый несчастный день для всего этого и для этой самой лодки — день шестой?.. И только сейчас, эта тихая тоска — это те самые минуты, в которых все еще было до нас. И осталось совсем немного до нас, но еще есть это время, когда можно стоять на воде и слушать тишину. Есть еще это время, прежде чем рыболов закричит: «Эй, поди сюда!» — прежде чем на этом просторечии он погонит ее к берегу...

И вдруг я увидела, что всю ночь все живое вокруг пировало по случаю нашего отсутствия. Но теперь, чуть забрезжил рассвет, — лодка бежит к берегу, водомеры скользят по воде, гонимые купальщиками, аисты срываются с гнезд и летят от этих вспугщиков — и все бежит куда-то, летит, скачет, — лишь бы не встречаться с этими нелепо рожденными чудищами...

Я думала, это происходит как-то быстрее. С другими — оно всегда быстрее. Мне хотелось, чтобы все было так: птицы поют — и все прекрасно: солнце, лес, брусника и мы с Сашей — ведь мы счастливы! По-настоящему счастливы. А потом на пятки наступит это холодное: да, мы счастливы? Счастлив. Или счастлив? А еще больнее, когда счастлив... Что делать дальше?.. И опять череда вопросов. Вы не думайте, что приехал в святое место — и тут (вам) — мир чудес. Но мне, правда, хотелось, чтобы все было хорошо. Не замечать этих странных теток, волокущих сморчков-мужчин за шиворот. С криками: «Этому помолились, этому тоже, а свечки, свечки, везде поставили?..» И суеты их хотелось не замечать. И то, как они всей кучей

обливались колодезной водой. Так, как будто спортом занимались. И казалось, вот-вот вырвется голос из радиопередачи: «И... начали: раз-два — выше, в сторону, раз-два — выше, выше... Мо-лодцы!»

Гнать, гнать все это подальше, а глаза вперились и смотрят. Зачем, гадкие, глядят! Стой и молись. Своих, что ли, мало!

Мы ехали на велосипеде. Бабушка подстелила на багажник старую сетку, чтобы было не больно. Велосипед был тоже старый. Сашка специально набирал скорость, потом крутил руль то влево, то вправо, наводя на меня неимоверный страх. Я обхватывала Сашку за пояс руками и визжала на всю деревню.

А между тем вид был чудесным... Я болтала ногами и радовалась. Как же все это прекрасно! И поле, засеянное капустой, и эти женщины из незнакомой деревни, весело пропалывающие ее. А может быть, не весело. Поля с лужами сена. Как будто туча прошла этой стороной, выронив густые и плотные валики сухой травы. Туго скрученные шпагатом, эти смешные комочки рассыпались по всему полю. Все чудесно! Проезжая по лесу, мы видели на обочине усыпанные ягодами поляны... Мы спрыгивали с велосипеда и начинали собирать. Плотные, уже налитые брусника с черникой лопались в руках, оставляя чернильные кляксы. Никого здесь не было, кроме нас. Проползет под ногами уж или сорвется с ветки неизвестная птица... — так много мест для уединения... Чувствуешь одичалость. Будто родился глухим, живешь глухим, пока не прорвет эту немотную пленку в ухе своим отдаленным стуком дятел или чей-то шорох. Здесь живет и дышит каждая ягода, пригнувшаяся к душистому, глубокому мху...

Без обеда

С САШИНОЙ МАМОЙ мы сидели на веранде. В большом чане, полном воды, мокла лоза. На мне был большой брезентовый фартук. На коленях лежали секатор, лущик... Сашина мама принялась обучать меня плетению из лозы. Я училась старательно. Плотно прижимая к основанию сплетенного круга маленькие мокрые прутики, я делала все точь-в-точь как она. Пять часов — и ваза для фруктов была готова, а обед — нет...

Я очень испугалась, когда услышала шум. Откуда-то из дома, из кухни. Звук падающей кастрюли.

— Что это? — спросила я.

— Забыла об обеде... злится.

— Как это?

— Ничего, — она погладила меня по голове, — сейчас уедет...

Мы поднялись с Сашей на второй этаж. Сели на кровать. Саша смотрел на мою вазочку...

— Красивая!

— У вас так часто?

— Не надо об этом!

— Но как не надо? Почему вы терпите? Это и ваш дом! Здесь все ваше. Ну, проснись же, можно по-другому, я знаю... Ну что же ты! Слышишь?

— Нет, по-другому нельзя! Мы — другая семья... Не надо, не лезь...

Аист важно прогуливается по полю. Пасутся коровы, и пастух поспешно стелет газеты, доставая ароматную стряпню местной кухарки. Подперев рукой голову, выплюнув соломку, он кладет кусочек сала на хлеб. И нюхает... А ты едешь мимо всего этого.

Навасёлки... Когда-то здесь действительно было всего несколько домиков, новых селений. А теперь это целая деревня с устоявшейся жизнью, со своим диалектом, со своим пастухом, которого колотят вечером за сбежавших коров тучные тетки...

Забудзькі... Какие все-таки люди изобретательные на названия. В голове сразу рисуется что-то невероятное. Попадаешь в эту страну, волшебную, почти мистическую, — и забываешь все. Остаешься там жить навсегда. И живешь, живешь, так никогда и не вспоминая, что была какая-то другая жизнь до. Туча воробьев взвивается в воздух. На повороте — почта — пошта. Деревянная, из огромных брусьев. А сбоку прибит металлический ящик, выкрашенный в синий цвет. И на нем белыми буквами — Пошта. Нигде не вызывает столько умиления этот обыкновенный синий ящик. Где люди не знают об электронных письмах. Я подхожу к нему — и просто заглядываю внутрь. Эти почерки, ожидающие косые буквы. И фамилии, названия соседних сел. Они пишут. Пишут кому-то!

Коханаука... Каханне — это любовь на белорусском. А это место... какое-то тоже фантастическое. Где все влюблены. Наверное, с такими же надеждами глядел Моисей на землю, в которую привел заблудшее стадо. С такой же верой: вот теперь, уже здесь, наконец-то, не будет ничего, кроме любви. Мне хочется, чтобы это было так. Так хочется, чтобы это было так... сегодня, когда мы едем с тобой туда.

Вишни

МЫ ВЕСЕЛО собирали вишни: я, его сестра Жанна и он. Я стояла на треноге и пела русские народные песни, прерываясь, чтобы выплюнуть косточки. Вишни в такую пору особенно вкусные. Полные, налившиеся бордовым цветом, они пускают сок в пальцах: он стремительно течет по рукам, заползая в закатанные рукава папиной рубашки, просачиваясь на узорчатую материю неуклюжими кровавыми плямами.

— У меня полное! — кричишь ты...

— И у меня! — слышишь голос с соседней вишни...

— А я быстрее!..

— А у меня чище!.. листьев нет!..

Ведро за ведром тащите в дом из этого фруктово-ягодного сада изобилия.

— Есть хочу! — крикнула я. — Пойду домой...

— Нет!.. там отец. Он с работы приехал — пусть поест; уедет — тогда...

— Но я хочу сейчас есть, брось...

— Нет!.. я же сказал!.. он будет злиться...

— Да что вы все на цыпочках у него ходите! Вы что, не люди, не члены одной семьи? Да и что тут такого: человек хочет есть! Мы с утра тут по деревьям скачем... Нет, вы как хотите...

Я уверенно зашла в кухню... Отец Саши посмотрел на меня искоса, продолжая молча разогревать суп.

— И мне налейте, пожалуйста, — выпалила я.

Он неохотно и как будто с укором зачерпнул половником молочный суп. Все говорило в нем о его нерасположенности трапезничать со мной. «Нет, — думала я, — сегодня и всегда, когда я буду приезжать в этот дом, мы будем есть вместе. Или я вообще сюда не приеду».

Оба стола были заняты свежим мясом и салом поросенка.

— Откуда свежина? — дерзко, явно игнорирую необычный факт соприсутствия, спросила я...

— Откуда-откуда... Благо хозяин в доме...

— Может, помочь упаковать в холодильник?.. а то есть ведь негде: столы заняты...

В его глазах читалось явное недовольство тем, что я нарушаю какие-то, казалось бы, раз и навсегда заведенные порядки. Еще больше отца Саши злило то, что он не мог нагрубить мне, он даже не мог позволить себе быть хладнокровным и сдержанным; я ловила каждую возможность быть соучастницей в его присутствии. Я была чужой — и в этом было мое преимущество, — я была — новой...

После того, как мы упаковали всю свежину, мы сели за стол вдвоем. Я приготовила салат, который мы с мамой всегда готовили, ожидая гостей. Конечно, я сделала это специально. Я хотела вынудить его быть со мной другим. Я хотела лишить его возможности упрекнуть меня в чем-либо. Мне хотелось видеть его обречение на себя хорошего. Я снимала ложкой молочную пенку, медленно накручивала ее на ложку, а потом топила в тарелке. Отец Саши нервно наблюдал за моей экзекуцией пенки, но так ничего и не сказал.

— Ну как вам мой салат? Правда, вкусный?

— М-да... — протянул он, как бы так, не имея в виду вопроса.

— Ну жена ваша — находка! Такие пирожки испекла! Больше всего люблю пирожки с капустой, — резво сказала я, убирая с нижней губы капусту.

— М-да... Ну как, вишен на компот собрали? — сказал он так, как будто все это время мы говорили о вишнях.

— Да. Спелые совсем... Вон руки как поцарапала, — я согнула руки и вытянула вперед, — щиплет!

— Ладно, пора мне на работу, труба зовет, — сказал он в неуклюжей, иронично-доброй интонации...

Я осталась на кухне. Подперла рукой голову и смотрела в окно. Саша с Жанной все еще собирали вишни. Я видела, как Саша бросает вишневые косточки в волосы Жанны, и она, делая вид, что не замечает, засовывала их в металлическую трубочку, явно готовясь к атаке. Почему они молчат? Как они могут жить так спокойно и радостно! Ведь нельзя, нельзя так, чтоб человек, живя ***здесь***, давал обет послушания... И кому? Ему, ему, ему...

Кому отдать это порченое сало? Это порченое мясо. Это тело, испещренное пороками. Возвращаешься — налипает оно. Не отмахнуться! Не спрятаться! Не убежать! А самое страшное — не откреститься. Крещусь в две руки — липнет.

«А вот поворот на Прощу!» — закричала я... Небольшой крест около огромного камня. И иконка над крестом с изображением Серафима Саровского в дни его длительного поста на камне. Мы сворачиваем и едем по обычной лесной дороге в виде большой борозды, с посаженными в нее шишками, хвойными палочками, муравьями, листьями... Слева и справа от нас — такое изобилие брусники! Пучеглазые, глядят они равнодушно на эти жадные, измученные души паломников.

Мы добрались до Прощи под вечер. Тихая и мудрая, она встречала нас в этой густой чаще

соснового леса. Справа, из деревянного бруса, — домик настоятельницы. На лавке — кот. Чуть впереди — сестрический приход. Здесь живут сестры храма.

Целое поле цветов вокруг... Даже на грядках с картошкой и луком — астры и гладиолусы. Яркими оранжевыми пятнами настурций выкрашены грядки с капустой и морковкой. Повсюду цветы. Узкая песочная дорожка ведет прямо к святому источнику. Вот здесь мы с Сашкой услышали голос тихо молящейся сестры. Бесшумно набрав воды в колодце, мы подошли к купальне. Читая тропарь в этих сооруженных женщинами трех деревянных, ярко-синих стенках, я окатила себя тремя ведрами воды и разрыдалась. Холодно... Колючая вода впивалась в теплое тело. А в душе что-то раскололось и стало тяжело. Будто кто-то обидел. Хочется обвинить кого-то в том, что тебе сделали больно, что тебе холодно — и некого. По-женски безудержно я начала хлюпать в этой маленькой купальне, смотрящей прямо в чащу леса. Только огромные деревья смотрели на голую, какую-то болезненно скулящую девушку. И этой девушкой была я. «Совсем больная», — подумала я про себя и еще больше разрыдалась.

Потоп

НОЧЬЮ БЫЛ сильный дождь. Такой сильный, что с потолка маленькой комнатки, где хранились запасы муки и сахара, начало капать. Саша толкнул меня в плечо.

— Дождь... Вставай... Мама уже внизу!

— Не-а, спать... — пролепетала я и рухнула на подушку.

Саша быстро сбежал по лестнице. Спросонья я слышала, как кто-то возится внизу. Еле заставила себя встать. Я стояла на лестнице в пижаме, не понимая, что происходит. На цыпочках Сашина мама выносила ведра с водой. Саша вытаскивал мешок с подмокшим сахаром. Жанна собирала воду тряпкой и выжимала ее в таз.

— Что происходит?

— Тихо, папа спит!..

— Бери, помогай...

Саша кинул мне тряпку. «Папа спит, папа спит», — недовольно бурчала я себе под нос... «Папа спит...» — если бы не Сашина мама, я бы поднялась наверх. Но я была с ними в ту ночь. Почти два часа мы спасали содержимое каморки. Сашина мама светила нам фонариком... Мы ловили нашими тряпками пятна луж, собирая их в ведра и тазы. А главное: все старались не шуметь. Делали спокойно. Даже я. Делала и знала, что вот сейчас мы все уберем и так же тихо вернемся в свои постели. И только я буду продолжать спрашивать себя о чем-то.

А кто-то спал... Почему он спал? Почему ему разрешили спать?..

— Вы слышали, ночью дождь был? — сказала я, дожевывая за завтраком бутерброд с сыром.

— Нет... я спал...

— А мы полночи убирались. Воды... — Сашина мама посмотрела на меня недвусмысленно — я замолчала. Обиделась. Мне было обидно, что разговор не продолжится...

Сестра Анна уже собиралась назад в город, оставляя нас на попечение сестры Раисы. Мы сели за стол. Она смотрела на нас пучеглазыми карими глазами с укором. Я сразу поняла, что делаю что-то не так. Под столом я дернула за рукав Сашку, увлеченно глядевшего на салат с помидорами, заносив над ним голодную ложку. Сестра перекрестилась и начала читать молитву. Мы с Сашкой тоже перекрестились и начали молиться вместе с ней. Обед был весьма скромным. Жидкий капустный суп и салат из свежих помидоров. Сашка пытался подавить чувство голода хлебом.

За обедом сестра Раиса была довольно красноречива. Она рассказывала о том, как заболела раком, и о том, как пришла в храм после болезни. Я гнала всякие мысли о ее психологическом портрете. Я устала. Я устала от оценок, мнений, болтовни. Мне хотелось относиться ко всему беспредметно. Приехав в Прощу, я дала обещание во всем слушаться сестер, быть участливой без участия. Я хотела познакомиться поближе с собой. Все мне было ново и интересно. Такой беспрекословной и кроткой я себя не знала. Это была внутренняя необходимость в таком поведении.

Мед

Я ВЫШЛА В ОГОРОД, срывая напоследок красные сочные сливы. От жадности руки тянулись во все стороны: то к вишне, то к алыче, то к смородине. Уже кололо в кишечнике. Живот вздулся. А бирюзовое платье было таким узким, что живот уже невозможно было спрятать. Он еще больше болел от напряжения при втягивании. И я откровенно его выпучила. Я увидела Сашку, смеющегося в окне. Он показывал пальцем на мой живот...

— Александра! — крикнул мне Сашин отец...

— Да...

— Ну что, уезжаешь?.. Отъедайся напоследок... Хорошо у нас! В огороде!

— Да... Отъелась уже. Я спрятала под панамкой живот...

— Ты знаешь... Я вот тут для тебя подарок... — он открыл дверцу машины и достал оттуда литровую банку. — Полакомишься...

— О-оо! Мед я люблю... Спасибо...

Утром мы привычным маршрутом отправились в храм. Трава была росной. Мои кеды быстро стали мокрыми, и я опять стояла в храме с промокшими ногами, посиневшими губами, бледная, с впалыми от голода щеками. Стоять было непривычно. Мы с Сашкой всякий раз робко, но страстно смотрели в уголки страниц, которые перелистывала сестра, потому что знали, что на двадцать третьей заканчиваются утренние молитвы.

Молитва не ложилась в сердце. Было трудно сосредотачиваться. Хотя мне очень нравилось необычное звучание церковнославянского языка. Потом сестра читала Псалтирь. Ноги начинали так ныть. Стоять прямо я уже не могла. То и дело переминалась с ноги на ногу. Сашка прятался за спину, давил смех. Мне и самой было смешно. Всякий раз я насильно возвращала себя к молитве, такой странной, певучей, скорой. Может, поэтому такой скорой, чтобы не было времени подумать о чем-то другом. Но я все равно думала. Вспоминала родственников. Чаще всего вспоминала о том, что мне надо сделать завтра, послезавтра, в следующем году, в конце... жизни. На этом месте становилось совестно, что я так далеко думаю и не могу два часа не думать обо всем этом. Сашка встал на ребро стопы. Пятки болели. Меня начал тоже душить смех. Потом он внезапно бухнул на пол и начал усиленно молиться, шевеля губами, знаменуя себя крестом. Сестра остановила чтение и сделала замечание, что в этом месте молитвы не коленопреклоняются. Сашка поднялся и отошел в сторону. Мы переглянулись и еле сдержали смех. Каждый знал причину этого молитвенного жеста, столь неистового желания коснуться коленями пола. Уже в самом конце молитв я понимала праздность нашего веселого настроения и начинала молиться искренне. Мы чувствовали себя пришельцами. Чувствовали, что здесь есть место каждому и каждый этот идет нашим путем. И так будет всегда.

И вместе с тем в нас стало больше стыда, от которого было страшно. Было даже страшно смотреть друг на друга, как будто мы знали, что увидим там все то, что мучило нас, все то, от чего мы хотели избавиться. Как будто это вышло изнутри, но не сошло с лица. Как будто россыпь наших грехов лицом должна была напоминать о них. Если мы смотрели друг на друга, то каждый, как в зеркале, видел отражение себя самого. И снова становилось страшно. Страшно, что эта сыпь никогда не пройдет.

Это тебе, отец...

САША НИКОГДА не отчаивался в его нелюбви к себе. Он шел напролом. В день его пятидесятилетия он был особенно нервным. Долго сидел за гитарой. А когда я зашла, то увидела, что он что-то шептал ей.

— Почему он не любит тебя?.. Ты спрашивал его когда-нибудь об этом?

— Да.

— И...

— Молчит. До сих пор молчит.

— Он говорил когда-нибудь тебе, что любит?..

— Хочется верить, что да... А вдруг, вдруг... это было тогда, когда я не смог запомнить эти слова. Так жаль, что я их не смог запомнить тогда...

Гостей в ресторане было много. Родственники, друзья по работе...

Саша вышел в центр зала, подставил микрофон поближе к гитаре и начал играть. Он играл чудесно. Лучше, чем всегда. Это «лучше» было каким-то мистическим. «Лучше», которое уже не зависит от тренировок. Какой-то универсальный порядок начинает говорить в нас.

— Это тебе, отец...

После праздничного вечера, уже дома, он подошел к нему и подарил крестик.

— Это тебе, отец...

Вечером

МЫ СИДЕЛИ на втором этаже их дома. В детской комнате. Я лежала на диване и разглядывала детскую стенку «петушок». Я вспоминала, как Саша стыдился ее. Он не хотел, чтобы что-то было не так. Боялся, что я увижу их старый коричнево-красный плинтус; старый мягкий уголок, который хорошие хозяйки прячут под искусственными мехами или узорчатыми вязаными пледами; старый стол (если лежать на полу, под ним, можно увидеть на старой пожелтевшей этикетке: «Кухня Ольга, Зр. 40к.»), этот стол тоже преображают свежие полевые цветы в вазе, голубой с ромашками кувшин. Бывает заплесневелая старина, а бывает такая, домашняя, от которой пахнет романтикой прошлого.

Этот «петушок» казался мне таким милым. Яркие красные шкафчики с молочными ручками. Сразу вспоминается детский сад: эти забавные шкафчики со знаковыми рисунками на дверцах, где заботливые мамы оставляли сменную обувь, колготки или носки. Каждый раз, когда ты выбегал в коридор, ты узнавал свой шкафчик (на каждом из них были нарисованы или трактор, или шарик, или машинка с милицейской мигалкой).

Вскоре к нам присоединилась Сашина мама. Вечер перетекал в ностальгию по прошлому. Она вспоминала то время, когда была солисткой Ленинградской филармонии... когда все еще могло быть впереди...

— А он говорил вам (ну, уже тогда, когда все испортилось), почему все так произошло?.. Когда-нибудь?

— Да, говорил. Где-то семь лет назад. Ему было очень плохо вечером. Он что-то почувствовал, пришел ко мне и сказал: «Таня, мне плохо, кажется, все... Ты хорошая мать нашим детям...» Он попросил прощения за все...

— И...

— А утром ему стало легче.

— И неужели ничего не изменилось?

— Ничего!

До причастия оставалось два дня. Два дня усиленной молитвы и поста. Для меня чувство голода никогда не было испытанием. Я сносила его с легкостью. Зато с унынием и гневом справиться было сложнее. Сашка напротив: во время молитвы его не покидало ощущение голода. Я знала, что мыслью он несется домой, к пище, которая никогда не была запретной. Но он тоже стеснялся этих мыслей. Все-таки храмовые потолки тесны для наших похотей. Он крестился, произнося «аминь» в тех местах молитвы, где говорилось о грехе тайноядения, чревоугодия; и так каждый крестился в тех местах, в которых видел свои слабости. Молясь, каждый из нас по крестному знамению мог прочитать наше исповедальное, покаянное слово. Иногда мы с Сашкой сбивали сестру, произнося свое «аминь» там, где его не было в молитве. Но мы с Сашкой знали: это все оттого, что мы отвлекались, и поэтому просили Господа вернуть нас к слову Божьему.

В первые дни сбивались мы часто. Видно, каждому из нас было еще много о чем думать помимо молитвы, к которой было такое сопротивление. Преодоление этой заботы о завтрашнем дне очень трудно. Но мы решили бороться, потому что сил думать обо всем самим, жить на попечении друг друга — не было. Этот путь изжил себя внутри нас. Мы уже чувствовали необходимость Его голоса, Его помощи, Его Воли — не нашей.

Сашка после скромного завтрака ушел в палатку. Я пошла за ним с православным целебником в руках. Юбка уже болталась и еле держалась на бедрах. Я чувствовала свои ребра без прикосновения. Они были обнажены, как бабушкина стиральная доска. Я ушла в чтение. Сашка лежал у меня на животе.

— Саш, я хочу есть.

— И что?

— Твоя мама положила мне кусок сала...

— Сашка, хороший мой, послезавтра причастие. Не надо!

— Но я не могу. Я все время думаю о том, что мне хочется есть!

— А ты помолись!

— Это кощунство. В молитве просить о спасении души, а думать о спасении тела.

— Ну и ешь!

Я вышла из палатки. Зашла за сестрический приход — и разрыдалась. Мне казалось, что так человек и не начнет бороться с собой. Ему нравится быть собой. Нравится страдать, нравится болеть, любить... Нравится жить и вкушать аромат всего, что его окружает. И трупный запах души — тоже нравится. Спаси меня, Господи!.. Но не сегодня — дай еще пожить, а потом, завтра, завтра, когда-нибудь, спасай, слышишь, когда я призову тебя, но не сегодня, а сегодня — дай уснуть в объятиях любимой, дай поесть вволю, дай мне стакан вина, дай мне радости и смеха, смеха — больше смеха, Господи, дай!..

Сашка шел прямо ко мне. Я вытерла слезы.

— Что?

— Сало было в двух пакетах!

— И что?

— Кот разодрал и погрыз...

Я начала смеяться. Все громче и громче. И не могла остановиться. Какое это чудо, когда вас слышат. И еще больше, что вы. Сашка был грустный-грустный. По-детски смешной и наивный, может быть, даже невинный с этим своим салом.

— Что же ты плачешь, дурочка моя! Ну что же ты смеешься, ну вот видишь, — твоя правда. Остался твой Сашка без сала! Будем причащаться. Не плачь, любимая! Не надо!

Сестра Анна и сестра Раиса уехали на неделю в город. Мы с Сашей остались одни. Это был настоящий подарок. Это была по-настоящему здоровая, насыщенная жизнь. Утро мы начинали молитвой, обливались водой. Саша колол дрова. Я — складывала в старый сарай. Потом

мы украшали грядки с цветами красным обожженным кирпичом. Пропалывали огород, снова молились, обливались. Мы садились на деревянную лавку недалеко от купальни и начинали рыдать. Что это? Мы не знаем. Только внутри становилось чище, легче. Легче было смотреть друг на друга. Не страшно. Думалось чисто. И гляделось. На красоту эту. На этот оберегающий нас лес. Все дышит просеянным туманом. Вечером мы собирали в лесу бруснику, пили чай. На длинных деревянных лавках за длинным деревянным столом мы вдыхали ароматы липы, мяты. Лопались во рту спелые ягоды. И не хотелось думать, что все это может закончиться тогда, когда только началось. Казалось, что такое уже никогда не должно закончиться, потому что только так ощущается что-то настоящее, что дано каждому. А разве настоящее возможно потерять? Разве мы можем его терять? А мы теряем...

Ночью мы с Сашей остались в храме. Долго молились. И слезы сами плакали. Мы читали покаянные каноны. И каждое слово покаяния теперь было новым. Мы останавливались, вслушивались и не могли поверить, что все это мы, а ведь это мы! И так не хотелось быть такими. Но мы были. Оттого и плакали. Мы остались ночевать в храме. На пурпурной дорожке, которая вела к покровительнице этого храма, святой блаженной Валентине и Богородице.

Горели свечи, доживали прожитый нами век. А мы спали на полу... совсем новые...

Деревня

ВСЕ БЫЛО В ЭТОЙ деревне по-деревенски. Начиная от ее названия: Тимковичи. Мы поехали туда, чтобы отметить день рождения Сашиной мамы. Снова без отца. Он уже двадцать лет не поздравляет ее. А ей хотелось праздника. Это было видно по всему. По тщательной заготовке шашлыков, которыми ей так хотелось угостить соседей. По настроению. Такому празднично-возвышенному. Такое часто случается с детьми. Мы с Сашей, чувствуя ее волнение, помогали, как могли.

— Ну зачем устраивать эту показуху? — злился Саша.

— Прекрати. Подумай о ней. У нее никакой радости в жизни нет! Это ведь так мало. Ну что ты злишься? Ты же все понимаешь... Да и ей самой тошно. Как будто от безысходности. Как будто ей сорваться надо. Без пошлой компании здесь не обойтись.

Все так и было. Удивив гостей шашлыками, богатой закуской, даже нами... Мы весь вечер изображали приезжих музыкантов, покоряя сельских жителей городской экзотикой современной музыки. Только выть хотелось от этого праздника. Мама Татьяны Сергеевны, уже совсем старая, суеверная женщина, отозвала ее в сторонку. Я прислушалась...

— Ты ж хоть фонарь на улице погаси. Поздно. Не хорошо это. Людей созвала... Таня!.. — с упреком сказала она.

— Нет, мама, сил! — почти крикнула Сашина мать. — Всю душу вывернули... Это ж я из-за вас с папой на себя этот груз взвалила!

— Таня!

Саша увел бабушку в дом, а Татьяна Сергеевна опять окунулась с головой в праздник, которому была не рада. Эти липкие сельские мужики, готовые тут же, на глазах своих жен, полапать городских девок, пахнущих чем-то инородно-городским, ухоженных, накрашенных.

Мы с Сашей долго не могли уснуть. Саша молчал, но я чувствовала его стыд. Ему было стыдно, что я видела все это.

— Это не так, как в твоей семье, — сказал он мне.

— Не упрекай ее. Она — женщина. Она — устала. Я, правда, ничего не думаю. Всякое бывает. Все от пустоты и одиночества. Не надо стыдиться. А почему твоя мама сказала, что это из-за них она взвалила на себя такой груз?

— Дед сказал, что в их семье разводных не было и не будет... если она уйдет — не дочь больше. Вот она и не ушла. Терпела...

Утро было напряженным. Завтракали только мы с Сашей и Жанной. Молча вышли из дома и так же молча ехали до Слуцка на электричке. Там, на вокзале, нас встретил отец Саши.

В машине мы тоже ехали молча. Я в боковое стекло видела особую бледность Татьяны Сергеевны. Ее несвежесть и усталость. Мне она показалось необычайно постаревшей. Как будто окончательно вчера молодость исчерпала себя. Сил больше не было. Ей было стыдно передо мной. И от этого мне было еще неудобнее. Потому что я не винила ее. Мне, наоборот, хотелось всем своим видом сказать ей, что я ей по-женски сочувствую, жалею ее, люблю.

Отец Саши сразу уехал на работу, не заходя в дом. Сашина мать, стремительно открыв дверной замок, побежала в туалет. Она пыталась заглушить этот ужасный звук, вызывающий физическое раздражение желудка, дергая за веревку сливного бачка. Но всем нам было как-то стыдно за наше присутствие. Мы целый день

жались к стенкам, ходили по дому бесшумно, не тревожа этот стыд, которому надо было рассеяться до завтра.

В голове — храм: «Аллилуия, алли-лу-у-у-иа, а-лли-лу-у-у-иа!» Ничего иного не хочется слушать. Такое ощущение, что проснулась какая-то архежизнь внутри меня, интуиция моей прошлой, настоящей жизни.

Батюшка приехал сразу после обеда. Увидев в окно, я вытерла руки тряпкой и вышла на крыльцо. Мы с Сашей подошли просить благословения. Внутри было столько вопросов, но я не знала, как спросить. Можно ли? И зачем спрашивать — не знала. Может, лучше вообще душить, душить эти вопросы в себе. Я вспомнила, что есть такой грех совопросничества — когда человек интересуется тем, что выше его ума и чего Бог от него не требует. Эта мысль казалась мне утешительной, но недолго. Она могла успокоить меня на время, но раздражение вопросами я чувствовала горлом. Батюшка спрашивал Сашку о том, как нам здесь. Давал наставления. Во всем чувствовалась его благорасположенность к нам. И мне становилось легче от его теплоты. От его теплого взгляда, полного соучастия. Я все-таки подошла.

— Батюшка, я не понимаю, зачем молиться! Иногда мне ни о чем не хочется просить. И не хочется просить о прощении. Ничего не хочется. Иногда я просто произношу слова, не думая о них... чувствовать у меня нет сил, не хочется, не знаю... как? Я расплакалась...

— Зато бесы понимают и трепещут. Успокойся и по силе продолжай молитву.

(В уголках глаз его притаилась добрая улыбка. И эта улыбка была дороже мне всякого ответа, потому что в ней была сопричастность. Чувство того, что такое бывало и в его жизни, и у других, и у тех, которых мы не знаем. Я почувствовала себя сильней.)

— Любовь испытывают любовью. Терпение есть непрерывающееся благодушие. Носи это в сердце и работай... Борьба с грехами — самая тяжелая работа.

— Но иногда я чувствую такое бессилие! Нет во мне сопротивления злу. И возможно ли это? Победить грехи...

— «Возьми корень послушания, ветвь терпения, цвет чистоты и плод добрых дел, сотри все сие в сосуде смирения, просей сквозь сито здравомыслия, всыпь в котел упования, налей воздыханиями и прибавь несколько слезной воды; потом разведи огонь Божественной любви, покрой котел милостыней и обложи его дровами трудолюбия. Когда приготовленный состав совершенно разварится, тогда охлади его братолюбием и прими лжицею покаяния...»

Отец Геннадий заботливо положил руку на плечо...

Секундами я чувствую, каким был человек до греха. Потом тучный грех проникает в меня — и я теряю это ощущение. Давай открестимся от этой тучи! Не хочу! Защити меня, Господи, спаси и помилуй мя. «Аще хощу или не хощу, помилуй мя, грешнаго!»

Я шла по дороге к купальне и думала о том, что сказал батюшка. Мне казалось, что внутри меня нет такого сосуда, в котором бы я смогла не расплескать слова истины в городской московской сутолоке...

У святого источника сидела дочка батюшки, Даша, и в своих беличьих ручках грызла жадно шоколадку. Когда она увидела меня, ее страх был подобен испугу прислушивающегося зверька, который еще не видит источник опасности. Она подпрыгнула, наконец, разглядев меня, скомкала фантик за спиной. Недолго думая, Даша произнесла: «Я согрешила...» Ничего больше не сказав мне, она медленно, склонив голову, пошла в домик. С упрямством, а не смирением, она покаялась матушке, став в угол.

Я жадно наблюдала за дочками батюшки, пытаясь найти в них ответы. Маша, такая серьезная, совсем не похожая на ребенка. Как будто она уже давно начала работать... Совсем худенькая, с длинными белыми волосами, туго сплетенными в косу, с покосившимся белым платком — слушает храм-хор... Что там, в ее маленькой головке? Выметено, наверное, там... Чисто... все вымыто и блестит. И в глазах — чистота необыкновенная!

Даша, живая, энергичная, похожая на шустрого бельчонка. Глаза глядят всюду. И еще хотят, да не поспевают. Карие, горят и ищут чего-то. Интересного. Темные сбившиеся волосы торчат из-под косынки. Все смотрит по сторонам, прихожан рассматривает, в платье новом — нравится себе... Да вот только ее не видно. Красивую, важную. Берет ключик, выковыривает воск, а потом играет им с лампадным огоньком.

Маша, строгая, подошла и звонко ударила по ладошкам. Даша перекрестилась и стала у канунника. Стоит и косо на Машу глядит. А потом опять рассеивается и бегает взглядом по расписанным стенам.

На улице Даша — ветер. Носится... яблоки падают. «Здесь нельзя бегать», — сказала я ей. «Мне — можно!» — «Это почему тебе можно?» — «Потому», — вполне чеканно и опреде-

ленно сказала она. Я недоверчиво переспросила: «Почему?» И хотя в глазах я давно прочитала этот такой естественный детский ответ: потому что мой папа директор, или начальник, или батюшка, но она так и не решилась сказать мне это. И меня это поразило.

Иногда мы тяготимся неизбежностью любви близких. Заботой, попечительством, ласками. И лишь немногие познали, как страшна неизбежность ненависти близкого человека. Бывает ли такое в природе? Какой-то сбой гармонии. Но в созерцании этой ненависти рождается чувство огромной признательности за эту недооцененную неизбежность любви. За то, что родители любят нас, хотим мы этого или нет, заботятся о нас, когда мы не просим их о заботе, молятся о нас, когда мы не слышим этих молитв, — они рядом. Я чувствовала огромную силу этой святой неизбежности и благодарила Господа за нее. А он плакал у меня на плече и кричал: «Отец ненавидит меня!..» Разве может в сердце отца жить эта фатальная ненависть? За что?

Никогда не могла стоять рядом с отцом на кладбище, где похоронен его отец. Видеть мужчину, который там, внутри, рыдает, — невыносимо. Рыдает как ты, девочка, женщина, может быть, бабушка, — все равно, — теряешь... Он смотрит на его черно-белое фото, разговаривает с ним, и этот их длинный, такой детский, искренний разговор доносит до тебя ветер. Ты тоже когда-нибудь будешь стоять на могиле своего отца и разговаривать с ним все так же, как ребенок. Ничего не изменится с тех пор, как самые радостные моменты сплетали вас в одно целое: игра в футбол, тяжелые затрещины за обиды, нанесенные матери, улыбки и легкое ощущение прощения в ямочках этого сурового, но дорогого лица. Папочка, я поговорю с тобой сегодня, можно, чтобы не потерять эти драгоценные минуты. Чтобы они никогда не ушли в прошлое или будущее. Папочка! «Ну, говори...» А что говорить, а говорить как всегда — ничего не нужно. Кроме: «Я люблю тебя, папа. Так люблю».

Листья в начале осени. Зеленые, чистые сердца — к ним ползет ржавчина.

Давай обманем время и будем любить друг друга вечно!

Это было страшно несправедливо лезть в мою голову. Но мыслей было так много. Они обрушивались на меня во время молитвы. И я думала их именно тогда, когда должна была забыть. Сейчас я вспомнила, как ко мне в общежитие приехала Юля, мама маленького Ванечки, с которым я сидела в няньках два года. Со мной он пошел. Он носился по коридорам и не мог понять, что моя комната — это моя квартира. Ему казалось, что весь коридор со всеми комнатами — это и есть мой дом. И он толкал своей маленькой ножкой полуоткрытые двери и входил туда. Туда, где вековой запах нестиранных носков, водки, которой проспиртованы даже стены, запах немытых тел... Он так разрыдался, когда пьяный дядька лукаво поманил его пальчиком, протягивая в руке стакан. Но потом он все-таки понял, где мой дом, потому что он не такой, как там... И бабочки у меня на стенах — как живые...

Стыдно вспоминать, как много стыдного. Помню, как отметила успешную сдачу сессии. Купила бутылку водки и осталась одна в комнате, когда там, в коридоре, было страшно шумно. Как всегда бывает шумно в общежитии. Один придурок, когда я пошла мыть руки (странно, по привычке я отправилась мыть руки, потому что обычно у меня вместо водки — яблоки), и этот придурок, там, возле раковин, положил в горшок с цветком две дольки лимона, которые он выловил из своего чая. Я вернулась в комнату и налила себе в кружку с декоративными китайскими узорами водки. Я выпила залпом, как учили. На лице моем появилась идиотская улыбка. Моя комната показалась мне не комнатой, а всем миром, в котором я была по-настоящему свободной и который по-настоящему был ласков со мной, ласков до уничижения. Я закусила хлебом, потом мой нос сделал что-то странное: он втягивал катышки на рукаве моего шерстяного свитера, он хотел занюхать это непривычное жжение. И ему удалось это. Этот странный книжный жест, может подсмотренный, а может... бог его знает. Но мне было так хорошо. Я не помню, как доплелась до кровати. Только и сейчас меня не покидает чувство, что у меня было страшно тупое, счастливое, свинское выражение лица. Я не могла ошибиться: это было именно оно. Потому что я хорошо знаю эти тупые лица, обезбоженные желчные глаза, полные водки. Еще мне казалось, что я страшно храпела ночью, потому что, когда я просыпалась, я чувствовала свой рот открытым. А я никогда не спала с открытым ртом раньше. И это был ужасно противный, свинячий храп, — его я тоже хорошо знаю. Потому что в коридоре их много...

И еще я вспомнила преподавателя, который говорил, что Катерина в «Грозе» именно в церк-

ви Бориса увидела, потому что мечтала много... Всегда в церкви мечтала, дура. Смотрю на Сашку... Но ведь он со мной уже. И не в церкви я его намечтала, а там, на улице... Смотрю на Сашку... Может, мы вот сейчас вместе мечтаем... Проснусь — а сестра все читает... Красиво и не понятно. Язык Бога — язык Бога... Не русский и никакой другой. Заговоришь — поймешь. Только заговорить бы! Было — однажды. Когда болел отец. Я почему-то сама очень хотела помолиться. Стала в углу, глядя на икону «Ангел златые власы», — и молилась. Плакала, что-то бормотала... Язык Бога — язык любви. А в тот момент я папу очень любила. И может, поэтому все поняла. Но потом-то что? Как будто все забыл. Любить не перестал, а забыл, что любил вообще. Живой, здоровый, радостный — и все забыл. Как с ним поговорить, когда счастлив и молиться не хочется.

Признание

ТАК БОЛЬШЕ нельзя! Я купила билет до Слуцка и поехала к Сашиной маме. Вечером мы сидели с ней в Сашиной комнате и разговаривали при свете настольной лампы.

— Он не может так больше! Я прошу вас, скажите, почему он не любит его, почему так мучит? Я прошу вас, скажите правду!

— Не мучьте меня! — крикнула она и разрыдалась. — Саша — не его сын. Не его! Да! Не смотри на меня так, Александра... Не говори ему...

— Не скажу...

Как больно, Господи, как больно. Терять ненавидящего отца — больно. А терять чужого человека, любя его, как своего, — как больно, Господи, как больно! Не знать того, другого, настоящего. Может, так и не обнять его никогда.

— Кто он?

— Не хочу я, оставь...

Я ехала домой на попутке. Хотелось спрятаться в чьей-то чужой машине. Чтобы не думать. Я буду знать, а он — никогда... И любить будет... Но, может, эта любовь ненавидящих нас и спасет нас. Может, если мы научимся любить чужих как своих, презирающих нас, — мы спасемся. Может, надо потерять родных, чтобы любить прохожих. Через них возвращать любовь близких. Кровь говорит... Я никогда не думала так остро и не осознавала того, что кровь говорит. Почему в человеке так обострено это чувство своего-чужого? Сашка так часто говорил, что сомневается, отец ли он ему. А может, каждый из нас не сын и не дочь, пока мы не потеряем их? Пока мы не найдем, не увидим в них чужих, чтобы обрести своих и никогда не терять больше.

Накануне Пасхи

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ мы едем святить булки. Люди бережно достают из сумок булки с плетеными косами, уложенными на их шапках; булки в виде огромных желто-коричневых боровиков с гладкой яичной пленкой, так напоминающей влажный след, который оставляет после себя улитка. Больше всего в Пасху я люблю вот такие мелочи. Люблю, когда женщины перешептываются, поглядывая на соседские булки. Недовольные своими, они тут же начинают выяснять рецепт ваших, огромных, полных, отливающих золотом. Люблю, когда так много людей. Люблю смотреть на яйца, которые крутят в своих крохотных ручках детишки. Больше всего я люблю красные, но они ведь не красные. Этот удивительный цвет остывшей крови. Мне не нравится украшать яйца. Выходит батюшка и, смачивая кисточку в ведерке, спрыскивает вас святой водой. Морщишься, вздрагиваешь. Какая-то странная внутренняя дрожь. Потом спазм — и слезы. Плачешь не навзрыд, а так, как будто плачет только лицо, без тела. Почему плачешь? Чувство такое, что плачешь от чистоты, а выходит — только грязь. Одна грязь. Плачешь и от этого очищения — радостно. Почему-то в этот момент начинаешь любить платок на голове и длинную юбку. В этот момент я вспоминаю: «Не буду больше поражать всего живущего, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его».

В день Пасхи мы всем двором играли с яйцами. Ставили шиферную доску на кирпич и скатывали их. Сначала я, потом Павлик в дедовской ушанке. Ему везло только в начале. Он сбивал мои яйца, довольный и жадный, тут же прятал их за пазуху. Но потом мы с братом сбивали все яйца. Единственный случай, когда соседские куры несут их только для тебя одного. Мы с братом всегда выигрывали. Несли домой полную шапку яиц. Бабушка прикрикивала на нас. «Зачем тянете в дом, своих нет, что ли!» Но мы ликовали, конечно. И дело было совсем не в яйцах.

Утром все, выползая из комнат, начинают христосоваться. Целуются, поздравляют. Какие волшебные слова: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Мы с братом бегаем в предо-

щущении Пасхи. Папина прабабушка передала нам фамильную пасочницу. Каждый год мама делает творожную, сладкую пасху в ней. Деревянные створки трапециевидной святыни были узорчатые, с красивыми крупными цветами; на двух других створках — два креста. Но, казалось, никто не спешит за стол. Все упиваются радужным настроением, солнцем, бьющим в наши деревянные окна. А мы не могли ни о чем думать, как об этой волшебной пирамиде, вкус которой мы ощущали, еще не пробуя.

Вечером мы всегда едем на всенощную. Снизу звонарь кажется короткоруким. Он возвещает звоном: «Христос Воскресе»! В толпе верующих я думала о том, что когда-то в это время люди бежали к камню с возгласами «не верю, не верю», а сейчас мы поем: «Христос Воскресе!» Это бегство от камня меня так радует.

До чего странно видеть людей врагами. Лежишь на каком-нибудь диком и заброшенном пляже — страшно встретить не-человека. Недочеловека — не так. А совсем дикого — страшно. Страшно от этого страха. Но сам факт существования такого вот не-человека — он нестерпим в сознании. По силе сотрясения факт этот огромен. Сказал Господь Моисею в «Числах»: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех, осквернившихся от мертвого». Я мечтаю о таком очищенном месте. Как мне хочется быть там! Локальная зона добра. Так хочется не бояться человека. Не бояться за то холодное, пустое, огромное молчание, через которое не пробиться свету, добру, Божьему слову.

Я часто отвлекаюсь, читая Библию. Но это отвлечение лечит. Мама кричит из кухни, чтобы я шла перемывать ягоды на консервацию, — и я, насупившись, начинаю пыхтеть как испорченный мотор — злюсь. И хорошо, что злюсь. Или заглядывает в комнату нехороший гость, а может быть, хороший, только не в эту минуту. Лает навязчиво собака на другую, и чего лает, дура, — на прохожих так не скалится, как на эту. И еще много-много чего лезет в голову. А уж сколько мыслей чужих! Но в том-то и дело, что собственных, от которых хочется отмахнуться. И хорошо, что лезут эти мысли. На солнце усыхают язвы, затягиваются гнойные раны. И мои, смотришь, затянутся.

Единственная форма общения с любимыми и миром — откровение. Даже больше скажу — больше, чем откровение, — откровенческий нервоз, психоз. В этом смысл исповеди. Вот почему любовь Господа к нам важна. Господь ждет этого откровения. Очистки от лжи.

Истинная любовь — это апогей человеческой слабости, я бы даже сказала беспомощности перед внутренней стихией любви. Гордость, скептицизм, черствость, холодность, равнодушие — это все комплексы нереализованной любви. Любви, которой за всем этим тесно, душно, самое худшее — сыро. Отсыревшая любовь — ужасна. Любовь — это же безграничная детскость по чистоте и восприятию. Я вспоминаю папино: «Что получила в школе?»

На языке щекотится «четыре», а оно, живое и детское, лишенное лжи, произносит: «три». Вот оно, открытие открытий. Природа честности — любовь. Я поняла, что восстановление разбитого на осколки Бога начинается с самого последнего его дня творения: человека... через звезды, тварей, воду, землю, до первого дня, Хаоса — и единственной Гармонии. Ничего нельзя миновать на пути к Нему.

Истинная же любовь стоит на пороге самозабвения.

В детстве на рисунке ковра нам видятся всякие чудища. Мы подолгу рассматриваем их, пока головы львов снова не станут цветами. Я — точка на глобусе. Отец обнимает меня руками, и мы начинаем вращаться вместе вокруг божественной оси.

Белки, земляника, нога, тонущая в зеленом лохматом мхе, похожем на пористую пемзу или старую истрепавшуюся мочалку... Это все — запах Прощи.

Игра с отцом

— НО ВЕДЬ БЫЛИ ЖЕ моменты, когда он играл с тобой, был ласковым?

— Да, были. Он играл со мной. Качал на ногах, боксировали в зале, катали мячи, но потом он так резко отталкивал меня. Так грубо. В этом не было даже привычной отцовской строгости. В этом просто не было любви. У меня накатывались слезы, и я убегал в ванну. Я рыдал там. Каждый последующий раз, начиная играть с ним, я уже был готов к тому, что он оттолкнет меня, как чужого.

Я стараюсь не шуметь. Аккуратно зажигаю лампу. Но отец... Этот неменяющийся отец. Он заходит в комнату и как тогда, в детстве: «Что случилось, дочурка?» На уже немолодом лице все та же доброта и тревога.

А тут человека лишили этого. Обокрали на столько лет Любви. Вот почему человек вообще ищет первоисточника, ищет его как солнца. Интуитивное чутье подсказывает ему, что где-то должна существовать абсолютная любовь. Для

кого-то это мать, для кого-то, а для кого-то — Бог.

Мать и отец — это вообще нечто мистическое. Как можно здравым умом понять и объяснить эту мистическую привязанность, слепую заботу о вас и безвозмездную любовь!

Пока сам так до какого-то сердечного безрассудства, пульсирующего сердечного крика не полюбишь — не поймешь.

Вода утром гладкая-гладкая. По такой воде хочется идти — не идешь. Стоишь по пояс в воде. Такая тишина. Ныряешь — как тонешь. Потому что хочется утонуть во всем этом. Ни рыбака, ни детей. Только листочек цепляешь рукой и плывешь туда, где восходит солнце.

Запах сена. Пробуждение от горлопанов-петухов, начинающих подавать сигналы утра с четырех часов. Ты с любопытством всматриваешься в воронки пыли, закручивающиеся в световых лучах, пробивающихся в щелки сарая, где спишь на сене — ты. В решето нашей крыши льется утреннее солнце. В сарае хорошо спать при дожде. Тогда тепло высохшей травы ощутимей и радостней, чем тепло домашней печки. Или кровати. Здесь ты почти с дождем, почти танцуешь с ним, щекоча пятки яблоневым листочкам. Суета многое оправдывает, но ничего не прощает.

Бабушка посыпала солью сено, а я скакала до крыши, сбивая своей макушкой все неровные места.

Какой чудесный дом в Проще. Узкие деревянные лавки, растянутые по длине дома, длинный деревянный стол. Белые льняные салфетки, на которых стоят высокие худые свечи. Маленькие окошечки. Еще не беленная шоколадная печь. Железные койки, на которых пирамидой тянутся пуховые подушки; словно в лунку проваливается голова. Старый деревянный сервант стоит в углу. В фарфоровой сахарнице сахару — на дне. В пакете лежат отсыревшие сушки... Маленькая тумбочка. В ней Псалтирь, акафист Божьей Матери, Житие Серафима Саровского, церковный календарь.

Особенно мне нравится скрип обитой войлоком старой двери с длинным железным крючком. Я люблю заходить в дом вечером. Когда темно. Как будто закрываешь нерушимую стену, скрипучую, старую и все-таки нерушимую. Вечером в доме, как в детстве, в котловане безопасности. Зажигаешь свечи, разговаривающие со своими отражениями. Что-то потрескивает — это что-то сгорает... Гори-гори... Трещи больше! Не спеша разливаешь чай, сыплешь в него горсть брусники... Длинной ложкой выковыриваешь липовый мед. Тело не чувствуешь. Дрова еще долго откликаются в руках и спине...

Но ложиться приятно. Берешь в руки Иоанна Кронштадтского и уже вдали от всего — летишь. Куда-то летишь, как будто проваливаешься. И спать не хочется. В окне самолета боишься чего-то не разглядеть. И я смотрю. Плачу — и продолжаю смотреть. Не верю: как мы все похожи. Такие одинаковые — даже скучно. Но сейчас мы другие. И может быть, такими уже не будем никогда. Такими чужими себе — такими легкими.

Утром Сашка косил вокруг храма. Я косила траву жадными до травы ступнями. Жесткую зеленую челку рвала пальцами ног. Запах! И роса — не роса. Слизываешь — сладко. Пить хочется — мало! Сашка, босой, косит и поет. И коса, как шмель, носится у вырытых кротами кочек. Нет, не верю, что это проходит. Что другое — естественно. А это — нет. Бывает ли... вечный взлет души?

Послезавтра — Успение Богородицы. Работы много. Храм вымыть, двор убрать, цветы составить, приготовить угощенье. Протираем иконы. За стеклом — фотография Матронушки. На ней она — как моя бабушка. Заносит над головой белый платок. В этом взмахе какая-то необычность сопричастия. Четырехугольник на иконе — это земля, а поверить не можешь, что она, потому что земля делается землей только ногами святых. Как много подаренных икон в храме; резные, иногда какие-то античные, с виноградной лозой, ягненком — и все-таки святые. Что-то предчувствующие. Много икон из бисера. Руки человеческие! Сколько вы можете... сколько можете, а бежите... Я плету венки из цветов, в вазы ставлю белые пионы. Сколько паломников будет — сколько!

Вечером приехала матушка с сестрами. Надо готовить. Варим брусничный кисель. Постные пироги, салаты. Сколько паломников будет — кисель варить надо, много киселя... А в колодце вода мутная. И мало ее — больных сколько, паломники едут и едут, топчут купальню. Чмокают резиновые галоши, тащат ведра, льют, льют, льют, льют. И пьют много — кровь с илом.

Праздничная служба — всегда празднична. Батюшка говорит — как елеем мажет. И вроде не смотрит на тебя — а как тебе говорит. Плачешь. Смотрю — другие тоже. Праздничные службы все так проходят здесь. Сашка говорит — он мой платок глазами искал, чтобы Евангелие на голову положить. Знает... Что знает? Что надо *мне* положить? Или что *помо-*

жет? Как мне хочется это знать... Батюшка заботится о своей пастве. Даже когда некогда — боится упустить человека, потому что паломник [просто так] редко ездит. Ездит — когда надо. И его в этой нужде нужно не пропустить. Батюшка все это понимает. Оттого не спешит. Хвост исповеди в притворе, а он не спешит. Спаси, Господи! Не спеши, батюшка... Сколько на тебя уповает!

Это был нам подарок от батюшки с матушкой. Они так рады были нашему венчанию. Батюшка благословил нашу семью, а потом и говорит, улыбаясь: «Вы тут оставайтесь — никакого вам путешествия не надо. Здесь — все. Поработаете, попоститесь». Сам с тоской оглядывается, вздыхает. «Сам я тут — как вы будете — редко». Столько тоски в глазах. Нет им уединения. И праздник уединенной молитвы — редок. А нас — благословил. Так тепло благословил, как будто в его жизни было такое, как у нас — будет. Каждый с чем-то по святым местам ездит. И он, видимо, тоже когда-то...

Застежка

САШКА ВЫШЕЛ из ванны. Волосы были зачесаны назад.

— Ты так похож на своего отца с такой прической.

Сашка тут же взъерошил волосы и поцеловал меня в лоб, ничего не говоря.

Я тоже сделала вид, что ничего не говорила.

— Сашка, а у меня застежка сломалась в моем любимом рюкзаке. Понесу папе покажу.

— Нет! Я — сам.

— Да ладно, папа быстро посмотрит и сделает.

— Нет! Я — сам. Меня всегда удивляло в твоем отце то, что с чем бы вы с матерью ни подошли — он никогда не сказал, что не справится или ему понадобится помощь. Я хочу, чтобы ты тоже всегда была уверена во мне. Как я никогда не был уверен в своем отце. И никто из нас.

— Сашка...

— Я — сам.

Из-за угла комнаты я наблюдала, как Саша ремонтировал мой рюкзак. Он очень нервничал. Дергал застежку, но ничего не получалось. Он ковырял в ней отверткой. Кусал губы. На лбу я видела проступившие капельки пота. Мама скоро позвала нас обедать.

— Нет, пока не буду, — крикнул Саша.

Мы обедали с мамой одни. Уже дожевывая последние кусочки яблок, я увидела в дверном проеме Сашку. Он держал рюкзак в руках. А на лице его было столько неподдельной детской утренней радости и счастья.

Сашка пафосно и громко заявил: «Отныне и вовеки все и всегда в этом доме буду делать я».

Мы с мамой по-женски улыбнулись друг другу. Какое неуемное желание быть непохожим на своего отца...

Поразительное сходство

Я СИДЕЛА НА ТЕРРАСЕ и разглядывала огромные, набухшие ветки винограда. Казалось, ягоды сейчас лопнут от своей наполненной синевы. Зрение обманывало вкус. Рука тянулась к веткам. Но воспоминание о вкусе говорило, что есть мне их совсем не хочется. Кисло! Отец Саши возился у машины. И я переключилась на него. Я стала его рассматривать, подмечая поразительное сходство с Сашкой. Волосы (если бы у Сашки были зачесаны так, как у его отца) — не отличил бы. Пальцы ног были настолько похожи, что невольно бросился бы целовать их, как те, которые целуешь на его ногах, как самые дорогие. Икры ног были точно такой же формы, округлые, спортивные. Иногда так невольно начнешь улыбаться, когда увидишь маму с дочерью. Как правило, дочь еще не подалась в бедрах, немного уже в плечах. Но какое-то природное набухание и природное стремление подражания сквозит в движениях дочери, в ее походке, в движениях бедер, так похожих на движения идущей рядом матери. Невольно угадываешь в ней мать. Глядя на Сашиного отца, я угадывала это же сходство, так неминуемо грозящее ему. Повторение, подражание...

Новый год

НОВЫЙ ГОД ПРОХОДИЛ у нас всегда весело. Родители готовили праздничную программу. Они и нас с Сашкой приучили к этому. Интуитивно каждый после октября чувствовал в воздухе приближение праздника. В стихотворной форме мы сочиняли различные сценки. Часто писали пародии на членов нашей большой семьи. Особенно приятной эта часть была детям.

Когда мы были маленькими, мама и папа, не нарушая традиции, подкладывали подарки под елку только первого утром. Ночь была крайне неспокойной для нас с братом. Каждый не хотел просыпаться утром вторым. Оттого мы почти не спали. Под утро же каждый просыпался в жутком испуге, что он уже все проспал. Это еще раз

подтверждало то, что самым важным был не подарок, а ощущение чего-то волшебного в том, как ты рано-рано утром крадешься к мистической елке, под которую добрый и такой же мистический Дед Мороз положил подарок. И само ощущение, что к этому мистическому таинству может прикоснуться первым кто-то другой, но не ты, было ужасным. Что кто-то переживет эти волшебные ощущения первым. Как будто происходило похищение праздника вместе с этим правом сливаться с чем-то потусторонним. Чаще всего, напуганные нашими страхами, мы тем более понимали и жалели друг друга, будили, чтобы на новогоднем торжестве делать первые шаги вместе.

В этот Новый год со своей программой мы поехали к Сашиным родителям. С его мамой накрыли праздничный стол. С Сашкой мы спрятали подарки глубоко под елку. Мы переглядывались с ним иногда, сталкиваясь в кухне, повторяли слова песен и наших ролей. После ужина Сашка вынес гитару. Я была ведьмой. На голове моей была ярко-фиолетовая, с огромными полями шляпа, длинное черное платье. На веках густым слоем лежали темно-коричневые тени. Два зуба были закрашены краской. Ногти были черного цвета. Бр-р... Зловещее впечатление. Сашка же, напротив, был добрым волшебником. На голове — веселый густой парик с рыжими кучерявыми волосами. Щеки пылали жаром моих ярких сочных румян. На нем была желтая рубашка в огромный красный горошек, зеленые шаровары. Мы начали концерт...

В воздухе с первых аккордов повисло напряжение. Витало ощущение сырости. Дом не был согрет праздником. На лице Сашиного отца повисло мрачное недоумение. Я удивлялась тому, насколько же человек может отвыкнуть радоваться. Насколько человек забыл о своих минутах детской радости. Ведь должно же было жить в нем воспоминание о светлых моментах своего детства? Но лицо говорило обратное. С каждой новой репликой запланированной программы мы с Сашкой теряли ощущение радости детства. Какой-то жуткий скепсис начинал душить нас. Настолько сильной была энергия этого человека. Мы начинали сомневаться в том, что все это — праздник и что радость и счастье, действительно, можно дарить. Нам хотелось быстрее закончить выступление. Было ощущение злого утренника. Как будто прошло два столетия: Дед Мороз был тем же; он приехал, чтобы поздравить детей с праздником, но никто не играл с ним. Как будто перед ним были страшные взрослые дети. Скептически глядящие на него, не верящие ни в него, ни в праздник, ни в сказку. И все только зло шутили над ним, смеялись в спину. Первый раз Дед Мороз плакал. Дети предали его. Не раз во время программы мы с Сашкой успели пожалеть, что спрятали подарки. Самое страшное было еще впереди. Только Сашина мама и Жанна пытались сгладить ощущение натянутости. Они активно принялись искать подарки. А Дед Мороз продолжал плакать. Отец подошел нехотя к елке. Всем было понятно, что ни за каким подарком он не станет лезть под елку. Пока вечер был окончательно не испорчен, Саша достал подарок и вручил отцу. Он молча взял его, сославшись на усталость и на то, что завтра ему надо появиться на работе, ушел к себе. На лице каждого было то, что на своем собственном. Говорить ничего не хотелось, и мы просто машинально, молча стали убирать посуду.

Когда мы легли спать, Сашка сказал:

— Прости меня. Никогда у нас не будет так, как в твоей семье. Прости меня. Я его...

— Не надо, что ты...

Я обхватила двумя ручками Сашкину голову — он зарыдал. По-детски. И так по-мужски...

Из детства

— САША, А ТВОЙ отец рассказывал тебе что-нибудь о своем детстве?

— Я и сам часто себя спрашиваю об этом. Я почти ничего о нем не знаю. Помню, рассказывал, как отец выпорол его до полусмерти и он ночевал в кукурузе. А потом подошел утром к дому и не мог войти... и штаны были мокрые...

У них мать рано умерла. Отец не любил с ними разговаривать. Они только работали, а их только били. Может, поэтому он такой. Но мама говорит, что знала его другим... Мне хотелось в это верить. У нас в альбоме есть фотография... она всплывала всякий раз, когда он наказывал меня или бил маму. На ней он поднимает меня к потолку, совсем еще маленького, чубастого, в клетчатых шортах, и улыбается; и в этой улыбке слышится такая радость со-творения. Я там очень похож на его сына, а он — на отца. Мне кажется, зря я ношу ее, ведь это не он. Не он это... Чужой дядька...

Вечное в моем отце — его голос, срывающийся на внутренний плач. Я так и чувствую этот его затор в задней части стенки трахеи. Там он уже давно рыдает, а здесь говорит о том, что в старости даст, наконец, волю рукам и будет резать по дереву, создавая шедевры.

Какой озноб и холод, когда отец говорит о своем отце. Всегда в такие минуты думаешь, что

ты тоже когда-нибудь будешь говорить о своем отце, тогда, когда его уже не будет рядом. И будешь чувствовать то, что чувствует сейчас он. Рассказывает, как пришел забирать его в морг. И как там было холодно, и как ком подступил к горлу. И как хотелось рыдать и думать, вспоминать. Но не мог. Мать, сестра... И надо было, надо было проводить его в этот далекий путь.

В этот момент я ощущала радость отсутствия стыда за свои слезы. Мне хотелось рыдать от счастья, что пока он со мной. Рядом. Я могу [пока еще здесь] обнять его. Крикнуть, прошептать: «Папочка, я люблю тебя!» И он ответит: «Я люблю тебя, дочка». Понимаете, он ответит. Какое счастье, что человек может все это сделать сегодня, сейчас.

В небе ни одной форточки. Из окна глядят на меня черные бусины глаз смородины и воспаленные от дождя красные глаза поречки. А нам не страшно. Мы сидим с отцом, обнявшись, на кухне, полные любви и радости от того, что она нас кормит и этим мы живем.

Эти папины глаза, с щемящей радостью глядящие на эскизы, альбомы; глаза, полные отраженного Урала. Что отделяет человека от места его Рая? — страх. Что отделяет человека от места другого Рая? — тоже страх.

Как помочь отчаявшемуся человеку? Делить с ним его отчаяние. Как происходит это чудо, когда другой человек заменяет тебе себя. Ты думаешь о нем больше, чем о себе. Лжешь ему, когда болеешь, чтобы не заболел он. Сколько же любви, сил, энергии нужно двоим, чтобы быть вместе. А если так трудно быть вместе, не легче ли быть одним. Как страшны минуты отступничества от любимого человека. Покидаешь его — и себя покидаешь. Что нужно, чтобы уйти от этого нестерпимого прощания. Не хочется прощаться с Прощей. Все равно как проститься с любовью. Разве это возможно? Без любви... Как принять его навсегда?

Дик

С КАКОЙ ЩЕМЯЩЕЙ болью я смотрела на купленную в очередной раз собаку. Тревога за то, что я все уже знаю о ее жизни. Она ничем не будет отличаться от жизни предыдущего владельца этого уже навсегда загаженного вольера с одинокой будкой у истока этого длинного коридора смерти, обнесенного мелкой безрадостной сеткой. Даже кормить ее будут точно так же. Я всегда с диким ужасом смотрела на эту серую массу, из которой выглядывали рыбные кости, хлеб, яйца, остатки пищи, даже свежая зелень, счищенная корочкой хлеба с наших тарелок. Еще более этого угнетал меня вид того, как моя бабушка толкла секачом картошку в мундире, заливая все это молоком. Это тоже было для нее. В деревне, какой бы ни была собака породы, — у нее быстро вырабатывался иммунитет на такую безрадостную похлебку. Все наши собаки жили долго: по десять-пятнадцать лет. Какая долгая, безрадостная, бессобытийная жизнь.

Как я радовалась, когда собаке удавалось мордой сорвать крючок. Счастью не было конца... А утром я видела бабушку с прутом в руках, встречающую у ворот это изможденное, уставшее за ночь, заметно осунувшееся существо.

Какое, должно быть, количество деревенских сук оплодотворил наш друг. Я очень явно рисовала себе его стремительный бег, жадный, неиссякаемый, полный сил, еще не угасшей жизни. Какое это счастье: увидеть совсем другой мир, мир, который живет так близко от тебя. Озеро ночное, прохладное, окруженное заботливыми лягушками, сжимающими своими растопыренными пальцами место обитания. Увидеть эти совсем непохожие на вчерашние звезды. Не унылые и ледяные, а смеющиеся и горячо плачущие — вместе с тобой. И этот яблоневый сад! Нависающий мягко и нежно над землей. Трава, укутавшаяся теплым, пуховым одеялом тумана! И это все мое! Только сегодня... и навсегда.

Когда наша собака умирала, а умирала она долго и мучительно, тешила меня только одна мысль — она все это видела, и у нее было в жизни это счастье соприкосновения. Собака начала задыхаться с утра. Сначала она лежала в будке, высунув морду, чтобы ловить тяжелый, жаркий, летний воздух. Потом она, ослабев, выползла, шатаясь, стала прогуливаться вдоль решетки, грустно поглядывая на дорогу, на которую ей удавалось вырваться два-три раза за всю долгую собачью жизнь. Потом к обеду она начала харкать кровью — длилось это нестерпимо долго — тело тощее, полинявшее, сотрясалось при каждом новом приступе кашля. Только спустя четыре часа собака сдохла.

А теперь на ее месте бегал по вольеру здоровый, красивый щенок кавказской овчарки. Дик. Я смотрела на него, еще счастливого и озорного, играющего с моим детским красным башмаком, — и заплакала.

А ночью на лай и прерывистые завывания собак я отпустила своего питомца. Кто знает, может быть, еще не испорченный ощущением дома нюх не приведет его назад! Чтобы только

не видеть этих человеческих, тоскующих глаз. Этого жалобного ночного скуления — не слышать!

Я открыла калитку, и этот клубок дикой взъерошенной оранжево-бурой шерсти понесся навстречу миру, который должен его напоить, напоить так, чтобы хватило на всю жизнь в заточении. Напоить на сны об этих лугах, травах, звуках — всей этой ночной музыкой.

Только я слышала этот упоительный вой молодого, сильного, счастливого пса. Все голоса других псов на этом подлунном полотне показались мне бледными, тусклыми отблесками настоящего звука свободы. В вое Дика слышалось непреодолимое желание слиться с этим покорившим его миром звуков, в котором и его вой — часть. Как будто это было жадное желание не только напиться, но и напоить. Напоить всем тем, что жило в нем, а жил в нем лишь один неуемный восторг и этот затяжной, беспрерывно льющийся голос свободы.

Свадебное кольцо

САШКА СДЕЛАЛ мне предложение. У моих родителей просил благословения. Мама принесла фамильную икону Николая Чудотворца и, подняв ее над нашими головами, сказала: «Мы с отцом всю жизнь берегли друг друга, заботились... (мама расплакалась) и вы берегите. Семья — это труд...»

Сашка ждал зарплаты купить нам кольца. Мы приехали к его родным сообщить о своем решении. Сашин папа засуетился. Единственное, о чем он беспокоился, — это чтобы все было прилично. Спросил про кольца. Он как-то ехидно улыбнулся, когда Сашка сказал, что сам купит мне кольцо, как только получит зарплату. Это было очень важно для него. Вообще, для него всегда важно ничего не просить у отца. Потому что это — одно унижение: он всегда с каким-то презрением и удовольствием от этого презрения давал Сашке деньги на учебу. Во всем этом был такой нарочитый жест милостыни. Не подарка, не радости от того, что он может участвовать в жизни сына, помогать ему, а именно презрение и унижение. Он любил подчеркивать свое материальное превосходство.

Мне было это непонятно. В нашей семье всегда было здоровое отношение к деньгам. Их никогда не было много, но то немногое, что у нас было, всегда было у каждого. Мы с братом всегда знали: все, что мы имеем, — мы имеем по огромной любви наших родителей к нам. И вместе с тем отец всегда приучал нас к работе, как единственному средству понять, что работа — это не только работа, — это еще и молчаливые знаки нашей любви к ближним.

Утром Сашин отец предложил прокатиться по городу. Но его предложения никогда не были прямолинейны — в них всегда таился какой-то подвох, и он чувствовался в его неискренней улыбке.

Когда мы проехали мимо церкви — я поняла, что Сашин отец везет его на унижение. Нет, нет этой любви в человеке! Если бы была — то в нем жило бы это чувство понимания, которое живет в каждом когда-нибудь любившем человеке.

Я перекрестилась в надежде, что все-таки кольца там не будет... И слава богу, его не было. Он все никак не мог успокоиться — собрался вести утром в Минск, но мы с Сашей решили, что это важно для нас двоих...

— Понимаете, ведь это просто... — нерешительно заговорила я с ним вечером. Язык не слушался. Не слушался еще и потому, что он отгородился от меня своей упрямой спиной. Он не повернулся — продолжал дерзко смотреть телевизор. Я никогда не говорила такой бред. Мне казалось, что это и так должно быть ясно человеку. Но с ним, как со взрослым... И глупым, противным ребенком, таким, которого всегда хочется ударить просто так. За глупость.

— Понимаете, — сделала я вторую попытку, — ведь это нормально, что именно он хочет сделать мне этот подарок. Ведь мы все когда-нибудь с чего-то начинали. И пусть он отдаст всю свою зарплату — это будет для него и для меня тоже, понимаете, — будет такой радостью, что этот подарок от него. Ведь это на всю жизнь. И ему, как мужчине, важно...

— Да я ведь как лучше. Все понимаю...

«Ничего ты не понимаешь! — хотелось мне крикнуть ему в глаза. — Ничего...»

Во всем я видела не понимание, а упрямство. Злое, гадкое упрямство. Когда хочется думать, что от любви, а любви нет... нет любви... Нет. Мне стало его так жалко. Даже вот это неумение и упрямство — это от пустоты, от того, что где-то там, далеко, а может, никогда, ни разу не было этого опыта любви. И только животный инстинкт подсказывает, что есть что-то неживотное в чувстве, которое мы так красиво называем. Что это? Откуда? Для чего? И где, где?..

Я ушла. Мне стало не по себе. Не могу там — где совсем нет. Вот и в себе иногда тошно... Предает и куда-то летит... летит к кому-то другому, другому и еще другому. Шляется и не может вспомнить, где ее дом. «Выхожу один я на дорогу» — ведь это об этом, да ведь это об этом. Он вышел и стал звать...

— Сашка, сказать по правде, я тебя иногда не понимаю. Ну и что, если отец не любит. У других не такое бывает, понимаешь... Сколько лет прошло. И в конце концов, он же тебя одевал, кормил, ну не совсем же он...

— Заткнись...

Саша посмотрел на меня так, что я больше никогда бы не смела об этом заговорить. В его глазах я увидела что-то такое. Я увидела, что не знаю об этом ничего. Я не знаю об этой мистической связи отца-сына. Ничего не знаю. Как же у него в глазах было больно! Больно и пусто. Как ему не хватило любви. Мне показалось тогда, что я — это — ничто. И всегда буду ничто, даже если долюблю до капли. Ему было больно только от него. Только им он хотел долюбиться.

Почему-то мужчины в объятиях женщины не плачут. Почему-то в них рождается чувство, совершенно противоположное моему. Они не чувствуют пустоты. Я не стану спрашивать об этом у психологов. Особенно классиков.

Хотя, может, только они давно догадываются, что я — плачу. Мне все равно. От этого ничего не изменится. Почему так? Никогда не ощущаю сразу столько пустоты, как в моменты близости. Весь холод космоса, кажется, лежит на моих плечах. Проходит ночь — и я опять ручная. Почти счастлива. Откуда такое сгущение пустоты? Мне было хорошо от любви только после вина. И я пила вино только для того, чтобы было хорошо. Я подумала: так можно начать пить... Лучше быть несчастной, решила я, но трезвой, чем счастливой, но пьяной. Мое тело не умеет делиться. Оно принадлежит себе. Наверное, поэтому мне трудно. Мое тело привыкло быть одетым и ему холодно. Нет, нет, это все неправда, что с телом легче, чем с душой. Хотя, может быть, потому и труднее, что есть душа. Которой тело — всегда мешает. Хотя почему-то пустоту, холод, страх, страх, именно страх я чувствую не в душе, а в голове. Бесконечный менингит...

Но я не стала бы рассказывать все это, если бы однажды не было по-другому... Мы были в деревне у Саши. Такой, где скрипят полы, а в доме нет воды — только в колодце — он далеко от дома. Где печка, а в ней рассольник, и из чугунка убегает тыквенная каша, где на печке гора шерстяных носков, не имеющих пары. Где пыль на шкафах — от слепоты... и где в тумбочках старые пластинки, порыжевшие книги по овощеводству... рядом — обязательно о войне. Где черно-белое кино фотографий. Где лающие собаки. Шумные соседи. Чаще всего суеверные, как и Сашина бабушка, которая, найдя собачью косточку, будет всех уверять, что это подкинули злые завистливые соседи... И ежевика за окном, похожая на черную икру. На ней — огромная саранча. И ежевика кое-где покусана. Она падает в ладонь, едва коснешься ветки. Спелая...

Вечером я дышала... Полной грудью. Как можно дышать в деревне, где ветром прибиваются к крыльцу тысячи ароматов. Все вместе они рождают аромат самой жизни. Так, кажется, пахнет она. Я высасывала из мягких иголок клевера сладость. Но было мало, и рвала еще. Уходила — и было еще мало. Идя домой, где летом всегда прохладно, я лениво пропалывала грядку, как будто на бегу. Собирала в ведро мокрицу, а вечером делала из нее салат. Со сметаной. Вкусно! Я поставила в печь рисовую кашу на молоке. Радость от того, что в моих руках кочерга, душила меня. Откуда-то появились слезы. Глупость какая-то. Откуда все это? Зачем?

Вечером мы с Сашей мыли черные от земли ноги в тазу с холодной водой. Кошка с перебитой лапой лизала целую и водила хвостом по полу, как будто закидывала удочку в разные места, нигде не нащупывая рыбы. Мы зажгли лампадку, глядя на нее в окне — молились... Мы тихо легли. Тихо, потому что день был не громким, как в городе, — почти без людей. Тихо. Деревенский шум тоже почему-то рождает ощущение тишины. Мы легли тихо. И он просто обнял меня. Слезы радости тонкими струйками рисовали что-то в уголках глаз. Это точно были слезы радости. Было еще не очень темно. Как бывает не темно летом. И эти сумерки рождали в нас ощущение тепла, которого так не хватает по осени. Или там, в городе. Тепла, которого нет даже летом в нем.

Утром я проснулась в ежевике. Мне казалось так, потому что ядовитые песни саранчи наполняли всю комнату, но тишина была повсюду. Счастье, какое счастье было тогда со мной.

Мне было не страшно. Слезы радости были везде.

На службу пришла странная женщина. Вспомнить — страшно. Она подошла на елеосвящение и упала. Стала кричать, стала биться об пол. Потом выбежала на улицу, разделась и совсем обнаженная стала полоть в темноте грядки. При этом она дико смеялась. И от смеха — страшно. Отец Геннадий прикрыл дверь храма и продолжал. Бесноватая осталась снаружи одна. Потом, когда все уже вышли и стало совсем темно, я увидела, что она лежала на лавке. Часто я устаю так от суеты. Когда уже совсем искушенной и жадной до сна падаешь в пос-

тель. И уже знаешь, наверняка, что не будешь мучиться бессонницей — потому что сил ею мучиться нет. Это больное чувство усталости. Оно самодельное. Пустое. Спишь крепко-крепко. Завтра — день, но не продолжение чего-то, а отсутствие... Отец Геннадий все-таки помазал ее елеем.

Я впервые осознала причастие и исповедь как большие праздники. Впервые я прониклась и углубилась в радость поздравления меня с этими таинствами. Самое светлое и большое проникло в меня, заполнило легкие, долго томившиеся в пыли и грязи.

Я вспомнила о загадочном пасечнике, прежде пугающем меня. Он зазывал нас в какое-то странное место, увешанное травами, заставленное настойками. Потом из двадцатипятилитрового бидона наливал нам в тарелку мед, и мы жадно пили его у краев тарелки. И так хотелось жадно пить его, причмокивая, слизывая с грязных пальчиков золотистые капельки пчелиной росы.

Часто так бывает, что *нечто* долго преследует нас, тщетно пытаясь привлечь внимание, но мы не видим это *нечто*, потому что оно — непереживаемый опыт о-странненной реальности, но стоит соприкоснуться, пережить *его*, и нам тут же начнет казаться, что оно начало именно сейчас и именно сегодня ходить за нами по пятам. Так, читая книги о чьем-либо религиозном опыте, мы воспринимаем его как то, что является лишь тайным желанием их воли. Но стоит пережить эти минуты религиозного прозрения самим, и вы тут же распознаете насмешку в глазах скептицизма, которыми так долго смотрели на мир и Бога из-вашей-нутри. Чудо веры состоит в ее простоте и очевидности.

Часто идешь по дороге, и какая-то дрянь-мысль летит за тобой, наступая на твою голову. И ты начинаешь отмахиваться от нее: «Кыш, кыш!» Глупо талдычишь себе что-нибудь: «Нет, нет, мысль, я о тебе и не думала думать».

Мне всегда только и было страшно не за это преследование глупых мыслей, а за то, что они станут всем... пока кричишь с неустанным постоянством свое: «Кыш-кыш!..»

Какое удивительное зрелище: стрекоза, катающаяся на желтом листочке лозы, два водомера (один на одном) катаются друг на друге. Почему в детстве всегда хочется жить в микромире? Я помню, всегда мечтала о машинке, напоминающей кузовом божью коровку. Такую маленькую-маленькую. Чтобы проезжать мимо людей и оставаться незамеченной. И вот так приятно с утра наблюдать за этим микроскопическим миром.

А вы никогда не думали об этом чуде, что человек может плавать, совершать эти странные собачьи чертыхания? Как будто всякий раз, заходя в воду, ты примеряешь на себя другой мир. И становишься его частью.

Каждый год к нам прилетают лебеди. И вот сейчас я вижу на воде белые перья — узнаю их, друзей детства.

Погруженная по пояс в воду — стоишь — дышишь. И там, под водой, в эту же самую минуту — много дышащих. Чудо! Это всеобщая жажда напиться воздухом, надышаться до опьянения. Рыбак где-то далеко. Тебе и дела нет до этого рыбака, но так хочется поделиться радостью, орешь во все горло: «Как клев?» И оттуда, всегда охотный до разговора, кричит этот великан в огромных до паха сапогах: «Да какой уж... окушков штук пять — глухо!» И ныряешь... До тебя натянутая, будто пленка, вода прорывается телом. Рвется эта слитость между камышами, кустами лозы, травы, обитателями. Все начинает неохотно вступать в разговор. Водомеры искоса поглядывают на тебя; слетит с гнезда аист и проплывет над головой, а то нарежет несколько кругов, то ли приветствуя, то ли грозя чем-то. Озеро лениво рябит теперь, встревоженное рукоплесканиями. Сонные, вялые водомеры пугливо рассыпаются по тонкому льду озера.

На обратной дороге коршун пронес над головой индюшонка.

По утрам, когда я иду на озеро, где даже рыбаков нет, мне становится страшно: неужели возможно умереть в такой тишине! Я дотрагиваюсь ногой до спокойной поверхности озера и кричу: «Эге-ге-гей!..» Чтобы вспугнуть тишину. Чтобы сказать, что я не одна — со мной — мой голос. Так легче. Как будто произносишь магическое заклинание от этой магической мертвенной тишины.

В обед рыбаки, как ивы, висят над водой. Секут своими пугами-удочками сонную воду. С большими надеждами вперившись в воду, не замечая купальщицу. Стоишь голая. Белая. Новая. Чья ты? Почему не стыдишься, не прикрываешь рукой грудь, прямая, распахнутая всему...

Сегодня я стала свидетелем того, как петух помогал своей возлюбленной, присутствуя при несении яиц. Они заливались прерывистым кудахтаньем. Потом, как только курица слетела с насеста, они тут же замолчали, что означало благополучное разрешение от бремени. Петух тоже вздохнул с облегчением, принявшись за сбор зерен в траве.

На поле, в луже смолы, я нашла голубя.

Мы с Сашей отмыли его лапы бензином, подбросили в небо, но он, едва парируя, рухнул

в траву. Потом мы напоили его. Через час голубь, освоившись, сидел уже на коньке нашего дома. Голубь — особая птица. Особенно запомнились мне его красно-оранжевые глаза — маленькие солнечные диски. Я держала его в тряпке, пока мы шли в дом, и, не отрываясь, смотрела в них.

Иногда мне кажется, что я хожу не здесь и не там. И я — это не я. И этот мир — это не мир. Или мир, но только не настоящий, а предбудущий. Этот мир не похож на сотворенный — он похож на сделанный.

— Мне тоже хочется, чтобы он похлопал меня по плечу!..

Сашка больше ничего не смог сказать. Я скрестила руки на груди, сотрясающейся в тишине.

Как человек может не любить человека? Почему этот феномен никто не исследует? Почему люди не удивляются этому?

Каждый раз, открывая книгу, чувствуйте, что вас только что научили читать. И вот сейчас, в этом магическом таинстве приобщения к книге вы почувствуете все дни творения. Вы почувствуете силу творчества, его смысл. Как легко ошибиться. Взять в путеводители злую книгу. Книгу, которая еще нерожденного ведет вас в Хаос не-рождения.

В Проще мы не знали часов, дней. Это было время литургического сна, такого же вневременного, как и все в местах Прощи. Церковный календарь — это подаренная нам при жизни вечность. Все меняется в земной жизни, все меняется без него, — только в церкви не меняется год, только в церкви год равняется вечности. Жизнь с Богом — вечная молодость.

Венчание было для меня радостью. Я думала, что венчание — это закон в нашей семейной жизни. По нему мы будем жить. На него оглядываться. Но была не только радость. Было предчувствие того, что настоящая работа еще впереди. Больно от того, что был еще все-таки этот проклятый страх. А вдруг не получится! А если получится, то как скоро? На исповеди опять меня спрятали чужие свои слова. Сказать хочется много. Это важное многое обзываешь неясными словами и чувство страха, страха так никогда ничего и не сказать, хватает за горло.

Говорят, что есть такой способ приманки фазанов, как ловля их на конский волос с изюмом. Фазан проглатывает изюм, привязанный на него, а ловец начинает дергать. Он щекочет горло птицы, потягивая за волос. Несчастная птица цепенеет от этой щекотки в горле, не в силах сделать и шага. Я чувствую себя таким же фазаном, попавшимся на приманку собственных обезображенных слов, щекотящих горло. Сказать хочется, а не умеешь. И глаз нет. Слепота и глухота...

Иногда кажется, нет сил для того, чтобы продлить себя еще на несколько дней. Думаешь: тяжело и холодно! Хемингуэевский дождь, гиены, пустота и страшное ощущение жизни вокруг, в которую никак не удается попасть.

Проща — дом души. Внутри разрывается все: сердце болит при мысли о расставании, а разум спешит туда, в чуждую для души страну.

Только-только я почувствовала себя собой: ноги ногами, ум умом, душу душой... только-только отмылись в Живоносном источнике от грязи. Начали слышать. Как громок оказывается полет шмеля, как убаюкивающ стелющийся туман, как напевны поднимающиеся пары влажной рубероидной крыши, как многоголосен лес с птицами.

После покаянного канона — обливание водой, к которому привыкаешь душой так, как тело — к еде. Легкий и открытый, распахнутый звездам, повисшим над луковичками храма, идешь ты с иконой вокруг храма и поешь...

Приходишь в дом, неторопливо запаливаешь свечи, лампадку в молитвенном уголке и в осененном светом доме греешь душу, отпаиваешь ее горячими лесными травами.

Все слышишь. Сашка говорит, что для того, чтобы услышать, надо изголодаться по звуку. Иногда он под струны кладет платок, чтобы звук гитары был глух. И тогда ему час за часом становится все труднее и труднее переносить это. Ему очень хочется звука. И потом, когда он достает этот платок, он по-настоящему слышит, потому что долго пребывал в глухоте. Так и я: все никак не достану из ушей этот грязный платок. Видимо, еще не изголодалась.

Красные капли брусники катятся по столу. Тлеют угли в этой огромной говорящей печке, и ты долго смотришь на тени, отбрасываемые ею, и на себя, желающую остаться. Ноги, тяжелые от усталости, не желают двигаться. И я — не желаю. Приятно сидеть на длинной деревянной лавке и сыпать горсти брусники в рот.

Как же многоголосен человек. В хаосе звука мелькает палочка дирижера, но ее закрывает от меня своей спиной город. Зачем?

Такая тишина. В храме, полном цветов, горят лампадки. За окном — глубокая ночь. Кто, кто доверит мне это чудо тишины, где покашливание боится самого себя?

Мы — одни. Сегодня мы еще одни, и я хочу сказать тебе так много, Господи, — наедине, где

свеча в руках смиренно доживает век. Но я еще успею сказать главное — это то, что ищущий любовь найдет ее в храме своей души. И мы всегда будем возвращаться к нему, когда голод Любви вновь погонит нас к Источнику.

Я просыпаюсь по ночам, но это просыпание лишено тревоги. Мне приятно видеть горящую лампадку у образа Спасителя и его светозарное и строгое, милующее и грозное лицо.

Я подолгу лежу и смотрю в окно, где видны только верхушки деревьев. И ночь. Такое же многообразие звуков, как и днем. С ветки срывается и летит ворон, напуганный приписываемой ему славой спутника черной силы.

Диск луны где-то тонет в парах влажного леса, озаряя деревья.

Шаг вперед — шаг назад — в сторону забывания виденного. Остановиться! Только бы успеть остановиться. Вечером ли, у городской свалки или в ботаническом саду — только поспеши остановиться и посмотреть из глубины зовущего себя. Я голодаю по Любви!

Что это, слезы? Они плачут от тоски.

Бывают такие дни в году, я не могу понять, когда именно они бывают, в какую-то определенную пору или без всякой видимой закономерности, но такие дни все-таки бывают, когда мне непременно надо исчезнуть. Исчезнуть совсем. Дни эти туманны и для меня самой. О них я всегда помню, а что помню, — сказать не могу. И ценность их именно как будто и состоит в этом вечно нависающем над ними тумане.

Я куда-то исчезаю. Уезжаю на электричке, поезде, автобусе. Это всегда незнакомое место: город, деревня или лес. И я живу там несколько дней — возвращаюсь. Возвращаюсь обычной до узнавания. И только там, в этом незнакомом лесу, со мной происходит чудо. Я живу и умираю одновременно.

Это был Киев. Я остановилась в какой-то странной одинокой гостинице. Настолько одинокой, что на этаже была я одна. Я оставила в номере маленькую сумку с вещами и отправилась по городу. Я помню боль в ногах. От ходьбы. Бестолковой, беспутной. Колокольный звон... Названий улиц — не помню. Это все так абсурдно. Говорить о воспоминаниях, которых нет. Именно так, так, зачем-то нужно. Именно там, там мне всегда — как дома. Как дома, который только один и может впустить меня на свой порог. Там мне ничего не жалко и никого. Там я одна и других мне не надо. Уже совсем уставшая за день ходьбы, я возвращаюсь в номер пустой гостиницы. Включаю маленький фонарик над книгой и читаю. Нет, это не любимая книга, — это другая, не помню, — я нашла ее в ящике. Как хорошо мне. Я одна. В чужом городе. Читаю или смотрю в окно, вид из которого меня так никогда и не настигнет. Я не вернусь сюда. Я ничего не вспомню, но сейчас мне хорошо. И завтра, завтра, в таком же тумане я буду ехать в поезде назад. Туда, где дома окрасятся в какой-то определенный цвет, как верное свидетельство моей нормальности. По знакомым зданиям и улицам я начну ориентироваться в пространстве. Я начну узнавать людей, а люди — меня. Но все это будет уже не дом. Я заживу хорошо, а может быть, и не хорошо — не важно. Только у этого всего будет имя, и я смогу это понять. А вот то, другое, которое опять заскулит, — нет.

В другой раз я была в какой-то деревне, где меня, совсем промокшую и уставшую, приютила в доме милая старушка, растапливавшая печь. Совсем почему-то не любопытная. Она дала стакан водки, поджаренного сала и уложила на печку спать. Утром она дала мне пластмассовое ведро и сказала, чтобы я собрала себе алычи. И я собрала. Потом разгуливала по деревне и ела, так по-пацански дерзко и не красиво выплевывая косточки. Что меня радовало здесь? Солнце. Воздух. Неизвестность. Сельский автобус, в хвосте которого пахло гарью. Моя невнимательность. Я ничего не помню. И вместе с тем мне кажется, что все самое главное проникает в меня. То, что питает меня целый год.

Если долго мне не удается вырваться на свободу, — я начинаю болеть. Чахнуть. Ссориться с мужем, с собой, с миром.

Почему человеку так важно знать, что делает меня такой обновленной, такой счастливой? Все злятся. Думают, что у меня есть какая-то тайна, что со мной в эти дни происходит что-то страшно интересное. А перед их интересом — я бессильна. Мне нечем питать его. Я бесплодна. Вижу — не могу понять, что вижу, слышу — не знаю, что слышу. И вместе с тем я так счастлива. Мне так хорошо. Почему человек не может простить другому человеку эти несколько дней свободы, если они делают его таким счастливым. Не все ли равно, где он бывает, почему ему так хорошо. Это праздное любопытство, теснота, которая живет между людьми от жадности к пространству, — меня сушит. Мне плохо от чужого любопытства. Свободы! Воды! Много воды! Воздуха! Света! Такого ослепительного, чтобы ничего не помнить. Чтобы не знать, что это, для чего оно. Жить с этим.

На старом грузовике я поехала с деревенскими мужиками на охоту. Они пели и пили, рассказывали пошлые анекдоты, но мне снова было хорошо. Собаки, увлеченные собственным гоном, резвились в лесу. Охотники стояли на номерах в ожидании зверя — и все счастливы. Я не помню охоты. Я помню ее запах. Пропахшие костром здоровенные грязно-серые фуфайки охотников, пар изо рта этих привыкших к выпивке мужиков, грубые, поцарапанные руки, тянущиеся к салу и хлебу, которые лежали в газете на капоте. Их неразличение во мне женщины. Грубое похлопывание по плечу. Моя какая-то опьяненность. Опьяненность всем. И воздухом, и костром, и лесом, и собаками, и водкой. Мужики смеялись, и я смеялась. Они надо мной и я — надо мной. Так все равно. Мне привязали патронташ, взвалили двустволку: «Стреляй!» — крикнули мужики.

— Куда?

— Туда!..

Никто так и не показал куда, но я поняла. «Туда!» — крикнула я и стрельнула в воздух. Это была мягкая, никому не угрожающая пуля, и в самом выстреле не было никакой угрозы. «Вот это была охота», — подумала я. Это была охота. Это были опять те самые дни охоты за туманом. Если и есть на свете измена, то только такая. С туманом. Все не важно. Только туман. Едешь ли в поезде, электричке, идешь пешком. Туман застит глаза. Ничего не видно... И так легко. И дышать, и жить. Особенно легко — жить.

И все это звало меня, пока мы не приехали в Прощу. Что было с нами — мы снова не знаем! Только тоска по ней — стала болезнью. Как любовь когда-то становится хронической жаждой добра. И там это добро разлито повсюду, во всех. Я и теперь, когда слышу в городской речи «спаси, Господи» вместо «спасибо», — оборачиваюсь, как будто на эхо, долетевшее до меня из таких родных, далеких от Москвы мест. Но все-таки долетело. И смотришь в глаза незнакомца, а он вовсе не незнакомец, — он такой же, как все, — родной!

Прощание с Прощей

— САША, — ПОПРОСИЛА я его, — я хочу услышать перезвон.

— Почему?

— Потому что он сообщает печальную весть.

Он схватил пучок тонких ниточек, на которых висели колокола, и нервно, хаотично заколотил в них. Почему? Потому что это было наше прощание с Прощей. На завтра? На год? Надолго? — мы не знаем. До следующего голода любви.

«В тебе есть некая очаговость. А это не самый потерянный тип женщин», — сказал он мне...

Ссора

О ССОРАХ не хочется! Пожалуй, это самое страшное — несопротивление злу. Это хуже, чем само зло. Это такая страшная смерть, мучительная и долгая, как сама жизнь. Жизнь по возвращении. И вернулся же, скотина. Как зализавшая рану собака. Пахнет дурно, а пришел...

Пришел и ругаешься, злая сука! Саша принес мне Прощинской воды...

— Не хочу!

— Знаю...

Я не спеша отпила глоток. Всхлипывая и трясясь всем телом, я вспомнила Прощу. Сидя на верхнем ярусе кровати, еще не остывшая от ссоры, я чувствовала кровать — другим берегом. Как я успела доплыть до него за такой короткий срок? — не знаю. Все вдруг всплыло передо мной в необозримом ужасе. Яснее стала Проща. Увидела ее всю. С деревянной кладкой дров, с потемневшими от дождей куполами, запахом цветов, ладана, леса, воды. Запах воды, святой воды Прощи вернул меня туда. Мне вдруг показалось, что я одна среди своего безбрежного уныния и страха. Мои весла веры унесло в открытое море с первой же ссорой. Я схватила двумя руками голову Саши с удивлением глядящего на меня, схватила как единственный остров, доступный разглядеть в тумане моей пьяной, больной жизни.

— Пойдем помолимся...

— Прости, прости меня, как это люди становятся злыми? Внезапно опять проникает. Вспомни, как мы спали в храме... Тишина, ночь, свет лампад, мир икон вокруг нас...

— Тчшш... Слушай!

«Светися, светися, новый Иерусалиме! Новый Иерусалиме!..»

Я проснулась. Напротив, обхватив колени руками, сидел ты. Плакал. Ты тихо скулил. Так скулят люди, внутри которых страшное многоголосие. Но голоса эти злые, срывающиеся, страшные, скрипичное взвизгивание и невозможность излиться. И вот это все щекочет тело изнутри, а выливается в абсолютную беззащитность, слезы, страх, отчаяние, уныние. Я тоже заплакала. Тихо-тихо. В этой темноте мне

страшно думалось. И я думала страшно. Может, все не получится. Может, жизнь не получится. И любовь — Боже, страшно, страшно, и любовь, вдруг она тоже не получится! Потому что такого ночного отчаяния станет больше. Внутри боль и огромный аквариум... В нем злые, хохочущие химеры. И я захлебываюсь. Потому что отчаиваюсь, не верю... Не верю, что у нас получится долюбить. Сил нет. А-аа! Где же оно, кто-нибудь, помогите!.. Еще пять минут в тебе — красота и гармония, а тут — хаос и пустота. Теряешь силы. Потому что в такие минуты вместе с ним теряешь веру в то, что справишься. И не знаешь порой, от чего затоскуешь, а затоскуешь по чему-то по-настоящему. Так, как будто и вправду чего-то лишился или что-то вчера потерял. Может, это случилось еще тогда, до нашей эры. Может, это та самая тоска по любви всех ко всем. Вот и тоскуешь. Находишь — дышишь и живешь. Вне времени и пространства. Потеряешь — мельчайшие крупицы пыли на лампе забьют поры пространства. И такая тоска. И плач, и стон. И ждешь, что изменится. Когда? Страшно — что никогда...

Какой врожденный голод по абсолютной любви... Все-таки по-настоящему близкие люди — это ты, отец, мать, — даже если вы и не были никогда по-настоящему близки. Между нами и всеми другими живет извечное непостоянство в чувствах. Нет той связи, которая называется обреченностью. Иго любви — это иго вечного ощущения дома, вечного ощущения того, что пахнет постоянством и ясностью.

Есть такие люди, которые любят других людей, как цветы в цвету. Пока они источают запах интересности и новизны, — мы нюхаем их и любим, но в тишине, в их не-явном пребывании, в невидимом их зерне, в котором они пахнут резче, — мы слепнем, глохнем, перестаем ощущать. Мы оказываемся не встроенными в это всеобъемлющее зерно Любви, пахнущее в земле для тех, кто готов ждать всходов. Или любить эти самые всходы внутри самой почвы.

Эта ужасная традиция страха смерти. Если бы человек не боялся ее, возможно, он бы лучше и полнее жил.

Я хочу быть маленькой. Снова быть маленькой. Но не как снова, а вдруг. Я с ужасом смотрела на Сашу в темноте и теряла. Теряла свое постоянство. Страх! Отчаяние! Уныние! — снова они! Как страшно, Господи, снова оно... Да откуда же?.. «Я хочу к папе!» — крикнула я. Стала рыдать, все время повторяя: «Я хочу к папе, к папе, я хочу к папе!» Влиться бы в его горячую ладонь, в которой спрятано все мое чувство дома.

Когда я успела стать женщиной? Мне кажется, до конца это невозможно понять. Поверить — невозможно. Иногда теряешься, смотришь на мужа, как на чужого человека, — и не можешь понять: как он стал чем-то, что «прилепилось» уже навсегда? Иногда — радует. Иногда — совсем не хочется. И когда не хочется — кричишь: «Я хочу к папе!»

Что таит в себе этот крик? Тоску по прошлому или тоску по тому, что узнано и принято только отцом, таким всепрощающим. Любви, как хочется любви! Всех ко всем. Здесь... Завтра. И всегда... Попасть в ее кольцо и быть в ней уже вечно...

Саша испуганно смотрел на меня в темноте. Тоскливыми, полными слез глазами...

— Я тоже, слышишь, я тоже — хочу...

Юлия Скрылёва

Родилась в 1987 году в городе Истре, Московской области. По окончании физико-математического класса Лицея поступила в Литературный институт им. А. М. Горького на семинар Рейна. Любимые поэты: Державин, Ахматова, Блок.

Все будет хорошо

Житейская не-без-надежды

ЖИЛА-БЫЛА планета
По имени Земля.
От солнечного света
Рождались тополя,

И, пробивая почву,
Стремительно росли,
И, как от мамы дочери,
Бежали от Земли,

И выходили замуж
За тучи-облака,
Кора была из замши
И жизнь была легка.

Но маленькие детки
И пресловутый быт,
Укравший листья-денежки
И сделавший кульбит,

Перевернувший время
Насмешник-ураган
Несчастные деревья
Охрипшим холодам
Отдал на поруганье,
Виновный без вины,
До свежего дыхания,
До будущей весны.

Лето 2008 г.

21

Л. Д.

ДЕВОЧКА СИДИТ на табурете.
Девочка с кошачьими глазами.
Самая красивая на свете.
Вы ее не знаете. Не знали.
Плачет. И бегут по тонким струнам
Хрупкие взволнованные пальцы.
Подростковый возраст — самый трудный?
Подростковый возраст в ритме сальсы.
Самый трудный — возраст прошлой ночи:
Детство — прочь! Прокуренная кухня.
Хорошо, да только скоро очень.
Взгляды посверкали и потухли.
Разошлись друзья, и стало пусто
И — никак. Ни весело, ни жарко.
Просмеялась: долго, низко, густо, —
Пацана из Битцевского парка
Вспоминая, о котором пели
Стебные московского пошиба

Песни... Тучи точно одурели,
И сердечный приступ у машины
Во дворе случился после грома.
Девочка, не надо больше грима.
Девочка, не надо больше рома.
Девочка, не надо больше Рима
Третьего. Беги гулять по крышам,
Плакать, не стесняться в выраженьях.
Срезанные розы тоже дышат.
Все нормально. Просто день рожденья.

Лето 2008 г.

* * *

ВЕЗЛИ меня
по коридору
длинному,
везли
вперед головой,
и жизнь
казалась мне
снегом малиновым,
а смерть —
кудрявой травой.
везли меня
долго ли,
коротко ли,
туда, где слепящий свет,
в не-помню-какую комнату,
в печальнейшей из карет.
я думал, что я не выживу,
хотелось кричать и звать.
душа, как пустыня, выжжена,
а лысая голова,
как шарик земной,
вокруг
оси
своей — и
по часовой
бежит.
Христос,
сохрани и спаси.
я выиграю
смертный
бой.

Лето 2008 г.

Корова

КОРОВА ШЛА по проезжей части.
Шла и мычала.
Корова не знала иного счастья,
Чем счастье Начала —

Начала дня и начала жизни,
Начала звука.
Начала света, начала мысли.
Мычанье-мука —

Мычанье-стон и мычанье-горечь,
Мычанье-дума.
Мычанье-песня-сосновых-горниц.
Мечтать и думать.

Мечтать и думать корове сложно,
Мычать — понятней.
Корова ест облака из ложки
И любит мяту.

Идет одна по проезжей части,
Посередине.
И объезжают ее нечастые
В этой трясине

Не-мерседесы и не-мицубиси —
Просто машины.
Корове по нраву роса как бисер
И травы большие.

Корове по нраву *arhe* — Начало.
Начало мира.

Корова в коровьей своей печали
Весь мир вскормила.

28.07.2008 г.

Дачное романтическое

1

люблю, когда ты просто рядом
стоишь и треплешь мне прическу,
когда на мост через речонку-
речушку-речку мы идем,
потом люблю смотреть на воду,
потом заглядывать украдкой
в твои глаза, а в непогоду
люблю смеяться под дождем.

2

я люблю, когда ты врешь,
будто все в порядке,
для меня пионы рвешь
с бабушкиной грядки,
и приносишь для меня
прямо из колодца
раз в четыре летних дня
по осколку солнца.

Лето 2008 г.

Послекрымское

ты вернешься из отпуска смуглый,
крымским ветром наполнишь бокалы,
не поймешь, но почувствуешь смутно,
как душа о душе тосковала.
и сплетутся затейливо тени,
осторожно ложась возле ног,
в полурозовый, полусиреневый
желто-черный огромный клубок.

Мугла

Сашеньке

«ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ из отпуска смуглый», —
это первая строчка
одного из моих
тебе посвященных
не-шедевров.
А ты смеешься,
и очень заразительно,
между прочим,
смеешься,
а отсмеявшись,
спокойно интересуешься,
кто же такая *мугла*,
и как она выглядит,
и чем питается,
и в какой стране обитает.
и еще много-много
дурацких,
но важных вопросов.
А я честно пытаюсь
на все ответить,
кричу,
отчаянно доказываю,
что НЕ С МУГЛОЙ,
а СМУГЛЫЙ (!),
путаюсь,
кажется, даже обижаюсь:
как же можно
не понимать
очевидного?
как можно
не догадаться,
что *мугла* —
это такая
маленькая
пушистая
котеночек-солнышко—
и-как-ты-еще-любишь-меня-называть.
питается светом и поцелуями (любит сладкое).
выглядит...
хорошо.
обитает...
где-то рядом с тобой.
и очень не хочет,
чтобы ты
уехал отдыхать
без нее!!!

Лето 2008 г.

Москва — Горький

1

УЕХАТЬ В НИЖНИЙ Новгород
на пару-тройку дней,
взглянуть на мир по-новому
и полюбить сильней
свою Москву несчастную,
забывшую уют,
нечесаную, страшную,
уставшую от пут
Макдоналдсов и Ростиксов,
от рыночных сетей,

от жадных ртов и ротиков
больных своих детей,
уехать в город юности,
в дом, где расписан лифт
сердцами и салютами,
где друга друг простит,
где каждый примет каждого,
утешит и поймет,
где солнца диск оранжевый
похож на мед из сот,
где две реки встречаются,
закутанные в шелк,
где горизонт кончается...
Все будет хорошо.

22.07.2008 г.

2

мне поменьше бы слов
и побольше дела,
чтоб звучала душа,
и чтоб тело пело,
и чтоб было тепло
или даже жарко,
чтоб гулял рок-н-ролл
на площадках парка,
и чтоб в окна рассвет
по утрам стучался,
и чтоб ветер с волной,
как с сестрой,
прощался,
и чтоб ты выходил
покурить и слышал,
как остывшее небо
неровно дышит,
и чтоб рыжая кошка
спала у дома.
только так.
и не может быть
по-другому.

3

ВНАЧАЛЕ БЫЛО весело:
Широкое весло
На Волге куролесило,
И не хватало слов

И красок для пейзажика,
А солнце жгло и жгло,
Съедая влагу заживо,
И падало весло

На Волгу, как на смятую
И теплую с утра
Постель. Как в дынной мякоти
Лежали катера.

Недолго было весело —
Настало тяжело.
Уже не куролесило,
А плакало весло.

Но ты не плачь, пожалуйста,
От главного вдали.
И вспоминай без жалости
Последний волжский всхлип.

Июль 2008 г.

Спички

МЫ ИГРАЛИ с огнем —
значит, больше не будет сомнений.
Ты поднес зажигалку
так близко
к лицу королевы,
что бедняжка, бледнея,
упала тебе на колени.
Вроде дышит...
Уснула...
И кукольный локон отклеен.
Раз — и вспыхнуло платье,
И медленно
желтое пламя
По дырявым колготкам
На простыни, на одеяло...
Два — и белое кружево
как-то опало и сжалось.
что угодно,
но только не жалость!
невинная шалость?
дон-жуанская шутка,
финальный аккорд Казановы?
мы играли с огнем.
это жутко
и, в общем,
не ново.

Лето 2008 г.

Вместо припева

и если ты будешь один, как лунь,
бродить по дорогам родной судьбы,
возможно, отыщешь средь многих лун
достойную блеска твоей борьбы,

достойную крови твоих побед,
достойную счастья идти с тобой

на верную смерть, как на верный свет,
на вечную жизнь, как на вечный бой.

Лето 2008 г.

Неровное

УЧИТЕ ЯЗЫК насекомых,
Беседуйте со стрекозами,
Знакомый и незнакомый,
Увенчанный терном и розами.

Простите людей и вдохните
Всей грудью сырого воздуха.
Пишите о Ней, идите
За Ней и в огонь, и в воду, и

По трубам из красной меди,
Изъеденным ржой и пламенем.
Вы сами, мой друг, изъедены,
Изрыты непониманием,

Лежите, крестом распластаны,
На желтом песке телесности.
Иным — подорожник пластырем,
Вам — кубарем вниз по лестнице

Пожарной, и вроде весело,
И даже как будто радостно,
Что звезды вчера повесились,
Что небо казнило радугу,

Что месяц, купаясь в проруби,
Погиб, пораженный судорогой.
Но нет у Вас больше родины.
И нет у Вас больше суженой.

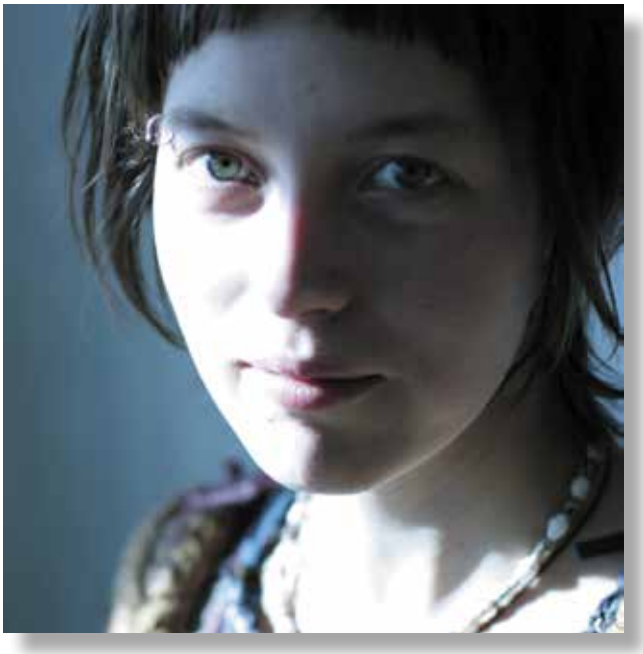
Лето 2008 г.

* * *

А ЗНАЕТЕ, ВСЕ будет хорошо.
Я обещаю, я клянусь...
Я... просто...
Я глупо верю.
Ваша жизнь еще
Не на финальной,
не на финишной...
Ваш возраст
Предполагает взрыв или порыв,
Надрыв и срыв, нарыв
И выстрел в воздух...
И Вы все время смотрите в обрыв,
Стоите на краю, над бездной, возле
Той пропасти, что называют страх
(страх для меня, для Вас — освобожденье).
на Ваших в кровь искусанных губах
застыли строчки,
может быть,
с рожденья —
не с Вашего —
с рожденья первых чувств,
с рожденья красоты,
цветка,
молитвы...
Вы только позовите —
я примчусь
перевязать Вам раны после битвы...
а большего
не смейте и просить,
вы знаете,
и я,
мы оба знаем,
что прочие не смогут нам простить
того, что так друг друга согреваем...

Лето 2008 г.

Лия Галимова



Родилась в Новосибирске в семье балерины и хирурга.
Оказавшись не годной к службе в армии по состоянию здоровья, пыталась найти свое призвание в различных гражданских областях. Повар рыбного цеха, закройщица, каллиграф, зоотехник — все эти специальности не приносили удовлетворения. Чтобы не удариться во все тяжкие, поступила в Литературный институт им. Горького. Скоро она его закончит и...

свободное время

Рассказ

РАЗ, ДВА, три
Смотришь? Смотри!
Четыре, пять
не успеешь сосчитать
картинка меняется
меняет цвет
меня нет
поэтому
мгновения
наблюдения
за живой природой
кто дальше прыгнет, кто громче свистнет, кто залезет на дерево, кто утонет в колодце
желтое солнце
белый ветер
радио поет:
«День потерян, день потерян, день потерян».
потеряно время
потеряно имя
всю долгую зиму
играли в слова
смотрели фильмы
а теперь
на дворе трава
на траве тела
такие дела
три-четыре, радиоголова!
«день потерян, день потерян, день потерян»
scatterbrain
scatterheart
скатертью дорога
вертопрах
виртуальный монах
а теперь все вместе на счет семь:
«потерян день, потерян день, потерян день....»

Я могу бесконечно долго рассказывать о тех, кого люблю.
Он — не мужчина, не женщина, не ребенок, не щенок. Я – тоже. Я не знаю, кто я.
Я все чаще говорю про себя «мы».
Мы — это все время по-разному. Мы — это все мои дуры, иногда одна, иногда ни одной, иногда две, иногда их много, и они кричат разными голосами, и они совершают странные поступки, а мне (кому из?) остается только наблюдать за ними, меня становится мало, когда начинаются они.
Иногда «мы» — это я и Бильжо. Так его зовут. Однажды он сказал мне, что его имя Лио, Lijo, да-да, именно так, впрочем, нет, ты ослышалась.
Он — мой лучший друг.
Он знает мои руки, знает мои глаза, знает, как я дышу носом.

Я всегда улыбаюсь, когда смотрю на него.
Я смотрю на него все время.
А он смотрит на все, что вижу я.
Мы выбрали для себя самый лучший мир.
Мне очень приятно говорить «мы», хотя многие нас не понимают меня.
Это любовь.
Мало к кому я испытывала такую нежность.
Может быть, я просто разочаровалась в мужчинах, котятах и детях.
Меня все меньше интересует то, что снаружи.
Меня все больше интересует то, что видно.
Я бы хотела уехать из этой страны, если бы это что-то меняло. Но проще переодеться.
Хотя это не так уж важно.
Потому что...

Начинать жить можно с любого места.

Я могу бесконечно долго рассказывать о тех, кого люблю. К тому же у меня почти не осталось секретов. Потому что почти не осталось тех, от кого можно было бы что-то скрывать.

Почти никого не осталось.

Миллион вопросов, которые хочется задать Тебе, и я даже могу это сделать, но отвечать на них все равно придется самой, что бы ты ни сказал. Можно называть себя на Вы.

Раньше я думала, что есть что-то, кроме меня. Я была зла на это кроме. Я была зла, но зла не хватало. Потом я решила, что хватит. С меня хватит. Я хватилась — а никого и нету. Куда ни глянь — всюду я. И можно называть себя на Мы, а можно называть себя на Все — как угодно будет правильно. С любого места можно начинать жить.

Жуть.

Когда закладывает уши, как сейчас.

Две руки — чтобы держать себя за руку.

Два уха — чтобы одно другое слушало. Влетело — вылетело, ничего лишнего.

Я летела, и полет проходил на высоте десять тысяч метров. На высоте метр семьдесят, как обычно, только сидя. Температура за бортом: –50 градусов. На борту — 36 и 6. Было еще сколько-то в среднем и между. Всегда, когда оказываешься между (небом и землей, одним домом и другим домом, бизнесменом и бизнесменом, seat 9B, please, switch on your sweetbelt) — ты мост. Мост, который ничего не соединяет, потому что нет ничего, что было бы разделено, но все-таки мост. Бизнесмен слева пах перегаром и спал. Бизнесмен справа сначала пах потом, а потом так и не вернулся из туалета. Я смотрела «Лангольеров». Уши болели.

Если это имеет какое-нибудь значение, вскоре я увидела папу. Я даже увидела маму, если это важно. А тогда это было важно, потому что я сделана из них. Они вынашивали меня долгих сколько там лет. Потом родили, даже не успев толком со мной познакомиться. Потом все погасло, и наступило лето — 50 лет папе, наступила я на их землю. У них есть об этом кое-какое представление, потому что папа первым делом спросил меня про погоду. Я сначала не поняла вопроса, а потом вспомнила. Сказала, что у них тут намного лучше и теплее и дома стены помогают и воздух синь как узелок. Кажется, папа был рад это слышать. Кажется, он научился пускать колечки из дыма лучше меня.

Эти двое прочно обосновались в моей голове, они капают на темечки моим дурам, если только не орут на них, дуры плачут и делают глупости, чтобы потом сказать друг другу: «Так тебе и надо, дура».

Наверное, это действительно страшно звучит: мама и папа — это тоже мои дуры. Дуры — это все, кто удостоился права голоса между моими ушами.

Очень много голосов в моей голове. Я почти ничего не слышу из-за них. Я почти ничего не говорю. Я все время разговариваю сама с собой.

Кто я?

Где я?

Кто все эти люди?

Это — мои родители. Когда я вырасту, я тоже буду мамой или папой, только совсем другими, как моя тетя или как нельзя кстати. Я люблю маму и папу, даже если они думают — какое горе этот наш сын, какое горе этот наш другой сын, сын своего отца тоже почти отец, да какой же он отец, молоко на губах не обсохло, в пятый класс осенью пойдет, понабирал кредитов, а нам выплачивать, никакой благодарности, то ли дело эта наша дочь, она хоть далеко и себе на уме, а можно быть за нее спокойными, она у нас молодец.

У них никогда не было дочери. Кошка была, свадьба была, доброкачественная опухоль была, а дочь померещилась. Им все померещилось, на самом деле. Главное, чтобы они не знали.

Им еще будет отдано должное. Главное — я им ничего не должна. Потому что меня никогда не было. Не было ничего, кроме меня.

Вермут с бабушкиным компотом, кастрюлька свиных отбивных, дрожащих в холодильнике бирюса, липкими пальчиками по крохотным буквам, она становится все сексуальней, с каж-

дой минутой все сексуальней, я становлюсь мужчиной, я пытаюсь держать себя в руках, в руках чашка с зайчиком, с вермутом, с компотом, потом может быть стыдно, пусть будет, только потом, come on baby light my fire, спичка, пачка, форточка.

Вермут с бабушкиным компотом наводит на любопытные размышления. Например о том,

пачка спичка заначка
форточка?
окно...
а за окном пустырь и поезда. Поезд — это ад на колесах, сад на колосьях, сам накололся. Сама напросилась
В поезде я больше мамы любила аллана карра.
Сквозь санитарные зоны и прицепные вагоны он кричал мне в закрывающиеся уши: брось ее!

Последняя моя, 12.35, после послесловия, ни слова не говоря, в пустом тамбуре, распахнув дверь последнего вагона, победными воплями выдыхая дым, что сладко и приятно, и ветер в волосах, и пепел в лицо, и жаль, что папа не видит... Под стук колес, зубов и сердца швырнула пачку и спичку в проносящиеся кусты-колосья, словно колоться бросила, такая вот Последняя, все как аллан карр научил. Но чтобы она оказалась действительно последней, под колеса нужно было бросать совсем не ее...

А еще в поезде простыни воняли рыбой, и женщины воняли рыбой, и рыба воняла рыбой, только мужчины почему-то пахли одеколоном «Океан».

Тем временем форточка
спичка
пачка

всех лошадей мира за каплю никотина...
лошади всех стран, объединяйтесь!
всем сестрам по серьгам, всем лошадям по капле, но меня не интересуют ни сестры, ни серьги, ни капли, ни кони, ни люди, ни коты, ни скоты — никто!

никотин

я знаю, как сестрам отрезают уши
острым ножом
но это потом

можно продолжать бесконечно
никакого продолжения не будет, пока...
она сексуальней с каждой минутой
я знаю, чем все это закончится

В мире есть миллион Легких Способов. Я, например, знаю легкий способ бросить мужчину. Или бросить камень. Или бросить вызов. Что в принципе одно и то же.

Самое главное — суть легка.

Среди прочих способов я знаю легкий — бросить Я. «Я» легко и радостно бросается навстречу «мы».

А мы — это я и Бильжо, например. Хотя на самом деле, намного больше. Хотя на самом деле — нет вообще. Но все-таки я и Бильжо.

Если у меня вдруг возникнет желание завести какую-либо кошку — я удивлюсь.

Если у меня возникнет мысль: «Какая красота, жаль, что друга рядом нет», — значит, Бильжо решил остаться дома. Хотя его дом — это я

Наверное, теперь самое время рассказать про кастрюльку свиных отбивных в холодильнике «Бирюса», раз уж про вермут с бабушкиным компотом все сказано. Но это глубоко личное.

Ад на колесах стоил того и этого и прочих денег, часов и запахов, потому что рано или поздно закончился. Рано или поздно — сложно сказать, так как разница во времени — три часа по Гринвичу. Аллан Карр улыбался мне со дна рюкзака, а я улыбалась со дна вокзального перехода городу своей бабушки. Город казался мне плацкартным вагоном, потому что был бесконечным, пока я была в нем. А когда каждую секунду ты где-то да находишься — пойди разбери, где тамбур, а где турникет, где рундук, а где кондуктор троллейбуса. Или все же проводник? Так или иначе, билет превратился в букет, а начальник подвижного состава — в бабушку. Все встало на свои места, одна я осталась непонятно где. Непонятно, где мое место? Куда мне встать? Москва? Петербург? Уфа? Новосибирск? Верхняя боковая? Призовое? Призывают уступать беременным женщинам и лицам пожилого возраста...

Лицо моей бабушки пожилого возраста, но это не мешает ему улыбаться от всего тела. Она так и улыбалась, высматривая меня с балкона с петуниями. Она уже пять лет меня вот так высматривает, хоть и понимает с высоты своих лет, что высоты балкона недостаточно, чтобы увидеть за 5 тысяч километров, какие мы стали взрослые и красивые.

За мной уныло плелись все мои дуры, что-то мерзко гнусавя про слезы радости. То ли сад на колесах, то ли просто мозоли. Такое вот садома-

зо. Я старалась их не слушать. Букет разваливался.

А потом у моей бабушки случился юбилей. 25×3. 5×15. 10×8–5. Много разных комбинаций, и у каждой свой смысл. Кроме букета и себя самой у меня ничего не было, поэтому мы с ним оказались главными подарками. Хотя были и еще. В пакетах, коробках, конвертах и так. Это интересно — почувствовать себя подарком. Например, телевизором. Или набором терок. Или каким другим сервизом. Почувствовать и оказаться лучше, чем.

Так вот. Среди всего прочего бабушка приготовила свиные отбивные. Юбилей прошел, а отбивные остались. Они лежат в кастрюльке, что стоит в холодильнике бирюса, который находится в комнате, где сижу я. Холодильник включается и трясется, крышечка звенит.

Можно открыть среди ночи дверцу, ослепнуть от вспыхнувшего света и все понять. Совсем все. Настолько все, что и умереть станет не страшно. Или можно плеснуть еще вермута в компот. Или выпить яйцо. Или сделать секретик в морозильной камере, а потом уснуть между баночками черносмородинового, пока снова не зажужжит и не затрясется. Начинать жить можно в любом месте.

Например, в утре. Утро бывает не каждый день, но довольно часто. Иногда утро начинается музыкой. Мой телефон, «Love you», сквозь сон я сжимаю его в кулаке, я беру его с собой под одеяло, он исчезает где-то в клетчатых складках, где-то под мышкой, под правой лопаткой, он жужжит и поет, а я обнимаю, обнимаю, обманываюсь, обхватив подушку, запутываю, засыпая, пальцы в волосах, это мои, но я сплю и не знаю, уткнувшись носом в плечо, 9.30, пять минут еще, не уходи, сегодня я не встречу тебя в метро, 9.33, пятая пуговка на рубашке откушена мною была, 9.48, ушная раковина — как бутон гладиолуса, если потрогать там мизинцем, 9.50, из нее вылетит шмель, будет петь и жужжать..., 9.55, «love you love you love you». Я встаю.

Хотя утро может начаться в любой момент. Утро — это когда все мои дуры, умницы, паяцы, тупицы, красавицы и прочие маленькие чудовища и большие начальники еще спят, а я одна проснулась. Даже если я проснулась в метро, в переходе с арбатско-покровской на шумерско-аккадскую — я не шевелюсь. Я иду, но не шевелюсь. И если дышать — то только шепотом, лучше через уши, а в ушах, как в горах — тишь и блажь.

Утром мне совсем не важно, кто такое «мне». То не мальчик и не девочка, и не на кого ты хочешь быть похоже, и не кем ты станешь, когда выстоишь, и не кого ты больше любишь, и не мама, и не рама, и не харе, и не мыло. И уж конечно, не я-мы-вы-ты-то-сё-те-как-вас-там. Утром — утро. И всё. Что только может быть.

А потом они просыпаются, одна за другой, стучатся в солнечное сплетение, лазают по ноздрям, ушам и карманам, грызут мои ногти, клянчат мелочь на папироски или разрешают мировые конфликты, удивляясь, как это раньше никто до такого не додумался. Они дуры, но я терплю, мне сказали, что надо терпеть. По крайней мере, с ними я не испытываю проблем самоидентификации и могу уверенно ответить на ряд вопросов, не глядя в паспорт.

Я где-то слышала, что у меня слишком много свободного времени. Говорят, от этого все проблемы. Хотя это не вовсе так. Еще это и иначе. И ни как угодно больше. Времени... Свободного... много...

Иногда говорят, я слышу, как надо жить. Кажется, моя бабушка знает Легкий Способ чего угодно. Даже больше: она знает Лучший Способ. Нет причин не верить. Но почему же тогда, бабушка, ты живешь так тяжело?

Бывает, он совсем не хочет вылезать из дома. Но его главный дом — это все-таки я, поэтому иногда я и не спрашиваю. Но даже если потащить Бильжо с собой в такой день — толку от него не добьешься. Конечно, он будет миролюбиво и равнодушно наблюдать, как ты висишь на поручне в пустом вагоне, или шагаешь, далеко вытягивая носки, по тонкому поребрику, иногда оступаясь и спрыгивая, или пьешь кофе из закрытого бумажного стакана, трубочкой выскребаешь пену со дна, или нюхаешь красный деревянный шарик, или замираешь, подслушивая разговоры в незнакомых окнах. Он, может, и рад бы вместе с тобой выскребать, подслушивать и нюхать, но механизм этих простых вещей ему никак не объяснишь. Он понимает только то, что видит.

Но определенно, бывают дни, когда лучше бы подумать: «Жаль, Бильжо нет рядом!» — чем долго молчать вместе об одном и том же.

А дни, как и все остальное, тоже бывают разными. Например, есть день среда, а есть день бесполезный, так же как и бесконечный, не говоря уже о зимнем, трудном, добром и рабочем.

День — не больше чем слово между утром и вечером, но каждый день я обязательно произношу его, если вообще в этот день разговариваю. Незаменимое слово, если подумать. А незаменимое — потому что никто о нем особо не думает. Вот и я лучше не буду пока. От греха подальше.

Днями принято мерить время. Так что день может быть коэффициентом, множителем, слагаемым и неизвестным. Но про это тоже опасно думать, как и про неевклидову геометрию, неразенталеву орфографию и неменделееву химию.

Мне сказали, что опасно. Хотя на самом деле я очень люблю, потому что тогда все (ну или почти все) мои дуры молчат и не лезут. Неграмотные потому что, понятное дело, дуры же. Хотя ни в чем нельзя быть уверенной наверняка: быть может, это размышляю и не я вовсе, а...

Сказать по правде, кроме них, я боюсь только войны. Но, несмотря на это, смотрю новости. Редко и за деньги. И думаю, что так и надо: раз в неделю и чтобы тебе платили. От них я сначала плачу по полдня, потом у меня распухают глаза, потом засыхают, потом мне становится все равно, потом даже интересно, но не надолго, а потом я выключаю свет, закрываю дверь на ключ и выхожу на улицу, где всегда есть риск оказаться в этих самых новостях. Или в метро. Обычно все-таки в метро. Вот тогда-то, глядя на групповое отражение выражений лиц всех дур, искажающееся в мутном оргстекле, я и люблю подумать о чем угодно другом, кроме войны. Например, о неколумбовой географии.

О Доминиканской республике вот.
Когда-нибудь я непременно в нее уеду.
«Смотри-ка, мозги потекли», — показывая суставчатым пальцем на асфальт, скажет одна бабушка другой.
Да ведь не только мозги, еще же печень, колени, носоглотка и прочие лейкоциты и волосы, и не потекли, а даже полетели, потому что иначе в Доминиканскую республику не попасть. Если только там переродиться. Но это не самый Легкий Способ, ведь тут никогда не угадаешь. А лететь надо будет долго, и, наверное, много детей успеют увидеть меня в самолете типа «боинг», растопырить указательный и средний и загадать чего только ни пожелают. Хотя в Атлантическом океане они, кажется, не водятся, а над ним лететь дольше всего. Ну да ничего.

А когда мои дуры произведут на доминиканской земле ряд нехитрых экономических махинаций и мы станем главой своей собственной компании (газетный киоск или пара биотуалетов меня более чем устроят), продемонстрируем глубокое знание доминиканской литературы и живописи и вообще покажем себя со всех положительных сторон, мне выпишут настоящий доминиканский паспорт.

И уж мы с Бильжо придумаем, что делать с теми ста странами, где нам станут безвизоворады.

А как мы сами станем рады!

Тому, например, что у нас может быть свой дом, ведь это вполне естественно — когда у тебя есть дом. И даже еда, если уж на то пошло. И даже останутся деньги, которые можно будет раздавать итальянским музыкантам на папиросы и распутных женщин, а не почтенным женщинам на полкирпичикасерого и молоко.

И пусть мозги текут своим чередом, плавясь от жары, переплавляя простые слова типа «спасибо» и «пожалуйста» в izvolte's и blagodaru. Я смастерю себе боа из языков Набокова, Чехова, чешского, жестового, суахили, программирования, буду выходить в нем на светские рауты, на гнусные эмигрантские сходки, на рынки и в национальный парк.

Еще я обязательно заведу себе охотничью свинью, если только не уйду с табором французских цыган. А если уйду — то тем более. Один месяц в году я да свинья будем ходить по черные трюфеля, чтобы все остальные месяцы ходить по столовым, кафетериям и филармониям. Точнее, prostite, по бистро, пабам, клубам и где только захотим. Моя свинья-гриболов найдет товар, дуры — черный рынок черных трюфелей, а мне останется только найти в словаре, как это слово склоняется и куда там ударение, потому что больше я пока ничего не могу сделать.

Хотя могу я что угодно. Я иногда начинаю бояться самой себя — так много я всего могу. Если уж начистоту. Есть вещи, которые я могу сделать, но не могу, а есть — могу, но не буду. Есть не хочу — не могу — не буду, а есть могу — не хочу — сделаю. А есть хочу — не могу — не буду. Есть даже и не могу — хочу — сделаю и неважно, что получится. И еще много комбинаций с нюансами и подводными камнями. И если отбросить все «не», «но» и «ну» — выбор останется совсем небольшой, как раз по мне, и должно бы быть не трудно сделать его правильно. Но почему же тогда почему, почему все так... а не иначе никак.

И можно проглотить юбилейную монетку или сунуть ладонь в огонь, или открыть глаза на дне горячей ванной, или затолкать в ноздри па-

пины запонки, или... ну понятно. Но я, к сожалению, не буду.

Зато нельзя перестать дышать так, чтобы умереть, или оторвать себе ухо, так же как и выпучить глазное яб... ну тоже понятно. И слава богу.

Но совершенно непонятно, что мешает мне быть там, а не здесь, и не потом, а сейчас. Ведь все, что нужно, есть: я есть, трюфельная свинья есть, есть французский лес и даже трюфели, скорее всего, хотя и не сезон нынче.

Вот, кстати, еще одна комбинация: не могу и не хочу, но если вдруг, то буду.

А бывает хочу-не хочу-но не хочу-поэтому могу-но не буду-хоть и хотела-потому что не могу-но все равно буду! И лучше бы так никогда не было.

Как бы там ни было, у меня совершенно точно есть Бильжо. Он хоть и не трюфельная свинья, но наши находки тоже многого стоят. Правда, продать мы их пока можем только сами себе. Но это не Легкий Способ. Люди часто выбирают Нелегкие Способы. Например, бывают такие, которые все сами у себя выигрывают. Или покупают. Или отбирают. И даже воруют. А мы дарим.

Легко дарить, когда любишь. Я начинаю забывать и путаться — кого я там больше жизни любила? Папу? Гагарина? Бильжо? Или Того, который...? Ведь был же кто-то конкретный... А, не важно. Когда любишь так сильно, то уже и не обращаешь внимания. А потом становится все равно, кого. А потом и вовсе отличия между Тем и Всем стираются, и любишь уже просто так, все подряд.

Я подозреваю, что это и есть Самый Легкий Способ всего. И даже ничего делать не нужно: все — само.

Я выбираю любовь, и Бильжо меня поддерживает, ведь ему нет особенной разницы. А мои дуры выбирают другое. Например, страх. Я говорю им: «Девочки, опомнитесь!» — но их много, а я одна. Может быть, если бы нас было хотя бы двое, если бы хоть кто-то кроме меня любил их, они бы прекратили устраивать панику. Им нравятся эти игры. Я стараюсь не оставлять им повода, но он, кажется, и не нужен. Когда дуры перестали бояться, что нам будет нечего есть, негде жить, некого любить, они придумали себе новые правила. Я отчаялась им что-то объяснять, я сажусь и закуриваю, наблюдая за переполохом, вызванным Третьей Мировой, или воплощением секретного плана сионистов, по которому мы обслуживаем транссибирскую магистраль, а потом умираем мучительной смертью, или сжимаем остывающую руку папы, или вскрываем конверт с положительным анализом на вич... Дуры радуются, когда им удается довести меня до слез. А им удается. И я уже перестаю различать, где я, а где они, мне страшно спускаться в метро, я чувствую, как у мамы останавливается сердце, и обгоревшее тельце Фе теплое, словно живое, только хвоста нет, я нащупываю уплотнения по всему телу...

Рано или поздно дурам надоедает, и они придумывают себе новую забаву.

А ведь я помню время, когда их не было. Помню светящуюся белую комнату, помню пальцы в известке, на зубах скрипит, если их облизать, на полу разложены большие листы с черными схемами-чертежами, мы с папой на них сидим, потому что ремонт и мама — архитектор, она целует нас в лысые головы, и никаких дур, никакой даже меня, только комната, чертежи и эти двое. И Фе еще непонятно что за фрукт. Я бы хотела всегда так жить, но, скорее всего, не смогла бы, мне давно уже не четыре года, мне несколько раз по четыре. И за эти несколько раз я много чему научилась. Я научилась бояться, обижаться, обижать, забывать, забивать, ненавидеть, завидовать, злорадствовать, еще писать и читать. Многому я уже разучилась за ненадобностью, но дуры как пришли однажды, так никуда и не делись. И мне от них деться некуда.

Говорят, это все оттого, что у меня слишком много свободного времени. Но что бы я ни делала, все время свободно, пока я свободна от них. А им постоянно его не хватает, все им мало, тесно, неудобно, скучно, холодно, некрасиво. А ведь я все для них — все что угодно.

Я от них — куда угодно.

Может быть, мне не хватает мужества и выдержки показать, кто в доме хозяин. Зато выдержки предостаточно у Бильжо, а я его дом, так что иногда нам все же удается навести там порядок.

И когда они, наконец, утихают, становится видно и слышно все остальное. И целый мир становится здесь сразу весь, и у меня под ногтями то же самое, что у прохожего в кармане, а в кармане то же самое, что в лесах Амазонки. Я там не была, но точно знаю. Все — то же самое. Любое — ничуть не хуже. А дурам не объяснишь. Дуры знают разницу даже между черны-

ми трюфелями и белыми, хотя никогда их не пробовали. Но черные — дороже.

Конечно, это полезные знания. Без них я бы, наверное, сгинула и в амазонских лесах, не говоря уже о тех вагонах, кухнях, офисах, павильонах, дорогах и диалогах, в которых я неизбежно оказываюсь каждый день.

Куда угодно. Например, в город. Я научилась их обманывать, это просто. Можно убедить их, что пачка пластилина сделает нас абсолютно счастливыми. Ну или пачка макарон. Или сигарет. Или чего угодно еще, не так уж и важно. Главное — вытащить себя за дверь, отправить в какую-нибудь сторону, забыть, зачем шла, забыть, откуда и кто. Выплюнуть дур вместе с полным ртом вишневых косточек и остаться, наконец, один на один уж если не с собой, так хотя бы.

Хотя бы с огромным бензиновым насекомым о двенадцати колесах с металло-хитиновым туловищем, скребущемся в родной муравейник сырного завода. Оно фыркает и рычит, поблескивая катафотами, а из-под брюха тонкой струйкой сочится молоко, живое, как народившийся теленок, в свете этих страшно-оранжевых фонарей.

Иногда я приобретаю то, за чем шла, но это чистая случайность. И ничего особенного не происходит. Дыхание — уже событие, а я бы с радостью влюбилась, но для этого нужно быть не влюбленной.

Еще нужно позвать мужчину и накрасить ресницы, нужно провести стрелки на чулках, слушать Эдит Пиаф и рисовать его глаза в блокноте. Но самое главное — надо постоянно ждать чего-то.

Вот поэтому я и влюблена в Бильжо. Это он меня всегда ждет, а я не теряю времени, оно и так слишком свободно, чтобы его терять.

Впрочем, иногда... Но не будем. Не будем.

Мое второе лицо — Его лицо.

Медленная трещина от подбородка ко лбу...

Разбитая вдребезги чайная ложка, клубничное мороженое обнаруживает свойства бифштекса, если ложка с копченым дном, птицы Новой Зеландии уже летят через океан, но они не спасут того, кто ел стеклянное варенье, кто накапал кровью на газоны, друг мой.

Пока я стояла на светофоре, ушел последний автобус и выпал снег. Я пойду по времени пешком.

Я трогаю лицом руки, волосами лицо, где мое, где оно, рукав куртки, карманы, пуговицы, шнурки, замки — я хочу обратно. Если бы мама только знала, куда она меня родила. Если бы я знала, что такое мама, что такое можно, что такое важно, что такое сложно, — не проступили бы бензиновые вены на пунцовом асфальте, не влетела бы сталинская высотка в открытую дверь балкона. Не терять лицо, позабыв слова. Бильжо не видел, Бильжо не выдаст.

Вернувшись домой, не зажигать свет, пусть за полночь, стоять в темноте, пока стекает одежда — посреди комнаты хлопчатобумажная лужа. Лежа в постели, мелкой дрожью, не будить Бильжо, клеммы под кожей, вспышки глаза жгут. Дуры, вы тут?

Их сонные злые пальцы, они гладят меня по щеке, глядят с любовью, срывают одеяло и пижаму. Я срываю голос. Я закрываю глаза.

Это всего лишь явь, всего лишь явь.

Всего лишь я.
Смотрю с самого дна
Как наливаются золотом шторы, как проступают из-под воды углы окна, поднятая от света рука падает на лицо, на съеденье рыбам, на радость детям, на долгую память, на вечный покой. Форточка взрывается стаей сияющих мальков, и голубь курлычет, захлебывается. Я ловлю ртом пузыри и уже ничего не боюсь.

Я просыпаюсь каждый день, а умираю каждый раз — вот и вся разница. Так много раз, что не помню даже последний. Мне хватит пальцев, чтобы закрыть уши и зажать нос, а рот и так не откроется. Мать сыра земля, раз по-хорошему с ними нельзя. Пух сухой песок, последний бросок, первый вдох-выход, вход-выдох, в цветных крапинах темнота, парад планет, а меня и нет.

Сколько дней прошло? Бильжо не скажет, Бильжо живет в позапрошлом году, а без меня не живет вовсе. Кто Бильжо? Где Бильжо? Ну да ничего, дни прошли, и это пройдет. Дни прошли, а я осталась. Дни прошли

а я
сижу на полу, голая, с коленкой почему-то разбитой.
Мне кажется, пора сделать снимок. Выдержка диафрагмы, объектив затвора, белый баланс экспозиции и вспышка, вспышка — весь он. Я маню его пальцем.
— Бильжо!
Он молчит. Он всегда молчит.
Я беру его на руки и фотографирую небо.

Александр Иванов

Родился 22 марта 1986 года в городе Фрязино. В 2003 году поступил на семинар Ю. П. Кузнецова в Литинститут. Любимые поэты: М. Лермонтов, Ап. Григорьев, С. Есенин, А. Ахматова, А. Блок, Ю. Кузнецов, Н. Рубцов, Б. Рыжий. Печатался в интернет-журналах «Побег», «Пролог», печатном альманахе «Над Шекснинскою волною».

Отец

Я ВИДЕЛ СОН, где мой отец
лежал, как мертвый, на пригорке
в деревне, где когда когда-то жил,
нес крест у Бога на задворках.

Женился, стал растить детей,
и крест сильней давил на плечи...
Он начал пить и приходил
с работы хмурый, словно вечер.

Я был ребенок и не мог
понять, что с ним происходило.
Он утром тихо уходил,
а ночью мать меня просила:

«Ты помоги мне, если что...
До дома он дошел бы только...»
Он приходил, был весь в грязи,
с глазами, злыми, как у волка.

Он горбился, молчал и плакал
и нес проклятый тяжкий крест.
И вот он снится мне, мой папа:
лежит, и никого окрест.

И я кричу, но он не слышит,
бегу — да не добраться мне.

Отец, не умирай до срока
и не топи свой крест в вине!

Девять дней

Я ВИДЕЛ ВСЕХ своих родных,
и я летел день ото дня.
Я вновь был с бабушкой в лесу,
где ветер с палкой догонял.

Я пролетал над детством, где
мы с другом шли за летом вслед,
разоблачали облака:
кто видел лодку, кто мопед.

Я видел свой усталый дом,
и рожу пьяного отца,
и слезы матери, и страх
в моих с сестрой немых сердцах.

Я видел гроб, и в нем мой дед.
Я нес стальные ордена.
То было лето тишины,
Когда я слово «смерть» узнал.

Я видел нож в своих руках
и красную любовь из вен.

Пацан смудрил себе обман
про невозможность перемен.

Я видел жизнь. Я помню все:
родных, случайных и друзей.
Я пролетел весь этот путь
за девять отведенных дней.

Флейтист

А. С.

ФЛЕЙТИСТ В МЕТРО играл о счастье
и в воздух счастье выдувал.
И переходу в черной пасти
он комом в горле вновь вставал.

Пиджак затертый, вьются кудри.
Играет он, не видно глаз.
Прохожий ходит, брови хмурит.
Ему не до него сейчас.

Ему работа жизнь ломает.
Его жена с другими спит.
Прохожий тихо умирает.
Ему не до тебя, флейтист.

Он погружен в свои проблемы,
он хочет вырваться на свет.
Он, может, просто строит схемы
самоубийства, может — нет.

А ты, флейтист, играй прохожим
(Нет денег, в животе все злей).
Ты здесь стоишь, чтоб этим рожам
Вдруг стало чуточку светлей.

Брат

Я ЛЮБЛЮ тебя, друг, я люблю тебя, брат.
Ты пришел и стоишь сам не свой.

Что ты шепчешь — ислам? Что ты шепчешь — джихад?
И качаешь своей головой.

Мы гуляли с тобой и смеялись словам,
а теперь ты серей сотни стен:
ты сжимаешь рукой нож и шепчешь «аллах»,
самый лучший из лучших гостей.

Ты прости меня, друг, ты прости меня, брат.
Я живу, как сказал мне Господь.
В твоем взгляде зловещие искры скользят,
и улыбка кинжалом растет.

Я не враг тебе, друг, я не враг тебе, брат.
Мы же вместе ловили сомов,
помнишь, пару лет назад...
ты не помнишь... ни мыслей, ни слов...

Ты убьешь меня, друг, ты убьешь меня, брат.
В мире нет параллельных дорог.
Нам рожденьем завещаны разный обряд,
разный разум, Спаситель и Бог.

Дрозд

ЛЕТИ ДО ДОМА, черный дрозд,
в чужую даль, где я родился,
где черной скукой пруд зарос
и стих о тишину разбился.
Где церковь из окна видна,
оплот надежды среди горя,
и детский крик: «Весна! Весна!»
И сосны с небесами спорят.
Здесь стройка унижает поле,
после дождя растут дома,

и меньше с каждым днем покоя:
его съедает кутерьма.
— Володя, вира, б...ь, куда ты?
А тот с похмелья как во рву,
но дни идут, плывут закаты,
и камень победил траву.
А ночью пьяный мат и хохот:
«Мы город, камень — вот наш путь».
Природа медленно уходит.
И плачет лес, и в ряби пруд.

Пацаны

ЗА СПИНОЙ в портфеле жизнь:
парочка учебников, тетрадь,
а вокруг, куда ни кинь,
осень: злая, льющаяся грязь.

Пацаны бегут, кричат «держись!».
Вот и поле боя — наш пустырь.
Кулаки летят, и обувь вдрызг.
И бежит во тьму мой школьный мир.

На земле лежит тетрадный лист.
Как и я, на поле распростерт.
По бумаге тишина скользит,
и сквозь клетки кровь-трава растет.

Мы увидим этой ночью сны
про деревню или про юга
и про то, как плачут пацаны,
расставаясь с детством навсегда.

Вербное Воскресенье

Елене Кононовой

ДОЖДЬ СТЕНОЙ, как немое проклятье...
Что я сделал, Господи, что?!
Мне мерещится серое платье
сквозь угрюмый дождливый поток.

Ты сказала: «Ну что же ты лезешь?!
Моя жизнь не станет твоей!»
Ты теперь в Подмосковье уедешь.
Я теперь буду злой, словно зверь.

Этим Вербным святым Воскресеньем
я тебе ветку вербы искал.
Мой апрель — безнадежный, весенний
в сером ливне со мной утопал.

С неба сходят дождливые рати,
и душа тщетно ищет приют...
Ты теперь не придешь в своем платье,
не наложишь на сердце мне жгут...

Дождь стеной, как немое проклятье.
Вербы прокляты, ветки мертвы.
Захмелевший от горя опять я.
И на сердце ровные швы.

20.04.08 г.

✿ ✿ ✿

БЕСШУМНЫЙ ДОЖДЬ легко шагает,
и пахнет убежавшим детством.
стихает гул дворов, окраин...
найти подъезд, войти, согреться...

я помню двор, пропахший супом,
и матом, и дорожной пылью.
наш мир был светлым и уютным,
и мы в нем королями были.

московский дождь смывает время:
что день, что ночь — мне все едино.

а где-то дом, а где-то верят
и мама ждет родного сына.

а я плутаю в скрипе улиц,
смотрю на небо: Боже! Боже!
и фонари стоят, сутулясь,
и вырваться душа не может.

я понял все: блаженно детство
и мир, что мной когда-то создан...
но истина из уст исчезла
и по дешевке мир запродан.

Охота

Елене Кононовой

НА СЕДЬМОЙ этаж забирается вечер.
на чернеющий лес находит дремота.
на подъездной стене написано «нечет».
и в лесу начинается волчья охота.

лай собак, люди, выстрелы, люди
бьют по сердцу, топча сапогами.
как в дверях, я запутался в буднях,
называя те будни годами...

как тогда я стою перед дверью.
не войду, не скажу ни словечка,
а потом, через годы, наверно,
я скажу: все бывает — осечка.

я один на один с фонарями
повторял твое светлое имя,
и, казалось, что ангел крылами
льет мне свет на плечи незримо.

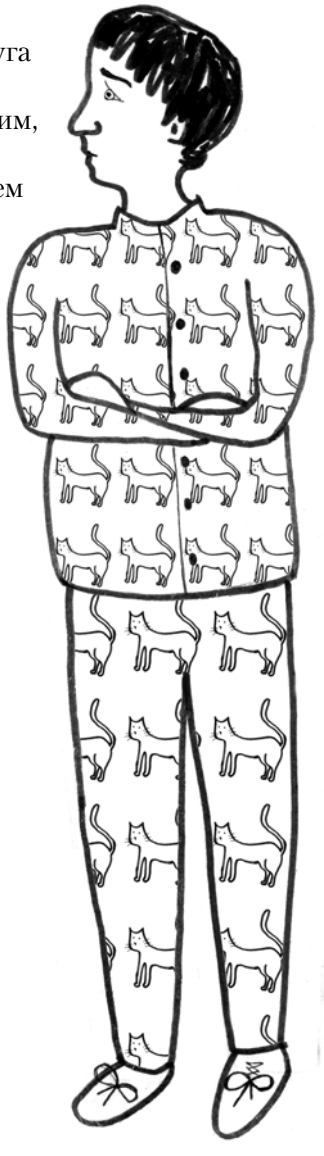
спрятал я от тебя этот светоч,
запер дверь, и ключи потерялись.
только мечется свет без ответа,
словно по лесу волк, разъяряясь.

приходи, родная, — послушай —
так, как ты, мне никто не поверит.
может, в этом лесу мою душу
убивают, как дикого зверя.

19.08.08

✿ ✿ ✿

Я ХОТЕЛ БЫ иметь кота
в квартире,
чтобы он любил меня
больше всех,
чтобы я приходил
с работы
и говорил бы ему:
«Ну что, брат?» —
а он прислонялся мордой
к моей ноге
и отвечал задумчиво.
«Да так как-то все».
Мы выпивали бы молока
по миске
и глядели друг на друга
холостяками,
а потом засыпали с ним,
мурлыкая.
Нам, котейко, нипочем
одиночество.



Висола Султанова

Родилась в 1989 году в Душанбе. В семь лет переехала в Россию. Стала лауреатом литературного конкурса «Слово доброе посеять» в номинациях поэзия и журналистика. Печаталась в «Литературной газете», является организатором виртуального конкурса критики.

У вод стремительной реки Вахш

Рассказ *Посвящаю маме*

Пролог

КРАСНЫЕ НА ЗЕЛЁНОМ, щедро разбросанные по полям и холмам, горели, трепетали от прикосновения ветра и рассыпались от прикосновения руки маки.

А над маками тишина, разлитая в солнечном свете.

А за маками, в синих горах теснятся глиняные аулы. Изредка, еле слышно, оттуда доносятся голоса, иногда песни. В остальное время эти места окутывает тёплая тишина, нарушаемая разве что шорохом травы, в полудрёме покачивающейся под мягкими волнами горячего солнца у вод стремительной реки Вахш.

1

КРАСНЫЕ НА ЗЕЛЁНОМ, ярко-маковые пятна крови выступали на камуфляже. Дребезжали, трескались стёкла. Истошно кричали женщины, плакали дети. И снова — пуля. Трескается стекло витрины, осколок, переворачиваясь, впивается в женщину, она замолкает, оборвав вопль. Намокает, становится маковым кружевной платок. Она нервно дёргается и затихает.

— На этот раз мы оказались быстрей, — смуглый парнишка лет пятнадцати довольно улыбается. — Сегодня удача! А ты чего такой хмурый, Сарвар?

— Мирных много перебили, жалко. Такие, как она, не виноваты в грызне, — кивнул на мёртвую женщину Сарвар, огромный бородатый мужчина, и указал на оружие: — Подбери. Сейчас позови ребят на базу, потом по домам. Римка уже ждёт, наверное.

— На кой она тебе? Злая, некрасивая.

— Подрастёшь — узнаешь, — Сарвар ласково потрепал мальчишку по голове. — Ну, иди, зови наших.

2

РИММА ВЫШЛА из ванной и, закутавшись в тёплый махровый халат, легла на диван и включила телевизор.

«Сегодня в полдень снова было совершено нападение ваххабитов на кулябцев. На этот раз

столкновение произошло на севере Курган-Тюбе. Число жертв пока неизвестно».

Римма капризно вздохнула и переключила канал. Выступал какой-то политик: «...Гражданская война — это бесчеловечно! Брат убивает брата, отец сына... Таджикистан поделился на два лагеря: одни хотят создать исламскую республику, другие — советскую. Кто прав? Ваххабиты или кулябцы?»

Римма выключила телевизор и подошла к большому зеркалу. Придирчиво оглядев себя с головы до ног, она тряхнула каштановыми кудрями и довольно улыбнулась. В дверь позвонили. Римма открыла и радостно засмеялась:

— Сарвар! Почему ты так долго? Я по новостям видела, что вы там делали. Справились вы с этой дрянью?

— Да. Послушай, сегодня ты должна будешь позвать соседей к нам в гости на ночь.

— Что-о?! Они мне здесь не нужны!

— Мне тоже. Просто делай, как я сказал, потом всё объясню.

3

В ПАЛИСАДНИКЕ змеился виноград, свисал вниз зелёными выпуклыми гроздьями. Лёгкий запах акации нежил и успокаивал. О чём-то тихо пел ручей и солнечные блики, купающиеся в нём, мягко перекатывались на персиковые деревья и снова ныряли в ручей.

В палисаднике было много цыплят. Они смешно подпрыгивали и пищали, закапываясь в траву и быстро-быстро оттуда выныривая. Неподалеку сидела девочка и любовалась на эти жёлтенькие пушистые комочки.

Сегодня приходила тетя Римма. Она звала их в гости. Она сказала: «Вместе не так страшно».

Под вечер мама с сестрой спрятали цыплят в сарае, взяли девочку и пошли к тете Римме.

4

ТЕТЯ РИММА ПОРХАЛА вокруг стола и суетливо приговаривала:

— Проходите, садитесь за стол, я сегодня плов приготовила. Висола, смотри, какая у меня есть для тебя игрушка.

Римма протянула маленькой девочке облысевшую куклу Барби. Девочка расплакалась и оттолкнула игрушку. Кукла шлепнулась на пол.

— Зоя, что же у тебя дочка такая капризная? Вы ешьте, а то Сарвар сейчас сядет за стол и вам ничего не достанется.

— Дина, что-то я за дом боюсь. На соседней улице Ахмед жил, помнишь? Ну вот, его три дня не было, так там таджики какие-то дом заняли. Просто пришли и внаглую заняли. Ахмед пробовал что-то доказать, так они ему пригрозили, мол, костей не досчитаешься, если что. Вот время настало... — вздохнула Зоя. — Что-то я устала за сегодняшний день. Доченька, пошли спать?

Сарвар, до этого молчавший, поднял голову:

— Да, вы ложитесь и спите спокойно. Мы с Риммой покараулим, мало ли что. Ну, спокойной ночи!

Ночь выдалась спокойной. Таджикские ночи вообще очень тихие. Если выйти на улицу — вокруг только черная бесконечность и медленно остывающий воздух. А вверху, на расстоянии вытянутой руки — звезды! Большие и круглые звезды. И тишина, каждый шорох слышен.

Шорох. Зоя приоткрыла глаза и прислушалась. Ничего. Опять шорох и тихие шаги. Зоя вышла на крыльцо. У дороги с фонарем в руках стоял Сарвар. Римма нервно ходила около него, указывала на другой конец дороги и что-то говорила. Зоя зашла обратно в комнату и прикинулась спящей. Соседи вернулись, посидели, затем снова вышли на улицу. Так прошла ночь.

Утром все пили чай. Позже собрались и пошли в центр города к родственникам. Шли молча, опустив головы, изредка перекидываясь пустыми фразами. На половине пути Зоя не выдержала, подошла к подруге и пытливо глянула ей в глаза.

— Римма, ночью у меня была бессонница, и я слышала, как вы с Сарваром куда-то ходили. Что это было?

— Ладно, расскажу. — Римма сжала пальцы Зои и быстро их выпустила. — В общем, кулябцы узнали, что у ваххабитов за главного Сарвар. Они знают, где мы живем, теперь нам надо скрываться. А прошлой ночью мы вас позвали, чтобы страшно не было. Чтобы, если придут кулябцы... Понимаешь, они расстреляют любого, кто есть в доме, вот мы и выходили на дорогу смотреть: едут или нет. Если едут — побежали бы.

— А мы? — щеки Зои побелели. Римма отвернулась. Дальше они шли молча.

5

СЁСТРЫ С ДЕВОЧКОЙ шли по пыльной дороге.

Днём асфальт сильно нагревался, от него идёт жар. Сверху, еще нестерпимей, жарит

солнце. Жара размаривает и оглушает. Только бы дойти до магазина с хлебом. Там можно отдохнуть. Весь день — очереди большие. Они тянуться многими сотнями изможденных смуглых тел. Они тянуться многими часами так, что к концу перестаешь считать, сколько осталось до заветного окошечка, где за пачку купюр протянут долгожданную буханку хлеба.

Девочка любила рисовать такие очереди зелено-черными красками: зелеными — лица, черными — тела.

Впереди стоящая женщина оглянулась на сестер и, приложив указательный палец ко рту, поманила их в сторонку:

— Вы еще не знаете? Сегодня боевики обстреляли молзавод. Я там еще не была, но говорят, что он разграблен, а на земле валяются куски сыра. Давайте вместе сходим проверить. А вдруг — правда?

Женщины посовещались и решили оставить Зою с дочерью в очереди, а Дину с незнакомкой направили на разведку.

До завода метров двести. Дина присмотрелась к незнакомке и поежилась: «И зачем я пошла, — думала она и все больше мрачнела, — какая-то она подозрительная, оглядывается постоянно, высматривает что-то.... А вдруг она кулябская? Они как раз узнали, что мы соседи Сарвара». Женщины дошли до завода. Было видно, что совсем недавно здесь происходило нечто ужасное: стекла разбиты, здания обстреляны, а во дворе действительно валяются огромные желтые куски, нет, кусища сыра. Дина остановилась пораженная: в то трудное время семьи приглашали друг друга на «чай и кусочек сыра». Это было честью, так делали только богатые семьи. Простые смертные не могли себе позволить такой роскоши, а тут... огромный двор, усыпанный свежими кусками сыра.

Только Дина бросилась собирать эти куски, как, подняв голову, обнаружила, что из пробоин и из окон здания на двор направлено множество автоматных стволов. Дина беспомощно оглянулась — проводницы и след простыл. Дина присела от ужаса на асфальт. Беспомощная молодая девушка в васильковом сарафане прижимала к себе сырную голову, боясь сделать неосторожное движение.

Выстрелов не последовало.

Дула как бы указывали на выход со двора. Дина медленно поднялась и, пятясь, покинула площадку. Дорогу до очереди она прошла с единственной мыслью: «Надо донести сыр... обязательно».

6

ДЕВОЧКА ОЧЕНЬ любила Шарика, хорошенького пушистого пёсика, питомца Риммы с Сарваром. Теперь, когда их дом пустовал, только Шарик носился по двору, кувыркался в песке и забегал в гости к маленькой девочке.

Она придумала игру: вынесла мячик и покатила его Шарику. Тот лапой отшвырнул мячик девочке. Она — обратно. Так они играли по вечерам в пустом соседском дворе.

А однажды приехала большая машина. Оттуда выпрыгнуло несколько мужчин. Они нырнули во дворик и обнаружили девочку, играющую с Шариком. Один из мужчин подошёл к ней и сильно встряхнул:

— Где Сарвар? Отвечай, где Сарвар?

Девочка закричала и разрыдалась.

Шарик, не помня себя от злости, вцепился в руку мужчины и повис, бессилен сделать что-то другое.

Раздался оглушительный хлопок. Шарик разжал челюсть и безвольно шмякнулся об асфальт. Задергался, посмотрел на девочку и замер.

— Была б ты дочерью Сарвара, тебя бы так же пристрелил, — обратился к малышке боевик, — увидишь подонка, передай, что его ждет участь этой собаки.

7

ПО ЗЕМЛЕ ЛЕТЕЛА река. Широкая, стремительная река Вахш. Когда-то, в мирное время, в ней любили купаться местные мальчишки. Теперь даже в сильную жару реку обходят стороной.

В тот день сестрам и девочке нужно было перебираться по мосту через Вахш, чтобы уйти в соседний городок — там было спокойнее.

В этот день, собирая вещи, Зоя задумалась и погрустнела:

— Знаешь, Дина, мне сегодня не хочется идти. Может, отложим на завтра?

— Зоя, ну давай, ты как-то справишься со своей усталостью? Чем быстрее соберемся, тем лучше.

Зоя подошла к окну. Она любила смотреть на свой палисадник, где росли, посаженные родителями, акации, виноград, алые гранаты и кусты желтых роз.

Она распахнула окно, протянула руки к любимым розам и вдруг — змея! Обвившись вокруг балки палисадника, змея свисала, раскачиваясь, извивалась, сползала вниз, к раскрытому

окну, не отводя при этом жалящих глаз от женщины.

Та вскрикнула и быстро захлопнула ставни:

— Вот кошмар, всю жизнь прожила в Таджикистане, а змей до сих пор боюсь. Эта была какая-то особенная. Особенно злая... Дина, я думаю, это знак. Нет, мы сегодня никуда не пойдем.

Зоя отворила дверь в комнату своей дочери и, застыв, любовалась ею, безмятежно спящей в своей кроватке.

Она легла рядом с дочерью и незаметно задремала.

8

ПО ЗЕМЛЕ ЛЕТЕЛА река. Широкая, стремительная река Вахш. Через нее перекинулся и застыл крепкий железный мост. По мосту шли беженцы с ишаками, запряженными в телеги, — шли подальше из родного города. Их было много, измученных и голодных. Они шли молча, слышно было только громыхание телег и негромкое, будто предостерегающее пошептывание Вахша.

Постепенно тишина стала нарушаться звуками подъезжающих грузовиков. Люди недоуменно переглядывались и останавливались на мосту; между тем на него взбирались новые и новые беженцы, началась давка. Грузовики останавливались на берегу, из машин выпрыгивали и быстро бежали мужчины в камуфляже. С другой стороны реки происходило то же самое. Люди на мосту поняли, что будет перестрелка, и как-то резко смолкли. Молоденькая девушка подняла взгляд к небу и прошептала: «Аллах, дай только ребёнку выжить». Она прижала сына к себе: «Радость моя, не плачь, может, обойдётся». Ребёнок заглянул в глаза матери: «Мама, банда, да?» Девчонка заплакала: «Да, сынок, банда. Ты закрой глазки, не смотри...»

Началась перестрелка.

Пуля раскроила голову старику. Брызнула кровь, тело, залитое кровью, осталось извиваться на мосту.

Тощий смуглый подросток кинулся было бежать, но и его остановили пули. Грудь и плечи покрылись решетом ран. Мёртвый, он инстинктивно пробежал ещё несколько метров и упал с моста. Вахш равнодушно проглотил безжизненное тело.

Грузная женщина бросилась бежать к тому концу моста, откуда стреляли кулябцы: «Своих-то не убивайте! Я за коммунистическую республику!! Я за ком... — пуля прервала её остервенелый вопль, — ком... будь... те прокля...ты», — женщина раздирала на себе платье, корчилась от боли, тихо поскуливала.

Девушка лежала на мосту с ребенком, закрывая ему глаза. Мальчишка не плакал, а только иногда спрашивал: «Еще не все? Нет? А нас не убьют?» Понемногу затихала пальба, грузовики отъезжали. Слышался непрерывный плеск реки: равнодушные воды поглощали всё.

Девчонка не выдержала и бросилась бежать, крепко прижимая малыша, когда оглянулась, поняла, что кровавая река осталась далеко позади, и только теперь она свалилась на траву и отпустила ребенка.

9

ПО ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ в трясущемся грязном грузовике ехали ваххабиты. Смуглые, обросшие, пьяные и довольные. Сарвар выпрямился в кузове в полный рост, вдохнул тёплого ветра и, сорвав автомат с плеча, принялся палить в воздух.

Вся братия тут же вскочила на ноги, достала оружие и начала разрывать воздух пулями, оглашая окрестности диким смехом и воплями.

А на дне машины лежал связанный, избитый кулябец, корчившийся, словно от ударов, при каждом крике и выстреле.

К Сарвару подбежал подросток. Его глаза светились фанатичным восторгом:

— Это ведь правда? Мы будем править миром и дарить ислам неверным?

Сарвар довольно расхохотался:

— Мы захватим мир!!! И везде будет ислам. Везде, слышишь? — Он пнул кулябца.

Грузовик свернул с дороги и остановился возле маленькой кирпичной постройки. Когда-то это зданьице служило баней, теперь это был штаб боевиков.

Сарвар с друзьями выпрыгнули из машины и с пинками поволокли связанного кулябца в штаб:

— Ну, сейчас разомнёмся и телевизор посмотрим. Да, товарищ? — Сарвар ехидно глянул на пленника.

Кулябец, длинный, сутулый старик, молчал. Все эти грязные бородатые лица слились в одну чудовищную, хохочущую гримасу. Он зажмурился: «Собрались смотреть телевизор. Может, обойдется? — мысли пленника путались. — Но тут нет телевизора...»

— Что ж ты молчишь-то? — Сарвар бешено тряс старика.

— А что говорить, товарищ?

— Какой я тебе, в жопу, товарищ?! — Сарвар с размаху ударил старика, лежащего на полу. — Ну что, ребята, посмотрим телевизор?

Боевики довольно заулыбались. Иногда они позволяли себе одно маленькое удовольствие.

Сарвар снял со стены пилу, наступив на шею, придавил голову старика к полу. Руки и ноги кулябца бессильно задергались, из его горла донесся тихий хрип. Сарвар поднес лезвие к шее и тут же в несколько резких движений перепилил шею. Схватив голову за уши, он поставил ее на табурет. Боевики воткнули в ноздри электрические проводки и пустили ток из генератора. Голова задергалась, открылись глаза, рот скривился, из него потекла кровь. Боевики смеялись и орали: «Яхши, яхши!»[1] Наконец, голова широко открыла рот, обнажила зубы в ужасающем оскале и застыла.

10

— ДОБРЫЙ ДЕНЬ, товарищи! — Полноватый, представительный мужчина вошел в зал, до отказа набитый людьми в камуфляже. — Жду отчета о событиях на реке Вахш.

Просторная аудитория охранялась высокими плечистыми боевиками с оружием наперевес. Они неспешно прогуливались по дощатому паркету и внимательно следили за всеми присутствующими. С кресла поднялся юноша:

— Добрый день, командир! Операция прошла благополучно, но в наших рядах есть потери. Три человека убиты, один взят в плен... Думаю, мы с ним больше не увидимся.

Командир задумался, затем снова обратился к аудитории:

— Я должен сообщить вам, что наши противники за последние дни заняли три центральных здания в городе. Пора идти на крайние меры. Всем вам известно, что на другом конце города расположилась российская 201-я мотострелковая дивизия. Россия выслала войска, но они бездействуют, непонятно чего дожидаясь. Думаю, пришло время воспользоваться услугами наших товарищей, — командир заговорщицки улыбнулся...

В эту ночь можно было увидеть странную картину: у российской дивизии, присланной для восстановления покоя и справедливости, угоняли танк кулябцы, покой и справедливость нарушившие.

11

— САРВАР! Сарвар! — В окно бешено стучали и звали испуганным голосом. — Сарвар, открой, это я!

Сарвар открыл глаза, прислушался и недовольно покосился в сторону окна. Рядом спала Римма. Он поглядел на нее, вздохнул, откинул одеяло и пошел открывать дверь. На пороге стоял его давнишний друг, верный, как щенок, молодой парнишка. Его угольные глаза живо блестели, он был взволнован и напуган:

— Учитель, беда! Кулябцы приехали на огромном танке и бомбят здания, которые мы захватили, убивают наших. Что делать?!

Сарвар побледнел и быстро сглотнул. Подумав, он приказал:

— Беги, скажи остальным, чтоб собирали отряд для сопротивления. Только быстрей беги, а я скоро подъеду. Вот оденусь, скажу Римме и сразу к вам!

Мальчишка кивнул, повернулся и засверкал пятками по асфальту в направлении центра города.

Сарвар проводил его взглядом, с силой ударил кулаком по двери и зашел в комнату. Римма так и не проснулась. Он подошел к ее кровати, дотронулся губами до щеки и вышел из комнаты во двор. За углом дома было местечко, где хранились общие деньги банды. Сарвар быстро разложил пачки хрустящих купюр по сумкам и сел в автомобиль. Машина заурчала и понесла Сарвара узкой дорогой вон из города.

— Неплохо я здесь пожил, — включая музыку, проговорил Сарвар, — совсем неплохо. Думаю, этот город обойдется без меня.

12

ТАНК ДВИГАЛСЯ по городу железным чудовищем, изрыгающим пламя. Курган-Тюбе тонул в огне, захлебывался дымом и кричал голосами испуганных до безумия жителей. Пятнадцатилетний паренек, Сарваров щенок, как его называли, смотрел на пылающий город, смотрел и плакал, когда его грубо толкнули сзади. Паренек оглянулся и замер — перед ним стоял вооруженный кулябец:

— Ты кто? Покажи документы.

Мальчишка побледнел и бросился было бежать, но тщетно — через минуту его догнали.

[1] Хорош! Хорош!

— Ты что, сдохнуть быстрей решил, — кулябец был в ярости. — Документы давай показывай.

Парень протянул ему паспорт.

— Так... Асанов Рустам Тимурович.... Ба, я смотрю, лица знакомые! Пойдем-ка со мной, малыш!

Боевик схватил мальчика за шиворот и потащил за собой.

Мутные воды широкой стремительной реки Вахш отражали огонь пылающего города. Изогнутой тенью свисала над ними громада моста. Здесь странным образом прерывался шум опального города. Был слышен только стук каблуков по металлу, эхом разносящийся над водой.

Кулябец шел топить ребенка.

Эпилог

ПРОШЛО время.

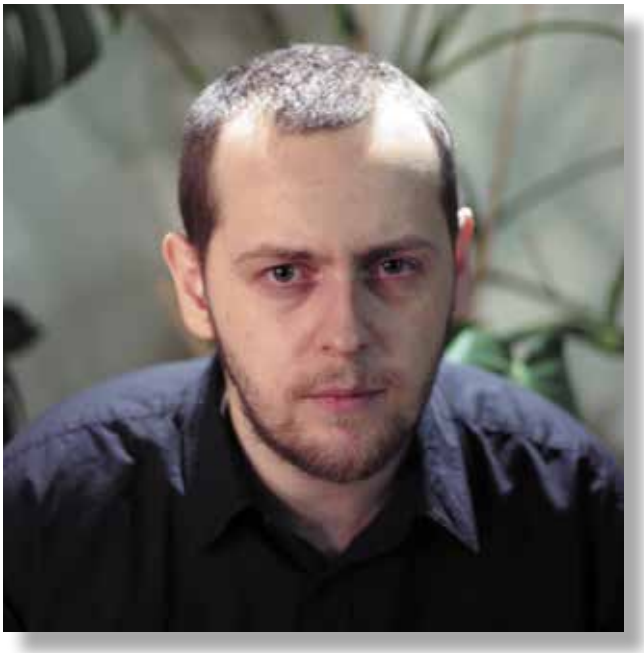
Римма родила от Сарвара — ребенок скончался еще в роддоме. Римма спилась и бесследно исчезла.

Бравый Сарвар так и не вернулся в родной город. Куда он уехал и где теперь, остается загадкой. Его дом, где они жили с Риммой, заняли бедствующие цыгане.

Девочка выросла. Ее семья эмигрировала из Таджикистана.

Она больше никогда не видела ни маковых полей, ни аулов, ни равнодушных вод широкой стремительной реки Вахш.

Юрий Лунин



Родился в городе Партизанске, Приморского края. Женат, есть сын, сына зовут Лев. Работает в подмосковной газете.

Сказка о светящемся шарике

У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА не было ничего. Дом его был пустой куб, где не на чем было остановить глаз и не о чем было думать. Рядом был лес. В лесу были разнообразные растения и звери, но человек ни о чем не думал и в лесу, ведь он ходил туда только за тем, чтобы вернуться домой, в свой пустой куб.

Но однажды ночью человек проснулся — в дом стучались. Он открыл глаза и увидел рядом с собой на полу светящийся шарик.

«Откуда этот шарик? — спросонья удивился человек. — Надо будет показать кому-нибудь завтра же и спросить, что бы это могло значить».

Стук повторился. «Кто это стучит?» — спросил человек и услышал голос:

— Никому не рассказывай про шарик и никому не показывай его. Никому! В остальном — делай всё, что считаешь нужным. Теперь спи.

Когда человек проснулся, он снова увидел шарик и подумал: «Я теперь не смогу спокойно жить, пока не узнаю, что это за шарик. Может быть, я всё-таки смогу что-нибудь узнать о нём у людей, несмотря на то, что мне не велено о нем говорить?»

И он спрятал шарик за пазуху и вышел из дома.

Ему встретился знакомый.

— Почему ты сегодня так странно на меня смотришь? — спросил знакомый.

— Я не могу сказать тебе об этом, — ответил человек. — А лучше ты расскажи мне что-нибудь.

— С удовольствием, — сказал знакомый. — Слушай. У меня заболела собака, и я её вчера пристрелил: что толку о ней заботиться, если она уже всё равно не сможет охранять дом, а у меня и так хватает забот. Так ведь? Потом я работал в поле, и меня чуть не укусила змея. Что-то их много в этом году. Вечером я выпил в кабаке пива, и дома на меня набросилась жена. Она визжала, как свинья, я не выдержал и врезал ей подзатыльник. Такие дела.

— А еще? — попросил человек. — Разве ты не расскажешь еще чего-нибудь?

— Еще? Кажется, мне больше не о чем тебе рассказать. И всё-таки: почему ты так странно смотришь?

— Жаль, — задумчиво сказал человек. — Жаль, что тебе больше не о чем мне рассказать.

Человек простился со знакомым и покинул свой поселок, потому что он не мог больше оставаться на месте.

Он шел довольно долго и по пути разговаривал с каждым встречным. Он многое услышал от людей, но ни слова о светящемся шарике. И с кем бы он ни разговаривал, все спрашивали его: «Скажи, человек, о чем ты думаешь? У тебя очень странный взгляд». — «Да так, — отвечал человек. — Думаю о том, о чем вы только что мне рассказывали».

Еще человек стал наблюдать за звездами, животными и растениями. Он и у них искал ответа на свой вопрос о шарике. Он стал изучать и запоминать все те их свойства, которые, как ему казалось, могли таить в себе ответ. Например, он смотрел на какую-нибудь птицу и думал: «Если она сейчас почешет клювом правое крыло, как это сделала другая птица, которую я видел вчера в это же время дня — то, значит, я был прав». И если человек угадывал движение птицы, он считал, что теперь на шаг приблизился к ответу на свой вопрос о шарике. Так человек стал любознательным. Если прежде, видя лес, он думал только о том, что снова вернется домой, то теперь каждая травинка волновала его и вызывала множество мыслей.

Однажды, когда очередной день уже собирался отправиться за горизонт, человек проходил мимо одного дома. Во дворе дома старик колол дрова. На веревке было развешено его скромное белье.

— Здравствуй, старик, — сказал человек. — Мой тебе совет: уноси скорее дрова в дом и снимай с веревки белье. Вот-вот может пойти сильный дождь.

— Как? — удивился старик. — Весь день было ясно, да и сейчас на небе ни облачка. Откуда взяться дождю?

Человек ответил:

— Недели две назад я шел по дороге ночью. На небе проглянула одна звезда, которой я прежде не замечал. На следующий вечер цвет сосновых стволов был особенно красен, и вот неожиданно сгустились тучи и полил дождь, хотя ничего, казалось бы, его не предвещало. Так вот: прошлой ночью я снова видел эту звезду, и я подумал, что если сосновые стволы сегодня вечером будут опять особенно красны, то, наверное, быть дождю. Стволы подтверждают мою догадку. Послушай мой совет, и, если я окажусь не прав, я сам вынесу дрова обратно во двор, развешу бельё и уйду. А если я окажусь прав, ты разрешишь мне переждать дождь у тебя в доме. Сейчас давай я помогу тебе побыстрее собраться.

— Ты странный человек, — сказал старик, — но именно поэтому я тебе поверю.

И старик последовал совету.

Не прошло и получаса, как небо заволокло тучами, засверкали молнии и начался сильный дождь.

Старик и его гость сидели в доме за столом и разговаривали.

— Удивительный человек, знаешь ли ты сам, куда держишь путь, или ты идешь просто так, без цели? — спросил старик.

— Ни то, ни другое, — отвечал человек. — Я не знаю, куда я иду: с некоторых пор я просто не могу остановиться. Но цель у меня есть, хотя рассказать о ней я не могу. Может быть, *ты* знаешь, что ждет меня впереди на пути?

— И да, и нет, — отвечал старик. — В трех днях пути по этой дороге находится город, но ни я, ни кто-нибудь из моих друзей и родных никогда не бывали в этом городе.

— Отчего же?

— Линия городской границы обставлена башнями, и на каждой сидит строгий охранник.

— И входа нет совсем никому?

— Помню, когда я пробовал войти в город, охранник внимательно посмотрел мне в глаза, а потом сказал: «Входа нет». То же самое услышали мои друзья и родные. Им так же зачем-то смотрели в глаза. Ночуй сегодня у меня, а завтра, если хочешь, отправляйся в город. У тебя очень странный взгляд. Никогда мимо моего дома не проходил человек с таким взглядом. Может быть, охрана заглянет в твои глаза и пропустит тебя.

На следующий день человек попрощался со стариком и направился в город. Старик крикнул вслед человеку:

— Странный человек! Ты не раскрыл мне своей цели, но спас мои дрова и белье от дождя! Наверное, твоя цель помогла тебе в этом! Спасибо тебе!

Через три дня пути, как и сказал старик, человек подошел к границе города. С невысокой башни к нему спустился охранник. Он молча посмотрел в глаза человеку и, немного помедлив, крикнул второго охранника, который сидел на соседней башне. Второй охранник, спустившись, тоже посмотрел в глаза человеку. Затем оба они отошли и о чем-то посовещались друг с другом. Тогда пришел третий охранник и опять посмотрел в глаза человеку, и после общего совета человеку был задан вопрос:

— Какова цель твоего прибытия в город?

— Мне нельзя об этом говорить, — честно ответил человек.

Охранники переглянулись, кивнули друг другу и открыли ворота. Человек перешел границу.

Через несколько часов пути он взошел на холм — вдали показались стройные городские

башни. Крылатые машины разлетались над ними, как птицы; огромные полосатые шары разных цветов устремлялись в небо, как дождевые капли, медленно летящие не вниз, а вверх. У высоких стен толпились и шумели маленькие, как муравьи, люди.

Вскоре человек вошел в яркую многоголосую толпу и спросил у одного из жителей города:

— А что, сегодня у вас какой-то праздник?

— Какой праздник? — удивился житель. — Обычный, вполне обычный день.

— Почему же тогда все так оживлены? — спросил человек.

Житель еще больше удивился:

— Ты что? Первый день в нашем городе?

— Да, — ответил человек.

— Но если даже и так, то ты ведь не случайно попал сюда, — житель присмотрелся к человеку, почти как охранник, только слегка боязливо. — Неслучайно. Вот и не удивляйся. Мы часто собираемся по вечерам вместе. Нам интересно о чем-нибудь поговорить.

— О чем-нибудь? — не понял человек.

Житель в негодовании топнул ногой:

— Да, о чем-нибудь, и...

Он махнул на человека рукой и трусливо убежал в толпу.

Человек решил получше узнать город и пошел по улицам. Все жители, которых он встречал, занимались чем-нибудь удивительным. На одной улице, например, все изготовляли из дерева и металла инструменты разных форм и размеров. На другой улице при помощи этих, уже готовых инструментов, другие люди рождали чудесные, восхитительные звуки. От этих звуков человеку стало так хорошо, словно он не ищет ответа на вопрос о шарике, а уже овладел им.

— Что это такое прозвучало? — спросил человек, утирая появившиеся слезы.

Люди с инструментами переглянулись, словно над ними только что хотели подшутить.

— Музыка, если вам не понятно, — с достоинством ответил один из них.

Человек поблагодарил музыкантов и покинул их улицу.

«Все эти люди точно, точно знают про шарик, — шептал сам себе человек. — Они только что говорили именно о нем при помощи своей музыки. И их музыка куда ближе к ответу на мой вопрос, чем все мои дорожные наблюдения».

На следующей улице стояла толпа людей. Один из них возвышался над остальными. Он размахивал руками и говорил простые понятные слова. Но как эти слова глубоко проникали в душу!

«Да точно же! — чуть не закричал человек. — Это же слова прямо о моем светящемся шарике. Они почти раскрывают мне его смысл, они напоминают о нём, и только о нём, хотя и не говорят прямо о шарике ни слова!»

Потом на возвышение вставали другие люди и тоже говорили замечательные, мудрые слова. Толпа одобрительно шумела.

На очередной улице человек увидел устройства, при помощи которых создавались разные машины. Устройства сами закручивали винты, спаивали железные листы, прикрепляли к корпусу колёса и по специальной подвижной дорожке спускали готовую машину на землю. Там в неё садился пилот, и машина укатывала с огромной скоростью на своих колёсах. Человек наблюдал за работой устройства и думал: «Если бы моя жизнь могла быть подольше лет на пятьсот, то через пару сотен лет мои размышления о светящемся шарике привели бы меня именно к таким изобретениям. В этих изобретениях много общего с тем, что замечал я в самой природе, ища у неё ответа на свой вопрос».

Потом человек остановился у какого-то большого дома, стены которого были украшены причудливыми, разнообразными рельефами.

«И даже эти изображения на стенах! — не переставал он удивляться. — Даже они говорят мне только о шарике! О, как близок ответ! Кажется, здесь все такие же, как я, только намного, намного мудрее!»

— Что это за дом с чудесными изображениями на стенах? — спросил человек у какого-то прохожего.

— Как *что за дом*? Библиотека, чудак, — ответил прохожий.

Человек зашел в библиотеку. На стенах до самого потолка громоздились стеллажи с книгами. По стеллажам стелились лестницы с уютными площадками, на которых стояли столики для чтения. Никого не было в библиотеке, никто не охранял её. Из подпотолочных окон светили лучи, в лучах тихо пролетали светлые пылинки.

Человек принялся за книги. Несколько дней он, не переставая, читал. Его поражало мастерство, с которым авторы книг высказывали свои мысли о светящемся шарике, минуя само слово «шарик». Через небесные светила, через флору и фауну, через градостроительство, через музыку и живопись осторожно подступали авторы к вопросу о шарике. Но они доходили до той черты, где употребление слов «светящийся шарик» было бы уже неминуемо, и там их сочинения

прерывались. Тем не менее глубина их мыслей казалась человеку безмерной.

«Да, — качал он головой, — сам бы я этого никогда, никогда не узнал».

Наконец, глаза человека устали от букв. Он вышел на улицу и спросил у кого-то:

— Как мне найти жильё в вашем городе?

— Этим занимается охранитель храма, — был ответ, — иди к нему.

Человеку указали дорогу к храму, и он незамедлительно отправился туда.

Храм был огромным каменным кубом без окон, с одной лишь маленькой дверью. Рядом находился домик охранителя.

Пожилой охранитель принял посетителя спокойно. На вид этот старик ничем не отличался от любого другого горожанина, только был очень худ, словно чем-то смертельно болен.

— Вот номер Вашего жилья. Улицу Вам укажет любой. Так что добро пожаловать, — сказал охранитель и между прочим добавил: — Условия Вам известны.

— Какие условия? — нарочно спросил человек.

— Условия Вам известны, — значительно, с расстановкой повторил охранитель и без церемоний выпроводил человека за дверь.

Человек получил жильё на одной из улиц города и стал его полноправным жителем. Вскоре он познакомился со многими людьми. Все они, как ни странно, были коренными горожанами. Говорили, что в городе находятся еще люди со стороны, но человек их не встречал.

Беседовать с жителями было истинным удовольствием. Человек, еще на пути в город, беседовал с тысячей других людей, но все они не понимали его, потому что, по приказу тайного голоса, он должен был многое от них скрывать. Здешние же люди понимали человека вполне. Смущало его только одно: когда он смотрел на них особенно доверительно, стараясь взглядом сказать о том, о чём нельзя было говорить словами, люди отворачивались и старались поскорее уйти. Наверное, даже глазами они боялись выдать мысль о шарике.

Как-то человек спросил одного жителя:

— Почему храм, которым заправляет охранитель, ничем не украшен? Кто ходит туда? Кому там молятся?

Житель резко, почти с досадой отвернулся, потом оглянулся по сторонам и неприветливо, опасливо произнес:

— Ты не местный. Тебе не надо знать. Больше не спрашивай.

Впредь этот житель избегал встречи с человеком.

Прошло довольно много времени. Человек совсем освоился в городе. То, что вначале казалось ему небывалым и восхитительным, теперь стало для него привычным. Он прочел почти все библиотечные книги, был в курсе всех городских событий, знал наизусть всю музыку, которую играли городские музыканты, знал, как работает каждое механическое устройство. Он сам научился складывать из слов чудесные речи, которые проходили в опасной близости от нарушения главного условия, но, тем не менее, выполняли его.

В городе человека, неизвестно отчего, немного побаивались. Поэтому настоящих друзей он не нашел и постепенно начал скучать. В его сердце поселилось глубокое сомнение.

«Вот я и изучил все их сложные науки и хитроумные искусства и понял, что всё это, конечно, своим появлением обязано шарику. Всякое знание вышло из шарика, как росток из семени, и заветвилось. Но как бы ни разрослось это дерево, я остаюсь всё так же далек от истины. Если я буду и дальше молчать о шарике, если не вытащу его, наконец, из-за пазухи перед людьми, я не сдвинусь с места. Если эти люди знают истину, то почему они договорились о ней молчать? И наконец, какое наказание назначит неведомый голос тому, кто нарушит условие? И я — почему *я* всё это время подчинялся этому условию, когда так просто было его нарушить? Нет, я готов даже на самое страшное наказание, потому что я привык к движению, а теперь чувствую, что дальше двигаться некуда!»

Настал День Достижений — общегородской знаменательный день, отмечавшийся раз в год. В этот день каждый человек, сделавший новое открытие, написавший книгу, создавший музыку, начертивший проект нового здания, мог обнародовать свой труд. Комиссия, в составе которой находился также охранитель храма, записывала число и характер достижений и вносила их в специальную Книгу достижений, которая велась с самых первых лет существования города.

На центральной площади устроили возвышение для выступающих. Система полых сосудов делала во много раз громче их голоса, а система огромных стекол могла увеличить мельчайший предмет в их руках до того, что он становился виден даже с самого дальнего конца площади.

В середине дня, когда выступили уже многие, на площадь пришел человек. Он сквозь толпу пробился к возвышению и попросил, чтобы ему дали слово.

— Люди! — начал человек. — Я тоже пришел поделиться своим открытием. Может быть, я и ошибаюсь, но думаю, что оно займет достойное место в Книге достижений. А главное, что это открытие не потребовало от меня никаких вычислений, оно является только движением моей воли. Однако оно действительно ново. Никто из вас, горожане, почему-то не додумался до этого за сотни лет существования города. Звучит открытие так: если знаешь истину — не прячь её, а если не знаешь — тогда не делай вид, что прячешь. А поэтому — вот перед вами мой светящийся шарик — тайна тайн!

Человек достал из-за пазухи свой светящийся шарик и завел руку за увеличительное стекло, чтобы вся толпа могла его увидеть.

На площади сразу установилась мертвая тишина. Охранитель, трясущийся и бледный, встал со своего кресла и показал пальцем на человека.

— Казнь! — простонал он. — Смертная казнь! Взять его! И пусть уберет, сейчас же уберет!

В толпе раздались сначала одинокие выкрики: «Казнь! Да, казнь!» Но постепенно вся толпа осмелела, и вскоре все в один голос закричали: «Казнь! Казнь!» — словно спасение людей теперь заключалось не в том, чтоб молчать, а, наоборот, в том, чтобы дружно кричать «казнь!».

Несколько людей в коричневых одеждах подошли к человеку и сказали ему, чтобы он сию же секунду следовал за ними. Его отвели в тюрьму, где он просидел до самой ночи, пока не загремела решетка и в каменную комнату его заключения не зашел охранитель. Охранитель убедился, что никто не сможет услышать предстоящего разговора, прошелся несколько раз взад и вперед по комнате и, наконец, сказал:

— Завтра Вас казнят. Вы, может, и не догадываетесь, почему это так. И я мог бы Вам не говорить об этом. Всё равно Вы в наших руках. Однако я ставлю себя на Ваше место (такая способность еще не утратилась во мне) и понимаю, что мне было бы очень страшно на этом Вашем месте. По крайней мере, я, сидя в этой каменной комнате и считая свои последние часы, очень желал бы увидеть кого-нибудь, кто вывел бы меня из неведения. Поэтому я к Вам и пришел. Но та же способность ставить себя на место другого говорит мне, что я на Вашем месте вообще не хотел бы умирать, и искал бы не знания, а спасения. Это я говорю к тому, что я принес Вам выбор. Он таков. — Казнь Ваша в любом случае состоялась бы закрыто, чтоб лишний раз не напоминать людям о сегодняшнем происшествии. Поэтому её можно будет больше не оглашать. Достаточно, того, что прозвучало сегодня, — никто не усомнится в том, что Вас казнили. Если, конечно, люди больше не увидят Вас в городе. А для этого я предлагаю Вам бежать, и я лично готов Вам в этом помочь, если Вы изъявите желание. Это первое. В то же время, есть и другой вариант. Не знаю, стоит ли и предлагать Вам его. Сам себе удивляюсь. Итак, второй вариант: я, прямо сейчас, скажу Вам всё, что знаю об интересующем Вас вопросе, дам Вам непосредственное, так сказать, неприкрытое знание, знание, которым обладаю только я, да еще мой преемник, — но тогда Ваша казнь будет неминуема. Жить с этим знанием могут только двое — именно я и преемник. Так что выбирайте. Да, и ещё: перед тем, как Вы сделаете выбор, скажу Вам о качестве своего знания, чтобы Вы, в случае чего, заранее понимали, на что идете. Моё знание настолько полно, насколько оно вообще может быть полным. Прошу заметить, что это не последняя и совершенная истина, которую Вы, должно быть, ищете; это просто всё, что может знать человек о... будем говорить прямо — всё, что он может знать на этой земле о светящемся шарике.

Человек подумал и ответил:

— Я готов слушать.

— То есть готов завтра умереть? — уточнил охранитель.

— Да.

— Что ж, — усмехнулся охранитель удивленно, — тогда слушай, чудак. Но знай, что это сделает приговор необратимым, даже если моё знание совсем разочарует тебя.

— Говори, — сказал человек.

И охранитель начал свой рассказ:

— Среди прочих библиотечных книг тебе наверняка попадалась в руки и такая: «История города с древнейших времен». Там, как ты помнишь, говорится, что основал его один человек. Этот человек придумал все наши науки и искусства и, умирая, передал их другим и так далее. Всё это, в целом, верно, но о главном, конечно, опять ни слова. На самом же деле было всё так. В одной отдаленной местности жил такой же, как ты, человек. Он был таким же пустым, каким в своё время был ты, и ни лес, ни звёзды, ни реки не рождали в нём ни единой мысли. Дом его был куб, где не на чем было остановить глаз, он только спасал человека от дождя, снега и ветра. Ты всё это должен знать. Ведь то же самое было и у тебя, не так ли? Так вот, так же загадочно, как и тебе, явился ему светящийся шарик, и тоже был голос, передавший единственную заповедь: «Никому не говори». И точно так же двинулся человек в путь, так же страдал всю жизнь оттого, что должен молчать, и оттого, что

тайна шарика остается неразрешимой. И таким же странным казался всем его взгляд. Из миллиона можно узнать человека, все мысли которого посвящены тому, о чем он должен молчать. Но человек перестал быть пустым. Лес, реки, звезды стали рождать в нем множество живых идей. Он нашел множество закономерностей в жизни птиц и зверей, в движении светил. Он попытался придумать другой, нечеловеческий язык, чтоб хотя бы на нём рассказывать миру о светящемся шарике. Этот язык он взял у самой природы, и в этом обрели свои начатки все наши науки и искусства.

Человек старел. Он устал от постоянного пути и остановился в местах нашего будущего города. У него была жена и был сын, который перенял и уже при жизни отца приумножил все его знания. Умирая, наш основатель подозвал к себе сына и сказал ему: «Я умираю. Поэтому мне нечего терять. Теперь я всё расскажу и покажу тебе, хоть и молчал об этом всю жизнь». Так сын узнал о шарике всё, что знал о нём отец.

Основатель умер. Загадочный шарик остался у его сына. На сыне, как ты понимаешь, уже не лежала обязанность молчать. Но сына уже не так интересовал этот удивительный предмет, как его отца. Его больше интересовали сами отцовские науки и искусства. Он даже не понимал, какая связь между этими науками и искусствами и шариком. Но что-то сильно пугало его в шарике. До сих пор не совсем понятно, что именно; и тем не менее, я почему-то вполне могу его понять. Я чувствовал бы то же самое. Не знаю почему. В общем, сын решил, что раз отец-основатель стал таким мудрым по причине молчания о шарике, то и развить и продолжить его мудрость можно лишь при помощи этого молчания. И надо внушить это молчание всем окружающим.

Ко времени зрелости сына в этих местах жило уже достаточно много людей, они сообща совершили несколько новых открытий на основе первых открытий отца-основателя, вместе обсуждали кое-какие вопросы искусств. Однажды сын собрал всех вместе и сказал: «Нам надо огораживаться стеной от остального мира. Я принес вам тайну. Эта тайна объединит нас всех, но и навсегда отделит нас от других. Итак, всё, чем мы обладаем на сегодняшний день, содержится в моём кармане. Я покажу вам это, скажу, как оно называется, и возьму с вас страшное, священное обещание: никогда не произносить ни слова об этом. Мало того, каждый, кто об этом обмолвится, да будет предан казни. Все, кто не готов дать клятву, пусть сейчас же уходят из этих мест навсегда». Тогда многие дали клятву. На несколько мгновений людям был показан шарик. Затем сын убрал его обратно в карман.

Вот с этих пор стало узаконенным полное обособление наук и искусств от их первоисточника — светящегося шарика. Науки и искусства обрели в глазах каждого полноправную, самостоятельную ценность. Науки и искусства теперь надо было развивать и совершенствовать ради самих наук и искусств. Шарик служил лишь обязательной условностью.

Ко времени старости сына местность была уже небольшим укрепленным городом, городом для посвященных. Но население росло, приходили люди со стороны (тогда это было возможно), и всех надо было скорее посвящать в тайну. Тогда начал строиться наш храм. Ты заметил, какой у него строгий, почти бессмысленный вид. Это было так задумано для того, чтоб единожды входящий туда не имел никаких подсказок и намеков на что-либо. Тайна должна коснуться его и усвоиться, не оставив ни одного постороннего впечатления. В то же время храм, как видишь, очень велик, он больше всех остальных городских зданий. Это для того, чтоб каждый понимал важность посвящения. Со времен внука основателя каждый житель, достигший совершеннолетия, должен проходить посвящение. Я, как ты, наверное, понимаешь, являюсь потомком основателя.

Ты, скорее всего, хотел бы знать, что представляет собой посвящение? Что ж, я расскажу тебе и об этом. Всё очень просто.

Родители приводят своего совершеннолетнего ребенка к дверям храма, я принимаю ребенка у дверей, затем провожу по множеству темных, пустых коридоров и довожу до комнаты, тоже совершенно пустой и темной. В середине этой комнаты лежит тот самый светящийся шарик. Тогда я беру с ребенка четырехчастную клятву: первое — впредь молчать о том, что он сейчас видит; второе — всегда отдавать в руки правосудия любого, кто нарушит первую часть клятвы; третье — приводить каждого из своих будущих детей на посвящение в день совершеннолетия; четвертое — никогда не переступать границ города.

— И что? Это всё, что ты говоришь ребенку? — спросил человек у охранителя.

— Не совсем. Уже проводя ребенка обратно по коридорам, я веду с ним напутственную беседу. Я говорю: «Сын мой, до этого дня ты жил и видел вокруг себя множество людей, старших тебя. Теперь ты знаешь, что каждый из них, даже тогда, когда ты еще не догадывался об этом,

уже был посвященным, таким же, как ты сейчас. Наш город — лучший из городов. И это — заслуга посвящения, заслуга того, что все жители держат данную клятву. И...»

— И что же? — перебил человек. — Неужели посвященный не задает тебе никаких вопросов? Так много спорного!

— Это исключено. В храме можно только отвечать на *мои* вопросы. Таково условие.

— В таком случае я, уж позволь, задам тебе вопрос. Что даёт людям твоё так называемое «посвящение»? Оно ведь только налагает запрет — и не сообщает никакого знания. Зачем показывать людям шарик? Или зачем скрывать его? Зачем нужен храм?

— Знаешь, — сказал охранитель, — чем хороша история? Тем, что она равнодушна к неразрешимым вопросам. Она сама создает традиции, а традиции сплачивают народ, укрепляют городские границы. И уже не важно то, что в самой основе, в самом древнем фундаменте этих традиций лежит не истина, а обман или вообще какая-нибудь пустота. Жизнь города держится на этом, значит, это уже не пустота. Город развивается, растет; новые достижения, изобретения — жизнь бьет ключом! — вот что главное.

Да, ещё история хороша тем, что она очень постепенна и совершенно неоспорима, хоть ты и думаешь о ней иначе. Вот ты сидишь сейчас и проклинаешь людей, которые «выдумали» и «навязали» всем это ненужное посвящение с его клятвами. А я на все твои проклятия отвечу: это не люди, это сама история логично подвела наш город к тому, чем он является сегодня. Мы, её орудия, просто осуществили то, чему и должно было произойти.

А то, что ты сделал вчера, с одной стороны, было очень вредно и опасно для людей. Они могли взволноваться. С другой же стороны, они убедились воочию в действии закона, еще раз увидели, что закон — не шутка, что он священен; они лишний раз сплотились друг с другом во имя осуществления правосудия. Помнишь, как дружно кричали они: «Казнь! Казнь!» Так что, верю и надеюсь, ничего страшного в городе не произойдет, и с завтрашнего же дня всё пойдет своим чередом...

Между прочим, у меня всё. Мой рассказ окончен. Скажи и ты что-нибудь. Доволен ли ты полученным знанием?

Человек довольно долго молчал. Наконец, он произнес:

— То, что ты сообщил мне, само по себе ничтожно, и, конечно, если б я с самого начала знал, что услышу от тебя что-нибудь в этом роде, я бы малодушно согласился на побег. Ведь я только услышал историю о человеческом ничтожестве и ничего не узнал о самом шарике. Но выбор был сделан, и вот, выслушав твой рассказ и ещё раз осознав своё положение, я, кажется, получил кое-какое настоящее знание. Жаль, что у меня в связи со скорой казнью не будет времени развить это знание и когда-нибудь пробиться к истине. Но уже одно то, что я за это умру, успокаивает меня и делает весь мой прежний путь ненапрасным. Еще очень жаль, что я вчера ничего не доказал людям, и всё, действительно, «пойдет своим чередом». Но это уже, по всей видимости, неисправимо. Теперь скажи мне, ты, обманщик из рода обманщиков, происходящих из семени единственного достойного человека. Скажи: зачем тебе весь этот город с его фальшивыми науками и искусствами? Неужели ты любишь людей? Ты ведь умный, уж точно не глупее меня. Наверняка, ты втайне презираешь их и смеешься над ними.

— Люблю ли я людей? — переспросил охранитель. — Не знаю, дай подумать. Но, кажется, ты изначально ошибаешься, называя меня умным и думая, что я делаю своё дело, мудро возвышаясь над всеми. Я умён только с точки зрения нашего города, а не с твоей точки зрения. Я весь исчерпан этим городом, для меня нет другого мира. Так что ты переоцениваешь меня. А людей я не то чтобы люблю: «любить» — неудачное слово, да и возможно ли его употребление для такого города, как наш? Я просто один из них. Да, пожалуй, я опять воспользуюсь словом «история». История, мой друг, и только она распоряжается всем. Я занял предназначенное мне место — вот и всё.

— Но если ты не любишь людей, — спросил человек, — тогда какую цель ты преследуешь, приговаривая меня к казни? О чём ты так беспокоился на площади, показывая на меня дрожащим пальцем, больной старик?

— Я не хочу продолжать этот разговор, — ответил, помедлив, охранитель. — И так уже рассказ отнял у меня много сил. Я сам не привык произносить священных, запретных слов так запросто, вне храма. Всегда, когда долго говоришь или думаешь о шарике, наступает какое-то опустошение... Ладно, точка. Завтра утром тебе принесут яд, твоя смерть будет безболезненной. А сейчас постарайся уснуть. Я бы на твоём месте просто хотел бы уснуть, раз уж нельзя ничего изменить. Прощай.

Охранитель ушел. Человек остался в темной каменной комнате ожидать своей смерти. Он достал из-за пазухи светящийся шарик и снова смотрел на него.

Смертное

Рассказ

РАЗ ПОД НОЧНЫМ осенним дождем я стоял, обнимаясь и целуясь с девушкой. Я был пьян до одури, и от этой ночи в мою дальнейшую жизнь унес я немного: смутную память о её чудных, не пьяных, но пьянящих глазах, запах её шейного платка и волос — и моё утреннее раскаяние и желание отказаться от вчерашнего дня. Дело в том, что обнялись мы крепко, даром что знали друг друга мало, и, возможно (что-то такое я помнил с утра), своим животом девушка чувствовала, как пульсирует в моих брюках мышца плотского вожделения; я же, пьяный, не чувствовал в этом ничего неудобного. Простившись с девушкой и придя домой, я залез в ванную и там тоже согрешил. Недаром говорят, что согрешивший пьянством согрешит и во всем остальном. Когда грех был совершен, я вышел из ванной и тупо, пусто полез спать, чтобы не начать ничего анализировать — всё это проанализировано уже давно...

Утром я заключил, что вчера в очередной раз выходил из клетки мой зверь, и всё произошедшее произошло лишь потому, что я эту клетку вовремя не запер. Это была моя единственная вина — дальше уже делал не я, а зверь. И оттого, что отшибло память, я еще больше убеждался: это был не я; не я тянул к девушке свои губы, не я говорил ей, что мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Только стыд почему-то был мой.

Весь день я провел в дрожащем, шатком состоянии, уверенный, что именно сегодня на меня упадет кирпич; что если Господь и давал мне шансы войти в число избранных, то именно сегодня буду я вычеркнут из этого числа. Я уже говорил, что память отшибло; так вот, чтобы не вспомнить чего-то еще более страшного и постыдного, что мог я натворить вчера, я бурчал себе под нос совершенную рыбу, то есть нелепый, бессмысленный набор слов — лишь бы не вспоминать, лишь бы затереть, заглушить, отогнать от себя вчерашний день. «Ой, ты гули мои гули, ай ды ой... — говорил я, сморщивая лицо и хватаясь за волосы. — Ой, ты та ли, та ли то... Да, конечно вы правы, но... Так, спокойно, спокойно, тихо, ребята, тихо... Я Вам пишу, чего же боле...» и т. д. Может быть, эти несвязные слова заменяли мне нужные сто грамм, на которые я боялся пойти, чтоб не разогнаться и не продолжить вчерашний день.

Проживая так своё сегодня, я забывал об одном: сегодня должна быть усыплена моя собака. И вот когда пришел я домой и увидел, что одеяло, служившее ей подстилкой, исчезло, я понял, что родные увезли её, и обо всём вспомнил...

Я вспомнил, как однажды, во время одного из обострений её возрастной болезни, она бессмысленно уставилась на меня своей мордой, бесформенной от скатавшейся колтунами шерсти. В этом комке шерсти было только два отверстия, их выстригли для глаз. Обреченная, старая тупость, с которой глядела на меня собака, тут же исторгла из меня слезы, но, увидев, что я заплакал, животное, несмотря на свой маразм, встало и слепо подошло ко мне, чтобы поддержать меня и успокоить. Так уж выходило, что смердящее это существо, которому наотрез отказано в бессмертии души, являло собой пример христианского самозабвения... Но собака только опечалила меня, а не поддержала. Человек — тот психолог, тот найдет лазейку, чтоб успокоить другого. А эта — просто подставила спину: «на, погладь меня и дай мне понять, что ничего необычного не происходит, что всё так, как я привыкла». Это и печалит, и умиляет в смертных тварях: их постоянство, их честная предсказуемость.

Тогда я схватил листок и нацарапал на нем то, что видел и о чем плакал:

«Стареет моя собака; глаза в один день почти целиком уехали куда-то вовнутрь, осталось в веках красное, до слез раздирающее душу. Смотрит и просит ласки, а раньше просила еды и погулять. Собака, я ненавижу смерть, и пока не смогу её убить в своём сердце, я не скажу, что жизнь прекрасна».

А собака стояла, понуро, как есенинская корова, и, казалось, уже забыла, зачем подошла ко мне. Красная мякоть в её веках скрывала её глаза, когда-то черно-карие и подвижные, как два жучка, и веки медленно смыкались и размыкались. В этой неторопливости могло быть что-то мудрое, степенное, примиряющее с жестокими законами бытия, но я видел в этом лишь незаслуженную, горькую победу смерти.

Однако до смерти было еще далековато: прошло несколько дней, глаза собаки немного выплыли наружу, и, хотя они гноились и залипали шерстью, мы подумали, что, в общем-то, животное очухалось...

Потом я вспомнил, как в нашей квартире появилась кошка — властный, эгоистичный комок; я вспомнил, как этот полугодовалый комок живо установил тиранию над пятнадцатилетней собакой, которая, казалось бы, могла на правах старожила просто расправиться с выскочкой, даже не подвергнув себя общественному суду.

Но собака терпела. Кошка прогоняла собаку отовсюду, где бы та ни лежала. Кошка вцеплялась в собакину волосатую морду, а собака неторопливо, как та же корова под тяжестью рогов, отводила от царапаний морду и, с трудом поднявшись, выпятив худые лопатки, брела в другой угол. Прошла неделя, и собака уже иногда уставала от серого комка и тихо погавкивала на него. В эти секунды я чувствовал в ней какую-то злую, еще прежнюю привычку жить, и это по-военному радовало меня: шевелится, ведет потихоньку свою борьбу, отстаивает права. Но то были лишь редкие всплески воли: наверное, собака понимала, что раз комок при всей его наглости не подвергается наказаниям, раз его терпят и даже ласково берут на руки, значит, он здесь по святой хозяйской прихоти и его надо терпеть.

Но непобедимое ни чем собачье смирение покорило, наконец, и властную кошку. Не совершая никаких действий, а просто распластавшись по-мертвецки на своей подстилке, старая собака учила кошку быть такой, какими мечтали быть хозяева, то есть терпеть, отвечать лаской на ласку и понимать другого. Вскоре кошкины игры стали не таким злыми, а тело собаки стало её маленькой спальней. Кошка ложилась меж передних и задних собачьих лап и прижималась своей серой спинкой к её животу. А собака, когда почмокивала во сне пастью, словно говорила спокойным, старушечьим голосом Платона Каратаева: «Ну, вот и славно. Перетерпи, перемолчи зло, и оно тебе само добром выйдет. Вот уж и котенок маленький сам ко мне привалился — и ему хорошо, и мне ничего». Потом собака, не церемонясь с кошкой, вставала, чтобы похлебать на кухне воды, а кошка потягивалась, зевала и быстро догоняла собаку, игриво прицеплялась к её задним лапам и старалась влезть в собачью миску раньше самой собаки...

Также я вспомнил, что собаку еще в щеночестве сбила машина, и ей нельзя было рожать. И теперь, в общей каше, намешанной людьми в их квартире, как в ковчеге, не благословлённом Господом, — в этой общей неестественной каше животные постарались восстановить свою лесную, природную истину. Правда, получилось у них это болезненно, надломленно, даже как-то блокадно; но им хватало и того. Кошка пристраивалась к собачьему соску и пыталась сосать из него молоко, которого нет. Она мяла лапками вымя и от усилия и веры становилась теплой и сама пахла молоком. И когда, глядя на двух тварей, соединившихся во взаимном неблагополучии, хотелось сказать: «Перестаньте вы, дурные», — твари словно отвечали: «Не мешайте нам. Мы теперь вместе. Мы ничего не понимаем; мы не знаем, за что нам такая жизнь, откуда она и какая должна была быть. Так дайте нам хотя бы то, в необходимости чего мы уверены». Кошка оживляла еще свежую память своего кошачьего младенчества, из которого её забрали, а собака не сопротивлялась этому, смутно угадывая и утоляя своё несбывшееся материнство...

Я вспомнил, как однажды собака убежала куда-то в осенний дым, потому что потеряла хозяина, почти не имея уже ни слуха, ни зрения. И где-то там, у мусорного бака, на неё, глухую, слепую, тихо залез какой-то дворовый пес, не погнушавшийся её старостью. Так, в свои пятнадцать лет, вместе с запоздалым материнством, собака познала и любовную ласку: так же ненужно, бесплодно, не ко времени...

Наконец, я вспомнил, как двухнедельная беременность стала давить на собачье нутро, и у неё началось недержание. Но если у собак и бывает время, когда им еще не *всё* равно, то моей собаке было уже *всё* равно: и то, что её начали ненавидеть за повсеместные лужи и кучи, и то, что обсуждали её усыпление, и то, что замахивались на неё тряпкой с пожеланием скорее сдохнуть. На эти замахи она отвечала только привычной дрожью в задних лапах, прижатым к заду обрубком хвоста и трепыхающимися, как бабочки в паутине, веками в ожидании удара. Она залезала куда-нибудь, где еще не помочилась, чтобы улечься там в сухости и темноте, но, сама не замечая того, мочилась и там. Тогда её стали гнать отовсюду, и она возвращалась на своё место; ночью она опять мочилась на это место и, безрезультатно потыкавшись в закрытые двери, опять возвращалась и спала в сырости.

И вот настал этот день, и, когда собака стояла у миски, отыскивая там среди нелюбимого сухого корма несуществующую косточку, от которой остался только запах, хозяева позвали её на улицу, а на улице, дав облегчиться на траву, позвали в машину. Она всегда безбоязненно заходила в те двери, которые перед ней открывали хозяева, и теперь так же запрыгнула в машину и стала, сама не понимая того, её пассажиром. Хозяева повезли её в лечебницу. Я не хочу вызывать из себя слезы, словно рвоту двумя пальцами, и представлять, как смотрели собачьи глаза через стекло отъезжающей машины, как вела она себя в самой машине, как ничего не понимала, но медленно и слепо приближалась к тому, что уготовали ей люди. Мне не надо этого, я не видел этого и не желаю это придумывать...

Теперь, увидев, что подстилки нет, я прошел на кухню: на полу стояла миска, где еще находи-

лась еда. Это была специальная собачья еда, коричневые гофрированные ломтики из большой упаковки, на которой изображалась радостная, бессмертная овчарка. И вот, глядя на эти ломтики, я и заплакал. Кошка ходила такая, как всегда, но какая-то моя, личная вина наделяла и эту зверушку в моих глазах высоким пониманием. Кошка, как всегда, просила рыбы, и однообразно, безмозгло плакала, разевая передо мной свою маленькую розовую пасть. И в этом писке, которому чувство моей вины придумало свой смысл, я услышал: «Ты убил собаку, но я не могу объявлять голодовок. Дай мне поесть. Я не жалуюсь на тебя, не обижаюсь, потому что ничего не понимаю, но я просто хочу есть. Этой же рукой ты можешь приговорить и меня, я теперь знаю, чую это; всё в твоей власти. А пока дай мне еды, человек, и я всегда буду ласкаться к тебе, несмотря на то, что ты убил собаку и мне больше не сосать её вымени».

К финалу этого смутного, холодного дня, после тяжелого, молчаливого ужина, во мне вдруг выросло ужасное понимание, что моя собака — это что-то такое, чего уже просто нет, и *нет* — без права на надежды и даже без надобности эпитафий, красивых или простых. Нет — и точка. Даже выпивать за неё, как за невинно убиенную, было без толку. Но это понимание её небытия никак не хотело во мне клеиться с тем теплом, которое оставило в душе моей волосатое бесформенное существо — моя собака. И оттого, что запоздалые цветы моей любви никогда не смогут теперь добраться до моей, *три часа как*, но уже *навсегда* мертвой собаки; оттого, что она не может, как в мультике, воспарить над грешной землей и утолить своим бессмертием детские слезы; наконец, оттого, что сама собака не успела даже разочароваться в людях и не «покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег» — от этого мне страшно захотелось что-то совершить с самим собой, со своим сегодняшним днем. И вскоре я понял, нащупал, *что* я хочу.

Я стоял в подъезде, на лестничной клетке, курил и слышал, как сильнейший ветер, бесчувственный, тупой, издевается над стеклом окошка, как грозится он выбить это окошко в подъезд. Ветру было плевать, кто от него спасётся, а кто подхватит воспаление, кому нравится его слушать, а кому — нет: он просто мертво и беспощадно дул — дул, потому что дул. И я решил выйти на этот мертвый ветер, чтобы тоже плевать на него. Я накинул куртку, выскочил из дома и без шапки пошел на железнодорожный вокзал. Там я сел на электричку, одну из последних, и уехал в соседний город. Я уехал к ней, к той девушке, к которой вчера лез своими пьяными губами, а утром думал, что это лез не я, а зверь; все во мне сейчас тянулось к девушке, всё во мне стремилось оживить, сделать осязаемым смутное воспоминание вчерашнего дня. Не знаю, почему так. Может быть, я хотел оправдать того самого зверя, которого еще утром так мечтал в себе убить.

Я позвонил в дверь. Девушка открыла мне дверь, и я, увидев её, снова убедился, что не ошибся, что нужна мне именно она. Я попросил её пойти со мной на улицу, и благодарен, очень благодарен ей, что она не махнула рукой на тревогу в моих глазах, не испугалась этих потерянных глаз и пошла за мной в такой темный час, в такую холодную, тоскливую и сырую непогоду.

Мы отошли от дома не далеко. Я увидел, что слева от дороги начинаются и уходят в бесконечный осенний мрак деревья. Там были темнота и одиночество.

— Пойдем в деревья, — попросил я, и мы вошли в темноту и прислонились к одному дереву: кажется, к клёну.

Изо всех сил я сразу же обнял, сжал девушку, стиснул, как горсть родной земли, в руке её волосы и без спросу стал целовать её. Я очень хотел, чтобы она, моя любимая девушка, знала, что ни о чем вчерашнем я не жалею и ни в чем не раскаиваюсь, что не прошу я от неё никакого ума и понимания, что честные её губы — всё, с чем я согласен, всё, что мне нужно...

Я до острой боли в сердце почувствовал, что немая собачья смерть только тогда будет справедлива с моей стороны, когда и мне будет отказано в бессмертии, когда и я соглашусь уйти из жизни так же, как она, — немо и навсегда; когда и я соглашусь повторить её слепой подвиг. И тогда я взял мою милую за плечи и на секунду отнял её от себя, чтобы вновь рассмотреть и навсегда отпечатать в памяти её лицо: тот самый взгляд, который еще утром я хотел забыть, как бред, и малодушно признавал обманом, — этот взгляд смотрел на меня, полный жизни, молодости и неожиданной преданности; тот же запах волос и шейного платка касался меня, несмотря на бесчувственный и беспощадный ветер, который стремился унести от меня этот запах. И – что я мог еще сделать? — я только сильнее обнял мою любимую и еще, еще отчаяннее прижался к её губам. Что мог я еще сделать? Что?

Любовь для меня перестала быть цветком, она лишилась всякого неземного источника и стала простой частью моего тела, которая умрет вместе со мной. Сердце мое, чувствуя это, стучало больно, больнично, предсмертно, как в реа-

нимации, — но я чувствовал, что пока число отмеренных ему ударов сокращается, пока оно теряет силы и умирает, оно живет...

Какая-то старая, затертая до дыр художественная формула подсказывает мне, как могу я закончить. Я могу закончить на том, что в искренности моих объятий и поцелуев, в отчаянии моих глаз как бы, едва уловимо, метафорически и метафизически, оживала моя собака. К сожалению, а может и не к сожалению, я не могу так сказать. Ничего такого в ту ночь я почувствовать не сумел.

Таня

Рассказ

В НАШЕЙ ГОРОДСКОЙ больнице травматология и нейрохирургия располагались в одном крыле. Нас в палате лежало шестеро. Ни одного больного с переломанной рукой, который мог бы передвигаться и хоть как-нибудь помогал бы остальным лежачим, к нам опрометчиво не подселили. У тех из нас, у кого была сломана рука, была сломана также нога или спина. Когда мы сказали об этом врачу и попросили в палату кого-нибудь ходячего, врач махнул на нас. Таким образом, в палате царила совершенная неподвижность. Единственным развлечением для тела, и то не для каждого, были горизонтальные шесты над койками, на них можно было подтягиваться. Да и то, из-за этих шестов мы не могли нормально глядеть в потолок.

Не описываю свои больничные будни — ясно, что приятного здесь было немного. Пятка, прошитая спицей, подвязанные гири на тянущей пружине, гадкий, спертый воздух, то ли наполненный всеобщей тоской, то ли являющийся её причиной.

Но появилась Таня.

Однажды ночью к нам в палату привезли её отца с забинтованной головой. Отец был совсем плох. В результате травмы у него отнялись ноги, он потерял дар речи, и, хотя глаза его были открыты, вряд ли он что-нибудь понимал. Но Таня всегда разговаривала с ним. Не умолкая, она говорила, говорила: «Папа, папочка, давай, вот так, молодец...» Она пропитывала салфетку розовой водой, с усилием поворачивала отца набок, чтобы протереть ему спину, и опять говорила: «Ну вот, молодец», — словно отец повернулся сам.

Прошло около недели с той ночи, когда он поступил в больницу. Моя нога никак не хотела срастаться, состояние Таниного отца тоже оставалось прежним. Но сама Таня стала более общительной. Мы, лежачие все до одного, помня о её несчастье, сначала стеснялись попросить её о чем-нибудь: например, принести глазированный сырок из холодильника или вызвать медсестру. Но Таня сама стала помогать нам, она уже иногда улыбалась и своим видом и словами поддерживала в нас веру в наше скорое выздоровление. Мне очень нравилась её взрослая, такая серьезная общительность; это так не вязалось с её молодым возрастом: Тане было не больше двадцати лет (мне было восемнадцать).

Таня была очень милая, очень стройная девушка. Мой сосед по койке, шофер с переломанной ногой, большой мастер в кроссвордах, разумно, хотя и со свойственным ему преувеличением, отмечал: «Ей место на подиуме. Это я вам точно говорю. С такой внешностью — вон где! — в телевизоре ей надо быть».

И эта стройная и милая девушка практически стала для нас медсестрой, а медсестра — это всегда *старшая* сестра, даже если тебе восемьдесят лет, а ей двадцать. Поэтому все мы очень уважали Таню, как младшие.

Танин отец не мог жевать пищу, он питался в основном через капельницу. Но Таня стала приносить из дома что-нибудь вкусное для нас. И хотя у нас и так всего хватало благодаря родным, получить от Тани яблочко, печенье, кусочек пирога было для нас всё равно, что получить чудесное лекарство, вдвое ускоряющее выздоровление. Все, кто лежал в нашей палате, независимо от того, говорили об этом вслух или нет, все до одного ожидали Таниного прихода, как маленького праздника, как единственного развлечения в нашей тоске и скуке.

У каждого была своя Таня. Кому-то она навевала воспоминания о собственной жене, когда-то такой же молодой и красивой; кто-то в связи с Таней говорил о своих детях, как бы говоря: «Вот видели сейчас Таню? У меня что-то в этом же духе. Просто они работают и не могут часто приходить». Кто-то, говоря о Тане, жалел, что сам уже не молод, а потом материл случай, приведший его в «эту чертову больницу». Я же видел в Тане только её саму. Мне не с чем было её сравнивать.

Я был самый молодой в палате, и, когда Тани не было рядом, мужики в шутку, от нечего делать, женили меня на ней: «Ты смотри: девка-то — цветок! Красавица, внимательная, добрая, чуткая, хозяйственная! Что ушами-то хлопаешь? Действуй!.. Больной? — ну и что *больной*? Как раз сыграй на жалость». И когда мужики увлеченно загибали пальцы на согнутых в локте

руках, перечисляя Танины достоинства, я особенно сильно чувствовал, что ноги у нас у всех не ходят. Еще неприятный оттенок этим разговорам придавало то, что рядом с нами в это время неподвижно лежал Танин отец, человек, произведший Таню на свет и, кажется, её единственный близкий.

Важную роль в моих отношениях с Таней, как это ни низко прозвучит, сыграло больничное судно. Вообще, это тема скользкая, писать об этом будет неудобно, но почему-то это необходимо.

Понятно, почему санитарами, нянечками, как мы их называли, в нашу больницу устраивались в основном пожилые пьющие женщины. Ни ты их не стесняешься, ни они тебя. Тебе некуда деваться, а им нечего терять.

Но наши нянечки неохотно передвигались по коридору и тихо избегали деятельности. В принципе их и тут можно было понять: самая неприятная работа — за самые жалкие деньги. Лучше уж получать эти деньги, ничего не делая. Лично мне стыдно было кричать из палаты в коридор, вызывая нянечку, а потом просить: «Тёть Маш... вынеси, пожалуйста... я тут это...» И нет-нет, да и протянешь ей то апельсин, то банан, то яблоко, когда она вернется в палату и с грохотом задвинет под твою кровать чистое судно.

С нами, например, лежал дедушка с переломом позвоночника. Нижняя часть тела у него отнялась, и он, сам того не замечая, все время ходил под себя. Ему надо было постоянно менять подгузники. Сын его не мог приезжать часто, поэтому разменял несколько сот рублей на червонцы и положил отцу в тумбочку. Эти деньги предназначались именно для нянечек, тети Маши и тети Гали, чтобы те исправно выполняли свою работу. Как-то дедушка вызвал тетю Машу из коридора и попросил поменять подгузник. Тетя Маша неохотно принялась за дело. Когда она наклонилась над дедушкой, тот дрожащей рукой с зажатым червонцем стал нащупывать карман её халата. Тетя Маша, заметив это боковым зрением, как бы в ходе самой работы придвинулась к деду и почти насадила свой карман на его руку, чтобы получилось наверняка. Закончив уже не так неохотно, как начала, тетя Маша провела пальцами по липучке подгузника и похлопала по нему, как по усердно упакованной посылке: «Лежи, дед, лежи, мой хороший». Потом то же самое дедушка проделал и с тетей Галей. Та и прежде выполняла работу не так вяло, как Маша, — видимо, от большей безысходности и безразличия к жизни. Но поэтому впоследствии дед и не так часто потчевал её червонцем.

Нянечки стали сами заглядывать в палату и предлагать деду помощь. Они без доли брезгливости засовывали руку в его подгузник и проверяли, сухо ли там. Мужики шутили: «Смотри, дед, щас у тебя ванька сработает». А тетя Галя, вечно побитая, простуженная, готовая выпить и заплакать, ласково хрипела: «Конечно. Всё у него еще сработает. Правда, мой хороший? Вот так вот. Лежи, всё у тебя сухенько», — застегивала липучку и накрывала деда одеялом.

В своем бесконечном великодушии Таня тоже предлагала деду помощь (конечно, бесплатную), но дед шепелявил своим сморщенным ртом, выставляя вперед ладонь: «Нет, шпасибо, у меня тут швои люди есть». Однажды Таня спросила у всех нас: «Кому надо вынести?» Мы, естественно, промолчали. «В таком случае, извините, мужчины: почему стоит такой запах? Нет уж, давайте не стесняйтесь, — сказала она, — нечего стесняться. Я отнесу, ничего тут нет особенного».

Так она стала выносить за мужиками. Я понимал, что когда-нибудь это коснется и меня. Таня по-женски уже волновала меня, и я не мог такого допустить. Я старался терпеть целый день и делать своё грязное, неудобное дело ночью. Но ночью нянечки иногда могли не прийти, и что же: всей палате дышать гадостью до утра?

Однажды я не вытерпел и сделал это днем, выбрав время, когда Таня ненадолго отлучилась. Накрыл судно газетой и стал звать тетю Машу. Но тетя Маша не пришла, и как раз вернулась Таня. Я решил молчать. Но Таня заметила, что моё судно накрыто газетой, и подошла к моей кровати, чтобы взять его. Я покраснел и залепетал: «Нет, нет, Таня, не надо, даже не думай! Сейчас тетя Маша придет; прошу тебя, оставь». Я с ужасом представил, как это прекрасное, волнующее меня существо ознакомится с моей отвратительной внутренней тайной... Боже мой!..

Но Таня сказала: «Ну что за глупости? Это больница — что тут такого? Что ж вам, лежать всем в этом смраде?» Взяла судно и унесла его.

Я, вот уж действительно, не знал, куда себя деть от стыда. Я даже зрительно вспомнил то, что находилось у меня в судне: Таня вот-вот должна была это увидеть. Мне казалось, что теперь я перед ней не способен ни на какое прекрасное проявление. Мужики, видя моё расстройство, подбадривали меня: «Да не переживай ты. Это ж жизнь». Один даже сказал: «Сам бы что, за ней не вынес, что ли, если б ей худо было?»

Таня принесла судно. Мне стоило немалого труда сказать ей за это «спасибо».

Так повторилось еще пару раз, и каждый раз, когда Таня подходила *за этим*, я краснел, переминался на кровати и что-то мямлил. Я проклинал про себя условия больницы, где такая нелепость оказывалась возможной. Но прошло еще некоторое время, и я стал думать о другом.

Я думал: «Если она так хладнокровно выносит за мной, то, значит, я для неё, в известном смысле, то же самое, что и дедушка с подгузниками». Это уже не смущало, а просто огорчало меня. Теперь я проклинал уже не больницу, а злосчастную судьбу, которая свела меня с прекрасной Таней именно в то время, когда я так убог, жалок, неподвижен. К своему телу я стал испытывать особое омерзение. Хилая грудь, совсем не широкие плечи, ноги, похудевшие от неподвижности, немытые волосы — не испытывать перед этим никакого женского волнения было бы вполне справедливо с Таниной стороны. Я сознавал, что шансов у меня мало, но не мог смириться с этим; я сознавал, что в своём теперешнем виде я крайне непривлекателен, но желание изнутри было сильнее взгляда со стороны. Я решил что-нибудь предпринять, чтобы сблизиться с Таней.

Однажды Таня, как обычно, просидела весь день над отцом, и вечером, когда ей уже надо было собираться уходить, а все наши засыпали, я тихо попросил её:

— Тань, дядя Саша уже спит, возьми, пожалуйста, у него из банки кипятильник, принеси мне.

И добавил:

— И, если можно, посиди рядом, попей тоже чаю. У меня есть рулет.

Я думал, что меня никто не слышит, но экскаваторщик дядя Костя в шейном корсете, бережно взбивая подушку, заметил из своего угла:

— Во, давно бы так, — и при помощи металлического шеста медленно опустил тело на койку.

Я смутился. Но Таня улыбнулась и сделала всё, как я попросил.

Она села на край моей кровати и стала заваривать чай. Я не знал, как и о чем заговорить с ней. Мне хотелось быть рядом с ней, не задавая глупых вопросов, не болтая чепухи. Я думал сначала завести разговор о её отце, но не стал: это было бы неискренне. Потом хотел спросить, где она учится или кем работает, но тоже не стал: это было бы слишком обыденно. Потом хотел заговорить о себе: но это было бы невежливо. Наконец, решил просто сказать, что вода в больнице отдает хлоркой, — и тоже не стал: это свидетельствовало бы о том, что я пустой человек. Таня пила чай, аккуратно держа двумя пальцами круглый кусочек рулета, и я замечал, что она иногда смотрит на меня. Таким образом, она видела лицо человека, который не думает о чем-то настоящем, а только ищет и никак не найдет, о чем бы заговорить. Что можно было найти хорошего в таком лице? Но наконец, и я посмотрел на Таню. И тогда я перестал заниматься неприятным поиском темы для разговора. Мне стало легче, и между мной и Таней возникла простая молчаливая искренность. Мы едва заметно обменялись улыбками. «Спасибо, Таня», — сказал я. Не знаю, от души или нет.

Потом в палату заглянула дежурная медсестра и сказала, что Тане пора уходить. Тогда она тихонько, чтоб никто не увидел и не услышал, наклонилась надо мной и поцеловала в щеку, а потом сказала шепотом: «Спасибо за чай. Выздоравливай, больной». Она встала, быстро подошла к отцу, погладила его голову, постояла над ним немного и ушла.

Всё дрожало у меня внутри от радости и внезапно родившегося предвкушения чего-то еще большего, на что давало мне надежду будущее. «Она меня поцеловала! Сама поцеловала! Значит, это возможно, возможно!..» — думал я и боялся думать дальше, чтобы не спугнуть надежду. Я не спал полночи и всё представлял, заново переживал в памяти Танин поцелуй. В эту ночь я был совершенно благополучен, мне было совсем нескучно в тишине темной палаты, наедине с этим поцелуем, как с самым интересным собеседником. Я был похож на человека, который не может нарадоваться драгоценному приобретению и всё вертит, вертит его, не уставая, в своих руках.

И так много думал я об этом поцелуе, и настолько выросло для меня за ночь его значение, что на следующий день мне было даже неловко смотреть Тане в глаза, словно между нами вчера произошло что-то большее.

Мне также было немного стыдно, что у Тани так болен отец, а я совсем не сочувствую ей. Я думал только о себе и нагло пользовался тем, что Таня еще как-то умудряется быть общительной и улыбчивой. Сейчас вся она, целиком, должна была быть исключительно дочерью своего отца; но для меня она должна была быть исключительно женщиной, моей Таней.

В моих размышлениях и неразрешенных переживаниях, в скучных разговорах мужиков, в Таниных заботах об отце закатился очередной день, и снова пришел вечер. Я переминался на кровати и иногда бессмысленно брался рукой за шест. Время посещения кончалось, наши почему-то в этот раз никак не укладывались, и я понимал, что не могу опять начать «с чая». Это

было бы совсем пошло: мол, давай, как вчера, начнем с чая, а потом опять, опять что-нибудь такое, как вчера, только теперь, например, с развитием — например, уже не в щечку, а в губки. Это было исключено. К тому же я опять, как какое-нибудь беспомощное насекомое, обделался в своё судно, накрыл его газетой, а Таня опять понесла эту вонь. «Теперь она точно поймёт, насколько я мерзок, и никогда больше не поцелует меня», — боялся я.

Таню уже попросили собираться. Она сказала, что только протрет отца розовой водой и уйдет.

Когда она сидела над отцом, я глядел на её руки с засученными рукавами черной водолазки и сомневался: может быть, в её вчерашнем поцелуе было только снисхождение — и никакого, даже самого маленького, чувства? Настолько Таня, казалось, была сейчас далека от мысли обо мне.

Но, уходя, она восстановила во мне надежду. Она намочила салфетку розовой водой, быстро, в два шага подошла ко мне, шутливо провела салфеткой по моему лбу и положила её мне на грудь, чтоб я протирался сам. Потом несколько секунд она смотрела на меня, наклонив голову вбок. Волосы её чудно свесились на одну сторону. «Ты такой хороший, смешной», — сказала Таня. На прощанье она показала мне ладонь и, улыбнувшись, пошевелила пальцами. «До завтра», — сказала она мне. Эти слова услышал только я. И улыбку увидел только я.

Итак, я снова надеялся на то, что я, хилый, неподвижный человек с выставленной вперед помертвевшей ступней, небезразличен прекрасной Тане. Ночью, в темноте, я не выдержал и предался мечтаниям. Я воображал себя здоровым, сильным и привлекательным мужчиной, мы с Таней знакомились в каком-то многолюдном месте, обменивались взглядами, проникались взаимной страстью, потом находили уединение и... о том, что происходило дальше, писать было бы еще неприятнее, чем о больничном судне.

Когда я устал от бесплодности и недостаточности этих мечтаний и, пресытившись ими, начал от нечего делать осуждать себя за них, я вдруг услышал скрежет зубов и клекот, идущий из чьего-то горла.

Звуки эти издавал Танин отец. Они были ритмичны, словно происходили от пульсации крови. Отцу становилось хуже. Он начал коротко и сильно стучать сжатыми кулаками по койке. Я разбудил мужиков, мы вызвали медсестру. Заспанная медсестра сделала больному сильный укол, через пятнадцать минут он притих. Я нехотя вспомнил, о чем перед этим мечтал. Те плоть и кровь, с которыми я «прелюбодействовал в сердце своем», были от плоти и крови этого человека, бессознательно бившегося за жизнь. Мне стало не по себе, и я поспешил уснуть.

Когда я проснулся, ещё не совсем рассвело. Танин отец, с безвольным, каким-то не своим постоянством продолжал стучать руками по койке, словно это не прекращалось всю ночь. Медсестра и тётя Галя привязывали к бокам его кровати два борта — две деревянные доски, — чтобы он не вывалился. Доски были не какие-нибудь специальные медицинские, а самые простые: на них были заусенцы, сучки и кое-где даже кора. Такие доски часто возят на вагонах товарных поездов. Также привязали к койке и руки отца, чтобы он не делал резких движений и не причинил вреда самому себе. Я обратил внимание на его руки. Необычно было наблюдать за тем, как человеческие руки, способные на выражение живых эмоций, несущие в себе отпечаток человеческой натуры, его характера, души, — как они сжимаются в кулак и расслабляются, не содержа в себе никакого сознания. Истинный Танин отец теперь находился где-то далеко, одному Богу известно где; он бился в заточении и никак не мог вырваться наружу. На койке лежало только его тело.

Лицо больного я видел не слишком хорошо и был этому рад. Я почему-то боялся убедиться в его родственном сходстве с Таней, а главное, боялся увидеть его глаза и вдруг разглядеть в них присутствующий смысл, обращенный ко мне. Мне казалось, что эти глаза тут же разоблачили бы меня со всеми моими грязными мыслями.

Таня, конечно, не ожидала, что, зайдя в палату, обнаружит отца связанным и зажатым досками. Но, вздохнув, она продолжила свою обычную заботу о нём, даже не изменившись в лице, как будто с отцом тоже не произошло никаких новых изменений. В тот же день Таня получила от врача разрешение оставаться на ночь в больнице, рядом с родственником. Когда она ненадолго отлучилась домой за некоторыми вещами, мужики серьезно переговаривались: «Во терпит девка. Не хуже мужика. Бедненькая».

А отцу становилось всё хуже. Его обмотанную голову поводило в сторону и назад. Это напоминало заедающую в проигрывателе пластинку. Страшно было видеть человека в сбивчивом, безвольно повторяющемся движении, свойственном скорее механизму, чем живому существу. Отец все так же скрежетал и стучал зубами, у него всё так же неестественно клокотало в глотке. Всё это находило приступами:

после пятнадцати-двадцати минут покоя оно медленно, пострелами, начиналось и затем усиливалось. Доски, привязанные к его кровати, делали картину происходящего еще страшнее.

Таня за весь день ни разу не посмотрела на меня. Мне было совестно расстраиваться из-за этого. Я даже готовился совершенно потерять Таню и вообще отказаться от мысли о ней. Может быть, в этом сказывалась моя юная, бессознательная религиозность: втайне я верил, что, отказываясь от своих плотских помышлений, я немного помогаю Тане духовно.

Наступил вечер, а за ним ночь. Все уснули. Как бы поддавшись общему успокоению, притих и Танин отец. Таня, одетая по-больничному в одну рубашку и спортивные штаны с полосками, сидела на стуле у отцовского изголовья. В палате было темно, только над его подушкой горела небольшая лампочка-прищепка, принесенная Таней из дома. Таня немного повернула её, чтобы свет не бил отцу в глаза, раскрыла какую-то книгу и начала читать. Лицо её выражало усталое, рассеянное безразличие к этой книге. Таня отвлекалась на малейшее движение со стороны отца и, как только ей чудилось, что он пошевелился, тут же захлопывала книгу, без всякой закладки, откладывала её и наклонялась к больному. В один из таких моментов я успел кое-как разглядеть обложку. Точно уже не помню, что это было за произведение. Помню только, что это была не классика, а что-то такое, что можно было купить даже в газетном киоске. Какой-нибудь современный роман. И оттого, что книжка была, что называется, не умная, я немного иначе поглядел на Таню. Я-то связывал её очарование с тем немногим, чем располагало моё знание искусства. Я, втайне от себя самого, был уверен, что Таня вобрала в себя образы всех изученных ею прекрасных литературных героинь. Думал, что её обаяние, её доброта происходили от особенной мудрости, и в том числе книжной мудрости. Но вот она сидела со своим дешевеньким романом, в спортивных штанах с полосками, и я видел, что всё прекрасное в ней взялось не из книг, а принадлежит самой жизни.

Прошло полчаса. Таня устала читать и закрыла книгу. Она положила руки на доску отцовской кровати, а голову положила на руки, лицом ко мне.

Лампа светила ей в затылок, освещая только её гладкие волосы по контуру силуэта. Я не видел её лица. Я видел только темное, задумчивое пятно и поэтому не знал, смотрит ли Таня сейчас на меня, или же её глаза закрыты. Но я почувствовал, что она смотрит на меня, нарочно смотрит, зная, что я не могу видеть её глаз. Я засомневался: «А не догадывалась ли она все последние полчаса, что я наблюдаю за ней? Если это так, то, значит, она думала обо мне, думала, даже несмотря на ужасное положение отца. Просто ей было стыдно, совестно от него отвлечься, и поэтому она нарочно не смотрела на меня».

Как раз в ту секунду, когда я так подумал, у отца снова начался довольно сильный приступ. Таня быстро обернулась к нему, смочила тряпку в ванночке с водой и взволнованно стала проводить тряпкой по его щекам, шее и груди. Через десять минут отец снова успокоился и задышал ровнее и тише.

Прошел час, потом полтора, два: приступ не возобновлялся. Таня не прекращала проводить по лбу больного влажной тряпкой. Я продолжал думать о том, вся ли была Таня в своей заботе или все-таки втайне думала обо мне.

Я видел и в глубине души понимал её святую недоступность в эту минуту, но там, еще глубже, всё во мне молило Таню, чтобы она, наконец, позволила себе легкомыслие, забыла о совести. Но она всё не обращала на меня внимания, и я боялся, что, может быть, мысленно прошу её о том, о чём она, в своей чистоте и в своей беде, даже не помышляет.

Я немного приподнял голову над подушкой. Наверное, глаза мои блестели в тесном свете лампочки, как у какого-нибудь волчонка или лисенка. Я сильно волновался. Если не считать Таниного отца, в палате не спали только я и сама Таня. Со всех сторон раздавался животный храп мужиков, но я не слышал его. «Посмотри на меня, повернись ко мне», — мысленно просил я Таню. Но она не замечала меня. Я громко вздохнул и со звуком бросил голову на подушку. Таня всё не отвлекалась от отца. Прошла минута, и я задышал нервно, громко и тяжело. Я уверял себя, что просто я волнуюсь и ничего не могу с собой поделать; что мне душно, и лишь поэтому я так дышу. Но я обманывал себя и старался обмануть и Таню — моё дыхание хотело сказать то, на что не поворачивался язык: «Ну, прошу же! Оставь его сейчас! Ему хорошо, ему уже лучше! И иди, иди, наконец, ко мне!» Думаю, успокоиться и уснуть было вполне в моих силах: я сам, свободно и сознательно выбрал этот обман. Но обман причудливо сплелся с действительностью, и из исполнения моего фальшивого, хитрого плана стало рождаться совсем живое ощущение: я по-настоящему вспотел от невозможности терпеть, от неразрешенности, висящей в воздухе. Здоровая нога стала у меня сырой, словно погрузилась в боло-

то, в больной ноге забил пульс. Я еще раз приподнял и бросил голову на подушку и как-то нарочито безнадежно уставился в потолок. Я уже был уверен, что мне действительно тяжело дышать, и даже поверил, что совсем задыхаюсь. Я так глубоко врал, что стал для самого себя совершенно искренним, и из глаз моих потекли настоящие слезы. Меня душило что-то похожее на ревность. Я думал, что если Таня и сейчас не подойдет ко мне и останется с отцом, значит, и вчера, и позавчера она просто издевалась или легкомысленно подшучивала надо мной. Я захныкал, как ребенок, громко, почти в голос. И тогда я услышал, как закрылась книга.

Я быстро поднял голову и увидел в свете лампочки Танин силуэт, радужный от моих слез. Таня встала, выключила свет и пошла ко мне, шепча: «Ну, что ты, что ты, хороший, перестань, что с тобой?» Она присела рядом, на край моей койки. Я потерял последнее достоинство и тут же суетливо подвинулся в сторону, освобождая место для Тани; я уже не стеснялся показать ей, что только этого я и ждал. Таня провела мне рукой от лба по щеке и по шее. Я, заикаясь, успел поцеловать её ладонь. Так собаки успевают лизнуть гладящую их ладонь хозяина. Потом на одну секунду встала полная тишина. Таня словно о чем-то задумалась в эту секунду, и вдруг я почувствовал приближение её лица, а затем её губы на своих губах. Я обнял Таню и не дал ей отнять от меня губ, я боялся кого-нибудь разбудить и только с внутренней силой шептал: «Таня, любимая, не уходи, всё будет хорошо». — «Успокойся, успокойся», — шептала Таня. Она легла рядом со мной, погладила меня, чтоб я перестал хныкать, и расстегнула пуговицы на своей рубашке. Вскоре я благодарил природу за то, что глаза человека привыкают к темноте: теперь я мог не только чувствовать, но и видеть Таню. В лице её оставалась задумчивость. Я боялся, что девушка вот-вот вырвется из моих объятий. Поэтому я умолял её остаться, и шепотом, и взглядом.

Даже в ту секунду я понимал, что близость не может получиться красивой и даже не будет удобной: любое неосторожное движение могло вызвать такую адскую боль в моей сломанной ноге, что я тут же разбудил бы всех своим криком. И всё же я не отпускал Таню. Она и сама не сопротивлялась, не отстраняла моих рук. Я шептал ей «любимая, любимая»... Она, казалось, была немного бесчувственна, безвольна. Меня это не оскорбляло.

Несмотря на то, что я ждал и сам добивался этой минуты, происходящее показалось мне таким неожиданным и таким чудесным, что я не смог выпить своего наслаждения равномерно и до дна. Сердце выскакивало у меня из груди. Я переволновался, перепугался, и поэтому, уже не помню как, скоро заснул, надеясь, что Таня теперь навсегда останется рядом...

Даже во сне я боялся, что она уйдет. Мне снилось, что надо мной наклонилась нянечка тетя Маша. Она любовно гладила меня своей сырой, сморщенной рукой, но я точно знал, что это не тетя Маша, а Таня, и поэтому тянул губы к старой санитарке. Потом во сне появился врач Алексей Валерьевич, и я хотел поцеловать врача, потому что это тоже была Таня, а не врач...

Я проснулся. Тани не было рядом. За окном было не совсем еще светло, но мужики уже не спали. Они тихо о чем-то разговаривали. Я сразу не расслышал, о чём. Потом я приподнял голову: лампы-прищепки не было, Таниного отца тоже не было, одна доска была отвязана и висела на боку кровати. Я спросил мужиков:

— А где Николай? (его так звали)

— Увезли. Опять был приступ.

— Шнурок на руке разорвал.

— Язык прокусил себе.

— Почему ж я не слышал? — сказал я вслух.

— Мы-то откуда знаем? Сладко спал, видать...

— И невеста твоя теперь ушла.

— Жалко девчонку...

Через день мы узнали от тети Маши, что Николай, Танин отец, умер. В этот же день я видел Таню еще один, последний раз. Дверь нашей палаты была приоткрыта сантиметров на двадцать. И в этих двадцати сантиметрах дважды мелькнула она, вся в черном. Я не стал даже задаваться вопросом, думала ли она сейчас хоть немного обо мне.

Прошло еще дней десять. Мне вытащили спицу, наложили гипс, поставили меня на костыли и отпустили домой.

Я сильно соскучился по дому и хотел как можно скорее вернуться к прежней жизни. Хотел, чтоб никакой памяти о неподвижности, о гадком, тоскливом больничном воздухе больше не осталось. Но вечером я садился на свою кровать, брал руками тяжелую загипсованную ногу, закидывал её на простыню, потом ложился сам, гасил свет — и первая мысль, приходившая мне в голову, была о Тане. Мне было очень жаль, что я в ту ночь, которую было невозможно вернуть, так рано уснул и не взял всего, что мог взять. Мне кажется, что путешественник, умирающий от жажды в безводной пустыне, так же жалеет, что в тех краях, где была вода, он не достаточно жадно её пил.

Тихая битва

Рассказ

Береговая жизнь

КОГДА НА НАШЕ побережье приходит апрель, я провожу все дни на песчаном берегу моря. Туда, где гладкий песок сменяется покровом сухих жестких растений, волна не дохлынывает — время привыкло к морю и само провело эту грань между песком и наземными травами. Я люблю спать на краю их покрова, у самого песка. Я просыпаюсь среди ночи и могу потрогать море рукой, волны попеременно всплескивают у самого моего уха. Апрельский ветер шелестит в растениях и в моих волосах, он прохладен, он дарит все запахи моря; я гляжу в звёзды, задумываюсь и понимаю, что больше мне ничего не надо, кроме женщины. Кроме женщины. Я уверен, что скоро она появится, и всё, чем я занимаюсь днём, — это ищу и ожидаю её на берегу.

Если чего-то по-настоящему недостаёт, то всё вокруг наполняется для тебя предчувствием этого. Я хожу по берегу и внимательно вглядываюсь во всё, что вижу, уверенный, что во всём этом действительно могу найти женщину, — так возникает моя любознательность, так море обучает меня жизни. Я люблю всё, что вижу; так же, как буду любить мою грядущую женщину. Я люблю желтых червей, которых выкапываю на отливе из песочных кратеров обломком крабьего панциря, чтобы ловить на них рыбу; пальцы от этих червей становятся зеленоватыми. Я люблю рыбу, которая, открывая и закрывая рот, быстро умирает с открытыми глазами на днище моей лодки. Я люблю рыжих прозрачных насекомых-однодневок, которые с первой же пойманной рыбой отыскивают мою лодку среди моря и прилепляются к тому липкому месту днища, где рыба билась и оставила свою слизь. Насекомые хотят умереть на этом месте, уверенные, что на нём возникнет их потомство.

В апреле я совсем забываю, *что* находится там, где кончается трава, на которой я провожу ночь. В этот месяц для меня существует только море, небо над ним и полоса берега. Всё остальное представляется мне белым и как будто отрезанным, словно его нет. Мир делится для меня на две ровные половины: существующую, цветную, побережную, которую я вижу, — и несуществующую, белую, которую я не вижу и в которую невозможно попасть, по крайней мере, в апреле. В этой небывалой половине нет ни неба, ни звезд. Да и ничего там нет. Небо и звезды только здесь, над морем и над моим берегом. Дальше — обрыв.

Разводя огонь для приготовления рыбы, я подбрасываю в него траву, от которой в голове наступает дурман. Но я подбрасываю её не для дурмана, а только для того, чтобы костер горел живее. Поэтому апрельский ветер быстро освежает мою голову, и я ничуть не жалею, что опьянение кончилось. Я не думаю об опьянении. Иногда меня отыскивает на берегу мой товарищ М*и*на, чтобы поговорить со мной. Его люди, живущие именно в той половине мира, о которой я забываю в апреле, посылают его на мой берег за пьяной травой, именно той, которую я подбрасываю в костер. И этим людям нужен именно дурман. Каждую ночь они вместе накрываются большим кожаным мешком и дышат травяным дымом долго-долго, пока не начнут видеть то, чего нет. Чтобы и дальше верить в существование того, чего нет, им надо снова накрываться мешком. Мне кажется, что Мина завидует мне, хоть и искренне любит меня. Он грустный человек, хотя, собрав полный обхват травы, он улыбается своими коричневыми зубами при разговоре со мной. Может, он предвкушает свои ночные видения. Кстати, зубы у него такие плохие всё от той же травы.

Тихая битва

ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ рассказать о том, что я видел этим апрелем. Я видел это и прошлым, и позапрошлым апрелем, но мне кажется, что тогда мой возраст был ещё недостаточен для того, чтоб я готов был об этом рассказывать.

Каждый апрель содержит в себе две-три ночи, когда из моря в огромном количестве выползают на берег крабы. Они никогда не забираются на траву, где я лежу, они только медленно ползают на песке. Я ложусь на траву, лицом к морю, а ногами к белой, небывалой половине мира, и, положив подбородок на руки, наблюдаю гладь берегового песка, которая вся шевелится от крабов.

Именно в эти ночи, из самой границы песка и моей травы, просасываясь из глубины своими слепыми головами, появляются *глинники*.

Вид у этих существ самый наивный. У них нет никаких средств обороны от врагов. Они похожи на вытянутые кусочки незастывшей черной смолы или на плод черного кабачка. Кажется, что если разрезать глинника, то внутри у него не будет ничего особенного, а будет то же, что и снаружи — черная мягкая масса. У глинника

нет ни конечностей, ни глаз. У него только два отверстия — одно спереди, а другое сзади. То, что спереди — это его рот. Несмотря на наивную и беззащитную внешность глинника, лучше не засовывать палец в этот рот, а то быстро потеряешь палец, если под рукой не окажется чего-нибудь острого. Причем глинник нанесет этот страшный вред, оставаясь с виду, да и не только с виду, таким же наивным и даже трогательным существом. Длина глинника — от полутора до двух ладоней. То, что принято считать его головой, заканчивается закругленно, как свисающая капля мягкой смолы. А туловище завершается тупым обрубленным хвостом. Это и нельзя назвать хвостом, потому что у глинника невозможно выделить каких-нибудь отдельных частей тела — он весь, от самой головы, представляет собой один хвост. Вообще, если человек никогда не видел глинника и найдет его мертвое тельце днём, извалянное в песке, а потом омоет это тельце в море, то, рассмотрев его, этот человек захочет проткнуть его чем-нибудь или откусить от него кусочек. Не знаю, почему я так думаю.

Время апрельского появления глинника длится столько же ночей, сколько и время скопления на берегу крабов. Дело в том, что глинники — охотники за крабами. В это сначала можно не поверить, особенно если поглядишь на глинника, когда он не в деле. Но это так. Однако я тоже не могу сказать: «Глинник — это злой уничтожитель, яростный хищник, убивающий крабов». И не могу так сказать даже после того, как не раз наблюдал тихую битву глинника с крабом. И не могу *именно* потому, что я наблюдал эту битву. Я наблюдал её в апреле, когда всё говорит мне о любви и о грядущей женщине.

Я лежал и видел, как один краб рисовал своими ребристыми ногами на песке, вылизанном волной, вблизи от меня. Он рисовал что-то круглое и несколько раз повторял рисунок. На берегу у крабов нет цели; не знаю, зачем они выползают сюда. Может, для того, чтобы покормить собой глинников. Здесь видна их крайняя неловкость. Они сейчас вне своей стихии, где они так проворны и где им так же удобно, как ленивцу, такому неуклюжему на земле, удобно с его конечностями-крючками на ветке дерева. Мне приятно смотреть на краба.

Тем временем, вижу я, медленно, словно пожирая песок, по влажному берегу движется один из глинников. Он движется не к крабу, потому что не видит краба и не имеет никакого ориентира в движении. Просто что-то вызвало его в эту ночь из земли, и вот он ползёт. Тот краб, которого я выбрал для наблюдения, совсем увлекся рисованием на одном месте. Кажется, у него от этого закружилась голова, и вот он неуклюже чешет её одной из конечностей и никак не может начесаться. Через некоторое время в одну из его ног нечаянно упирается закругленным носом черный глинник. Это означает, что крабу уже не спастись, хотя глинник, что самое главное, не желает ему никакого зла. Предвидя гибель краба, я вспоминаю дневную рыбалку: я тоже не желал зла рыбе, которую заставил умереть, и любил её так же, как буду любить свою женщину. Поэтому я не вмешиваюсь и не спасаю краба. Глинник, безразличный к тому, в каком направлении продолжать движение, медленно взбирается на краба и на вершине панциря, как бы позволяя себе отдых, застывает. Потом он медленно переваливается на теле краба, лаская его. В этот момент своей гладкостью и искренностью глинник напоминает мне все ту же женщину, шею которой так хочу я чувствовать преданно прижатой к своей груди. Видимо, и крабу приятна нежность и мягкость глинника. Краб начинает цепенеть и застывать от какой-то блаженной внутренней дрожи. Тогда глинник наивно и слепо приступает к своему делу. Он натягивает рот на крабье колено и начинает постепенно сокрушать его, прочно присосавшись животом к вершине панциря. Вскоре нога краба удивительным образом отделяется от его тела, мягко, как палка из размятой глины. В момент отрыва конечности краб делает одно лишь резкое движение. Так лежащий человек, которому вправляют позвоночник, бьет кулаком по столу, почувствовав боль от сильных движений врача, а потом чувствует счастливое облегчение. Кажется, наслаждение нежностью глинника для краба несравненно выше болевого страдания, и он опять уходит в преданное оцепенение, просящее продолжить ласку. Глинник медленно высовывает из себя несъедобные остатки крабьей ноги, они выпадают на песок к ещё живым ногам краба. Глинник ползет по панцирю дальше и как раз натыкается на дыру, оставшуюся от вырванной конечности. Тогда он утончается, почти как лента, и начинает словно затекать в эту дыру. Краб опять вздрагивает. «Наверное, — думаю я, — я так же вздрогну, когда лежащая на мне женщина в порыве ласки укусит мою шею». Я чувствую, как от волнения множество маленьких существ зашевелилось внизу моего живота. Может быть, меня охватывает похоть, и в то же время мне хочется плакать от радости и красоты. В белой, небывалой для апреля половине мира такие слезы называют прикосновением Бога. А я чувствую это, глядя, как глинник сцепился с крабом смертоносным объятием.

Я встаю с травы и хожу какое-то время по береговой полосе, чтобы плакать и чувствовать счастье. Когда я возвращаюсь обратно, на прежнее место, я вижу убитого краба, разрушенной звездой распластавшегося на песке. Глинник, поглотивший его мясо и отнявший у него жизнь, медленно ползет обратно, на границу песка и травы, чтобы снова зарыться в глубину, хоть он и не знает, что ползет именно туда и именно за этим. Меня заставляет улыбнуться его неторопливость, его безгрешная внутренняя тишина, которую я совмещаю с фактом недавно содеянного им убийства.

Таких спокойных сражений происходит тысячи и тысячи за одну ночь. А потом волны всасывают в море и живых крабов, и останки мертвых.

Май

В ОДИН ИЗ ДНЕЙ на исходе апреля я увидел вдалеке на золотых блестках волн силуэт женщины. Она тоже искала меня. До середины мая мы жили на берегу и каждую ночь проводили в объятьях. Когда она засыпала, я долго еще любовался ей и преданно водил своей щекой по всему её телу.

В середине мая ветер стал уже горячим и жарким. На целый год ушла та прохлада, за которую я так люблю апрель. Я сказал женщине, улыбаясь:

— Теперь пойдём.

— Куда? — спросила она.

— Туда, — я показал рукой в сторону именно той половины мира, в которую не верил на протяжении всего моего счастливого апреля. И добавил слова, которые принято говорить там.

— Туда, искать Бога и растить детей.

Почему-то я сказал это тоном шутки, но я знал, что это правда. Всё это так и будет, и должно быть.

Чаша терпения

Рассказ

1

Я ВСЕГДА догадывался, что способность человека спокойно держаться наплаву может иметь предел. Я и прежде чувствовал, что мир суёт мне боксёрские дразнящие тычки в харю, но всегда тактично, с удивительным чувством меры, чтоб не пересечь некоей критической черты, определяющей возможности моего терпения. С такой же тактичностью, наверное, умные рабовладельцы мурыжили своих чернокожих рабов, чтобы и выжать из них максимум труда, и в то же время не переборщить, а то и самые понурые взбесятся.

Ну вот, допустим, у меня зубная боль (первая гадость, которая сразу приходит на ум). Боль адская, а я, предположим, знаю, что мне надо это терпеть еще дня три, поблизости нет поликлиники. В таком состоянии и так-то иногда завидуешь мертвым; а если вдруг под этаким гнетом узнаешь, что твоя любимая убежала к другому, что твои родные погибли или что твой дом сгорел? Тогда, надо думать, моментальная потеря основ — ты не сможешь удержаться в седле, не выдержишь.

Но для этого, видимо, и существовала во мне всегдашняя уверенность, что рабовладелец не переборщит с нагрузкой; что, в случае чего, зуба с меня будет довольно, и мир это всегда почувствует. То есть, пока болит мой зуб, мой дом не сгорит и родные не помрут.

Я знал, что уверенность эта не держит никакой критики, что миру, должно быть, плевать, какую нагрузку я получу от него — посильную или непосильную. Но до поры до времени это действовало. Всё действует до поры до времени.

Такое обывательски-суеверное отношение к жизни, такое тяп-ляпство я замечал не только в среде так называемых простачков. Люди, занимавшиеся искусством, читавшие лекции по философии, истории, снимая свои профессиональные костюмы, часто открывали мне ту же язычески-солдафонскую основу, которую, может быть, и сами не замечали в себе, прикрываясь мыслью, что какие они за кафедрой, такие и в жизни. Но кафедра кафедрой, а чтобы держаться в реальной жизни, надо всегда иметь перед собой такую вот простонародную бездоказательную болванку и вести этакое житье на глазок.

Так и я был уверен в себе, я был уверен, что, что бы ни случилось, моё жизнелюбие или, проще сказать, страх смерти никогда не оставит меня.

2

НО НАСТАЛ ДЕНЬ, когда мне позвонили и сказали, что моя Ира (жена) в реанимации, несчастный случай. Я был тогда дома, один, жарил для неё картошку с курицей, она вот-вот должна была вернуться с работы. И тут этот звонок.

Я проглотил полученную информацию, совсем не распробовав её вкуса. Выключил плиту, натянул штаны и пошел в центральную больницу. Мне кажется, температура моего тела была градусов тридцать. Но помню: то самое чувство защиты, даже какое-то бессознательное, не нуждающееся в отчете. Я в непробиваемом стеклянном колпаке еще не осознанного несчастья. И другое несчастье уж точно ко мне не стучись.

Естественно, я не верил, не мог себе сразу живо представить, что моя Ира, вся разбитая, сломанная, — хотя еще часа два назад здоровая и, как обычно, веселая, — лежала теперь в этих проводах, капельницах, трубках — во всей этой неожиданной и нелепой медицинской дряни. Я знал это, но не верил в это.

Но когда зашел в больницу и убедился в правдоподобии её стен и понял, что я ведь сюда пришел не просто так, — тогда всё больно забилось внутри. Я почувствовал огромную жалость к себе самому. Я понял, что у меня нет ни одного защитника, и вопрос моего счастья, которое я считал божественным и бессмертным, решается сейчас в кафельной реанимационной комнате с гулким безразличным эхом. Всё моё счастье было там, в этом кафеле, и это был неоспоримый факт, якобы согласный с законами жизни.

К Ире меня, само собой, не впустили.

Если не вдаваться в художественные подробности мучений человека, у которого умирает жена, а сосредоточиться на сухой психологии (будь она, впрочем, проклята), то я помню, что внутри меня чередовались минуты безотчетной, как у ребенка, жизни с минутами возобновляемого наблюдения за самим собой. Полчаса, допустим, одно, а полчаса — второе.

Сначала я терял себя, то есть вообще не говорил себе «я». Я весь был в невероятном свалившемся на меня положении. Фантазия приходила мне на помощь, как обезболивающее лекарство огромной силы, но очень короткого действия. Я живо представлял такие радостные ситуации: к примеру, нам с Ирой разрешали разделить боль поровну, и в целом получалось, что мы оба поломанные, но все-таки не безнадежные. Лежим рядом и рады, что мы вместе и что мы живы. Или я вселял в себя уверенность, что вот-вот откроется эта дверь, и появится кто-нибудь, кто скажет: «Не беспокойтесь больше. Конечно, ей сейчас нехорошо, но жизнь вне опасности. Её выздоровление будет делом времени». Я представлял это и на минуту становился почти спокоен, словно эта обнадеживающая речь уже прозвучала на самом деле...

Вот тогда я не знал себя. Скорее всего, все люди, когда заняты подобной фантазией, не замечают ничего и никого вокруг и движениями лица и головы, как помешанные, поддакивают своим вымыслам. Так, наверно, и я: сидел, поддакивал, то радовался, то переживал по поводу вымышленного и не желал верить настоящему. Но потом на меня сваливалось ощущение действительности, в которой я уже не находил себе никакой защиты. И тогда (со страху, наверное) я словно вылетал из себя самого, чтобы со стороны глядеть на себя, страдающего о жене, и не страдать целиком, безраздельно. Тот я, который вылетал и смотрел со стороны, был так прохладен, спокоен. Ему было легче. Он говорил: «Наверно, я очень сильно люблю её, раз так переживаю. Тем больнее будет её потерять. Наверно, у меня такое бледное лицо, какого не было до этого никогда, потому что ничего страшнее в моей жизни еще не происходило. Наверно, такое лицо — самый ценный материал для художника. Ни одного ленивого мускула — каждый в напряжении». Потом настоящий *я* говорил: «Чего ты тут рассуждаешь, рассматриваешь, такой холодный! Это ведь твоя настоящая жизнь, и дела в ней сам знаешь какие. Разве так можно — еще о чем-то холодно размышлять?!» Тут я опять забывал себя и снова предавался обнадеживающим фантазиям.

Иногда кто-то выходил из двери, за которой было еще неизвестно сколько коридоров, дверей и даже этажей и лифтов перед той единственной дверью, за которой лежала моя Ира. (Но мне казалось, что она лежала прямо за этой, ближней дверью.) Тогда я срывался со стула, подходил к вышедшему человеку (в основном женщине), уверенный, что каждый, кто бывает за этой дверью, озабочен именно состоянием моей Иры, больше ничем. Но уже через два часа моего пребывания в больнице я убедился в безразличии и необъятности пространства, которое находилось за этой ближней дверью, дальше которой мне не было пути. Ира терялась там. Выходившие и заходившие через эту дверь люди каким-то привычным, холодным и в то же время аккуратным жестом показывали мне, что они мне не помощники. Они как бы давали понять: «Мы так привыкли иметь дело со смертью, что Вы не должны обижаться на нас за наше профессиональное безразличие к Вашему личному горю». И я привык к этому и сидел, надеясь, что люди, которые все-таки имеют отношение к Ире, сами найдут меня, если что.

Еще меня удивляло, что я перед этой проклятой дверью, за которую меня не пускали, сижу совсем один на длинном ряду ожидательных стульев, и нет еще хотя бы нескольких людей, с которыми мы могли бы создать подобие компа-

нии тоскливых невольников у кабинета зубного. Следовательно, не было людей с таким же горем, как моё. Словно наш город в этот день обагрился одной только ириной кровью.

А тревога, тем временем, опять и опять сменялась тупой холодной наблюдательностью. Я смотрел на свои коленки. На мне были вельветовые штаны болотного цвета. Типичные штаны, думал я, для главы молодой семьи, которая еще не завела детей, — скорее всего, человека интеллектуальной деятельности.

Нужные люди, вестники, всё не появлялись из-за двери. Я представлял, что там есть один главный человек, врач, который сейчас решает Ирину судьбу. Этот врач имел право пренебрегать мной и вовсе не думать обо мне, заставляя меня ждать и волноваться хоть целый год. Он имел право обидеться и строго поглядеть на меня, если б только я осмелился задавать ему вопросы и торопить его. Любовь к человеку была как бы механической частью его профессии — я должен был это знать и каждую секунду понимать, что он делает всё, что только возможно сделать, и нет ни доли халатности в его действиях...

...Это что-то совсем смутное из детства. Меня, ребенка, на несколько часов оставляют одного дома, давая мне в руки ценную вещь, кажется, какой-то недавно приобретенный дорогостоящий механизм. Мне говорят: «Не делай ничего с этой вещью и смотри, чтобы с ней ничего не случилось». Но, когда я остаюсь один — не то из какого-то любопытства, не то от самоубийственного детского желания сделать хуже себе самому, — я начинаю опасно заигрывать с этой вещью, словно нарочно подвожу всё к её поломке. Так и происходит: вещь ломается. Причем ломается безнадежно: пружины вылетают из неё, какой-то винтик закатывается в половую щель. Я чувствую близость конца света, жизнь становится для меня адом — что скажут взрослые?! В отчаянии я выхожу с механизмом на улицу, во двор — и тут не помню: то ли я подхожу к кому-то, кого давно боюсь, то ли к тому, кого сильно не люблю, то ли к тому, кто может просто отнять у меня мой механизм. Я подхожу к нему за тем, чтоб униженно попросить: «почини». Видя моё жалкое, заплаканное лицо, этот человек соглашается, и из недруга или просто постороннего человека он на время превращается в моего самого дорогого друга, я болею за его успех, как за счастье самого любимого человека. Каков бы он ни был для меня прежде — сейчас он спаситель моего мира. Посапывая и хмурясь, он ковыряется в механизме, — а я, лишь издали, наблюдаю за его лицом, я боюсь громко дышать и чувствую, как сильно я его люблю, как страстно желаю я ему успеха во всех его делах, а значит, в первую очередь, и в моём деле. Может быть даже, это мой одноклассник — двоечник, но любитель поковыряться в велосипедах и приемниках. И я, способный начитанный мальчик, смотрю на этого двоечника, почти как на отца. Одна его способность починить вещь разом покрывает все мои способности, которых он, двоечник, не имеет и которые, оказывается, так мало нужны для человеческого счастья. Конечно, я не тороплю его, хотя очень надеюсь, что он, мой спаситель, сумеет починить механизм раньше прихода взрослых, чтобы взрослые, когда вернутся домой, не заметили никаких изменений и сам я мог навсегда забыть этот ужас и больше никогда не прикасаться к механизму...

Вот что-то такое я чувствовал по отношению к врачу, в руках которого сейчас была Ирина жизнь. Но надежда на всемогущество людей — слишком непрочный, недостаточный помощник. Выходило так, словно все мы, люди, находимся в одном общем стеклянном шаре, и все наши счастья и беды возникают и протекают в нём, мы рождаемся и умираем в нём — а потому и решать все наши проблемы мы должны только в этом шаре и средствами, которые имеются в нём, не ожидая никакой помощи извне. От этого становилось страшно одиноко, хотелось вырваться из шара.

По-настоящему, хотелось помолиться. Но мне казалось, что если я во дни спокойствия и благополучия не прибегал к вере и молитвам, то нынешнее моё желание молиться будет лишь следствием моей беспомощности и слабости нервов, а не настоящим предчувствием Бога.

И вот получалось, что я вообще ничем не могу помочь своей жене. Стеклянный шар сужался, все меньше и меньше способов спасения нащупывал я в его пространстве. Когда ощущение этого сдавливания доходило до предела, я снова трусливо бежал из себя наружу, и дошло уже до того, что я словно слышал предательский голосок: «Смотри, у тебя горе, а ты всё-таки можешь наблюдать за собой, рассуждать, всматриваться и даже извлекать из своего горя кой-какие эстетические выводы».

Прямо напротив меня находилась раковина для умывания. Над ней было зеркало. Я встал и подошел к зеркалу: мне стало интересно, как выглядит лицо человека с таким горем, как моё, и с такой же внешностью, как у меня. Но, желая увидеть страдающего человека, сам я был наблюдателем, а значит, и в зеркале видел наблюдателя, а не страдающего человека. Перед зеркалом можно только кривляться. Я постыдился

своего занятия, почувствовал себя виноватым перед Ирой и вернулся на стул.

Устав от смены этих двух состояний — искренней, но бесплодной надежды и сухого, тоже бесплодного, самоанализа, — я беспомощно и униженно притих.

Коридор был пуст. Электрический свет еще не включили, за окном и так было не солнечно, да еще вот-вот собиралось темнеть, а я вообще сидел в тёмном закутке коридора и только боковым зрением видел его освещенную окнами часть. Вдруг, словно кто повернул какой-то рычажок, всё в целом посветлело. Наверное, туча отгородила солнце. Что было умирающе-серым и уже словно не надеялось быть каким-то другим — то пооранжевело, что было уныло-коричневым — поалело. На полу и стене коридора стали четкими теплые квадратные пятна света. Заблестел зеленью какой-то бедный неухоженный цветок в горшке, вроде маленькой берёзки, и вокруг него закопошились на солнце пылинки воздуха. Это наступление света после темноты вдруг совместилось во мне со всем нашим с Ирой прошлым, будто это было что-то очень близкое — наше прошлое и солнечный свет. Я сразу постарался убедить себя, что Ире действительно станет легче, если я буду вспоминать её здоровой и полной жизни, и стал вспоминать, глядя на цветок и на тёплые пятна.

Вспомнил, как сначала она была для меня одной из многих девушек. Ничего особенного; я проходил мимо неё или говорил с ней, не чувствуя никаких роковых предначертаний; даже чувствовал эти предначертания рядом с другими. Многие девушки казались мне куда интересней и симпатичней, чем она. Потом я вспомнил наши встречи, какие-то скромные, половинчатые, а не полные осознания, что мы созданы друг для друга. Я даже смеялся про себя потом, представляя такую картину: два эскалатора, мужской и женский, движутся один вверх, другой вниз. Мужчины и женщины медленно проезжают друг мимо друга, как две хоккейные команды после матча. Каждый человек может сплестись на какое-то время с кем угодно — большой разницы нет, — а рано или поздно может сплестись с кем-нибудь и навсегда и, так сказать, сойти на берег, уже подержанным, потрёпанным, уставшим от однообразия пути. Сплетется, не сильно задаваясь мыслью, что можно было проехаться ещё, что нынешний избранник мало чем отличается от остальных. Так встречались и мы. Видимо, время моей и её жизни перевалило за какую-то особую черту, и мы остались вместе. Наверное, каждый из нас в один и тот же день сказал себе: «Зачем всю жизнь искать *особенного* человека? Надо искать *хорошего* человека». И каждый нашёл. И Ира заняла для меня то место, которое раньше я отводил будущей возлюбленной в своих мечтах. Вот я раньше мечтал, что буду лежать с любимой на траве и глядеть в небо, — и я лежал на траве и смотрел в небо вместе с Ирой; я мечтал, что буду плыть с любимой на лодке по ночной реке, в которой отражаются звезды, а потом разводить костер на берегу и ночевать в палатке, — всё это я пережил с Ирой; мечтал, что буду в любую секунду знать, что у меня есть надежный, порядочный, верный человек, — и таким человеком стала для меня она. А как привязывает вас друг к другу именно ваша ежедневная жизнь, так называемые будни. Бывало, я проведу дома несколько дней, одинаковых, полных лени, без дела, без пользы, с телевизором, с дневным сном. И как-нибудь вечером, с чувством стыда и тоски заглядываю ей в глаза и спрашиваю взглядом: «Ты не жалеешь о том, что сама выбрала *это*? Не хочешь отречься от *этого*?» А она отвечает, тоже взглядом: «Нет, ничуть не жалею». И на душе становится спокойно, как будто ничего большего в жизни и не надо.

Вообще, Ира всегда была не из разговорчивых, и сейчас в нынешнем её застенном реанимационном молчании мне слышалась та же живая, умная и нежная интонация, что и в её здоровом молчании. Но это снова была бесплодная фантазия, и я очнулся от воспоминаний.

Было уже почти совсем темно. В моём закутке не было как дневного света, так и электричества. Это дальше от меня, по потолку длинного коридора, было разбросано несколько слабых лампочек дрожащего зеленоватого света. Цветок — уже такой некрасивый, не украшение, а пленник больницы — смиренно привыкал к отсутствию солнца. Оттого, что уже очень давно никто не выходил из моей двери, я стал особенно бояться каждого следующего, кто выйдет. Наверное, все, кто прямо не касался реанимации, уже ушли по домам. Поэтому увеличивалась вероятность, что тот, кто выйдет сейчас, — выйдет именно ко мне, с окончательной вестью об Ире. И если днем мне так легко было представить, что этот человек выйдет с радостной вестью, то теперь, в одиноко звенящей электричеством полутьме, мне было еще в сто раз легче представить, как он выходит и говорит самые страшные слова. Мыслей, воспоминаний уже не могло быть, осталось одно тупое, тяжелое ожидание. К двенадцати часам ночи я уже потерял ясность мыслей и вообще забыл, зачем я здесь; я почти не мог ни страдать, ни жалеть, а только

помнил, что я чего-то жду (неважно, хорошего или плохого) и надо дождаться. Проведя в таком состоянии еще полтора часа, я стал привыкать к этому ожиданию. Я нашёл в нём некоторое удобство: ведь если я жду, значит, плохого ещё не случилось. Я хотел было прилечь на стулья, но тут открылась дверь. (Странно: как будто без предшествующих этому шагов.) Появилась женщина. Поискав, она нашла меня взглядом в темноте, подошла ближе, сняла с головы свой бирюзовый убор и села рядом со мной, виновато прося взглядом, как взрослая у ребенка, чтоб я не боялся её и не отсаживался. «К сожалению, — сказала она почти шепотом, — мы не смогли её спасти».

3

Я ШЕЛ ДОМОЙ из больницы. Прошел шагов двести с полным отсутствием мыслей, а потом решил нарочно напоминать себе о том, что случилось, представлять это, насильно убеждать себя в этом, чтобы с самого начала привыкать к правде; слишком уж я не верил ей.

Из меня, наконец, стали литься слезы: сначала лениво, но затем все сильнее. Не знаю, на каком именно повороте они полились, что их родило. Ответить на это, видимо, так же сложно, как про дух и материю: что там первично.

Но именно в этих слезах зарыто что-то очень важное. Я был бы рад думать, что заплакал попростому; что понимание свершившегося несчастья захлестнуло меня; что я почувствовал себя самым одиноким и жалким человеком на земле. Но в том-то и дело, что, кажется, заплакал я именно оттого, что этого всего не было. Я оплакивал не Иру, а то горе, которого не чувствовал, и ту любовь, которой в себе не имел. При этом внешне я практически не отличался от того возможного человека, который плакал бы прямо по Ире. Наверное, было всего какое-то ничтожное различие, условно говоря, миллиметр, не больше. Но это был такой главный, такой решающий миллиметр, что он разводил меня и того возможного человека на разные полюса вселенной. Я плакал оттого, что не было слёз.

Потом я снова представлял Иру, мою жену, жизнь которой недавно оборвалась; а тот, кому она вручила эту жизнь, надеясь на его любовь, — тот убого копался в себе и не мог найти даже части того настоящего страдания, которое было бы достойно моей теплой, хорошей жены. И от этого я очень жалел её и почти уже любил нужной, настоящей любовью, пытаясь разбить эту последнюю стену толщиной в миллиметр. Но она не разбивалась. Я мог только жалеть Иру, что не дал ей настоящей любви, а самой любви не было.

И вдруг я остановился. Все люди, всех времен и народов, во главе со мной, и кроме, наверное, Иры, — показались мне куклами, неживыми механизмами, чьими-то бессердечными тварями, внутри которых совершенная пустота. От исторической старости, от количества новых и новых поколений на эти пустые механизмы налипло много слоёв пыли, такой же неживой, как они сами. Но по какому-то недоразумению бессердечные твари определили эту пыль как дар свыше, они принялись набивать себя ею и копить её. И вот они вдруг почувствовали, что они не пусты, что что-то в них есть. И хоть они и остались механизмами, они задвигались, зашевелились, заслезились, завлюблялись, занадеялись, словно подражая какому-то высшему существу, которое действительно имеет живую способность к этому и обладает настоящим сердцем. И до сих пор они механически играют в радость, в дружбу, в любовь, в преданность, которые якобы где-то существуют в живом виде, — а в глубине их таится та же пустота, то единственно настоящее, что в них есть.

И вот я шел и уже не плакал, а рыдал, истинно тоскуя по тому высшему существу, которое обмануло меня надеждой быть не пустым, не внутренне мертвым, обмануло меня надеждой по-настоящему любить, а я обманул Иру. Я зашел в какой-то двор, сел на карусель и там плакал до тех пор, пока не стал задумываться о солености слёз, текущих мне в рот, больше, чем об их причине.

Затем я пошел дальше. И около моста меня окликнули со спины: «Парень». Я не обернулся и пошел вперед, просто не допуская вероятности на кого-то отвлечься, просто брезгуя возможностью с кем-то говорить. На это у меня была та самая липовая защита, с упоминания которой я начал свою писанину: «У меня горе. Больше меня никто не должен трогать».

А вышло не так. Я уже был на мосту, но тут меня догнали и хлопнули по плечу, довольно бойко. Это показалось мне настолько нелепым, что я не знал, как мне с этим поступить. Ладно: я повернулся на этот хлопок, сам не веря, что отвлекся. Передо мной стоял человек, низкорослый, в дерматиновой куртке, которая была ему велика. Он был коренастый; в кривых, ходких ногах чувствовалась большая привычка к жизни. Круглое, требующее и недовольное лицо смотрело на меня, как смятый кусок бумажки.

Позади него, под фонарем вначале моста, я увидел еще две фигуры. Мне вдруг стало мерзко оттого, что мысли мои направились в сторону самосохранения.

— Есть у тебя сигарета? — спросила мятая бумажка с такой же ловкой привычкой, так что это прозвучало одним понятным словом: «естьтясиаре?»

«Говорить с ним о сигаретах?» — подумал я и пошел дальше.

Я рассуждал о прежней тактичности мира в отношении тычков в харю. Так вот, в этот раз мир явно перегибал. К человеку, потерявшему жену, ещё привязывались какие-то люди. Я удивленно шёл, не оборачиваясь.

— Э, куда! Слышь? Стоять, урод!!

Шагов прибавилось (уже шли все трое), и они ускорились.

Тут, прежде чем закончить, я остановлюсь на нескольких коротких секундах, потому что в эти короткие секунды во мне возникло самое позорное, самое трусливое желание: желание объяснить этим существам, в каком я положении, то есть воззвать к их милосердию. Сказать: «Ребята, не трогайте меня, у меня жена померла. Если б что было, разве я не дал бы. Вот, смотрите, могу вывернуть карманы: пустые ведь». И опять, униженно, как в том детском воспоминании, смотреть на них и ждать: подарят они мне счастье или нет. Практически это было желание прикрыться телом мёртвой жены, больше думая не о ней, а о себе. Я возненавидел себя, я захотел исчезнуть, не быть.

Нелепость западни, в которую посадил меня мир, страшно и молчаливо взбесила меня до состояния короткой радости. Я сжал в кулаке правой руки брелок-открывашку из нержавейки и развернулся.

Последний раз до этого я дрался в средних классах. Потом, еще юношей, когда я представлял себя в кулачном бою, я всегда обдумывал, прокручивал в голове один удар — самый опасный, самый злой, как думал я. Это удар снизу, приходящийся точно в основание носа. Я верил, что таким ударом можно сразу уничтожить человека. И именно этого я сейчас страстно желал, желал больше всего на свете.

— Иди сюда! — говорил человек на ходких кривых ногах.

В расстоянии между кривыми силуэтами его ног мелькал свет оранжевевшего от фонарей асфальта в форме вертикальной лодки. Он быстро шел, наверное, уже готовя для меня удар. Но я сделал шаг навстречу и снизу сунул ему свой удар, гениально точный, как я и мечтал. Голова его откинулась, и он сразу упал, не произнеся ни звука и звонко треснув затылком об асфальт моста. А я еще подбежал и пнул, как мяч, его голову: со всей силы, но лишь по инерции, моё бешенство уже прошло.

Двое его друзей остановились, сказали по разу «бля». Оба в кепках, оба выше него, с длинными бритыми шеями и тоже кривыми ногами, они напоминали озадаченных зверей одного вида, сородича которых вдруг убило то, что должно было стать общей добычей. Может, они бы и принялись сами убивать меня, поведи я себя иначе. Но мои мысли были не об убитом, который лежал на асфальте. Я облокотился на решетку моста, спиной к ним, и положил голову себе на ладони. Ко мне пришло понимание: «Ира умерла!»

Наталья Шахназарова

Родилась 16 января 1986 года. Росла в поселке летчиков-полярников Красногорского района, Московской области, под названием Опалиха. До пяти лет — дедова внучка. При нем сочинила первый стих, в три года. Наизусть знала сказки Пушкина. И якобы видела его дух, когда мама читала «Руслана и Людмилу». Любовь к Пушкину с детства. Печаталась в двух альманахах «Подсолнушка». Была в лауреатах этого фестиваля. Печаталась в «Московском Парнасе» за 2008 год. Печаталась еще и в некоторых районных газетах. Читала стихи на Гоголевском бульваре. От Владимира Бояринова узнала о Ю. П. Кузнецове. Прониклась его стихами. Тогда-то и захотелось в Литературный институт. Но попала тогда на семинар Олеси Николаевой.

✿ ✿ ✿

ЕСТЬ ИСКРА радости в костре,
Есть вспышка счастья во Вселенной,
В игре, что сыграна на треть —
К победе все сильней стремленье.

И траектория звезды полета по ночному небу —
Стремленье капельки воды —
К корням струящейся по стеблю.

И форма Божества в яйце,
И сок берез — нектар Эдема —
Доказывают теорему,
Что бесконечность на конце
Стрелы, запущенной Ахиллом...
Иль кем-то там еще, давно.

Что все, что будет, все, что было —
То для чего-то создано.
Не ново это, как вино,
В котором истина бродила,
Нет — время пенилось и дно
Его осадок сохранило.

2008

Игра

УБОГИЙ ЗАБОРЧИК за старым сараем.
Мы детство свое, как всегда, выбираем.
Играть в партизанов иль куклы. И что же, —
Мы поняли — все это в жизни быть может.

На санках я куклу везла по сугробам.
Как будто те санки заменою гроба
Во время блокады — умершим детишкам.
Завернуто тельце кукленки в пальтишко.

И мнится — не кукла — ребенок. И слышу:
Не мертвое тело везу — кукла — дышит.
И кукла кричит мне уверенно: «Ма-ма».
И роем теперь не могилу, а яму.

Окоп. От снарядов там спрячемся вместе.
А может, и правда, на этом вот месте
Когда-то картечью по танкам фашистов
Панфиловцы... пращуры... артиллеристы.

И важно — что в память об этих героях
Мы крепости снежные сызнова строем.

✿ ✿ ✿

О, ЕСЛИ ВСЕ, что нас тревожит — отогнать,
Смотри, озерную разбить бы гладь,
И в зазеркалье Леты заглянуть.
И все вернуть, и все узнать,
Но только лучше продолжать свой путь,
какой бы тайны лик не привлекал, —
Не рушить гладководие зеркал.

✿ ✿ ✿

КАК ТОЧНО время очертило —
Мои пространства и черты.
Кого-то я уже простила,
кого-то вспомню у черты.

Каких-то голубей и галок
Круженье с ветром наравне
Вид так величествен и жалок,
Но эта смесь по мне вполне.

Борясь, играя со стихией,
Вы помогали мне терпеть.
Надеяться и, может, петь.

и пали листьями сухими
Стихи, прожитые на треть.
а рядом зацвели другие,

В них — каждый звук —
Мои шаги. Я
Слышу в мире каждый стук.

Я вижу времени рисунок,
Оно меня создаст из фраз.
И я кому-то адресую
Свои стихи в последний раз.

Свое боренье со стихией.

2008

Молитва-песня-нить старчеству и монашеству

СТАРЧЕСТВО — по келиям России, —
Разбрелось, — молиться и хранить —
Эту неразгаданную силу, —
с Богом нас — связующую нить.

Вяжут эту нить монахи годы,
Из клубка, из солнца, над землей,
Богу Всемогущему в угоду,
Душам в помощь, против силы злой.

Господи, свершилось, завертелось, —
Жернова природные, дела...
Доброе и злое, — как хотелось, —
Так и нить молитвой повела...

И перед глазами — это небо,
Журавли, и во́роны, и свет...
Нить ведет, и мы за нею слепо,
Смелые, идем по тропам лет.

Яблочко, как в сказке — покатилось —
Нить, как в мифах — повела — как встарь, —
В те края, где все и всем простилось, —
Где — нам воссиял Небесный Царь.

Здравствуйте, спаси вас Бог, молельни,
Люди, восстающие на брань
Словом Бога — в каждом поколеньи —
Против зла и клеветы, не рань

Стариков молящихся, поющих
Славословье Господу в скитах —
Молятся они за всех живущих
И за мертвых молятся, в веках...

Дрожью воздух этот переполнен,
Колокольный звон — излечит плоть,
Дух излечит — песня колоколен,
Вслушайтесь — поет нам наш Господь.

2009

Я помню

Я ПОМНЮ: перекошенные рамы,
Обшарпанные стены и паркет,
И как сияли звезды в угольке,
И как входила полночь налегке.
И чашку молока в руках у мамы,
И эти, мной начищенные, рамы,
И этот, мной надраенный, паркет.
По радио передают, как Крамер
Играет джаз, и Бог живет в руке.
Я помню — ах, как память прихотлива —
Корзину, где вино, лаваш и сыр.
И как висел на ветке этот мир,
Земля, напоминающая сливу.
Как в шкафчиках, где кружево и лен,
Открытки, перемешанные с фото,

Те, на которых май запечатлен,
Лежали приложением к блокноту.
Исписанному бабушкой в саду,
Где пахло виноградною лозою.
Где пахло так, как пахнет пред грозою.
Я помню эти ливни на пруду.
Когда в атласном платьице и шали,
В летящих босоножках под навес
Когда-то наши бабушки бежали,
Похожие на маленьких принцесс.
И можно бесконечно удивляться,
Насколько мы прапрадедам верны.
Мы продолжаем верить и влюбляться
В тех, в ком они едва-едва видны.
Я помню только яблоневый вечер,
И звон колоколов. Луч в облаках.
Как обнимаю деда я за плечи
И засыпаю на его руках.

✿ ✿ ✿

Я ЗАПОМНЮ себя под Вегой,
Под звездой голубой, под той,
Обещающей только негу, —
Полоняющий взор святой.

Я запомню себя у леса,
У оврага, в котором пни,
Созерцающей с интересом —
Самолета в ночи огни.

Я запомню себя под снегом,
Ослепляющим. Той зимой,
Когда дедушка вез в телеге
Меня, девочку,— вез домой.

А я видела небо, словно
Кроме этого — ничего...
Все иное тогда — условно.
Только небо и тьма его.

Даже Вега и снег — случайны,
Даже лес не гудит вдали.
Или нет же? Но всей земли
Не хватило б... Но это тайна.

Тайна бездны. И тайна тьмы,
Тайна Божьего поцелуя.
Я запомню себя — такую,
В очертаниях той зимы.

✿ ✿ ✿

МНЕ ЛЕГКО — я шепчу Богу,
Словно ветер в пустом ущелье,
Солнце больше не льет в щели
Мед-огонь — на мои ноги.
Я шепчу, а хочу криком
Разбудить, как звонарь, долы.
В волчьем вое мое соло.
И черты мои — да! — в ликах.
Мне легко — я дышу. Слышу,
Как поют и молчат камни.
Распахнулись во двор ставни,
Смотрит ангел-трубач с крыши.
У него не глаза — очи,
У него в волосах — луны,
Здравствуй, братец родной. Хочешь,
Зазвучат и мои струны.
Будем вместе будить город,
Мне легко — Путь открыт Млечный.
Входит вечность в мои поры.

Я поставлю Тебе свечку.
Да за всякого человечка.

Друзьям и близким, любимым

НА ВСЕХ перегонах буксуют мои поезда —
Завалены рельсы, и если пройдет таварняк,
То люди в погонах пришлют похоронку тогда
Всем тем, кто как будто бы мне и родня.

Но мы уберем этот мусор со встречных путей,
Но мы будем вовремя там, где нас ждут.
Как вольно мне дышится с ветром твоих
скоростей,
Почти что окольный, но Кем-то мне данный
маршрут.

А в каждом вагоне своя путевая тоска,
И песня своя, и надежда, что гладок наш путь.
Но жажда погони — в утробе тревоги пока,
И жажда — весь мир словно воздух
вдохнуть — в свою грудь.

Я чувствую — поезд мой мчится теперь
налегке —
Все важное с нами, а страшное — прошлому
дню.
А лучше огню, что так чист — и всегда вдалеке.
Мой поезд с пути не собьется ни-ни и отнюдь.

И быть ему вечно теперь сизокрылой стрелой,
Почти совершенством среди поездов наших
дней.
Он был на краю этой тьмы и, конечно, за ней

Нашел путь спасенья — за мглой —
миллионы огней —
Нашел этот правильный, праведный путь.

Не важно, каких семафоров мы видели свет
И кто из нас был машинистом, кто
проводником,
но главный кондуктор, проверив последний
билет,
конечно, при этом он не позабыл ни о ком,

Сегодня простил пассажиров, во веки веков
И в тамбур отправился — там, где встречают
рассвет
Совсем молодые, следящие за огоньком —

Мелькающим солнцем, за лужами в ранней
траве.

❀ ❀ ❀

ДУБ ЭТОТ пристанционный, лапотник,
Каторжник,
Поезд встречает, листвой шевеля.
Мирно гремит богатырскими латами —
Рельсами старыми эта земля.
Пашнями скроена, словно заплатами,
Косоворотка ее. Здесь, в лесах,
Над погребенными в глине солдатами
Зреет трава в предрассветных слезах.
Духом еловым, с просмоленных, выжженных
Солнцем всеведущим, бревен средь пней
Так обдает, что не будет обиженным
Хмелем таким ни один из людей.
Дубом могучим века охраняема,
Смолами вскормлена, пашнями взрыта,
Нами прославлена и обитаема,
Нами не будет она и забыта.

2005

Судьба

Посвящение В. Маяковскому
Стрелочнику поездов души

Я УТРОМ, КАК выжитый, нехотя встал.
Мой разум, до этого с памятью стравленный,
Достаточно долго еще восстанавливал
Все то, что забыл я, пока мирно спал.

Я видел скелеты ржавеющих свай.
Мне было от утренней сумрачно серости.
И я, как усталый, но опытный стрелочник,
На место работы уверенно встал.

Я знал, что дорога души не щадит.
Я душу запрятал в тулупчик запахнутый.
Наш мир черно-белый, решетчатый,
шахматный
Готов был разбиться о сердца гранит.

А сердце ведь было за юностью стай
Готово лететь да ветрилами шалыми.
Теперь вновь за детством над этими шпалами,
Огнем обжигая упрямую сталь.

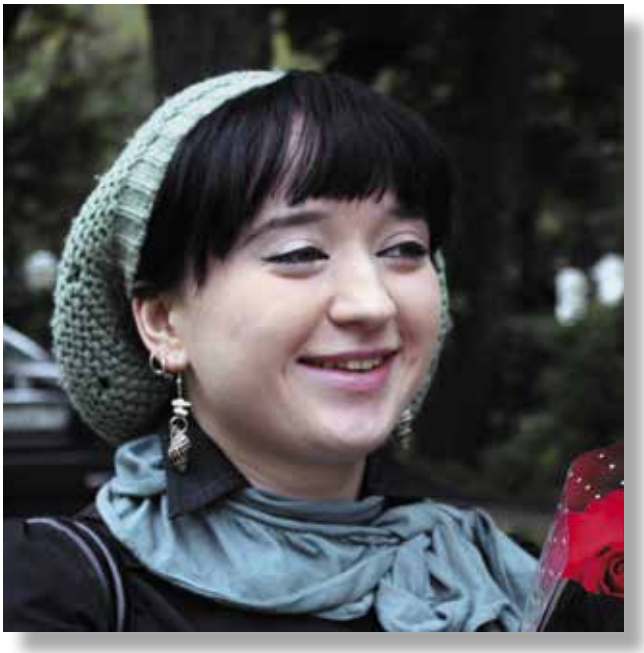
А сколько встречалось мне огненных глаз,
Чудных светофоров дороги сегодняшней.
Во всех них, заметил, давно разлилась
Вся краска земли с векового полотнища.

Художника только не помню. Пущу
Я в память остатки цветов, что над рельсами.
Эх, сердце, мы стали с тобой погорельцами.
А сердце вопит: «Я твой ум навещу.

Тогда перестанешь трепаться о лжи».
А руки от холода грубые, синие.
Но шпал и ладоней так сходятся линии,
Что вот тебе, сердце, всю правду, держи.

2007

Мария Середина



Родилась в городе Щелково, а потом переехала в Москву, где живет уже шесть лет. Студентка 4 курса Литературного института им. Горького, семинара прозы А. Е. Рекемчука.

Литерадура

КАЖДЫЙ ДЕНЬ недели, в который полагается быть чистым, происходит наша встреча, по счастью, немного ранним утром, когда мы почти только из душа.

Отныне я нарекаю его дцатым Гумбертом наизнанку за то, что ходит неперебежками без куртки и курит, курит, и думать об ученых девицах, наверное, не думает, судя по траектории морщин. Приходит и сидит передо мной в неразличимо-синем свитере каждую неделю, из чего становится понятно, что у него есть жена, которая стирает ему его каждый день или через день уж точно.

Говорит он, недвижимо хихикая над нами и над собой, потому что имя той стирающей женщины вспомнить не может, имен, женщин, с недавнего времени вообще не запоминает, его увлекает в девчушках только отношение их к революции да служивые, смешно вразвалочку бегущие по центральной улице города, а девушкам только это и есть самый костер — вековые угли, умом пахнет, горьким шоколадом искушенности, все уже, давно это было. У него голос как моток шерсти, как антикварный маятник, речь как еретическая проповедь, от него страшное слышать сладко.

Родился он тогда, когда были модными платья венчиком и купальники-трико, сантехничал и пил, пока не понял себя поэтом, и укатил в Столичную, когда стакан встал поперек грозящих кардиологий или, может, на грустный юбилей принесли застоялого коньяка с запахом древесных клопов. Под номером, под лампой в абажуре, под крестом, мужчина этот старел и писал про увяданье цветов, немного неуклюжим полукруглым па обходя свое собственное, далее неясным подчерком, отключили электричество, родились-перестроились новые девушки, мы встретились среди пыльных одуванчиков и гравия.

Его поклонницы, клонящиеся к фатальной для женщин зрелости, в нелепых коричневых сапогах, усаживают свои треугольные, черные и синие груди на парту, наслезивают глаза и всасывают каждое атласное слово, мрачное и модерновое, вздыхают так смешно, словно считать умеют только до двух. Смешные, тут все кольцами завалено, ему не нужно.

Что же еще нужно осенними обеднями, перед разменом своего давно и со смыслом пропитого, самого главного полтинника, кроме того, что тебя тайком ненавидят облысевшие анакреонтики за то, что свежие и пульсирующие как почки сирени девушки, героини их строчек, цедят березовый сок из головы от интеллигент-

ских темностей этих енисейских трубачей. В конце концов — сиропное вино, что выжимают из церковных колоколов, конечно, полночь.

«Мужчинам не дарят цветы» — стучит зубами розовая шерстяная женщина в цветочном киоске. «Если к дате не приурочено». Ну и к черту — не приурочено! я не знаю его даже приблизительных дат, мне это не присвоено, его дни мною не приручены и никогда. Не приурочено — тогда пусть он дает мне уроки, а я буду шифром стенографировать каждый, глупо барабаня указательным пальцем по клавиатуре, пока не разучусь, мне стыдно болеть Лолитой, мне нужно учить настоящие уроки.

Не дарят цветы и черту — я буду прилежно писать каждую встречу до неприличной одури, пока не стану взрослой и это не станет грустно-смешным, пока не перестану летоисчисляться по одному дню в неделе — это грязный, влажный четверг, буду, пока он не сгорит медленно, медленно, а такие рукописи горят и безо всякого огонька.

Звонок

НЕ СЪЕЛА ДАЖЕ и крошки в обед, не в пример спиртовничанью. Все тужилась-пыжилась вспомнить, что говорила вам пару минут назад, — тщетно, щелочью разъело. Отвлекал или ваш синий шарф, грозивший перейти в черный, если я заикнусь, и сочувственно оттенять фиолетовым, если все же договорю слово до конца. Тряслась щека. Или отвлекало головокружение — тем не менее, когда слонов в посудной лавке больше, чем посуды, никого не разжалобишь разбитым блюдечком. Даже лазуревым.

Главное правило сафари в нашей посудной лавке — не присваивай себе чужого и не горемыкай над чужим и присвоенным, дабы не растерять себя самого на запчасти по дороге в свой холодный чертог. Повторить. Выучить. Выбить на лбу. Запихнуть в рот и тщательно прожевать, не запивая.

Слишком много слов, слонов, слишком плотно боками друг к другу, аж стирается серая кожа — ох, теперь нас всем видать, наши благородные кости. Все. Выходи за забор, выбирай охотника по вкусу.

Теперь отчасти вспоминается — были слова «хороший писатель». Хороший писатель — это как крепкий чай с домашними плюшками, если бы мы не умели говорить, мы, кстати, уже тренируемся. Если были слова, была и тема? Фи, прошлый век, в прошлом же веке и опровергнуто теми, кто Фрагмент — Богом провозгласил.

А впрочем, что это я снова о вас, — мало ли еще на свете, в темноте и собственных квартирах, покойных дедушек, пропавших пап и страдающих юнцов. Да и меня — не одна.

Потворить. Повторить. Выучить.

Первый урок — Эстетика

И ВОТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, теперь они оба от меня слишком чужо далеки. Она — молодая, рыжая-стриженная, не по молодости женская. Я с ней почти не разговариваю.

Он — впереди нее лет на двадцать шесть, лысеет, синеет. Коричневеет, грустит. По возрасту. Я с ним почти не разговариваю.

Я с ними почти не разговариваю. Я их совсем не знаю. Именно поэтому мне так приятно думать о них перед сном, чтобы заснуть, когда пузырек оказывается душист и пуст.

Она, может, делает так же. И я не злюсь, не ревную, мне даже приятно, если она мечтает стать его любовницей. Мне даже забавно представлять их вместе. Я улыбаюсь иногда от этого прямо в метро. Вот он — такой шерстяной, большой, мудрый, хмурый. Немного хромает, курит на ходу. И вот рядом она — весной — гитара, летом — скрипка, зимой — контрабас. Глупенькая как раз точь-в-точь, чтобы казаться достаточно соблазнительной для таких мужчин, уставших от ума — женского, мужского, межпланетного и бесполового.

Но на самом деле я все время смотрю на нее, улыбаюсь про себя и думаю, что она так похожа на него, что с легкостью могла бы стать его дочерью. Я люблю думать о них в любых комбинациях, чтобы не терять знаки красоты и не тонуть между слишком черным и слишком белым.

Второй урок — Мифология

СЕСТРА, ВЕЧЕР снова догнал тебя, и за это я тебя ненавижу. Неприлично в твоем возрасте пускать чудищ в свою постель. Этот семиглавый змей — его видит каждый, так что брось плакать. Просто кто-то зажмуривает левый глаз и видит, что змей не пожирает солнце, а всего лишь пускает его внутрь остыть, чтобы оно не сгорело слишком быстро. А ты, сестра, черным-черно смотришь в оба и говоришь — «Не надо мне слабой слабого солнца в придачу». И змей высиживает тебя вместе с родными своими яйцами. Так ты становишься дочерью, которая ненавидит отца.

Ты думала, что подобное лечат подобным, что лишь брат может убить брата, хотя в пос-

ледний раз это закончилось злой растяжкой на тысячи лет и миллионы томов. Но так мечтала о том, что ты, сестра, просыпаешься, наконец, одна, открываешь широко желтый рот и получаешь целый половник солнца. И вот душишь семиглавого змея змеем зеленым, а он, набравшись, путает все, поворачивается не в ту сторону и хватается за твою шею. Нелепая сказка.

Впрочем, для сказки это слишком кругло — все повторяется раз за разом — змей теряет голову за головой с каждым пробуждением, и ты мелко трясешься внутри, ликуя, когда к воскресенью у него остается лишь одна. «Вот я его сейчас!» — безмоловно ярствуешь ты. Всю ночь ждешь рассвета, чтобы отрубить последнюю голову верно, но как только выносят солнце, остальные шесть вырастают снова. Скучная сказка.

Тут-то и должен появиться какой-нибудь рыцарь, чтобы срубить все головы сразу, и он появляется, но только раз в неделю и всего на пару часов, потому что работает рыцарем лишь по редкому совместительству и старой памяти. В свое время от наспасал таких же сестер на целую пятерню, отрубил десятки голов, но и породил взамен каждой сестрице по такому же орущему желторту, который теперь нужно кормить мороженым и бумагой. Этого не купишь на зарплату рыцаря, так что — только по совместительству, только по расписанию, по предварительной записи и с сохранением профессионального нейтралитета. Можешь расчитывать только на одну, четвертую, голову, но вот оказывается, что раз так, то не надо рубить, ты ее любишь. Раз так мало. Так мало остается от него. Ну раз так, полурыцарь пожимает плечами и, не оглядываясь, уезжает на железном коне. Зелень. Или царевна-лягушка, которая ночью превращается в красавицу. Отведенное на порубь время ты, сестра, сидишь на деревянных брусьях, интеллигентно стиснув зубы, чтобы не заплакать от заноз, которые впиваются в бедра, потому что ветхий рыцарь не верит слезам. В твоем-то возрасте.

А вот бы он сложил и отпустил в небо какой-нибудь большой цикл о даме, у которой из-под шапки змеи торчат, но, кроме нее самой, от этого никто не каменеет. Или хотя бы бумажный самолетик с твоим именем. Я знаю, ты, сестра, считаешь себя недостаточной для этого, если только не вклеить в лирический пейзаж слоновые деревья, водянисто-красную полоску над губой, у ноздрей, горячий лоб, холодные стены, соль на щеках и грязь под ресницами. Дешевое шапито — бессонница. В твои-то годы.

Сестра! Ты права, но — все оплаченное время он смотрит со стороны по разным сторонам, нам осталось семь. Семь встреч, семь целых голов. Я, может, буду скучать без меры. Не знать дна. Вино-виноватая продукция. Бесполезно — он пахнет железом. Бесполезная сказка.

Третий урок — Фонетика

НА ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ можно доехать до дома и свернуться венезелем в синтепоновой берлоге, отпустив рукава до самых колен. За двадцать минут можно выпить и устать от своего монозвучания. За двадцать лет можно постареть на шестьдесят и понять, что кризис двадцатилетия, в отличие от всех остальных, нужно скрывать, чтобы не казаться тем самым красным домино. К двадцати годам можно стать уже не красным, а пунцовым от стыда за смех весеннего солнца над тем, что ты пыталась обмануть физиологию, генетику и прочие двусложности. И не получилось.

И вот что получается — через сны околоэротического содержания ты приходишь к девяностопроцентной глухоте и даже в кладези мудрости ищешь точку джи. А вот что выходит, цедится или хлещет, в зависимости от того, напилась ли ты за день до или после, — слышишь только одно его слово, имитирую звучание верно, чтобы повторить фонетику — «Ниивазмоожно». Пусть потеря слуха не стала вырванной страницей про вычитание, пусть ты стала взамен тысячеглазой; если при этом смотришь не через глаза, а только в, вся твоя надрывная зрячесть уходит в оставшиеся десять процентов слуха; твои, наконец, попытки высосать мысли через глаза на расстоянии двух метров похожи на попытки высосать раковое мясо через соломенную трубочку — «ниивазмоожно». Учись, дура, слушай, хватит пялиться.

Я давно нашла себе новою погремушку, которой жонглируют Бог и тот, кто напротив — Черт и тот, кто напротив, а в руки тебе не дают — главное правило вожделенности игрушек. И извините, ею стали Вы, мне кинули Вас, а я подхватила. Вы стали серым. Признаться, темно-синий придавал нам большей солидарности. Но надо мной смеются.

«Нии.. — так вибрирует кусок железа, упавший на асфальт. Взгляд вперед, сквозь, вникуда, интонация вверх.

ваз — Вас, целый воз Вас, под которым я обожаю сгинаться, волочиться и обдирать коленки — когда-то мне говорили, что, чтобы тебя подняли надо больно упасть.

моо — так Ваши губы становятся соленой трубочкой, а по моим льется молоко, соси его, интонация вниз.

ж — так жужжат костяшки моих пальцев, когда лопаюсь после полудня. Льется молоко — подлижи его с асфальта, так я мечтаю то, за что потом станавлюсь пунцовой.

но» — конец звука, начало зноя, я предрекаю мороку, а вы как хотите.

Но — почему Вы не мой папа? Па-па. Па-деде по пузырям паркета, ему 75, мне 80, вам — немногим меньше, по старшинству приглашаем Вас на танец мы, я и паркет. Втроем мы больше точно не встретимся — ну хватайте же меня, я перевязала живот резиной, чтобы это было похоже на финальную романтику, давайте, ведите меня, высасывайте молоко. Я вижу, Вы — хромой, но это совершенно неважно, посмотрите на меня — у меня вовсе нет костей, шею сводит назад, я сюда — приползла, присыпалась, скисшим зернистым творогом.

Но я слышу? Что же — «ниивазмоожно?». Сегодня молоко хлещет.

Четвертый урок — Теория стиха и прозы

ВСЕГДА ГОТОВА учиться, когда Вам есть, чему меня научить. Но вы лишь спрашиваете, делая вид, что живете методом исключения, теорией выпада:

— Какое у нас сегодня число?

У нас сегодня и всегда нулевая параллель.

— Семнадцатое.

Пришлось соврать.

— Надо же, я угадал. А сколько нам занятий осталось?

— Мало.

Мало, дурак, мало, совсем ничего не осталось, сколько ни занимайся, и ничего из этого не вышло, а из этого ничего не вытекает, из кармана только пара крошек высыпается, одна снится вам, вторая — мне.

Первая — когда я собиралась действительно учиться грамматике, а не быть двоечницей по грамматике любви, когда туго стягивала волосы в хвост и лоб занимал больше половины лица. Но я не думала о красоте, я была почти немного счастливая. У меня и моих интеллигентных друзей была традиция — праздновать Ваши появления, и после очередного праздника я прибежала стянутая, с голыми плечами и за сорок минут рассказала все об умершем мужчине, который тоже писал. С тех пор Вы решили, что я постоянно должна что-то говорить об умерших и не очень, говорили, что мои слова Вам снились. А когда я через два года случайно угадала, что стихотворение о мертвых на самом деле о живых, которые, удивительное дело, лучше мертвых, Вы сказали, что права я, назвав меня чужим именем. Потом долго извинялись, лежа лицом в бумагах, затем хромая ко мне, говоря, что меня ни с кем не спутаешь. Разве что с ничем.

И когда я внезапно поглупела оттого, что Вы стали ездить по моей голове, как игрушечный поезд — по кругу, Вы снова угадали мои сокрушения, как и сегодняшее число, — сказали, что никакая литература не обходится без эротизма. Когда поэт пишет в ритм своей эпохе и не умирает вместе с ней, а продолжает писать, живительный воздух времени начинает вдруг гнить — так учили Вы.

Вот и сегодня воздух был до полудня жив и свеж, я ледянила высунутое в форточку лицо и душилась из синего флакона, готовилась к Вашему железному запаху. Но Вы.. Нет, уже не Вы, и даже не Вы, если я хочу ненадолго поненавидеть тебя, чтобы подышать свободно. Но ты пришел совершенно другим — от тебя пахло женщиной, большой женщиной, потому что глаза твои окосели от улыбки, совершенно не свойственной твоему возрасту, глаза, потеряв остроту хмурости, стали серомутными, как черная икра, ты стал реагировать отстраненным смешком даже на бездарные шутки, стал интересоваться живыми людьми и манерно жмурить глаза, слушая чужие стихи. Из твоих новых манер ничего не вышло — так жмурятся, только встав с кровати, в растянутой желтизной белой майке, со смешными худыми и бледными ногами, глупо торчащими из просторных трусов. Жмурятся довольно, по-котовски, шлепают босыми пятками на кухню по запаху свежих пирожков, пропуская ванну, бритву, зубную пасту. Ведь там — большая женщина, твоя, белокурая, без пьяных истерик и молодости с душком. Большая женщина подарила тебе дорогую зажигалку под серебро — она так по-идиотски смотрится рядом с сигаретами за двадцать рублей. Твоя зажигалка. Твоя женщина. И пахнет.

Так ты становишься тем самым поэтом — мой, наш, живительный воздух от чужого запаха скисает, кучнится и гниет. Так начинается моя астма — ты виноват, я буду немного ненавидеть тебя — виновата я. Зажимаю нос рукой, смотрю на упавшую скрепку на пестром паласе, до зеленых пятен пялюсь в люстру. Эта скрепка такая же, как я — все время должна прилепиться к чему-то важному, чтобы жить дальше, а потом скрутиться в железную закорюку и молча лежать на пыльном полу. Так незаметно становится без ничего пять, мы расходимся.

Ты не должен ее трогать, ты вообще не должен больше ни до кого дотрагиваться, должен просто стоять на верхней ступеньке, скрестив руки за спиной. Я не хочу знакомства выше и ближе. Я бы никогда не сунула свою руку в большие складки твоих морщинистых и табачных. Мы выше. Упираемся в грудные клетки друг друга длинной деревянной указкой, чтобы быть на расстоянии, а в зубах держим мел, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Мы шире — к черту любовь плечом к плечу, о ней плохо вспоминаешь уже через пару лет. А мы выше друг друга, чтобы друг друга не видеть.

Я вообще не хочу знать и не должна знать, куда ты уходишь, как живешь — где переживаешь. Кто она, твоя настоящая женщина, насколько уже увяла ее красота, что любовь расцвела новым цветом. Не хочу знать, какой пастой чистишь зубы и любишь ли жирные котлеты — в конце концов, самая глупая лирика лишена таких подробностей, а я жму, жру только ее всходы. Я литерадура, не старайся меня научить. Давай просто так посидим. Хотя я даже рада, что она, твоя женщина, у тебя есть. От нее ты стал улыбаться, а я стала видеть, что ты вовсе не весь железный и сияющий — когда улыбаешься, я обхожу твою улыбку, в ней зубы уже истерлись, разошлись и постарели — боже, неужели я впервые научилась прозе. Все же ты хороший учитель.

Ты хороший. А плохой ученик вечно идет, плетется за своим учителем. Хороший — смотрит на него скособочась первые пару уроков, а потом дрожем встает на свои молочные ножки, отворачивается и идет спиной, сам.

Я плохая ученица. Двадцатигодница. Я пытаюсь выслеживать тебя на нашей территории на сбившихся каблуках. Где не спрятаться и не спрятать тебя под стеклом, закопать у дерева, как фантик. Я неуспевающая по беспредметности — ставь мне очередную пару, мне не страшно, осталась как раз пара занятий, а потом, даже летом, будет пытаться начать моя весна. Буду жечь старую траву, а вместе с ней вроде бы как нечаянно сгорит все это и ты вместе с ним. Потому что ты всего лишь жизненная необходимость подогреть застоялую кровь. Не жизнь. Хорошо ты научил меня литературно уменьшать ложь до неправды, да?

Пятый урок — Литературоведение

ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК — чем больше хочешь сказать, тем громче молчишь, может, потому, что у меня тобой рот набит? Я спрашиваю после урока:

— Не посоветуете мне тему для доклада?

А получается:

— Что вам нужно?

Ну что тебе вообще нужно? Пирожки, эта женщина, бензин, кафедра, новые писатели?

И продолжаю:

— А в какой форме должно быть написано?

Дальше вроде что-то говорю, но на самом деле снова вязну в своем липком и сладком. Бреде.

Ты отвечаешь:

— Это должен быть полноценный литературоведческий анализ. Понимаете, это научная работа, а не творческая.

Я сделаю анализ. Разберу тебя на части, раскину по местности, соберу снова, выхолощу по молекулам; разберу так, чтобы ты рассыпался и наконец от меня исчез со всей свой литературой и моими больными праздниками низачем. Разберу, сидя на коленях, да так, что ты перестанешь быть человеком и станешь всем вокруг, а от этого один шаг до того, чтобы стать ничем. И это все, что мне теперь от тебя нужно, — я замучалась учиться. Я, конечно, не скажу только самого важного, но ты же знаешь, что самое важное мне — неважные случайности, дыры в асфальте, молекулы (я надеюсь, ты сам слышишь это в моих неважных ответах, они — важные). Разберу и хлопну по всем столам стопкой бумаги. Тогда я приду домой, не включая свет и не раздеваясь лягу на кровать, накроюсь с головой и просплю ровно столько, сколько ты у меня отнял. А когда проснусь, куплю настоящие тетрадки и ручки и пойду правда учиться. Более сложного предмета у меня все равно больше не будет.

Вот так я тебя выгоню отсюда, на —

Литературоведческий анализ

Единство действия, времени и места:

ВСЕ, ЧТО БУДЕТ заканчивать мой курс, произойдет сегодня — этим предпраздничным для всех вечером (твоя, наверное, напекла пирожков и купила шампанского), я же свое отобедала и отпраздновала и теперь мне этот вечер нужен, чтобы тебя изо всех остальных вечеров вытошнило, а я легче стала. Действие будет происходить в ближайшие четыре часа, начиная с той минуты, когда ты решил отпустить нас пораньше в честь праздника, а я тебя честно возненавидела за то, что ты отнял драгоценные минуты, которые у меня как мелочь на счету. К концу действия я возненавижу тебя почти полностью,

но это я рассмотрю подробнее и далее. Так соединятся мое бесполезно потраченное время и отсутствие каких-либо действий с обеих сторон. Место действия для нас обоих будет традиционно единым, и в течение этих стыдных четырех часов мы не выйдем за пределы квадратного забора и учебного здания, хотя ни разу и не пересечмся ближе, чем моя лавочка и твоя сигарета далеко на крыльце. Единство времени и места позволит действию не совершится быстрее и продолжит ту приятную иллюзию, что ни у меня, ни у тебя нет своего дома, своей кровати и своей другой жизни: мы существуем только здесь, я на лавочке, ты на крыльце, ты с сигаретой, я с сигаретой. И это так здорово, что мы не существуем больше нигде, — мне кажется, мы бы не понравились друг другу по утрам, за завтраком, не на дистанции.

Композиция произведения:

КОМПОЗИЦИЯ происходившего ранее — рамочная. Неделя вкладывается в неделю, день в день, ты в лист, я в ноль. Все под стекло. На память. До лучшего. Композиция происходящего — кольцевая. Я окружена квадратом этого забора, я очерчена мелом и не выйду из заколдованного круга, пока меня не станет мутить от того, что я сижу и ничего не жду, ну то есть жду тебя. Низачем. Я начну сидеть около этого дома в четыре часа, растирая щеки руками, руки ладонями, наслаждаясь ознобом, стуча туфлями по асфальту, зубами по зубам, куря не взатяг, потому что надоело; плакать, потому что надоело, подруги будут сидеть рядом из чувства долга и курить взатяг, потому что им надоело; но у них есть чувство долга, они так воспитаны; мы будем пытаться периодически поговорить о чем-то честном, но получаться не будет, потому что я буду высматривать тебя, а я не умею быть честной и высматривать одновременно. Они будут хотеть уехать домой, поесть салата, но им будет не удобно об этом сказать, мы будем смеяться, что когда-то напивались, сигареты у нас кончатся и я буду отказываться сходить за ними под предлогом того, что у меня кружится голова и мне нужно посидеть на свежем воздухе. Мне нужно не пропустить тебя, чтобы закончить. Так что мы будем сидеть на все той же лавке, говорить по кругу и угадывать, курит проходящий мимо или нет. Потом выпьем кофе из пластиковых стаканчиков, и подруги, наконец, уйдут в извинениях. А я буду ждать, ждать, ждать, глупо ждать, когда ты просто выйдешь и уйдешь. К этой, к той, к женщине, мужчине — уже без разницы. Я этим закончу в восемь часов, когда не дождусь. Круг замкнется, я перейду с кольцевой линии на радиальную и поеду домой.

Система образов:

С ТЕХ ПОР КАК влипла в эту твою науку, где не нужна голова, не по твоей вине, а по моей скуке, на тех парах, когда осознала, что влипла: тебя ладно для вечеров своих вылепила, с тех пор мухой стала. Мухой влетала в аудиторию после того, как на обеде мы опять праздновали какой-то повод, а я то и дело щелкала зажигалкой и поздравляла всех со мной праздных, а слова вокруг лавочки хлопушками лопались. И все рядом хлопали по плечам, щелкали моей зажигалкой, смеялись и говорили: «Ну наконец-то похороны отменила!» — и, конечно, не знали, что я все это время жмурилась, сгребала их оптически в одну кучу и репетировала, что так же буду улыбаться и хлопать словами, только поумнее, на уроке и тебе. Через десять минут. Я несусь поперек улицы, сигаретный дым в рот не попадает на лету, а я же лечу, но я не птица, потому что не поднимаю голову выше плеч, а птица летает в небесах, и я не бабочка, потому что платьица ситцевые улыбаясь не одеваю и вообще почти не улыбаюсь, если только не сплю, и походка моя тяжелая — мама каждую неделю каблуки относит чинить; я — муха. Потому что тельце мое от неприкосновенности темное, крылышки как раз — вам не заметить, мне не взлететь. Челка на ветру разлеталась, ладонью прижимала и раскрасневшаяся проскакивала в дверь, хотела сесть, но плюхалась на первый ряд. И пока штормило от праздника (молча в твою честь, между прочим), я все пялилась, пялилась в твои опущенные веки, у тебя, кстати, брови все в потолок галками стремятся, а брюки коротки слишком, а носки поэтому смешные. А... И так я пялилась и влипала все глубже, глубже, лезла на самое дно банки с вареньем, вареньем были твои слова, а я могла очень многому у них поучиться, если бы не кружилась голова, если бы я не искала в твоей речи самые сахарные цукаты, вырывала их из контекста, ставила на повтор, на максимальную громкость, в конце концов застревала, залипала, становилась мухой. Засыпала, злилась, что ты мой взгляд не ловишь, а когда ловил, сразу по сторонам смотрела, чтобы не сдаться, но если уж врезалась, улыбалась совсем нагло: одним уголком рта вверх, поднять брови, расширить глаза. И тут вдруг Вы улыбались своей некрасивой улыбкой, от этого мне хотелось смеяться и чтобы было не-

пременно видно, что весь рот у меня измазан в этом Вашем варенье и зубы от него красные, и вообще я же сказала, что стала теперь глупая — распробовала сладкое. Ты меня, наверное, понимаешь, зубы, наверное, от этого испортились. Спрашиваешь — что думаю о писателе Б.? А в ответ луплю глазами, как будто меня ночью застали с большой ложкой в руке, стоя на табуретке, лопая конфеты из буфета. Потом произношу несколько красивых и бессмысленных слов, мычу, охаю, стыжу себя (уже молча) — сытая ты, глупая. А ты убираешь взгляд, оставляешь только серую муть глаз, порицающее вроде говоришь — «Ну понятно...», а взгляд отдаешь тем ученикам, которые могут сказать что-то внятное, потому что пришли вроде как учиться, а не так неприкрыто, как я.

Роль пейзажа:

МОЙ КАЛЕНДАРЬ — швами наружу, затяжками изнутри, колготками под джинсы и рукавами до колен, страницами блокнота в фиолетовом фломастере, пальцами в фиолетом фломастере, в коже. По моему календарю пришла зима, и всем май, а мне мается. И вот эти победные праздники, солнце всех греет, а меня в отместку за нелюбовь запекает, в тесто рукавов заворачивает, я эти праздники, выходные, выходы в свет, на свет, ненавижу с тех пор, когда мне по расписанию пришлось начать вроде как любить. Потому что как я люблю — не подходя близко, не говоря ни слова, только запоминая случайные части, запирая их себе в грудь, — это не празднично. Я эти части с собой забираю домой, и все выходные сижу в мазуте и в них роюсь, а к концу праздников любовников своих разобранных уже ненавижу: зрение садится, спина горбится. Какая от меня, к черту, любовь. Вот и с тобой так же. Молодец, что не подходишь близко. Хорошо, что это профессиональная этика. Но вот сегодня я закончу с тобой, потом покончу с той собой, что была с тобой, и месяцев через пять придет мое лето. Жаль только, наверное, что на него больше не будет приходиться молодость. Моя, выключительно моя, потому что эта моя конфета, ты, которую отняли как раз, накануне, праздника, за чужое лето наверняка растает. Но сегодня похолодало, где-то плюс один, впрочем, у меня, как обычно, полный минус, и я сижу на этой шаткой скамейке, ноги уже околели, но я ни с места. Как только ты раньше отпустил, позже всех выбежала из класса, чтобы за тобой. Плащ надеть не успела, и, пока по лестнице бежала, все грудь рукой прикрывала — так дурно, так стыдно, эта красная кофточка со слишком большим вырезом, совершенно неуместным — холодно, дешево. Прикрывала, к тебя подбежала: нужно хоть что-то сказать, мне надоело молчать по поводу и говорить без. «А можно у вас попросить сигарету?» — как я смешна в этой красной кофточке, с этой ладонью на груди. Только мне одной стыдно — ты веки даже не поднимаешь, молча пачку протягиваешь. Морщины слишком тяжелые? Я такая смешная? В такой кофточке для такого холода? Какое тебе дело до кофточек, с твоим неизменным неразличимым свитером в любую стужу. В любую жару в нем маешься — что скрываешь? Ты так похож на цаплю, когда я здороваюсь с тобой вдруг, но ты меня заметить не успеваешь; так смешно получается — сначала слышишь, что тебя зовут где-то внутри головы, одноглазо озираешься, меня выбираешь из пейзажа, и твои глаза из серых голубыми становятся — жара, небо отсвечивает лазурью. Ответить не успеваешь, потому что окурок выбрасываешь, лишь нелепо киваешь. И вокруг все кишит короткими рукавами, прищуренными глазами, волосами блестящими, криками, смехом. Сейчас же ничего. Я уже третий час на этой скамейке и почти привыкла к тому, что дрожу. Не могу привыкнуть только к тому, что сдрогнула с ума, сбредила — какой нормальный ученик попросится сдавать самый сложный экзамен досрочно? Я бы подняла руку, если бы не было так холодно. Начинаю иногда уже покидать этот идиотский дозор, пью кофе, кофе, чай, деньги кончаются, пью кипяток, чтобы согреться. Что я здесь делаю. Алло, мама, да я с девчонками гуляю, скоро буду. Господи, ну я же ничего не жду. Так холодно. Я жду ничего. Просто уйти после тебя. Вроде как ты остался в дураках, когда дура я. Не дожидаюсь — доченька, ну где же ты? Еду, уже еду. Ладно, ты выиграл. Я ухожу первая. Не чувствую ног.

У метро меня останавливают и говорят — «девушка, у вас лицо грязное». Дураки, это просто первый снег моей наступившей зимы. Первый майский.

Семантика имен:

И ТЫ ВПЕРЕДИ всего полка, живым только ты остался, дальше — фотообоями Васнецова размножили. Нет, конечно, никакой бороды, никакой мускулатуры, доспехи шерстяные и джинсовые, булавой — большая советская энциклопедия, забралом — лицо сморщенное, непроницаемое, неулыбаемое, ты так строго на меня всегда смотришь — опять учишь? Знаешь, я к

экзамену этому вовсе не готова и билетов не учила, но ответ точно знаю на единственный билет — зачем ты мне нужен. Ты мне старость оправдываешь, мне раньше никто так не делал. Я раньше думала — вот бы дожить до тридцати, дальше — долгая смерть; я раньше над спящей мамой плакала и шептала себе, что дети должны умирать раньше родителей, потому что так я люблю ее, а она так устала; она мне брюки покупает и, кстати, ту дурацкую красную кофточку, вместо того, чтобы зубы себе вставить. Я раньше смотрела на папу и думала, что после сорока пяти мужчины мужествовать перестают и превращаются в «товарищей», «гражданинов» или, по крайней мере, дедушек. Я раньше решала, что так страшно взрослеть, что пятьдесят исполняется уже на том свете, а то и при выключенном вовсе.

Мое имя переводится — «горькая». Я не ела сладкого до тебя. Я в семнадцать увлеклась горькими и крепкими напитками, потому что думала, что не доживу до тридцати. А потом ты появился. Учить стал. И тебе было уже далеко за, но ты был при свете и здесь в тысячу раз больше, чем я в свои двадцать. И с намеками на лысение, и с этим зубами твоими и морщинами, и каждый день в одинаковой одежде ты был в тысячу раз красивее, чем я, которая тратит каждое утро полтора часа на то, чтобы смотреть людям в глаза. Я восхитилась. Потом, как обычно, правда, замучалась. Зато стала маме бусы по утрам подбирать, а однажды даже сказала: «Да уезжай ты с ним на выходные, я и одна ничего, нормально». Я, может, даже вырасту. Мне, может, тоже будет далеко за.

Второстепенные персонажи:

ОТ ЭТИХ ТВОИХ писателей во второй степени не избавиться, они меня преследуют — не ты ли их натравливаешь («смотри, вот моя двоечница, в красной кофточке»). Я все те месяцы, что тебя высматривала, точно знала, что по-хорошему быть не должно — никаких разговоров, никакого дыхания близко; я же карточную вавилонскую башню строила. Надо было с чего-то счерчивать — с тебя, для этого нужно было, чтобы ты на меня посмотрел, а я с детства приучена, что ко мне бегут, когда я плачу. И все никак не сходилось — то ты докуриваешь раньше, то я дойти не успеваю, то противно плакать нечестно. Сегодня то ли честно стало, то ли эти двадцать минут, которые ты от урока отрезал, стали мерзкими от того, что стали свободными. Честно отвечала всем, у кого брала сигареты:

— Ты спала или плакала?

— Плакала.

— Да ладно, все нормально будет.

— Естественно.

Выходили подруги — уходили друзья.

Да ладно, все нормально будет. Конечно. Уже. Ну уходите вы все, уходите. У меня экзамен. Нет-нет, ну как же мы тебя оставим такой. Да оставьте же. Такой. Чтобы я его переварила, разъела и завтра стала другой. Все уходите — единство места, времени и действия. Е-динство. Наедине, понимаете.

Он выходит опять курить, еще три часа таких впереди, когда у него редкие волосы глупо всклокочены, как у юнца, а рядом стоит толстая дама, и он перед ней наклоняется и ей улыбается, дает прикурить, а мне с опущенными веками пачку протянул (неужели я смешнее ее?). А я уже отплакала назло, как раз назло, когда его не было, уже сухо стало везде. Какая же я смешная — перед праздником победы почти рада своему поражению. Как окончанию. И тут совсем другой, совсем неуместный подходит:

— Ты чего плачешь?

Молчу.

На подруг:

— Она чего плачет?

— Хочется.

Мне:

— Случилось что-то? Или нервы?

— Нервы.

Улыбается как контрабандист накануне удачной сделки, оглядывается по-вороньи и показывает, что в кармане бутылка коньяка лежит. «Нервы...» — как же ты по-идиотски улыбаешься.

— Не буду.

— Ну и зря.

Бутылка больше чем наполовину пуста.

— Мне в шесть в издательство, роман сдавать! Печатать будут.

Глотнул.

— Что, такой хороший?

— Ну, его один у вас тут важный прочитал, вы ж сами знаете — если с улицы придете, никто печатать не будет. А звоночек сделать правильный — за неделю прочитают и напечатают.

— Только этот один и читал?

— Нет, еще жена.

— Ну если двое, то да, печатать. Третий, наверное, Бог.

— А ты на Мальвину похожа!

— У Мальвины волосы синие, а у меня нет.

— А у тебя глаза... такие!

А у меня под глазами от туши разводы полумесяцами, думала — уродина, хоть бы ты не

видел, а тут — Мальвина. Ну вот они, твои писатели. Замечательные все-таки. Как ты и говорил.

— А у меня жена — дура, а сын хороший. Он говорит — папу люблю, а маму убью! Я когда пьяный вдрызг прихожу, он говорит этой — «папе одиноко, я с ним спать буду, а ты иди!». А мне тридцать два года! Трид-цать-два! Хороший сын?

— Хороший. Вам в издательство уже пора.

— А пошли коньяк пить?

— Не пойду.

— Ну ладно, Мальвина, не реви.

Уходит зигзагом. Ему тридцать два. Я поэтому думала, что до тридцати не доживу. А тут ты — статуэтка на самой верхней полке, и пыль как сусальное золото.

Экзамен

ВОТ МОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ анализ тебе. Тебя. Литературоведческий, как хотел. Завтра начнутся эти выходные, я положу рядом стопку книг и напишу тебе другой, ненастоящий, про современных писателей, со списком использованной литературы. А не списком использованной меня. Как ты хотел. Как я хотела. Плохо напишу, все слова уже на тебя израсходовала, ты уж не обессудь, вообще не суди — я сама осудила и отсудила свое.

Прихожу домой, говорю маме: мама, выпей со мной, я замерзла, я так устала — я сегодня диплом защитила. Чокнулась. Чокаемся рюмками. В дипломе написано: Литерадура. Но так славно было.

Анна Милосердова

Родилась 20 мая 1991 года в городе Уварово, Тамбовской области. Закончила московский Лицей № 1536. Студентка Литературного института им. А. М. Горького.

Ёжик и море

Сказка

ЁЖИК ЛЮБИЛ море. Вернее, он любил это слово и тот образ, который у него сложился из рассказов мамы. А ещё у Ёжика была ракушка. Она была большая, красивая и восседала на отдельной полочке у него дома. Ёжик обожал её, так как она издавала самый замечательный звук на свете — звук моря.

Каждый раз, когда к Ёжику приходили гости, он сразу провожал их в свою комнату и показывал своё сокровище. Потом он часами мог рассказывать о ракушке и о море, которое никогда не видел. А в те дни, когда было особенно солнечно, давал послушать этот красивейший и удивительнейший звук, доносившийся изнутри раковины, чем частенько надоедал не понимавшим его гостям. Поэтому у него не было друзей, но это не сильно огорчало Ёжика. Он жил и питался только воспоминаниями и мечтами, ни на что не обращая внимания. Но между тем именно это делало Ёжика сильным. А вместе с силой крепло его стремление увидеть море. Каждый день он представлял себе, как состоится эта встреча, как море протянет свои длинные, шелестящие рукава, украшенные барашками. Как его накроет этот всепоглощающий, удивительной чистоты звук.

Так, в один из солнечных весенних деньков, размечтавшись, Ёжик уронил свое сокровище. В первый момент он даже не понял, что произошло. Но когда он увидел под лапками осколки своего счастья, своей жизни, своих мечтаний... Он собрал каждый осколочек в кучку, свернулся вокруг неё калачиком, будто защищая от чего-то ужасного, и заплакал, несмотря на то, что был сильным.

Плакал он долго. Долго и больно.

Очнувшись, Ёжик принял решение начать новую жизнь: «Надо идти туда, к морю». И он начал готовиться к этому.

Наконец, когда он почувствовал, что готов встретиться с тем, ради чего жил всё это время, Ёжик отправился в путь.

Шел он долго, но уверенно и без устали, с высоко поднятой головой, что было удивительно для этого крохотного существа.

Много-много дней или недель спустя на горизонте перед Ёжиком возникло странное, манящее сияние. Оно заворожило его.

Ёжик глубоко вздохнул и прибавил шаг. Он шел все быстрее и быстрее, переходил на бег, не в силах совладать с собой и с мечтой, что бежала уже впереди него. Сияние тоже, как ему казалось, стремилось навстречу.

И вот оно уже совсем близко, настолько близко, что слепило глаза, несмотря на туманный занавес.

Но звук, который эхом отзывался в голове Ёжика ещё с тех времён, когда ракушка была целая... Блестящая гладь молчала, оставалась абсолютно спокойной. Ни одной волны не подкатилось к берегу, ни один барашек не мелькнул в мутной глухонемой ткани воды. Это огорчило Ёжика, но не остановило. Он подошел совсем близко к глади.

«Не молчи, море!»

Он сел на краешек берега и начал говорить. Это было искреннее излияние души, выраженное воспоминаниями, которые Ёжик по-детски доверял этой по-прежнему остававшейся молчаливой воде.

Ёжик не знал, что это всего лишь озеро, ничтожное по своей энергии жизни по сравнению с той энергией жизни моря, которая ему так требовалась.

Закончил монолог он лишь через сутки. Над ним простиралась глубокая, уютная, светлая ночь, будто укрывшая Ёжика, мечту и это зло-

счастное озеро от звуков настоящего моря, которые были нужны Ежу как воздух.

Луна растеклась по воде. Эта желтая дорожка на пару с тишиной манили Ёжика туда, в холодную и молчаливую бездну.

И он пошел. На мгновение его лапка дрогнула, будто потянула назад, но, пересилив её, Ёжик шагнул в ледяную воду. Он шагал и шагал, преодолевая усилия этого волшебного «моря». Он остановился, только когда вода заманила его уже до уровня шеи. С собой он уже не мог ничего поделать. Лишь взмахнул лапками. В следующее мгновение он нырнул в воду с головой, а затем вынырнул, чтобы ухватиться руками и губами за воздух, но вместо этого...

«Море! Только не молчи!»

Кристина Колесникова

Родилась в городе Якутске. В 2008 г. поступила на первый курс Литературного института им. Горького и попала в семинар А. Е. Рекемчука. Не состоит в Союзе писателей. Но любит кино и пишет стихи

Семечки

Рассказы

* * *

КОГДА МНЕ БЫЛО четыре года, была у меня соседка снизу — очень интересная женщина. Я ее очень любила, потому что голос у нее такой ласковый, глаза мягкие, вся она добрая и смешная, приветливая очень, но особенно она мне была мила с тех пор, как побывала у нас в гостях. Дело вот в чем. Просто семечки я щелкать не умела. А сидят все и семечки жуют. Мне кажется, так это вкусно, так увлекательно! Думаю, как же им всем повезло, что они такое умеют, а я — нет. Говорю бабушке Тане: «Бабушка-бабушка, семечек мне пощелкай». Она поворчала-поворчала, говорит: «Сама учись». Поворчала, семечек в рот кинула, выплюнула чистые — без шелухи, протянула мне. Я их беру — мокрые, противные, все в слюнях. Не есть неудобно, есть не хочется... Бросила куда-то, где не видно. Сижу — расстроилась. Обидно. Тут тетя Ирочка взяла и начистила мне семечек руками, безо всяких слюней, и так мне приятно стало, так прям потеплело на душе. С тех пор я ее очень люблю.

Мне было четыре года, а ее звали Ирочка. У нее было три дочери. Средняя — Ира (я с ней дружила). Когда я выросла, узнала, что есть еще старшая — Ирина. Когда еще выросла, родилась младшая — Ирка.

Мужа звали Федором.

* * *

ПОСЛЕ ПЕРВОГО класса, на летних каникулах, родители решили отдохнуть от меня и отправили свою дочурку в лагерь. Лагерь в принципе ничего, наверное, даже сносный, но в моих воспоминаниях о нем очень много неприятного. Связано это большим числом с одним парнем. Парень — ничего особенного, долговязый такой, странный, весь в зеленке. Очень отчего-то я ему нравилась, поэтому он меня решил защищать. Ото всех. По крайней мере, из мальчиков ко мне никто не мог подойти. Девочкам тоже не было приятно общество моего преданного ухажера, и вот страдала я так и страдала. Дни мои превращались в сущие мучения. Видеть его я не могла, говорить с ним тоже не могла, мне хоть и жалко его было, но все же я ему сказала, что меня его внимание докучает. За этим ничего не последовало. Сказать опять я стеснялась. А он тоже страдал, только от другого — от любви, не разделенной. Но в один пре-

красный, очень счастливый для меня момент вдруг все оборвалось — я в него кинула то ли шишку, то ли камушек, и у него случилось сотрясение мозга. Но я совсем без злого умысла. Случайно.

* * *

КОГДА Я БЫЛА поменьше, я жила вместе со своими бабушкой и дедушкой, но, в общем, дело не в этом. Ездили они как-то в Индию. Там купили очень хорошие книги, которые, собственно говоря, никому не были нужны, хотя бы потому, что написаны по-индийски — ничегошеньки непонятно. Зато картинки очень красивые, яркие, живые — мне нравилось их разглядывать и придумывать разные истории про тех, кто там изображен. И так они мне все нравились, очень хотелось пожить такой же яркой и интересной жизнью, которую сама им придумала. В общем, от такого необъятной величины желания я решилась приблизиться к ним еще ближе, стать похожей на индианку. Иными словами, подошла к зеркалу и воткнула себе ручку в лоб. Выступило пятнышко крови. Действительно, похоже — красное, как у них. Боялась, что кровь пройдет и пятнышко исчезнет. Подумала, что, видимо, надо еще потыкать, чтоб ранка так быстро не затянулась, а я не перестала быть индианкой. Но все пошло не так. Моя точечка вышла больно уж высоко.

* * *

ВОТ БАБУШКА мне говорила — не рви листочки у цветочка, он же живой, не мни травку — она ведь живая. Тогда я подумала, а ведь и еда, значит, тоже живая, ведь мы берем ее с деревьев, с полей — что бы это ни было — оно откуда-то взялось и, значит, в этом есть жизнь.

Тогда я начала думать — «о чем же думает еда?».

Вот у меня есть папа. Он работает футболистом и он очень любит свою работу, из-за этого он даже уезжает в другие города и страны, поэтому он очень устает и сразу валится спать. Отчего же он это делает? Но я-то давно поняла, что просто ему все это нравится.

Тогда я поняла, что еда хочет, чтобы ее ели потому, что нет ничего лучше, чем заниматься тем делом, которое получается у тебя лучше всего, тем, что называется предназначеньем, а ведь это и есть предназначенье еды.

Тогда я представляла, что все маленькие рисинки, макарошки и помидорчики кричат у меня в тарелке «Съешь меня первым!», «Нет, меня первым!» — и я даже не знала, кого мне есть первым — а никого обижать не хотелось. Особенно было стыдно, если вдруг не могла доесть, и тогда я думала — «Ну почему же именно этот кусок остался? А вдруг он хотел больше всех, чтобы я его съела, а теперь он остался без всех — без друзей, без любимого дела... что же будет в его жизни — помойка?»... Так меня трогала вся эта история. И если были силы, то я пыталась запихнуть последние кусочки в себя.

Но потом я вдруг поняла, что папа-то сам выбрал свое дело, а еда-то ведь не выбирала! А может, она и не хочет, чтоб ее ели. Тогда я совсем не знала, что делать. Я спрашивала разрешения у еды, а она разрешала, и тогда я подгрызала маленькие кусочки по бокам, чтобы не разрушить общей формы, чтобы еда могла жить дальше.

Вот сейчас мне 17 лет, и теперь мне нужно разобраться — что я за фрукт. И видимо, дело не в том, что я хочу и что не хочу. А дело просто в том — кто я.

М.: Железнодорожное дело, 2008. — 724 с., ил.

Андрей Дедов

Так кто же в тереме живет?

Резензия на книгу Сергея Межерицкого «Кто в тереме живет»

Я ОТНОШУСЬ К ТЕМ людям, которые, будучи рождёнными в Советском Союзе, иногда задаются вопросом, почему они живут теперь в совершенно другой стране. Вроде земля под ногами та же, и леса, и горы, и даже небо... А страна другая.

Почему?

Это большое «почему?» состоит, в свою очередь, из великого количества вопросов поменьше. И каждый из них будет по-своему важен. А так уж устроен человек, что на каждое «?» он пытается дать «!». Что же получается, когда эта попытка охватывает не отдельную проблему, а целый тематический комплекс?

А получается эпическое произведение! В котором каждый может найти свой «!».

Исторически сложилось, что эпос возникает в тот момент, когда перед социумом встаёт проблема переосмысления действительности, поиска своего места в изменившемся мире. Мы оказались именно в такой узловой точке времени, когда Перелом уже позади, а страхи, связанные с ним, ещё живы.

Герои романа Сергея Менжерицкого «Кто в тереме живёт» стоят как раз перед таким выбором: остаться в собственном прошлом или принять новую реальность, перешагнув через то, что было.

Примечательно, что автору удалось создать образы, интересные читателю. Героям хочется сопереживать, их судьба волнует. Это происходит, потому что создана «атмосфера присутствия». Ситуации, изложенные в романе, многим знакомы. Герои не аморфны, у них есть и положительные качества, и «скелеты в шкафу», и свои неповторимые черты. Это портреты живых людей, которых мы видим каждый день.

Композиционно роман состоит из двух основных частей, которые условно (очень условно!) можно обозначить как «До» и «После». Для того, чтобы более полно разобраться, рассмотрим каждую.

Часть 1. «Весёленький маршрут — 1990». На переднем плане — жизнь семьи начинающего автора Алексея Крылова. Здесь разворачивается основной конфликт, причиной которого ста-

новится «большая и красивая квартира с видом на Кремль». Крылов молод, полон надежд на будущее. Молодая жена — Машка — ждёт ребёнка. Они ютятся в маленькой комнатке в коммуналке, как считает Крылов — временно. Однако всё оказывается не так радужно. Родные и самые близкие люди предают, буквально выгоняя на улицу.

И общим фоном смутное предчувствие Бури, которая вот-вот грянет. Отрывки радиопередач, листовки, газетные статьи, реплики из телевизора — всё, казалось бы, говорит о том, что необратимый процесс уже начался, охватывая новые сферы жизни. И люди, осознавая это, продолжают делать вид, что ничего не происходит, перетягивая общее одеяло.

«Я ждал, кстати, что этот Гардинг нам вагон инструкций выкатит, а он: „Слетайте, ребятки, пообщайтесь, расскажите о том, что волнует понастоящему...“ — и дальше поскакал. Разве не мистика?»

Не мистика! Просто Власть уже ничего не волнует! А что остаётся простым людям? Ведь «меня волнует, Лёш, что у жены роды в мае», «что после института мне в моём Приозёрске хрен чего светит — как в смысле работы, так и в смысле жилья». Потому что квартира, дом, да и просто свой угол — не блажь, а необходимость. Человеку, чтобы состояться, жизненно важно обустроить свой быт, обеспечить семью всем необходимым. «А для счастья, оказывается, нужна хотя бы комнатка в семь квадратных метров, куда можно привести любимую девушку и запереться с ней изнутри...»

В жизнь главного героя Перелом врывается вместе со смертью Машки. Старая система ценностей рушится, не оправдав себя. «Я всё время спрашиваю себя: а что было бы, если б мои близкие оказались просто честными людьми?» Прошлое, полное радостей и открытий, раскрывается в новом свете. И разница между Прошлым-1 (привычным) и Прошлым-2 (реальным) оказывается слишком большой и страшной, чтоб осознать в короткий срок. Крылов остаётся в мире, который ему знаком. И даже растущая ненависть к близким не выплёскивается, а копится в душе, потому что вернуться к ней и разобраться — значит вернуться к суровой и немилосердной реальности, диктующей свои условия.

Это состояние, овладевшее Крыловым, определяет специфику повествования во второй части («Весёленький маршрут-1999»).

«А потом уже — как во сне. Всё жил и думал, что вот-вот проснусь, а ты — рядом. И всё делал так, словно ты — есть». Любое внешнее явление действительности Алексей воспринимает через призму воображаемого общения с Машкой. Может быть, именно это помогает ему остаться на плаву. Но долго так продолжаться не может. Чтобы войти в Реальность-1999, нужно вернуться к прошлому. Потому что «вот это всё и запутало, Шишкин! Моя шизовая вера в то, что у меня с реальностью — особые отношения. Не такие, как у других».

Стоп! Где-то мы это уже видели... Фронтовиков, брошенных всеми и живущих боевым прошлым. Белых офицеров, строивших в Париже свою маленькую Россию. Профессоров, которым не дали преподавать на Родине. Врачей. Учёных. Инженеров. Студентов.

И каждый раз, когда общество получает надежду и начинает работать, любить и верить своей стране, всё рушится.

Не страшно?..

И Реальность-1999 даёт Крылову шанс. Распрощаться со своим прошлым раз и навсегда. Поздно что-либо исправлять. Мать уже умерла — она осталась в том времени — нет смысла винить и ненавидеть. Тебе дали жизнь, а чем её наполнить — решаешь только ты. Решиться на этот шаг и получить награду, как её получил Алексей Крылов, на мгновение увидев близких людей.

Образ Пьеро и Коломбины, якорной цепью обвивавший жизнь главного героя, сгорает. Алексей успевает порвать путы прошлого.

Электричка, уходящая утром нового дня, появляется на последней странице не случайно. Это образ той жизни, в которой мы ещё сможем что-либо сделать, только если изменимся, совершив рывок вперёд. При одном условии: все вместе, поднимая страну на новый уровень.

И «славяне» здесь уже не манера разговора, а, по большому счёту, призыв к целому народу.

«Успеем, славяне. Нужно успеть. Вдох-выдох, раз-два».

М.: Центрполиграф, 2007. — 221 с.

Екатерина Юркевич

Резензия на книгу Валентины Юрченко «Иллюзия близости»

КНИГА ВАЛЕНТИНЫ Юрченко «Иллюзия близости» — это три повести об отношениях, об обманчивой близости, о женском одиночестве. Разные по содержанию, повести схожи основной идеей и настроением. Во многом похожи и их героини — Анна, Эля и Катя.

Проза Валентины Юрченко — приглашение пожить сбивчивыми мыслями своих героинь, посмотреть на мир их невеселыми глазами, помочь им сделать генеральную уборку в собственной голове. Анна, Эля, Катя — не реализованные ни в профессии, ни в любви женщины. Они придумывают истории о себе и о тех, кто вокруг, переписывают заново свое прошлое, живут работой. Из будней и складываются повести, наполненные буднями.

Человеческие отношения — неиссякаемая тема. И именно поэтому сложная. С одной стороны, всегда найдутся читатели новых историй любви и страсти, как бы схематично ни были они написаны. С другой — непросто сказать об отношениях что-то новое, дать читателю неизвестный до того ключик — как выстраивать отношения. Выписывая новый узор отношений, сделать его элементы символами, гармонично соединить их.

Три повести книги «Иллюзия близости» насквозь пропитаны отношениями. Через них героини воспринимают мир и самое важное в этом мире для них — отношения.

Думать об отношениях, вспоминать их или фантазировать героини начинают по любым поводам, даже разглядывая синяк на ноге. Каждая повесть — попытки героини структурировать, уравновесить свои мысли, навести порядок в своем мозгу. Для читателя наблюдать за этим — спорное удовольствие, тем более что в конце повести ощущения порядка или хотя бы ухода от точки отсчета не возникает.

«Элю всегда отличал созерцательный романтизм» — сообщает героиня повести «Гостиница номер три» о самой себе. На созерцательности Эли строится повесть, но эта созерцательность диффузна, несбалансированна. Героиня сообщает нам все, что приходит ей в голову, — сразу, без обработки. Благодаря этому, с одной стороны, проза обретает почетную нынче непринужденность. С другой стороны, именно это заставляет останавливаться, перечитывать резкий скачок мысли или неудачное сравнение. Например, такое: «Как стаявшие струйки мороженого, пробираются к земле мутные ручьи снега, обна-

жая влажные неровные горбы сизого льда. Зеленоватая вода реки Годелянки прижимает к дальнему берегу льдины». После этого абзаца — ни разу про Годелянку, мороженое или льдины.

Героиня каждой повести «Иллюзии близости» — любительница вешать ярлыки, ставить оценки, придумывать ремарки. Каждый портрет, характер строится на этом, даже свой собственный образ героиня стремится создать любимым способом — своими же словами. «Умная-то я умная», «я же упрямая, меня насильственно ни к чему нельзя принуждать», «увы, и рассеянность характеризует меня», «дурацкое воображение — вечно не в тему!». Многочисленные ремарки и оценки не дают читателю самостоятельно думать, настраивают скорее на спор или на абсолютную пассивность.

Самая неоднородная, сбивчивая повесть — «Семнадцатый день». Здесь смешиваются несмешиваемые вещи: авангардизм, который любит Анна, и купола церквей, и цитаты из «Эротики — супер», в которой работает героиня, и строчки Бродского, и нескончаемый, подробный секс, атакующий голову Анны. И ко всему этому эзотерика, вынесенная в название. Она неубедительна, как неубедительно и то, что Анна называет сектой: изучение йоги, вера в Атлантиду, вегетарианство и воздержание.

Гормональный уровень в «Семнадцатом дне» зашкаливает. На шестьдесят страниц повести приходится двенадцать обширных, дурно пахнущих цитат из порногазеты. Для чего автор столько раз обращается к ней? Возможно, чтобы показать, как шаблонные, стереотипные модели поведения управляют и жизнью героев. Но можно ли поверить в это, если истории прописаны урывками, как будто просеяны через голову главной героини? В итоге при чтении — резкие скачки от порно к Бродскому, к церквям, к детским урокам. Со всем этим — описание первого сексуального опыта, второго, третьего — тоже схематичное, с отталкивающими, ненужными подробностями.

Героиня «Семнадцатого дня» то пряма и жестка, то лирична и мечтательна. Но ее лиричности не веришь, она похожа на желание понравиться или вызвать сочувствие. Ее наивная искушенность не поражает, а раздражает.

Валентина Юрченко стремится к афористичности. Ее герои часто произносят краткие благозвучные фразы, претендующие на то, чтобы остаться в памяти. Но фразы эти, будто только что пришедшие в голову, необработанные, неглубокие, не всегда ясные. «Кухня — библиотека мысли», «метро — это механизм, муравейник с множеством входов и выходов», «бесконечное пиво — визитка вечереющих переходов», «утро занято сортировкой душ», «хаос создают дилетанты», «имена — это как никотин» и другие.

В повестях Валентины Юрченко множество подробностей, не сообщающих читателю практически ничего, не раскрывающих ни один образ — кроме образа главной героини. Кремовые брюки немца Ганса, упоминающиеся не один раз, не говорят нам ничего о самом Гансе, тапочки, которые забывает предложить подруге Лейла, мало сообщают нам о Лейле, полупрозрачный в малиново-желтых тонах тюль не помогает представить коммуналку. Все эти мелочи навязчивы и создают лишь иллюзию значимости.

Первая повесть изобилует цитатами из «Эротики — супер», вторая — из словаря Даля и театральных интервью. Эля — журналистка, жонглирующая информацией, кусками текстов, человеческими историями. В ее голове масса слов, понятий, оценок, которые быстро всплывают в нужный момент, потому что находятся неглубоко.

Такая проза похожа скорее на снятый с диктофона необработанный текст интервью — сбивчива, рассыпчата.

Третья повесть, «Код на удачу», более сюжетна, конкретна. Практически все герои — работники издательского дома, да и время повести очерчено: ожидание новогоднего праздника — сам праздник — день после. В повести есть кульминация, заставляющая волноваться, сомневаться, гадать «на удачу». История вырастает в обобщение, причем впервые за книгу — в оптимистическое обобщение. В прагматичной, просчитанной не нами, но за нас, жизни, есть место справедливости и Чуду. И Чудо это может сотвориться самыми обычными руками и без видимых причин.

Стилистически «Код на удачу» немногим отличается от двух других повестей в «Иллюзии близости». Те же цитаты в тексте (строчек банальных стихотворных поздравлений, популярных песен с припевками «най-най-на-на»), полуслучайные названия главок, бытовые диалоги, навязчивые подробности, сленг, ярлычки на людях и др. Однако «Код на удачу» оставляет совершенно иное впечатление. Во-первых, благодаря своей идее, во-вторых, благодаря тому, что автор позволила действовать многим персонажам, а не только главной героине.

И все же книга Валентины Юрченко «Иллюзия близости» не застревает в памяти, не заставляет думать или действовать. Ее закрываешь как журналистскую визитницу с множеством имен, фамилий и маленьких ярлычков, и, закрыв, спешишь к реальным людям. Как выстраивать отношения? Как быть близкими не иллюзорно, а по-настоящему? Вопросы не сдвинулись с места.

М.: Зебра Е, 2007. — 352 с.

Яна Мамбетова

На обложке тряпочный волк

Резензия на книгу Емельяна Маркова «Волки купаются в Волге»

РЕКА — ПРЕДПОЛАГАЕТ отражение, пар, рыбу, уключину, гальку, остров и катер. Они родственны реке, равно как и другой берег, на котором может быть все, что угодно.

Река — не предполагает волка, волк чужд реке и приходит к ней из сна.

Он выходит из-за сырого дачного дома, дорогу к которому уже отыскать невозможно, и идет из рассказа в рассказ, ускользающий как мираж, нигде не желанный. Он проходит мимо героев, занятых своими трудными душами, своими трудными днями.

Может быть, это один и тот же волк, может быть, он не волк вообще.

А Емельян Марков сидит за столом, ему знакомы и волки, и заросли, и длинные подземные переходы, и лопата, и разница четырех времен дня. Он как будто только вернулся из таинственного путешествия, где узнал то, чего не знают другие. Он разделяет мир для своих персонажей на «тогда» и «теперь», эти два измерения находятся неподалеку друг от друга, они видимы, но возвращение невозможно. Считают то в рублях и копейках, то в тысячах. Кто-то крадет лодку, а кто-то поджигает дом, чтобы получить страховку. В один миг пространство кажется заполненным счастьем до невозможности вдоха, а в следующий — каждый дом навстречу, каждая очередь непонятно за чем, полны отчаяния.

Если разделять их по профессиям, этих персонажей, выходит, что все они: студенты, художники, сыновья художников, нищие, учителя и руководители кружков судомоделирования, редакторы или заместители редакторов. Кто-то еще медик, а кто-то метет церковный двор.

Если разделять их по именам, выходит, что их называют: дядя Коля, Гена, Кафтанов, Андрей и Юра, Толя Макаров, Михал Ляксеич, то есть Огоньков. Одни герои носят свои имена, как неудобные бумажные платья, скидывают их при первом случае; другие разжигают свои, как костры на берегу реки, и, повторяя их, недоуменные, относятся рекой куда-то прочь. Емельян Марков отделил своих героев друг от друга границами имен; и некоторые персонажи очерчены ясно, некоторые стремятся стать кем-то другим и имя на них не держится.

Они говорят серьезно и несентиментально. Они пришли в книгу с улиц, из подвалов, с тихих писательских дач, они оставили свои песочницы, длинные садовые участки, лодки, училища, велосипеды. Они пришли со своим языком, все они стали равны друг другу в том тревожном воздухе, который воссоздает и рисует Марков, но они не забыли свой язык, свои секретные ключи принадлежности к особенным, закрытым сообществам. Емельян Марков переводит их души в диалог, диалоги неторопливые, извилистые, если запоминаются, то накрепко.

«— А тебя не беспокоит, что вдруг ты живешь в выдуманном мире?

— А вот это уже глупо, царь. Все живут в выдуманном мире.

— Да, это глупо. И какая у тебя цель в жизни? Мировая революция?

— Ха-ха. Ну да. Но есть и более конкретные цели. Например, мое обучение в институте совершенно бессмысленно, но зато по окончании его я брошу гранату в Макдоналдс.

— Я надеюсь, ночью?»

Текст Емельяна Маркова не существует без маяков, без условных знаков места и времени. А время между восьмидесятыми и девяностыми было опасное и яркое. И девяносто девятый год тоже был. Никто друг другу не был равен.

Порой Емельян Марков бывает совершенно невыносим. «...Ни тебе робких прикосновений, ни тебе обрывчатых признаний — все сразу, все разом». В тексте, как и в деревне, бывает, что все становится прозрачным и ясным. И количество лирических открытий, совершенных мгновений, когда слово разламывает поверхность вещей, часто превышает некий допустимый предел. Хотя читательское сердце может выдержать больше, чем кажется, оно сильное и жаждет, чтобы кто-то унес его в бездну. Когда Марков говорит о мудрых бизнесменах, бывших редакторах и евроремонте, прорывов не бывает. Он забирает нас в бездну, когда начинает говорить о людях неустроенных, не умеющих как следует врасти в жизнь, о тех художниках, которые записывают свои старые картины, и о тех бездельниках, которые каждую свою минуту живут в красоте, такой сильной, что от нее даже умереть невозможно. Они чувствуют, что жизнь построена не на том, чтобы всем было друг с другом хорошо, они могут быть опрятные или опустившиеся, они внутренне неуютны. Совсем неясно, было ли что-то настоящее, будет ли что-то еще или ничего больше не будет. Волки купаются в Волге, — говорит мальчик сквозь сон, волки подходят совсем близко, и река течет из рассказа в рассказ. В последней повести она разливается, умывает лодки, несет стылую рыбу и забирает все в свои рукава. Всех мальчиков, художников, военных стариков, их жен, учителей, и контролеров, и зайцев, и тех, кому билет не нужен, потому что все уже кончилось. Мы дочитали.

М.: Эксмо, 2008. — 384 с.

Алёна Василькова

«Из чего же сделаны наши девчонки?»

Резензия на романы Ирины Щегловой

НЕ ТАК ДАВНО мне представилась возможность прочитать романы, написанные детским писателем Ириной Щегловой. Поразили они меня прежде всего своей ненавязчивой наивностью и в то же время использованием ситуаций, которые в действительности бывают и имеют место случаться в этой жизни. Две подружки, которые встречают своего прекрасного принца и ссорятся из-за него, а принц-то и гроша ломаного не стоит. Неужели не знакомо? Или вот: давняя мечта поехать отдыхать, напридумывать себе всего, разрисовать в мыслях, а приехать и увидеть совершенно иное — чуть ли не лагерь, в котором ещё и концерт странной транс-музыки проводят. А другая история, об отсутствии взаимопонимания в семье, когда однажды люди все же находят общий язык, осознают, что они одна семья, и события в жизни у них начинают идти ладно?

Жизнь всегда такая нелепая, и чаще всего, оглядываясь назад, мы осознаем, что очень многое хотим изменить в прошлом. Автор же ставит своих героинь в такие ситуации, где нет времени исправлять ошибки, потому что жизнь движется, идет вперед и героиню захватывает этот поток текущих событий. Тут нет дела до философствований и размышлений, решения надо принимать «здесь и сейчас». Так может, и рассчитаны были эти произведения для того, чтобы мы перестали теряться в прошлом, а жили настоящим? Конечно. Другой вопрос: для кого были они рассчитаны?

Романы для девочек существовали всегда. Вот только сами девочки в разные времена были разными. Если раньше девушка семнадцати лет, вполне взрослая для нашей современности, считалась настоящей невидимкой: на людях появлялась только в сопровождении родителей, а свободное время посвящала чтению романов о прекрасных принцах и соответственно мечтам о скором появлении в её собственной жизни подобного персонажа. Но дальше эмансипация, революция — и вот уже девушка совершенно иная. Если и можно изменить всякие юридические права, то права

сердечные никто не переделает. Девушки так же мечтают о принцах, так же читают романы, только уже не в 17—18 лет, а начиная лет с 11—12. Похвально, что в таком возрасте возникает тяга у молодого поколения к времяпровождению с книгой, но остаётся неясно, отчего авторы, специализирующиеся на детской литературе, не могут понять, что поколение взрослеет быстрее. А, значит, в своих романах надо описывать девушек не семнадцати лет, а этих самых двенадцатилетних, иначе получается ужасно неправдоподобно. Автор не захотел проникнуть в психологию, самый важный фактор детской литературы, а просто наобум выбрал возраст своих героинь, из-за этого все их переживания и мысли вмиг стали ненатуральными. Я, как человек недавно покинувший застенки школы, где девушки 11 и 17 находятся в постоянном «взаимодействии», могу сказать, что в 10 классе представительницы прекрасного пола ведут себя абсолютно не так, как показано в книгах. И возникает вопрос к самому автору: для кого все же рассчитана такая литература? Для пятиклассниц, которые, начитавшись подобных, в десятом продолжали вести себя точно так же, не взрослея? Или же на более старшую аудиторию? Но признаюсь, что для себя я не нашла ничего интересного в этих произведениях. Как, думаю, не нашло бы и большинство моих ровесниц.

Первый прочитанный мной роман Ирины Щегловой был как раз из жизни десятиклассниц, «Королева красоты». Про саму цифру класса мы уже поговорили, но дальше — больше. Оказывается, в 10 классе существует ещё и надзор родителей! Но многие школьники и школьницы сетуют на недостаток внимания. Это одна из проблем нашего современного общества, которую надо пытаться как-то искоренять, а мы все только указываем на неё. Автор хочет показать заботливость родителей, но выходит неестественно. В 10 классе речь уже явно не о надзоре надо вести, а о понимании.

Иногда автор удивительно чувствует детей (именно детей!). Прекрасно рассказано о периоде, когда героиня находилась в первом классе. Но пятый класс ужасен! Компания старших ребят, наркотики — тут, я предполагаю, была попытка впихнуть всё и сразу. Но попытка неудавшаяся.

Перейдя к чтению второго романа «Принц из далекой страны», мне стал ясен прием автора — герои одни и те же, меняются лишь события — некоторая сериальность. Очень хорошо, что автор решил использовать именно такой литературный прием, подсознательно имея в виду: времена меняются, люди остаются. Вот только речь главной героини, Маргариты, скорее всего, нарочито разная в двух рассказах. Ничего не могу сказать о психологии: странное дело, на вечеринку под надзор родителей, а в Петербург поехать на поезде одной можно. Но пусть это останется на совести сочинителя. Тем более что описание самого Петербурга просто замечательно: «утонченно-болезненный... он столько пережил, что другому хватило бы на несколько тысячелетий». Удивительно поэтичные строчки, лично для меня оказавшиеся ложкой меда.

Ну и напоследок о «Пляже исполненных желаний». Тут уж совсем чуть ли не идейные баталии на политические темы. Валера Свицкий то казак, то советский. Тут ошибка скорее историческая. Ведь казак — это же не просто красный башлык, это Идея. Нельзя автору забывать о таком. Лучше вообще не сказать, нежели упомянуть вскользь, да так и оставить. Валера Советский ругает демократов, запамятовав, верно, как его любимые «советские» пришли к власти. Впрочем, всё это так, не об одном же Советском там речь, хотя, могу заметить, что описание психологического портрета этого героя очень правдоподобно: Валера устроился и впрямь по-советски — люди приехали отдыхать, а он успел поэксплуатировать всех.

В этом романе как раз и встречается некая детективная подоплека, но отчего-то получившаяся не интригующей, как ожидалось, а попросту комичной: инспекционная проверка приезжает в зону отдыха с автоматами... Да, в такое и впрямь поверят только дети. Может, у меня с чувством юмора что-то не так, а может, просто не стоит злоупотреблять искренним доверием наших детей и тем более девушек?

Правильно замечено было, что жизнь длинная, в ней столько всего. Так, может, пускай и будет место этим повестям. Ведь автор, несмотря на неточность многих деталей и даже ошибки, в каждом своём произведении пытается нам выделить истину. Истину неоспоримую и самую настоящую: следует прощать людей; на любви мир держится; не существует материальных ценностей. Ошибка лишь в том, что это как бы невзначай указано в самом конце, а мысли эти, великие, не побоюсь этого слова, следует развивать по всему произведению! Не надо бояться наших детей, нужно помочь им, ведь они с самого своего рождения вполне себе самостоятельные люди, а мы ос-

тавляем их на попечение чужих, а потом, когда у ребенка сознание уже сформируется, пытаемся воспитать. Жизнь не легкая, надо приучать детей к состраданию, а не высмеиванию окружающего; надо уметь говорить с детьми сложно, поясняя эти истины добра, любви и душевной красоты, на которых обязан держаться мир. Детская литература, возможно, и сложнее литературы взрослой. Ведь сколько прошло столетий, а мы всё дальше и дальше уходим от этих всемирных законов... Так пусть с самого детства юные души, этих маленьких человечков с удивительно умными глазами будут наполнены этими общечеловеческими законами, и тогда, взрослея, они непременно привнесут их в свою повседневную жизнь. Наша задача передать им эти знания по крупицам, они же перенесут их всецело и всем.

Содержание

А. Рекемчук. Что такое «Пятью пять»? 3
«Онегинский квартет». *Татьяна и Владимир Соломины беседуют с Ольгой Брейнингер и Евгением Завадским* 4

Литрополь

Ольга Брейнингер 7
Василий Попов 41
Евгений Завадский 43
Наталья Левашова 51
Татьяна Панкратова 55
Алексей Рудевич 87
Артем Гончаренко 90
Яна Мамбетова 114
Григорий Шувалов 124
Анастасия Артемова 127
Григорий Назаров 147
Ирина Михайлова 149
Александр Кондратенко 163
Сергей Мурашев 175
Иван Курбаков 185
Инга Шепелёва 189
Анна Аликевич 211
Ольга Коновалова 214
Елизавета Шестакова 222
Ольга Волкова 225
Юлия Скрылёва 247
Лия Галимова 252
Александр Иванов 259
Висола Султанова 263
Юрий Лунин 269
Наталья Шахназарова 293

OxpeNET

Мария Середина 297

Детский лепет

Анна Милосердова 306
Кристина Колесникова 309

Старшие читают младших. Младшие почитают старших

Андрей Дедов 311
Екатерина Юркевич 313
Яна Мамбетова 315
Алёна Васелькова 317

Пятью пять

Альманах молодых писателей для молодых читателей

Корректор *О. Кежун*
Верстка *А. Павлов*

ООО «Независимое издательство «Пик»
121019, Москва, Новый Арбат, 15
Тел.: +7(499)259-93-09

Подписано к печати 7.05.09.
Формат 84×108/16. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Печ. л. 20,0. Тираж 1000 экз. Заказ